ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 5 2011

Илья Тюрин
Воспоминания в Царском селе

Эдуард Русаков
Рассказы завтрашнего дня

Кирилл Анкудинов
Вертикальное положение

Тойво Ряннель
Капля вечного зова

Стефано Гардзонио
Рабыня кудрявая

Лев Бердников
Жертвы моды

Лето в Падуе | холст, масло | 55 × 70

Остров кружевниц | холст, масло | 70 × 70

Работы выпускника Красноярского художественного института *Сергея Прохорова* давно уже стали неотъемлемой частью практически всех крупных выставок и межрегиональных вернисажей. Его произведения сегодня украшают частные собрания и галереи Германии, США, Канады, Ирландии, Швеции. Зрители легко узнают творчество художника в любых экспозициях. Язык его произведений прост, ясен и поэтичен. Однако при кажущейся простоте его живопись неоднозначна. С одной стороны, она поднимает со дна души собственные ощущения, пережитое, перечувствованное от общения с природой, с другой — не перестаёшь удивляться неожиданному своеобразию средств, с помощью которых художник достигает такого сильного впечатления. На полотнах Сергея Прохорова всё живёт, движется, пульсирует — характерный признак импрессионистского чувства природы с его ощущением сиюминутности и трепетной изменчивости живой натуры.

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 5 (85) | сентябрь–октябрь | 2011

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН встречи
Марина Саввиных
3 **В гостях у крымских аонид**

ДиН юбилей
Тойво Ряннель
15 **Капля вечного зова**
Вадим Ковда
173 **Покой и свет**

ДиН память
Илья Тюрин
44 **Воспоминания в Царском Селе**
49 **Застольная игра**
Евгений Евтушенко
93 **«Чьё имя драки останавливало…»**
Валерий Возженников
96 **Но чуден от Бога и мрак**

Страницы Международного сообщества писательских союзов
Астра
52 **Сказка про нас**
Галина Дрюон
60 **Капелька росы**
Николай Иванов
65 **Семь нот о любви**
Наиль Ишмухаметов
81 **Да выдержат плечи**
Мухаммат Мирза
85 **За той рекой**

ДиН антология
Иннокентий Анненский
84 **В луче прощальном**

Клуб читателей
Ульяна Лазаревская
92 **Иваново, Тоскана, Коктебель…**

ДиН стихи
Вячеслав Тюрин
43 **Свирель для ветра**
Евгения Коробкова
80 **В воздухе старинном**
Дмитрий Косяков
125 **В кадиллаке Синей Бороды**
Олег Янушкевич
175 **Песня северного оленя**
Надежда Герман
177 **Восьмая нота**
Сергей Князев
179 **Я спустился в подвал**
Юрий Татаренко
181 **Шахматная партия**
Евгений Чигрин
217 **Батискаф**
Роман Рубанов
219 **Чудо**
Сергей Сутулов-Катеринич
221 **Урок сольфеджио**
Эдуард Хвиловский
223 **На краю полыньи**

ДиН публицистика
Сергей Есин
100 **Страницы дневника**
Лев Бердников
229 **Жертвы моды**

ДиН роман
Александр Астраханцев
126 **Ты, тобою, о тебе**

ДиН проза
Стефано Гардзонио
183 **Рабыня кудрявая**

ДиН цитата
206 **Решившись плыть против течения…**

Библиотека современного рассказа
Эдуард Русаков
207 **Рассказы завтрашнего дня**
Марат Валеев
215 **Воробышек**

ДиН эссе
Анастасия Ясеницкая
214 **Отлучённые от вечности**

ДиН критика
Кирилл Анкудинов
225 **Вертикальное положение**

ДиН пародия
Виталий Пырх
231 **Крошки на простынях**

ДиН полемика
233 **Между Сетью и Степью**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ

Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова
Заместитель председателя правительства Красноярского края

А. М. Клешко
Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска

Г. Л. Рукша
Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована картина Сергея Прохорова «Северная сторона».

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

БИК
040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 12.10.2011
Тираж: 1500 экз.
Номер заказа: 14178

Отпечатано в типографии ООО «Издательство ВВВ».
ул. Пограничников, д. 28, стр. 1.

Марина Саввиных

В гостях у крымских аонид

«Вновь я посетил…»

Море было большое. Выпрыгнув, наконец, из-за поворота всей своей отчаянной лазурью, оно повергло меня в умиление, в головокружительный восторг: в последний раз я видела Чёрное море тридцать лет назад — и теперь оно было всё то же, почти нестерпимо лазурное, трепещущее, покрытое трогательными барашками… эпитета более точного, чем «лазурная», для черноморской волны не придумаешь. Это именно лазурь, azuro, единственное в своём роде сочетание бирюзы, изумруда и горного хрусталя. Пронизанное солнцем, дышащее… огромное — и, кажется, даже не ограниченное горизонтом, падающее всей своей ликующей массой куда-то за… в таинственные миры, море улыбалось мне широко и нежно. Ну, здравствуй, Понт Эвксинский… «вновь я посетил…»

Мне предстоит принять участие в двух больших литературных фестивалях, которые проводятся в Крыму при участии разных государственных и негосударственных инстанций. Один из них — «Славянские традиции» на Азовском море, в городе Щёлкино (мыс Казантип); другой — «Волошинский сентябрь» на Чёрном, в Коктебеле. Так сказать, союз морей, культур, языков и стилей… Разгар бархатного сезона.

Автомобиль летит из Симферополя в Коктебель. Вдоль обочин шоссе мелькают рекламные плакаты на украинском языке — с портретами улыбающегося президента Януковича и «гарних дівчат та хлопців», уверяющих путешественников в своей безраздельной любви к Украине — и на русском — с продвижением всего остального. Предпочтение русской речи в Крыму ощущается повсюду, украинский официальных фасадов и казённых бумаг смотрится вынужденной уступкой неодолимым обстоятельствам, что же касается устной «мовы», то её почти и не слышно. Русский язык для крымчан — не только средство общения, но и символ веры и верности. Это чувствуешь на каждом шагу. Может быть, поэтому в «русскоговорящих» городах сопредельной братской страны предпринимаются специальные усилия по поддержке и развитию языка, родного для большей части населения. Такие программы приняты и реализуются в Донецке, Харькове, Одессе, Севастополе. Реализуются не без трудностей, но и не без достижений.

В Щёлкино я познакомилась с редактором уникального издания, напрямую связанного с этой работой, *Татьяной Ворониной*. Татьяна издаёт в Севастополе «Литературную газету» в её особой крымско-севастопольской модификации. Издание так и называется: «Литературная газета + Курьер культуры: Крым — Севастополь». Столь витиеватое название — не от хорошей жизни, конечно. Татьяна заручилась поддержкой Юрия Полякова, главного редактора «Литературки», чтобы делать в Крыму некий особый её вариант. И «материнская плата», и суть «варианта» в названии должны быть отражены. Что и наблюдаем. Севастопольская «Литературка» выглядит как московская, известное количество полос в каждом номере — тоже московское, и качество местных материалов редакция старается держать «на уровне». Тем более заслуживает уважения её стремление удовлетворять потребности крымчан в достоверной информации о прошлом и настоящем региональной культуры, русской по существу, крымской по бытованию.

А в Одессе совсем недавно вышел из печати первый номер нового литературного «толстяка» под названием «*Южное сияние*». Председатель фракции Партии регионов в Одесском городском совете Геннадий Труханов предварил пилотный выпуск такими словами: «Одесса всегда была, есть и будет городом писателей и поэтов, формирующих славу нашего города, подчёркивающих его колорит, создающих неповторимый образ Южной Пальмиры. <…> Мы испытываем чувство гордости от того, что стоим у истоков большого и важного дела, способствующего возрождению литературной славы Одессы и дающего возможность демонстрации творческих успехов одесских литераторов». Получив из рук выпускающего редактора Сергея Главацкого элегантную тетрадь одесского «новорождённого», я тоже испытала законное чувство гордости, ибо к самому прецеденту наше детище, «День и ночь», имеет непосредственное отношение. С Серёжей Главацким мы в электронном режиме обсуждали содержательные и формальные вопросы, связанные с первым номером «Южного сияния», за несколько месяцев до того, как новый журнал вышел из печати, и я даже написала по поводу его рождения проникновенное напутствие… вот оно, на второй странице: «Романтические, многосмысленные символы — северное сияние, Южный Крест… В названии нового журнала они причудливо соединились, образовав неожиданное иное значение, интригующее и тревожащее. Соприкосновение Севера и Юга — мост между мирами. Радуга. Верхний свет идеального — сколь прекрасного, радующего, столь и хрупкого, ускользающего, нуждающегося в непрерывной работе нашего воображения. Организаторы журнала

самим его названием заявляют о претензии на высокий уровень публикаций и определённый содержательный ценз своего журнала. Дай-то Бог, как говорится! Во всяком случае, наше авторско-читательское сообщество с благожелательным интересом встречает «новорождённого». Доброго пути ему! Неиссякаемых источников энергии — чтобы светить ярко и долго!»

Этот пафос и теперь кажется мне оправданным: участие Красноярска подчёркнуто в первом номере «Южного сияния» несколько раз, а зав. отделом поэзии здесь — поразительный факт! — Евгения Красноярова! Так что, как говорится, сам Бог велел!

Будем дружить домами. Тем более что среди публикаций — работы уже знакомых нашим читателям авторов. Кроме вашей покорной слуги, здесь напечатались Евгений Чигрин, Кирилл Ковальджи, Наталья Бельченко, Сергей Главацкий, старинные и новые друзья «ДиН». Вообще в номере fifty-fifty представлены одесские и иные авторы; присутствие *иных*, прямо скажем, его значительно усиливает. Явление, повсеместно свойственное региональным журналам, желающим выглядеть достаточно *серьёзно*.

«День и ночь» и «Южное сияние» были в единой связке представлены на одном из вечеров Щёлкинского фестиваля. Но это — время спустя…

А пока я лечу на машине в Коктебель, обдуваемая пряным горячим ветром, и вспоминаю вчерашний день, Москву… свои смешные попытки распутать сеть улочек и переулков в поисках офиса Жени Степанова, который должен был вручить мне новенькие корочки Союза писателей XXI века — для меня и моих красноярских коллег (нас уже четверо в Красноярске — ячейка!)… горячие споры о современном образовании, о русском языке, который только сейчас мы всерьёз осознали в качестве универсального средства межнационального общения, — с молодыми попутчиками в поезде Москва — Севастополь филологом Аней и философом Мишей Гусевыми (каких только встреч не бывает на этом маршруте!)… но — море выпрыгивает, наконец, из-за поворота всей своей отчаянной лазурью, и я забываю обо всём на свете!

«Славянские традиции»

дух и буква фестиваля

В Коктебеле меня встретил *Владимир Дмитриевич Алейников*, легенда поэтического андеграунда 60–70-х. В его доме, атмосферой и устройством быта напоминающем тот, начала прошлого века, волошинский, в конце лета обычно гостят друзья — писатели, издатели, художники… Сам хозяин, крупный, седой, лохматый, с печальными и — тем не менее — сияющими глазами, с богатым, вибрирующим баритоном, словно нарочно созданным для пения стихов, кажется реинкарнацией «великого киммерийца».

А на следующий день я была уже на Азовском море — успевала захватить последние дни фестиваля «Славянские традиции».

В нынешнем году он проводится в третий раз. Цели его обозначены очень конкретно и как раз в духе тех размышлений, которые не оставляют меня в покое уже несколько лет, — о русском языке, о славянском единстве, о творческом общении людей, так или иначе понимающих русский язык в качестве предмета и инструмента своей профессии.

- Сохранение и развитие русского языка, славянских традиций, укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных поэтов, прозаиков, переводчиков, драматургов в России, Украине, Белоруссии, других славянских странах и во всех зарубежных странах, где проживают русскоязычные писатели.
- Открытие новых молодых авторов, содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова, установление контактов между творческими коллективами и отдельными авторами.
- Проведение мастер-классов известными российскими, украинскими, белорусскими и зарубежными писателями с участием редакторов известных газет и журналов, издателей, проведение конференций с издателями и редакторами по тематике публикаций и издания новых сборников, альманахов, книг русскоязычных писателей.

Беседую с координатором фестиваля, заслуженной артисткой России, поэтом, редактором литературного альманаха «ЛитЭра» *Ириной Сергеевной Силецкой*.

МС. Ирина Сергеевна, как возникла идея проведения фестиваля «Славянские традиции», кто стоял у его истоков? какова — хотя бы в общих чертах — его концепция?

ИС. Идея фестиваля возникла у меня давно, но более конкретное представление, как его организовать, пришло ко мне после участия как финалиста и члена жюри в фестивалях в Европе, таких, как «Пушкин в Британии» в Лондоне, «Европа» в Праге, «Литературная Вена» в Австрии, «Русский стиль» в Германии. Хотелось проводить фестиваль в таком месте, чтобы писатели могли не только поработать, но и отдохнуть. Лучше Крыма ничего представить себе нельзя, этот полуостров всегда был литературной Меккой для писателей; кроме того, там есть возможность разместиться в пансионате «Крымские дачи». Но украинских русскоязычных писателей я знала далеко не всех. И тут помог случай: в Штутгарте осенью 2008 года я познакомилась с Юрием Григорьевичем Капланом, председателем Конгресса литераторов Украины и предложила ему провести фестиваль «Славянские традиции» в Крыму совместно с Союзом писателей России. Он горячо поддержал эту идею, мы договорились встретиться в Москве и обсудить все подробности. Зимой 2009 года Юрий Григорьевич приехал в Москву, был подписан договор о сотрудничестве КЛУ и СП РФ, мы сформулировали основные задачи фестиваля и началась работа по его подготовке.

Я создала сайт фестиваля, мы дали объявления во всевозможные литературные источники, журналы, газеты и сайты. Я заручилась также поддержкой «Литературной газеты», газеты «Российский писатель», Литературного института им. А. М. Горького. Начали приходить первые работы на конкурс фестиваля, а к концу конкурса их было уже около тысячи. В августе мы с Юрием Григорьевичем планировали встретиться на фестивале, но в июле он трагически погиб… И тут оказалось, что он меня ни с кем не успел познакомить. Я нашла координаты Станислава Бондаренко из Киева, и с его помощью познакомилась по интернету, а затем уже и лично на фестивале с Валерием Басыровым из Симферополя, Владимиром Спектором из Луганска и Сергеем Главацким из Одессы, вот с ними мы и провели наш первый фестиваль. В России меня поддержали известные русские писатели: Ю. М. Поляков, В. А. Костров, Е. Б. Рейн, С. М. Казначеев, В. Н. Казаков, Н. И. Дорошенко. Особенно была ценна помощь «Литературной газеты», так как её читают во всех республиках бывшего СССР и за рубежом. Концепция фестиваля вытекает из его названия. Задачи фестиваля — сохранить традиции классической русской литературы, русского языка, открыть новых талантливых авторов и помочь им стать известными, объединить русскоязычных писателей всех стран, особенно славянских, изучать, благодаря литературным переводам, современную литературу наших стран.

МС. Кто может принять участие в фестивале? как оргкомитет отбирает авторов? кто входит в жюри?

ИС. До фестиваля проводится литературный конкурс, в котором могут принять участие все авторы старше восемнадцати лет, пишущие на русском языке. Главные участники фестиваля — это финалисты, победившие в литературном конкурсе, который проводится каждый год с 1 февраля в Интернете на сайте фестиваля. Но могут приехать и принять участие в фестивале и писатели, попавшие в лонг-лист, и просто гости. Произведения с присвоенными им кодами, анонимные, рассылаются членам жюри, а затем полученные баллы суммируются в компьютерной программе. На основании этих результатов формируются лонг- и шорт-листы, которые в конце конкурса публикуются на сайте; авторы, попавшие в шорт-листы, становятся финалистами фестиваля и приглашаются в Крым. За три года в жюри фестиваля побывали многие известные писатели: В. Костров, Е. Рейн, Ю. Поляков, В. Казаков, К. Ковальджи, С. Казначеев, К. Кедров, Е. Кацюба, А. Ольшанский, А. Торопцев, С. Айдинян, В. Басыров, В. Спектор, В. Шемшученко, А. Курейчик, О. Зайцев, С. Главацкий, А. Раткевич и другие.

МС. Были ли какие-то серьёзные открытия за время существования фестиваля? Назовите несколько самых звонких имён.

ИС. Да, на первом фестивале для меня были открытием имена одесских поэтов Л. Шарги, А. Щербаковой, киевских авторов И. Карпинос, А. Лемыша, С. Кривоноса из Сватово, Л. Некрасовской из Днепропетровска и многих других. На втором фестивале яркими авторами были А. Стреминская, С. Нежинский, И. Рейдерман, В.Шемшученко и другие. В этом году появились новые имена: А. Семыкин и И. Василенко из Ильичёвска, Б. Канапьянов из Алма-Аты, М. Шамсутдинова из Москвы, А. Константинова и П. Беседин из Киева и другие.

МС. Какие мероприятия входят в «календарь» фестиваля?

ИС. Фестиваль «Славянские традиции» состоит из двух частей: конкурсы, на которых участники сражаются за места и награды, это интересно и увлекательно, и выступления поэтов — творческие вечера, презентации книг, проектов, журналов, литобъединений и т. д. Таким образом, каждый может участвовать в том мероприятии, которое ему ближе. Кроме того, устраиваются выставки картин, фотографий, просмотры клипов и фильмов участников фестиваля. За дни фестиваля писатели совершают много творческих поездок по литературным местам Крыма: в г. Феодосию (дом-музей А. Грина, музей сестёр Цветаевых, картинная галерея И. Айвазовского), в г. Керчь (библиотека им. В. Белинского, Аджимушкайский комплекс), в пос. Старый Крым (дома-музеи А. Грина, К. Паустовского, литературно-художественный музей), в пос. Коктебель (дом-музей М. Волошина). Кроме того, проходят мастер-классы по прозе, поэзии, драматургии. А ещё, конечно, можно и загорать, и купаться в Азовском море. Стихи звучат и беседы длятся до глубокой ночи, и прощаться в конце фестиваля совсем не хочется.

МС. Каким вы видите будущее фестиваля?

ИС. Будущее увидеть сложно, вечных проектов не бывает, когда-то фестиваль переживёт свою идею, но пока хотелось бы, чтобы к нему присоединилось больше авторов из славянских стран — Чехии (кстати, в прошлом году в фестивале участвовал Союз писателей Чехии во главе с Карелом Сысом), Польши, Словакии, Болгарии, чтобы участвовали писатели всех российских, украинских и белорусских союзов, чтобы мы не существовали каждый в своей поэтической тусовке, а знали творчество друг друга, больше хотелось бы слышать переводов современной литературы; к выполнению этих планов и будем стремиться.

МС. О чём — вне протокола — вам самой хотелось бы рассказать нашим читателям?

ИС. А вне протокола мне хотелось бы рассказать об удивительно доброй, творческой и праздничной атмосфере, царящей на фестивале. Показать свои произведения авторитетным членам жюри, обсудить их на мастер-классе, познакомиться с авторами, стихи которых читали только в Интернете, поспорить друг с другом, подарить и принять в подарок книги, попасть в среду себе подобных — большое счастье для пишущего человека. А если мы не создадим себе праздник, *то кто?*

Праздник состоялся. Правда, замученный вид Серёжи Главацкого и Жени Краснояровой, настойчиво, но деликатно опекавших меня во время Щёлкинской программы, яснее ясного свидетельствовал о том, что «всё прекрасное столь же редко, сколь и трудно», однако замученность эта не лишала их радостного подъёма и оптимизма. Мы подружились, что само по себе прекрасно.

Стихи победителей фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции–2011»

1. «Поэзия: свободная тематика»

Александр Семыкин (Ильичёвск, Украина)

Зимний сон

Зима, как зверь свирепый, мглу
грызёт, являя прикус волчий.
Мой крик сползает по стеклу,
но молча.

Слепая ночь горчащий яд
со льдом мешает в кружке стужи,
рождая сто миров, где я
не нужен.

Мой сон метелью снежных бритв
разбит на множество осколков,
и я не сплю, я лишь убит
и только.

Игорь Кучебо (Москва)

Утро снимает тени, разводит слякоть,
определяет по сторонам квадрат.
Ниточная собака не станет лаять,
даже вышитая стократ.

Розничное детство, взвешенное руками
уличной торговки на ржавых весах,
вытянулось по небу облаками,
иногда всплывающими в словах.

Вспоминается зеркало, стол кухонный,
преломлённое облако за окном.
Золото заутреннее иконное,
медленно вливающееся в дом.

Шёпотом разбуженное, как будто чудо,
шорохом магических детских фраз.
Жук, возникший из ниоткуда,—
с тучами вместо глаз.

2. «Стихотворение о любви»

Ирина Василенко (Ильичёвск, Украина)

mein lieber

Уходит эпоха, mein lieber, уходит неслышно эпоха,
Ломаются судьбы, и в мареве лета осталась лишь кроха
Того, что цепляло, держало, стирало границы
И в руку ложилось пером пролетевшей жар-птицы.

Уходит эпоха, mein lieber, но ты остаёшься со мною.
Как глупо мы колкие дни разбавляли войною,
Сжигали мосты и листали разлук неизбежность,
На краешке лета теряя последнюю нежность.

Mein lieber, my darling, мой свет в запотевшем оконце,
Взгляни: слишком мало любви и надежды—на донце.
Кончается лето, уходит эпоха—легко, по-английски,
А мы остаёмся (без солнца и прав переписки).

Владислава Ильинская (Одесса, Украина)

нет никакой гарантии, это опыт.
это—уникальный эксперимент.
вам отпускается время, оно же—топит
в мутных своих глубинах. в один момент
ты превращаешься в точку небесной сферы,
ты превращаешься в пыль на краю земли,
когда твой внутренний доктор откроет двери
и скажет: простите, мы сделали что смогли.

новое утро стягивает одеяло, как будто скальп.
плещет тебе, ещё сонному, в лицо ледяной водой.
нужно подняться на ноги, нужно идти искать
то, что и так всю жизнь волочится за тобой.
и пока ты вот так вот гоняешься за хвостом,
наступаешь себе на горло, расплющивая кадык,
твой хранитель кладёт на коленку двойной листок
и старательным почерком записывает ходы.
и когда ты уже совсем собьёшься и с ног, и с сил,
и поймёшь, что по всем подсчётам прошёл лишь треть,
подойди к нему, спящему, и тихонечко попроси,
чтоб он дал тебе на своё творение посмотреть.
а когда ты начнёшь возмущаться и возражать:
мол куда подевался его знаменитый слог,—
хорошенько задумайся и рискни ему доказать,
что твоя история интереснее, чем колобок.

3. «Литературный перевод»

Бахытжан Канапьянов (Алматы, Казахстан)

Утраченное вино

(из Поля Валери)

Как будто жертвуя небытию под небом,
Плеснул я в океан из амфоры вина.
Невольный взмах руки, что разуму неведом,
Почти не отразив, втянула глубина.

Быть может, магия чернеющего дна,
Хмельную кровь перемешав с небесным хлебом,
Повелевает мной, и там, быть может, следом
Над волнами встаёт души моей волна.

Мгновение—и всплеск, и розовая дымка,
На гребне волн мелькнув, ныряет невидимкой
В привычную прозрачность пробуждённых вод.

И боги там, на дне, скрестив морские узы,
Стада вечерних туч выводят в небосвод—
Забили волны шторма в колокол медузы.

Павел Кашаев (Днепропетровск, Украина)

Рояль

(Из В. Сосюры)

Синий месяц химерной игрою
освещает узор на окне.
И рыдает рояль за стеною,
и от этого тягостно мне.

И от этого больно, возможно…
Что ты, сердце? Прошу: помолчи!
Кто на клавиши думы тревожно
изливает слезами в ночи?

Что чужая душа потеряла?
Что так тронуло душу мою?
Зачарованных звуков немало,
их всё больше и больше люблю.

Но внезапно сменила рыданья
песня счастья… И стало легко…
Моё сердце на крыльях мечтанья
унеслось далеко-далеко…

Ой, моя соловьиная доля,
ты когда-то в изгнанье была,
но смогла распрощаться с бедою
и забытую радость нашла.

Так играй же! Всем сердцем с тобою
я о жизни прекрасной спою…
И смеётся рояль за стеною,
словно чувствует просьбу мою.

«Волошинский сентябрь»

фестиваль и симпозиум

Коктебель — особое место. Старожилы — к ним относятся и многочисленные сезонные жители, которые десятилетиями приезжают сюда весной и которых язык не поворачивается назвать «дачниками», — уверяют, что потухший вулкан Карадаг, поднимающийся над маленьким курортным посёлком из вод морских, заряжает камни и воду целительными вибрациями; что тончайший воздушный коктейль морской соли и степных трав лечит тело и душу, а бессмертные тени великих, некогда обитавших здесь, придают скромным коктебельским пенатам неизъяснимое обаяние. Можно даже сказать, что здешние пенаты, «гении места», — те же аониды, музы, звонкоголосые, как цикады, и приветливые, как тонкие утренние облака.

Коктебель манит к себе «культурных туристов» всевозможными способами. Фестивали и праздники следуют один за другим. Только за первые две недели сентября здесь прошло несколько джазовых форумов, и атмосфера, в которую окунулись участники *IX-го Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь»*, уже была определённым образом разогрета.

Андрей Коровин, сопредседатель Оргкомитета, ответил на мои вопросы об этом грандиозном событии.

МС. Фестиваль-симпозиум «Волошинский сентябрь» проводится уже в девятый раз. Какова его история? Как развивались его основные направления, структуры? Какие организации и персоны «приложили руку» к тому, что этот грандиозный праздник искусств не мельчает, а только набирает силу из года в год?

АК. «Волошинский сентябрь» был задуман в две тысячи втором году (вначале — поэтический конкурс, затем — литературный фестиваль и пленэр) с главной целью — возродить Коктебель как культурный центр, каким он был почти весь двадцатый век, начиная со времени Волошина. В две тысячи третьем мы с директором Дома-музея М. А. Волошина Наталией Мирошниченко объявили первый конкурс с условием, что назовём победителей и вручим награды в Коктебеле. Так творческий люд потянулся «назад в Коктебель». Некоторые провели здесь детство и с тех пор не были по двадцать-тридцать лет, а некоторые приехали сюда впервые благодаря конкурсу и фестивалю. Наш проект восходит к духу волошинского Дома, и это во многом влияет на его развитие. Мы начинали фестиваль как поэтический, но скоро поняли, что без прозы нам не обойтись. На одном из фестивалей ярким событием стал турнир прозаиков. Затем в конкурсе добавились номинации критики и перевода, и фестиваль пополнился критиками и переводчиками. В две тысячи одиннадцатом году впервые учреждены две номинации — видеопоэзии и драматургии. И участниками фестиваля стали видеорежиссёры и драматурги. С нами начали сотрудничать и театральные режиссёры. С детскими писателями сделали проект — Детские дни на Волошинском фестивале. С самого начала параллельно с нами, а затем всё более сближаясь, проходит пленэр художников «Коктебель». Сегодня «Волошинский сентябрь» — это уже глобальный форум искусств. И новыми жанрами и видами искусства он будет только прирастать.

Я могу перечислить тех, кто стоял у истоков: это, конечно же, руководитель Дома-музея М. А. Волошина Наталия Мирошниченко, ваш покорный слуга, затем — директор заповедника «Киммерия М. А. Волошина» Борис Полетавкин, старший научный сотрудник музея Игорь Левичев, поэт и тогда один из руководителей Союза писателей Украины, к сожалению, трагически погибший, Юрий Каплан, руководитель сайта Поэзия.ру Леонид Малкин, культуртрегеры Юрий Ракита и Андрей Новиков, поэты Юрий Кублановский, Александр Кабанов, Алексей Остудин, Станислав Минаков, Ирина Евса, Андрей Грязов, Константин Прохоров, прозаик Этери Басария, прозаик и первый секретарь Правления Союза российских писателей Светлана Василенко, президент Благотворительного фонда поддержки современной русской поэзии «Реальный процесс» Анна Токарева. Идея детской программы симпозиума принадлежит Елене Усачёвой и Анне Матасовой. Алла Басаргина, концертмейстер и удивительная

женщина, радушно принимала нас в своём культурном центре «Вилла Basso». Несколько лет нашим незаменимым помощником был Лёша Ефимов. Каждый год кто-то отходит от этого фестивального водоворота, а кто-то напротив — втягивается. Активно включился в организационную работу московский поэт Евгений Чигрин. В прошлом году нашим гостем впервые был директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он по достоинству оценил фестиваль и помог ему заручиться поддержкой премьер-министра Украины Николая Азарова. Неоценимую помощь оказал нам в этом году Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Содействие оказала Международная Ассоциация центров современной культуры «Живая классика». А стабильный состав учредителей симпозиума-фестиваля на сегодняшний день таков: Дом-музей М. А. Волошина, Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М. А. Волошина», Союз российских писателей и журнал культурного сопротивления «ШО». Постоянное содействие оказывают Министерство культуры Автономной Республики Крым и Коктебельский поселковый совет. Также хочется сказать отдельное спасибо конкретным людям, без которых нам было бы нелегко: Ирине Легоньковой, Александру Хачко, Дмитрию Коломенскому, Елене Усачёвой и Глебу Номерову, а также Анатолию Степаненко и Алексею Ушакову, которые вели фото- и видеолетопись симпозиума.

МС. Что означает для организаторов и участников «волошинский дух» фестиваля? соответствуют ли этому духу нерв, настроение и стиль поэзии и прозы, звучащих и обсуждаемых на мастер-классах, встречах и презентациях?

АК. Место и его дух создаются людьми. Здесь жил Волошин, и он был гением этого места, сюда тянулись лучшие и талантливейшие люди России. Затем был создан закрытый писательский Дом творчества, и здесь отдыхала советская творческая интеллигенция. Впрочем, и антисоветская тоже. Это был островок свободы — «интеллигентное» противостояние системе, недозволенные речи, стихийные нудистские пляжи, влюблённости, переходящие в нешуточные романы, в том числе — литературные, и, конечно, картины, книги, стихи. Например, свой знаменитый «Остров Крым» Василий Аксёнов написал здесь. Думаю, что количество произведений литературы и искусства, написанных в Коктебеле, просто не поддаётся статистике. Островок свободы здесь остался и по сей день. И замечательно, что в сентябре это место вновь становится культурным центром мирового значения, куда съезжаются творческие люди из разных стран мира, чтобы сотворять здесь общий проект под названием «Коктебель».

Вообще, «волошинский дух» — это в первую очередь дух творчества, высокого и серьёзного, но в том числе и озорства, розыгрышей, экспериментов. Поэтому, на мой взгляд, всё, что талантливо и не скучно, — близко Волошину.

МС. Какую роль в организации и проведении конкурса и фестиваля играют литературные журналы?

АК. С самого начала мы ставили перед собой задачу — открывать новые имена и помогать талантливым авторам находить своих издателей. Поэтому в жюри Волошинского конкурса мы изначально старались приглашать редакторов литературных журналов. И эта традиция сохраняется, а участники конкурса действительно становятся авторами журналов, которые являются нашими партнёрами. Мы работаем со многими литературными журналами — это «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Дети Ра», «Урал», «Сибирские огни», «Крещатик», «Современная поэзия» и другие. В последнее время журналы часто объявляют тему, на которую нужно прислать произведения. Лучшие произведения и авторы, по выбору редакций журналов, публикуются на их страницах.

Редакторов журналов мы приглашаем в Коктебель вести мастер-классы по поэзии, прозе, критике. И здесь происходит знакомство уже не только с произведениями, но и с их авторами, происходит живой диалог автора и редактора, ценность которого в литературном процессе является одной из первостепенных.

Хочу добавить, что за девять лет нами было открыто немало имён, теперь известных в современной литературе, среди которых я могу назвать: поэтов Бориса Херсонского, Алексея Остудина, Валерия Прокошина, Андрея Баранова из Ижевска, Анну Аркатову, Льва Болдова, Геннадия Каневского, Андрея Нитченко, прозаиков Ирину Василькову, Наталью Ключарёву, Вячеслава Харченко, Сергея Игнатова из Киева, Александра Барбуха, Юлию Шералиеву, Ганну Шевченко, Владимира Захарова из Петрозаводска, критиков Александра Чанцева, Евгению Вежлян, Екатерину Иванову из Саратова и многих других. Лауреатом Волошинского конкурса был будущий букеровский лауреат Александр Иличевский.

И всё это во многом благодаря нашим коллегам из литературных журналов. Так что их роль бесспорна и очевидна.

МС. Как вы оцениваете динамику «качества» литературных произведений, предлагаемых авторами на Волошинский конкурс? Можно ли считать конкурс неким особым «зеркалом» современного всемирного русскоязычного литературного процесса (если только здесь уместно слово «всемирного»)?

АК. О всемирном говорить не готов, хотя в конкурсе действительно принимают участие авторы со всего мира — от Америки до Австралии. Всё-таки это определённый срез, а не доскональное изучение литературного процесса. Современная русскоязычная литература рассредоточена по всему миру и живёт своей, порой достаточно обособленной, жизнью. Лет семь-восемь назад в Москве не представляли, что происходит на

Украине, например. Сейчас ситуация исправлена, во многом—благодаря Волошинскому конкурсу и таким фестивалям, как Волошинский и «Киевские Лавры». Белое пятно для нас пока—Беларусь, Казахстан, я уж не говорю о Киргизии или Таджикистане. Гораздо лучше мы знаем русскоязычный Израиль или Америку.

Показатель динамики качества—публикации в литературных журналах. Произведения победителей и финалистов конкурса регулярно печатаются в «Октябре», «Дружбе народов» и других журналах, выходили специальные номера журналов «Дети Ра», «Урал», «Сибирские огни», посвящённые Волошинскому конкурсу. Я не знаю ни одного другого литературного конкурса сегодня, который был бы прямой дорогой в толстые журналы. Есть конкурсы, которые издают победителям книги или выдают денежные премии, но публикация в главной составляющей современного культурного процесса—известном литературном журнале—очень важна.

Что ещё важно—в конкурсе участвуют не только начинающие авторы. Участвовать в нём считают для себя престижным и авторы с именами, уже имеющие серьёзные публикации, и порой даже признанные литературные метры. Эта встреча поколений в Волошинском конкурсе сама по себе знаменательна и для нас очень важна.

Вообще, на конкурс приходят интереснейшие вещи. Воспоминания потомка садовника Волошина. Мемуары мужа поэтессы, чей прах захоронен в горе Кучук-Енишар, немного ниже могилы Волошина. Это исторические документы, а не только литературные. Были и забавные случаи: одна дама пыталась себя выдать за наследницу Волошина, хотя детей у него, как известно, не было.

мс. Четвёртый год существует Международная Волошинская премия. В чём её отличие от других премий?

ак. У неё несколько отличий, назову два главных. Первое—две постоянных номинации. Номинация «За вклад в культуру» отмечает деятельность людей не только в области литературы, а вообще в гуманитарной сфере, в том числе имеющих отношение к личности и творчеству Максимилиана Волошина. Скажем, в России деятельных людей очень много. В каждом городе и городишке можно найти энтузиастов и подвижников, на которых держится культура в данном конкретном месте. Можно сказать, только ими она и жива. Вообще, стоило бы учредить премию «Подвижник» для таких вот людей из маленьких российских городков. Но одно дело поддерживать родную культуру в своём доме, своём городе, и другое—поддерживать культуру другого народа в своей стране или в международном культурном поле. Яркий пример—лауреаты премии в этой номинации последних двух лет—испанка с мексиканскими корнями Сельма Ансира и француженка Мари-Од Альбер. Сельма переводит русскую классику—от Пушкина до Волошина—на испанский, а Мари-Од организовывает в Париже выставки, посвящённые русской культуре. Вот он—неоценимый вклад в русскую культуру! Вклад, который свои же соотечественники вряд ли по достоинству оценят. Или ещё два наших лауреата—организаторы ярких, знаковых современных фестивалей: Александр Кабанов—организатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры»—и Алла Басаргина—организатор фестиваля искусств «Куриный Бог» в Коктебеле. А самым первым нашим лауреатом посмертно стал один из создателей музея М. А. Волошина в Коктебеле, исследователь-литературовед Владимир Петрович Купченко. Эту номинацию поддерживает морально и материально банк ВТБ, за что ему огромное спасибо.

Второе отличие—особенность второй номинации нашей премии «Лучшая поэтическая книга такого-то года». Тут обращает на себя внимание возраст наших лауреатов. Ими были на сегодняшний день: Андрей Поляков, Александр Переверзин и Мария Ватутина. Это среднее литературное поколение—то, которому обычно не достаётся никаких наград, они как бы в безвременье: возраст «Дебюта» и Форума в Липках пройден, а возраст «выслуги лет» и премии «Поэт» ещё не наступил. Это критический возраст для любого человека, для творческого—тем более. Поэтому особенно важно поддержать уже состоявшегося, но часто—сомневающегося поэта, напомнить о нём литературным критикам и издателям. Мы рады, что Большое Жюри Волошинской премии присуждает победу, безусловно, значительным поэтам, и мы также благодарны тем, кто этих поэтов выдвигает на премию. Эту номинацию последние два года материально поддерживает журнал культурного сопротивления «ШО».

Ещё один важный аспект премии: помимо Большого Жюри, в которое входят признанные мэтры и литературные критики, у нас есть ещё Студенческое Жюри. Это наш совместный проект с Центром новейшей русской литературы РГГУ. Это жюри присуждает свою Специальную студенческую премию. Нам кажется, что это очень важно—знать и фиксировать взгляд молодых филологов и читателей на современный литературный процесс. Эту идею поддержал ОТП Банк, придав ей денежное выражение.

мс. Расскажите немного о научной составляющей Волошинского фестиваля. Ведь это не просто фест, но ещё и научный симпозиум.

ак. Главным отличием «Волошинского сентября» от других подобных фестивалей является то, что двигателем симпозиума является Дом-музей М. А. Волошина, в деятельности которого «Волошинский сентябрь» занимает очень важное место, и то, что симпозиум является комплексом нескольких культурологических проектов, в каждом из которых имеется научная составляющая. Миссия Дома-музея состоит, в том числе, и в «сохранении уникальной аутентичной коллекции, духовных и культурных ценностей Дома Максимилиана Волошина и интеграции

их в современное общество». А разве не эту же цель преследует и наш фестиваль? Те же мастер-классы — это научно-просветительные мероприятия, говоря казённым языком. По результатам симпозиума в литературных и научных журналах публикуются статьи и исследования сотрудников музея и участников фестиваля. По результатам художественного пленэра создаются новые экспозиции, а это уже научно-экспозиционная работа. Широко презентуется издательская программа музея, включающая научные сборники. Наши круглые столы — это материал для исследования культурологов и социологов. Так что хотя основная часть симпозиума — творческая, но и научная деятельность является частью нашей общей работы.

МС. В чём особенность (уникальность) нынешнего, девятого, фестиваля?

АК. Во-первых, благодаря поддержке симпозиума фондом МФГС мы смогли пригласить литераторов и художников из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы. Были желанные гости из Польши, в том числе — художники, поддержанные Польским институтом в Киеве, а также — из Германии, Грузии, Финляндии, Франции и других стран. Расширение географических границ, новые интересные люди, знакомства, которые перерастают в творческие связи, — всё это очень важно для дальнейшего развития симпозиума.

Во-вторых, в этом году мы положили начало сотрудничеству с театрально-драматургической программой «Премьера-PRO». Драматургический конкурс «Премьера» существует уже десять лет, это конкурс с международным именем, уважаемый и интересный. И я очень рад, что арт-директор «Премьеры» Светлана Кочерина оказалась контактным, креативным и, главное, «крымским» человеком, и мы провели в этом году конкурс мини-пьес в рамках Волошинского конкурса. На конкурс прислали сто двадцать работ, среди них были очень интересные. По этим пьесам с драматургами в Коктебеле были проведены мастер-классы, а некоторые были показаны режиссёром Валерией Приходченко и самими драматургами в нашей программе. Читку пьес из шорт-листа мы будем делать и в Москве. И я уверен, что театрально-драматургический проект в рамках симпозиума будет развиваться.

Третье новшество — конкурс видеопоэзии и показ лучших поэтических фильмов в Коктебеле. Видеопоэзия — новый жанр, у него ещё толком не сформировались какие-то границы и законы, поэтому наблюдать его становление тем более интересно. В этом нам помогали литературный проект «Русский Гулливер» и портал видеопоэзии «Гвидеон».

Четвёртое — поэт Сергей Жадан предложил провести футбольный матч. Это предложение вызвало огромный энтузиазм у участников симпозиума. В футбольную команду записались даже четыре девушки. И матч был поистине захватывающим, с опасными моментами, неопасными травмами, а закончился вничью, что особенно приятно, если учесть, что поэты играли с профессионалами.

Были ещё поэтическое шествие и «Русалии» московского режиссёра Елены Пенкиной.

Впервые закрытие литературного фестиваля происходило в самом центре Коктебеля — на площади искусств перед Домом Максимилиана Волошина. Это была яркая акция-перформанс «Древо желаний», в создании которой принимали участие фестивальщики, гости и жители посёлка, дети из художественной школы. Во исполнение написанных на бумажных листьях древа пожеланий в ночное небо Киммерии взмывали огоньки на воздушных шарах.

Много было интересного за семь дней симпозиума, а это — более шестьдесят мероприятий. И это была настоящая напряжённая творческая работа с ненормированным рабочим днём. Программа начиналась в десять утра и заканчивалась за полночь. А уж разговоры и дискуссии порой длились до самого утра. Не знаю, успевали ли наши участники при этом ещё и окунуться в море. Организаторы точно не успевали. Но несмотря на это, многие уже выразили желание принять участие в следующем, юбилейном, десятом симпозиуме, посвящённом статридцатипятилетию Максимилиана Волошина. А это значит, что мы работаем не напрасно.

К сказанному Андреем мне бы хотелось добавить несколько своих соображений. Взгляд — как бы уже изнутри, но ещё и со стороны. Вне всякого сомнения, Волошинский фестиваль — один из самых представительных профессиональных съездов. «Вселенский собор» русской (и русскоязычной — приходится признать, что сегодня это *разное*) литературной элиты в самом позитивном значении этого слова. Профессионализм отличает Волошинский форум от ставших уже привычными многочисленных графоманских тусовок. И дело здесь даже не в присутствии «звёздных» персон… Уровень организации, общения, дискуссий, качество представленного творческого вещества — всё это если не на пределе возможного, то, по крайней мере, устремлённость к пределу ощущалась в каждой мелочи. И хотя избежать шероховатостей в таком многоплановом событии невозможно, в целом они не портили впечатления, за что снова и снова — великая признательность всем, кто к деянию сему руку приложил.

Многое из того, что здесь происходило, стало для меня подтверждением нарастающей поляризации литературного пространства. Одна молодая поэтесса, предложившая стихи в «День и ночь», на мой призыв подумать о читателе и быть, по возможности, проще — откликнулась так: «А я думала, сегодня нельзя без „подвывертов“». Завихрения всевозможных «подвывертов для подвывертов», почти совершенно поглотившие нашу словесность (по крайней мере, ту, что на виду), образуют в ней чудовищный мёртвый омут,

затягивающий всё, что не способно сопротивляться. Унылые вереницы почти не отличимых друг от друга версификаций, воспроизводимых с импровизированных подмостков,—отличительная черта, увы, не одной фестивальной площадки. Скука, вялые аплодисменты зевающей публики, потеря, в конце концов, этой публики… Всё это бурно обсуждалось потом «в кулуарах»—в кафешках, на пляже, на прогулках и «дружеских попойках» (как без них!). При этом очевидна была открытая манифестация чего-то иного, противоположного «мертвечине». Живая жизнь, подъём, жадный интерес к миру, меняющемуся на глазах, страсть познания и стремление к художественной правде—всё это образовывало на фестивале некие «точки кипения», которые постепенно притягивали к себе всё больше и больше участников. Замечу, тяготение к тому или другому полюсу никак не связано со стилем или традицией, которой следует автор. Просто есть Поэзия и имитация оной на потребу конъюнктуре. Последняя, конечно, гораздо более социально адаптирована, избалована поощрениями и финансовыми вливаниями. Зато первая мощно выбивается из-под завалов и скоро-скоро (о надежда, которая умирает последней!) будет бить ключом!

Одну из таких «точек кипения» я наблюдала вблизи. Это был мастер-класс двух поэтов: доктора культурологии, кандидата филологических наук, президента Академии Зауми Сергея Бирюкова и президента Союза писателей XXI века, главного редактора журналов «Дети Ра» и «Футурум АРТ» (и прочая, и прочая) Евгения Степанова.

О Степанове не стану долго говорить. О нём много сказано. Не хочу повторяться. Думаю, что в памяти благодарных потомков его имя сохранится так же, как мы храним имена Павла Третьякова, Саввы Морозова и Сергея Дягилева. Только Степанову труднее, так что и память о нём, наверное, будет светлее и драматичнее.

Бирюкова прежде я вблизи не видывала. По коротком же знакомстве он произвёл на меня ошеломляющее впечатление. Представьте себе профессора европейского университета, этакого raffiné: речь, манеры, мимика, жестикуляция—вся тончайшая механика общения, которая изобличает в наших глазах человека определённого воспитания и круга. И вдруг он выходит к микрофону, и начинается—шаманское камлание? индейская ритуальная пляска? Кажется, горло поэта-декламатора способно воспроизвести любой звук—от гортанного крика горлицы до скрежета металла о металл. А потом откуда-то являются картонная дудка—пугающе громкая—и летающий диск, на глазах у зрителей запускаемый в небеса. Так президент Академии Зауми чествовал Владимира Алейникова, нового академика, лауреата Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.

Сергей Бирюков—звучащий инструмент поэзии. Он один из немногих, кто знает о переднем крае поэтических поисков—всё. Или почти всё. Мастер-класс, который он вёл вместе со Степановым, был посвящён литературному авангарду. Но под конец в маленький холл пансионата «Камелия-Кафа», где разместился класс, слетелось всё, что почуяло энергию совершающегося здесь волшебства.

Живое русское слово вызвало из тектонических культурных пластов новое поколение литературоведов и критиков. На мастер-классе Бирюкова и Степанова тон обсуждениям задавали молодые филологи, бескомпромиссные, жёсткие, отважные, не оглядывающиеся на регалии и лица—и при этом высоко эрудированные и компетентные. Мне особенно запомнились *Евгения Коробкова* («Какой живой, говоря пушкински, раздробительный (в положительном смысле) ум!»—отозвался о ней Бирюков) из Челябинска и *Мария Суворова* из Вологды. Уверена, мы ещё не раз встретим на страницах литературных журналов эти имена.

А потом мэтр был настолько любезен, что согласился дать мне эксклюзивное интервью. Вот оно—слово в слово.

Интервью президента Академии Зауми Сергея Бирюкова журналу «День и ночь»

МС. Сергей Евгеньевич, что сегодня в искусстве можно назвать «авангардом»? Кажется, всё уже испробовано. Какие возможности для эксперимента остаются в современной литературе, особенно—в поэзии?

СБ. Поэзия—если брать древнегреческое определение poesis—это «творение». Творение—всегда эксперимент. Бог творил землю—экспериментировал. И мы плоды этого эксперимента пожинаем до сих пор. Поэт—по определению экспериментатор. Он экспериментирует на себе. Как в медицине врачи иногда ставят эксперименты на себе. Вроде Пастера… часто с летальным исходом *(смеётся)*. Я не призываю, конечно, к летальному исходу, но так, увы, бывает. Поэзия действительно глобальный эксперимент. И авангард существовал всегда, какие-то крайние, радикальные формы искусства, авторы, которые выходили на первый план… Но в конце девятнадцатого века, в начале двадцатого появились авторы, специально и активно занимающиеся экспериментом. Это то, что мы называем «историческим авангардом». Во второй же половине двадцатого века стало очевидным явление, которое я называю «внеисторическим авангардом». Исторические авангардисты не считали себя «авангардом». Это не было их самоназванием, так их назвали позже, когда стали говорить об «авангардной эпохе». А «внеисторические авангардисты» осознали себя именно авангардом. Так что, по сути дела, авангард сейчас только начинается. В чём смысл этих различий—надо специально разбираться. Я написал на эту тему несколько книжек, ряд статей. И не только я. В две тысячи восьмом году в Бельгии, в городе Генте, проходил грандиозный Международный симпозиум, посвящённый европейскому модернизму и авангарду. До сих пор учёные спорят, что относить к модернизму, что—к авангарду.

В течение недели собравшиеся со всего мира крупнейшие исследователи этих движений пытались выработать какие-то близкие определения, методы анализа того, что происходило в искусстве в течение всего двадцатого века. Что же можно ещё открывать?

мс. Да, ведь поэты уже и видеоряд какой-то вносят в стихи, и наши привычные столбики-строфы в виде картинки располагают на странице, и сами эти «столбцы» разрушили, вытянув стихи в прозаические периоды… куда же ещё?

сб. В своих книгах «Зевгма» и «Року укор» я как раз рассматриваю «поэзию для глаза» и «поэзию для слуха». Здесь много возможностей для эксперимента. Визуальная поэзия. Перевод вербального поэтического текста, поэтической фантазии—в графику. Этим занимались уже давно. Был такой Алексей Николаевич Чичерин, который вообще считал, что слово—рак поэзии, что слово вообще не должно использоваться. Возникает конфликт между словом и изображением. Конфликт—поиск гармонии.

Вместе с тем существует и поэзия для голоса и слуха. Лично я считаю, что поэзия должна звучать, и есть целое направление в русском авангарде и в исследованиях русской поэтики… Квятковский, Сабанеев, Малишевский занимались музыкально-поэтическими теориями. Поэзия должна произноситься… как она должна звучать? Какие оттенки передавать? Это не актёрское чтение… поэт воссоздаёт перед публикой своё произведение. И этот процесс «воссоздания» есть «до-создание» самого текста. У авангардиста—огромное поле действий. Я вижу, что даже авангардные люди, которые пишут очень необычные вещи, необычно их строят, не всегда могут внятно их артикулировать и адекватно посылать публике. Этот посыл публике, это взаимодействие с публикой—даже если публика не понимает и смеётся—это тоже взаимодействие, коммуникация… поиски коммуникации разнообразны. Мы с вами на фестивале слушали разные выступления. Довольно часто это было что-то очень невнятное. «Хорошо, я вам что-то прочту… я вообще-то пишу гениальные стихи. Ну, я сейчас вам как-нибудь их прочту». Вот с этим «как-нибудь» авангард сражается. К сожалению, даже в авангарде мало людей, которые этим занимаются.

Последнее время многие экспериментируют с «видео»—здесь тоже возможен и нужен поиск.

мс. Академия Зауми—что это такое? Как возникла идея? Как функционирует Академия? Чего она добилась за годы своего существования?

сб. Предыстория такова. В восемьдесят первом году в городе Тамбове я сделал литературную студию при областном Доме учителя, которая называлась «Слово». В этой студии я занимался с литераторами, среди которых были и люди молодые, и в возрасте, уже сложившиеся. Именно тогда я стал знакомить студийцев и сам очень плотно заниматься авангардными текстами. Я разработал особую программу для студии «Слово» и включил туда поэтов и писателей, которые имели отношение к авангарду. Хотя люди писали совершенно разные тексты—стихи, прозу, и там были обычные для литературных групп занятия, с заданиями написать рондо, сонет и т. д. Но в то же время мы работали над стихами каждого из авторов в некотором авангардном ключе. Постигали некие поэтические начала—через авангардные тексты. Я читал им Хлебникова, Маяковского, Кручёных… Помимо того, что мы обсуждали собственно творчество этих авторов и вели разговоры на философские, театральные темы… у нас была дружба с киноклубом, с архитекторами. Короче говоря, я создал в городе ячейку культурной коммуникации с обращением ко всем искусствам. И этого вроде бы даже было достаточно. Но мы решили устраивать представления, чтобы ещё и публике показать творчество раннего авангарда. Мы сделали серию музыкально-поэтических представлений в областной библиотеке из истории русского авангарда, потом из истории русского и мирового авангарда… четыре или пять вечеров… и к девяностому году у меня созрела мысль, что пора создать Академию Зауми.

Авангард был всё-таки искусственно прерван, эта традиция была прервана, а она уже академизировалась… если взять ГИНХУК Малевича—они уже академизировали, пытались учить этому… его попытки «Супремус» ввести… и русская формальная школа, которая занималась исследованием тончайших элементов литературы: Шкловский, Якобсон, Тынянов. Я решил, что сначала надо сделать Российскую Академию, потом понял, что этого мало. Нужна Международная Академия. К этому времени я уже был связан многолетними отношениями с разными авторами, которые были близки к авангарду. Это был уже «третий авангард». Я подружился с Геннадием Айги, переписывался с авангардными деятелями из города Ейска на Азовском море—Ры Никоновой и Сергеем Сигеем, сейчас они живут в Киле, в Германии. С рядом питерских авторов—Владимир Эрль, Александр Горнон, Борис Констриктор. В Москве—Генрих Сапгир, Игорь Холин. С Вознесенским у меня были встречи. Так что я решил совершить этот шаг. Студию «Слово» я переименовал в «АЗ». Это сокращение Академии Зауми, с одной стороны. С другой стороны, первая буква алфавита. Мы придумали Международную отметину имени отца русского футуризма Давида Бурлюка, чтобы отмечать достижения отечественного авангарда и международные исследования. У меня были контакты с филологами, я дружил с известным хлебниковедом, который недавно умер, к сожалению, Виктором Петровичем Григорьевым… это блестящий совершенно филолог и хлебниковед… А до этого был ещё восемьдесят пятый год, столетие Хлебникова. Первые Хлебниковские чтения состоялись в Астрахани, в которых я участвовал. Я тогда написал такую композицию, которая называлась «Белый ворон», пронизанную хлебниковскими аллюзиями… так и создалась та

новая структура, Академия Зауми, абсолютно независимая, не имевшая никогда никаких денег, дотаций. Всё, что я делал, я делал за собственные средства, которые зарабатывал преподаванием, чтением лекций и т. д.

мс. И кто же они, сегодняшние академики?

сб. Я уже назвал некоторые имена: Геннадий Айги, Ры Никонова… Андрей Вознесенский тоже входил в аз. Петербургские авторы — кроме тех, кого я назвал, Борис Шифрин, Арсен Мирзаев, который сейчас здесь присутствует… Исследователи — Григорьев, Наталья Фатеева, доктор наук из Института русского языка, которая занимается авангардом, Татьяна Никольская из Петербурга, Виктор Соснора… Вот сейчас академиком стал Владимир Алейников… несколько зарубежных исследователей и переводчиков русского авангарда на разные языки. Здесь сейчас Лео Бутнару из Молдавии. Он перевёл массу произведений русского авангарда на румынский язык. Он тоже у нас лауреат и академик. И — Евгений Степанов, который очень много делает, пропагандируя авангард своими журналами и различными акциями.

мс. Можно сказать, что определённым образом структурируется целый мир… Из хаоса возникает космос.

сб. Действительно, происходит структуризация и оформление, но… когда у меня спрашивают, где эта Академия размещается, какие у неё реквизиты, я мог бы ответить, что она в моей квартире размещается, что я сдаю под Академию офис… Но я обычно отвечаю, что это Академия в платоновском смысле. Она — «в садах». В данном случае, в пространстве Коктебеля. Вместе со мной.

Поначалу, конечно, не всё получалось так, как хотелось. Тамбов в смысле искусства город не шибко продвинутый. Там это, конечно, воспринималось… опять Бирюков чего-то там чудит… вот он авангардист и делает какие-то чудеса очередные… А потом, в девяносто первом году, я стал преподавать в Тамбовском университете. Меня давно туда приглашали, но по разным причинам я отказывался. А там работал мой бывший преподаватель по современному русскому языку, языкознанию, Владимир Георгиевич Руделёв, лингвист-структуралист… он меня всё время приглашал на свою кафедру русского языка. И в девяносто первом году я наконец согласился и восемь лет преподавал лингвистику. Современный русский язык, культуру речи, общее языкознание, фонетику… Сначала это было очень сложно. После университета я долгое время не преподавал предметы лингвистики, а занимался литературой. Мне пришлось за лето восстановить все эти циклы… причём меня пригласили, но простым преподавателем, ассистентом, у меня тогда ещё не было диссертации. Год я поработал тяжелейшим образом, но совершенно неожиданно это мне очень много дало. Я переформатировал свои поэтические поиски, поскольку стал заниматься фонетикой, снова обратился к Трубецкому, к общей фонологии… Пражская школа, датская, американская трансформационная лингвистика… пришлось войти во всё это очень основательно. И это действительно сыграло большую роль, в том числе и в моих занятиях со студией. Уже через пару лет преподавания я организовал в университете конференцию, посвящённую поэтике русского авангарда. Руделёв меня очень поддержал, а деканом была моя бывшая сокурсница… в городе меня, конечно, хорошо знали, ректор проявил понимание — и мы провели Международную конференцию, выпустили сборник. Трудно было в то время, девяносто третий год, очень трудно, не было средств, ничего… у нас был университетский журнальчик, и я просто придумал: вместо того, чтобы искать деньги на сборник, сдвоенный или строенный номер журнала посвятить материалам этой конференции. И тогда впервые на программках и везде было напечатано: Министерство образования России, Тамбовский государственный университет, кафедра русского языка, Академия Зауми. Необходимый элемент здоровой футуристической весёлости *(смеётся)*.

И потом мы провели восемь или девять конференций под общим названием «Слово». Когда сборники выходили, они всегда выходили с этим грифом. Так мне удалось утвердить Академию, и должен сказать, что сейчас в Москве мы впервые провели конференцию, посвящённую стодвадцатипятилетию Кручёных в музее Маяковского, и там в грифе тоже: Министерство культуры, Институт мировой литературы, Музей Маяковского и Академия Зауми. Дальше мы выпустили альманах Академии Зауми — пока один номер: помогли коллеги-академики. Несколько публикаций в девяностые годы я сделал в журналах. В журнале «Волга» вышла большая публикация, посвящённая Академии Зауми. Была статья в «Знамени», где я рассказывал об этом. И сейчас на научных конференциях мои бывшие ученики выступают с докладами об Академии Зауми, и это уже какая-то историческая перспектива. Двадцать лет уже исполнилось в прошлом году, и это уже вошло в историю. Хотя… я всё это делал — не совсем всерьёз. Академия Зауми — это же оксюморон. Горячий снег.

Много можно рассказывать. Были разные творческие прорывы… скажем, в две тысячи втором году я был в Амстердаме на конференции, посвящённой Хлебникову… там выходит известный славистский журнал «Русская литература»… вышел как раз сводный каталог… я посмотрел этот журнал и увидел, что там очень мало посвящено авангарду. Современный авангард почти не представлен. И я в отклике на конференцию, в газете «Русская мысль» в Париже, что-то такое об этом сказал. Главный редактор этого журнала, мой друг, после этой заметки мне предложил: «А не мог бы ты сделать номер, посвящённый современному русскому авангарду?» В результате вышел сдвоенный или даже строенный номер этого журнала, который я делал как приглашённый редактор.

На международном уровне мы достаточно хорошо представлены. Нас знают. Это, конечно, не та структура, которая кем-то финансируется есть, безусловно, определённые сложности, но я сейчас уже думаю, что если бы была какая-то организация с управлением, инфраструктурой—это сделало бы её тяжеловесной. А так она очень мобильна…

мс. Знаете, очень многие вещи, которые имеют серьёзный резонанс и определённую представительность, часто лишены финансовой составляющей. И это скорее хорошо, чем плохо. Это создаёт тот самый нравственный люфт, отдушину. Не всё измеряется в баксах.

сб. Совершенно верно. Хочу ещё добавить, из студии «аз» вышли весьма заметные в литературе люди. Например, Алёша Шепелёв. Поэт, прозаик, один из призёров «Дебюта». О нём пишут. Он уже очень известен. Несколько человек защитили кандидатские диссертации и сейчас уже защищают докторские. Писательница и поэтесса Елена Борода (Владимирова) недавно защитила докторскую диссертацию по произведениям Стругацких. У неё двое детей, она ещё молода, много пишет для детей и подростков… это, правда, уже не авангард, но сквозь нашу призму её творчество прошло… Ещё есть Елена Часовских, Александр Федулов, Владимир Мальков… только из Тамбова целая плеяда. Из Новосибирска—Игорь Лощилов. Сам меня нашёл и стал академиком. Виктор Іванів. Потрясающий поэт. В Красноярске у меня был тоже человек—Александр Суриков. По-моему, сам он из Иркутска, но он учился в Красноярске, в художественном институте. Он делал визуальные книги с прорезанными буквами. У нас есть Сибирское отделение Академии Зауми с центром в Новосибирске. Лощилов его возглавляет. Сокращённо—соаз. Есть Дальневосточное отделение Академии Зауми, которое называется дваз. В Хабаровске живёт Арт Иванов, которые пишет интересные вещи. Оттуда же две девушки, правда, они уже переехали сначала в Читу, а потом в Москву, у которых была группа «бабы обе». Они книгу выпустили под названием «из баб». Лена Круглова и Аня Золотарёва. Аня Золотарёва переводила стихи Шота Иоташвили, который нынче здесь, в Коктебеле. В Японии отделение называется яаз. В Германии, в университете, где я работаю, уже десять лет я веду студенческий экспериментальный авангардный театр, который называется «дадаз». Только что в Алма-Ате открылось Казахское отделение—коаз. Так мы осваиваем мир и, в общем, тяготеем к всеаз. С появлениям Интернета открылись новые возможности. Уже несколько лет мы вместе с Евгением Харитоновым делаем интернет-журнал радикального авангарда и комбинаторной поэзии «Другое полушарие» (drugpolushar.narod.ru). Это уникальное издание—с аудиоприложениями. Кроме того, Евгений проводит в Москве под эгидой журнала и Академии Зауми фестивали «Лапа Азора».

мс. Несколько слов о премиальном процессе. Что вы об этом думаете? Сложный вопрос, довольно болезненный для многих…

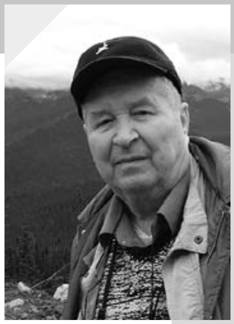
сб. Есть несколько моментов. Первый. Премии, как принято считать, и, наверное, так оно и есть, стимулируют премируемых. Человек получает премию, говорит себе: ага! я нужен! Даже если премия безденежная—это весьма и весьма стимулирует. Я знаю, что многие из тех, кто были награждены Отметиной, в своих резюме указывают этот факт. Недаром премиальный процесс идёт во всём мире. «Букер», «Нобель»… какая-нибудь премия Принца Астурийского… Премий очень много. Во Франции—огромное количество, больше, чем у нас. С другой стороны, материальная составляющая премий тоже очень важна. Дело в том, что положение литератора, писателя вообще в мире очень хрупкое, а в России—вообще ниже всякого плинтуса. Немыслимое и невозможное. Писательство—это такой же труд, очень важный труд, я считаю. У нас, в общем-то, не так много писателей. Сильных, настоящих, ярких. В такой стране, как Россия, с таким населением, с такими богатыми литературными традициями, должно быть больше писателей. В маленькой Армении в процентном отношении больше писателей, чем у нас. То есть нужны системы поощрения. Премия—это хотя бы какое-то поощрение, какая-то возможность писателю существовать, если премия обозначена в какой-то сумме. Я поддерживаю премиальный процесс.

Другой вопрос, что в нём, как и во всяком другом деле, могут быть какие-то шероховатости. Может быть, не те получают премии иной раз. Может быть, что-то происходит несправедливо. Например, я очень рад, что премия «Поэт», к которой у меня отношение было очень сомнительное, вручена Сосноре. Это поэт, который достоин самых высоких оценок, и хорошо, что эта премия его настигла ещё здесь… при жизни. Геннадий Айги ушёл без такой премии, хотя у него были зарубежные премии, премия Пастернака.

Я думаю, что «премиальщикам», экспертным советам, жюри нужно как-то преодолевать собственные вкусовые пристрастия.

На календаре—12 сентября. Ну, вот и всё. Прощаюсь с изумительной писательской «колонией», обосновавшейся на несколько дней в доме у Алейникова (дивное коктебельское красное вино, стихийные застолья—в том числе и от слова «стихи»—и разговоры, разговоры… допоздна и за полночь)… прощаюсь с морем, с желтеющим на моих глазах молодым платаном за соседской изгородью… с вальяжными местными кошками… с горлицами, взлетающими, кажется, прямо из-под ног… Прощаюсь с крымскими аонидами, посылая им воздушный поцелуй с подножки фирменного поезда «Крым». Кажется, я сделала всё, чтобы сюда вернуться.

Коктебель—Красноярск
сентябрь 2011 г.



Тойво Ряннель

Капля вечного зова

Где она, первая капля мёда, а может, капля дёгтя горькой литературной славы, или тяжёлой необходимости начать сочинять, исправлять правду на полезную выдумку? Где он, первый зов идти по острию клинка между правдой жизни и правдой искусства?

Этот вопрос меня беспокоил всегда, но я его не задавал моим знаменитым собеседникам, стеснялся: а вдруг подумают, что я пытаюсь, поднявшись на цыпочках, зависнуть у чьего-то крепкого плеча? Сами же они не догадывались об этом говорить, а может, не помнили, когда у них «от сонма чувств вскружилась голова». Но всё же в одном из рассказов Виктора Петровича Астафьева он со свойственной ему простотой и откровенностью описал это памятное потрясение, ту самую каплю: «Мне в детстве повезло. Очень повезло. Литературе обучал меня странный и умный человек. Странный потому, что вёл он уроки с нарушением всех педагогических методик и инструкций…» В конце урока он наставлял учеников, плохо читавших стихотворение Лермонтова «Бородино»: «…Чтобы Лермонтова понять — любить его надо. Любить, как мать, как родину. Сильнее жизни любить…» Как любил Лермонтова учитель из глухой пензенской деревни: он, узнав о гибели Лермонтова, написал стихотворение «На смерть поэта» и, не пережив потрясения от вспыхнувшей в его душе гениальности, повесился…

Такой рассказ с неожиданным концом запомнился юному Астафьеву на всю жизнь, даже концовку стихотворения он приводит в своем рассказе:

В ту ночь свирепо буря бушевала,
Ревела на высотах Машука!
Казалось, вся Россия отпевала
Поручика Тенгинского полка…

Далее Виктор Петрович признаётся, что Лермонтова с тех пор любит, как мать, как родину, больше жизни.

Понимал ли странный учитель, что его рассказ окажется методическим чудом и заронит в душу чуткого ученика каплю вечного зова на тернистый путь сочинителя? Тем странным учителем Астафьева в школе Игарского детского дома был молодой поэт Игнатий Рождественский. Прообразом «гения одной ночи» пензенского учителя явился совсем юный красноярский поэт Казимир Лисовский. Его стихотворение о дуэли Лермонтова было опубликовано в «Красноярском альманахе». Оно начиналось с напряжённого грозового фона, на котором вот-вот грянет трагический выстрел. Не помню точно первой строчки, но в ней:

…завихрились тучи
Над грозною вершиной Машука.
И с тоской глядит на них поручик
Тенгинского пехотного полка…

Почему Рождественский уклонился от истины? Неужели самопожертвование выдуманного им лирического героя он считал более важным и действенным, чем подлинная, страдальческая и подвижническая, жизнь его молодого земляка Казимира Лисовского? Не думаю, что Рождественскому помешало назвать имя настоящего автора то обстоятельство, что родители Лисовского сгинули в подвалах НКВД на улице Диктатуры пролетариата, а сам он, чувствующий свой талант юноша, сильно страдал от недуга, лишившего его мальчишеской подвижности и чувства здоровья. Рождественский в то время был уже автором стихотворной книжки «Северное сияние». Кажется, это был первый поэтический сборник, напечатанный в Красноярске за двадцать лет советской власти. Стихотворение «На смерть поэта» Лисовский ни разу не включал в свои поэтические книжки. Почему?

Красноярская слава этих ярких по-своему поэтов их никак не успокаивала. Я помню счастливый день, когда Игнатий влетел в кабинет редактора книжного издательства с толстым столичным журналом в руках, которым и ударил по голове себя, а потом — и Казимира. Мы оказали сопротивление — отняли у Игнатия журнал.

— Да вы посмотрите!

В журнале были напечатаны стихотворные циклы Рождественского и Лисовского. Это была радость! Это была победа! Я радовался вместе с ними и не знал ещё, что успех моих друзей для меня окажется более радостным, чем те минуты в моей жизни, когда я увидел в столичном же журнале свои строки и репродукции своих сибирских этюдов. Я почему-то тогда спрятал этот журнал от цеховых товарищей, словно боялся их обидеть.

Много было от мальчишества в сложной дружбе Рождественского и Лисовского. Бывало, утром кто-нибудь из них утверждал, что больше руки другому не подаст! А в обед шли ко мне в «берлогу», несли не только трёхлитровую банку вина, но и вели с собой Николая Устиновича. Подобным образом они раза три знакомили меня с ним.

Жаль, если не сохранились «непечатные» их стихи и доброжелательно-сатирические эпиграммы. Эти остроумные вирши гуляли по городу как безымянные, хотя многие знали, кому они принадлежат. Рождённые ради шутки, они ничуть не мешали всенародно-партийному признанию их авторов как творцов патриотических циклов,

связанных с пребыванием в нашем крае Ленина и Сталина. Это прежде всего «Курейка — станок рыбацкий» Лисовского и «Полоска туруханского песка», «Шушенские сосны» Рождественского.

Эту высокую планку признания удалось преодолеть только Лисовскому — он написал поэму о российском учёном, адмирале А. В. Колчаке и очень страдал, что эту поэму никто не хотел печатать, даже его большой поклонник и защитник, редактор газеты «Красноярский рабочий» Валентин Дубков.

К чести наших красноярских литераторов А. Чмыхало и К. Лисовского, они первыми подняли свои перья в защиту истины и помогли в какой-то мере реабилитации в российской истории имени Колчака, преданного навсегда анафеме троцкистско-сталинской необъективной пропагандой.

Вершиной творчества Лисовского явился цикл «Город моей юности» — о Красноярске, о казачьей вольнице, о Сурикове и о революционных событиях в городе на Енисее. Он ещё тогда увидел историю с позиций современной исторической науки, ответил как бы на многие думы и чаяния своих земляков.

В те годы он жил в Новосибирске. Имел хорошую семью. На Енисей он приезжал по весне, чтобы поучаствовать в проводке грузовых судов на таёжные реки Эвенкии. Был любимцем енисейских речников, его появления ждали на эвенкийских стойбищах рыбаки и охотники. Каждый год появлялись его новые сборники стихов. Он охотно выступал в студенческих аудиториях. Была такая солнечная пора в его биографии. Когда поэту очень хорошо, то, скорее всего, жди беды. Появились в стихах строчки сожаления о том, что он уже водку пить не может. В жизни ему казалось, что он одолеет её, родимую, хотя такое бывает редко. Не помогли и увещевания доктора И. М. Кузнецова — его доброго опекуна и наставника.

Однажды у него сразу отказали ноги. Началась пора одиночества. Ездивший его навестить капитан-наставник Михаил Демьянович Селиванов привёз письма и приветы от енисейских капитанов. По его словам, Казимир просил приехать меня, Рождественского, Мешкова, при этом Михаил Демьянович не прятал слёз…

Потом случился взрыв кинескопа, загорелась штора, огонь добрался до одеяла. Бесчувственные ноги огонь почувствовали. Телефон в квартире был установлен почему-то у входных дверей. Крик о помощи услышала спускавшаяся по лестнице старушка. Она из магазина позвонила пожарным, а те уже, взломав двери, вызвали скорую помощь. Казимир умер от ожогов дня через три. Слабел, мучился, но был в сознании. Медсестра передала врачу его последние слова: «Теперь я знаю, что был когда-то счастлив; если поправлюсь, смогу написать стихи о Джордано Бруно».

В послевоенные годы, когда первые сквозняки «холодной войны» дали о себе знать, возникло непонимание позиции между работниками культуры Польши и СССР, Казимир Леонидович Лисовский ездил на свою прародину в качестве посланца доброй воли, читал стихи, рассказывал о Сибири, пытался как-то сохранить дружбу между русскими и польскими поэтами.

Лисовский очень гордился дружбой с Александром Вертинским, на патриотической волне приплывшим к родным берегам из добровольной ссылки в чужедальние края. Вертинский не понял новую Россию — СССР, не принял её. Возможно, ему со стороны было виднее, куда мы идём и куда спешим. Я не знаю, сохранилась ли переписка Вертинского и Лисовского. Но одно письмо он мне пытался цитировать во время нашего последнего похода к скалам заповедника «Столбы». Мысль была такая, что поэт должен быть всегда диссидентом, должен быть изгнанником, должен на расстоянии переживать боль Родины. Почему-то он вспомнил встречу Мицкевича и Пушкина в Крыму, а читал «В бананово-лимонном Сингапуре».

— Чего ты боишься, попробуй через свою судьбу написать об унижениях твоего народа, — советовал он мне, опьянённый усталостью на крутой горной тропе и убитый пронзительной красотой осеннего пейзажа.

Однако даже здесь, перед лицом великой природы, он не говорил о судьбе своих родителей, жертвах сталинской селекции новой породы советского человека — добровольного преданного раба. К чести упомянутых, но неизвестных мне людей, они предпочли принять пули палачей, чем жить трусливо и согбенно. Говорю и вспоминаю об этом с болью, потому что убедился, что далеко не каждый мог быть откровенным и смелым в казавшемся бесконечным торжестве насилия.

В судьбах людских и поэтических Рождественского и Лисовского, несмотря на их яркое благополучие, было что-то тревожное, как ожидание беды. Они часто, даже трезвые, не уставали повторять, что они русские, что они, по сути, сибиряки, и им очень хотелось, чтобы за ними утвердили широту и размах загадочной сибирской души. Я тогда не понимал, зачем им это нужно…

После официального разоблачения сталинской национальной политики и культа личности Сталина многочисленная пишущая братия, бряцавшая славу отцу всех народов, как-то притормозила свою творческую прыть, а то и замолчала.

В шестидесятые годы в Красноярске появилась большая группа молодых поэтов, прошедших впоследствии испытание временем, внёсших посильный вклад в культуру Сибири. Не характеризуя их дальнейшие судьбы и состоятельность, называю имена Михаила Дёмина, Майи Борисовой, Зория Яхнина, Валерия Кравца, Александра Морковкина, Романа Солнцева, Владлена Белкина, Вячеслава Назарова.

Ко мне в мастерскую Лисовский привёл Романа Солнцева, которого рекомендовал как талантливого физика и многогранного литератора. Рождественский привёл также Зория Яхнина.

— Ребятам нужна поддержка, — говорил Игнатий Дмитриевич, — ты уже обкатанный и битый, оберегай их от глупостей, ты же знаешь нашу среду…

Модной в те годы проблемы отцов и детей тогда в Красноярске не чувствовалось, хотя кое-кому из критиков грезилось это противостояние как повод для нужных выводов и резких цитат. Но всё же эта «связь времён» шла на убыль. И наиболее

смелым молодым авторам стало казаться, что до них в Сибири вообще не было поэзии — ни до революции, ни после. Зорий Яхнин настойчиво просил меня показать хотя бы отдельные строфы или строчки.

Я собрал на свой вкус небольшую «антологию» объёмом в школьную тетрадь, в которой поместил по два стихотворения Драверта, Ерошина, Лихачёва, Мартынова, Седых и по одному — Сергея Маркова, Комарова, Смердова, Рождественского и Лисовского. Читал я сам. Слушали внимательно, довольно-таки большая группа талантов и их поклонников. Возможно, я кого-то убедил, что есть сибирская поэзия со всеми признаками общенациональной культуры.

Прошло более тридцати лет. Уже не было в живых никого из названных мною сибирских поэтов. Во время какой-то презентации в краевой библиотеке ко мне подошёл Зорий Яхнин, всегда добрый и улыбчивый, даже в минуты тяжёлых смятений.

— Ну что, старик, сколько моих стихов ты включил бы в свою антологию сибирской поэзии?

— Два, Зорий Яковлевич…

— Из пятнадцати сборников?

— Два, мой дорогой, всего два: «Песню косача» и «Охоту на медведя» — только те стихи, которые могли родиться только здесь, и суть их чисто сибирская.

Поэтические антологии могут быть разные, и все они полезные — и ретроспективные, за какой-то исторический период без пристрастия к границам общественных формаций, и авторские, то есть на вкус составителя. Вот тут и задача для составителя: выбрать у авторов самые главные, самые колоритные и выразительные произведения — и тогда может состояться если не сам эпос, то всё же что-то эпическое.

Возможно, наше смутное, непредсказуемое время раздела и передела, переоценки и оценки многих понятий и терминов не обесцветят такие слова, как «Сибирь» и «сибирское» — символы высокой оценки, и настанет необходимость вспомнить и поднять из забвения сибирскую поэзию. Примите, потомки, мою запоздалую готовность непрошеного гостя Сибири, но всё же сибиряка, собрать самую сибирскую, самую эпическую антологию сибирской поэзии.

Мозаика послевоенных лет

Проезжаем зимовье «Старая Еруда». Какие-то военные строители возводят зону, но заборы не двойные — без нейтралки. К чему бы это? Может быть, Байкало-Амурской магистрали некуда девать очередную партию не сумевших эвакуироваться перед немецким наступлением, вот и передают золотой промышленности. Так не при деле оказывались некоторые группы украинских женщин из зон немецкой оккупации, работавших в сфере обслуживания.

— Спросите — может быть, ответят, но навряд ли, — сомневается водитель.

Я пересёк большую поляну и оказался у группы военных в фуражках с красными околышами — войска мвд.

— Привет, служивые! Работаю в тайге, в отрыве от всякой информации, совершенно отстал. Если не такой уж важный секрет, то скажите, кому готовите такую аккуратную зону — всё из новых материалов… как на экспорт.

На вопросительные взгляды двух лейтенантов я показал внушительное удостоверение с печатью министерства цветной металлургии.

— Наверное, японцев привезут… Если не японцев, так кого-нибудь ещё — гуцулов или поляков, а может, и немцев…

— Что, техник, не устраивает ответ?

— Спасибо, вполне устраивает. Сами-то откуда?

— С разных концов, лично я — из Казани, строим в разных местах. Сюда нас забросили из Хакасии.

— Спасибо, товарищи. Успехов!

Новый оттенок новейшей истории. Язык не поворачивается, чтобы всё назвать своими именами.

Говорят, что после сдачи в плен советским войскам Квантунской армии император Хирохито сказал: «Солдаты! Война закончилась. Поможем России восстановить народное хозяйство Сибири. Без боёв и без крови посмотрите эту дикую страну».

1 декабря 1945 года

С шофёром Анатолием Казанцевым едем из Брянки в сторону Совруднника.

Идёт редкий снег, но видимость нормальная. Впереди на дороге серая масса — колонна длиной в полста метров. Анатолий даёт длинный гудок. Я знаю, у него слабые тормоза, и он сигналит заранее. Колонна резко кидается влево, и мы пролетаем мимо, чуть не сбив автоматчика-конвоира, который не хотел сходить с дороги. Он требовал остановиться, потрясая автоматом над плечом. Зря кипятится парень — у зимней дороги и плохой техники свои правила.

Я всё же успел разглядеть странную форму одежды у этой вылинявшей, пастельного цвета хаки, колонны. Шапки похожи на наши армейские ушанки, но с длинным козырьком.

С виду неуклюжая, колонна метнулась прочь от наших колёс так организованно, как на параде.

— Кто это?

— Японцы, — ответил шофёр. — В самый мороз перегоняют, здесь их много уже. Будут работать в районе старой Еруды на лесозаготовках.

— Как думаешь, Анатолий Иванович, много они наработают здесь?

— Думаю, что нет, расходы только… глупость одна. Тут русский зэк волком воет и матерится. Чтобы оправдать кормёжку, тепло и охрану, надо, чтобы каждый военнопленный ставил каждый день поленницу в три кубометра дров. А здесь преимущественно лиственница, она зимой как железо, у пилы зубья летят к чёрту, а летом пилу заклинивает, и не расколешь чурку, хоть плачь.

Ближе к мосту Анатолий набирает скорость: за речкой длинный пологий подъём — тянугус, по-сибирски. Два оленя пытаются перебежать дорогу. Одного ударяем углом бампера. Я почему-то не увидел, куда девался олень. Грузовик останавливается, я бегу назад по дороге. Оглядываю заснеженную

канаву: вот и олень, заметил по судорожному биению ноги. Пытаюсь вытащить на дорогу — не получается. Второй олень стоит в канаве по бока в снегу, с печальным упрёком смотрит на меня, не убегает. Значит, домашние тунгусские олени.

Вдвоём едва закидываем оленя на груз, привязываем.

— А чьи это родовые владения?
— В смысле?
— Кто из тунгусов кочует в этой тайге?
— Семья Курочкиных. Оленя завезём в «Золотопродснаб», деньги пусть отдадут хозяину, если он появится. Его дочь работает где-то здесь, на Еруде.

Заснеженная просека дороги уходит в небо. Стоило Анатолию немного резче затормозить — и уж точно понеслись бы мы на небо в образе безвинных ангелов. Надо на клапане внутри полевой сумки написать адрес треста, чтобы могли передать в случае чего документы. В них очень важные данные об этой вечномёрзлой земле. Без документов этих земель как бы и не существует, о них не знают ничего.

10 декабря 1945 года

Мороз. Туман. Оцепенение… Потрескивают деревья в тайге. Едем с Викторовского прииска. Встречаем колонну японских военнопленных. Все на одно лицо, молодые, хорошо одетые, в новой зимней форме. Неужели в такой мороз их гонят на лесоповал? Конечно, лагерному начальству виднее. Ему до фени производительность труда.

Шофёр мне пояснил, что на каждого умершего солдата разрешается израсходовать для сожжения трупа три кубометра дров и три литра бензина. Далеко не каждый из этих солдат отрабатывает дорогу на тот свет.

Там же, на лесосеке, где умер солдат, его сжигают на большом железном листе, как на сковородке. Пепел кладут в два белых матерчатых пакетика. Один отправят на родину — в Японию, другой — повесят на суку дерева на месте гибели.

12 декабря 1945 года

Начальство экспедиции предлагает мне съездить на Суворовское зимовье, что на реке Тее, — забрать палатки и два кипрегеля, оставленные там одним из наших отрядов. На Соврgriднике я смогу за это добро получить наличными. Не только начальству нужны деньги. Мне пора купить, если на складе окажется, гражданский костюм. Не мешала бы и альпаковая канадская куртка вместо залатанного армейского полушубка. На Соврuднике могут оказаться ленинградские финны из эшелона 1931 года. Искать их — нет времени. В столовой мне показали опустившегося пожилого товарища, почти нищего. Наша фамилия ему не знакома — значит, он из другого эшелона.

А здесь должны быть семьи Котти, Вильки, Суни, Пеллинен…

6 января 1946 года

Пытаемся с Валентиной пробиться на Соврудник, туда стали летать из Енисейска самолёты. Говорят, получили новые трофейные «юнкерсы».

Это списанные бомбардировщики-тихоходы. Заменить АНы пришлось по необходимости — два из них сделали вынужденные посадки. Без жертв, но всё же ЧП. Один из них сел на плоскую вершину горы Полкан.

И вышел сюжет для рассказа.

Под этой горой, не знаю точно в каком месте, приютилось зимовье Франца. Там он и живёт, военнопленный времён германской войны — одинокий, старый австрийский солдат. Промышляет охотой, золотишком, варит лекарства. Славен тем, что ни одна женщина не переступила порога его зимовья. Легенда гласила, что он давным-давно, ещё молодым, отдал своё сердце какой-то общительной графине, которая его приняла, но потом отвергла, как в оперетте. Попав в плен, Франц не захотел вернуться домой, где его предали.

Так вот, экипаж упавшего АНа вместе с пассажирами по глубокому снегу спустился с вершины горы к зимовью Франца. Раненый лётчик нёс ребёнка. Все, как могли, помогали друг другу. Было их человек десять-двенадцать, побитых, усталых, основательно промёрзших, но счастливых людей.

Франц как раз топил баню. Разумеется, он всех обогрел, перевязал, напоил лекарственными снадобьями — тряхнул стариной солдат — и очень серьёзно подавал женщинам чай. И когда все заснули, ушёл по занесённой пургой дороге на Викторовский прииск. Там был телефон, да и лошади нашлись, чтобы вывезти пострадавших.

Говорят, что этот вынужденный акт милосердия перевернул его убеждения, поломал заскорузлый мир отшельника. Он стал хлопотать о разрешении выехать на родину. Может, на поиски весёлой графини, которую забыть не мог. Возможно, простил всех женщин мира.

20 января 1946 года

Живём в гостинице в Енисейске. У меня тут небольшая работа в местном «Золотопродснабе» — оформляю заявки на четыре полевых отряда на следующий сезон, налаживаю добрые, почти блатные отношения с местными снабженцами. Темнеет так рано, что не успеваю ни рисовать, ни читать. В комнате, где мы ютимся, несколько семей и всего одна маленькая лампочка под потолком.

Так что мы рано, часов в восемь, залезаем в спальные мешки и вспоминаем летне-осенние сложности нашей жизни. Глядим в тёмный потолок, сон не идёт. Что нас ждёт в Красноярске, в Москве?

Вскоре, откуда ни возьмись, на потолке и на стене начинают играть какие-то бледные блики, проявляясь всё ярче и гуще, превращаясь в тревожное отражение пожара. Я вылезаю из мешка, пробираюсь к окну через завал спящих и храпящих. Дело ясное, загорелись склады «Золотопродснаба».

Одеваемся, тихонько выходим. Может, чем-нибудь поможем. Народу на улице уже много, есть и две пожарные машины, которые не могут попасть на территорию складов — сторожа с винтовками «не пущают». Нашлись смелые ребята, связали сторожей, чтобы не убежали и не стали стрелять

по пожарным машинам, которые, сбив ворота, всё же приступили к тушению пожара.

Утром с чёрно-серого пепелища уже другие люди с винтовками сгоняли стариков и детей, которые усердно собирали грязные оплавленные комья, бывшие до пожара белым сладким сахарным песком. Пытались тащить мешки с мукой. Мешки лопались, и тогда муку собирали в картонные коробки и вёдра — не пропадать же добру.

Прокурор города дал разрешение на задержание и аресты работников «Продснаба» — дело тянуло на поджог. Выяснилось, что сторожа напились ещё до начала пожара и спокойно храпели в тёплой проходной у главных ворот, пока к ним не стали стучаться люди, заметившие начало пожара.

Один из следователей по местному радио просил прийти свидетелей, оказавшихся этой ночью рядом с несчастьем. За показания он обещал дать талончик на бутылку спирта. Меня сильно заинтересовало само следствие, и я отправился по указанному адресу.

В зале было человек пять-шесть, и на мой приход никто не обратил внимания.

Показания давал немолодой небритый мужчина, находившийся в глубоком похмелье.

— Значит, так: полбанки мы раздавили — показалось мало. Пелагея мне полсотни в зубы. Дуй, говорит, пока не закрыли. Если ларь закрыт, возьми у сторожей, я у них всегда беру, говорит она. В ларьке я взял бутылку и кильку в томате. Ну, выпили, я немного пообнимал её и как заснул — ума не приложу. Пока Пелагея меня растолкала, гляжу — всё полыхает, язви его в душу. Так я всё проспал…

Присутствующие развеселились, но следователь в этой версии нашёл что-то для него важное, хотя бы то, что сторожа склада продавали спирт без талончиков, в обход распределения этого важнейшего продукта. И потом, сторожа не пускали пожарные машины, это тоже важно.

На следующий день я стоял в очереди за авиабилетами в Красноярск и слышал анекдот о пожаре, который родился в моём присутствии. Только там главный герой дважды ходил за бутылкой и дважды обнимал хозяйку, а больше ничего не помнил; но талончик на спирт получил, как было обещано в объявлении по радио… Когда я пришёл из кассы в гостиницу, два мужика продавали «спирт питьевой» и жаловались, что «много яшшиков поломалось, зазря пропало доброе пойло».

2 февраля 1946 года. Красноярск

Квартира, которую арендует наша экспедиция, меня не устраивает. Хозяйка не разрешает пользоваться электроплитой до девяти часов утра. Возможно, она ждала от нас «северных» подарков, но их у нас не оказалось.

Комитет по делам искусства предложил работу администратора концертно-эстрадного бюро. Я отказался: не справлюсь, не люблю быть на побегушках. Зампредкомитета позвонил в Союз художников, и кто-то ему ответил, что ищут грамотного человека, понимающего хоть что-то в искусстве.

— Может, поговорите? — и зампред передал мне чёрную трубку.

На другом конце провода раздался спокойный молодой мужской голос:

— С кем имею честь?

Я назвался, сказал, что ищу временную работу, грамотен на уровне восьмого класса, художник-недоучка, занимаюсь пока что геодезией, но ищу более спокойное место, поближе к художникам, женат, жилья не имею… Кого знаю из красноярских художников? Каратанова и Шестакова — лично, по работам знаю Вальдмана и Петракова, но с ними не знаком…

— Спасибо, это уже нечто. Приходите на Суриковскую усадьбу — это на Ленина, мы располагаемся в суриковской каретной, здесь и цех товарищества «Художник». Спросите Руйгу. Зовут меня Рудольф.

4 февраля 1946 года

Это была счастливая случайность. Оказалось, что Рудольф накануне войны учился у Андрея Александровича Мошарова, но в Южно-Енисейске. В 1935–37 годах тот был преподавателем рисования и физики. Учитель он был немногословный и требовательный. По рисунку в шестом классе я у него больше тройки не получал. Он был прав. Я скрывал от него все свои работы, кроме тех, что делал на уроке. Почему-то его стеснялся.

Больше никаких справок от меня не требовалось. Я был принят техническим секретарем Союза на небольшой оклад — две булки хлеба на рынке. Но меня устраивало свободное расписание дня. Основная работа — предлагалось собирать творческо-биографические материалы о старейших художниках для сборника очерков, которые были кому-то заказаны, но не писались.

Рудольф Константинович познакомил меня со всеми членами и кандидатами отделения Союза художников. Мастерских, оказалось, ни у кого не было.

Эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и Днепропетровска художники уже уехали по домам, после них остались только объявления и приказы, почему-то на украинском языке. Странно, что никто не задержался в Красноярске, кроме парализованного киевского профессора Г. Я. Комара. Меня это удивило и даже обидело. Я был уверен, что если художник прожил хотя бы один год в Красноярске, его отсюда палкой не выгонишь. Красноярский Союз тогда состоял из художников, глубоко понимающих Сибирь, влюблённых в тайгу и синие горы за Енисеем. Мне эти товарищи были понятны, я с интересом смотрел их работы. Выявились наши общие интересы: похожее понимание задач искусства, конечно же — пейзажа, и прежде всего сибирского, красноярского.

Давало знать о себе первое впечатление о Сибири, когда весной тридцать первого года из тёмного тюремного вагона я сошёл на красноярский перрон и увидел большой солнечный мир, с синими горами и с каменными химерами на вершинах.

Первым делом хотелось увидеть Илью Фирера и Бориса Ряузова, но они ещё не вернулись с войны, и о них никто не знал: были и ушли. Но мне удалось узнать, что Борис Ряузов дослуживает в Эстонии, а Фирер прямо с войны уехал в Казахстан, учится

в художественном училище. Молодец Илья! Смелый парень, но какой-то забавный. Тяжёлая колесница сталинских репрессий прошлась и по его семье: кого-то посадили, отца расстреляли, брат Лёва, врач, погиб на войне. Мне сказали, что Илья ушёл добровольцем, написав заявление на имя Сталина, что готов умереть за Родину с его именем на устах.

Тут разное приходит в голову, но я-то знаю Илью как кристально честного парня и думаю, что он был искренен в своём мальчишеском порыве. Вспоминаю легенду о Медном змие.

6 февраля 1946 года

Посетили с Рудольфом салон товарищества «Художник». Картины вывешены в три-четыре ряда — от пола до потолка. Зал небольшой, с хорошим двухсторонним освещением — лучше не придумать. Мне по мотивам и по исполнению понравились работы К. Вальдмана и А. Климанова. Это были пейзажи реки Базаихи и заповедника «Столбы». Смогу ли я так написать? Посмотрим.

Были и натюрморты, где яблоки и тыквы в два-три раза больше натуральных. Буйствовал здесь театральный художник Николай Заяц. Он или не понимает ничего, или просто пижонствует. Столько наворочено краски на холстах! Небрежно, несгармонированно, какой-то показной темперамент. Смотрю на этикетке год рождения — мужику сорок шесть лет. Заведующий салоном говорит, что автор ищет себя. А как можно искать себя? Личность автора проявляется в его работах, если он много и честно работает, а не халтурит, и если он сам — личность. Оказалось, что Николай Заяц — это уполномоченный Художественного фонда СССР по краю. Без него ни один тюбик, ни одна кисть не проскочит к художникам. Вот она, система, в которую я стремлюсь попасть!

Запасы красок кончаются, ленинградский завод ещё не развернулся после блокадного бедствия. Рудольф обещает контролировать распределение красок и вообще изучить работу и деятельность этой государственной организации. Возможности, оказывается, у этого фонда огромные. А что товарищество? Кооператив художников, колхоз. Всеми делами ведает назначенный правлением председатель, выше его — общее собрание, оно решает большинство голосов, меньше всего в нём художников. Художник — он как дитя! Ему дай работу — организуй! Это и есть работа Художественного фонда и товарищества «Художник».

Были в салоне и портреты Сталина, и портреты маршалов при всех орденах, прекрасно исполненные. Меня даже немного озадачило: а сумею ли я вообще заработать здесь кусок хлеба, или подаваться мне на всю жизнь в геодезию, оставаясь художником-любителем?

Была очень неплохая детская головка работы художницы Тамары Мирошкиной. Работ Каратанова не было. Говорят, ничего не даёт — нет ничего законченного.

8 февраля 1946 года

Одолевают думы: правильно ли я поступаю, свивая здесь гнездо? Из Ленинграда гонят, в Москве не дают прописки, да и с моим паспортом временной прописки не получить. Красноярск — это Сибирь настоящая, многоликая, от Саян до полярных морей. Приенисейский край отражает все черты характера Сибири. Ну а формы жизни можно изменить, улучшить в среде небольшого коллектива — это я об организациях художников.

Товарищество «Художник» объединяет мастеров-исполнителей и художников творческих. И тут какая-то смешная разница. Исполнители свою работу делают хорошо. Эту же работу художники творческие делают значительно хуже. Но и в своих собственных работах они не выходят порою на уровень копиистов.

Не работает студия вечернего рисунка. А деньги у фонда и товарищества на это по смете есть. Студию живописи при отсутствии помещения организовать труднее, но что-то делать нужно.

— Вот тебе и придётся налаживать эту работу, — после совместных размышлений сказал и. о. председателя тов. Р. К. Руйга. — Может, загнать весь этот Союз в вечернюю школу? Ведь учёбе, как и любви, все возрасты покорны, и, как поётся, её уроки благотворны. Школа занимается в каретной Сурикова — а это что-то да значит, хотя бы символически. На носу столетие со дня рождения художника, разговоры о музее пора переводить в дела практические, а в доме Сурикова живут рядовые городские жители. Говорят, родственников у него не осталось. Были казаки Суриковы, основатели Красноярска, и нет родственников художника Сурикова.

До столетия остаётся два года. Будет, конечно, решение краевых организаций и о доме-музее, и о художественной галерее, и о художественном училище имени Сурикова. Всё это надо предлагать, осторожно советовать, напоминать.

Дочь художника — Ольга Васильевна Кончаловская — живёт в Москве, человек в возрасте. На открытие музея отца приедет.

Внучка — Наталья Петровна Кончаловская, жена поэта Михалкова, — разумеется, включится в практические дела. В Министерстве культуры с этой семьёй считаются. Краеведы подсказывают, что в ближайшее время что-то надо сделать, хотя бы вечер воспоминаний, посвящённый памяти Сурикова.

Дмитрий Иннокентьевич Каратанов с удовольствием расскажет о милых пустяках — чаепитиях с Суриковым, с песнями под гитару.

15 февраля 1946 года

Председатель горисполкома внимательно выслушал «Записку о памятных датах жизни В. И. Сурикова и об увековечении его памяти на его родине в Красноярске», составленную Союзом художников и отделом культуры.

Дальше это предложение будет развиваться как инициатива отдела культуры крайисполкома и отдела агитации и пропаганды крайкома партии. Так лучше. Это залог их доброй славы на будущее, а нас, художников, вполне устраивает роль верных помощников не только партии, но и исполнительной власти.

Наш классик так и сказал: «Сочтёмся славою, ведь мы свои же люди».

25 февраля 1946 года

Суриковская комиссия поручила мне подготовить сообщение: «30 лет советского искусства». Суриковские доклады поручены работникам краеведческого музея, кафедре истории педагогического института и некоторым художникам. Исполком проявил инициативу и вставил в план установку бюста в усадьбе Сурикова. Бюст поручено создать скульптору Георгию Дмитриевичу Лаврову, недавно освободившемуся из магаданских лагерей, ещё не имеющему права на проживание в Красноярске, как в режимном городе. Говорят, что до ареста в Москве он работал восемь лет в Париже по командировке советского правительства. Когда он определится с мастерской, надо будет познакомиться. Должно быть, интересный человек.

2 марта 1946 года

Рудольф Руйга продолжает меня приятно удивлять. Взял и пригласил нас с Валей в свою однокомнатную квартиру в доме специалистов: поживите, пока что-нибудь найдётся. На частной квартире, где мы жили недолго, наши отношения с хозяйкой осложнились. У неё аллергия на запах красок и скипидара. А как же мне без красок? Они — наша жизнь, кусок хлеба.

10 апреля 1946 года

При активной рекомендации Союза и его руководителя Р. Руйги мне дали комнату — шестнадцать квадратных метров — в общей квартире дома специалистов. Это исключительная удача. До войны ещё как-то велось строительство жилых домов, не только заводских ведомственных, но и горсоветовских. В войну, естественно, городское жильё не строилось.

Но эта удача меня не обрадовала. Я оказался в такой конфликтной ситуации, о которой не мог и предполагать. Было много глупого и смешного, и даже судили меня «за превышение меры необходимой обороны». Образно говоря, чтобы наконец подняться на чистые горные луга Саян и оттуда вещать о красоте земли сибирской, мне пришлось шлёпать по грязным лужам городских задворков, принимать на голову и в душу выплески злобных словесных нечистот. И поэтому далеко не о лучших днях в общем-то хорошей жизни в Красноярске я хочу кое-что пояснить.

После 1937 года ряды сибирских художников сильно поредели. Многие коллективы потеряли своих ведущих художников. Некоторые из красноярских мастеров метались по чужим городам, меняя адреса, пока ОГПУ выполняло план по арестам.

Поседевший к тому времени, Дмитрий Иннокентьевич Каратанов зарабатывал свой хлеб на лозунгах, которые он делать не умел, — тихо ждал, когда его арестуют. Изредка он продолжал работать над историческими композициями и таёжными пейзажами, изредка навещал старых друзей, не зная, кого застанет дома ещё в живых. Бывало, что и накормят, и чистое бельё дадут…

Легенды о его бескорыстии и доброте, известные в Красноярске, вскоре стали ещё ярче: накануне войны горисполком выдал ему ордер на четырёхкомнатную квартиру в доме специалистов. Не успел он обжить эти комнаты, только в самую светлую перетаскал холсты и рисунки — началась война.

Две комнаты он вернул горисполкому, одну — в шестнадцать кв. метров — отдал временно беженцу из Киева, художнику-керамисту Г. Я. Комару, человеку тяжело больному, парализованному. Я так и не понял, почему и как в комнату Каратанова оказалась прописанной медсестра, жившая у Комара. Впрочем, Каратанов об этом и не знал.

Г. Я. Комар умер. Исполком решил комнату «распределить» остро нуждающимся, а их на эту комнату оказалось несколько человек. Каратанову комнату решили не возвращать. По рекомендации Союза художников в списке претендентов оказался и я. Кандидатуры обсуждала комиссия горисполкома, но получилось так, что самого зелёного новичка — меня — председатель знал как одного из авторов проекта по юбилею Сурикова, и комиссия посчитала меня полезным для города человеком.

Само получение ордера в горисполкоме было несколько драматичным. Чиновник, выдававший ордер, посмотрел мой паспорт, и его затрясло. Я испугался, что его хватит кондрашка, и хотел налить в стакан воды, но он жестом отверг мою помощь.

— Что с вами? Может, врача вызвать?

— Нет, — и он начал заполнять документ, — я был в финском плену, я вас ненавижу!

— Всё это правильно, только в ордере не делайте ошибок… успокойтесь, мне жаль вас… а советские власти посадили вас после финского плена?

— Это не ваше дело, не допрашивайте.

— Не сажали только стукачей, так что вы благодарите Бога, что живы. Вот освободятся ваши товарищи из норильских лагерей — будет у вас приятная встреча.

— Я бы вас выставил из Красноярска, вам же определено спецпоселение.

Чиновник вернул мне паспорт с ордером, я расписался в толстом журнале и спокойно проверил ордер: всё правильно.

— Спасибо, — сказал я, но улыбнуться не мог.

А потом было не менее удивительное: наша первичная парторганизация в лице секретаря — фамилию забыл — написала протест на выдачу мне ордера. Художники мне объяснили, что это «не под тебя копают», а под Руйгу и его правление. Дальше были более мелкие провокации — от взлома замка на двери до суда и штрафа за самоуправство и превышение меры самообороны. Гражданке С. медицинская экспертиза выдала справку о том, что у неё на ягодице синяк от контакта с таким-то товарищем. И была в этой справке моя фамилия, хотя и написанная неправильно. Суду эта справка показалась сомнительной, и суд вызвал представителя судебно-медицинской экспертизы. И тут при всех любопытных была проведена повторная экспертиза, которая не подтвердила совпадение следа пинка на заднице истицы с отпечатком моего

ботинка, да и возраст гематомы не совпадал с указанной в первой справке датой конфликта.

Сейчас, благодаря телевидению и эротическим фильмам, отношение к обнажённым ягодицам в корне изменилось. Но тогда сцена экспертизы на суде породила весёлые рассказы среди моих знакомых в городе.

Мелкие пакости продолжали нас беспокоить, и я долго не мог понять, кому и зачем это надо. Возможно, если у меня сформируется материал на специальную главу, я и расскажу об одной интересной грани нашей общественной жизни тех лет.

В этой комнате мы прожили десять лет. Здесь пошла в первый класс моя дочь и самостоятельно вышел в наш закрытый двор мой сын.

Но тогда мне пришлось учить Валю обращаться со стартовым пистолетом, очень похожим на настоящий. Я уезжал на учёбу в центральную студию «Всекохудожника», которая заменяла собой институт по переподготовке художников, организованный И. Э. Грабарём.

Эта студия в послевоенные годы приглашала художников, которые лет пять-шесть не брали кисти в руки. Организациям «Всекохудожника», как и нашему товариществу «Художник», разрешалось направлять туда молодых художников, рекомендованных местным правлением Союза. Так я оказался в студии и должен рассказать об одной весёлой истории, предшествовавшей моей поездке.

Итак, Красноярск рекомендовал — Москва утвердила. Я получил телеграмму о дате начала занятий, в ней же сообщалось, что нужно ждать официального вызова. Жду неделю, жду вторую, снова получаю из Москвы телеграмму, но уже грозную: за неявку с меня будут удержаны деньги в какой-то солидной сумме. Но вызова у меня нет. Иду в контору товарищества, нахожу секретаря товарища М., показываю ему телеграмму:

— Где вызов?

— Вот, в папке. Ты же не спрашиваешь, я не обязан за каждым бегать. Неси пол-литра и поезжай.

— Ты же, гадёныш, — говорю ему в тон, — украл у меня две недели учёбы и подвёл под штраф, ханыга несчастный…

У меня слегка закружилась голова… и как-то получилось, что я слегка припечатал к стене товарища М.

Когда в кабинет вошёл директор мастерских, М. что-то искал на полу, но никак не находил и, сплёвывая, ворчал:

— Мы ненавидим вас: латышей, финнов, литовцев — приехали тут таланты, «красные стрелки», везде командуете… и в Союзе, и в совете.

— Что тут делается? — удивлённо спросил директор.

Я показал ему телеграммы и задержанный вызов.

— Прошу дать справку, в какой день мне вручен вызов, я не хочу платить штраф по вине товарища М.

— Всё ясно. Будет сделано. Я позвоню в Москву, всё объясню. Перед отъездом зайдите, возьмёте документы для центральной бухгалтерии, сегодня получите командировочные. Товарищ М., проведите художника в бухгалтерию, объясните всё, помогите ему без задержки оформить документы.

— Пусть за бутылкой сбегает, — с натянутой шутливостью прошамкал товарищ М.

Больше мы с ним никогда не ругались, но он меня тихо не любил до последнего дня своей жизни.

Московская студия оказалась очень хорошей, хотя бы потому, что мы, художники мастерских и организаций «Всекохудожника», получали стипендию в размере средней зарплаты за последние три месяца работы. У меня оказались принятыми к оплате пейзажи — копии с репродукций Айвазовского и Шишкина — и несколько портретов Сталина. Повезло. Мы с Валей поделили деньги, и я поехал в Москву, пообещав прислать ей ещё поддержку, как только получу стипендию.

2 июня 1947 года

С вокзала приехал в контору «Всекохудожника» на улице Обуха. Отметил командировку у референта-искусствоведа, очень внимательной женщины. Она мне выдала не то ордер, не то путёвку в адрес художественной средней школы, где идут занятия студии, но просила рассказать о причинах задержки — видно, не поверила звонку нашего директора.

В светлых холлах этой конторы висели пейзажи и натюрморты, известные мне по репродукциям из журналов: «Васильки» Сергея Герасимова, его же «Женский портрет» — удивительно гармоничные работы; «Розы», «Розы на веранде», «Розы у зеркала» — Александра Герасимова. Особенно интересовала меня картина «Веранда. Дождь. Розы». Есть среда, есть цвет — краски не чувствуются совсем. Референт-искусствовед Берита Яковлевна за моим плечом как-то примирительно сказала:

— Если бы не вкусовщина, не игра в широкое письмо…

Я её не мог понять: или она меня разыгрывает, ждёт, чтобы высказал согласие, или ей в самом деле надоели эти широко написанные отличные розы. Но я всё же решился ей возразить:

— Герасимов — ученик Архипова и подражатель Цорна. Не каждый может так писать, если и захочет.

— Скоро вы всё поймёте. Вы картину привезли?

— Да, привёз, но надо где-то заказать подрамник и окантовку.

— На Серебренниковской всё вам сделают, скажите Феде, что мы оплатим. Хотите, я вас отвезу?

Я вопросительно смотрю на неё, возможно, с недоумением.

— Дмитрий Степанович знает о вашем приезде, разрешает довести до конца свои дела.

— Я не отказываюсь. С рулоном неудобно на городском транспорте. Спасибо.

Бериту Яковлевну очень интересует, откуда Дмитрий Степанович знает мои работы и меня…

— Он же из Омска. Я там учился до войны — только и всего…

Референт на этом не успокаивается. Её интересует, есть ли в Сибири художественные галереи, собирает ли кто-нибудь и систематизирует искусство Сибири, видел ли я расписанных каменных идолов

Енисея и чем отличается шаманизм тюрков верхнего Енисея от шаманизма даурско-тунгусского.
— С какого конца отвечать?— пытался я отшутиться.
— Шамана настоящего видели?
— Шамана видел, но про шаманизм не читал. Статьи попадались, но я как-то вообще не люблю эти языческие штучки. Впрочем, православные обряды тоже считаю декоративной мишурой и церковь русскую…
— Ну, вот и приехали. Я приду к вам осенью на отчётную выставку.

В большом классе пятнадцать коек, и тумбочка у каждого отдельная. Чувствовалась обжитая обстановка. Свою пустую кровать я, конечно, узнал…
— Что так поздно? Мы уже очень хорошую постановку заканчиваем.
— Я этюд напишу. Материалы тут есть?
— Все есть, даже такие, которых нам на места не посылают. Устраивайтесь. Я— Лёня Попов из Перми… артиллерист, сержант. Занятия в девять утра, постарайтесь позавтракать на весь день— обедать негде, разве только в ресторане Рижского вокзала, если карман позволяет.

3 июня 1947 года. Москва

Утром я попытался позавтракать на весь день, но как-то не получилось.

Признаться, войдя в класс, я испугался неожиданной двухфигурной постановки для живописи: молодая полная розовая женщина стояла лицом к классу; рядом смуглая, неполная, черноволосая— спиной к классу. Левыми руками натурщицы касаются друг друга. Прямо-таки символическая постановка. На фоне тяжёлого кремового бархата, ниспадающего волнами. Божественно, и только! Приготовленная мной картонка годится только для этюда.
— Вай-вай,— сказал стоящий рядом кавказец,— что дэлат, что дэлат, тыкой кирсивай баб только любит можно, а не писат…

Этот не совсем платонический восторг настоящего мужчины меня покоробил.

Обнажённые, молодые, очень хорошо сложённые женщины показались мне извечным противостоянием Запада и Востока, вспомнился «Бахчисарайский фонтан»— Мария и Зарема, Любовь и Зависть, а тут этот «вай-вай».

И я, растерявшись, допустил грубость:
— Помолчи, ишак, видишь— это сама красота!

Красивый кавказец тоже растерялся, но всё же шагнул ко мне и тихонько на ухо сказал:
— Ты смэлый парэн, давай встретимся вечером…
— Договорились…

Я как-то и не заметил, разволновавшись, что недалеко от меня среди курсантов стоит Борис Владимирович Иогансон— сам! Знаменитый автор «Урала Демидовского», вице-президент Академии, ученик Коровина! И он слышал наш глупый разговор с черкесом без кинжала.

Увидев у меня на мольберте чистый картон, маэстро весело сказал:
— Чистый холст— это хорошо, всё впереди. И палитра ещё чистая! Очень хорошо! Разрешите?

И Борис Владимирович начал выдавливать из тюбиков краски, но совсем не в том порядке, в каком это делаю я.
— Я хочу, вернее, попытаюсь объяснить вам, товарищи курсанты, основы метода, которому учил нас Константин Алексеевич. Этот метод вас ни к чему не обязывает, пишите как можете, но всегда имейте в виду точнейшие соотношения больших живописных пятен, в данном случае— кремового фона, розово-обнажённого тела и почти оливкового— загорелого. На эти три пятна и нужно ориентировать вашу палитру…

Пока маэстро говорил, он как-то быстро сумел организовать на палитре три пятна, очень близкие, на первый взгляд, к натуре. И мне он советовал, не жалея красок, увеличить смеси в объёме, чтобы их хватило на всё время работы над этюдом. Он поднял палитру и показал всему классу. Между большими пятнами оставались пустые места— это для разбавления основных смесей и дополнительных цветов, которые непременно понадобятся.

И далее он продолжал:
— Постановка эта очень сложная, я бы и сам попытался написать её, но— дела. Если у вас не будет ориентированной палитры и точного этюда, вам не организовать большой холст. Логически эта постановка выглядела бы хорошо в размере полтора на полтора метра. Если у вас, повторяю, не будет организован запас цветов, смесей на палитре, вы будете перегонять большой холст из одного состояния в другое, раскрашивая вслепую большие плоскости. Это чисто техническая сторона дела, но в живописи она имеет значение. Составляя смеси, почаще смотрите на натуру открытыми глазами, запоминайте зрительно цветовую суть этой группы, постарайтесь влюбиться в эти цветовые отношения, постарайтесь увидеть, почувствовать в себе гармонию этого цветового аккорда… Нужно найти изюминку в полутоне, дополнительный цвет к основному пятну тени. Это может очень обогатить живопись— из состояния точной копии натуры она перейдёт в более художественную среду

Борис Владимирович считал, что от этой изюминки, от этого камертона нет пользы, если неверно найдены отношения цвета теней к цвету световой части натуры. Он как бы конструировал цвет, вначале упрощал модель, работал совсем не эмоционально! Это я видел, он пытался объяснить это на моём холсте.
— Продолжайте, не бойтесь записать мою живопись, увидите— у вас точнее получится.

5 июня 1941 года

Кавказец, которого я обругал при первом знакомстве, оказался русским, выросшим в Южной Осетии. После вдохновенного урока Иогансона, который мне в словах повторить не удастся, мы под вечер, после занятий, пошли искать еду, на всякий случай, в сторону ресторана Рижского вокзала. Я мысленно подыскивал слова, чтобы принести кавказцу извинения, но он опередил меня:
— Ты не переживай, я не разглядел сразу то, что можно увидеть в постановке. Мы там, у нас, немного играем, придуриваемся, когда женский

объект нам не по зубам. В общем, ты был прав. А этот мой акцент—он тоже наигранный. Конечно, мы говорим и на осетинском, и на грузинском, но всё же мы русские.
— Спасибо,—сказал я,—но всё же прошу простить меня. Не говорю «извините», а прошу простить.
— А ведь, пожалуй, есть разница. Упрощён наш русский язык… Так по рукам?

Опять был интересный разговор класса с Борисом Владимировичем. Мой сосед Саша—кавказец—вёл работу чуть ли не чистыми цветами, в каком-то повышенном тоне по отношению к натуре. Были у него на палитре три больших бугра заготовленного цвета, но они не отражали натуру. Метод не был воспринят. Маэстро заглядывал за все мольберты. Я ждал, когда он подойдёт ко мне, хотелось, чтобы он сказал что-то хорошее…

Сколько же лет я не был учеником, не стоял в классе за мольбертом!

Маэстро положил руку на моё плечо. Я отложил кисти, вытер салфеткой руки.
— Ну-с,—и маэстро, как бы обнюхивая, стал изучать проложенный кремово-желтоватый цвет фона. Потом заглянул в этюдник.

Я стал оправдываться:
— Я не могу освоить этот цвет не потому, что он нестойкий, стронциановый, новый, а в нём нет цветосилы, он холодный.
— Вот вы и занизили за счёт него и белил фон, и теперь к этому тонально заниженному фону привязали силуэты фигур… Нет, нет, дайте досказать: у вас затруднения с розовым силуэтом… В живописи не ищите компромиссов. На палитре у вас всё точно, так должно быть и на холсте. Не видите?
— Нет, пока не вижу.
— Отойдите в дальний угол, смотрите—и увидите обязательно.

И рассказал Борис Владимирович, что Коровин на летних этюдах показал им, студентам, урок строжайшего отношения к тональной точности произведения и натуры. Когда он находил сюжет для своего этюда и устанавливал мольберт, он ограничивал сектор видения двумя ориентирами, как бы камертонами. С одной стороны он вывешивал на шесте свой чёрный пиджак, а с другой—белый манжет от рубашки. И он сразу видел, что в пейзаже перед его глазами нет ни белого, ни чёрного—там живой мир тончайших смесей, и белый домик вдали не белый, как манжет, и высверк солнца из-за облака на речке не белилами отмечен.

Чёрный пиджак помогал ему рассмотреть тональное построение теней, убедиться, что тени не чёрные. Объяснить это трудно без демонстрации на натуре. Мастер настойчиво советовал нам применить на натуре этот совет.
— А если нет чёрного фрака и белого манжета?—под общий смех спрашивал кто-то.

И выяснилось, что ни у кого из нас нет чёрного пиджака. Рубашки белые оказались почти у всех—ещё довоенные.

Из рассказов Бориса Владимировича мне запомнился ещё один.

В Крыму, недалеко от своей новой дачи, Коровин вместе с гостями-художниками писал этюд с осликом, запряжённым в арбу. Ослик стоял на солнечной пыльной дороге, почти бесцветной; от ослика и арбы лежала на земле тень. Вот эту тень маэстро никак не мог проложить точно. Товарищи уже завершили работу и весело посматривали издалека, как мучается их учитель.

Когда в очередной, чуть ли не в пятнадцатый раз маэстро убирал мастихином с холста голубоватую и чуть фиолетовую тень, кто-то посоветовал ему попробовать смесь жжёной кости, зная, что Коровин в этом этюде отвергал смеси чёрного. Маэстро долго готовил смесь, как бы нехотя хватаясь за последнюю соломинку. Проложил, посмотрел издали—попал! Вытер пот со лба и, усталый, сел на камень.

Выходило, что великий художник, живописец Коровин не всегда всё знал и не отвергал советов и случайных открытий.

Мне посчастливилось несколько раз по месяцу, а то и по два работать в Крыму, на коровинской даче. Там есть так называемая мемориальная комната. Туда я ходил всегда один—расслаблялся, предавался созерцанию, как индус перед сверкающей вершиной Эвереста, смотрел на выставленные там работы Коровина. Там был этюд с осликом, и какой-то щемящий душу простотой сюжета и солнечности пейзаж: светлое небо, голубое море, скупая зелень переднего плана и светлая золотистая мраморная колонна времён греческих поселений. Это надо видеть! В нём было такое возвышенное чувство гармонии, чудо, которое можно похитить у природы, если быть очень талантливым и упорным. Была ещё женская фигура—лунной ночью на веранде. В этой работе цвет как бы раскрывал сложный сюжет, психологический—не то одиночества, не то раскаяния.

Не знаю, чей это портрет, сколько сеансов писал его Константин Алексеевич, как добивался чувства светлой тоски. Эта работа не сравнима с картиной Н. И. Крамского «Неутешное горе», но я их сравниваю и убеждаюсь, что гениальность может быть так многогранна и бесконечно разнообразна.

Первое моё знакомство с этими удивительными произведениями состоялось в 1948 году, а в 1988 году на даче случился пожар, как часто бывает, от неисправной электропроводки. Невольные виновники беды быстро уволились, о пожаре никому ничего не сказали. Очаг пожара был в коридоре, как раз напротив мемориальной комнаты. От перепуга кто-то открыл не только дверь этой комнаты, но и окно, выходящее на море,—и в помещение повалил дым, как в хорошей коптильне, окутывая коровинскую мебель и картины на стенах. Приехавшие пожарники огонь потушили; в коридоре частично сгорели диваны и какой-то не коровинский натюрморт.

Из мемориальной комнаты долго не могли выгнать тревожный запах пожара. Картины остались целы, но они так хорошо прокоптились, что отмыть их оказалось невозможным. Говорят, привозили реставратора, но он только развёл руками: от высокой температуры масло в красках

превращается в олифу, работы стали коричневыми, как музейные картины раннего средневековья.

Я чуть не плакал возле этих работ и обещал никому не говорить, что видел их в таком состоянии,—иначе бы мне их не показали. Но была от этого просмотра и польза—я как бы побывал в дальней истории. Возможно, и мои работы станут оливковыми за триста лет. Время желтит живопись, в которой использовано масло!

В крымских закопчённых картинах не осталось тонкой коровинской живописи, хотя тональность всё же сохранилась, можно узнать, что это—Коровин.

Не все читатели знают, что К. А. Коровин после Октябрьского переворота жил в Париже, как многие писатели и учёные, вынужденные покинуть Россию. Мне стыдно приводить здесь оценку Лениным этой категории российского таланта и гордости. В Париже Коровин, естественно, работал—продавал и дарил свои картины, но на всемирном базаре искусств его как-то не заметили. Умер он в 1939 году. Крымскую дачу он строил с тем расчётом, чтобы там постоянно работала группа художников, человек шестнадцать. Уезжая, завещал дачу российским художникам. Говорят, что оставил и счёт в банке на содержание дома.

Но художники эту дачу получили только после Великой Отечественной войны. Каким-то чудом сохранились коровинские картины, хотя мебель и всё, что можно было унести, были разграблены. Художественный фонд СССР не только восстановил дачу, но и построил большой санаторный корпус в конце Гурзуфского пляжа, и даже поставил бронзовый бюст—памятник Коровину.

Назову фамилии художников—общественных деятелей и хозяйственников—руководителей Художественного фонда СССР, благословивших и на практике осуществивших восстановление российского очага культуры в Крыму—коровинской дачи. Это А. Герасимов, Г. Ряжский, Л. Ляшкевич, Б. Сахновский, В. Белько. Хвала вам в небесах и добрая память в России!

Страшные вещи—мода и поветрие. Пошла полоса—клеймить всё заграничное. Это было началом «холодной войны».

Не помню, по какому поводу—то ли это было обсуждение Всесоюзной художественной выставки, то ли сессия Академии художеств. Выступал и Б. В. Иогансон. Видно, ему было поручено разгромить вполне прогрессивное на Западе явление в искусстве—импрессионизм и его последователей в России и в СССР. Создалась неловкая ситуация. Главный русский импрессионист сидит рядом в президиуме—академик И. Э. Грабарь, основатель Института теории искусства при Академии художеств, автор многотомной истории русского искусства, глубочайший знаток русской иконы и российской архитектуры. Неудобно пинать старика. А второй, хотя и мало похожий на импрессиониста,—К. А. Коровин—умер в Париже, не услышит, можно и попинать.

Оказывается, что из-за причастности к импрессионизму Коровин не смог создать картин передовых, идейных, соцреалистических, разменял свой талант на живописную мелочь. Так большой мастер был предан своим талантливым учеником при многолюдном собрании художников.

Многие, и я в том числе, не поняли, что побудило Б. В. Иогансона, академика, вице-президента и прочее, стать в холуйскую позу. Возможно, он знал, что в зале присутствуют товарищи из отдела пропаганды ЦК, теоретики погромов таких видных деятелей культуры, как композитор Прокофьев, поэтесса Анна Ахматова, писатель Михаил Зощенко.

Эта позорная акция не помешала Борису Владимировичу стать президентом Академии художеств и через несколько лет испить чашу цикуты из рук тех, кто его поднял на этот общественный пост. Умер он в абсолютном одиночестве.

Рекомендацию в члены Союза художников дают три, уже со стажем, члена Союза. Мне рекомендацию подписали Р. Руйга, Д. Каратанов, А. Лекаренко. Это было в конце 1946 года, после краевой выставки, в которой я участвовал с экспедиционными работами. В 1947 году моё личное дело попало в президиум Союза художников СССР на утверждение. Вёл заседание Александр Михайлович Герасимов. Я был утверждён членом Союза без прохождения кандидатского стажа. А. Герасимов и Б. Иогансон параллельно вели классы по живописи в студии, где я учился. Выходило, что Иогансон знал мои работы.

Просматривая фотографии с работ, он сказал, что знает автора—у этого парня есть воля к победе. Это мне рассказал мой старый друг И. В. Титков, новосибирский художник, присутствовавший на заседании президиума по делам своего Союза.

Я никогда не считал, что в искусстве нужны методы революционные, диктаторские и даже демократические, когда одного неталантливого может блокировать большинством голосов группа или группировка очень талантливых. Или же наоборот. Я не буду предлагать экскурс в историю русского искусства, в те времена, когда художники могли наиболее ярко реализовать свои творческие возможности.

Но как пример светится в годах деятельность Павла Михайловича Третьякова, расторопного, умного предпринимателя, человека с хорошим художественным вкусом, сочетавшего своё стремление быть полезным обществу с формированием русской национальной славы. Я не знаю, какой процент составлял вклад купца Третьякова, вернее, братьев Третьяковых к сумме государственных расходов на культуру и искусство, и соотношение этих сумм к национальному доходу России. Бог с ними, дело было и прошло. Остались Третьяковская галерея и яркое русское демократическое искусство—всё это было создано за какие-то пятьдесят лет золотого и серебряного веков российского искусства. Теперь можно сравнивать и размышлять.

При ничтожных процентах, отпущенных Советским правительством на искусство, если бы

их использовали на уровне Третьякова и его советников, таких, как Стасов и Репин, можно было бы создать коллекцию советского искусства не менее значительную, начиная с отметки 1917 года и до, скажем, начала перестройки. Рискнуть бы да и показать под одной крышей советское искусство за семьдесят лет. Если бы это было технически возможно, то, думаю, Запад проиграл бы это соревнование с треском. Встаёт извечный русский вопрос: кто виноват? Это видно и невооружённым глазом.

Во-первых, затянувшаяся на долгие годы Гражданская война, идеологическая борьба в среде деятелей культуры, бесконечные толкования о методе и стиле, доносы, аресты, несправедливое распределение тех малых средств, которые отпускало государство на подготовку и организацию юбилейных государственных выставок.

Во-вторых, долгие годы у руля советского искусства вне ревизии и вне критики находилась группа художников во главе с Александром Михайловичем Герасимовым при постоянной поддержке члена ЦК К. Е. Ворошилова. Тем не менее, в своей гражданской и общественной деятельности Александр Михайлович не достигал тех высот, которых он достиг в живописи: «Портрет балерины Лепешинской», «Портрет старейших художников» и т. д.

Никогда не забуду его высокой оценки моих устремлений в самом начале моей работы. Но справедливости ради должен привести несколько эпизодов из встреч председателя оргкомитета Союза художников СССР и президента Академии художеств с общественностью художников на первом съезде в 1957 году, во время обсуждения очередной всесоюзной выставки и других встреч.

Александр Михайлович обещал приехать на выставку художника Филиппова, хорошего живописца, но… совершенно неизвестного по московским и всесоюзным выставкам. Обещал открыть эту выставку, выступить. Для организаторов и автора выставки, наверное, это было очень важно.

Ждали, стояли, тихо возмущались, что проходит назначенное время, шутили. И вот наконец приехал Герасимов. Подошёл к группе пожилых художников, друзей Филиппова, взял микрофон (привожу по памяти):

— Дорогие товарищи, я немного опоздал, затянулось заседание Президиума, получилась дискуссия. С утра я был на заседании Международной организации борьбы за мир, не сумел навестить секретариат по Сталинским и Государственным премиям — они так без меня решение и не приняли… Как депутат, не успел принять делегацию ветеранов, ещё не рассмотрел вот этот документ, надо предложить решение… но, несмотря ни на что, я всё же приехал поздравить…

Александр Михайлович поднял руки к вискам — все поняли, что он забыл имя-отчество своего соученика, видно забыл и фамилию, — и он двинулся обнимать Филиппова. Зал засмеялся и зааплодировал. Тут бы и завершить выступление на этих аплодисментах, но Александр Михайлович был борцом до конца.

— Пора московскому Союзу показывать такие замечательные выставки, пора обратить внимание на ветеранов советского искусства…

Откуда-то с конца зала — крики:

— А где Фальк? Куда девался тот-то и тот-то?

Это были фамилии репрессированных художников, ещё не возвратившихся из лагерей и ссылок.

Александр Михайлович, как от назойливой мухи, отмахнулся от криков, взял под руку юбиляра, и они ушли в буфет. Приготовленные цветы кое-кто понёс вслед за ними, другие положили на стол, за которыми недавно сидел президиум.

Кому довелось встречаться по делам с Александром Михайловичем Герасимовым, вполне обоснованно считали его человеком добрым и очень деловым, решительным. Но тут же, где-то рядом, в нём таилась настороженность и неожиданно проявлялась такая революционная бдительность, что многие начинали сомневаться в искренности этой бдительности.

Шло обсуждение всесоюзной выставки. Дали слово ленинградскому художнику Ярославу Николаеву, блокаднику, человеку очень больному, с трудом пережившему общее истощение. Его блокадные картины поражали пронзительной искренностью. Их герои умирали на холодных улицах полумёртвого города, кричали от ран, взывали о помощи. Многим показалось, что позиция художника не вмещается в понятие метода социалистического реализма — слишком мрачной представлялась жизнь, которая символически расцвела победой. Автор, естественно, защищал свой созданный в тяжелейших условиях труд от оценки, данной каким-то подрядствующим искусствоведом.

Николаев говорил точно и ярко, хотя не очень громко и совсем не эмоционально.

И тут неожиданно на трибуну выкатился Александр Михайлович и перебил выступающего:

— Так может говорить только активный белогвардеец! — поперхнулся от крика и ушёл на своё место в президиуме.

В то время одной такой фразой можно было перечеркнуть судьбу человека. Помнится, выражение «активный белогвардеец» было в ходу во времена партийных чисток двадцатых годов, а собрание, о котором я вспоминаю, было в 1947-м или 48-м году. Поражает живучесть вируса революционной бдительности, доводившего иногда хорошего художника до состояния глупого политикана, до того, что он оплёвывал таких художников, как Кончаловский, Пластов, Сергей Герасимов, обвиняя их в отходе от социалистического реализма…

Опрокинуть сфинкс Герасимова было не так просто: только в 1957 году, на первом съезде Союза художников СССР, большинство голосовавших не поддержало его кандидатуру.

> Не то чудо из чудес, что мужик упал с небес,
> а то чудо из чудес, как он туда залез!

Весёлая фраза развеселила зал съезда, все смеялись, и — обошлось без наручников и репрессий. В перерыве в холле были вывешены шаржи и карикатуры

на темы съезда. Кто был автором — Решетников или Жуков — не помню, но одна работа запомнилась особенно: сфинкс — усталый лежащий лев с лицом Александра Михайловича, а на кончике хвоста этикетка: «Осёл (бывший лев)».

Как явление в советском искусстве, Герасимов был порождением той системы, которая выпестовала культ личности тирана. Он был одним из создателей и ярым защитником культового соцреализма. Он искренне верил в свою исключительность и не мог согласиться с тем, что его фигура мешает демократизации и дальнейшему развитию советского искусства.

Герасимов с трудом пережил своё унижение.

Дела и волнения столицы так или иначе мёртвой зыбью разошлись по всем уголкам периферии большой страны.

Утвердившись в Красноярском отделении Союза художников, я оказался ближайшим помощником председателя правления, стал вершить, как умел, организационные дела. Мы официально вызвали Бориса Ряузова из Эстонии. Как член Союза, он был на учёте в Красноярском отделении. Я знал его по училищу и видел его творчество в развитии здесь, в Сибири.

Чтобы нам, художникам, самим не писать отчёты и газетные информации, решили пригласить искусствоведа. Пригласили Ивана Максимовича Давыденко — работника районного военкомата, в прошлом заведующего учебной частью Омского художественного училища. Я учился у него два года, знал его деловые качества, уважал его как учителя, знающего своё дело. Рано или поздно нам предстояло открывать в Красноярске и художественный музей, и училище, так что поле деятельности для искусствоведа здесь намечалось хорошее. Надо признаться, что председатель отделения и я были не только молодыми, но и неопытными во всех тонкостях житейских взаимоотношений даже в маленьком коллективе самонадеянных личностей. Вызовы новых товарищей вызвали подозрение в нашей парторганизации. Её секретарь товарищ Васильев работал не у нас, а был директором «Бланкотипографии» какого-то ведомства.

Естественно, мы не догадались с ним посоветоваться, а тем более — с отделом агитации и пропаганды крайкома партии. Наш коллектив, сложившийся на земле исторической ссылки и каторги, был многонациональным. Даже не заметили сразу, что половина состава правления — прибалтийцы. С этим явлением и повёл борьбу товарищ Васильев, а приехавшим по нашим вызовам товарищам было непонятно, откуда это противостояние и неприязнь, если их пригласили, тем более что Ряузов ушёл на фронт из красноярского коллектива. Один Д. И. Каратанов, разменявший восьмой десяток, с олимпийским спокойствием взирал на эту крысиную возню, но он сочувствовал и желал спокойной работы всем.

С ним мне было легко беседовать по всем вопросам, а их было много, разных, так как я собирал и старался систематизировать сведения для заказанного очерка. Чтобы оправдать свою назойливость, я рассказал ему о намерении правления издать книгу о ведущих художниках города. В те годы, когда органы пропаганды нагнетали неприязнь ко всему западному, мне было боязно задать Дмитрию Иннокентьевичу вопрос о судьбе его работ в Америке. На столе лежали две объёмные пачки рисунков, углы которых закатались в трубочки, добротная бумага изменила цвет от долгого хранения и контакта с руками любопытных. И я спросил, как давно организации искусства и музеи приобретали у него картины или рисунки.

— Когда-то у России были нормальные отношения со всем миром. Я много раз пояснял и вам поясняю, что экспедицию на енисейский север оплачивал господин Костарев, он представлял антропологический и этнографический центр по изучению Севера в Чикаго. Костарев предложил тематический план экспедиции. Я рисовал разнообразные типы представителей северных народов — кето, селькупов, тунгусов, самодийцев — всех, кто соглашался позировать. Дело было летом — охоты не было, мужчины ходили на рыбалку только с утра. Батенька ты мой! У нас была масса хороших консервов, каких угодно. Я постоянно угощал своих натурщиков. Спирт и водку мы специально не брали. Многие работы я делал в разных вариантах — они и в наших природоведческих музеях имеются. Не помню количества листов, но добрую пачку, был где-то и список, взял представитель американского института. Согласно договору, дал ещё денег — тогда деньги были другие, в постоянной цене… Шесть-семь лет я мог покупать на них краски и холсты, да и путешествовал кое-где. Я правда, жил тогда в родительском доме на Кузнечной. Была у меня там и мастерская…

Старый художник глубоко вздохнул.

Не помню, как я решился, но всё-таки задал ему очень тяжёлый и неожиданный вопрос:

— Давно вы вот так бедствуете — без пенсии, без постоянной гарантированной зарплаты?

— А разве полагается художнику пенсия?.. Была и зарплата, когда я работал в школе… Да что там, мне так легче… Сухари и чай у меня всегда есть…

— Из близких родственников у вас есть кто?

— Дочь в Новосибирске замужем, внук… талантливый был парень, да вот не писал с войны — видно, пропал…

К осени рукопись вчерне была готова, и я прочитал текст Каратанову. Просил, чтобы он по ходу чтения делал пометки, где сказать точнее или исправить.

— Есть у меня пожелания, — сказал Дмитрий Иннокентьевич, — не надо в таком высоком стиле. Это вроде и не обо мне. Насчёт ареста на «Столбах». Была просто весёлая компания, мы надерзили полиции — вот нас и посадили. Они действительно искали прокламации, так как это происходило в избе типографистов-печатников, но, слава Богу, там ничего не было. Потом, сцену моего прихода к Сурикову с рисунками напишите естественнее: представьте, что вы пришли к соседу-художнику — тогда ещё не к великому, а к вашему старшему товарищу. Лет десять тому назад местная газета придумала эту клюкву, а вы повторяете. Не приводите

выдержку из газеты—она пошленькая. О встречах с Суриковым. Я не считаю себя его учеником. Насчёт песен под гитару—это хорошо, приятно вспомнить. Да, он говорил, что здесь, в Сибири, трудно стать художником, но об этом писать не стоит. Я на Сибирь не в обиде. Могу винить только себя. А вообще—как-то странно вдруг услышать о себе столько размышлений. Вот вы говорите, что я, мол, этакий создатель истинного сибирского стиля… Воля ваша, но здесь стоило бы знать моё мнение. Работая, я не думал о стиле и задачи такой не ставил. Некоторые сюжеты, как «Рыбаки на Енисее», я делал под народный примитив—такое требование натуры я чувствовал. Мои работы—это я, со своим почерком, со своим поиском композиционных приёмов. Может быть, то, что я первый все свои работы делал в Сибири и они не похожи на работы заезжих художников до меня и после, дало вам повод говорить о стиле. Просто я оказался первым. Если вы будете всю жизнь работать в Сибири—ваш стиль будет и сибирский, и ваш. Стиль—это прежде всего личность художника.

Очерк «Живописец Сибири» был напечатан в журнале «Сибирские огни» и издан отдельной брошюрой в Красноярском книжном издательстве под названием «Художник Каратанов».

Я уже тогда заметил, что многие мои с серьёзным намерением выполненные дела имеют неожиданную смешную концовку.

Наступил юбилейный вечер Каратанова, было собрание представителей трудящихся с дарственными грамотами, сувенирами и цветами. Я забыл в суматохе отложить себе пригласительный билет, но в театр попал. Где-то на ярусе отыскал знакомых художников. Начальник отдела искусств А. Р. Шишкин сделал доклад: небольшое введение от себя, а дальше прочитал мой очерк от начала до конца—и это произвело впечатление не только на публику, но и на меня. Какой хороший получился доклад!

— Какое хамство,—сказал сидевший рядом очень знаменитый в те годы художник Летин.—Он что, не мог тебя упомянуть?

— Успокойся, Вена, в докладе упоминают автора только тогда, когда цитируют Маркса. Сочтёмся славою! Всё хорошо…

Злость Вены Летина отозвалась во мне лёгкой обидой. Я ушёл домой, вернее, на квартиру. По соседству, в комнате Каратанова, готовили чай. Приехала дочь.

— Скоро папа придёт?—спросила меня не очень молодая, но старательно молодящаяся женщина.

Ею же была высказана находящимся в квартире художникам просьба: принести цветы, подарки и папки с поздравительными грамотами, так как в театре всё это могут выбросить.

Я было заснул. Конечно, я был доволен, что вечер, в общем-то, состоялся. Хотелось посмотреть подарок ликёро-водочного завода. Их продукция была преподнесена в очень затейливых графинчиках. Я не слышал, когда пришёл мой добрый, теперь знаменитый, обласканный вниманием сосед с весёлой свитой. Пригласили и нас с Валентиной. Она слегка сопротивлялась, что нет для такого случая достойного платья. Были тосты за здоровье художника, за прекрасных женщин, за красноярских художников. Дали слово и юбиляру. Он смущённо посмотрел на стол, потом обвёл взглядом всех присутствующих и заметил нас, стоящих во втором ряду за углом стола.

— Вот за них, моих друзей-соседей!

Все стали оглядываться, начальник отдела культуры недоумённо подставил ухо Каратанову, и тот что-то сказал высокому начальству. Александр Романович уже по-настоящему удивился, глаза его сделались круглыми и большими, даже приподнялись брови к высокому, до лысины покатому лбу.

— Так это он?—чуть ли не с тревогой в голосе спросил он, тут же забыл, что тост начал Каратанов, и уже от себя продолжил:—На твоё семидесятипятилетие, товарищ…—он снова подставил ухо Каратанову,—товарищ Дорель, простите, Доннер, мы вам дадим орден…

Тут же на английский манер ушла Валентина. Я бы мог упрекнуть её за этот уход, над выходкой чиновника можно и посмеяться, но она поспешила мне рассказать, что пока я с товарищами готовил каратановский вечер, она ходила искать работу по объявлениям. В управлении гражданской авиации нашлось ей место, но когда она заполнила листок учёта, выяснилось, что её муж—финн. И разговор был немедленно прерван. «Сожалеем, но принять вас не можем»,—сказал начальник отдела кадров. И Валя ушла, заплакав от обиды.

— Вот теперь давай посмеёмся…—завершила она рассказ.

И мы заставили себя засмеяться. Вначале както не получался этот смех, а потом и вправду стало весело.

Зима, мороз, туман и городской дым, пахнущий каменным углём, иногда и берёзовыми дровами. В усадьбе В. И. Сурикова, во дворе его дома, выросла нелепая избушка-теплушка. Из выведенных наружу жестяных труб идёт дым. Внутри теплушки тепло и сыро. Идёт шлифовка плит основания пьедестала бюста В. И. Сурикова. Бюст в глине вылепил Георгий Дмитриевич Лавров, приглашённый в Красноярск из города своей ссылки Енисейска, где ему разрешили поселиться после магаданских лагерей. Формовщики товарищества «Художник» под руководством автора отливают бюст из армированного цемента—это какой-то новый метод, привезённый Лавровым из Франции…

Каменщика-шлифовальщика выделил трест «Дорстрой». Я не помню её имени-отчества, но фамилия была Мухина.

В то время символом могущества нашей страны была скульптурная группа «Рабочий и колхозница». Автор—Вера Игнатьевна Мухина.

В какой-то день красноярское радио сообщило, что накануне столетия со дня рождения нашего великого земляка Сурикова во дворе его дома-музея состоится открытие бюста художника. Авторы памятника—каменотёс Мухина и скульптор Лавров.

И вот день открытия памятника. Убрана теплушка, белое покрывало закрывает и бюст, и пьедестал. Двор полон любопытных гостей. Председатель

горисполкома говорит об историческом значении творчества Сурикова, благодарит создателей памятника. Падает покрывало. Аплодисменты. Все цветы подаются женщине по фамилии Мухина; она, чуть не плача, передаёт их скульптору Лаврову. Лавров берёт слово и передаёт цветы Мухиной. Девочка-ученица, закрыв ладонями лицо, топчется, словно выбивает дробь в пляске.

После митинга в кабинет Союза, который находился тут же, в каретной Сурикова, зашёл работник отдела пропаганды крайкома товарищ М. и ястребом налетел на меня:

— Вы командуете информацией?

— Той, которую подаём мы, то есть Союз.

— А что, радиокомитет с вами не советовался?

— Нет, Иван Пименович, у них своя фирма; впрочем, ничего страшного не случилось, всё правильно: каменотёс Мухина, скульптор Лавров.

— Всё равно вам выговор. Поздравляю вас всех с праздником!

Этим выговором я тогда гордился.

Я пришёл в Союз художников, спрашиваю, что нового. Руйга, наш председатель, отвечает:

— Вот телеграмма из Выезжего Лога — возвращается из Кутурчинского Белогорья Лекаренко, надо бы встретить на станции Камарчага. Поехать утром, подождать грузотакси или подводу из Выезжего. Без твоей помощи он не сядет в пригородный. Там этюдов за два месяца наработано… Ты отвозил его на станцию, тебе и встречать — точнее, выручать.

При этом разговоре присутствовал паренёк, о котором в художественной школе говорили: «Азиат». Рисующий парень, очень любознательный.

— Можно вас спросить: когда вы провожали Андрея Прокопьевича в Саяны, не было ли у вас разговора с ним о главной задаче поездки? — этот парень робко так меня спрашивает.

— Если для газеты, то я посоветовал бы дождаться самого художника…

— Нет, не для газеты, но это очень важно, я тоже рисую, учусь у Ермолаева, бываю у Каратанова…

— Возможно, Лекаренко шутил, но он говорил как раз о своей задаче: он собирался порисовать вершины старых кедров. Деревьев, которые умерли стоя, как сказано в названии одной пьесы Касоны. Говорил, что корней он перерисовал много, а вершина — это великое дело, это характер дерева. Я думаю, что это серьёзно, хотя мне он говорил это в шутливом тоне.

Утром я приехал в Камарчагу. И хорошо, что приехал. Мы с Андреем Прокопьевичем пропустили два поезда — не могли сесть, всё-таки шесть мест. Этюды были на подрамниках в двух пачках, а в узких вагонных закоулках допотопных пригородных поездов можно было при давке погубить холсты. К вечеру мы всё же были в Красноярске, и я нашёл какой-то автобусик, который шёл в центр города; водитель без особых уговоров доставил нас на угол Урицкого — Перенсона, к Лекаренко.

Автору хотелось посмотреть на новые вещи в обстановке, в которой он обычно работал, — левый северный свет. Я тоже хотел посмотреть, что написал маэстро. Он давно не ездил в Саяны и теперь был настроен воинственно: намеревался по свежим впечатлениям написать триптих о Саянах.

Екатерина Николаевна метала на стол разные яства, и даже прозрачный графинчик появился на столе.

Из другой комнаты вышла девочка и сказала скороговоркой:

— Включите последние известия, обещают что-то о Лекаренко сказать.

Хозяйка включила радио. Передавали новости культуры. А вот и подробности. Из творческой командировки в Восточные Саяны вернулся известный сибирский живописец Андрей Прокопьевич Лекаренко. В десятках живописных этюдов он изучал вершины вековых кедров, в которых выразительно отразилась биография каждого дерева, его противостояние ветрам и снегопадам — суровой среде, как бы ради утверждения жизни на земле. Мы надеемся увидеть на предстоящих выставках новые картины о неповторимой природе этого горного края в исполнении не знающего покоя мастера… Коллектив Дома культуры посёлка Заозёрный завершил работу над пьесой…

Мы сидели молча. Я боялся посмотреть на хозяина, который упёрся взглядом в распакованные этюды.

— Вот это оперативность! — сказала Екатерина Николаевна. — Вы что, на вокзале давали интервью для радио? Так хорошо, проникновенно получилось.

— Вот свидетель, — оправдывался художник, — мы ни с кем не объяснялись… Но из парня может толк получиться, сквозь землю видит, так складно сказал…

— Читал диктор Костя Гаристов, а написал, я думаю, что не ошибусь, Алексей Балакаев, из художественной школы, такой красивый азиат. В конце войны он вместе с мамой и бабушкой был изгнан из Калмыкии.

Послевоенная волна спецпереселенцев бедствовала не меньше предыдущих, тоже умирали от голода и цинги.

Алексей Балакаев учился в художественной школе, работал на радио. Его небольшие материалы были всегда интересными. Он разбирался в людях, и они доверяли ему свои думы и планы. Прошло время. Жалкие остатки калмыков были отпущены из ссылки на родину, им разрешили сколотить республику. Алексей Балакаев стал народным поэтом Калмыкии. По делам своей писательской организации он как-то приехал в Красноярск и зашёл в редакцию газеты «Красноярский комсомолец». В кабинете редактора, когда там появился Балакаев, уже находились я и эвенкийский поэт Алитет Немтушкин. Редактор «читал полосу», мы ждали. Освободившись, он посмотрел на нас и неожиданно спросил:

— А где же гордый внук славян?

Тут и мы догадались, что невольно стали живой иллюстрацией пушкинского «Памятника»: финн, тунгус и друг степей — калмык. Тут раздался стук в дверь, и в кабинет вошёл писатель Анатолий Чмыхало. Он немного растерялся от нашего дружного смеха, но, поняв, в чём дело, прямо-таки обрушил на нас мощь своих медвежьих объятий.

Редактором «Красноярского рабочего» был в те годы Валентин Фёдорович Дубков. Красноярец. Мало говорящий, почти сухарь, требовательный до мелочей. Но иногда из служебно-партийного мундира вырывался остроумный компанейский парень. У него было много знаменитых друзей, таких, как Борис Полевой, Лев Ошанин, художник Николай Жуков; но нас, братьев местных, он всячески поддерживал, уважал и доверял нам.

В моих отрывочных рассказиках Дубков ещё появится, но одну встречу я должен восстановить, пока помню.

Это было после 21-го съезда, в короткий период хрущёвской оттепели. Как-то ранним зимним вечером мне позвонил Дубков.

— Можешь приехать? — задал он прямой вопрос.

— Могу, а что?

— Уезжает Володя Курач, начальник радиокомитета, его переводят в Богом забытый Архангельск, приезжай.

За последние десять лет у меня с радио не было никаких дел. Даже не помню, в каком году, кажется в пятидесятом, весной, в сибирских изданиях были сняты из печати мои плохие рассказы и стихи, а красноярское радио, не называя автора, передавало мою программу о весне и о «Столбах».

И вот я иду на квартиру к Дубкову, где уезжающий Владимир Курач. Зашёл, в передней разделся; хозяин встретил меня со стаканом в руке, провёл в комнату. Встал Володя Курач, почти седой, за ним поднялись и другие Я говорю: вольно, товарищи, прошу садиться. Здороваемся, кто-то себя называет, но я тут же забываю. Знакомые лица — видно, левое крыло идеологических структур; значит, в прошлом — журналисты.

Хозяин вручил мне стакан с водкой, слово взял Курач.

— Я давно ждал момента, чтобы извиниться перед тобой за то отчуждение, которое было не нами придумано, однако мы его проводили в жизнь. Несмотря на твоё вынужденное литературное молчание, ты создал картины «Рождение Енисея», «Горные кедры», в которых столько мужества и характера сибирского, что мы, поверь, искренне гордимся тобой. Если можешь, прости…

Наступило молчание. Ждали моего ответа, но я ничего достойного сразу придумать не мог.

— Спасибо, лучше поздно, чем никогда… Не поздно, а своевременно, как принято у нас говорить со времён ареста Берия… Спасибо, Владимир, за искренность твоих слов, думаю, что и остальные, с тобой стоящие, согласны. Разрешите и мне быть откровенным: думаю, что та часть нашего народа, которая поддакивала репрессиям и унижению целых народов, своего подлого поведения мне — повторяю, мне — никогда не простит. Правда всегда была категорией субъективной. Я не умею прощать. Неспособен, но лично я ни на кого не в обиде.

Завязаны единством дружеским
В отдельности и вместе все мы,
Но всё же те три буквы русские
На вашу положил *систему*…

Меня просили рассказать о нашей вечной ссылке в Сибирь. Без опоры на документы я рассказал всё о нашей семье, но целиком я тогда этой драматической картины ещё не знал.

Но был уже отомщён мой расстрелянный в 1938 году брат Эйно — студент-литератор. Правда, концовка этого рассказа не такова, как в книге «Мой чёрный ангел».

Эта история произвела на гостей Дубкова тяжёлое впечатление, все как-то быстро захмелели, стали поглядывать на часы.

Я уже привык, что многие мои дела и деловые встречи кончаются смешными историями. Вот и в этот раз. Не то я решил проводить, не то меня вызвался проводить представитель одной центральной газеты. Он крепко захмелел и был очень дерзок. Бюст, который поставлен в переулке Дзержинского, сильно ему не понравился, и он решил пописать этому бюсту в ухо. Я оттаскивал его от рокового места, а парень он был сильный, так что получилась довольно подозрительная возня. И мы попали в объятия милицейского патруля и оказались в салоне «чёрного ворона». Мой товарищ напугал их удостоверением, которое служивые люди рассматривали, как бомбу. И помогло! Сначала его отвезли до двери дома, а потом и меня. Пока я поднимался на седьмой этаж, я почувствовал острую необходимость позвонить Дубкову.

Жена кинулась наперехват — поздно! Я позвонил, и Валентин Фёдорович чуть не умер от приступа веселья. Утром пришлось повторить рассказ, но мы уже не смеялись, разве что в душе, но каждый уже по-своему.

Что-то меня побудило постучаться к соседу — Дмитрию Иннокентьевичу Каратанову. Зашёл. Против света сидел высокий пожилой человек. Даже в неопределённости первого впечатления он выглядел стройным, подтянутым, как настоящий военный или… как искатель бабочек профессор Паганель из книги Жюля Верна.

Дмитрий Иннокентьевич представил меня, как всегда, в несколько шутливом тоне: скалолаз-«столбист», живописец Божьей милостью, тоже политкаторжанин. Я было протянул руку, но гость опередил меня — поспешно встал и подал мне сухую тонкую руку.

— Яворский, — тихо, но отчётливо сказал он.

А Дмитрий Иннокентьевич быстро добавил:

— Первый директор заповедника «Столбы». Возможно, вы видели книгу-очерк о заповеднике? Пожалуй, её уже нет. Наши библиотеки пережили настоящий погром: всех репрессированных авторов, вернее, их работы, сожгли на свалке.

Я ответил, что книгу видел, даже читал, и ещё спросил о судьбе второго автора — геолога Соболева.

— Он умер в лагере, — тихо сказал Яворский, и старики замолчали.

Ещё я сообщил Яворскому, что знаю его картину из осенних листьев, очень колоритную вещь…

— Значит, сохранил Андрей мою картину. Я ему её перед самым арестом подарил… Значит, сохранил, не испугался, а многие меня вычеркнули…

А знаете, молодой человек, я работал там, у Охотского моря, делал картины прямо на натуре — на плотном песке у морского прибоя — из камня, песка, цветной гальки, из водорослей, ракушек, из океанской пены… и ещё из тоски по дому… Дом — это моя работа в тайге, в заповеднике. Вот, старик Митя подтвердит, какие здесь были в музее коллекции! Вы не знаете, как была уничтожена моя база и метеостанция в заповеднике?

— Нет, Александр Леопольдович, не знаю. Я тогда был на севере. Слышал от Михваса, что сожгли.

— Подождите, так жив Михвас? Автономов его фамилия.

— Жив. Был в ссылке после лагеря в Мотыгино на Ангаре, в сорок четвёртом я видел его — часть коллекции редчайших снимков о природе кто-то привёз ему туда, на Ангару. Сейчас не знаю, где он, мы не были близко знакомы.

— Очень был хороший у меня помощник, аккуратный, исполнительный коллектор… — говорил Яворский о Михаиле Васильевиче.

— Скажите, Александр Леопольдович, как вам, заключённому, разрешили заниматься этими песчано-галечными картинами? Ведь это, извините, баловство с позиции лагерного режима.

— Очень просто; умирали зимой на рудниках от болезней и голода — работа тяжёлая. Хоронить умерших зэков зимой невозможно. Так и лежали трупы в сугробах, ожидая тепла, когда оттает тундра. Вот и придумало начальство, помимо символического снабжения с материка, наладить заготовку на зиму продуктов — ловить и солить рыбу, собирать водоросли, морскую капусту. Так вот, нас, старых и слабых, и привезли на рыбалку на море. Пока лодки в море, могли даже мечтать да заниматься баловством, как вы изволили заметить.

— Так это же сизифов труд! Вы что-то создаёте, тратите свою радость, силу, время, а завтра волна всё смоет.

— Нет, дорогой товарищ, это был настоящий творческий труд. Дело в том, что искусство, однажды родившись, не пропадает бесследно: оно — как ступеньки к совершенству, которые оставляют отметку в моём опыте, а следовательно, и в сознании тех, кто видел мои работы. Правду скажу: я никогда, ни до, ни после, не чувствовал себя так уверенно перед собой и перед Богом.

— А где вы сейчас работаете?

— Я пенсионер без пенсии. Живу в ста километрах от Красноярска, в городе не разрешают, даже у сестры. Работаю в музее, описываю свои и чужие гербарии, то, что давно надо было завершить, да вот видишь — перерыв получился в пятнадцать лет.

— Так что же, из атамановской ссылки каждый день ездите в город на работу?

— Нет, чаще ночую здесь, в музее, в кладовой на пожарных кошмах. Картины из природных богатств пока творить не приходится, но…

Яворский Александр Леопольдович — ботаник, знаток природы Приенисейского края. Один из авторов проекта государственного заповедника «Столбы». Его труды вошли в большой ботанический атлас Советского Союза.

В книге академиков Фёдоровых о нём сказано много добрых слов, но его фамилия изменена — Кленовский. Клён — по-польски означает явор. Такая была полоса в жизни — боялись объяснений с цензурой. А вдруг… Бывало и такое, что отпущенных из ссылки снова возвращали в прежние глухие уголки без света и газет, без пособия и без работы — тихо погибать.

Всё же ему разрешили проживание в Красноярске, но подселили к нему какого-то юродивого, из бывших уголовников, которого учёный вынужден был опохмелять и подкармливать. Говорят, что нет безвыходных положений в жизни — это верно. Когда престарелому учёному всё надоело — он без сожаления покинул этот мир

В картине — попытке группового портрета я по фотографии, единственной у меня, написал его рядом с друзьями — Д. И. Каратановым, Н. В. Лисовским, И. Ф. Беляком. Эта работа напечатана в моей монографии.

Какую-то справку или отчёт — в общем, деловую бумагу, — я должен был передать в творческий отдел «Всекохудожника» в Москве тов. Исаеву. Имя-отчество запамятовал. Из приоткрытой двери доносился его громкий разговор с сибирским городом Иркутском. Я тихонько вошёл в кабинет. Хозяин кабинета ответил на мой шёпот приветствия лёгким кивком головы и жестом руки показал мне, чтобы я сел и ждал конца этого крикливого разговора.

— Выявите ещё человек пять! — приказывал в чёрную трубку товарищ Исаев. — Кто же поверит, что в Иркутске всего один формалист? Нет, вы, пожалуйста, не скрывайте — в идеологической работе не место приятельским отношениям…

Я подал документ, когда товарищ Исаев положил трубку на рычаг. Он бегло просмотрел бумагу и положил её в одну из папок.

— Как у вас идёт борьба с формалистами в Красноярске?

— У нас нет такой борьбы. Есть борьба за повышение мастерства, за политическую грамотность. У нас нет ни одной мастерской, так что нам не до жиру!

— Циркулярное письмо вам спущено, так что, будьте добры, сообщите всё как положено, по пунктам. Ищите формалистов. Выявляйте проявления формализма в творчестве ваших товарищей.

— Я что-то не понимаю…

— Вспомните, — Исаев вышел из-за стола, чтобы попрощаться со мной по форме, — картину Сергея Герасимова «Мать партизана» или работу Кончаловского «Доноры», так она вроде бы называется. Задачи вполне достойные. А средства исполнения? Э-э!.. Желаю успехов!

Вскоре товарищ Исаев был переведён в отдел культуры Мосгорисполкома.

Георгий Дмитриевич Лавров вылепил бюст Каратанова, как говорится, на одном дыхании. Работал на виду у всех. Комната, в которой создавался образ зоркого, умного, пытливого, красивого в своей вдохновенной непричёсанности художника, вела в живописный цех, через неё то и дело сновали люди.

И все видели, что эти большие мастера нашли друг друга. Было необычайно приятно смотреть на общение духовно возвышенных людей.

Видеть этот сеанс было большой, неповторимой удачей. Их беседа залетала в годы Гражданской войны в Сибири, в подробности повести Толстого «Отец Сергий», касалась и дополнительных талончиков на яичный порошок и американский растительный жир—лярд.

Наконец они стали распрямлять спины, растирать руки—и художник, и скульптор—и как бы мимоходом поглядывали на портрет. Не так-то просто сказать: «Всё, точка! Работа завершена». Наоборот, чаще напрашивается иная оценка: надо бы подчеркнуть вот это, а здесь убрать складку…

Сеанс занял целый рабочий день. Пришла уборщица, чтобы собрать комочки сырой глины с пола, прибрать мастерскую… Увидела портрет и дала ему высокую оценку:

— Как вылитый дядя Митя… только почему борода не борода, а какая-то глиняная глыба, почему нет волосиков?

Скульптор ответил, что здесь волосики неуместны, здесь другой приём применён. Он улыбнулся и сказал:

— Ла импрессион.

Обычно после слова, которые трудно выговорить, дети перестают задавать вопросы. Случается, что и в общении между взрослыми этот приём помогает завершить беседу.

Прошло несколько дней. Мы с Евгением Степановичем Кобытевым спорили около диорамы, в которой километровое пространство лесостепи мне пришлось решать на площадке шириной меньше метра. Пришёл директор музея и сообщил, что звонили из товарищества «Художник», приглашают на очень важное, экстренное собрание. Явка обязательна.

— Можно от вас позвонить?

— Звоните. Заодно и мне скажете, о чём собрание. Может, и я приду.

Я позвонил, мне ответили:

— В лавровском бюсте Каратанова в бороде обнаружен сионизм, разбирать теперь будут…

— Кто будет разбирать?

— Ну, коллектив, мы то есть, из крайкома кто-то будет, так что приходите…

— А кто обнаружил этот… как его… сионизм?

— Не знаю, вот и будут выяснять.

Директор и Кобытев, примкнувши к трубке телефона, засмеялись. Мне было не смешно.

Импрессионизм и сионизм были в то время словами подозрительными. По выборной обязанности я возглавлял сектор пропаганды правления, а даже не знаю о таком важном разборе. Значит, не доверяют, вернее, не считают нужным уведомлять.

Летом 1947 года в Новосибирске была выставка работ художников всех сибирских городов—от Омска до Иркутска, а может, и до Улан-Удэ.

В центральном зале выставки стояла фигура Сталина работы Лаврова, чуть ли не в двойную величину. Вполне профессиональная работа, годная возглавить любую выставку. Была и конференция художников, выступали искусствоведы из Москвы. По их оценке выходило, что выставка интересная, коллективы растущие. Был и отбор работ на всесоюзную выставку.

Лавров разобрал скульптуру, упаковал и отправил с другими работами из Сибири в Москву, сам поехал тоже, кое-как собрав денег на билет.

В Москве многие большие скульптуры были смонтированы авторами и выставлены в зале. Ожидался приход выставкома во главе со скульптором М. Г. Томским, вице-президентом Академии художеств. Скульптуру Сталина работы Лаврова без обсуждения записали как принятую, но в экспозиции выставки она не появилась. Был в центре экспозиции Сталин, но—работы Томского. Тоже хорошая работа. Таково было решение экспозиционной комиссии, ничего не поделаешь.

Лавров получил справку выставкома, что работа одобрена и разрешается к экспонированию и оплате по такому-то параграфу расценки творческих произведений.

Сочувствующий Лаврову председатель экспозиционной комиссии так и сказал прямо:

— Досадное совпадение—ваша работа могла помешать Томскому.

В Красноярске Лавров повторил этот диалог, ни словом не упрекнув, не обвинив Томского. Но в Красноярске внутри нашей организации было организовано антилавровское дело. Была даже сформулирована резолюция или решение общего собрания: «Исключить из членов Союза художников СССР Лаврова Георгия Дмитриевича за оскорбление Матвея Генриховича Томского—вице-президента Академии художеств СССР, народного художника СССР, депутата Верховного Совета СССР, лауреата Сталинских премий, автора выдающихся произведений советского искусства».

Пока готовится собрание и обрабатываются художники, давайте, любезный читатель, посмотрим как бы сверху на суть вопроса.

Сотни попыток художников создать образ Сталина—отца и друга всех народов, великого стратега и полководца—так или иначе сталкивались с канонизацией образа Вождя и Учителя, созданной бесчисленными отделами гигантского монстра—советской пропаганды. Каждый советский человек в те годы знал, каким должен быть Сталин!

Художник, естественно, хотел быть понятым своим народом, и этот единственно правильный путь приводил художника к инертности мышления, к боязни отойти от принятых эталонов, к стандартизации. Пример: после смерти Сталина на выставком всероссийской выставки было подано пятнадцать или шестнадцать одинаковых по сюжету картин: жильё рабочего, кухня, слушают сообщение по радио седой мужчина со слезой во взоре—старый большевик, его сын—передовой рабочий с твердокаменным лицом без эмоций, его жена, не скрывающая слёз, а за столом глупые дети—мальчик затыкает рот сестричке, которая не слушает, болтает… И вот таких работ было четырнадцать.

Председатель выставкома А. М. Грицай попросил работы выставить рядом и поговорить

с авторами о том самом «инертном» мышлении», о сюжетах, лежащих на поверхности событий, о спешке. Одну из этих работ, лучшую, выставили, и ещё одну—« Минута молчания»: тундра, оленья упряжка и погонщик в стойке «вольно», без шапки, с поникшей головой.

Эти две картины выставком выбрал при авторах. Никто никого не упрекал, всё было понято и объяснено правильно.

Наше же красноярское собрание было нацелено на укрощение посмевшего «поднять руку на образ вождя», на избиение автора известной скульптуры «Сталин и девочка с цветами». Я замечал, что если талантливый человек беззащитен, его стараются пнуть, да побольнее.

Для начала выступили начальник отдела культуры А. Р. Шишкин и ещё трое наших выборных товарищей. Голосование было открытым, чем напрямую нарушали устав Союза художников. И проголосовали в срочном порядке за исключение.

— Единогласно!

— Нет, я голосую против исключения.

— Я воздерживаюсь,—это уже говорит Руйга.

— Я воздерживаюсь,—тихо поддерживает его Е. Кобытев.

Начальник отдела товарищ Шишкин просит дать объяснение собранию, это обращено ко мне. Я с радостью принимаю это условие.

— Начнём с исторической подноготной: Лавров исключён из Томского университета за участие в революционном движении в Сибири. В Гражданскую воевал в составе партизанской армии за Советы на Алтае. Участвуя в конкурсе на памятник Ленину в Краснодаре, завоевал первое место и премию—поездку во Францию на учёбу в Академию Бурделя. В Париже в Красном кольце поставил бюст Ленина, создал портреты секретаря компартии Марселя Кашека и ряда деятелей культуры. Вернулся в Москву…

— Хватит, мы всё знаем.

— Вы знаете, как он рыл подкоп под Кремль со станции Арбатская? Может, вы скажете, кто санкционировал это судилище? Если вы действительно знаете нечто, чего я не знаю, так выкладывайте. Виновник здесь, он имеет право на выступление.

Многие прятали глаза, скрываясь друг за друга, кто-то вышел покурить и не вернулся, трусливо убежал. Решение поспешили оставить в силе. Думаю, что многие стыдились своей трусости.

Мы шли домой с А. П. Лекаренко, молчали, но мне надоело молчать, и я спросил прямо:

— Почему вы, художник, голосовали за исключение художника? С него ещё не снята судимость, его могут снова послать из города куда-нибудь в ссылку. Вы же видите, что он нужен городу, он пока единственный скульптор-профессионал.

— Он нас всех не уважает.

— А кого вы уважаете? Хотел сказать—дорогой учитель, но не сказал, не подумайте, что набиваюсь в друзья.

— Вы не знаете Лаврова!

— Но вы-то знаете его ещё с Красноярской художественной школы, с тысяча девятьсот двенадцатого года.

Мы остановились, говорить больше было не о чём.

— Ты с этим правлением не ругайся,—примирительно сказал Андрей Прокопьевич,—у них связи везде, заморят голодом…

— Голодом меня не заставите делать подлости. Не нам судить Лаврова…

— Он же вон как вознёсся!—сердился Андрей Прокопьевич.—Ты что думаешь, мы с тобой художники хуже, чем он?

— Спасибо за признание. Художникам всегда хватит места стоять рядом. А те, кто выталкивает Лаврова, пользуясь его нынешним гражданским положением, боится жиденько выглядеть рядом с ним! Не теряйте из-за меня дружбы с правлением! А меня моё положение вполне устраивает. Лёгкий голод, добрая злость—вполне подходящие атрибуты современного локтевого соревнования…

Так я вступил на тропу противостояния. Это усиливало моё желание работать, и только самостоятельно. Конечно, все дела общественные придётся делать с правлением, но мне надоели их демагогия, согласования, сомнения, подсиживания кого-то очередного.

Давно надо бы поддержать Вальдмана. Сердится и пьёт. Почему пьёт—это никому не интересно, а вот пишет не так, как все,—это уже серьёзно; может, пора и меры принимать…

«Искусствовед» майор Тимошин так и сказал: вас и зрителя разделяет ваш почерк. Вальдман Карл Фрицевич по национальности латыш, служил и воевал в составе известного соединения латышских стрелков, участник штурма Перекопа, художник, учился в Финляндии у известного живописца Виктора Вестерхолма. Вернувшись в Латвию, оказался добровольцем, пожелавшим поехать в Россию, участвовать в российской Гражданской войне.

Когда Латвия стала самостоятельной республикой, красным латышским стрелкам дорога домой была закрыта. Однажды их, этих стрелков, посадили в поезд и устроили им экскурсию от Москвы до Владивостока.

Вальдману понравился Красноярск с Енисеем, с теми же синими горами и каменными химерами на вершинах, которые когда-то привлекли и моё внимание. Очень возможно, мы с ним одинаково восторженно увидели и встретили Сибирь. Доехав до Владивостока, посмотрев океан, он решил вернуться в Красноярск, совсем не похожий на Латвию—его родину. Здесь, в Красноярске, он был назначен директором банка. Вести дело чужими руками он не мог—отпустили, пожурив, что он бросает такую карьеру! Плохо зная русский язык, он как-то не сошёлся и с художниками. Никто не знал, почему он рано поседел, даже Александра Михайловна Березовская, Шура—его опора и выручка. Россия, Сибирь, Красноярск—это всё Шура, светлая, улыбчивая противоположность застенчивому, но обидчивому Карлу.

В его персоналии в «Сибирской энциклопедии» сказано: художник-сезаннист. Этот официальный ярлык, пришитый солидным изданием,

мешал его картинам оставаться такими, как их создал художник, и ему приходилось их править под «вкус народа» — вернее, под вкус очередного председателя или инструктора отдела культуры. В Красноярском музее я видел его картины — пейзажи Шушенского, где пребывал в ссылке Ленин. Очевидно, это был заказ музея — оттого они не имели той авторской экспрессии, которая была в его выставочных картинах Его яркого выступления на Всесибирской выставке 1947 года московская критика «не заметила». Бирюсинские скалы были настолько «грубо и зримо» написаны, что вблизи эта картина воспринималась вполне авангардистским опусом, а с расстояния она смотрелась как яркое окно в дикую природу, которую взъерошил своей рукой художник-волшебник, усилив её действие.

Возможно, о таких картинах и говорил уважаемый «искусствовед», что между зрителем и художником есть стена невосприимчивости — почерк художника. В сибирских собраниях таких его весёлых картин нет.

С людьми он сходился осторожно, как-то неловко. Он любил шутить с серьёзным видом, а сам шуток совершенно не понимал.

Был он собачник. У него постоянно были Альфы или Тарзаны, которым позволялось всё — даже грызть уголок у толстой картонной стопки бирюсинских этюдов. Была у него короткая доха из шкур длинношёрстных ездовых собак, которую все принимали за медвежью. Эта доха мне так понравилась, что Вальдман согласился посидеть два сеанса перед моим стулом-мольбертом. Один сеанс состоялся. Представить легко: седой, чернобровый, острый взгляд тёмных глаз, загорелое лицо — не просто натурщик, а художник. Рождался портрет. И я был уверен, что мне достаточно ещё одного двух-трёхчасового сеанса — и работа будет завершена.

Морозным утром, часов в шесть, в дверь нашей квартиры сильно постучали. Не спрашивая, кто там, я резко открыл дверь и втащил в коридор человека в одной рубашке, но в шапке. Подумалось, что человека раздели, да ещё и преследуют. Такое случалось: рядом был ресторан, который работал до трёх часов ночи.

В тот вечер Карл Фрицевич пил один, но подсели трое, как будто старых знакомых, сразу пошёл разговор о собаках, который эта весёлая компания вела до закрытия ресторана. Уходили последними. Собутыльникам понравилась шуба художника, и решили они его проводить, но повели не туда, где было бы прямее и ближе. Так они оказались за нашим домом специалистов, где приютилась небольшая сапожная мастерская. Вытряхнув его из шубы, постучали в дверь мастерской, сторож открыл, разбойники спокойно ушли.

Вальдман, оказавшись в тепле, стал думать, как быть дальше. Мороз градусов под сорок, до квартиры далеко. Вот и вспомнил, что я живу рядом. Пришёл, постучал.

Я завёл его в комнату, намазал обмороженные места рук гусиным жиром, согрел чай; нашёлся и спирт для компрессов.

— Не разводи, я так… Не беспокойся, всё в порядке. Бедная Шура, не спит… Ах, как плохо получилось. И шубу жалко…

— И этюд с шубой жалко… Такой этюд пропал!

Я так же, как он обычно, шутил с серьёзным видом.

— Ах! — резко вскричал Карл. — Ему этюд жалко, а то, что меня могли убить, — вам это ничего не значит… Я уйду, дайте мне пальто!

— Успокойся! Я пошутил.

— Ах, он шутил! Ты так попался бы…

— Не надо пить с кем попало!

— Я пью один…

Я долил ему последние капли спирта и напоил чаем. Хотел его уложить…

— Нет! Идём к Шуре!

Для бедного друга я нашёл ватную безрукавку и своё светлое летнее пальто.

Сам надел полушубок, который давно надо было выбросить, но вот и пригодился. Из вальдмановской квартиры выходили два милиционера, Шура их провожала. Увидев нас, она вооружилась метлой и примерилась бить нас сразу обоих.

— Подставляй спину, — скомандовал мне старый стрелок, и мы получили по лёгкому удару, в данном случае — декоративному. Как любил говорить сам Карл Фрицевич: «Больше декоративности».

Милиционеры, смеясь, убежали, а Шура, ругаясь и плача, стала обнимать нас…

— Проходите. Слава Богу, живой…

— Ты мне их незаметно покажи, — попросил я за чаем ещё взволнованного потерпевшего, — они всё равно придут в ресторан, тот или другой…

Карл Фрицевич задумался, помолчал и тихо сказал:

— Спасибо за участие, но шуба не стоит того, чтобы… Эх, давай оставим!

— Так вы, выходит, миритесь с таким оскорблением?

— Не такое бывало… Спасибо, не надо.

— Тогда я пошёл; было очень весело, хотя и не смешно.

Помнится, это была 14-я краевая художественная выставка, годовой отчёт художников перед общественностью города, края.

Получилось так, что мои работы заняли половину центральной стены второго этажа в Доме учителя. И я не сразу заметил эту неловкость. Получилось, что потеснил старших товарищей. Хорошо, что не я отвечал за экспозицию.

На обсуждении выставки почти все выступающие говорили о моих работах.

Основной доклад о выставке зачитал Иван Максимович Давыденко. Он тогда занимался в основном творческими вопросами Союза. Мы были знакомы по омскому училищу, поэтому, чтобы не заподозрили его в чём-то недостойном, типа дружеских отношений, он всегда достаточно требовательно относился к моим работам, ко всем моим ошибкам и достижениям. Вот и в этот раз о моей композиции он сказал, что сюжет лежит на поверхности: два будущих вождя революции на берегу Енисея, как охотники у костра. Почему

Свердлов сидит на валежнике, тогда как Сталин стоит? Не оправдан и котелок с горячим чаем на углях костра.

Я слушал и соглашался.

Не помню, кто подлил масла в эту разборку, но все дружно принялись хаять картину. Говорили, что не чувствуется ссылки, хотя рубашка на Сталине написана грязно. Пиджак накинут на плечи совсем не в характере Сталина—человека всегда подтянутого. Ну и тому подобное. С чем-то я не соглашался, но и огрызаться не стал. Дело сделано. Почему бы и не поговорить?

Но требования, что надо делать так, а не эдак, я совсем не принял. Я был уверен, что каким бы подтянутым ни был Сталин, он, уходя в тайгу или на реку, не доставал из сундучка единственную белую рубашку. Можно было бы объяснить, но я не стал спорить.

Неожиданно в защиту моей композиции выступил Андрей Блинов—философ из педагогического института, доцент. Для начала он сказал, что на таком обсуждении он присутствует впервые и, возможно, потому не понимает, почему критика явно не замечает вещей слабых, которых на выставке достаточно, а весь пыл красноречия обрушила на автора молодого. Причём замечания придирчивые, в чём-то даже глупые. Наверное, если быть доброжелательным к автору, можно было бы эти замечания высказать в процессе работы.

Неожиданным для меня оказалось выступление Бориса Ряузова. Защищая основной доклад как верно идеологически ориентированный, он обвинил меня в том, что «на время обсуждения выставки автор нанимает друзей для поддержки». Зачем же так—ведь это неправда! Он же меня знает по училищу. Видно, что-то сильно изменило его на войне. А Блинов принял это за оскорбление и ответил оскорблением.

Новосибирский гость, художник В. В. Титков, пытался исправить обстановку. Мне запомнились его добрые слова о моих этюдах, написанных в Москве на студии повышения мастерства. О композиции выставленной картины он тоже говорил: он чувствовал и ссылку, и Сибирь. Но очень осторожно сказал, что главная фигура немного театрализована. «В картине как раз больше достоинств, чем недостатков. Я думаю, что автор сделает правильные выводы из критики».

Придя на квартиру, я записал на всякий случай свои выводы: критика тем и хороша, что от неё можно отказаться. Не нужно критику любить, но выслушать обязан—ведь она тебя избивает с хорошими намерениями.

И ещё записал, что плохая картина равносильна плохому поступку художника. Судят, оценивают результаты, а не благие намерения.

И ещё я вспомнил венгерскую притчу о дружбе. Ястреб-тетеревятник съел цыплёнка. Орёл спросил ястреба, зачем он это сделал. Ястреб ответил, что иначе никто бы не поверил, что он цыплёнку настоящий товарищ, что они были друзьями.

Ледоход на Енисее начинался обычно в двадцатых числах апреля. Это было величественное зрелище. Льдины шуршали, обдирая шершавые бока, иногда громоздились друг на друга, ломались, глухо выстреливая, и с басовитым всплеском падали в воду. Это необузданное движение можно было наблюдать долго. Казалось, что-то должно ещё случиться, вот-вот, сейчас!

Были льдины почти прозрачные, голубые, были чайно-жёлтые—все они стремились обогнать друг друга, выбирая более свободные проходы в бесконечной массе двигающего льда.

Вот поставить бы большой холст, метровый, и компоновать это движение, соревнуясь с творчеством самой природы! Нет, не картину писать с натуры, а изучать ритмы этого богатырского движения… У меня не было тогда холста, да и не был я готов при людях проводить подобный эксперимент.

Пришёл Каратанов, сутулясь от ветра, иногда придерживая вскинутой рукой широкополую шляпу, как бы приветствуя ледоход и ещё что-то, неизвестное мне…

Тут я должен пояснить, что этот ледоход я видел весной 1945 года. Отрывочны воспоминания. Если выстраивать в хронологическом порядке, то пришлось бы описывать всё по порядку—как развивалась жизнь и события. Я этого делать не хочу.

Так вот, пришёл Каратанов, и я не посмел отвлечь его от волнующего созерцания. Я сам невольно входил в это состояние: я видел бунт стихии, восстание ангелов и… ещё что-то возвышенное.

—Пошли, инженер, что дрожать здесь, в цехе я покажу тебе этюд—писал на протоке, там сложилась интересная ситуация, минут тридцать льдины позировали мне, а потом как вихрем всё потащило, всё враз изменилось.

Это меня приглашал Петя Кравцов—художник днепропетровских мастерских украинского товарищества. Он одним из последних возвращался из Красноярска на родину, и ему удалось написать Енисей в грозный час ледохода.

Мы пришли в живописный цех товарищества, всё в ту же каретную Сурикова, где потом разместились художественная школа и кабинет Союза. Петя раскрыл большой этюдник, и в мои глаза и душу величественно вошло настоящее искусство, до того удачно подмеченное состояние весеннего дня, что я онемел. И тут Кравцов стал ругать себя за то, что не писал и ничего не хотел писать в Сибири, а надо было. Мне подумалось, что этот этюд стоит показать Каратанову, и я сказал об этом Петру, обещал устроить встречу.

Оказалось, что он не знает Каратанова, но слышал, что есть такой отшельник, художник-любитель, почти святой: что ему дают—всё относит нищим старухам, которые сидят на паперти Покровской церкви.

Не знает он и Лекаренко. С Вальдманом и Федотовым пил вино в «Голубом Дунае».

—Что ты, Пётр Кравцов, делал здесь четыре года?

—Колотил деньги… Там, на Украине, надо дом восстанавливать—вот такая первоочередная забота… И там, как приеду, опять же деньги потребуются на всё, так что на этот этюд я буду смотреть по праздникам!

Немногие из украинских художников оставили о себе хоть какую-то память—не смогли перебороть в себе состояние беженца. З. Волковинская написала очень славный портрет Каратанова. Написала прямо-таки по-мужски. Похожий, глубокомысленный интеллигент, чуть позирующий. Видел в собрании краеведческого музея пейзаж лесосплава на реке Базаиха художника С. Кириченко. К сожалению, на последующих всесоюзных выставках я не встречал работ этих талантливых художников.

Совсем на рассвете следующего дня я пришёл на берег с добрыми намерениями—написать хоть что-то об уходящем ледоходе. У Дмитрия Иннокентьевича взял фанерку с натянутой плотной бумагой, акварельные краски постоянно жили в моей полевой сумке.

Став за углом какого-то забора, выпирающего на набережную, я начал работать—торопливо и нервно. Как всегда, состояние природы быстро менялось, и я перегонял свою работу из одного цвета в другой,—портил и терял то, во имя чего начал. Моя торопливость показалась кое-кому подозрительной, и в какой-то момент я оказался в окружении рослых блюстителей порядка в гражданской одежде.

—Ваши документы…

А я, растерявшись, попросил их тоже предъявить документы. Они издали показали мне зажатые в ладонях удостоверения и спрятали их. Сверкнул и я корочками своего, ещё действующего, министерского удостоверения, более эффектного, чем их скромные краснокожие. Я продолжал работать, хотя это было ни к чему.

—Вам придётся пройти с нами в управление.

—В какое управление?

—Вы что, издеваетесь? Наше управление положено знать всем, особенно тем, кто рисует на улице. Разрешения-то у вас нет?

—Нет, разрешения нет. Я и не знал, что требуется что-то подобное. А в управление можно сходить, если требуется.

Часа полтора я сидел в какой-то проходной комнате. Пришёл лейтенант, назвал свою фамилию, я встал—он вручил мне пачку моих документов и фанерку с начатым этюдом.

—Извините, но наши ребята действовали правильно. В сектор вашего обзора входили многие объекты, которые нельзя рисовать и фотографировать. Хорошо, что на вашем рисунке нет железнодорожных мостов и заводских труб правобережья. Отстали вы там, в тайге, от времени. Вот вам разовое разрешение на сегодня. Желаю здоровья!

Этюд ледохода на Енисее я написал только через восемнадцать лет, но не с этого места, а с правого берега, где в Енисей впадает речка Лалетина. Там, кроме гор, за ледоходом ничего нет—никаких объектов!

Теперь, когда в районе Красноярска не бывает ледохода, я сожалею о том, что продал эту работу в тяжёлый день безденежья одному залётному предпринимателю из Калифорнии.

В те годы в любом общественном месте полагалось быть портрету Сталина. Работая в ранге копииста в цехе товарищества «Художник», я научился писать маслом вполне приемлемые и художественным советом, и цензурой портреты. Был я даже членом художественного совета и принимал работы моих товарищей. В это отлаженное производство иногда вторгались случаи, которые я хорошо помню.

Был в центре города, там, где сейчас Красная площадь, лагерь японских военнопленных. Эти бараки назывались раньше итальянскими казармами, а ещё ранее это был военный городок, где формировались сибирские части на японскую и германскую. Так вот, оттуда, из японской зоны, пришёл щеголеватый японский офицер при холодном оружии, и с ним два солдата.

Один оказался переводчиком, другой—художником, по фамилии Накимура. Они пришли в наш совет получить разрешение вывесить портрет Сталина у себя в зоне. В часы работы совета весь цех стоит за спиной авторитетного разрешающе-запрещающего органа и внимательно следит за замечаниями более опытных товарищей.

Японцам было предложено выставить на рассмотрение портрет Сталина, сработанный Накимурой.

Я сразу не понял, что произошло, только сзади нас раздался похожий на вздох, на приглушённый смех, на сдержанные рыдания непонятный звук.

Закрыв лицо руками, сдерживал приступ смеха Вальдман. Лекаренко тихо трясся всем телом, утирая слёзы и пытаясь сохранить серьёзную мину. Беззвучно, колыхая животом, утробно рыдал Рудольф Руйга.

Я смотрел на японцев. Загорелые до бронзовости на строительных работах, они сейчас сделались фиолетовыми, а бедный Накимура едва сдерживал слёзы. Я знал, что он может быть избит этим же красавцем-офицером, и поторопился сказать и переводчику, и совету, что портрет принимается.

Я пытался пояснить, что это в японских традициях: по их понятиям, Сталин должен походить на японца, иначе не может быть. Даже Иисуса Христа японские христиане видят и представляют японцем.

Наш совет согласно закивал: портрет хороший, можно принять. И на тыльной стороне портрета появилась печать художественного совета и штамп разрешения экспонировать.

Я как можно ласковее проводил уже улыбающихся японцев за дверь. Даже похлопал художника по спине. Не знаю, правильно ли он понял моё одобрение.

Когда я вернулся в цех, то не сдерживаемый более смех сотрясал большие цеховые окна.

Дальше совету работать было очень легко. Работы наших мастеров казались такими гладкими, приемлемыми, что даже часто ехидствующий Лекаренко не брюзжал, а примирительно сказал:

—Прямо про-рафаэлиты и только!

Был на совете ещё один аналогичный случай, но уже после смерти Сталина.

Пришла секретарша директора и сказала почти на ухо, что меня ищет какой-то товарищ, в кирзовых сапогах и стёганке, похожий на зэка. Я просил

продолжить работу без меня и вышел в коридор. Пока шёл, припоминались почти забытые образы моих знакомых, по воле лихой судьбы оказавшихся за колючкой, но этого товарища я не узнал — был он значительно старше меня, испытанный ветрами, узкоглазый, какой-то рязанский потомок Чингисхана.

Я ожидал, что незнакомец скажет, что видел моего родственника на этапе — неисповедимы пути ГУЛАГа, и каждый, даже самый униженный и прибитый, смеет надеяться на лучшее будущее. Но зэк сказал что-то незначительное, второстепенное.

— Так вы ещё совсем молоды, — не то разочарованно, не то утешительно проговорил он и тут же, как бы поправляя себя, добавил: — А братья-писатели о вас с уважением говорят, я и подумал, что вы старше, такое у меня сложилось впечатление…

— Кто вы?

— Я уже сказал, что был в Союзе писателей… Так вот…

И острый взгляд моего нового встречного как-то потупился. Он долго смотрел на свои сапоги, а может, и на мои вполне модные ботинки на толстом белом каучуке.

— Дайте мне вашу руку, — как можно спокойнее попросил я.

— Зачем? — тихо спросил зэк, но руку протянул — как бы для рукопожатия.

— Покажите ладонь, я хочу вас немного развеселить.

— Попробуйте, — почти весело согласился нечаянный гость.

Я посмотрел внимательно на ладонь и сказал, что вижу долгую дорогу по воде, то есть на большом пароходе, потом — на колёсах, и вот однажды моего пациента обыграли в карты жулики, те самые, амнистированные по воле Берия, и забрали у него выходное лагерное пособие. И теперь вот надо как-то добираться до дому.

— Не совсем так, — сказал зэк. — Я не стал играть, а деньги они, сволочи, действительно забрали. А ехал я не домой, а в Москву, отдать один должок. И вот пришлось сойти здесь, высадили из вагона.

— Хотите, скажу, что было дальше? Могу даже поспорить.

— Проиграете…

— Вы пришли в Союз писателей, поднялись на второй этаж, а там перед скромной, но весомой вывеской немного оробели, потом резко открыли дверь, вошли в комнату и напугали секретаршу — она боится кирзовых сапог. Вы спросили: «Пахан у себя?»

— Нет, нет, — перебил зэк, — не сгущайте баланду, я не люблю, не применяю этот жаргон…

— Вы спросили: главный у себя? Или — начальство у себя?

— Наверное, что-то в этом роде: я спросил представителя Литфонда…

— Главный посмотрел на вас, сунул в стол какую-то писанину, медленно вышел из-за стола, как-то боком подал вам мягкую тёплую руку, но не задержал её в вашей шершавой ладони, вежливо спросил, с кем он имеет дело — вернее, с кем имеет честь. Вы сказали, что вы — член Союза писателей, и для верности сообщили, что вы упомянуты пятью строчками в Большой советской энциклопедии. «Если за материальной помощью, — сухо сказал главный, — то мы её оказать не можем. Это дело долгое, придётся ждать разрешения Литфонда из Москвы. Вам нужны деньги сегодня, не так ли?» И главный протянул вам червонец.

— Нет, не протянул, — возразил зэк, — я сказал, что аккуратно платил все годы членские взносы, не пользовался ссудами и творческими домами отдыха. Имею право…

Я продолжил:

— «Понимаю», — сказал главный и потрогал неожиданно вспотевший высокий лоб, украшенный редеющей прядью волос, потом попросил вас сесть, и вы, как бедный родственник, присели на край стула, а главный боком протиснулся в своё кресло, помассировал пальцы и прикрыл сжатые губы. Он долго смотрел на чернильный прибор, потом посмотрел на вас, потом куда-то звонил, о чём-то спрашивал, а вы уже ничего не слышали, вы всю жизнь не любили людей нерешительных. И на вопрос главного, зачем вы едете в Москву, если не живёте в Москве, вы резко ответили, что не хотите больше допросов, вас амнистировали…

— Нет, не совсем так. Но вы не проиграли. Знаете, что я сказал? — он резко и как-то зло улыбнулся. — Я сказал, что еду в Москву, чтобы набить морду Фадееву, а потом поеду домой, на Волгу.

— Так и сказали?

— Так и сказал, и главный ваш приподнялся, и знаете, что он сказал?

— Почти знаю…

— Он сказал: идите к художникам, на дорогу они вам соберут, они смелые ребята, а потом дал вам очень лестные характеристики. Спасибо, вы действительно развеселили меня.

Стоявшие рядом почти с самого начала нашей беседы цеховые художники стали прощупывать свои карманы, но один из них, самый знаменитый в городе мастер — Вена Летин — опередил всех.

— Тут хватит и на самолёт, если поторопитесь, — и он, не считая, сунул в карман бывшему зэку, а ныне амнистированному писателю, свёрток с деньгами.

— Я пришлю при первой возможности…

— Нет, не надо, а вот письмо пришлите, расскажите, как набьёте морду Фадееву.

Никто не хотел уходить. У нас тогда была плохая привычка — после совета всем коллективом заваливаться в ресторан «Север», это через дорогу, наискосок от мастерской.

В ресторане я нашего гостя открыл как бы заново. Он был не просто красноречив, а сказал тост о цене дружбы и доверия с такой писательской проникновенностью, что мы чуть не прослезились. Он сидел рядом со мной, ел аккуратно, соблюдая все принятые в хорошем обществе условности.

Я осторожно спросил его, действительно ли его персоналии есть в Большой советской энциклопедии.

Он удивлённо посмотрел на меня:

— Вы же сами знаете, вы же мне об этом сказали. Или вы всё же туфту несли?

— Хотите, я расскажу, как вы будете бить морду Александру Александровичу?

— Нет, не хочу! Простите, я боюсь, что вы скажете правду. Я боюсь правды. Я не хочу знать будущего.

Долг он перевёл почти сразу, из волжского города Чебоксары или, может, из Саранска — не помню. Думаю, что свой план возвращения морального долга он выполнил, и не только он, но и многие другие — не так просто было вынудить Фадеева застрелиться.

Очарования и разочарования

Весна сорок пятого года была насыщена событиями радостными. Не надо быть пророком, чтобы чувствовать и видеть близкую победу над германским фашизмом. Мои личные неудачи казались временными и мелкими. Впрочем, планы на близкое будущее я прокручивал в мечтах в разных вариантах: не выходит так — попробуем этак.

Я отступал из Москвы от невидимого врага — законов, которые меня обрекали на долговременную сибирскую ссылку и прочее бесправие. Я ехал на поезде Москва — Манчжурия в переполненном вагоне Мои соседи — весёлые и грустные. Солдаты знали, что им ещё придётся воевать на сопках Маньчжурии. В них чувствовался дух наступления, уверенность в победе. Мой сосед, старый солдат Миша, спросил:

— Что же ты, парень, на войну без винтовки и в гражданской форме едешь?

Я ему ответил, что можно наступать и отступать сразу — в одном вагоне. Солдат Миша задумался:

— Я не понял. Как это?

— Я отступаю, а вы наступаете… Видели охрану у пятого вагона? Там едут японские дипломаты, торгаши, журналисты — они отступают до своей Японии. Я отступаю на место пребывания родителей, на место ссылки. Я уже отвоевался…

— Какие ранения?

— Тяжёлые, но только морального порядка.

— Парень ты хороший, а выдумываешь какие-то непонятности. Займи-ка лучше ещё полсотни, в Омске отдам, продам шинель, всё равно дадут новую.

Продать шинель Мише помешал его командир — старшина. Он знал, что Миша и его товарищи долг мне не отдадут, поэтому, а может, и не поэтому, вызвался нести мой тяжёлый чемодан с книгами до камеры хранения. Это уже в Красноярске, рано утром.

— Ну, бляха, тяжелы твои книги, прямо как патроны… Ты уж прости солдата, с войны да на другую войну, он даже домой в Ярославле не сумел сходить — дом недалеко, в деревне. Жена, дети, сам понимаешь… В рюкзаке у тебя тоже книги?

— Не только. Там ещё краски, они тоже тяжёлые. Вот и пришли. Спасибо. Желаю тебе, старшина, и твоим мужикам везения на второй на японской…

В зале ожидания нашлось место, где присесть. Надо немного подождать. Рано являться на квартиру было неудобно. Но если чуть позже — можно уже не застать хозяина, уйдёт на службу. Немного посидев и сдав вещи на хранение, я не спеша тронулся в путь. Адрес: ул. Красной армии, 2. Дал мне его в Москве мой земляк и тёзка по фамилии Ивонен. Был он диспетчером «Крайаптекоуправления».

Квартира оказалась многонаселённой. Земляка не было дома. Соседи сказали, что иногда он ночует, но чаще всего находится в командировках.

— Он обещал мне ночлег на недельку, я его земляк, — объяснял я женщине, которая осматривала меня от шапки до ботинок, протирая заспанные глаза.

Посоветовавшись с соседками, незнакомка дала мне ключ от комнаты Ивонена. Что же делать? Надо искать картбюро, прикрепить к какому-нибудь магазину продуктовые талончики. Хлеб можно взять в коммерческом магазине. А есть ли он здесь? Ведь не Москва. Раньше девяти выходить не стоит. Часок можно полежать — четверо суток на средней палке в прокуренном насквозь вагоне… Бельё в чемодане…

Стук в дверь.

— Войдите!

— Проходите, попейте чай, а то пока наши конторы откроются…

— Спасибо. А вы не знаете, где живёт поэт Рождественский? Вроде бы на этой же улице…

— Вы с ним тоже знакомы? Часто его стихи читают по радио. Красивые стихи. Подождите одну минуту, — она вышла, и я не успел ещё покончить с казённым пирожком, как вернулась хозяйка с пожилой соседкой, строго одетой, с ясным, казалось насквозь видящим, взглядом.

— Номера дома не знаю, но по этой улице пойдёте до Робеспьера, а там, на углу, одноэтажная каменушка — хлебный магазин, а рядом, ближе — двухэтажный деревянный, там он и живёт. Игнаша учился у меня, литература у него всегда шла на «отлично». Феноменальная у него память… Вы откуда будете?

— Мы с Игнатием не знакомы, обменялись только письмами, он просил заходить, как буду в Красноярске.

— Жена у него, Женя, тоже у меня училась… Дети у них. Кажется, двое. Они добрые люди. Так что идите, не стесняйтесь, не прогонят…

После чая, после раздумий и некоторых колебаний, я направился к Рождественскому: писал же — заходите!

Я и зашёл. Меня встретили красивая светлая женщина и трое ребятишек. Я назвал себя и попытался объяснить, почему я зашёл. Она постучала в дверь комнаты и тут же в приоткрытую дверь радостно сообщила:

— Пришёл Тойво, тот, с севера, ты всё гадал, какой он из себя. Вот, посмотри, — и уже ко мне: — Хорошие стихи у вас, какие-то доблоковские… Вы, оказывается, ещё совсем молодой!

— Привет! — сказал Игнатий Дмитриевич. — Я тоже думал, что вы старый геолог, чем-то похожий на Драверта. Вы же знаете его? Хорошо, что зашли. Вы прямо с вокзала?

— Да, но я уже побывал у земляка, остановился у него, вас стеснять не буду.

Игнатий Дмитриевич забросал меня вопросами. Я пытаюсь на них ответить.

Отвечая, рассматриваю его: высок, угловат, подвижен, толстые очки в тёмной оправе, совсем близорук. Рука мягкая, тонкая, несильная. А может, не в его характере сильное рукопожатие…

— Давайте позавтракаем, а потом я вам помогу перевезти вещи.
— Я уже завтракал.
— Так ещё раз, со мной! А где ваш земляк живёт?
— Красной Армии, два, деревянные двухэтажные бараки…
— Напротив Вальдман живёт — ещё не знаком с ним? Петров жил — «Золото» его знаешь? Миша Ошаров тоже там жил…
— Игнаша, посади гостя за стол. Что в коридоре токовать?

Игнатий Дмитриевич поспешил мне пояснить, что «толковать» и «токовать» — это слова не одного корня, хотя они и входят в тождество.

— «…И он принёс с лесного пира, удачей гордый, лиходей, хвоста изломанную лиру и зори вянущих бровей», — это насчёт тока… Ты охотник?
— В тайге жить — будешь охотником, но я не люблю стрелять.

И тут Игнатий Дмитриевич немедленно вставил нужную цитату:

— «Охотник я и знаю толк в приметах: кто птицу бьёт, тот зверя не убьёт!»
— А здесь — в смысле «толковать»?
— Здесь толк в более широком смысле, чем толковать, объяснять… «Так язык рождается по слову: соберёшь — и мыслям нет конца… Я ударю об стену подкову и услышу песню кузнеца…»
— Ты, Игнатий, баснями соловья не корми, а вы, Тойво, ешьте, он не остановится, пока не выговорится. Вначале это многознание пугает, а потом — ничего, даже любопытно, всё новое и новое каждый день…
— Я понял, — всполошился Игнатий Дмитриевич, — у тебя вещи на вокзале… Сейчас поедем, — и он в два приёма съел фаршированный блин, рассыпая начинку, второпях запивая остывшим кофе.
— Жена у меня золотая, и фамилия у неё Злотина, готовит что надо. Ты заметил?

По пути на вокзал я узнал многое о литературной жизни Красноярска, а главное — я услышал стихи разных сибирских поэтов в прекрасном исполнении Рождественского…

Дул холодный встречный ветер и нёс на крыльях струи горького песка и каменноугольной пыли, но надо мной витали сибирские стихи, какие-то прозрачно-студёные, с блёстками солнца, с запахом тайги и костров. Бог ты мой! Я и не догадывался, какими могут быть отзывы сердца на этот полудикий край. Наверное, у каждого поэта есть самые прочувствованные строки, вот они и будоражат моего доброго друга; и у него вот сейчас, на ходу, выстраивается такой словесный ряд, от которого мороз дерёт спину:

Нет, таких не пишут на полотнах,
Только в жизни встретишься с такой,
На путях судьбы бесповоротных
Где-нибудь над тундровой рекой.
Встретишься, чтоб больше не расстаться,
Чтобы надышаться новизной,
Чтоб по тундрам дымчатым скитаться
Лебединой северной весной.

Мы пробирались сквозь песчаную бурю к вокзалу, отворачивая лица от колючих струй. Но и тут Игнатий Дмитриевич начал декламировать такое, что я не слышал раньше:

Итак, начинается песня о ветре.
О ветре, ведущем солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

— Кто это? Багрицкий?
— Нет, Луговской — не наш, иркутский, а Владимир, москвич.

Но вот и вокзал, вечная толкучка, камера хранения в подвале, очередь. Другой мир — здесь совсем не до стихов. Но даже в толпе, волоча мой тяжёлый рюкзак, Игнатий Дмитриевич ухитрялся читать:

А в походной сумке спички да табак,
Тихонов, Сельвинский, Пастернак!

— Не нагрузили ли тебе кирпичи вместо Тютчева и Баратынского?!

Постояли на автобусной остановке минут пятнадцать, вычислили, что нам с вещами не сесть даже во второй автобус, и пошли пешком. Теперь нам предстояло идти по ветру, и мы могли бы взлететь, раскрылив наши куртки и пальто, но тяжёлый чемодан, который мы несли вдвоём, приземлял не хуже мученических вериг. Но всё же мы добрались до неуютной берлоги тёзки Ивонена, где мой огромный чемодан занял всё свободное пространство.

Дверь мы за собой не закрыли, так как любопытные соседи собрались посмотреть на восходящую знаменитость — Рождественского.

Старая учительница говорила с ним так нежно, что я даже позавидовал. А кто из моих учителей обо мне может помнить так? Пожалуй, одна Полина Леопольдовна Прево. Хотя её предмет я учил плохо. Её расстрелянный муж был художником — возможно, это имело значение. В одном из рассказов она у меня в кратком эпизоде названа Кларой Карловной — так получилось. От чая мы сумели отказаться, зная, что Евгения Моисеевна готовит что-то мясное. А Дмитриевич знал, что раз в доме гость, у неё найдётся что-нибудь в графинчике, припасённое на особый случай.

Первым делом у Рождественских меня раздели до трусов и тёплой водой вымыли ноги. Если это по еврейской традиции — то это хорошо. Четверо суток с хвостиком от Москвы, не снимая ботинок; от меня пахло за версту чужим махорочным дымом. А там, в доисторических Галилейских пустынях, пыли было, наверное, не меньше, чем в Красноярске. Традиции живы жизненностью.

После обеда Игнатий Дмитриевич показал свою библиотеку — в основном, поэзию. Были сборники сибирских авторов с дарственными надписями, с пожеланиями творческих успехов. Я знал его сборник «Северное сияние» — первое, радостное для автора издание, а сейчас был сборник «Сердце Сибири». Я не отважился их ни сравнивать, ни рецензировать, да автор и не просил об этом. И я сказал, что хорошо, когда издают, — есть повод для следующего шага.

— Лестница славы крута и трудна. У нас в издательстве сейчас очень хороший редактор — умница Зоя, с хорошим вкусом, докажет деликатно твоё несовершенство — и не обидно. Я тебя познакомлю с ней… Выберем день, когда не будет Казимира, уж очень он обидчивый, когда с ним не соглашаются.
— А я хотел с ним тоже познакомиться, — тихо вставил я.
— Надо, чтобы не я тебя к нему привёл, а чтобы он тебя открыл сам и со мной познакомил.
— Да? — я задумался.
— Да, вот такой пустячок имеет значение… Мы, поэты, очень одинокие люди, нас не понимают… Или понимают, да молчат. Вот, Тойво, скажи: какие мои вирши у тебя лежат на душе? Только сразу и честно.

И я читал:

Нет, я не верю оттепели краткой,
Нежданной, переменчивой, сырой,
С её лукавой, льстивою повадкой,
С её всегда капризною игрой!

Я не успел начать вторую строфу. Признаться, я не был уверен, что помню текст этого шедевра точно, но тут меня с удовольствием выручил Игнатий Дмитриевич:

Она придёт, сорвутся с крыш капели,
Ручьи засуетятся во дворе,
И мягкий южный ветер, как в апреле,
Обманчиво повеет в январе…

Третья, последняя, строфа читалась тяжело. Видно, какое-то воспоминание захлёстывало его, и он неожиданно размягчился, словно забыл обо всём.
— Дорогой ты мой, — только и сказал и начал протирать тяжёлые очки. — Ты когда свои будешь читать?
— Не знаю, пока нечего читать, всё в обрывках, без серьёзной мысли.
— Брось, мне Липатов говорил, что он читал и слышал твои стихи про шамана, про Штрауса и девочку-тунгуску, влюблённую в тебя…
— Нет, нет, это очень слабо и цветисто. Вот Липатов действительно читал хорошие стихи об одиночестве Кутузова. Пожалуй, это лучшее о войне, не считая текстов песен Суркова и Симонова.
— Прочитай про Кутузова, я что-то не знаю, у меня был только тоненький сборник Липатова нашего издания; видно, я просто не читал. Да! Там и Суворов был в Кончанском — опальный, униженный, в тяжёлый час Родины сквозь зубы прощённый и вновь назначенный.
— Совершенно точно, если найдётся сборник, я с удовольствием пережил бы снова его сюжеты.
— Хорошо сказал: пережил бы снова чужие стихи… Очень откровенно.

Это был счастливый день, что-то хорошее, ласковое охватывало меня, как лёгкий порыв тёплого ветра. Я был принят доброй семьёй, талантливым, не чванливым поэтом, как равный.

Потом я уезжал в северные экспедиции, о чём рассказано в документальных повестушках в этой книге.

При одной встрече в издательстве он всё же настоял, чтобы я почитал. И я читал, но не те стихи, которые были одобрены главным редактором Зоей Ильиничной Семигук для сборника «Слово земляков», а те, что ещё ворочались в мятых листах во внутреннем кармане над сердцем.

Я не помню этих стихов полностью, но прочитаю строчки, которые он отметил.

Сюжет первый: мы, сезонные рабочие парни, все влюблены в женщину-инженера, руководителя небольшого исследовательского судна на севере. Она стояла, глядела в бинокль, кого-то искала, а может, ждала на берегу, где волны пенили песок…

Когда же в путь поднялись снова,
В речную свежесть на заре,
Мы были все за ней готовы
На край земли, в разбег морей.

Потом было таёжное, о районе, где прошло опальное детство:

В любом краю, в любое время
Всегда стремился я сюда,
Где скал и туч нагроможденья
Напоминают города…

Были стихи и об охоте на медведя:

Я не хотел открытой встречи.
Но было поздно: в трёх шагах
Я видел что-то человечье
В его испуганных глазах…
И, как развязка, грянул выстрел;
И рухнул он вперёд на грудь,
И эхо на горбах гористых
В высоком ахнуло бору…

Игнатий Дмитриевич после долгого молчания сказал, что я ещё не нашёл своего стиля, своей позиции. Есть только претензия на сибирский дух, вернее, поиск того аромата, чем сильна проза Шишкова, но это пока не о главном.
— Дай мне твои черновики, я внимательно посмотрю…

Я промолчал. Свернул листочки в тугую трубочку и сунул под рубашку.
— Извини, Игнатий Дмитриевич, это мои дети. Они, даже калеки, мне дороги, они ещё вырастут. Сожалею, что разочаровал вас.
— Ну вот, уже и «вас», я же честно сказал.

Потом мы как-то долго не встречались. Но когда вышел сборник «Слово земляков», он меня ласково упрекнул, что я не показал ему эти стихи. О тех, ранее прочитанных стихах он сказал, что в них что-то есть: не бросай, придёт чувство — напишешь.

На сборник краевая газета откликнулась рецензией К. Лыжина, в ней как положительные отмечались стихи Гордиенко и Суворова; о моих стихах, вернее, об их авторе говорилось резко: неизвестно почему шатается в тайге — не то геолог, не то поэт.

В то время, после краткой оттепели 1947 года, когда после двадцатилетнего запрета был напечатан трёхтомник Есенина, появились статьи, похожие на грозные директивы ЦК об антипартийной критике, о журналах «Звезда» и «Ленинград»,

о советском патриотизме, о низкопоклонстве перед Западом, где всё загнивало и было антигуманно. А наша печать гуманно расправилась с великим композитором Прокофьевым, на долгие годы выкинула из литературы Анну Андреевну Ахматову, Михаила Зощенко… Были спущены директивы на места: отыскать, выявить, сделать выводы.

К. Лыжин от встречи со мной отказался. Я спросил и Н. Устиновича, и Игнатия Дмитриевича: что делать? Из «Сибирских огней» сняты мои переводы тувинских поэтов Юрбю и Сарыг-Оола, снят рассказ, причём расхваленный Коптеловым. Устинович недавно освободился из лагерной зоны, ещё не была снята судимость, он имел право бояться. Игнатий Дмитриевич сказал убедительно:

— Надо взять псевдоним, такое — бывало… А что?

— Не могу предать фамилию, мой распиханный по сибирским ссылкам, униженный народ, фамилию расстрелянного брата — между прочим, поэта истинного. Нет, нет, не могу… Буду писать в стол.

— Могут наступить времена, когда и в стол писать станет опасно. Вспомните судьбу Корнилова, Мандельштама, Ручьёва, Злобина!

— Может, выпьем для ясности? — сказал Николай Станиславович. — Мы тебе посочувствуем, ты нам простишь нашу трусость. Сейчас лучше помолчать. Никому не жалуйся, сделай вид, что тебе это нипочём! И Косте Лыжину морду не бей, жена у него хорошая и дочь уже взрослая, очень тяжело реагировала на выступление отца.

— Хватит! Пошли пить, — сказал я.

Как эхо глубокого землетрясения, пошли отзываться на местах те самые, всегда действующие, постановления ЦК о нашей культуре. В Красноярске стали искать антипартийных критиков, врачей-отравителей, стали выявлять безыдейность в недавно напечатанных произведениях. Появилась статья-разборка по поводу стихотворения К. Лисовского «Лебединая дружба». Вечная тема верности, известный сюжет, автор увидел его, плывя на лёгкой лодке:

Видел я, плывя на лёгкой лодке,—
На таёжном озере весною
Парень молодой убил лебёдку,
Что была у лебедя женою.
Стыла кровь на белоснежных перьях,
Ветер их перебирал, скучая…
Я не верю в сказки и поверья,
Но за это честью отвечаю:
Лебедь взмыл высоко в поднебесье
И, чертя над нею круг за кругом,
Лебединою прощальной песней
Милую оплакивал подругу.
«Ку-у, ку-у!» А потом, не чая
Больше с ней увидеться, нежданно
Камнем рухнул, смерть свою встречая,
И упал на землю бездыханным…
Тишину рассвета нарушая,
Тайный плач ещё, казалось, длится…
Иногда б и людям не мешало
Верности у лебедей учиться!

Вот за эти две назидательные непоэтические строки его обвиняли: «Он что, инстинкты выше разума ставит? Лебёдка — жена лебедя — сразу ассоциируется с производственным механизмом. Осудить позицию автора, предложить газете впредь быть внимательнее к материалам».

Вот в таком плане! А говорили люди грамотные, с именами, учёные…

Но когда на собрании выступил журналист, в общем-то честный человек, проработавший в северной тайге всю войну, — Семён Берсон — и сказал, что в Эвенкии лебедей не видел и у него это стихотворение не вызывает тех чувств, которые он, Семён, переживал там, я сжался от обиды.

— Вы не можете одинаково чувствовать тему любви с поэтом Лисовским! Дайте мне слово для справки, — это я поднялся в дальнем углу. — Только для справки, так как спорить с учёными критиками не буду. Автор, Казимир Лисовский, из Новосибирска — он лежит в больнице — прислал вот такую записку: «Дорогой Тойво, мне позвонил редактор газеты Черненко, сказал, что готовится тематическое собрание, он знаком с текстом доклада, там идёт разборка моего эвенкийского цикла, который я для поддержки штанов предложил газете, а зря поторопился! Прошу объявить пару исправлений в моей редакции: строка третья первой строфы — «Молодой эвенк убил лебёдку». И две последние строки заменить, как написано здесь:

Тишину рассвета нарушая,
Тонкий плач ещё, казалось, длится…
До чего ж любовь жила большая
В сердце маленьком весенней птицы!»

Вот так, товарищи. Автор благодарит вас за отзывчивость и своевременную критику, — но это я уже от себя добавил. — И ещё поясняю: получив эту записку, я кинулся в редакцию, но попал не к Черненко, а к Лифшицу — он меня успокоил, что даст пояснение, если будет необходимость. Если у вас есть, дорогие товарищи, готовое решение по этому вопросу, то прошу — это моё предложение как участника совещания — принять сообщение к сведению и смягчить формулировку. В старину на Руси лежачего не били. Лучшие традиции забывать не надо. И ещё, простите, если найдётся основной автор этого разноса, я хотел бы побеседовать в более интимной обстановке — скажем, за стаканом чая. Многое мне непонятно, странно и обидно, я тоже пишу и боюсь теперь даже показывать.

Нашёлся автор, журналист, иногда пишущий стихи. Видимо, здесь он выполнял заказ. Я не называю его фамилию — она очень известна, так как воплощает талант и славу большого писателя. Этот журналист стал редактором классической прозы — Тургенева, Лескова, Чехова. Да, да!

Моё приглашение он принял, только просил перчатки боксёрские спрятать под диван. Все засмеялись. Как я узнал после, резолюции не было принято никакой. Но всё же я просил записку Лисовского и газетную статью приобщить к материалам собрания — в назидание потомкам. Пусть знают, какие мы были в середине двадцатого века.

Вероятно, по всей стране проводились подобные собрания. Доходила устная информация из Иркутска, из Тувы: кого-то посадили, тот-то повесился.

Спрашивать о подробностях этой сверху организованной травли было неудобно, я же—просто боялся. На экзекуционные собрания перестал ходить, но не смел отказываться, когда приглашали поимённо.

Из ответственного секретаря краевой газеты «Красноярский рабочий» пытались сделать антипартийного критика. Лев Осипович Лифшиц был человеком не просто грамотным, он был энциклопедически образован по всем видам культуры, Изгоняя его из газеты, от повседневной суеты и текучки, товарищи судьи дали ему возможность пересесть в кресло редактора книжного издательства. Он не собирался возвращаться в свой Днепропетровск, считая, что здесь он будет работать с большей пользой для города и для себя. У него была хорошая квартира в доме специалистов, он коллекционировал редкие в то время и невероятно дешёвые издания по искусству демократических стран—Германии, Венгрии, Чехословакии.

«Зачем я поеду в разрушенный город, с лопатой в руках строить новое или восстанавливать старое гнездо? Другое дело, если меня сошлют на Украину». Этого застольного высказывания было достаточно, чтобы в лицо ему, уже немолодому человеку, сказали, что он не патриот, что его театральные рецензии в газете отдают снобистской высокомерностью. В городе он усидел. А скульптора Г. Р. Лаврова, режиссёра А. Я. Волгина, писателя Н. П. Мамина выселили за стокилометровую зону. Н. С. Устинович ждал, как крайком партии решит его судьбу. Его обещал пригласить сам первый секретарь товарищ Кокарев. Дата приглашения не была известна, и была ли она вообще намечена? Устинович не без горестного ехидства шутил, что эдак, пожалуй, и пить разучишься. Идти на приём в крайком—лучше дерьмом пахнуть, чем водкой.

Пострадал тогда и наш защитник—секретарь крайкома партии В. П. Павлов. Его обвинили в чрезмерной любви к оперетте и балету—впрочем, он не боялся и застольного общения с работниками искусства. Сослали его в Москву, посадили в кресло директора одного известного театра, имеющего некоторое отношение к балету. Так что ссылки были разные.

Стоило художнику Р. К. Руйге по семейным обстоятельствам поселиться в Абакане, как на общем собрании товарищества «Художник» парторгом был поставлен вопрос о его исключении из членов товарищества «за отрыв от коллектива». Абакан—столица Хакасии, которая входит в Красноярский край, там было и наше отделение—мастерские товарищества. Так что отрыв от коллектива Красноярска можно было считать актом усиления коллектива Хакасии. Руйга в то время был участником республиканских выставок и Пражского фестиваля молодёжи.

Все постановления цк по улучшению идеологической работы в центре и на местах сводились к сведению личных счетов в творческих коллективах.

Я и не предполагал, что Казимир Лисовский так близко примет к сердцу лёгкую перепалку на собрании, уделившем такое «нежное» внимание его стихотворению «Дружба». Он приехал, поселился в гостинице, где его считали постоянным гостем, и попросил дежурного милиционера сходить за мной—это было рядом, в том же квартале.

Валя знала, что я пытался не ходить на идеологические разборки, и, естественно, она испугалась.

—Старик,—так она звала меня,—опять по твою душу пришли, уже с пистолетом.

Улыбающийся милиционер извинился и сказал, что меня зовёт Лисовский, он в седьмом номере, просил прихватить что-нибудь лёгкое, он ещё болен…

Я был рад встрече, как был рад тому, что в какой-то мере сумел отвести от поэта беду, которая всё чаще высовывала узкую голову с раздвоенным языком из мусорных ящиков нашего быта.

—Здравствуй, друг мой,—обнимая меня, говорил Казимир,—как хорошо, что ты пришёл. Хорошо, что не побоялся пойти на то собрание. Садись, давай выпьем…

Потом был вопрос:

—Игнат был на этом собрании?

—Нет, не был.

—А Зоя была? Как она?

—Улыбалась и радовалась, когда я читал твой вариант последней строфы.

—Сказали, что ты обещал Ефиму морду намылить…

—Нет, не обещал, я просто хотел узнать, с чего начинается подлость, просто поговорить, это он сам просил перчатки спрятать.

Кажется, мой неугомонный, всегда взвихренный Казимир успокоился.

—С Игнатием я поговорю сам,—уже в дружелюбном тоне продолжал Казимир.—Вот номер телефона, позвони, спроси доктора Кузнецова—это мой спаситель, заменил мне отца и мать, я доверяю ему полностью, нанесём визит дружбы. Иван Маркелыч—железный человек… Увидишь, он тебе понравится. Фотоаппарат у тебя есть?

—Нет, Казимир Леонидович, ещё не приобрёл. Канитель с проявлением и печатью—пока обхожусь…

—Надо бы нам сфотографироваться, Тойвушка, я ведь долго не протяну, а так много надо сделать…

Квартал, где жил доктор Кузнецов, примыкал к Красной площади. На улицу Робеспьера выходили низкие фасады деревянных домов с бело-голубыми ставнями и наличниками небольших окон. Половину одноэтажного дома занимала библиотека Ивана Маркеловича. Привычных признаков жилых комнат я не заметил. На одном книжном стеллаже висела шинель с погонами майора медицинской службы. Встреча восторженного поэта с добрым наставником и другом умилила меня. И я молча участвовал в их воспоминаниях и оптимистических планах: побывал и в попавшей под Харьковом в окружение армии вместе с доктором Кузнецовым, и на плоскогорьях Таймыра вместе с Лисовским. Знакомился с их общими друзьями—речными и морскими капитанами, тунгусскими охотниками, так тепло и радушно принимавшими русского поэта из большого города, всегда привозившего им подарки, иногда даже патроны для карабина, которых в тайге не достать…

Хозяин библиотеки показывал свои новые находки и приобретения—редкие книги. В городах,

которые удавалось отбить у немецкой армии, этот странный майор Кузнецов собирал брошенные, обгорелые книги, одни бережно складывал на видном месте, другие клал себе в вещевой мешок и носил по всем фронтовым дорогам.

Получилось, что доктора Кузнецова посадили, слава Богу, не по политической статье, а за растрату казённого спирта, хотя все понимали, что это был только повод. В то время он был главным врачом санэпидемстанции города, и его сослуживица выдавала замуж единственную дочь. Для свадьбы и выделил начальник станции спирт по государственной, а не по базарной цене. За пять литров спирта — пять лет лагерей. Доброй славы Кузнецов не потерял. Жена, по чьему-то совету, снесла часть библиотеки букинистам, чтобы были деньги нанять адвокатов, — это продолжалось все годы, пока доктор трудился за колючей проволокой.

Об И. М. Кузнецове издана книга воспоминаний красноярцев, об этом и часть его дневников; к ним я и отправляю любознательного читателя.

У меня же с И. М. Кузнецовым будут ещё встречи впереди, как и с моими друзьями — Игнатием и Казимиром. Мне довелось наблюдать их жизнь до конца.

Вячеслав Тюрин

Свирель для ветра

Посреди долгостроя валяются трубы, служа
многоствольной свирелью для ветра, сорвавшего голос
в схватке с эхом подростка за право на шрам от ножа,
что втыкался сплеча в эту землю, скупую на колос.
Снова сваи торчат из суглинка могильной толпой,
и наведался пенсионер за песком для питомца.
Время стало на месте, хотя небосвод голубой
и покрыт облаками, которые тают на солнце.

Мой профессиональный долг —
узнать, о чём горюет волк,
когда он воет на луну.
Мой долг — услышать тишину
блаженных клеверных полей,
понять вершины тополей,
чья серебристая листва
всегда по-своему права.

Замысловатые сады
роняют осенью плоды.

Как быстро минула жара.
Пятнистых яблок кожура
нежна, как детское лицо.
Убрав, как жертвенник, крыльцо,
червонцы грудами лежат.
Они земле принадлежат,
но рады ветру послужить,
когда начнёт он их кружить
в сквозных чертогах октября.
Взгляни, вечерняя заря
зажгла рябиновую гроздь.
Я чувствую себя как гость
на этом празднике богов,
внимая шелесту шагов.

Мы жизнь откладываем на потом
и существуем,
а та врывается в наш дом
морозным жгучим поцелуем.

Мы жизни говорим «пока,
до скорой встречи».
На нас наваливается тоска,
чужие речи

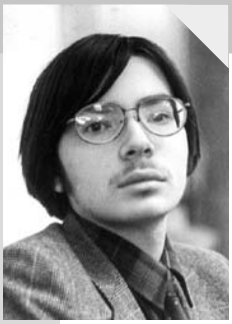
и междометья, брошенные вслед
почти вслепую.
От жизни получаем мы в ответ
шальную пулю.

И начинаем приходить в себя,
рождаться свыше,
о днях бездумно канувших скорбя
в алтарной нише.

Пепел сыпался на рукопись,
и дремала голова.
Грибники в лесу аукались,
словно в словаре — слова.

Мгла висела подворотнями
вроде вражеских знамён.
У пейзажа смысл не отняли —
всё равно его поймём.

Весь, со всем его орнаментом,
листопада глядя сквозь,
по местам гуляя памятным,
вспоминая, как жилось.



Илья Тюрин

Воспоминания в Царском Селе

Из дневников

Публикация Дневника поэта и эссеиста Ильи Тюрина (1980–1999) приурочена к 200-летию Царскосельского императорского лицея. Текст и рисунки Ильи любезно предоставлены Ириной Медведевой, президентом Фонда памяти Ильи Тюрина.

В моей жизни есть порядки, будто заведённые не мною самим. К примеру, один раз в месяц я простужаюсь и болею ровно три дня. Не припомню, чтобы случались перемены или нововведения в ритуале: утром первого дня я здоров, однако чувствую, что должно произойти, и освобождаю ближайшие три дня от забот; к вечеру голова моя тяжелеет, я сплю плохо и просыпаюсь совершенно больным; весь день я не поднимаюсь с постели. Мне носят чай и меняют платки; я читаю Пушкина и ночью сплю, не смея повернуться набок со спины; на третий день я уже встаю и с досадой прохаживаюсь по дому, спать не могу и лежу, как колода, в ледяных простынях — зато наутро унизительный обряд уже выполнен.

В другое время приходят на меня проекты, исполнение которых также никогда более трёх дней не длилось. То пишу я поэму — и начинаю даже первую песнь, то берусь прочесть Библию от первой до последней страницы, то изучаю физику по академическому курсу. Течение этих ритуалов таково же, как и течение болезни; привычка к ним давно отвратила меня от сопротивления и реформ. Но теперь случилось удивительное: два моих обычных происшествия пришлись друг на друга. Как раз вчера я простудился и в тот же день задумал написать историю четырёх лет, проведённых в лицее, который неделю тому назад мною окончен.

Сейчас я лежу, и под рукой у меня платок и бумага: смешение церквей. Если в три дня успею сочинить до конца — большая удача, поскольку не думаю, чтобы ещё когда-нибудь представился случай.

30 июня 1997

1.

Перед тем как был отдан в восьмой класс лицея, я успел переменить два воспитательных заведения и достичь тринадцати лет. Где я учился и что я помню? Первая школа была красного кирпича и стояла через три улицы от дома. До той поры не выходивший никуда дальше двора, я внезапно оказался жителем города: чтобы в неё попасть, приходилось миновать несколько больниц, военные казармы и завод. Неудивительно, что у меня почти нет слов для того времени. Все науки, которые там преподавались, я изучил ещё до поступления, то есть умел читать и считать. Ни письма, ни иностранного языка там, кажется, не предусматривалось. Что сказать: меня окружили простые и бессловесные люди. Говорить не было их привычкой: они могли только оглушительно орать либо драться между собой. Хотя я помню все их лица, мне никогда не вспомнить их разговора: как видно, я ничего подобного не знал. В то время я почти не жил дома. Рано утром меня отводили в школу, где предстоял день с уроками, гулянием, бессмысленным дневным сном и вечерним ожиданием — пока заберут обратно. Мои родители стремились к улучшению в положенных им пределах. После двух лет такого порядка я был вызван на кухню, и мне сообщили, что с сентября я буду отдан в школу с английским языком. Так я покинул здание красного кирпича и расстался поневоле с первым своим другом, с которым успел уже несколько раз перессориться и соединиться вновь.

Всех друзей своих, что бы ни происходило между нами и как бы искренни ни были отношения, я покидал на удивление легко — и то был мой первый опыт. Он ещё звонил мне раз пять после. В один из таких разговоров я узнал, что он, подобно всей презираемой мною касте моих сверстников, моет машины на Яузе. Это случилось уже в бытность мою лицеистом, и к тому времени я успел принести двух или трёх своих близких в жертву неведомо чему. Не могу и не смею назвать имя моему пороку: во-первых, потому что пишу это я сам; во-вторых, потому что знаю точно — он не оставит меня, и судьба всех будущих моих несчастных друзей однообразна.

Восьми лет, как и сказал, я получил вторую свою школу. На том основании, что в ней изучался убогий вариант английского языка, она считалась аристократическим заведением и для многих была желанна. Я попал в класс, который два года был без меня, — и немудрено, что остался поодаль их общества. Я не должен говорить, что стремился от этого общества отдалиться. Все рациональные свои силы я направил на то, чтобы приблизиться к ним и стать их собратом. При этом мне неимоверно мешало то, что разные люди в разное время называли во мне страхом, неумением общаться, нерешительностью либо инфантильностью. Теперь, с равным позором покинув все три школы, я знаю наверняка, что ни при каких условиях не могу войти органически ни в одно содружество людей. Вслух я давал этому свойству разные названия и форму, но про себя не скажу с определённостью, в чём тут дело.

К пятому классу старая бонна сменилась новой — внимательной к дарованиям, что прощалось ей за неопытный возраст, — и таланты мои раскрылись. В то время как большинство моих товарищей с явным трудом разбирало по писаному, я один стал местным университетом: декламировал, сочинял трактаты на пол-листа в линейку; слово на уроках единому мне предоставлялось вне очерёдности. Сильные люди класса — из тех, кто с трудом читал, — обратили на меня внимание, и я стал их придворным грамотеем. Я — к нынешнему своему удивлению — был громкий талант, но поблизости от меня был талант совершенно иного рода и, разумеется, непризнанный. Друг мой — Максим П., ныне обманутый и забытый мною, также не вошедший, несмотря на высокий рост, тучное сложение и громкий голос, в тамошний высший свет, обладал талантом так же очевидным, как и неопределённым. Нас было двое отверженных, и так мы стали друзьями. Отношения наши были странны не только для посторонних, но и для нас самих: большей частью он косвенно или прямо тиранил меня, но даже эта тирания была как будто семейная, то есть та, какой грех противиться. Изредка же мы были так удивительно однородны, что лишь теперь, по прошествии пяти полных лет, я могу должным образом оценить своё старое чувство. Ко времени нашего учения диалоги — во всяком случае, публичное выражение мысли, — перестали быть традицией моей страны, и мы только развлекали сами себя, сочиняя изустную мифологию. П. придумал, а я составил печатную энциклопедию, где героями были знакомые нам обыватели. Замышлялись три тома, но выпущен только первый — остальным полна поэма, писанная строфою Данте, которую я сочинял летом последнего школьного года, уже зная о своём зачислении в лицей и уже полный решимости забыть о П.

Когда над головой твоею небо,
И под ногами твёрдо — то основа
Для твоего, мой сын, существованья.
И велика та сила, что для жизни
Ту прочную основу сотворила.
Вопросом «кто?» не раз томились люди,
И многие ответы предложили,
И слух прошёл о некоем Великом,
Кто есть причина всем зачаткам жизни.
О, знай, что некий тот зовётся «Лара»,
Чья сила много больше, чем представить
Мы можем, слабоумные, и также
Есть высший мир, что вечно обитает
И Ларой создан был в начале власти
Её, что, хоть стара и безгранична,
Но прошлое имеет и истоки.
Великая, как Лару называют,
Не вечно на Священном троне суща:
Лоло, её отец, пред нею правил
И сам уже наследник был Олола;
Олол, великий предок всемогущей,
Лишь У сменил при власти над Вселенной,
А У завоевал её у рода,
О коем и старейшие не помнят —
Но был и тот у кафедры не вечен
и проч.

В последний год наша дружба как-то совершенно распалась, и хотя я видел, что друг мой смущён известиями о моих лицейских экзаменах, я всё же был неприятно удивлён, когда косвенным образом узнал, что он страдает по поводу нашей размолвки и моего поступления. Наши чувства находились в первобытном состоянии и, по крайней мере, никогда не были выражены словом — так что я искренне удивлялся небывалому происшествию: признанию моего друга в привязанности ко мне. Осенью того же года я, уже в обличии лицеиста, встретил его: встреча наша была печальна и мгновенна. А потом я разыграл пантомиму, обычную для пассивного малодушия: прекратил звонить ему и узнавать его при встрече, а затем и вовсе перестал его встречать. В разное время, и совсем недавно, я видел в толпе несколько лиц, похожих на него — если учесть метаморфозы прошедших пяти лет, — но не пригляделся и не остановился.

Я ничего не знаю о судьбах моих товарищей — как и они о моей судьбе. Наставница, признавшая меня, ушла в тот же год, что и я.

II.

Идёт третий день моей болезни, и я уже нигде не появляюсь без платка. Если воспользоваться моим феноменом и вспомнить, что каждый раз представлял собою лицей во время моих трёхмесячных недугов, — можно было бы хоть частично воссоздать лицейские четыре года. Удивительно, что я должен прибегать к таким картинам ради простых воспоминаний. Память, как обычно, сохранила мне несколько забавных вспышек, но не сохранила хронологии и истории, — таково общее свойство памяти; иначе мы не нуждались бы не только в описательной науке, но и в самом языке, который, приукрашивая или отлаживая события заново, заменяет нам то, что упущено памятью. В моих мыслях о прошлом нет и доли хронологического ощущения времени: вспоминая случай и смеясь над ним, я никогда не размышляю — что это был за год, произошло это слишком или не слишком давно, и так далее. Так, всю жизнь в лицее я могу изобразить в пяти-шести нелепых сценах либо характерах: это не от блистательного владения пером и речью, но, скорее, от неумения сделать лучше — как я уже и сказал.

О лицее узнали из газет. Это было как раз то время, когда в простой школе своё дитя мог оставить лишь несведущий либо не заботящийся о нём человек. Желание матери «устроить» мою судьбу стало так велико, что я сдавал экзамены одновременно в два пансиона — ездил по горячей Москве поочерёдно в два закоулка и на всякий случай запоминал две дороги. Лицейские экзамены были: русский язык, математика и третий — история и литература вместе. Тот третий, где я отвечал, что Язонова Колхида — это нынешняя Грузия, меня и вывел, поскольку на первых двух я провалился. Два сданные предмета из четырёх, разумеется, не обеспечивали мне место и требовали некоторой протекции. С меня при семейном разговоре настрого потребовали ответа: собираюсь ли я учиться? Я поклялся учиться — и после звонка

ректору попал в набор. Неприятные ситуации часто дают нам силы на то, на что в обыкновенное время нам недостало бы темперамента. За дни экзаменов, пришедшихся на май, я настолько привык к мысли, что оставляю старую школу, что даже в последних прохладных беседах с П. говорил о своём перемещении как о данности — он, конечно же, разуверял меня. Теперь я вижу, что возможность не поступить в лицей ни в какое сравнение по устрашающему действию для меня не шла с возможностью возвратиться опять в свой старый круг, не исполнив оглашённого в нём намерения. Скорее всего, именно эта боязнь подвергнуться молчаливому осмеянию среди старых товарищей и сделала моё обещание учиться совершенно искренним. Как это уже ясно, я не учился в лицее ни единой минуты за все четыре года — но ответ мой летом 93-го года был так сердечен, что даже и сейчас я не могу себя упрекнуть во лжи.

Хотя собственно лицей находился в полуразрушенном особняке на Солянке, учиться приходилось попеременно в двух местах, и поначалу я никак не мог затвердить путь к ним, в том числе на метро. Видимо, в осенние три месяца вся моя память истощилась на эту дорогу — и теперь на самых ранних моих лицейских воспоминаниях лежит печать зимы. Зима в России всегда связана не столько с холодами, сколько с постоянной тьмой — и смешно, но прекрасно помню только эту тьму, которую наблюдал из-за крашеных окон на Солянке. Аристократичность лицея (то есть его различие со школой) выразилось в том, что мы жили в разных углах Москвы, большинству ехать было долго, и класс наш — двадцать человек — собирался вместе не менее чем за час.

В первую зиму раньше всех являлся я и ещё долго мог видеть перед собою совершенно пустой зал. Убранство было самое убогое, мебель почти непригодная — но в них содержалось как раз то, что можно было ожидать от лицея. Взамен школьным вечно блестевшим партам и стульям (в качестве гауптвахты их каждый день мыли воспитанники) явились столы крашеного дерева, как-то по-иному расставленные и исписанные дочерна, и канцелярские стулья, соединённые неумышленно по два и по три — наподобие скамей. Школьные классы были необъятны, белы и освещены слепящими лампами — а комнаты лицея по сю пору тесны и темны, что ещё умножается теснотой и темью переулка, куда выходят их окна. Но для того чтобы пережидать жестокую зиму — нельзя было найти лучше места. Пока в пустом зале не появлялся второй пришедший, могло пройти до получаса. Ни в одном доме я более не испытывал таких минут пустоты и спокойствия, как в ту зиму на Солянке. Потом начались знакомства.

Не пойму, каким образом, но почти до самой весны я не завёл никаких приятелей и даже с трудом ещё различал имена моего класса. Лица казались невиданными доселе, хотя сейчас я не решусь найти более пошлые и неприятные характеры: был басовитый отличник крупного роста, знавший по батюшке всех, от ректора до уборщика, и впоследствии чуть было не получивший золотую медаль; был господин из Твери, «большой талант», которого сначала я почитал наравне с собою, а в последний год испытывал судороги, слыша его звонкие логические коленца; был человек по имени С., также достойный скорби — судя по тому, чем он казался и чем оказался. Женские характеры, насколько я мог видеть, по большей части все таковы же. Школа рано порождает в нас предубеждение и недоверие к чужому полу — ранее, чем оно могло бы появиться само. Нас перемешивают друг с другом и друг на друга наталкивают, не чувствуя, что и нам, и им — противоположным полам — до конца дней суждено не понимать своих антиподов и по-своему их толковать. Дело здесь не в том, что оценки наши ложны, но в том, что мужчина ищет для женщины аналогию среди известных ему мужских характеров — и так же поступает женщина по отношению к нему. Итак, мы судим наугад. Ей-богу, дамы лицея никогда не занимали меня всерьёз, и я могу определиться только отвращению, которое вызывалось во мне их большинством, — чувству, равному отвращению моему от большинства же товарищей. При этом одна из них, всегда знавшая к себе скрытую неприязнь моего пола и недоумение своего, на всё те же роковые три дня сумела стать ближайшим моим человеком и после испытала на себе всё, что мог предоставить мой малодушный характер.

Понемногу налаживались мои связи. Тот, который был С., сам того не хотя, научил меня новому обхождению и словам. Мне не случилось применить ни того, ни другого, но зато я знаю теперь, что не включу в мой круг тех, кто обладает сим знанием. Всё, что относимо к «молодёжи», с этих пор заранее мне чуждо. Ближе к концу зимы начался немецкий курс. В группу записались двое, с самой осени бывшие вместе, и двое одиноких, в числе которых и я. Каждый раз, по полчаса ожидая урок, на подоконнике я встречал странного обитателя, молчавшего с упорством, почти равным моему. Через две встречи он обратился ко мне с непривычной речью, говоря «вы». В другой раз обратился я к нему; потом уже ожидали друг друга — и, наконец, стали жить по-приятельски. Человек из Твери оказался его знакомцем — по привычке стал другом и мне. Я сводил тверского М. на Арбат — он дал мне «Битлз» и ввёл в свой дом на Октябрьском поле. Казалось, всё наше сокровенное стремилось открыться: мы создавали свою манеру, мнимая общность желаний увлекала нас. Теперь же видно, что в едином языке и едином нраве была попытка каждой души уберечь то последнее своё, что осталось целым от огласки. Мы с П. (первый знакомый) вместе прочли «Бурсу» Помяловского и приискали там свои псевдонимы. Он стал Ipse, я стал Семёнофф. Была глубокая весна, в другой класс переходили мы свободно. Михаил бросил вспоминать свою Тверь и стал Филофей Трупка.

III.

Бродский говорит о своей однокласснице, что в её фамилии и имени скрывалась офицерская жена. Офицерские жёны — худшая смесь раболепства и

высокомерия — всегда скрывались во множестве наших девиц. Их постоянная готовность подчиниться чужому суждению, обстоятельству, личности нисколько не мешала им в то же время быть насмешливыми и жестокими по отношению к тому, кто оказывался лишним в их кругу. Это покорство одному и пустое равнодушие к другому, это ханжество и эта, наконец, очаровательная глупость, несомненно, были у них с самых ранних лет, ещё до встречи, — но забавно, что именно эти свойства поддержат их в сегодняшнем развращённом и холопском по духу обществе, которое, как считают, создаётся общением, а не врождёнными качествами его членов.

Мы привыкли, не задумываясь, унижать женщин. Быт лицейских дам был отвратительно вульгарен и груб, но стоит привести его составные части — причёски, журнальчики, кольца, записки, танцы, — как этого будет достаточно, чтобы вы признали его «милым», «чисто женским» и так далее. К чему приписывать целому полу черты его худшей и дикой части? Это старый след поверхностных и натянутых отношений между мужчинами и женщинами. Лицей дал мне странный и печальный опыт таких отношений.

Е.С., бывшая среди нас с первого года, несколько выше ростом и приметнее своих соплеменниц, жила, как и я, почти тихо. Рассеянно следя за судьбами женской половины, я, конечно, не заметил ни круга её знакомств, ни её разговора. Однако чуть ли не ко второй уже осени будто появились посторонние силы, толкавшие нас друг к другу, — не это ли породило всю спешку и глупый сумбур нашей связи? Многое негласно сводило нас вместе. Способности к литературе — мои и её — почитались равными; наша нескрываемая отверженность привлекала чужое внимание; остроумные приятели мои, намекая на мою неопытность, советовали мне сойтись с ней — и так далее, и так далее. Разумеется, я отвечал агрессивно и по-детски, а о её реакции не думал. Оказалось, это был классический случай невнимания и непонимания: за единственный наш разговор она успела мне кое-что разъяснить. Завоевание моё началось при моём полном неведении; за год влюблённая предприняла, вероятно, десятки хитростей, к которым я остался глух. В две весны и лето я трижды был зван по разным поводам к ней домой. В третью осень лицея состоялась наша связь, после которой до самого конца я не смел поднять в её обществе головы.

К этой третьей осени мы уже часто езжали друг к другу на дачи и квартиры. Устраивались сабантуи, нелепые и почти все смертельно скучные, — плоды неопределённых желаний и необъятного досуга. На 3 октября назначен был вояж далеко в деревню; поехали все — меня, принявшего позу и погружённого в капризы, уговорили также. Отправлялись как-то в спешке, с гитарой, зелёными арбузами и вином; товарищи, между которыми и она, меня окружали. В благоустроенном селе с калитками и парниками прожили вечер, ночь и утро и — после того, как всё уж произошло, — возвратились обратно понурые и в недоумении; назавтра были уроки. Пишу без малейшего переживания: как вдохновение, лишь изредка находит на меня одушевлённая память. На другой день было наше объяснение: я из страха большей частью молчал и, видно, дал повод принять это как равнодушие… Более мы уж не говорили.

Ещё полгода я, как водится, злобствовал и убеждал себя в ничтожности всего случая. Но вдруг и история, и моё чувство представились мне во всём великолепии невосполнимого — я готов был дать что угодно за повторение и так далее. Потом, видя, что делать нечего, я малодушно стал сочинителем безадресных сонетов К***. Любовь моя, подобно и всему прочему во мне, стала искренне развиваться лишь после нашей размолвки, откровением стал я чувствовать воспоминания тех дней и прочее. Всё верное и удачно найденное в любую минуту готово смениться самым пошлым и неживым. Раньше я видел её подле себя и ощущал несвойственную мне радость — теперь я вижу её во сне. Туда, где совершена глупость или трусость, банальность является быстрее всего.

Следуя ритуалу, я должен теперь сказать, что с тех пор все дамы вообще мне противны. Но никакого подобного превращения я не знал. Я даже не начал сравнивать мою знакомую с её окружением либо её окружение с нею. Хотя определённые фигуры были мне равно неприятны и до и после, я не склоняюсь к тому, чтобы воспринимать своё октябрьское несчастье как некоторый хронический ориентир. Единственный мой верстовой столб находится где-то в человеческих лицах; по крайней мере, я жил среди них и не подпущу на

выстрел к себе, например, ту, которая отрывается на секунду от журнала мод — чтобы подать и свою ханжескую копейку нищему проходимцу.

IV.

Ко всякой дружеской теме я приближаюсь, как могу, осторожно — отчасти из-за тяготения прошлых и ещё грядущих вин, отчасти из-за того, что храню в памяти замечания о своём искусстве порывать с друзьями, отчасти из-за недостатка слов. Слова, когда они посвящены человеку постороннему, ничего не приобретают, но зато теряют одно: безнаказанность. Кроме того, личность в хронике — коварнейшая вещь: и обходя её стороной, и описывая, мы поступаем, подобно жениху из древнего анекдота, в равной степени неправильно. Неизвестно, на что обидится больше наш адресат: на равнодушие или на пристрастие. Однако у всякого в этом деле есть опыт, потому что и сама-то дружба состоит в постоянном выборе между первым и вторым.

Придя в лицей, я имел твёрдое намерение не заводить друзей совсем: обещание учиться меня угнетало необходимостью его исполнять. Но для неприятностей наша память коротка. С первым же знакомством я решил, что один или двое приятелей никак не могут повредить науке — тем более что сами к ней принадлежат. На первый случай Бог послал мне людей, настолько убеждённых в своём особом назначении, что я и сам с охотою находил в них ум, остроту мысли и другое — вещи, ни в малейшей степени не свойственные им. Уже известный С., сидевший за одним столом со мною, поражал меня. К примеру, тем, что мог разумно говорить пять минут, при этом ни разу не сбившись и не потеряв тему: моё прежнее общество и по принуждению более двух фраз связать не умело. Конечно, ясно, что из всех слов, произнесённых им при мне, я и под батогами не смогу теперь вспомнить ни одного. Дружба наша была феодальная: ему первому из всего лицея я пожал руку; кроме того, мы делили парту — следовательно, должны были считаться друзьями. Другой полюбился мне остроумием: от него первого услышал я анекдоты и смех, Губермана он боготворил и читал без меры:

> Чуждаясь и пиров, и женских спален,
> И мира с его мусорными свалками,
> Настолько стал стерильно-идеален,
> Что даже по нужде ходил фиалками, —

следовательно, обладал остротою рассуждения и был причислен к моему победному списку. Как я мог предположить, что скоро любое слово этого человека я внутренне буду сопровождать досадою и удивлением? Из всех нас я, наверное, наиболее подошёл Лицею: я вступил в него с первым уроком и закончил его с получением бумаги. Как вид новых, ловких людей дал мне сил на четыре года — так разочарование в них, вооружённое последними предрассудками, буквально вышибло меня за дверь неделю тому назад…

(На этом «Воспоминания в Царском Селе» Ильи Тюрина обрываются.)

Илья Тюрин

Застольная игра

Лексикон

Ты ряди́шься в слова. Потому, слава Богу, свободен
От любого позора—включая обычную порку,
Ибо снять с тебя что-то (в особенности при народе)
Не удастся, поскольку всё дело напомнит уборку
Твоего кабинета, бумаг на столе или в кресле,
Переборы в шкафу и последний пробег по роялю:
Ты останешься гол, как и был. Но, послушай-ка, если
Это так—почему бы тебе не просить подаянье?
Это было бы смело. Ты б стал идиот для соседа,
Идиот для жены, для друзей: «А не слышал, что этот
Идиот с собой вытворил?» То есть—простая победа:
Регулярные деньги плюс малоизученный метод
Перебранки с планетой. Когда Диогеновой бочкой
Попрекнут—не теряйся, но всё же помедли с ответом.
Посмотри им в глаза и скажи прошлогоднюю строчку:
«Да, я умер для мира, но был и остался поэтом».
После этого ты прослывёшь пошляком и, возможно,
Шарлатаном, тебя отпоют почитатели -ова
И твоих подражаний ему. Вот тогда, осторожно
Отвернувшись к стене, засыпай. Ты не отдал ни слова.

Паркер

(Мои чернила)

Я говорю: я не прерву письма
До чёрных дней, до пиццикато Парки,—
Но ты—мой чёрный день, флакончик Паркер.
Какая за тобой настанет тьма?

Какая чернота, ты скажешь ли,
И что за глушь, не знающая вилки,
Быть может действеннее замутнённой мглы
Твоих следов на горлышке бутылки?

Ты, о флакон, ты не бываешь пуст.
И я, как Ив Кусто, в твои глубины
Всего на четверть обнаружил путь.
Даст Бог—я опущусь до половины.

Даст Бог дождя, даст ночи—я приму
И на себя частицу океана;
Даст горя, Паркер,—и в густую тьму
Мы вступим вместе, как в дурные страны.

Ты знаешь их. Ты мне переведёшь
Их крики и питейные рассказы,
Пока и сам за мной не перейдёшь
На тот язык, что за пределом фразы.

Где Паркер мой? Я многого хочу.
Перо не смыслит крохотной головкой.
Я только море звукам обучу:
Оно черно. Как след руки неловкой.

К полуночи я дважды измождён.
Со мною чай и положенье в кресле,
Пустые мысли, присказки. И если
Протяжный день окончился дождём—
Я думаю, что это обо мне.
И близкий шорох (тополь поднимает
Листву) меня печально занимает—
И больше получаса я вовне.
Мне будто незнаком обычный строй
Книг за стеклом и пятен на обоях.
Я вижу зеркало, но в нас обоих
Не чувствую себя. Зрачок пустой
В смятении, но словно даже рад,
Как сплетне,—неожиданной работе;
Снуёт и скоро гибнет в повороте
На зеркало, где поджидает брат.
И эта смерть подхлёстывает ум:
Давно готов размер—лишь дайте тему.
И тишина выдерживает стены,
Как подвиг на себе, и всякий шум
В такой тиши—как голос божества
Незваного, неправильного. Плотно
Пигмей меня объял—и неохотно,
Как кошелёк, я достаю слова.
И вскакиваю. Кресло, шевелясь
Ещё секунду без меня, однако,
Живёт—и переносит на бумагу
Моей рукой своих плетений связь.

В темноте штукатурка одна
Не смешается с чёрным, не выдаст.
Что за счастье, когда у окна—
Бесприютный, готовый на вынос,—
Всё же есть и топорщится стол.
И хотя не скудеют чернила—
Стол, моё вдохновение, стой:
Ты настолько меня изменило,
Что в чертах удалого лица
Не сумеешь оставить примету.
Как беседка рукой пришлеца—
Я тобою испорчен за эту
Невеликую ночь. И вдвоём
(Ты поймёшь это!) мы неподсудны,
Потому что на суд отдаём
Не команду, а мёртвое судно
Да приветы от тех, кто в нём был,
Помаячил в дверях и вернулся.
Знай, что если я что-то забыл—
Это тот, с корабля, оглянулся.

Финал

Семнадцать лет, как чёрная пластинка,
Я пред толпой кружился и звучал,
Но, вышедши живым из поединка,
Давно стихами рук не отягчал.

Мне до́роги они как поле боя.
Теперь другие дни: в моём бору
Я за простой топор отдам любое
Из слов, что не подвластны топору.

Подняв десницу, я готов сейчас же
Отречься от гусиного пера
И больше не марать бумагу в саже,
Которая была ко мне добра.

Я здесь один: никто не может слышать,
Как я скажу проклятому нутру,
Что выберу ему среди излишеств
Покрасочней застольную игру.

Почта

Я полюбил свободные размеры:
Как тога или брюки без лампас,
Они дают мне лёгкие манеры;
Но тощ для них словарный мой запас.

Должно быть, от болезней или горя—
Слепого и не видного извне—
Я бросил стих. И, по привычке вторя
Моей судьбе, он изменяет мне.

И на столе, как следствие измены,
Я нахожу конверты от него:
Уж распечатаны и непременно
Надушены бессилием его.

Теперь я болен службами иными,
Но, видно, не поддался мятежу—
И, будто из укрытия, за ними
Со дна мизантропи́и я слежу.

Но всё, что мне нашёптывает ворот
Колодца, всё, что сочтено в уме,—
Я с ужасом и нетерпеньем вора
Прочитываю поутру в письме.

В дурном углу, под лампой золотой,
Я чту слепое дело санитара,
И лёгкий бег арбы моей пустой
Везде встречает плачем стеклотара.

Живая даль, грядущее моё—
Приблизилось: дворы, подвал, палата.
Всеведенье и нижнее бельё
Взамен души глядят из-под халата.

Тут всюду свет; и я уже вперёд
Гляжу зрачком литровой горловины;
И лишний звук смывает в толщу вод,
Пока строка дойдёт до половины.

Я счастлив, что нащупал дно ногой,
Где твёрдо им, где все они сохранны.
Я возвращусь, гоним судьбой другой,—
Как пузырёк под моечные краны.

Выйди хотя бы к окнам. Помимо стола и прошлого,
В комнате существуют зрачки и виды—
Затем, чтобы вычесть из большего ещё большее,
Чтоб жизнь утомилась и ты бы не знал обиды.
Ты выдумал петь на чужих языках, и, видимо,
Ты прав, потому что лишь так убивают зависть.
Но зависть—как топка. Дровишек осталось, видишь ли,
Чуть-чуть—но их хватит на то, чтоб тебя обесславить.
Из ведомых граней творца (вспоминай стаканы)
Гармония—некуда легче: и будь поэтом,
И славь понемногу того, кого хошь,—пока он,
Воздавши тебе не по должности, не пожалел об этом.

Eine kleine Nachtmusik

1. Ночью снятся стихи, не написанные никем.
И летучие строфы, при помощи музы-дуры,
Переделываешь в свои посредине седых Микен:
Отпускной не дождёшься от русской литературы.

2. Как обеденный мельхиор за плечами, они звенят
И текут между пальцев, не ведая полумеры:
Вдохновенье и есть неудавшийся плагиат,
И, поняв эту истину,—щупаешь лоб Гомера.

3. Этот яркий подлог ставит всё на свои места:
Ты—и некто вверху, как Харибда напротив Сциллы.
И, в потёмках склоняясь от дрёмы на грудь листа,—
Не тревожишь того и свои сохраняешь силы.

4. Вы способны к дуэту, покуда разведены,
Словно некая стража—со стороны снежной ночи.
Для тебя он—заранее Болдино, край страны,
Где зимуешь и чувствуешь дрожь, закрывая очи.

5. А открыв поутру, вместо комнаты видишь две.
Атмосферные игры не столько мистичны, сколько
Неуместны. И в тёмных Сокольниках голове
Нужно это понять, чтобы телу покинуть койку.

Переходя, передвигая тень
От света ламп к оконному проёму,
Я вижу сразу несколько частей
Пространства, обозримого из дому.
Другие (трети, четверти ночных
Предместий)—заслоняются от глаза
Ладонью Бога и толпой печных
Московских труб, неисчислимых сразу.
А кто-то хорони́тся за спиной
Больницы, одноглазого барака,
И не до страха, кажется, одной
Лишь ночи—просто выросшей из страха,
Из возраста, когда боятся рук
Чужого, заглянувшего за полог
Кроватки. Я описываю круг
По комнате, касаясь книжных полок,
И чувствую похожую на всё—
На вдохновенье, на печаль и во́ды—
Истому от мелькнувшей карасём
И скрывшейся без тягости свободы.

Решимость перейти из кресла на диван
Является одетая строкою:
Воскресный гул двора переполняет жбан
С тяжёлым, как строительство, покоем.
Всё тяжко в тишине, и жернова картин
Опережают дымовые трубы,
Как будто звук даёт всем веществам один
И тот же вес—но чувствуют лишь губы.
В любой апрель Москва растворена в окне,
И смотришь будто на сосуд с тритоном:
Как перепонкой лап, окраины ко мне
Несут туман и гонят дальний гомон.
Как трудно небесам! Но здесь не крикнешь «как»:
Излишний шум квартир—с отчётливым и нежным—
Остыл на проводах, и восклицанья знак
Засел в часы маховиком и стержнем.
Трамвай со стороны реки, из полусна,
Зовёт парчой завешанные залы,
Где пальцев юркий класс спешит налить вина
В стакан для головы—как ты сказала.
Нет смысла подниматься над чертою глаз,
Чтоб это обозреть, поскольку город сверху
Нам виден сквозь других, и узнаётся в нас,
И в точках птиц глядит надземной меркой.

Песня санитара

Жизнь моя адова! Что тебе сделал я?
Как тебе мало других,
Кто уж не вынул из рубища белого
Рук неповинных своих!
Фартуки набок, подёнщики вьючные,
Вверх не глядящий народ.
Двери проклятые, скважины ключные!
Кто вас ещё отопрёт.
Ухо, что воем страдальцы наполнили!
Худо тебе у плеча,
Если плывёт—чтобы мёртвые вспомнили—
Зов гражданина врача.
Клети звериные, дни дезинфекции!
Пусть вас не будет в аду,
Где, отрешённый от сна и протекции,
Я по настилу пойду.

1997

Повторяются числа, которыми ты
Отмечал свою нежность у края листа.
И никак не понять: то ли снятся листы,
То ли снег занимает на кровле места.
Ты стоишь у окна и не можешь никак
Защититься рукою от времени—чтоб,
Поднимаясь от труб и от воротника,
Дым тебя не заметил, и твой полуштоф
Новогодний остался нетронут внутри—
Словно место в минувшем тебе уступя,
И газета, не взятая из-под двери,
Превратилась наутро в привет от тебя,—
Чтоб следы по паркету вели не к окну
И не к выходу, но—как в смятенье, во сне—
Громоздились в тени, оставляя одну
Только пыль на себе—будто память по мне.

Мой чёрный стол диктует мне союз
С толпою развороченных бумаг,
В которые заглядывать боюсь,
Как в письма от сошедшего с ума.
Я словно постоянный адресат
Для этих груд, хоть в зеркале двойник,
Пейзаж в окне и время на часах
Идут ко мне, опережая их.
Почтовая ошибка? или знак
Ноги на их нетронутом снегу?—
Я лишний здесь, но мне нельзя никак
Исчезнуть: не умею, не смогу,
И не привыкну, и уже свою
Испытываю память, а не страх,
Валяясь по измятому белью
За пóлночь у бессонницы в ногах.

Кто создал вас—леса, поэты, кони?
Я здесь один—взываю к вам и жду:
Черкните имя этого Джорджоне,
Кто так решил минутную нужду.

Сухая кость, высокое паренье
И лёгкий гнев: труд меньше чем на час.
Ему было плевать на озаренье,
И бег Его преобразился в вас.

Если кто по дружбе спросит,
Точно ль бросил я стихи,—
Отвечайте: разве бросят
Кукарекать петухи?

Разве городская птичка
Бросит каркать из гнезда?—
Бесполезная привычка
Нам даётся навсегда.

Это всё равно что плакать,
Ковырять в носу, кряхтеть,
Старичку плести свой лапоть,
Бабке—рядом с ним сидеть.

Слушайте, как ноют слоги,
Как в их северный напев
По кадык врастают боги,
С головой уходит гнев.

Пусть поймут: нельзя оставить
То, что не было трудом,
И другому предоставить
То, что есть и так в другом.

Как бы ни казался скушен
Путь к родному маяку—
Сизый гребешок послушен
Своему «кукареку».

Что ж до месячной разлуки
С ним в преддверии зимы—
Пусть поймут, что жгут нам руки
Грозные считалки тьмы.

Выпуск подготовила
Марина Переяслова

Астра

Сказка про нас

Поздняя гостья

Мне давно казалось, что события, происходящие с нами, весьма похожи на нас самих; более того, они словно ищут себе надлежащих исполнителей.

Однажды поздним вечером я сидела перед зеркалом с блестящими ножницами в руках. На мои плечи, колени, на жёлтый резиновый коврик ванной комнаты падали пряди русых волос, а в зеркале с неотвратимостью наказания возникала незнакомка с торчащими во все стороны светлыми вихрами. Холодок, освеживший лоб и шею, охладил также и мою решимость. Рука моя опустилась. Но отступать было некуда, я продолжала и, к моему удивлению, была вознаграждена идеально-кривой линией стрижки, придавшей лицу свежую выразительность.

С лёгким сердцем я направилась к дражайшей половине. Но не успела сделать и двух шагов, как в прихожей раздался звонок.

Тут мне придётся пояснить, что дом наш был новым, с иголочки, а на дверях красовалась единица. Кому случалось с коробкой торта спешить на новоселье в новый район, тот знает, что это означает. Стоящая на перекрёстке несуществующих улиц, наша двадцатидвухэтажка казалась ковчегом спасения для заплутавших, сбитых с толку, доведённых до слёз чужих родственников и знакомых, и все они с облегчением звонили в обитую зелёненькой кожей дверь номер один. Вот и сейчас, близ полуночи, кого-то вновь прибило к нашему порогу.

— Кто там?

Невнятный женский голос был мне ответом. Я отворила. Передо мной стояла высокая девушка в тёмном пальто, вся закиданная мокрым снегом, в руках её была дорожная сумка. Я выжидающе улыбнулась. Она назвала какую-то фамилию.

— Здесь такие не проживают,— ответила я, поёживаясь в лёгком халате.— Где ваш адрес?

Но никакой бумажки у неё не было, да и спрашивала она нетвёрдо, словно наобум. Я уже хотела закрыть дверь, как вдруг заметила, что девушка-то моя, как бы сказать, была уже не совсем одна, хотя ещё и не вдвоём. Я стала в тупик. Просто щёлкнуть замком оказалось невозможным.

— Вы не москвичка?— зачем-то спросила я.

Она помотала головой. Я кивнула.

— Поезжайте на вокзал, в комнату матери и ребёнка, вас отлично устроят.

Она безнадёжно вздохнула. Глаза её, тёмные, раскосые, устало смотрели из-под мокрой чёлки, вокруг низких сапожек растекалась лужица. Мартовский вечер был ненастен, за окном неслась метель, в которой каждый фонарь казался стойким одиночкой, а на земле лежал пропитанный талой водой рыхлый снег.

Девушка ждала.

— Входите,— вздохнула я,— заночуйте у нас. Куда вам в такую темень?

Мой муж подскочил как ужаленный. Моя причёска, моя гостья…

— Тсс,— испугалась я его восклицания,— этой бедняжке некуда идти, она просит приюта на одну ночь, всего на одну ночь.

Он посмотрел на меня как на сумасшедшую.

Странница дожидалась меня в передней. Я предложила ей раздеться, провела в ванную комнату, поставила чай. Затем потеснила в сторону письменный стол, поставила раскладушку, постелила постель.

Гостья моя оказалась настоящей великаншей. Она появилась из ванной очень свежая, довольная, в не застегнувшемся на ней моём старом сарафане. Положение её казалось ещё не слишком заметным, зато какой щедростью были налиты плечи, шея, грудь! Далековато мне было и до её кудрей, скрученных в пружинки избытком собственной энергии.

Я пригласила её к ужину. Отказавшись для приличия разок-другой, она подсела к столу и с деревенской степенностью съела всё, что было предложено. И со вздохом усталости улеглась на раскладушку.

Мне не спалось. Необычно ощущение «чужака» в своей норе. Страхи— глазастые, косматые— не дают забыться ни на минуту. Но вот поднялся с постели мой супруг, выпил утренний кофе и уехал в научную библиотеку, по своему обыкновению.

Мы остались вдвоём.

Была суббота, самый приятный день недели. Можно понежиться в тёплой постели, не спешить на работу, можно с полным правом повалять дурака, особенно таким пасмурным деньком, какой начинался в то утро.

Но у меня была гостья, и это меняло дело. Часам к десяти я накрыла к завтраку. Естественно было предположить, что по окончании его Вера— таково было её имя— соберёт просохшие вещички и откланяется. Не тут-то было. Насытившись, она вынесла из-за стола налитое тело и полуодетая, но сверхнакрашенная, принялась слоняться по квартире с любопытством сороки. Одновременно мне подавалась путаная история о том, что она направляется в Харьков к любимому мужу и что злокозненные родственники изо всех сил препятствуют их счастью. Мне оставалось позвякивать посудой.

Внезапно рассказ её оборвался.
— Прикольно! — донеслось из комнаты.
Я выглянула. В тяжёлых руках Веры поблёскивали мои бусы, набор цветных стекляшек, подаренный мне мужем после его поездки в Чехию.
— Прикиньте, — предложила она. — Вам, должно, к лицу.
За это я простила ей и бессонную ночь, и подпорченный выходной, и поразительные нелепицы, что проскальзывали в её истории. Не моя печаль ловить её на слове, рассуждала я, и не законное ли право человека говорить о себе то, что он считает возможным говорить о себе?
Ровно в час дня мимо окон мелькнул знакомый силуэт. Муж!
— Она здесь? — он, казалось, боялся не застать нашу гостью.
Пройдя в комнату, он позвал меня.
— Дай мне денег.
— Возьми.
— Где?
— Там.
— Там нет.
Кровь бросилась мне в лицо. Наши деньги на текущие расходы, уложенные в светло-синий срезанный полуконверт, обычно торчали в книжном шкафу между Светонием и Плутархом. Сейчас конверта не было.
Я принялась поспешно шарить по полкам.
— Не трудись, — усмехнулся муж, — их нет.
— Тише, — руки мои дрожали.
В эту минуту Вера повернулась и вышла в коридор. Одним прыжком он выскочил следом и запер дверь на ключ.
— Где деньги? — спросил негромко.
— Какие такие деньги? — она смерила его взглядом разгневанной королевы.
Пол качнулся под моими ногами.
— Оставь её, это недоразумение.
Он отстранил меня, как портьеру.
— Где деньги?
— Не понимаю, о чём вы говорите, — отрезала она.
Наступило молчание. От него кружилась голова.
— Прекрати, — взмолилась я. — Выпусти женщину.
— Тогда дай мне деньги. У нас есть деньги?
Денег не было.
— Что вы ко мне пристали? — плаксиво закричала гостья. — Как вам не стыдно?
Он перевёл дух.
— Просмотри её одежду.
— Я?!
— Они у неё.
— Пусть уходит, — взмолилась я.
Он терпеливо опустил глаза.
— Они у неё. Это простая вероятность.
«Вероятность!» Неожиданно Вера сама пришла мне на помощь. Подозрительность моего супруга не только не оскорбила её, но даже позабавила. Кинув насмешливый взгляд, гренадёрша величественно шагнула в кухню.
— Пойдёмте. Разденусь перед вами.
Мы затворились. Это было мучение! Нимало не сконфуженная, она принялась издевательски перетряхивать то кофту, то юбку, а я всё боялась, боялась, что вдруг они выпадут, эти проклятые деньги.
— Довольно.
Муж ожидал в комнате, скрестив руки. Это необычайно шло его тонкой фигуре, его чистому профилю со сдвинутыми, как сейчас, бровями.
— Ничего, — показала я разведёнными руками.
— Сумку, — произнёс он сквозь зубы и, видя моё сопротивление, с ожесточением возразил: — Но ведь их нет? В собственном доме! В благодарность!
Будь моя воля, я бы отпустила Веру на все четыре стороны, оставив пропажу на её совести. Разумеется, это решение слабого, но такова моя натура; эти обвинения, разоблачения невыносимы… Удивительно ли, что ко мне липнут подобные происшествия? Муж вручил сумку. Она была увесиста, на Верином месте я бы уже так не рисковала.
Не стану описывать процедуру досмотра. Скажу лишь, что от души сочувствую работникам таможни, имеющим дело с чужими пожитками. Вера сидела прямо, как все беременные, и на все корки честила нас обоих.
— Смотрите, смотрите, — говорила она, покачивая фиалковыми серёжками, — как я погляжу, вы и пикнуть против него не смеете. Ишь, командир, раскомандовался! Да на мои глаза — я и минуты бы с ним не осталась, не то чтобы жить… Деньги ищут. Да неужели я такая бессовестная? Вы меня пожалели, а я деньги скраду… Да про меня, если хотите знать, худого слова не сказано, а вы за воровку почтили, — и так далее ровным голосом с повышением тона в адрес моего мужа, который метался за дверью, как тигр в клетке.
Две, однако же, вещи обратили на себя моё внимание. Первая — письмо, лежавшее среди аккуратных стопок белья. С его ученической страницы так и прыгнула в мои глаза площадная брань, наивно выведенная школьным почерком. С кошачьим проворством Вера скомкала его в руке и затихла. Стало смешно и нелепо: что за бессмыслица происходит с моим участием?
Второе наблюдение настроило меня серьёзнее. Дойдя до самого дна, где валялись обрывки билетов, шпильки, мятая газета, из которой сыпалась розовая пудра, я не встретила не только своих денег, но и никаких денег вообще, словно их не существовало в природе.
— Всё, — объявила я мужу. — И здесь ничего нет.
Он нахмурился. Неподвижно встал в дверях, склонив лобастую голову.
— Не может быть! — и шагнул вперед.
Но Вера оказалась шустрее. Одним рывком сгребя весь мусор, билеты, газету, всё, что оставалось на дне, она с размаху швырнула сумку ему под ноги.
— Полюбуйся, если не веришь!
А он, по-футбольному отпасовав сумку в угол, молниеносно перегнулся и схватил женщину повыше запястья.
— Смотри! — и развернул в мою сторону.
Из её пальцев под газетой, из которой сыпалась пудра, виднелся светло-синий срезанный полуконверт.

— Ой, как мне стыдно, ой, не ругайте меня, ой, я больше не буду,— слезливо запричитала Вера.

Я молча вышла.

В комнате возбуждённо расхаживал мой Шерлок Холмс. В стремительности его походки и потирании рук сквозила полная удовлетворённость.

Я опустилась в кресло.

— Как мы поступим?

— Пусть убирается.

Я помолчала, постукивая пальцем по подлокотнику.

— Знаешь… ведь у неё нет ни копейки.

Он изумлённо замер на месте.

— Я должен о ней думать?

Я усмехнулась. Дверь кухни отворилась, на пороге появилась Вера со злополучной сумкой в руках.

— Выпустите меня,— униженно попросила она.

Муж пренебрежительно отвернулся.

— Куда ты едешь, Вера?— просто спросила я.

— В деревню к матери.

— Сколько стоит дорога?

— Пятьсот рублей.

— У тебя есть свои деньги?

— Нет. Выпустите меня.

Я попросила её обождать в прихожей, прикрыла дверь. Мы молчали. За окнами белела подмосковная равнина, серые перелески, кольцевая автодорога.

— Сколько ей дать?— муж повернул ко мне смеющееся лицо.

— Рублей семьсот. И будь добр, у неё тяжёлая сумка. Хоть до метро.

И они ушли. Я осталась наслаждаться тишиной и благополучием, прислушиваясь к тому, как и во мне, на самых ранних сроках, зачиналась новая жизнь.

Муж вернулся минут через сорок.

— Представляешь,— усмехнулся он,— когда я давал ей деньги, люди подумали, что я с ней расплачиваюсь!

— Замечательно. Как тебе моя причёска?

— Блеск!

…Примерно через полгода, в пустынную жару августа, нам пришло письмо из глубинной России. Его доставка сделала бы честь любой почтовой службе, потому что ни имени, ни толкового адреса на конверте не было. Вера благодарила, сообщала, что у неё родилась «хорошая дочка», и обещала выслать нам мёду. Обещала.

Геологини

В комнате картографов тишина. Горят под стеклом лампочки светостола, цветным витражом светится лежащая на нём геологическая карта. Склонившись над нею, две девушки-студентки копируют геологическую основу для своих дипломов, каждая свой квадрат. Они очень разные, две подружки: томная, вся в голубом, светловолосая Алечка и улыбчивая Зойка, смуглянка с мальчишеской стрижкой. Перешёптываясь, они быстро орудуют цветными карандашами. Уже давно существуют компьютерные способы, но в учебных целях деканат требует ручной работы.

Слева у окна разместилась Клавдия Ивановна, полная женщина в темном «вечном» сарафане. Ей около пятидесяти или меньше— или больше: судя по ней, ей это безразлично. В её крепкой руке зажата сильная лупа величиной с блюдце, с удобной ручкой, оправленная в старинную бронзу; попадая под неё, чёткие прямоугольнички условных обозначений прыжком увеличиваются до размеров спичечного коробка.

В самом удобном углу, не видимом при открывании двери, сидит руководитель группы Мария Игнатьевна, женщина в зрелом расцвете лет, угадать который можно лишь случайно. Ухоженное лицо её умело подкрашено, облегающая блуза оставляет на виду загорелую шею с тончайшей, в один блеск, золотой цепочкой и обнажённые по локоть руки с браслетами и затейливыми перстнями.

Тишина. Шуршат по бумаге цветные грифели. Стрелки часов приближаются к одиннадцати.

— Зарядка, зарядка!— раздаётся в коридоре.— Все на зарядку!— и сплошный стук обегает все двери.

Эту затею возобновили недавно и требуют неукоснительного исполнения.

— Зарядка так зарядка,— начальница встаёт со стула и потягивается.— Девчонки, попрыгайте немножко. Клавдия Ивановна, подымай себя.

Но девушки с милой улыбкой выскальзывают вон, а следом, прихватив синий чайник, исчезает и Клавдия Ивановна.

Мария Игнатьевна одна. В открытую форточку залетает снежок, похрустывает оставленная на столе калька. «Вдох— выдох…»— несётся по громкой связи, но у неё собственный набор движений: обороты, наклоны, глубокая сосредоточенность. Вот и заключительная музыка. Женщина приводит себя в порядок, надевает туфли с неуловимо-задорным выражением лакированных носков, складывает газету, на которой стояла в одних чулках.

Рабочий день продолжается. Мелькают карандаши, светится карта, но настроение уже не то, скоро обед, и на плитке, весь в капельках воды, уже стоит эмалированный чайник. Здесь не признают пластиковые заменители.

Клавдия Ивановна откладывает увеличительное стекло.

— Когда защищаетесь, девчата?

— Через месяц, в марте. Боимся— ужас!

— Ещё бы! Помнишь, Маша, как мы тряслись?

— Я не тряслась.

— А как указку сломала, помнишь? Увлеклась, раскраснелась, взялась за концы— тресь!— и надвое. С такого диплома, как твой «вулканический», можно было роман писать!

— Как «вулканический»?— спрашивают студентки.

— Она на Камчатке практику проходила,— поясняет Клавдия Ивановна.— Расскажи им, Маша,— но та, улыбнувшись, продолжает работать.— Она везде была,— с гордостью продолжает Клавдия Ивановна.— Эту лупу с Сахалина привезла?

— Вроде бы.

— С затонувшего корабля. Расскажи им ту историю, пусть послушают.

Но Мария Игнатьевна не склонна к беседе. Она работает с бумагами, приглашая всех последовать

её примеру. В малиновых ногтях её отражается настольная лампа, они блестят, как полированные агаты.

В комнате возникает новый звук. Это заявляет о себе эмалированный чайник. Робкое завывание переходит в дрожащий тенорок, потом в сипение, а вот уже сердитый шум сотрясает крутые бока. Клавдия Ивановна настороже. Важно укараулить «белый ключ», предкипяток, насыщенный пузырьками воздуха, иначе чай не заварится по всем правилам.

— Для здоровья полезна лишь свежая заварка,— приговаривает она вслух,— в моём доме это закон,— и замечает смешливую улыбку девушки-смуглянки.— Не смейся, не смейся, девонька. Чай в семейной жизни — не последнее дело. С пирогами, с вареньем, печеньем. Душа радуется! А думаете, в экспедиции обойдётесь без чая? Расскажи им, Маша, как там заваривают. О-хо-хо… И куда вы попадёте, молоденькие? В какие края?

— Ни в какие,— заявляет Зойка.— Мы к вам придём, в Геолконтору.

На лбу у Клавдии Ивановны заминаются мягкие складки удивления. И тут же разглаживаются.

— И милости просим, милости просим,— сердечно отвечает она,— молодым сотрудникам всегда рады. А что? В самой Москве да по специальности — чего ж лучше? Молодцы, девчата.

— Это Алечкина идея. Ей вообще рукой подать, пешком ходить будет.

Алечка заливается нежным румянцем.

— Я близко живу, через два переулка. Мне просто повезло,— смущённо говорит она, чувствуя, как хороша сейчас и что ею любуются. Это всегда приятно.

Мария Игнатьевна подымает накрашенные ресницы.

— И вам никуда не хочется, девочки? Никуда не тянет?

— А куда?

Она пожимает плечами.

— Ну, мало ли… вы же геологи. Или нет?

Студентки молча переглядываются. Им неловко, словно их в чём-то уличили. Но в чём? Они и практику проходили здесь, сидели на буровых, изучали грунты, разрезы. И оценки у них высокие, и отзывы. В чём же их обвиняют? Инженерная геология — наука очень важная, без неё не обходится ни одно строительство, тем более в Москве. Просто нечестно спрашивать таким тоном!

— От добра добра не ищут,— вступается Клавдия Ивановна.— Куда им ехать, чего искать? Молоденькие, зелёненькие. Я бы свою Ирку никуда не отпустила. Я и сама…

— …двадцать лет на одном стуле сижу,— заканчивает за неё начальница.

Толстуха негодующе поворачивается, слышится треск, «вечный» сарафан лопается по шву. При общем смехе она хватается за бок, находит дырку и весело колышется от смеха.

— Талия как у Наталии, а у Наталии как у мельницы. О-хо-хо. А не всегда ж я такая была, правда, Маша?

Заварной чайник уже накрыт стёганым чехольцем, появляются сахар, соль, сушки.

— В нашей Геолконторе работать можно, особенно на бурении. Мастера до двух часов всегда управляются, а в три вы уже дома. Чем плохо? Замуж выйдете, детишки пойдут — свободное время ой как нужно.

На столе уже собрались ложки, вилки, сияющие белизной чашки, никак не похожие на запущенную учрежденческую посуду.

Коварная улыбка крепнет на жизнерадостной Зойкиной физиономии.

— А у нас в институте сейчас свадьба на свадьбе,— с лёгким смущением говорит она.— С ума посходили на последнем курсе.

— И у нас так было. Боялись, что в девках останутся, что ли? Я-то ещё на третьем курсе успела, и другие… Помнишь, Маша?

За светостолом тихая возня. Зойка толкает Алечку в колено, та делает большие глаза и подносит палец к губам. Но Зойка неостановима.

— А наша Алечка тоже замуж выходит,— объявляет она.

Алечка вспыхивает:

— Врушка! Болтушка! Не слушайте её,— и краснеет до корней волос.

Клавдия Ивановна перемаргивает, на мгновение теряется и снова улыбается всем лицом:

— Так ты невеста у нас? Поздравляю. Хорошо, когда девчонки замуж идут.

Девушка вновь в центре внимания, но как-то не так, иначе.

— Я, может, ещё и не выйду,— не без досады говорит она.

— Выйдешь, выйдешь,— задорно припирает её подруга.— Распределение на носу. Пять лет со своим Володичкой ходят, догориться не могут. То он обидится, то она.

Алечка меняется:

— Ну и что? Не твоё дело. Возьму и не выйду.

— А тогда он уедет на Чукотку,— Зойка делает пальцами узкие глаза.— Он же не москвич, твой Володичка,— уедет, и всё.

Алечка молчит, губы её сжаты. Ни на кого не глядя, она нервно закрашивает жёлтым какой-то контур. Пальцы у неё длинные, на просвет почти прозрачные, на каждом ногте поверх серебристой эмали нарисован кисточкой аленький цветочек с голубой сердцевинкой.

Глубоко вздохнув, Клавдия Ивановна пробирается к девушке, по-матерински гладит её длинные светлые волосы, распущенные по спине.

— Выходи, выходи, не упрямься. Парень-то хороший?

— Вроде ничего… а вообще… не знаю.

— Ну и ответ! — слышится возглас Марии Игнатьевны.— Да ты любишь ли его, красавица?

Все поворачиваются к ней. Алечка вновь в замешательстве, зато Зойка так и замирает от неожиданности.

— Вы меня удивляете,— тихо произносит Мария Игнатьевна.— Любовь — она должна быть страстной! Чтобы он к тебе через пургу и буран, чтобы ты как в огне… А у вас? В ваши-то годы? Ничего не понимаю.

— Разве так бывает? — заворожённо спрашивает Зойка, но женщина лишь пожимает плечами. Заметно, что она сожалеет о своей вспышке.
— У всех по-разному, Маша, — вновь миротворит Клавдия Ивановна. — Что ты их виноватишь? Девчоночки неопытные, что они знают? Я вот безо всяких буранов вышла, а живём дай Бог каждому. Доставайте-ка свёртки, обедать пора.

Зойка готовно наклоняется к сумке, но тут взрывается Алечка.
— Любовь, любовь! — кричит она в запале. — Выдумки всё! Чтобы покрасоваться перед другими, — лицо и шея её в алых пятнах, голубые глаза остры, как гвозди. — Покрасоваться, когда всё в прошлом. Поди докажи: было, не было?!

Левая бровь Марии Игнатьевны приподымается и медленно возвращается на место. В комнате тишина, слышно, как редко-редко постукивает по полу лакированный носочек. Чайник давно умолк, праздно красуются на столе сияющие чистотой чашки. И опять, после глубокого вздоха, слышится примиряющий голос Клавдии Ивановны:
— Ну полно, полно. Не всем быть бродягами, кочевать по белу свету. Женщина — это семья, дети. Выходи за своего мальчика, живите на здоровье. Совет да любовь.

Дверь открывается. На пороге мужчина отличной наружности, хорошего роста, хорошего возраста, с крупной, чуть квадратной головой, твёрдым подбородком, смеющимися глазами. На нём тонкий чёрный свитер с пурпурным зигзагом на груди, талия стянута ремнём с монограммой. Всё это успевают заметить девицы, прежде чем он, после беглого приветствия, усаживается к ним спиной возле стола Марии Игнатьевны. Разговор их тих, но оживлён, мужчина о чём-то повествует, оправдывается, шепчет на ухо. Тая улыбку, она выслушивает его и двумя пальцами тихонько толкает в лоб:
— Шалун.

Он поднимается предовольный:
— Так мы ждём?
— Да. Приду.

Повернувшись на каблуках, он уходит.
— Кто это? — тихо спрашивает Зойка. — Он здесь работает?

Женщина с усмешкой смотрится в зеркало, трогает щёткой холёную причёску.
— Здесь такие не водятся, девочка. Это главный геолог Горно-Алтайской экспедиции. Я там работала в своё время, приглашают по старой памяти. Клава, я у них часов до двух.

И тоже уходит.

Стол накрыт. В воздухе ароматы свежих огурцов, чёрного хлеба, крепкого чая. Хлебосольная Клавдия Ивановна подкладывает девушкам лучшие кусочки, но тем будто и не хочется. Зойкины мысли явно не здесь, зато Алечка обиженно поглядывает в опустевший угол. Наконец спрашивает, кивая головой:
— А у неё… есть дети?
— Мальчик-пятиклассник, — отвечает Клавдия Ивановна, словно ожидала вопроса.

Девушка производит подсчёт и ехидно улыбается:
— В таком возрасте мог бы и постарше быть ребёнок.
— Каком возрасте? — ласково возражает Клавдия Ивановна. — Она у нас молодая. Чемпионка по бегу и стрельбе.
— Среди таких, как вы? — прыскает Зойка, едва не роняя горячую чашку. — Ой…

И снова весёлый смех сотрясает толстую женщину, словно гору больших и малых подушек.
— У нас и пошустрей найдутся. Кушай, Зоенька, что мало берёшь? Или невкусно?
— Очень вкусно. А эта экспедиция… что она? Куда выезжает?
— На восток, надо думать. Зайди к ним, они неподалёку, через шоссе.

Алечка встревоженно смотрит на подругу. Зойка молчит, думает, вдыхая ароматный чайный парок.

Вечный Винсент

По письмам Винсента Ван Гога

Второй час ночи. Последний поезд метро мчится в темноте подземного тоннеля. Пассажиров мало, редко-редко где сидят два-три человека, мужчины. Лица их тяжелы, в телах каменная усталость ночи. Чем дальше от центра, тем больше в электропоезде пустых вагонов.

В одном из них сидит человек лет тридцати семи. Он бородат, остролиц, на нём светло-серый холодный плащ и видавшая виды шляпа, к сидению дивана прислонён плоский зачехлённый прямоугольник с обтрёпанной лямкой. Синяя ткань измазана краской и кое-где порвана, в прорехи выглядывает уголок рамы, виднеется ярко-жёлтое и ярко-зелёное. Положив ногу на ногу, мужчина покачивается в такт движению, глаза его закрыты, в прямизне спины, в сцепленных на коленях пальцах угадывается напряжение.

«…Человек испытывает потребность в немалом — в бесконечности и чуде — и правильно поступает, когда не довольствуется меньшим. Выразить зародившуюся мысль сиянием светлого тона на тёмном фоне, надежду — мерцанием звезды, пыл души — блеском заходящего солнца, — разве это менее реально? Сказать картинами нечто утешительное, как музыка, вложить в них что-то от вечности… от вечности, которую мы ищем в сиянии, в вибрации самого колорита… В последние дни я почувствовал пробуждение особого чувства цвета, более острого и не похожего на то, что было до сих пор. Я снова обрёл надежду…»

Вагоны пусты, но с громкой отчётливостью объявляются остановки, с размаху открываются и закрываются двери, на платформах безлюдно, лишь темнеют мокрым вымытые полы.

«…надежду, — выстраиваются мысли, — питавшую, должно быть, ещё старых мастеров. Только когда работаешь сам, начинаешь понимать, кто такие были на самом деле эти люди. Тут можно дойти до беспросветного отчаяния! И странное дело, сколько ни знакомишься с жизнью «великих» — везде одно и то же: нехватка денег, плохое здоровье, сопротивление окружающих — словом, му́ка от начала до конца».

Конечная станция, эскалатор. С картиной под мышкой, сутулясь на правую сторону, художник ступает на серую бегущую дорожку, едет, похожий на взъерошенную птицу, привычно отрешённый от окружения. Ступенек впереди становится всё меньше, и вот уже, застигнутый врасплох, он спотыкается и чуть не падает на верхней гребёнке, к неудовольствию дежурной, оцепеневшей за своим окошечком. Пьяный?—враждебно смотрят её глаза. В дверях ему снова не везёт, слышно, как он гремит рамой, бормочет, наконец выходит, сильно бросив стеклянную створку.

Осенняя ночь сыра и неприветна. Сверху сеется мелкая изморось, под ногами хлюпает и течёт. Город спит, новые дома по левую сторону недостроенного ещё проспекта темны, лишь тусклые полосы лестничных маршей оживляют фасады. Правая сторона пустынна, там, во мгле октябрьского ненастья, таится подмосковная равнина. Автобусов нет, и нет смысла их дожидаться.

Пришаркивая, мужчина уходит по безлюдному проспекту.

Минувший день не принёс удачи. Картину вновь отклонили от участия в выставке. Досада была едкой и краткой, по обыкновению. Энергия быстро обновляется в нём, неудачи лишь добавляют света и движения вперёд. Он ощущает в себе бурлящую силу, огонь, который дóлжно не гасить, но поддерживать, к какому бы финалу это ни привело. Мысль о признании всё реже посещает его, он работает лишь в силу внутренней необходимости. Слава, деньги—в этом всегда есть нечто безнравственное; страшно подумать: а вдруг дни, что так тяжелы сейчас, покажутся после победы «добрым старым временем»?

Поражённый вспышкой осознания, он замирает на месте, стоит, снова идёт. Изморось переходит в мелкий дождь. Сгорбившийся над своей ношей, неразборчиво шагающий по лужам, он кажется затерянным в безмерности ночи. Бредущий путник—любимый образ его размышлений. Этого «куда», этой цели скитаний не существует, и такой вывод представляется обоснованным и разумным. Неужели это и всё? К счастью, выбора нет.

Равнина справа темна и безмолвна. Ни огонька, ни света, ни диковатых, поросших кустарником оврагов. Непроницаема ночная мгла. «Не правда ли,—напрягается он,—всё это вновь подымает вечный вопрос: вся ли человеческая жизнь открыта нам? А вдруг нам известна лишь та её половина, что кончается смертью? И смерть уносит нас к звёздам?..»

Перехватив картину другой рукой, он прячет в карман озябшие пальцы. Теперь впереди разбитая колёсами строительная площадка, от её одиночных лампочек окружающая тьма кажется ещё плотнее. Где-то здесь лежат пешеходные доски, но он проскочил это место, не поворачивать же назад. Чертыхаясь, бредёт напролом, срезая угол к твёрдой дороге, по ногам бьют какие-то провода, железки, прутья. Ноги скользят, он оступается и тяжело падает набок. Слышится треск деревянной рамы, ругательства.

...В подъезде нового дома пахнет извёсткой. Тишина. Художник садится на ступеньки. Здесь ли, на десятом ли... Откинув голову, прислоняется к перилам.

Мгновение... вот оно! в глазах его вспыхивает сияние, душа взлетает. Тонкий цветочный аромат всходит в воздухе, выси, дали, золотое струение одушевлённых нитей. Да... это искупает всё. Мгновение... всё меркнет, становится обычным, внешним.

Бережно подняв картину, художник идёт по ступенькам.

Мой милый миллиард

Приходилось ли Вам, читатель, просить денег? Признайтесь! Отлично ставит на место, не правда ли?

Ещё в бытность студенткой-филологом сочиняла я как-то рассказ о современном Геракле. Образ зрелого мужчины под пером юной девы—шаг, согласитесь, рисковый, и поэтому с прилежностью ученицы я принялась изучать лучших мужчин человечества, начиная с Овидия и Марка Аврелия—разумеется, по их письмам, дневникам, исповедям...

Однако причём тут миллиард? Терпение.

Шло время, и пришло время—наши дни, точнее—1997 год. Как-то раз, в поисках свежей идеи и «крутого» героя, мне пришлось обрушить с антресолей пыльный шелестящий архив. С ветхих исписанных страничек так и встал передо мной Михаил Бакунин, наш бунтарь-анархист, его «Исповедь» царю Николаю I даровитая, страстная, редкостная. Судите сами.

«...Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством и перед законом отечества... Возмущал умы против Вас, где и сколько мог... Хотел ворваться в Россию и разрушить вконец существующий порядок... Жажда простой чистой истины не угасала во мне, мне становилось душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу, я весь был революционное желание, всё вверх дном, разрушить, сжечь... Благодарю только Бога, что не дал мне сделаться извергом и палачом своих соотечественников... Стою перед Вами, как блудный, отчудившийся и развратившийся сын перед оскорблённым и гневным отцом... Государь! Я преступник великий и не заслуживаю помилования, пусть каторжная работа будет моим наказанием».

«Сценарий!»—мелькнула мысль.

И вот уже моя работа признана лучшей на конкурсе, опубликована в журнале «Киносценарии», и сам «Мосфильм» готов приступить к съёмкам... гм, едва зазвенит золото. Миллиард.

Приходилось ли Вам, читатель, просить миллиард?

Три вершины молодого отечественного бизнеса остановили моё внимание, три сирены, что обольщают нас со стен домов, газетных страниц и голубых экранов. Не без робости набрала я номер телефона первого из них.

—Телесериал?—проговорили задумчиво.—Интересное предложение. И сколько вам нужно?

—Миллиард.

—О-о, весьма сожалеем, но такой суммой помочь не сможем. Извините.

Сочувственно кивнув, я всмотрелась в следующие семь цифр.

— Бакунин?! — вскипел гневом мужской голос. — Ни в коем случае! Он же отменял частную собственность и право наследования! Нет, нет, наши клиенты нас не поймут.

…Маленькая-маленькая, я скатилась с высот к нижайшему подножью.

На третьей рекламной вырезке стояли буквы, которые мы помним, наверное, даже во сне. Жирные, броские, они убеждали граждан довериться заботам Фонда, а их солидные арифметические расчёты развеивали последние сомнения. С бьющимся сердцем нажала я белые клавиши моего телефона.

— Телесериал? — проговорили задумчиво. — Интересное предложение. И сколько вам надо?

— Миллиард.

— Платежи поэтапно?

— К-как вам удобно.

— Расскажите подробнее.

Гора наклонилась и посмотрела на меня. И показалось, что всё просто и что умные люди не могут не понять друг друга.

— Действительно здорово, — согласился молодой человек. — Кто автор сценария?

— С-ва.

— …ва? Эх… У них же есть прекрасные сценаристы!

— Сценарий удостоен высшей награды на конкурсе.

— Это её первый фильм?

Я ощутила себя в свободном падении.

— У неё два высших образования, — заговорила наступательно, хватаясь за воздух, — а сценаристы… дирекция пригласит самых именитых, если будут деньги. Решайтесь! Многосерийный, исторический, захватывающий — Бакунин же!

— Хорошо уговариваете. Мы подумаем. Оставьте координаты.

Господа! Нужен один миллиард. Договоримся?

Живопись буддийского монаха

Удлинённый синий плакат этот затерялся между ярких афиш, зазывавших на выставку косметики и подобные ей на главном лице Манежа в ясный осенний день. Подниматься пришлось сквозь грохот тяжкой музыки, буфет, полный жирной сладкой снеди, и заполнившую балкон публику. Скромная крутоватая лестница вела в тихий невысокий зал, мало освещённый, устланный синим, на стенах которого висели рисунки, исполненные на рисовой бумаге размерами 50 × 70 см. Мелкие, отдалённые от стен лампочки с тёмными колпачками освещали сверху каждый лист. У дверей за столом и в креслах наблюдали порядок крепкие ребята-корейцы. Ни денег, ни билетов, вход свободный. Сделав поклон с «намасте», я пошла вдоль стен. Через минуту ребята принесли мне чашечку зелёного чая.

В зале было малолюдно, два-три человека всматривались в рисунки.

«Спокойствие»: два мелких древесных листка вверху справа и иероглиф внизу слева.

«Аромат чая!»: изогнутый полуовал чашки и пёрышко пара над нею.

«Лягушка, приносящая удачу»: синяя рожица с улыбкой, круглыми глазами и чем-то лёгким вокруг.

Вот Дхармы № 1, 2, 3, 4 — что это? Понятно что — и всё же?

Вот «Мальчик и сосна»: внизу левее — малыш со спины, запрокинувший головку, видны волосишки, глаза, нос и штанишки, и далеко сверху правее — ветка сосны в восточном исполнении. Целомудренно, с бездной юмора.

Наконец — всё.

Я направилась к выходу. Один из молодых людей поднялся навстречу:

— А вопросы?

Молчком уйти не удалось. Я стеснённо улыбнулась.

— Дхарма номер один, два, три, четыре?

— А, это… Сейчас.

И послали… за автором! Я замерла. Из незаметной двери в стене появился щуплый улыбающийся человек в длинном одеянии, седоватый, высокий, с корейским лицом, но с синими глазами. Выслушал вопрос. Глаза его были пронзительны и добры, морщинки светились. Переводчик, путаясь, что-то объяснял, а я смотрела на Просветлённого. Поняв, что перевод всё испортит, сказала сама, полувопросительно, с улыбкой почитания:

— Дхарма — это состояние духа в согласии с природой?

Ему с облегчением перевели.

— О да, да, — подтвердил он радостно, и глаза его заискрились.

Мы смотрели друг на друга. Беседа с таким человеком — высокая честь и большое испытание. Дальнейшее присутствие могло стать неуместным, неизбежно обнажив мою суетность.

Я поблагодарила и поспешила уйти — вниз, вниз, мимо оглушительной музыки, жующего буфета, вниз, вниз, к московской толпе, унося в душе Откровение Пути и смущение случайного приобщения.

Сказка про нас, окаянных

В стары годы, старопрежние, жил-был на земле мудрый царь. И был у него сын, Иван-царевич. Вот отправил царь Ивана-царевича на дальнюю звёздочку учиться, а сам пожил тысячу-другую лет, простудился на охоте и больше не встал.

Послали за Иваном-царевичем.

С тех пор протекли столетия — одно, другое, третие. Вернулся Иван-царевич, летит на Вещунптице и глазам своим зорким не верит. Где моря плескались синие — там лужи гниют зелёные, где леса стояли частые — там пески веются жёлтые, а где степи цвели вольные — там и вовсе угольки чернеются. И посреди разора-морока стольный град стоит-красуется. Терема его высокие в облаках пыльных теряются, от стен его скользких-гладеньких солнце мутное отражается, а людей на площади никого не видать, все внутри сидят-хоронятся и по улицам ходить опасаются.

Посмотрел Иван-царевич, поразгневался, выхватил из ножен заветный меч-кладенец.

— Ты скажи-скажи, Вещун-птица мудрыя, где же мне искать супротивника?

Отвечает Вещун-птица мудрыя речью простою-понятною:

— Убери свой меч, Иван-царевич млад. Супротивник твой не в чисто́м поли́, он в душе человеческой прячется.

Опустились тут плечи молодецкие, затуманилось чело его ясное.

— Ты скажи-скажи, Вещун-птица мудрыя, это что ж такое подеялось?

Отвечает Вещун-птица мудрыя речью простою-понятною:

— Приглядись-ко сам, Иван-царевич млад, взором острым-заметливым: терема-то те как поставлены, и дома-то те как изогнуты?

Пригляделся он взором заметливым, а терема-то те так поставлены, и дома-то те так изогнуты, что ими буквы образованы, и теми буквами горделивыми на земле разорённой-растерзанной слово «Я» многократно красуется.

Проязычила тут Птица вещая историю грустную-нерадостную: как имел род человеческий дар высокий на общее радование, вся земля на него надеялась, вся земля вместе с ним возвышалася, в его Слове осознавалася. Ну а он-то, дитя неразумное, стал тем даром впустую игратися, похоть низкую услаждатися, тварь невинную притеснятися.

Пригорюнился тут Иван-царевич млад, слезой горькою обливается:

— Ты скажи-скажи, Вещун-птица мудрыя, где ж нам искать спасение?

Отвечает Вещун-птица мудрыя речью простою-понятною:

— Загляни в глаза мои, Иван-царевич млад: что тебе в них видится?

И как глянул он в очи орлиные, высохли слёзы его горькие, осветилось лицо его ясное.

— Вижу я,— отвечает весело,— люди, звери кругом обнимаются, друг на друга не налюбуются, а иные в сторонке каются, с землёй-матушкой целуются.

Говорит же ему Вещун-птица мудрыя, говорит же она да таковы слова:

— Ой ты гой еси, Иван-царевич млад! Сослужи ты службу великую для всего рода человеческого. Ты ступай во град очарованный с вестью благоюпресветлою. Пробуди всех заснувших-забывшихся, позови всех заблудших-затерянных. А и что с тобой, вестником, станется, то и с ними со всеми содеется.

Тут взмахнула крылами могучими и оставила Ивана-царевича.

Вот и сказка вся.

Синему морю на ти́шинье,
Добрым людям на послу́шанье.

Сказывала бабушка Василиса

Галина Дрюон

Капелька росы

— Нужна операция, только операция… а иначе…— доктор смотрел на Лину строго, но всё же не договорил, что «иначе».

— Нет-нет, не может быть, чтобы *это* со мной,— шептала Лина распухшими от слёз губами, но слово страшное боялась произнести даже шёпотом.

Всё так внезапно изменилось, а ведь совсем недавно — кажется, только вчера,— радовалась жизни, бегала, подруги удивлялись: как не устаёшь — всё бегом да бегом?.. Теперь вот лежит без сил…

Никогда не испытывала такого безысходного отчаяния. Неужели всё на земле останется, а её не будет?.. И ничего впереди?.. Страх полного «ничего впереди» означал прежде всего разлуку с дочкой. К горлу мгновенно подступал комок, и слёзы начинали душить её. Соседки вскакивали, всполошённые, она плакала-кричала:

— Жить, я жить хочу!..

Сердобольные женщины терпеливо, надо отдать им должное, успокаивали, но иногда просто стояли и смотрели на неё в напряжённом молчании.

За окном начиналась весна. Первые признаки весны проникли даже в палату. Одной из женщин принесли букет мимозы, и та заполнила своим нежным запахом всё пространство, напоминая о завтрашнем 8 Марта. Соседки были оживлены, словно ждали чего-то большого.

Лина не ждала ничего. Она этот праздник никогда не любила. Считала его искусственным: неестественно это — раз в год праздновать любовь. Не выносила, когда мужчины в автобусах с шуточками уступали места женщинам. Именно эти шуточки-прибауточки и придавали несерьёзность, даже некоторую уничижительность и самому празднику, и отношению мужчин к женщинам. Можно ли подарить за один день любовь и внимание на год вперёд?.. Только на один день возвысить женщину… А потом?..

Сама всю жизнь мечтала о большой счастливой любви, только на такую и была согласна. Мужчины… ни один не устроил ей круглогодичного Восьмого марта, а некоторых ведь считала любимыми…

Сейчас-то тем более ничего не ждала. Да и не было никого. В последнее время вдруг очень пошла работа, и она была так увлечена успехом, что безжалостно отметала робкие попытки некоторых особей мужского пола проявить внимание.

Надо признать, попытки-то были. А она думала: зачем, лишние разочарования только. Проводит до дома, скажет чего-нибудь цепляющего за душу, и всё — опять потеряла покой, опять жди, не спи ночами, терзайся: что это было, что хотел сказать?.. Да ничего не хотел — ни сказать, ни сделать, нечего и душу травить…

В палате, кроме неё, лежали ещё три женщины. Лина никак не могла привыкнуть к тому, что люди живут и в больнице. Приспосабливаются к боли, к слабости, но продолжают жить, тем не менее. Как бывает на юге, когда знаешь, что сегодня последний день, завтра уже не будет ничего — ведь невозможно взять с собой море. Человек смиряется, и, может, это есть самое правильное. Так же эти женщины: слушали радио, расспрашивали друг друга о жизни, но даже при этом любопытстве друг к другу во всех их разговорах уже чувствовалось равнодушие ко всему, что не есть болезнь. Слушать об их самочувствии, лекарствах, сёстрах — та делает уколы лучше, а та не сразу попадает в вену,— Лине было тяжко. Вдруг пришла мысль: как быстро человек меняется своей сутью. Ведь у каждой до этого была жизнь — другая, полная ежедневных забот, других проблем, и вот теперь они здесь и ведут свои бесконечные разговоры о болезнях, поочерёдно жалуясь, будто могут помочь друг другу, будто не понимают, что уже всё кончено…

Однажды санитарка принесла ночные рубашки на продажу, и женщины с непонятной Лине торопливостью мгновенно раскупили всё. Тут же надели их и стали, все одинаковые, крутиться друг перед другом. Потом одна сказала:

— Вот набрали ночнушек, а сами помрём…

— Нет,— закричала Лина,— нет!..

Не хотела впускать в себя их состояние — будничной примирённости со смертью.

Любая бытовая мелочь — есть, пить — повергала в чувство безысходности: а вдруг это последний раз?.. И снова всё подступало. Чтобы не плакать, Лина закрывала глаза и лежала так, делая вид, что спит.

…Вспоминала, что когда-то давно, в детстве, ничего не боялась — так открыто, солнечно верила миру… Почему не боялась — объяснить невозможно, как многое в детстве нельзя объяснить. Увидела себя деревенской девочкой в самосшитом платьице. Платья ей всегда шила мама, никогда не заглядывая в журналы мод. Да и какие журналы мод в деревне…

Вспомнила, как впервые приехала в город, лет пять ей было. Сверху вниз по лестнице спускалась девочка, не просто спускалась — бежала, подпрыгивая так легко и изящно, что Лина остановилась, заворожённо глядя на девочку. Короткая юбочка в складку летала влево-вправо, влево-вправо — красиво. Долго стояла, не двигаясь. Потом

попробовала, как та девочка, пробежать вприпрыжку по ступенькам — так же легко и изящно не получилось.

И потом много лет мечтала сшить себе точно такую же юбку, и тоже не получилось — ни сшить, ни купить.

Но именно тогда впервые пришло понимание, что есть в городе с красивыми зданиями, сверкающими трамваями другая, неведомая жизнь. И тогда же, кажется, захотелось той жизни принадлежать — хоть краешком.

Вдруг не полюбила своё имя: не стало нравиться, и всё тут. Её все звали Линкой деревенские дети, никогда по-другому. Как принято в деревне среди грубых, простых людей: Нинка, Манька… Почему-то среди этих Манек и Нинок ощущала себя чужой, хотя всегда играла вместе с ними. Играли всегда на улице и всегда допоздна, до темноты. Но, хоть и скучно ей было, не уходила домой раньше — из любопытства или из боязни, что без неё случится что-нибудь интересное…

Никогда не случалось ничего. И ощущая неосознанный протест против этого, представляла себе разные приятные вещи, придумывала имена — красивые, изысканные…

Виолетта… Нравилось оно ей своей принадлежностью к нездешней жизни. Виолетта, по её представлению, должна быть такой, как Настя Вертинская из фильма «Человек-амфибия»: тоненькая, высокая, с длинной изогнутой шеей. Но Линка — какая она Виолетта, если у неё фигура не очень, широкая какая-то? Про лицо своё ещё ничего не знала, потому только фигурой недовольничала. А всё равно представляла себя Вертинской с именем Виолетта.

Долго Виолеттой Вертинской ходила, никто не знал, тайна её была. И нося свои немодные ситцевые платьишки, всегда видела себя в элегантном в полоску платье, точно таком, как у Насти на фотографии в журнале «Советский экран». А уж какие истории переживала, будучи Виолеттой Вертинской, — об этом вообще никто никогда не узнал…

Вспоминала мужа, с которым поженились ещё студентами и прожили вместе целых тринадцать лет. Любила его что было силы, а не ладилось никак. Так и рассталась с ним, не поняв, почему с каждым днём становилось тяжелее. Ей казалось: вот пройдёт время, и притрутся они друг к другу, все шероховатости уйдут, — она читала в книжках, что так положено. Но ничего, оказывается, не положено в семейной жизни. Пишут всякие умные книжки, а в жизни действуют совсем другие, непонятные иногда законы.

Вспомнила, как говорил ей: «Надо всегда исходить из худшего варианта…» А она хотела — из лучшего. Она бежала вприпрыжку, а он говорил: «Не носись и не прыгай!..» Она смеялась — он строго шикал: «Не смейся громко…» Однокурсница Тамара, красивая весёлая молдаванка, сказала как-то: «В нём сильно трагическое начало…» А ей хотелось жить в красивом, выдуманном ею мире, и чтобы он изменил своё трагическое начало…

Не сломаешь человека, не переделаешь — другой. Да и она-то со своей книжной мечтой о высокой любви да красивой жизни сколько потом ошибок понаделала… Только рада была, что дочку родила, которая всегда радовала маму; а мама вот подкачала.

Опять подступили слёзы, Лина даже руками зажала рот, чтоб не услышали соседки по палате. Так и лежала с закрытыми глазами и зажатым ртом.

В палату лёгкими шагами вошла медсестра, молча подошла к её кровати, увидела, что Лина плачет. Покачала головой осуждающе.

— А ну-ка вытирай сопли, я тебе весточку принесла, радуйся, — нарочито грубо сказала медсестра.

У Лины непроизвольно вырвались рыдания из груди, она резко и сильно прижала полотенце к глазам. Сестра ждала, пока Лина отнимет от глаз полотенце, даже присела на край кровати, потом подала ей синий конверт.

Лица у женщин мгновенно осветились любопытством, и выражение всех лиц стало одинаковым. В палате каждой новости рады, а тут тем более: целыми днями плачет, вся в горе ушла. И не писали ей: говорила, нет у неё никого, кроме дочки.

Лина удивлённо смотрела на конверт.

— Да открывай скорей, — сказала одна из женщин.

Лина начала разрывать конверт сбоку.

— Осторожней, адрес не оборви, — снова сказала женщина.

— А тут нету адреса обратного, — сказала, посмотрев на конверт, медсестра.

Лина вытащила из конверта листочек, вырванный из записной, небольшого формата, книжки.

Почерк был незнакомый. Она начала читать, глаза её округлялись с каждым словом:

«Добрый день, милая Лина!

Как ты себя чувствуешь, Лин?.. Закончились ли твои исследования и проверки?.. Сколько их у тебя ещё осталось?..

Я всё никак не решался начать письмо. Всё казалось, что нужно начать какими-то особыми словами. Но в голове нечаянно закружились строчки:

Хорошее — дело не прошлое. Так было. И есть. И будет.
Все люди хотят хорошего. И верят в хорошее люди.
Не должно и не положено, чтоб было хорошее брошено.
Не должно и не положено, чтоб пылью его запорошило.

Я уже знаю, что если долго раздумывать, то всё кончается разорванным в клочья листком. Но сегодня ничего рвать не буду, а отправлю. И всё будет хорошо.

Вот и весенние деньки пошли… Оживает вся природа.

Оживай и ты, моя ласточка!..

Ей только восемь дней,
Но знают и поля, и горы —
Весна опять пришла.
Мацуо Басё».

Лина подняла голову и оглядела всех в полном изумлении.

— Мацуо Басё, — повторила она машинально.

— Кто это?.. — испуганно спросила медсестра.

— Не знаю, — сказала Лина, имея в виду автора записки.

Кто такой Мацуо Басё, знала давно. Студентами читали его хайку, была в то время в Москве мода на всё японское и на японскую поэзию тоже.
— Как не знаю? Ты ж сказала: Бася…—снова спросила сестра.
— Кто принёс?..—вопросом на вопрос ответила Лина.
— А ты его не знаешь, что ли?..—сестра вытаращила голубые глаза на Лину.
Та отрицательно покачала головой: не знаю. Женщины с нетерпением смотрели на неё.
— А чего написано-то?..
Лина отдала листок, сама откинулась на подушку, ничегошеньки не понимая. Женщины сгрудились в кучку и читали. Потом дружно и с интересом уставились на Лину.
— Это тебя с Восьмым марта поздравили,—полувопросительно сказала одна.
— А говорила—нет никого,—присоединилась другая.
Не поверили, что она не знает адресата. Чего скрывать?.. Ну хорошо, пусть почерк незнакомый, а человек-то написал и по имени обращается,—но она тут же охладила всех:
— Да меня никто никогда так не называл—Лин!..
— А может, не тебе?..
Сходили специально проверили: нет, в отделении никаких Лин больше не было. Посидели, взбудораженные. И разошлись спать, уверенные, что скрывает, говорить не хочет про своего «Басю».
Ночью, как всегда, не спала. Лежала без движения, потом, стараясь не шуршать, дотянулась до ночной лампочки над кроватью, включила, достала письмо, перечитала снова. Кто это может быть?.. Написавший письмо, без сомнения, хорошо знал её. Перебрала знакомых мужчин: кто мог назвать её ласточкой?..
Никто не всплыл.
— Ласточка,—прошептала она в темноте и непроизвольно улыбнулась.
Тут же усмехнулась над тем, что смогла улыбнуться. Первый раз за всё время в больнице. Никаких чувств не испытывала. Но мышцы размякли, отпустили друг дружку—и тело расслабленно вытянулось, благодарно приняло предложенное…
Утром проснулась поздно. От окна исходило необычное сияние. Она подошла к окну.
Всё вокруг сверкало белизной: ночью выпал снег. Пушистые шапки белого снега на крышах троллейбусов, на ветках деревьев вызвали воспоминание о Сочи, где была всего лишь один раз, и именно в её приезд выпал снег среди лета. Такие же шапки снега лежали на всём: домах, пальмах,—искрились и сверкали на солнце. Вдруг в неё вошло то светлое настроение, с которым ходила по набережной и, собирая в кучку снег с парапета, сжимала его в ладони шариком и ела. Снег был вкусный, как мороженое.
Ближе к вечеру принесли ещё одно письмо. Почерк был тот же.

«Добрый день, Лина!
Как ты себя чувствуешь?.. Как настроение, хрупкий Лин?..
Сегодня мне не удастся написать тебе большое письмо, какое хотел бы. Ты знаешь, это не всегда выходит. Вдруг ни с того ни с сего мысли теряют стремительность. Наверное, и на письма требуется какой-нибудь, не осознаваемый нами, резонанс души…
Не огорчайся, милая. Уж на несколько строк у меня найдётся и мыслей, и резонанса.
Ты помнишь, у детей есть такая игра: двое встают друг против друга с мячом, потом, ударяя им об пол, передают его друг другу и на каждый удар скандируют: я —знаю—пять—городов?..
Так вот: я—знаю—пять—имён: Линочка—Линусь—Лина—Лин—Ли…
Посылаю тебе сегодня этюд на тему—*Ли*:

Слепит глаза пушистый белый снег.
Он радостен, как твой весёлый смех,
Он светел, как твоя душа, и чист,
И так же обаятельно лучист.

Мороз смягчил суровый твой запал,
Знакомый мир милей и проще стал.
Как эта чистота и белизна
Живой природе всё-таки нужна.

Хороший мой, чудесный человек,
Мне о тебе поёт пушистый снег,
И блеск снежинок высказать велит
Слова восторга нежной, милой *Ли!..*»

Она не взволновалась, чувства ещё не вернулись к ней, просто перевела дух. Захотелось потянуться, и она сделала это, закрыв глаза и не поднимая рук, с наслаждением, будто никогда ранее не изведанным.
— Ой, знаю, кто это!..—вдруг воскликнула одна.—Юрий Алексеевич!
— С чего ты взяла?..—ревниво насторожилась другая, помоложе.
Она была тайно влюблена в палатного врача. Точнее, тайно в него были влюблены все, а та уж слишком явно. Трудно было не влюбиться именно в него, когда все мужчины—и хорошие, и плохие—остались, как за бортом, за стенами больницы, а здесь каждое утро в палату упругой походкой входил человек, пахнущий другой, не больничной, жизнью, всегда свежий, в белоснежной рубашке. Он был один на всех, как бы принося привет из той жизни на воле.
— Ну, мало ли… Может, ему жалко её… Плачет день и ночь, гробит себя почём зря…
— А что, он стихи умеет сочинять?..—усомнилась одна.
— Ну прям—сидит и стихи для вас по ночам сочиняет,—с раздражением дёрнула плечом молодая.
— А вдруг?..—миролюбиво сказала одна из женщин.—Мы вот у него завтра спросим…
Но назавтра во время обхода никто не задал ему этого вопроса, только все напряглись, когда он подошёл к кровати Лины, даже приподнялись на своих кроватях, вытянув шеи, как зайчата.
— Чего не спросила?..—грубовато сказала соседка Лине после его ухода.
— Ну что вы, как спросишь?.. Да и не он это, нет…—сказала Лина.

Сказала больше для молодой и увидела, как та обрадовалась. Улыбнулись друг другу понимающе. Она опять удивилась тому, что может улыбаться и даже может позволить себе думать о чём-то другом, кроме *этого*. Медленно обвела взглядом женщин, и каждая подбодряюще улыбнулась ей в ответ. Это стало для неё открытием. Жизнь не кончилась, хотя они замкнуты в этом узком пространстве, но именно здесь люди нуждаются в поддержке и сочувствии, ищут их друг у друга… Как долго ничего, кроме страха, не хотела знать. А всё равно ведь светит солнце. И есть ещё всё остальное. Жизнь… И ради дочки, которой так нужна мама, не опускать руки, а бороться, вырваться из этой клетки!..

«…Радостен, как твой весёлый смех…» Откуда это ему известно?..

Смех у неё и правда был заразительным, так что окружающие волей-неволей начинали смеяться. Однажды муж сказал: «Жизнь — грустное дело…» Серьёзно сказал, а она вдруг рассмеялась… Весело смеялась, даже голову запрокинула, не могла остановиться, и он, глядя на неё, тоже начал смеяться, и так смеялись вместе. Потом он внезапно замолчал — обиделся. Неделю с ней не разговаривал после.

Как часто они обижали друг друга… Да, наверно, невозможно жить вместе и не обижать, вообще трудно прожить в жизни, ни разу никого не обидев. Особенно в любви, когда, получается, уже самой своей любовью травмируем. Когда — нечаянно, когда — нарочно, вторгаемся в чужой мир или по непониманию начинаем крушить его, этот неизведанный мир, переделывать…

Как же тогда у людей получается — сохранить любовь, это тонкое, хрупкое, неуловимое, что остаётся после всех встреч, разлук, разговоров, обид, после всей грязи? А долгая счастливая любовь, о которой всегда мечтала?.. Видимо, она тоже даётся не иначе чем ценой каких-то жертв. А может, просто в какой-то момент достигаешь определённого уровня безразличия. Мы говорим: смотрите, они так долго живут вместе, потому что любят друг друга, — а они просто живут, потому что ничего уже не хотят…

Паника уже не бежала за ней по пятам. Появлялись минуты, когда забывала, что есть страх, словно в мозгу что-то не успевало сработать в тот момент. Ещё не верила, что это возможно — не думать об этом постоянно, не бояться так сильно…

Иногда думала о человеке, который писал каждый день. Это было так странно — уже подзабытое: кто-то думает о ней…

«Моя чудесная Лин! Пленительная Лин!» — читала она каждое утро новое письмо, веря и не веря, что это обращено к ней. В палате понемногу привыкли к письмам и успокоились, уверенные, что не хочет говорить им правду, скрытная какая. А она не могла оторваться от упоительного текста.

«Добрый день, милая Лин! Моя лунная Лин! Как восхитительно переливается твоё ласковое имя в волнительных аллитерациях… Ну просто музыка… Мне нравится твоё имя всё больше и больше. А ещё мне нравится, что *Лин* — это зеркальное отражение меня. Но не буду больше ничего говорить. И вот тебе моё отражение:

> Возможно, в самом деле — Бога нет…
> Но почему в холодном отдаленье
> С заботливо скрываемым смятеньем
> Не чей-нибудь, а *мой* ты ждёшь привет?
>
> Ведь и других людей вокруг немало,
> Добра тебе желающих в судьбе.
> Но ты всем сердцем верила, ты знала:
> Не так, как все, я помню *о тебе*.

Давай как-нибудь поболтаем о новостях, о житье-бытье?.. А?..»

«Это возможно?.. Значит, он где-то здесь, рядом?..» — подумала с беспокойством. Тут же поймала себя на мысли, что ей не хочется его увидеть. Зачем?.. Хотя и пыталась представить себе его. Какой он… Но даже в мыслях идти дальше не могла… Подготовка к операции отнимала все силы. Иногда казалось: невозможно больше выдержать, всё!.. Но в этот момент вступала какая-то невесть откуда взявшаяся сила: держись, надо держаться!..

Отголоски страха ещё возвращались, но уже пробудился в мозгу, во всём теле почти забытый рефлекс — на жизнь.

Жизнь в палате продолжалась — однообразная, полная боли, тревог. Единственным развлечением были письма с воли. Соседки так же, как Лина, ждали ежедневных посланий к ней, читали их всей палатой. Письма их неожиданно объединили, даже сроднили. Всей палатой с явной радостью отмечали перемены в Лине.

Она их вдыхала, почти пила их, эти слова… Они как спасительный канат, который ей, упавшей за борт, бросил невидимый кто-то, и она ухватилась за него изо всей силы и карабкается, карабкается, боясь, что руки разожмутся и она упадёт вниз, в темноту, в чёрную воду… такой сон видела однажды.

— Вот выйдешь, а он тебя встретит с огромным букетом роз, — мечтательно говорила молоденькая. Ей было всего девятнадцать лет, она свято верила, что у неё всё ещё впереди. — Ты любишь розы?..

— Я больше полевые цветы люблю — ромашки, например, ирисы, — ответила Лина.

У них за деревней бескрайние поля белых ромашек и синих ирисов, но, сколько бы ни бегали они по этим полям, играли на траве, почему-то никогда не приносили домой букетов… Не рвали деревенские ребятишки цветы, не несли их охапками, как это делали городские…

В один из дней пришла открытка:

> «Пусть всего лишь
> капелька росы — наша жизнь.
> И всё же… Всё же…»

«Всего лишь капелька росы… наша жизнь… Вот ты живёшь, хватаешь жизнь, — размышляла она, — выхватываешь из всех событий и делаешь то, что тебе кажется попроще, полегче, а другое, тоже важное, но требующее приложить усилия, физические, а чаще моральные, откладываешь на

потом, на когда-нибудь, когда время будет. И то, что откладывалось, постепенно забывается, исчезает куда-то, вытекает, как тёплый воздух из дома. Теряем дела, людей, друзей иногда, только не замечаем этого до поры до времени. Потом вдруг понимаешь: ах, упущено, поздно, уже поздно… И как надо ценить каждый миг жизни, каждое мгновение… Внимательней, что ли, жить, бережней… ловить каждую улыбку… Как научить себя радоваться тому, что имеешь… не обижаться на людей… не обижать самой… любить… Всего лишь капелька росы—наша жизнь…»

На другой день пришло ещё одно трёхстишие:

«Помнишь, как вместе с тобой
На первый снег мы смотрели?..
Сегодня он выпал опять…»

На открытке росли белые ромашки. Вдруг пришла мысль: «Он не писал бы, если бы хоть один раз—вместе—смотрели мы на первый снег… Ну, не обязательно снег… Другое что-нибудь… Ничего не было…»

Мысль эта не огорчила её. Не это было главным в её жизни сейчас. В душу, вытесняя тревогу, входила уверенность, пока ещё беспричинная, что всё будет хорошо. Эта уверенность потихоньку разливалась по всему телу физическим ощущением. Письма помогали в этом просто волшебно…

«Добрый день, мой светлый Лин!

Как много раз весёлый и печальный
Твой образ в сердце проникал моё,
И вечерами голос твой хрустальный
В дремотное врывался забытьё.

И много раз из пламени сомнений
Твой образ вдруг взлетал, неопалим.
И много строк сердечных посвящений
Ты не прочла, пленительная Лин!

И пусть хмельная нежность упоённо
Теперь тебе струит целебный свет…
К тебе все боги будут благосклонны!
И ты им верь!.. хоть их, возможно, нет.

С успехами тебя, Гюльджан!.. Кажется, это означает—Цветок. Ты умница…

А теперь дай я тебя обниму и легко-легко поцелую. Не пугайся и прости мне мою дерзость, мой светлый лучик, ласковая Лин. Просто ты заслуживаешь сейчас самых нежных слов…

Ты лучшая из лучших».

Она сразу простила ему его дерзость. Что-то подсказало ей: он больше никогда не напишет.

Но она и сама ждала этой возможности—победить отчаяние. Поймала спасительный канат, брошенный ей неизвестно кем.

«Пока неизвестно кем»,—думала она, откладывая, как всегда, на потом то, что сейчас казалось не таким важным. Важнее было другое.

«К тебе все боги будут благосклонны,—повторяла она, как молитву,—и ты им верь!..»

И она верила, днём и ночью вымаливая у всех богов спасения её, верила со страшной, исступлённой силой в то, что «все боги будут благосклонны»…

И чудо свершилось—она осталась жива. Спаслась от неминуемой смерти. Почему неминуемой?.. Потому что—были обречены все.

Первой умерла самая молодая, девятнадцатилетняя красавица Лена, она была из Киева. Все три соседки Лины, приехавшие в Москву из разных городов—за жизнью, умерли одна за другой, как умерли ещё очень многие, лежавшие вместе с ней в той хирургической клинике. А она осталась—*жить*.

…Лина так никогда и не узнала, кто был он. Лет десять спустя, перебирая старые бумаги, наткнулась на письма своего нечаянного спасителя, и вдруг нахлынуло снова:

Хорошее—дело не прошлое. Так было. Так есть и будет.
Все люди хотят хорошего. И верят в хорошее люди.
Не должно и не положено, чтоб было хорошее брошено.
Не должно и не положено, чтоб пылью его запорошило…

Долго сидела, закрыв глаза… «Кто же ты, милый человек, откуда и почему взялся спасти меня?.. Где ты сейчас обитаешь, товарищ?.. Не открылся, не дал никакой зацепки. Впрочем, нет, зацепка таки была. Написал же однажды: «Ты моё зеркальное отражение—*Лин…*» Ну так, если зеркальное отражение—значит, *Нил?..* Кто ты, *Нил*, как зовут тебя?.. Где искать тебя?.. Жив ли ты?..»

Николай Иванов

Семь нот о любви

Не выстрелы пою — а тех, кто шёл под ними.
Не войне поклоняюсь, а тем, кто не прятался от неё.

Тот, кто стреляет первым…

Прежде чем отдать приказ, он приподнял «чёрную вдову» — кругляш мины, таящей в себе мощь миллиона лошадиных сил. От неё нет спасения на минном поле, но и в мирных целях нет лучшей гирьки, удерживающей на узком столике штабную карту.

Освобождённая от грузила, карта под тяжестью хребтов и ущелий, переполненных синевой озёр и бесконечных паутин рек стала медленно сползать к дощатому настилу. Ползла до тех пор, пока взгляд комбата не упёрся в коричневую кляксу Цхинвала. Майор, придержав лист, всмотрелся в окрестности города и неожиданно усмехнулся: река Кура, извивавшаяся по Грузии, оказалась на изгибе стола и читалась лишь как «…ура». Клич атаки, крик отчаяния, возглас победы. К сожалению, теперь не общие с грузинами — у каждого своя свадьба…

Опустил «вдову» и на «…ура», и на наши судьбы:

— В случае штурма города сдаём окраины.

Мы недоумённо переглянулись: сдать Цхинвал без боя? Мальчик, наверное, не понял, к кому попал. Мы в Грозном за каждый этаж, как за собственный дом…

— В бою солдат может спрятаться, город — нет. Чтобы прекратить его обстрел из тяжёлых орудий, надо впустить противника на улицы. Тем сохраним и здания, и жителей, и себя. А уж потом — полный огонь. Безостановочно. Но убиваем не всех. Оставляем как можно больше раненых.

Гуманист?

— Они должны бежать, ползти, катиться назад и сеять панику кровавыми ошмётками у себя в тылу.

Однако, поворот! Рязанское десантное стало выпускать мясников?

— И пусть страна, пославшая их в бой, тащит потом этих калек на своём горбу всю жизнь. Наука на будущее. Прививка от политического бешенства правителям. Спиртное на стол.

Наконец-то! А то валенки парил.

Из-за рации извлеклись бутылка с «кровью Микки Мауса» — спирт с кока-колой — и литровая банка мутного, словно в нём растворили зубную пасту, самогона.

Ни закуску, ни стаканы майор ждать не стал. Приподнял банку с мутной взвесью:

— За укрепление воинской дисциплины. В соседнем батальоне.

Всё же наш человек! Значит, повоюем.

— В нашем её укреплять не будем. У нас она должна быть железной.

Стрельбой «по-македонски» — одновременно с обеих рук, с полуоборота, точно в цель, — выбросил посуду в мусорное ведро. Кроваво-белая смесь, найдя трещину в дне, выползла на дощатый настил и угодливо покатилась к ботинкам нововявленного комбата.

— Дневальный! — поторопился пресечь подхалимаж начштаба.

В проёме палатки, словно двое из ларца, мгновенно выросли солдат и его тень. На груди у обоих, переламывая поясницы, лежал патронный ящик с надписью: «Блок памяти».

— Что ни прикажешь, всё забывает, — оправдался начштаба.

Комбат забарабанил пальцами по столу. Прислушался к возникшей мелодии. И сам же прервал её ударом ботинка, прихлопнув и растерев им, как назойливую муху, подкатившийся спиртовой шарик. На удар одиноко откликнулось ведро, то ли угодливо звякнув перед новым начальством, то ли выражая презрение к нему, как к слону в посудной лавке. Поди их, вёдра, разбери. Железо.

Дневальный, не найдя даже в дополнительном «блоке памяти» вариантов действий, мёртво застыл. Повторяя хозяина, втянула голову в плечи и тень.

— И воевать, и служить отныне будем так, как положено! — не оставил майор иных знаков препинания, кроме восклицательного.

А мы здесь что, ваньку валяем?

Отодвинув «двоих из ларца», комбат вышел под солнце.

Палатки стояли вдоль железной дороги — кратчайшего пути из Тбилиси в Цхинвал. Наикратчайшего, если бы над шпалами и рельсами непроходимо, словно мотки колючей проволоки, не клубились друг за другом кусты шиповника и ежевики. Тут теперь если только на бронепоезде или танке…

Собственно, батальон и оставили под городом потому, что из Гори на Цхинвал вышла грузинская танковая колонна. Поиграть мускулами, пощекотать нервы или с ходу в бой — про то разведка не донесла, плохо сработали «штирлицы». В таком случае лучший выход — ударить по колонне самим, первыми. Но тогда, к сожалению, все военные науки затмит политика: Россию объявят агрессором, а Грузию и Украину введут в НАТО под белы ручки по красной дорожке. А оно нам надо — иметь под Брянском и Сочи американских генералов? Легче всего было бы плюнуть на эти горы и свернуться домой, на Среднерусскую возвышенность. Но при этом понимали: если не защитим осетин и собственных миротворцев, не

только сами потеряем последнее уважение к себе, но и весь Кавказ покажет на Москву пальцем — это те, кто не способен защитить своих граждан. Кому нужна такая власть? И нужна ли вообще Россия как государство?

Так что сидеть десантникам здесь, в горной пыли. Бояться того, что «грызуны» взорвут Рокский тоннель и отрежут Южную Осетию от России, не стоит: тем, кто подталкивает Грузию к войне, не нужен победный марш. Им важнее втащить Россию в затяжную, изматывающую войну. Родить вторую Чечню, которая взбудоражит регион. Потому наступающие станут убивать миротворцев и мирных жителей. Убивать до тех пор, пока Россия не ввяжется в конфликт и не завязнет в нём. И вот только тогда наступит время основного, главного удара — по Абхазии. Она, с её портами на Чёрном море, и поставлена на карту. А Цхинвал — всего лишь отвлекающий манёвр…

Вздохнул комбат, пожалев политиков в Кремле: тяжко будет им выбирать между плохим и очень плохим. А солдату при таком раскладе вообще остаётся плясать от окопа. Зная: кто стреляет первым, умирает всё же вторым.

Но хорошо, что плясали от печки.

«Град» градом ударил по Цхинвалу с наступлением ночи. Звёзды, всегда близкие и огромные в горах, стали мгновенно гасить свет в окнах своих домов и суетливо прятаться в пелене пожаров, ища там спасение от молний-трассеров, прошивающих небо в поисках жертвы. А в самом городе бежали, ломая каблучки и теряя туфли, с разноцветных танцплощадок и кафе девчонки — да в темень, да в подвалы. Побросав невест, бежали в другую сторону парни — получать оружие и становиться преградой извергающему огонь валу. А между ними вжался в землю, не имея пока никакого приказа, десантный батальон. Эх, как же неудобно стрелять вторым.

— Отходим? — подполз к комбату начальник штаба, памятуя о дневном раскладе предстоящего боя.

Советские танки украинского производства с грузинскими экипажами, обученные американскими инструкторами, уже расстреливали осетинских женщин и российских миротворцев. Дырявили стены домов и сносили головы у памятников по улице Сталина. Но комбат медлил. Медлил вместе с рассветом, упиравшимся в затылки гор всеми лучами солнца: утро только что видело, как расстреляли, изрешетили, изнасиловали ночь, и не желало подобного на своём пороге. Только откуда быть силушке у новорождённого? Не смогло ни упереться в исполины-великаны, ни зацепиться за верхушки лесных чащ — со страхом выкатилось новым днём на небо. В иное время прыгало бы козликом: ещё бы — 08.08.08, начало летней Олимпиады в Пекине, в Поднебесной зажигают олимпийский огонь…

— Огонь!

В появившийся на улице танк ненасытно, роем впилась, словно в сыр, крысиная свора пуль. Впилась без приказа из Москвы, под личную ответственность комбата. Но ведь не свежий хлеб он вёз осетинам! А ещё — хорошие танки делали в Советском Союзе: расшибив лбы о щербатую округлую броню, стальные коротышки замертво пали под гусеницы. Хотя и этого залпа хватило, чтобы танк попятился назад. Может, и впрямь в боевой технике всё же не броня главное, а экипаж?

— Гранатомёты вперёд! И патроны. Мне!

Между комбатом и начальником штаба втиснулась тень с уродливо перекошенным от низкого солнца «блоком памяти». Начштаба, приподняв дополнительную солдатскую память, с гаканьем хрястнул её углом о придорожный камень. Щепки от ящика разлетелись в стороны, вывалив из нутра цинковые упаковки. Кащеева смерть для грузин пряталась дальше, и камень обречённо принял на себя и удар цинка. На этот раз из рваной металлической раны вылетели на волю картонные кубики. А уж в них любовно, словно ёлочные игрушки, и были упакованы, переложены маслянистой бумажной лентой близнецы пуль, погибших под гусеницами танка.

— Так будем отходить? — с надеждой требовал приказа начштаба.

Комбат оглянулся. Из пригорода-шанхая, укрываясь увитыми виноградной лозой навесами, бежали в гору женщины с детьми. Там, на вершине, с перебитой переносицей, выгоревшими глазницами, осевшее на одно колено, черно стояло на семи ветрах здание штаба российских миротворцев. По нему стреляли нескончаемо и со всех сторон, в нём уже нечему было гореть, но там и только там, у не спущенного российского флага, виделась цхинвальцам единственная надежда на спасение.

Летела в тартарары вечерняя логика комбата по ведению боя в городе. Нет, всё было бы прекрасно, не окажись в Цхинвале мирных жителей. Но вот вышла десантникам незадача — не ушли они из родных мест. И теперь солдатская ноша удваивалась: не только вести бой, но и прикрывать гражданских.

— Приготовиться к бою! — прокричал комбат по сторонам, потому что командиры всегда находятся в центре боевых порядков.

Это означало одно: батальон остаётся на месте. Замирает правым флангом вдоль железной дороги, по которой не ходят поезда. Уходит левым под линию высоковольтных передач и упирается в магазинчик с тандыром, в котором сегодня не выпекут горячие лепёшки. Остаётся, по крайней мере, до тех пор, пока жители не укроются, как за частоколом крепостных стен, за солдатскими бронежилетами в штабе миротворцев. Неправильная война. Не по тактике…

Тактику дал грузинский спецназ. Он свалился на головы десантников из рощи, приютившейся на пологом склоне вдоль всей дороги. Грузины катились с горы, для устрашения разрисовав на американский манер чёрной краской себе лица и поливая автоматным огнём пространство впереди себя. Наверное, Советский Союз окончательно похоронил себя именно в это мгновение — когда грузины пошли на русских…

Зря пошли. И нашли кого пугать. Лучше бы хорошо учили военные науки: у наступающих должно быть превосходство минимум в четыре-шесть

раз перед теми, кто сидит в окопах. Так что уткнитесь, господа хорошие, своим боевым раскрасом прямо в цхинвальскую пыль. Интересно только, почему убитые застывают в несуразных, негероических позах? Их так скручивают, отбрасывают, опрокидывают всего лишь девять граммов свинца?

А вот раненые — те находят силы подтягивать под себя от боли весь земной шар. Кого задело легко, те и впрямь отбежали, отползли, и тут прав наш новый комбат — пусть сеют ужас и панику. А тех, кто не может двигаться, надо держать на мушке как приманку: за убитыми вряд ли поползут, а вот за ранеными — возможно…

Прикрывая окуляры бинокля от бликов, майор прошёлся взглядом по склону, так и не ставшему для спецназа трамплином через наши головы на беззащитный город. Дважды вернулся к камню на обочине, у которого он лично распластал очередью фигуру в чёрном. У раненого дёргалась нога, наверняка краешком зацепило и живот, потому что пальцы спецназовца тянулись к нему, а не к упавшему автомату. Собственно, что и требовалось доказать — выбивать наступающих из строя.

— Кажется, баба, товарищ майор, — нашёл времечко всмотреться в раненого дневальный. — Ловко вы её…

Майор замер. Усмотреть в безвольном, обмякшем теле женщину мог, конечно, только солдат, год их не видевший. Но наверняка ошибся. С какой стати на его выстрел вышла именно баба? Хотя в грузинском спецназе они есть…

— Вот и держи её на прицеле, — привязал комбат слишком глазастого бойца к «трофею». Уж дамочку свою грузины наверняка попробуют вытащить. И пойдут за ней минимум два-три человека, которых можно снайперски снять. А это — кто-то оставшийся в живых из нашей команды. Арифметика боя, выверенная до сотой доли после запятой, которой в Южной Осетии невольно стала девчонка из спецназа. Куда лезла, дура? Наносила бы на щёчки белую пудру в Тбилиси, а не чёрную краску в Цхинвале… — Я её в бой не посылал!

А бой притих, захлебнувшись первой кровью. Грузии для победного броска всё ж таки не хватило дыхания в один глоток, и теперь требовалось вытереть пот, насытиться боеприпасами, дождаться отставших. Лишь небо продолжали чертить серебристо-ангельские стрелы самолётов, время от времени сталкиваясь с выпущенными навстречу ракетами, вспыхивая при этом клубком огня и врезаясь в горы.

Всё же война. Настоящая.

Майор ломал голову над делами земными, сиюминутными: или пробиваться на выручку миротворцам, или оставаться на месте, прикрывая жителей. Бросок на гору, к трепещущему флагу, избавлял от необходимости раз за разом наводить бинокль на камень и испытывать что-то в виде угрызений совести. Однако если уйти, освободится пространство между засевшим на склоне спецназом и жителями города. Уж на этот бросок у грузин одного глотка воздуха хватит. И про соотношение потерь при бое с жителями говорить не придётся…

— Стонет, — зудел над ухом дневальный.

— А что, должна песни петь? Глаз не спускай.

Сам приблизил девушку через бинокль на вытянутую руку, навёл резкость. Конечно, будешь стонать с таким ранением. В Чечне журналисты домогались рассказов о «белых колготках», тут же впору переиначивать их в «зелёные штаны». Но сама виновата, умный в гору не пойдёт… А зацепил и впрямь живот. Теперь лежать ей надо только на спине и ни в коем случае не терять сознание. Иначе мышцы расслабятся, язык западёт, и девочка попросту задохнётся. Пробежала бы метров десять левее. Или правее. А теперь вот лежи…

— Что глядишь? — сам зыркнул на солдата, попытавшегося по выражению лица командира определить, что тот видит через окуляры. — Станут вытаскивать — так и быть, не стреляй. Баба всё-таки.

Солдат отлип от автомата, комбат нашёл себе дело на левом фланге, у тандыра. Да только что ему на флангах делать, там командиры рот и начштаба рулят. Место командира — на лихом коне, в центре. Напротив камня…

— Никого, — замотал головой дневальный, когда майор, возвращаясь, как с нимбом, с роем пуль над головой, распластался среди пустых картонных коробочек.

Комбат намерился привычно вскинуть бинокль, но глаз и без него безошибочно уловил: подёргивания раненой становились всё реже и замедленнее. Через пару минут солнце начнёт переваливать через валун, и лицо спецназовки откроется прямым лучам. Не выдержит ведь — оно здесь ядрёное, солнце-то…

— Что ж они своих-то бросают? — недоумённо оглянулся на солдата майор. — Нам, что ль, самим таскать?

Тень дневального сжалась так, что уместилась в дорожной выбоине. Всё ясно, скоро домой. Это в начале службы можно получить пулю по неопытности, а под дембель — только по глупости. Были десантники справа и слева, но они, как и положено, держали под прицелом свои сектора обстрелов. У него самого — валун и умирающая девушка. А может, и впрямь попробовать вытащить? Был бы там мужик, лежать ему до скончания века, то есть боя, а с женщиной — вроде как не по-джентльменски…

— Никто не рыпался к ней? — поинтересовался у «двоих в ларце».

— Мёртво.

Мёртво — это хорошо. Не доблесть, конечно, а дурость — таскать из огня врага, к тому же тобой подстреленного. И грузины, небось, подобного не сделают. Но тут русский майор вдв! Мухой туда и обратно. Рискнуть? А оно надо?

Эхма!

— Прикрой!

Вышвырнув из-под ботинок гравий, комбат рванулся к камню. И — сволочи. Грузины сволочи. Они всё же держали на прицеле раненую, пусть и не как приманку, а просто оберегая её от посторонних — так отгоняют воронье от жертвы.

Майор не был стервятником, но и его встретили огнём на распахе, едва тот раскрылся в своём стремительном орлином рывке.

Надломился комбат. Опрокинулся сначала в небо, потом неловко упал на бок. С усилием, ещё при памяти и силе, перевалился на спину: так и впрямь надо делать при ранении в живот, он не зря мысленно подсказывал это девушке.

И стих.

Зато заорал матом начштаба, выпустив смертельное содержимое автоматного рожка по роще. И когда в оглохшем небе беззвучно клацнула за последним патроном затворная рама, вдруг всё замерло. Нет, в далёком поднебесном Пекине зажигали олимпийский огонь, через Рокский перевал рвалась подмога от 58-й армии, сталкивая в пропасти заглохшие и перекрывшие дорогу машины. Утихало всё на нейтральной полосе для майора и девушки. Земная жизнь начала течь уже без них, и, осознав эту отрешённость, они вдруг потянулись навстречу друг другу липкими от крови пальцами. Словно уверовав, что спастись они могут только вместе. Что ближе, чем они, на этой пыльной дороге и в белёсом горячем небе никого нет. Только бы солнце не перевалило за валун и не ослепило девушку. Если она прикроет глаза, открыть их вновь сил уже не хватит…

Подтянув своё обмякшее, переполненное кровью тело, майор с усилием выбросил его вперёд. Бросок получился никчёмный, зряшный, потому что всё равно его не хватило дотянуться до девушки, хоть и было того расстояния ровно на ствол автомата, лежавшего между ними.

И перевалило солнце через валун. И сдалась девушка, прикрывая веки. И оставшийся в одиночестве майор тоже понял: всё! С этого момента ни ему, ни соседке не требовалось ни подтягивать под свои раны земной шар, ни отталкиваться от земли — та сама замерла перед тем, как принять рабов Божьих к себе.

И тогда встал с белым платком в руке начальник штаба. Из-за листвы тут же, словно боясь опоздать, торопливо скатился грузинский офицер. Сделали навстречу шаги. И словно перезагрузился поражённый вирусами страха блок памяти у дневального: неожиданно даже для самого себя солдат вытащил, поднял свою пудовую тень из дорожной выбоины и пошёл пусть и на деревянных ногах, но рядом с начштаба. А со склона в ответ тоже появился в помощь своему офицеру спецназовец в чёрном.

Четвёрка, всё убыстряя шаг, словно торопясь в последнюю секунду исправить непоправимое, начала сближаться. В конце концов побежала, боясь опоздать. И выбежали им на подмогу другие солдаты, да с обеих сторон, да уже не высчитывая равного количества — доверились среди войны и ненависти друг другу. Хорошо всё-таки, что был Советский Союз.

И упали на колени живые перед погибавшими, оторвали их от слишком гостеприимной земли. Подняли, осторожно понесли, сдерживая шаг и пряча взгляды от пульсирующих ран. Каждого в разные стороны, в окопы, ощетинившиеся друг против друга оружием.

Тот, кто стреляет первым, умирает всё же вторым.

Но здесь, на цхинвальском склоне, с обеих сторон молились, чтобы остались живы раненые.

Оба.

Золотистый золотой

И сказал ей бородатый главарь, увитый по лбу зелёной лентой: тебе туда. И показал стволом автомата на горный склон: за ним ты найдёшь своего сына. Или то, что от него осталось.

Если дойдёшь, конечно.

И замерли от этого жеста боевики, а в первую очередь те, кто устанавливал на этом склоне мины. Надёжно устанавливал — для собственной же безопасности, туда-сюда, движение.

Разведка федеральных сил не прошла — откатилась, вынося раненых.

Попавшие под артобстрел шакалы, спасаясь от снарядов, вырывались сюда, на простор, и на потеху Аллаху устраивали фейерверк на растяжках.

Пленные, что вздумали бежать, взлетели здесь же на небеса.

Сын? Нет, сына её здесь нет. Но они слышали о пленном русском пограничнике, который отказался снять православный крестик. Зря отказался: через голову и не стали снимать, делов-то — отрубили голову мечом, и тот сам упал на траву. Маленький такой нательный крестик на белой шёлковой нитке, мгновенно пропитавшейся кровью. Гордого из себя строил, туда-сюда, движение. А то бы жил. Подумаешь, без креста… Дурак. А похоронили его как раз там, за склоном. Иди, мать, а то ночь скоро — в горах быстро темнеет. Жаль только, что не дойдёшь. Никто не доходил.

Пошла.

Пошла по траве, выросшей на минах и среди тоненьких проводков, соединявших гранаты-ловушки. Вдоль кустарников, израненных осколками. Вдоль желтеющих косточек чьих-то сынков, не вынесенных с минного поля ни своими, ни чужими. Собрать бы их по ходу, раз она здесь, похоронить по-людски, с молитовкой. Но она шла-торопилась к своему дитяти, к своей кровинушке, к своему дурачку, не послушавшему бандита. О Господи, за что? Ведь сама, прилюдно, надевала сыночку крестик на призывном пункте — чтобы оберегал. И видела ведь, видела, что стесняется друзей её Женька, пряча подарок глубоко под рубашку. Думала, грешным делом, что не станет носить, снимет втихаря.

Не снял…

А ей всё смотрели и смотрели вслед те, кто захотел иметь собственное солнце, собственную личную власть, собственных рабов. Ухоженные, упитанные, насмешливые бородачи. Три месяца она, ещё молодая женщина, ощущала на себе эти взгляды, терпела унижения, оскорбления, издевательства. Три месяца её секли холодные дожди. По ней стреляли свои и чужие, потому что по одинокой незнакомой фигуре на войне стреляют всегда: на всякий случай или просто ради потехи. Она пила росу с листьев и ела корешки трав. Она давно потеряла в болоте туфли и теперь шла по горным тропам, по лесным чащам, по невспаханным полям босиком. Искала сына, пропавшего в чужом плену,

на чужой войне. Не выспавшейся переходила от банды к банде, голодной—от аула к аулу, закоченевшей—от ущелья к ущелью. Знала одно: пока не найдёт своего Женьку, живого или мёртвого, не покинет этой земли, этих гор и склонов.

«Господи, помоги. На коленях бы стояла—да идти надо. Глаза бы выплакала, да искать надо. Истово молюсь, ибо знаю: слабая молитва выше головы не поднимется. Помоги, Господи. Потом забери всё, что пожелаешь: жизнь мою забери, душу, разум—но сейчас помоги дойти и отыскать сыночка…»

— Сейчас, сейчас взлетит, туда-сюда, движение.

— Здесь ещё никто не проходил.

Ждали боевики, не спуская глаз с русской женщины и боясь пропустить момент, когда вздыбится под её ногами земля и закончатся муки.

Не заканчивались. Небеса, словно оправдываясь за страшную кару, выбранную для её сына, отводили гранатные растяжки. А то ангелы прилетели от него, от Женьки, и подстилали свои крыла под растрескавшиеся, с запечённой кровью ноги, не давая им надавить сильнее обычного на минные взрыватели. И шла и шла мать туда, где мог быть её сын. Уходила прочь от главаря с зелёной лентой, исписанной арабской вязью. И когда уже скрывалась она с глаз, исчезала среди травы, один из боевиков поднял снайперскую винтовку. Поймал в прицел сгорбленную спину: прошла она—проведёт других. Не взлетела—так упадёт…

Но что-то дрогнуло в бородаче, грубо отбил он в сторону оружие и молча зашагал прочь.

В ущелье.

В норы.

В темень.

Он не угадал. А тот, кто не угадывает, проигрывает…

А ещё через два дня к боевому охранению пехотного полка вышла с зажатым в руке крестиком на коричневой шёлковой нити седая старушка. И не понять было с первого взгляда: русская ли, чеченка?

— Стой, кто идёт?—спросил, соблюдая устав, часовой.

— Мать.

— Здесь война, мать. Уходи.

— Мне некуда уходить. Сынок мой здесь.

Подняла руки—без ногтей, скрюченные от застывшей боли и порванных сухожилий. Показала ими в сторону далёкого горного склона—там он. В каменной яме, которую вырыла собственными руками. Ногтями, оставленными там же, среди каменной крошки. Сколько перед этим пролежала без памяти, когда отыскала в волчьей яме родную рыжую головушку, из-за которой дразнили её Женьку ласково «Золотистый золотой»,—не знает. Сколько потом перекопала холмиков и пролежала рядом с обезглавленным телом своего мальчика—не ведает тоже. Но очнувшись, поглядев в чужое безжизненное небо, оглядев стоявших вокруг неё в замешательстве боевиков, усмехнулась им и порадовалась вдруг страшному: не дала лежать сыночку разбросанным по разным уголкам ущелья, соединила головушку…

…И выслушав её тихий стон, тоже седой, задёрганный противоречивыми приказами, обвинённый во всех смертных грехах политиками и правозащитниками, ни разу за войну не выспавшийся подполковник дал команду выстроить под палящим солнцем полк. Весь, до последнего солдата. С Боевым знаменем.

И лишь замерли взводные и ротные коробки, образовав закованное в бронежилеты и каски каре, он вывел нежданную гостью на середину горного плато. И протяжно, хриплым, сорванным в боях голосом прокричал над горами, над ущельем с остатками банд, над минными полями,—крикнул так, словно хотел, чтобы услышали все политики и генералы, аксакалы и солдатские матери, вся Чечня и вся Россия:

— По-о-олк! На коле-ено-о-о!

И первым, склонив седую голову, опустился перед маленькой, босой, со сбитыми в кровь ногами, женщиной.

И вслед за командиром пал на гранитную пыльную крошку его поредевший до батальона, потрёпанный в боях полк.

Рядовые пали, ещё мало что понимая в случившемся.

Сержанты, беспрекословно доверяющие своему «бате».

Три оставшихся в живых прапорщика—Петров и два Ивановых—опустились на колени.

Лейтенантов не было. Выбило лейтенантов в атаках, рвались вперёд, как мальчишки, боясь не получить орденов,—и следом за прапорщиками склонились повинно майоры и капитаны, хотя с курсантских погон их учили, что советский, русский офицер имеет право становиться на колени только в трёх случаях: испить воды из родника, поцеловать женщину и попрощаться с Боевым знаменем.

Сейчас Знамя по приказу молодого седого командира само склонялось перед щупленькой простоволосой женщиной. И оказалась вдруг она, вольно иль невольно, по судьбе или случаю, но выше красного шёлка, увитого орденскими лентами ещё за ту, прошлую, Великую Отечественную войну.

Выше подполковника и майоров, капитанов и трёх прапорщиков—Петрова и Ивановых.

Выше сержантов.

Выше рядовых, каким был и её Женька, геройских дел не совершивший, всего один день побывший на войне и половину следующего дня—в плену.

Выше гор вдруг оказалась, тревожно замерших за её спиной.

Выше деревьев, оставшихся внизу, в ущелье.

И лишь голубое небо неотрывно смотрело в её некогда васильковые глаза, словно пыталось насытиться из их бездонных глубин силой и стойкостью. Лишь ветер касался её впалых обветренных щёк, готовый высушить слёзы, если вдруг прольются. Лишь солнце пыталось согреть её маленькие, хрупкие плечики, укрытые выцветшей кофточкой с чужого плеча.

И продолжал стоять на коленях полк, словно отмаливал за всю Россию, за политиков, не

сумевших остановить войну, муки и страдания всего лишь одной солдатской матери. Стоял за её Женьку, рядового золотистого воина-пограничника. За православный крестик, тайно надетый и прилюдно не снятый великим русским солдатом в этой страшной и непонятной бойне…

Тузы бубновые

Сталин, прикрываясь от окружающих приподнятым плечом, подслеповато пересчитывал деньги. Отделив несколько купюр, оглядел Манежную площадь.

На глаза попался Карл Маркс, топтавшийся около знака «Нулевой километр российских дорог», и вождь народов поманил его пальчиком. Тот с готовностью подбежал, выслушал указания и, получив деньги, заспешил в «Макдоналдс». Ленин, подпиравший от безделья музей своего имени, одобрительно пощипал бородку — это правильно, что за обедом бежит самый молодой. Предчувствуя скорый пир, покинул свой пост у входа в Александровский сад Николай II. Прижимая шашку к генеральским лампасам, заспешил в тень, падающую от памятника Жукову.

Её, тени от маршала Победы, потом хватило, чтобы накрыть всю компанию двойников, суетливо деливших гамбургеры и прикрывающихся от фотографов растопыренной пятернёй. А может, выставляли её как таксу: снимок вместе со всеми стоит пятьсот рублей. Пятьсот рубликов — постоять рядом с историей, её тузами. Кто первый?

— Кто готов? — командир оглядел пограничников.

Когда строй в одну шеренгу — первые все.

Но на этот случай в шеренге есть ещё и правый фланг.

Там оказались Пашка и Сашка, и командир указал им на машины с бубновыми тузами на лобовых стёклах. Тузы в зоне боевых действий — всего лишь дополнительный пароль и пропуск. Символ меняется в штабе непредсказуемо и может быть кру́гом, треугольником, квадратом, любой абракадаброй, придуманной писарем.

Но сегодня Пашка и Сашка — тузы. И им выпадало вывозить отпускников с горного плато на нижнюю вертолётную площадку. Аэродром есть и вверху, но на календаре тринадцатое число, да ещё пятница, а суевернее лётчиков народа нет. Хотя сами они и списали невылет на ветер, который якобы может свалить «вертушки» в ущелье.

У пехоты тринадцатых чисел нет.

Вывесили бронежилеты на дверцы кабин: погибнуть от случайной пули в бок на войне считается почему-то глупее, чем от выстрела в упор. Распределили счастливчиков с отпускными билетами по пять человек в каждый кузов. Снялись с ручников, покатили с плато вниз, до самодельных щитов с надписью «Стой! Заряди оружие».

Отпускникам тянут карманы проездные и боевые, оружие только у Пашки и Сашки. Передёрнули затворы, загоняя патрон в патронник. Теперь для стрельбы хватит одной секунды — лишь нажать пальцем на спусковой крючок. От случайного выстрела тоже есть защита — поднятый вверх флажок предохранителя. Тонкая такая пластинка, способная блокировать любое движение внутри оружия. Приучил командир, переслуживший все звания мужиковатый капитан, что они здесь не воюют, а охраняют и защищают. А потому оружием не бряцать! Предохранитель вверх.

Лишь после этого «бубновые» начинают сматывать с колёс горный серпантин. Крутой, извилистый, он был пробит в своё время для ишаков. Затем пленные русские солдаты чуть расширили его для проезда машин: у боевиков на плато располагалась школа смертников, а те забирались высоко, прятались надёжно, на пятёрку. Сюда даже орлы не долетают, слабаками оказались они в сравнении и с боевиками, а потом и с пограничниками, которые эту школу смертников разыскали и с горы всех отличников вышвырнули. А орлы и сейчас невесомо парят крестами далеко внизу.

Настоящий крест, сваренный из металла, лежит на плато рядом со строящейся православной часовней. Тут же, на земле, в короткой тени от часовни расположился и латунный купол, вблизи больше похожий на шелом русского богатыря. Часовня, призванная укреплять дух православного воинства на Кавказе, без маковки и креста пока словно сама нуждалась в защите и потому жалась к складу боеприпасов, под охрану часовых.

Самым занятным оказалось то, что половина отпускников заработала себе поощрение за усердие при восстановлении мечети, пострадавшей в бою между пограничниками и смертниками. Ремонтировать, конечно, легче, чем строить, но почему начальник заставы столь рьяно чтил местные законы, солдатам неведомо.

И впрямь: в аулах затвором ему не клацни, по улице выше второй скорости не проскочи, яблоко с ветки, даже если оно само падает в рот, не сорви. Словно не война здесь, а курорт.

«Бубновые» машины жались к скалам, подальше от могильных головокружительных провалов, наполненных парящими крестами из орлов. Прослужи здесь хоть год, хоть два, но ни за что не поймёшь, что легче — подниматься на плато или спускаться вниз. А тут ещё в самом деле пятница, тринадцатое…

Но зря вспомнилось Пашке под руку это число, ох зряяяяяяя!!!

Застонал об этом, когда нога провалилась вместе с педалью тормоза до самого пола, и машину плавно, но неотвратимо, всем её многотонным весом и весом пяти пока ещё живых, счастливых отпускников потащило вперёд. А через мгновение уже не стонал — орал от безнадёги Пашка, потому что больше ничего не мог предпринять, потным лицом через окно чувствуя усиливающийся шелест ветерка. Самое опасное в горах — это скорость. Глупцы, вешали какие-то бронежилеты на дверцу…

Почувствовав неладное в разбеге машины, заорали и счастливчики в кузове. Единственное, что они успевали — это выпрыгивать на ходу, падать в новенькой форме на острую пыльную крошку, сбивая в кровь колени и локти.

Но Сашка — что за чудо оказался Сашка, стоявший на правом фланге ещё правее Пашки и потому

выехавший на серпантин первым. Он тоже жался своим КАМАЗом к скалам, тоже упирался в дорогу всеми «копытами» — обвязанными цепями колёсами, спуская свою душу с небес на первой скорости.

Но при этом он ещё смотрел и в зеркало заднего вида. В нём, дрожавшем от потуги вместе с машиной, и увидел, как упирались в идущий следом КАМАЗ, скользя и падая, стараясь остановить его на уклоне, Пашкины пассажиры. Ему самому ещё можно было увернуться от тарана, спасти хотя бы себя и своих отпускников, но ударил Сашка по своим нормальным, прокачанным тормозам. Зеркало вздрогнуло, наполняясь клубком из пыли, старенького КАМАЗа, идущего следом, и падающих на обочину человечков-лилипутиков.

Когда длинное, нестандартное для солдатского грузовика, купленное на рынке зеркало от БМВ готово было лопнуть от переизбытка информации, Сашка всё же дал своей машине возможность чуть прыгнуть вперёд. Удар сзади достал, но мягкий, вдогонку, как и планировалось. Уже больше не отпуская впившийся в него КАМАЗ друга, Сашка стал притормаживать, сдерживая второй грузовик и своей многотонной громадиной, и весом своих пяти ошалевших, сжавшихся внутри кузова отпускников.

Но слишком крут оказался склон. Слишком большую скорость развил Пашка на своём тарантасе, чтобы удержаться в одной сцепке и не пасть мимо орлов на дно ущелья. И тогда, спасаясь от совместного падения, Сашка направил вытянутую, дымящую от перегрева морду своего КАМАЗа на горный выступ. А тот и рад был выставить каменный клык аккурат в радиатор.

От удара выщелкнуло из пазов приклеенное дешёвым ПВА зеркало от БМВ, полетело оно первым в пропасть, раскидывая, словно сигнал «SOS», солнечные блики по горным склонам. С шумным облегчением вырвалась через рваную рану на свободу перекипевшая вода, — да только чтобы сразу испариться в ещё более перегретой пыли. А сзади слышался нескончаемый скрежет вминаемого капота Пашкиной барбухайки.

— Стоять!!!

Орал, шептал или просто молил Сашка — никто не знает, а он тем более. Понял другое — всё застыло.

Зато уверовавшие в спасение отпускники обессиленно попадали на камни у своих машин. Вытирая пот с лиц, подняли глаза в чистое, свободное даже от орлов небо.

Но не от боевиков.

Они смотрели на пограничников с гребня скалы, и мгновенно все вспомнили, что оружие — только у Пашки и Сашки. Тем для стрельбы хватило бы секунды, но флажки, тонкие пластинки предохранителя, поставлены вверх! А это ещё одна секунда. Страшно много, когда тебя самого держат на мушке, не давая пошевелиться.

Эх, командир.

Тринадцатое.

Пятница!

Разбив тишину и сердца пленников грохотом, упал скатившийся с гребня камешек. Не желая быть свидетелем расстрела, медленно, не привлекая к себе внимания, присело за вершину соседней горы солнце. В небе остались только перекрестившиеся взгляды боевиков и пограничников. И расстояния меж ними было как от православной часовенки до мусульманской мечети, которую они подняли из руин.

Но сумел, сумел по миллиметру, сдирая о камни кожу с рук, дотянуться Сашка до подсумка с гранатами. Всё! Теперь он спасён. Только однажды он видел пленных. Точнее, их изувеченные, с проткнутыми шомполом ушами, отрезанными носами, тела. А он не дастся. Успеть подорвать себя — невероятное счастье, редкая удача для солдата. Спасение от плена…

Со скалы прогремел камнепад — скатилась тонкая струйка песка в ореоле бархатной пыли. Этого мгновения хватило Сашке, чтобы дёрнуть руку из-под себя. Вроде как занемела, вроде отлежал её, а на самом деле вырвал чеку в «лимонке» — тонкие такие усики-проволочку, просунутые через отверстие в запале. И получила свободу пружина с бойком. И на пути у них теперь только одна преграда — нежнейший, не признающий малейшего к себе прикосновения, нарциссом красующийся от своей значимости капсюль. За которым — пороховой заряд. И мощи в этой идеально красивой солдатской игрушке, специально ребристой для увеличения числа осколков, вполне хватит, чтобы оставить тысячи автографов на скале, спасшей солдат от падения вниз. Спугнуть орла, не ведающего страха. И мягко, себе в охотку, потому как для этого и предназначалась, искромсать людишек, в эти игрушки играющих.

Жалко себя Сашке. И дом родной вспомнился с новой верандой, и вместе с этим воспоминанием вдруг испугался, осознавая, как плохо они с батей поставили в ней дверь — не по центру, а сбоку. Ставили, чтобы не заметал снег и чужие кошки прямо с улицы не забегали в сени. Но теперь, когда будут выносить его гроб из хаты, намаются крутиться. Надо было делать выход прямо…

Тишина после камнепада стояла оглушительная, до звона не существующих здесь кузнечиков. И боялся Сашка уже другого — что пальцы и впрямь онемеют и разожмутся прежде, чем подойдут боевики. Погибать одному, без врагов, на войне тоже почему-то считается глупо…

— Ушли, — прошептал шершаво в уши Пашка.

Он наверняка ошибался, наверняка снайпер продолжал держать их на мушке и ждал, кто первый поднимет голову. По тому и выстрелит. А у Сашки и за снайпера отчего-то головная боль: если стрелок неопытный, снайперка при отдаче рассечёт ему бровь…

Но пошевелился — и остался жив! — Пашка. И долго потом жил — сначала десять секунд, потом все двадцать. А потом ещё столь долго, что отказали Сашкины пальцы держать гранату. Знать не знал, ведать не ведал, что в переводе с латинского она означает «зернистая». Учил про неё другое — что «зёрнышек» этих хватит усеять двести метров по всей округе. А вокруг теперь оставались только свои…

…Они потом долго гадали, почему боевики ушли без выстрелов. Кто превозносил Сашкину гранату, которую потом едва выцарапали из схваченных судорогой пальцев и уронили вниз, заставив-таки орла сложить в страхе крылья-крест и камнем пасть на дно ущелья. Кто переиначил тринадцатое число в обратную сторону. Про капитана, тамбовского мужика, не вспомнили — ни как он запрещал клацать затворами в аулах, ни как не давал мотаться по дорогам на скорости, давя в пыли беспечную домашнюю живность, ни как не разрешал рвать алычу и яблоки, едва не падающие в рот. И про лозунг его: не воевать, а охранять и защищать, — тоже не подумали. Что-то о мечети, поднятой из руин, заикнулись, но мимоходом. Не смогли солдатским умом сопоставить, что на войне политика вершится даже такими штрихами, что тузы бубновые на стёклах — уже не просто символ, дополнительный пропуск в зоне боевых действий, это уже и знак, переданный старейшинами боевикам: это хорошие солдаты, этих не трогать…

Да и некогда было особо об этом думать — подкрался на тягаче из-за поворота капитан. Поругал непонятно за что Пашку и Сашку, а спустив пар, обнял их и сам полез под днище машины менять лопнувший тормозной шланг. И устыдившись своего страха, нашло средь горных круч расселину солнце, ещё раз осветило колонну. А оттого, что было уже низко, удлинило тени, и казались теперь пограничники на крутом серпантине великанами, достающими головами до вернувшегося в пропасть, но так и не поднявшегося до солдат орла.

Не имел собственной тени лишь писарь, переклеивая на стёклах машин листы: с 18:00 в зоне ответственности пограничного управления менялся пропуск, и «бубновые тузы» переиначивались в треугольники. Да ещё шла в это же время шифровка в Москву: «Боестолкновений в зоне ответственности не зафиксировано, потерь среди личного состава нет».

А в самой Москве, рядом с Красной площадью, самостийные «тузы» выискивали глазами тех, кто готов был заплатить, лишь бы постоять рядом с историей. С теми, кто якобы вершил её для страны. А они, в ожидании своего куша, подкармливали вороньё, слетавшееся на крошки от гамбургеров…

Контрольный выстрел

Над ним, толстым и неповоротливым, потешались всегда. А уж какое наслаждение одноклассникам и мучение учителям приносили уроки физкультуры с его участием…

Школа онемела, когда в десятом классе он стал мастером спорта! Пусть и по стрельбе, пусть. Но теперь учителей хвалили на совещаниях, и вчерашние инквизиторы стали холить и лелеять его наряду с цветочной клумбой под окном директора.

А ведь страсти к оружию у него никогда не наблюдалось. Наоборот, тайком сочинял стихи и грезил себя в репортёрах. Но однажды его упросили отнести заболевшей девочке из параллельного класса домашнее задание, и он недовольно поплёлся опять же на параллельную улицу.

Зачем ему открыли дверь?

А если открыли — зачем это сделала сама Кадри?!

Но даже если бы и она — нельзя же было распахиваться на груди бело-синему, в полоску, халатику.

Он не увидел там ничего — мелькнул лишь ослепительно белый упругий окоём, не тронутый загаром. Но вспышки хватило, чтобы он ослеп. Сунув листок с заданием в дверь, на ощупь, по стенам бросился прочь от страшного дома.

С тех пор у него началась параллельная жизнь. Тенью в тени он перемещался за Кадри по Таллину. Завёл новую, недоступную для матери, тетрадь стихов. Путался в своём, но знал назубок расписание занятий в соседнем классе. Верхом безрассудства стало то, что без сожаления оставил литературный кружок, записавшись в стрелковую секцию, которую Кадри посещала уже год по средам и пятницам с 15:00 до 17:15.

— Из-за меня, что ли? — лукаво вскинула брови под воронью чёлку грациозная, как лань, Кадри. Ему, неуклюжему, оставалось только краснеть и что-то мямлить про будущую службу в армии.

Вопреки всем законам, их параллели не только сблизились, но и соприкоснулись: на соревнованиях в Москве он нежно прижал её к себе во время экскурсии на смотровую площадку Останкинской телебашни. Не засмеялась, не оттолкнулась — сама прильнула в ответ.

— Нравлюсь, что ли?

Первый раз он порадовался, что такой большой — Кадри вместилась на его груди, как воробышек на ладошке. И даже Москва с её миллионами огоньков поверженно лежала не то что у их ног — под ногами.

Тогда он выиграл всесоюзные соревнования и стал мастером спорта. Он больше никогда не повторит своего результата, да ему и не потребовалось это по жизни: на факультете журналистики МГУ проповедовался иной, сформулированный ещё Марком Твеном, стиль жизни: репортёру надлежит быть на месте пожара за десять минут до его начала, а остальное его не касается. А Кадри… Кадри, не по-эстонски стремительная, желавшая во всём выбиться в лидеры, послушалась родителей и осталась в Таллине.

— Не забудешь, что ли? — прятала за лукавством грусть.

В вечер перед расставанием они почему-то приехали на вокзал и бродили по перрону, с которого ему надлежало уезжать в Москву. Знали, что при родных они ничего лишнего себе не позволят. Например, поцеловаться…

— Любишь, что ли?

…Они переписывались почти год, наполняя почтовые поезда десятками, сотнями конвертов, открыток и бандеролей. Мечтали о встрече, и по мере узнавания Москвы он расписывал, куда пойдут гулять. Сначала, несомненно, в их Останкино, потом на Ленинские горы, потом к дому Булгакова, потом опять и снова Останкино, Манеж… Нет, Манежная площадь отпадала, на ней беспрерывно проводились митинги, а он желал остаться с Кадри наедине. Чтобы видеть только

воронью чёлку над изогнутыми тонкими бровями, острый подбородочек, слегка тронутый ямочкой, и, если повезёт, если случится такая удача, если распахнётся блузка…

Этим и жил. Этим дышал. Даже развал Советского Союза не увидел, а почувствовал лишь через тон её писем: в них вдруг стала проскакивать сначала ирония, потом сарказм, а затем и открытое презрение к СССР, Москве, к русским сапогам над несчастной Эстонией. Господи, какие сапоги, если Москва однажды сама лежала под её туфельками на Останкинской телебашне!

Юмора не приняла, в подтверждение прислала пачку листовок с рисунками: границы Эстонии опутаны колючей проволокой в виде свастики и красной звезды. Тогда он впервые не ответил на послание и вспомнил фотографии гитлеровцев в её квартире. Кадри тогда отмахивалась: это бабушкины одноклассники, которых насильно забрали в вермахт при оккупации. Неужели ничего случайного в этом мире нет — ведь располагались снимки на стенах, где в русских избах висят образа?!

Почтовые поезда теперь можно было отправлять в Эстонию через день: всё остальное человечество отсылало в Таллин писем меньше, чем он нагружал эту службу один. А потом нашёл оправдание и своей выдержке в их обоюдном молчании: тогда, школьником, он влюбился не в саму Кадри, а в белый, не тронутый загаром полумесяц на левой груди. Да-да, на левой, Кадри открыла дверь левой рукой, и вслед за дверью стал распахиваться халатик. Он таких никогда больше не видел — в синюю полосочку…

Зачем она полезла в политику!!!

Спустя несколько лет он прочёл в спортивной хронике о её удачном выступлении на чемпионате Европы, искренне порадовался медали и даже позвонил в Таллин. Номер не ответил, и он согласился с тем, что было давно известно: молчала не Кадри. Это не откликалось его прошлое. Отгородилась новыми границами уже с настоящей колючей проволокой его юность…

А вот его разряд по стрельбе вкупе с дипломом репортёра сотворили с ним кульбит, когда задребезжал в резонансе Кавказ.

Первая волна журналистов потрудилась в этой «горячей точке» во вред России славно, восхваляя гордых сынов гор в их стремлении к свободе и независимости. На собственной же армии потоптались бесконечными телерепортажами, журнальными разворотами и газетными передовицами. Примолкли, лишь когда очередь дошла до них самих, когда стали гибнуть и попадать в заложники, несмотря на лояльность к боевикам. Когда стали взрываться дома в Москве, и никто не давал гарантии, что их собственные семьи не окажутся под руинами.

Желающих ехать на Кавказ поубавилось, и стали искать тех, кто хоть каким-либо образом был связан с армией. Тогда-то его школьные занятия в тире и показались кадровикам Агентства новостей едва ли не службой в спецназе.

Так он оказался в Чечне.

С него запрашивали не просто информацию, а обязательно эксклюзив. Если не получалось сработать в одиночку, требовалось хоть на десять секунд, но раньше собратьев по перу выстрелить информацию на ленту новостей. Если и здесь шло чьё-то опережение, оставался так называемый контрольный выстрел: дать такую аналитику с места события, после которой остальным журналистам там становилось нечего делать.

Однако таких, первых, каталось под ногами у командиров с десяток, при этом каждый доказывал значимость и — шёпотом! — особую приближённость к Кремлю именно их редакции. Офицеры плевали на это надувание щёк, и потому на первый план в добыче информации стали выходить дружеские отношения.

У него наладились связи с начмедом. Не прогадал: пока все толкались у штабных карт и краем уха ловили обрывки радиопереговоров, ему позволительно было отлавливать раненых в медсанбате и получать картинки боёв из первых уст. Взамен он давал начмеду пользоваться редакционным аппаратом с космической связью и не жадничал на командировочных, хотя поехал на войну как раз из-за двойного оклада и повышенных гонораров — хотел всё же достроить дачу на Клязьме. Только всё равно стенографистка, пусть и через спутник, но шепнула: ему ищут замену. Похоже, на Кавказе назревали какие-то события, и на его оперативность не очень-то надеялись. Так что кровь из носу требовалось выдать такой репортаж, чтобы в Москве ахнули и дали хотя бы доработать срок.

В этот момент медик и завернул на своей «санитарке» к их редакционному бытовому домику, нетерпеливо кивнул в кузов: быстро и никаких вопросов.

«Таблетка» понеслась вслед за «бэтром» начальника разведки в сторону гор, и это предвещало как минимум абзац на ленте новостей в 100 рублей штука. А чутьё подсказывало, что союз разведки и медицины может потянуть на сенсацию. Эксклюзив и контрольный выстрел в одном флаконе. Боясь спугнуть удачу, старался думать о второстепенном — как поедет на базар выбирать подарки в Москву, как станет отмываться в Сандунах…

Затормозили резко, и первое, что услышал — зычный приказ начальника разведки:

— Всех посторонних убрать.

Он к посторонним относиться не мог и спрыгнул на землю. Однако разведчик при его виде взревел, изничтожив попутно взглядом начмеда. И было отчего: в бронетранспортёре до поры до времени скрывалась его собственная пассия — корреспондентша с радио.

— Всем оставаться на местах,— уточнил полковник предыдущую команду, сам направляясь с начмедом к группе бойцов, собравшихся у огромного валуна близ дороги.

— Снайпера взяли.

— Не взяли, а растерзали.

— И не снайпера, а бабу.

Охрана уже поймала все слухи и значимо делилась ими меж собой, хоть косвенно, но привязывая себя к событию.

— Под скалой пряталась…
— Ага, домкратом приподнимала валун, потом опускала. Трое суток выслеживали…
— Говорят, «белые колготки»…

Про «белые колготки» — снайперш из Прибалтики — он слышал не раз, но относил эти разговоры к разряду слухов. Во-первых, чеченцы сами неплохо стреляли, во-вторых, женские бытовые неудобства для боевиков были совсем ни к чему, в-третьих, ещё ни разу никто не видел «колготок» — ни живых, ни мёртвых.

— Эстонка.

Имя, затёртое временем, тем более ни в коем разе не обязанное всплывать в памяти именно на войне, вдруг словно считалось с последнего её письма: «Кадри». Из эстонок только она стреляла так, чтобы стать снайпером. Но против своих? Впрочем, чеченцы тоже вроде свои…

Она?

Вернувшийся разведчик ещё раз поскрежетал зубами возле него, потом поманил из «бэтра» фигуристую блондинку. Они скосили друг на друга глаза, одинаково сожалея о присутствии конкурента.

— Значит, так, господа журналисты. Снайперша…

Это ещё ни о чём не говорит!

— Из Эстонии…

Конечно, нет. Просто не может быть, потому что не может быть никогда!

— Вашего возраста…

Ну и что? В Эстонии жило более миллиона человек, а из них половина мужчин, плюс старики, дети…

— Охотились за ней полгода. О её виде просьба ничего не писать, а тем более не фотографировать: ребята патронов не жалели, но их понять можно — на прикладе двадцать одна зарубка. Прошу.

Словно к обеденному столу, пригласил жестом к расступившимся спецназовцам. Сейчас он увидит… Кого? Всё же её? Какой?

— Прошу, — повторил полковник для него лично, потому что «протеже», ломая ножки на каблучках, уже спешила к сенсации.

А он не трогался с места. Боялся увидеть растерзанную, изуродованную пулями Кадри. Судьба не имела права готовить им такую встречу, поэтому там, у валуна, не она. Но даже если есть сотая, тысячная доля такой возможности…

— Вы идёте или нет? — терзал разведчик.

Он не знает. Ноги не идут. Душа противится. Глаза не желают видеть. Сердце не готово знать.

Махнул рукой друг-начмед: иди же!

Сделал несколько шагов. К Кадри, своей Кадри…

Или всё же не к ней?

Остановился.

Да. Лучше не знать. Ему не надо идти туда, где, возможно, расстреляна в упор омоновцами его первая любовь. Девочка, у которой однажды распахнулся халатик. А тем более он не имеет права делать из этого сенсации. И сколько раз в своей репортёрской работе он не обращал на подобное никакого внимания! Гнал строку. Делал «контрольный выстрел». 100 рублей за абзац…

…Я уволил его из агентства в тот же день, перечитав шквал сообщений о прибалтийском снайпере на сайтах наших конкурентов. Мне не нужен был толстый и ленивый корреспондент на острие событий — несмотря на то, что ему надо было что-то там где-то достраивать.

Я не пожелал встречаться с ним по возвращении с войны, потому что отвечал в своём Агентстве за оперативность и достоверность информации и не имел права выслушивать оправдания своих подчинённых.

Однако к вечеру зашёл к нашей лучшей стенографистке, вдруг написавшей заявление об уходе. Путаясь пальцами в кавказской вязаной шали, она попыталась рассказать о девочке Кадри и о том, что Москва лежит под ногами только в молодости и на Останкинской телебашне, а не когда смотрит наши новости, с этой самой телевизионной наркотической иглы распространяемые. И отказалась забирать заявление обратно.

Я ничего не стал менять в предыдущем приказе — просто издал новый. О назначении только что уволенного, самого толстого и неповоротливого репортёра на должность начальника отдела. Морали и права. Именно там дольше всего оставалось вакантное место, на которое я никак не мог найти руководителя: очень боялся ошибиться в чём-то главном, коренном, основополагающем в журналистике…

Вера. Надежда. Война

Их подогнали к лагерю на рассвете, по холодку, упрятав от лишних глаз за палатки. И выстроили не по ранжиру, не по номерам или списочному составу, а скопом, лишь бы вместились на косогоре.

Лишь одна, Любаша, из новеньких, оказалась явно без царя в голове и выбилась из общей массы остренькой грудью, уже залапанной пыльными солдатскими пальцами: я здесь, куда бежать, с кем целоваться?

Нацелуешься. Ох, намилуешься ещё, дурёха…

Гарантию давал Ушастик, идущий к солдатскому гарему с фляжкой в руках. Улыбается батальон: у командира не только обгоревшие на солнце уши, но за ними он постоянно носит и два карандаша, которые нужны ему для работы с картой. Нужны-то нужны, но если смотреть со стороны, то ни дать ни взять — рожки выросли. Майору плевать на приметы, потому что ещё не женат, а значит, не обманут. Да и надо ли обманываться? Вон, батальонные девочки все как на подбор, даже ещё не клятая, не мятая Любаня в ожидании команды только что не пританцовывает на бугорке: вперёд и с песней?

Будет ей и песня!

Глянул из-под выцветших бровей на остальных женщин. За время службы каждую изучил как свои пять пальцев. Пардон, три: мизинец и безымянный на правой руке комбату срезало осколком ещё зимой, остались где-то в горах внутри упавшей варежки. Вот будет загадка для археологов через пару сотен лет, если найдут пропажу!..

Тряхнул головой майор, теряя из-за левого уха один «рожок», вернулся в реальность, к своему

гарему. Проверенные в боях и походах девочки, в отличие от Любы, вперёд батьки в пекло не лезли. Маша отступила за Раю, Надя сиамским близнецом стоит впритирочку с Верой, а Зоя—та вообще откровенно спряталась за молоденького лейтенантика, в первый же день пребывания на войне потерявшего собственный «лифчик». Кто-то сунул ему замену, и взводный под усмешки солдат торопливо пытался застегнуть его до того, как станет в строй. Вот лейтенант точно дурак, похлеще Любани, потому что всеобщий бардак войны—это прекрасная возможность улучшить личное материальное положение, а не терять свою амуницию…

— Офицеры, ко мне.

Солдат шуганул подальше взглядом из-под бровей, и десантура вмиг исчезла за ребристыми, словно от недокорма, боками своих красоток. А уж тем отступать было не за кого. Только и оставалось умолять командира взглядами: знаем, что не оставишь в покое, что обречены и подневольны. Но отпустил хотя бы помыться, очистить от пыли глаза, опустить ножки в водичку, окатить из шланга закопчённые спины. Неужели самому приятно смотреть на чумазых? Вон у связистов девочки—только что бархоткой не протирают…

Связисты, слов нет, молодцы. В отличие от десантников, им кто-то умный при выборе профессии вовремя подсказал, что нормальные люди из нормально летящего самолёта сами не выпрыгивают. Они сидят в капонирах, им любой лоск наводить можно…

И потому не тряпицу-бархотку вытащил из своего «лифчика» Ушастик, а истрёпанную в бахрому топографическую карту с боевой обстановкой. С синими уступами и красными стрелами. С цифрами почасового выхода на рубежи. От одного взгляда на эти художества командира стало ясно даже только что прибывшему в батальон лейтенантику: бой ожидается нешуточный, с неизбежными санитарными и безвозвратными потерями. Господи, пронеси!

Но не пронесёт ведь, потому что цифры и рубежи расположились практически вплотную, на один укол карандашом, оставшимся за правым ухом майора. Один укол на карте—всего-то сто метров на местности. Стометровка для спринтера—16 секунд. Батальону же, обвешанному оружием, способным сметать всё на своем пути, на преодоление дистанции отводится час. Значит, у противника оружие не слабее…

Нарушив тишину, вжикнул наконец замок на «лифчике» лейтенанта. Отметив нервный успех новичка, подмигнул ему первый ротный. Ему можно, ему точные науки побоку, он знаток русского языка. В своё время, ворвавшись при штурме Грозного в дом на окраине города, вывел по фасаду надпись: «Меняю девятиэтажный дом в Грозном на двухкомнатную квартиру во Пскове». А тут хоть особняк в центре Москвы меняй на окопчик средь горного склона. Разница лишь в том, что особняка нет, а склон—вот он, уже под ногами. А боевой приказ в руках у комбата. Нету пути назад…

И хотя были офицеры почти все в орденах и медалях, за подмогой всё же оглянулись на неровную шеренгу девочек. Выставленные словно напоказ, без солдатского хоровода вокруг себя, те вдруг сделались беззащитными и жалкими. И даже Любашка, этот несмышлёныш, глупыш, лисёныш, уже не рада была, что вылезла вперёд, приняла на себя все мужские взоры. А из одежонки-то—лишь бархатная пыль. И целоваться уже явно не хочется. И комбат недовольно поджимает губы: угораздило же ей иметь такое же имя, как и у его невесты. Сравнивай теперь, думай невольно, как оградить, спасти…

Крякнул Ушастик, потеребил ухо оставшимся карандашом. Сколько раз его батальон под женской защитой ходил в атаки! Если уж быть откровенным, это их заслуга, что десантники сейчас стоят пусть и через одного отмеченные пулями, но—живые. Именно за девушками, как за щитом, врывались его бойцы в бандитские лагеря, форсировали реки и штурмовали высоты. Конечно, взрывались, горели, калечились батальонные Тани, Светы, Вали, Кати, именно в них впивались в первую очередь разрывные пули. Но когда уже виделась врагу победа, вставала вдруг стеной из-за любимых женщин десантура, кроваво хрипела «Ура» и водружала свои знамёна на горных вершинах. А девочек… покалеченных девочек списывали в утиль. Ничего не попишешь—война. Просто ждали, когда пригонят новых,—благо, хватало пока у России этого пушечного мяса…

Воткнул комбат карандаш в центральный синий выступ, поднял взгляд на первого ротного. Тот склонился к самой карте, словно пытался рассмотреть на ней окопы, доты, минные поля. Хотя ясно, что всё это узнается лишь на месте, на собственной шкуре. А Ушастик всё тыкал в новые и новые места, и офицеры, повторяя движение первого ротного, склонялись над клочком-оборвышем с коричневыми и зелёными разводами. И лишь когда затупилось остриё грифеля, когда перенеслась по кусочкам общая картинка боя на ротные и взводные карты, когда, встав на цыпочки, заглянуло через стриженые затылки офицеров на секретную схему солнце, сложил гармошкой карту комбат. Стал пить воду из фляжки. И вновь расстегнулся «лифчик» у лейтенантика, которому выпадало быть в резерве. Худшее из возможного. В резерве можно и отсидеться, но резервом затыкают и бреши, бросая в самое пекло…

Не дал застегнуться лейтенанту второй раз грозный рык Ушастика:

— И бабьё убрать с боевых машин! Завели моду!

Ушёл, выливая из фляжки остатки воды себе на голову, растирая капли под бронежилетом—немело зажатое стальными пластинками сердце, просило воли. Хотя должно уже было знать, что в одиночку, без «бронника», гулять ему по войне опасно…

— А может, как-то обойдётся?

Солдатики, вернувшиеся из укрытий к пыльным, чумазым красавицам, попытались взять в союзники взводных офицеров и уже вместе с ними воспротивиться указанию комбата. Они не видели карт и надеялись, что всё обойдётся: мало ли бегали на эти войнушки, иногда весь день только тем

и занимались, что игрались с боевиками в детское «сопка наша—сопка ваша». Авось не отвернётся удача и сейчас, и не надо будет расставаться с любимыми именами. Ведь сильнее всего женщин любят, когда их нет рядом. А война—идеальное место для любви…

—Мы их масксетью прикроем…

Но не предали комбата, опрокинули навзничь солдатские уловки офицеры, словно сами никогда никого не любили:

—Выполнять приказ!

Не любили!

И, выкраивая время между загрузкой боеприпасов, укладкой дополнительных магазинов в «лифчики»—пусть простят женщины, но разгрузочные жилеты с множеством карманов для всякой мелкой ерунды, нужной в бою, с времён Афгана в армии называют «лифчиками»,—готовясь к бою, тёрли осколками кирпича свои острогрудые боевые машины солдаты. «Убирали бабьё», распускали «гарем»—стирали с брони женские имена, некогда любовно выведенные на башнях и, словно иконки, украшенные цветастыми окладами. Крошился красный кирпич, перетирая белую краску на зелёной броне. Исчезали Раи, Веры, Нади,—кто жена, кто невеста, кто просто обещал отвечать на письма.

Дольше всех сопротивлялась Люба, Любовь—её надпись не успела ни выгореть, ни заветриться, потому что только вчера её самолично вывел на новенькой броне жадный до первого своего боя лейтенантик. Но кирпич, взятый с развалин местной школы, знал своё дело, и обереги, символы, образы, имена всё же постепенно уменьшались, исчезали с брони. Так художники ластиком стирают ненужные детали в своих набросках. Только разве могли они быть лишними—те, кто любил и кого любили, кто истово ждал и к кому всей душой стремились?!

Но в глубине души всё же соглашались со своим комбатом солдаты: а ведь и впрямь нельзя подставлять под гранатомёты, мины, разрывные и трассирующие—вообще никакие—пули женские имена. Сами—ладно, уж как-нибудь, как повезёт, с Божьей помощью и родным АКМС, который «автомат Калашникова модернизированный складывающийся».

…И вёл на закате в атаку на горный укрепрайон свои острогрудые, ребристые боевые машины теперь уже с Петями, Колями, Иванами, с русскими парнями Герой России, майор с обгоревшими ушами и со срезанным безымянным пальцем, на который теперь уже никогда не наденется обручальное кольцо. Плясали под огнём «Вера» и «Надежда», прикрывая друг дружку. Вертелась на одном месте с перебитой гусеницей «Зоя», не прекращая огня. Отстреливалась до последнего, даже не ведая набитым железом, боеприпасами и электроникой нутром, что её имя означает «жизнь». Казалось, стёрли солдаты имена любимых, попытавшись оградить их от беды. Но незримо, явью проступали они над полем боя, над булавочным уколом, вместившим в себя выжженную огнём стометровку, которую возвращали солдаты для России…

И держали, берегли до последнего в батальонном резерве БМД с бортовым номером 18. То ли просто потому, что спасал комбат молоденькую, «восемнадцатилетнюю», неопытную, только что прибывшую на войну «Любовь», то ли всё же думал тайно о своей невесте, то ли впрямь по судьбе именно этому имени выпадало закрывать собой брешь в атаке.

Дела земные

В Город мёртвых не решались заходить даже десантники, все из себя сплошь легендарные и невозможные. Им хватило одного раза, когда захотели посмотреть, что творится внутри каменных построек без окон и дверей, расположенных вдоль ущелья. Не без азарта пробили стену, но первый же любопытный едва не пал замертво от страха: из проёма на него смотрели обвитые паутиной мумии женщины с ребёнком на руках.

Откуда было знать, что сюда веками свозили людей, поражённых неизвестными болезнями. Помещали несчастных в склепы, оставляя лишь окошко для передачи пищи. Когда еду переставали забирать, отверстие замуровывали. Это был единственный для горцев способ спастись от чумы и мора.

Штаб оперативной группировки, не ведая о Городе, дал указание десантной разведроте стать лагерем именно в этой точке. Не сослепу, конечно, и не ткнув пальцем в небо, а из военной необходимости: сюда сходилось слишком много горных троп. А солдату что? Где положил вещмешок, там и дом.

Десантники тоже так думали, пока не заглянули в странный Город. После этого насколько возможно было отодвинуть соседство, настолько и пятились вглубь ущелья, где засели боевики. Хоть и ближе в пасть к зверю, но зато живому.

Со временем каменные пирамиды стали привычными: Город хранил покой своих обитателей, а в палаточном лагере жизнью правил и распоряжался старший лейтенант Ярыш, не верящий ни в чёрта, ни в Бога, а только в автомат и своих разведчиков. Даже подтрунивал над ними, находя в палатках иконки: у нас, братцы, дела хоть и суетные, но земные. Так что, пока на войне, смотрите под ноги, а не в небо.

Кроме веры в оружие, старший лейтенант имел ещё хронический гастрит, невесту в Пскове, восемьдесят одного человека в подчинении, два ордена, три выговора и последнее, сто пятое китайское предупреждение о том, что вылетит из армии пулей, если будет и дальше самовольничать при выполнении боевых приказов.

Последнее в конце концов его и сгубило.

Москва на связь с лагерем вышла в полдень.

—Сергей, тебя.

Ярыш с усилием приоткрыл один глаз. Второй оставил досыпать в надежде, что побудка не окажется важной.

Над нарами стоял с прижатой к груди телефонной трубкой командир огнемётного взвода Шаменин:

— Москва на проводе.

Слово «Москва» хотя и заставило Ярыша открыть второй глаз, но для того чтобы подняться, столицы, видимо, оказалось всё равно недостаточно.

— Из Госдумы,— оправдал огнемётчик свою наглость будить командира. Но и подчистил пути отступления:— По крайней мере, так представились.

Ярыш взял аппарат:

— Я — «Барсук»-лично, слушаю.

Слушал долго, почёсывая небритую щёку. Двое суток перед этим он ползал с разведчиками по горам, и никто бы его, конечно, не осмелился тревожить, не будь таким высоким статус абонента.

Выслушав сообщение, Ярыш вернул трубку лейтенанту. Снова лёг, отвернувшись к стене и натянув простыню — скорее от мух, чем для тепла.

— Всё равно не спишь. Чего там?— постучал ногой по нарам Шаменин.

Ярыш повернулся на спину, с тоской посмотрел на когда-то белую подкладку палатки.

— Тебе фамилия такая — Махонько — что-нибудь говорит?

— Махонько? Такой у нас не служил.

— И не будет. Но если на его голову упадёт хотя бы пушинка, с меня, видите ли, снимут погоны…

Ярыш встал, прошлёпал босыми ногами по пыльному настилу в дальний угол жилища. Там приподнял одну из досок, за верёвочку вытащил из вырытого подполья закопчённый чайник. Приложился к носику, изогнутому игривой девицей.

— А подробнее?— дождавшись, когда чайник вновь опустится в прохладу, попросил огнемётчик.

— Сейчас узнаем из штаба группировки,— вернулся на своё лежбище Ярыш.

Носками вытер ступни ног, но одеться-обуться не успел: надрываясь, зашёлся в непрерывном звоне телефон.

— Я — «Барсук»-лично, слушаю вас… Так точно, звонили… Товарищ полковник, я на боевые вести людей не готов. А потому что не готова сама операция… Да, и там стреляют…

Здесь Ярыш надолго замолчал, явно выслушивая угрозы. Но последнее слово оставил за собой:

— Я людей под пули не поведу.

Решение вряд ли понравилось начальству, его о чём-то предупредили, и ротный огрызнулся:

— Ну и увольняйте.

Бросил трубку.

Огнемётчик сжался: будучи всего лишь лейтенантом, пусть и старшим, но перечить начальнику разведки… Как ему давали ордена?

Ярыш начал рыться в тумбочке в поисках чистой, а главное, одинаковой пары носков. Однако они оказались протёртыми на ступнях, и он вернул на прежнюю должность старые.

— Да объясни ты толком,— простонал властитель огня.

— Скоро выборы.

— А мы-то здесь причём?

— Мы ни при чём, а вот рейтинги политиков… Господам вновь надо доказывать свою незаменимость. А некоторые даже захотели закрыть Родину грудью. И сходить в бой.

— А почему с нами?— начало доходить до Шаменина.

— А у нас нет потерь! Живыми-то хотят остаться!

Стремительно вышел из палатки.

Лагерь был пуст. Лишь на линии боевого охранения — там, где за бочками, набитыми камнями, стояли гаубицы и «бээмдэшки», где ломаной линией траншей пролёг пояс защиты десантников,— время от времени колыхались в мареве каски часовых. Тишина и покой. Полное умиротворение. Если не знать, что через две ночи боевики потащат через ущелье караван с оружием. Это если их ничто не спугнёт. А спугнуть не должно. Поэтому надо сидеть и ждать, сидеть и ждать. Тихенько. Несмотря на выборы и рейтинги…

— И что делать будем?— стоял за спиной огнемётчик.

— Бриться,— потрогал щетину комроты.

Направился к артиллерийской гильзе, приспособленной под рукомойник, подбросил вверх гвоздь, служащий соском. Долго тёр шею,— её-то, собственно, и намылили. Зато вода, видимо, охладила пыл, и Ярыш дрогнул перед последствиями за свою дерзость. И вдогонку первому ответу обречённо добавил:

— Готовить роту к бою.

— А…

— Бэ. Взводных ко мне.

Упаковывал московского гостя в солдатскую амуницию Ярыш самолично. В конце, словно хомут в конской сбруе, с усилием затянул бронежилет на круглом животе политика.

— Но… там всё нормально, всё продумано?— вроде мимоходом, но пожелал лишний раз удостовериться в подготовленности операции Махонько.

— Вы видели донесения. Идут связники.

— Но точно сегодня?

— Моя разведка гарантирует с точностью Гидрометцентра.

Гость насторожился: это тупой армейский юмор или легкомысленность? Отыскал в закромах памяти байку:

— А во Франции местному Бюро погоды писатели присудили литературную премию за самые фантастические сюжеты.

— Наша погода — на два часа вперёд. Потому без промаха. Примерьте-ка,— старший лейтенант подал каску.

— А гранаты будут?— поняв, что отступления не планируется, поинтересовался Махонько. И не преминул щегольнуть знанием тайны, которую бойцы вслух перед боем вообще-то никогда не произносят:— На самоподрыв, ежели что…

Наверное, ему было приятно щекотать себе нервы, зная, какие указания по его безопасности ушли из Москвы. Ведь не дурак же командир терять пусть даже и маленькие, но звёздочки. Сто раз должен подумать, прежде чем брать на операцию…

Ярыш вместо гранат распихал по карманам гостя перевязочные пакеты, сигнальные ракеты.

— Связники в силу своей значимости отстреливаются до последнего, так что документы, ценные вещи сдайте связисту.

И тут наконец Махонько дрогнул. По прилёте он ничем не выказал своего беспокойства, кроме излишнего вороха анекдотов и баек про светскую жизнь. А направляясь перекорнуть пару часов в палатку связистов, даже доверительно склонился к сидевшему над картой ротному:
— Тут небольшая просьба. По возможности. Раз уж оружия не даёте. Если вдруг будут раненые… С вашего позволения, так сказать… Вы уж дайте мне с ними сфотографироваться. Не мне нужно — для буклетов там, листовок. Эффект, так сказать, личного депутатского присутствия… Кто-то в Москве, конечно, сидит, а я вот к вам, к настоящим мужикам…

Надо отдать должное — сам застыдился своей просьбы и уткнулся в фотоаппарат. И во благо, потому что огнемётчик навалился на Ярыша и не дал тому встать и грохнуть табуретом об пол.

Сейчас, экипируя гостя и уловив его замешательство перед сдачей документов, ротный наконец испытал удовлетворение. Было бы, конечно, совсем здорово, если бы Махонько откровенно струсил и вообще отказался лететь. Пусть бы даже просто намекнул об этом — нашлась бы уважительная причина это сделать. Что вертолёт, например, перегружен. Или разведданные не подтвердились. Но москвич, хотя и заколебал барабанной дробью пальцами по «броннику», отказываться не стал. Видать, деньги в Госдуме платят такие, что один раз можно и перетрусить…

В вертолёте посадил гостя с краю, сам сел рядом, отсекая от солдат с их усмешками. Машина закачалась, набирая полную грудь воздуха, приподнялась и, набычившись, пошла вдоль ущелья. Свет в салоне и кабине погасили, и лишь лампочки подсветок еле теплились зеленоватыми, жёлтыми и красными огоньками. Махонько, вцепившись в металлическое сиденье, неотрывно смотрел на них, страшась уловить в их мерцании угрозу полёту.

Летели около пятнадцати минут, после которых старший лейтенант кивнул вертолётчику: сажай, хватит жечь керосин.

А потом был стремительный бросок через горушку — и бой на зловещем фоне Мёртвого лунного города. С морем огня в темноте. «Ромашка» — портативная рация на груди у комроты — не умолкала, но когда Махонько попытался записать эфир на диктофон, Ярыш отбил его ударом по руке — донесения секретные, лучше от греха подальше.

Зато когда неподалёку раздались гранатные разрывы, эта же рука, только что ударившая, и пригнула к земле гостя. Ярыш спасал то ли его, то ли свои погоны — тем не менее, этот жест Махонько благодарно отметил, даже уткнувшись носом в горную крошку.

Когда позволили поднять голову, перед ним и ротным стояли связанные два боевика в потрёпанной одежде. Всё же получилось. Взяли!
— Уходим! — прокричал в «Ромашку» Ярыш.

Засвистели, торопясь набрать подъёмную мощь, вертолёты. Пленных, толкая автоматами в спину, погнали к ним первыми, следом, прикрывая собой добычу, попятились разведчики. Одного из боевиков уложили на пол «вертушки» практически под ноги Махонько, и тот не упустил возможность незаметно попинать его ботинком в бок: из-за тебя, сволочь, рисковали жизнью. Теперь бы только долететь обратно, только вернуться. И сразу на Москву. Успеть увидеть зависть в глазах коллег…

Улетал Махонько этими же «вертушками». Они терпеливо ждали, пока гость нафотографируется со всеми, сдаст амуницию и пересмотрит документы. Потом он ещё какое-то время ходил среди солдат, толкался, давал всем закурить, подмигивал: мы это сделали! Ярыш, ожидая отлёта, покуривал в сторонке и тоже легко улыбался. Он свою задачу выполнил: и волки сыты, и овцы целы.

Обняв всех, кого надо и не надо, Махонько припал грудью даже к вертолётчику, с которым предстояло лететь обратно.
— Будешь в Москве — обязательно ко мне, мы это дело отметим по-столичному, — посчитав бой лучшей проверкой братства и потому перейдя на «ты», последним подошёл к Ярышу. — Возьми, — протянул визитку.

Ротный взял бумажку, одновременно кивнул лётчику: увози быстрее. Нет проблем — улыбнулся тот и одним щелчком тумблера заставил вращаться лопасти. Вихрь от них выхватил у Ярыша листок, швырнул в сторону, в водоворот пыли и ветра.
— Куда уехал цирк, он был ещё вчера, — пропел за спиной огнемётчик.

Лейтенант развязывал боевиков, и ротный подошёл к ним, приобнял, извиняясь за пинки и зуботычины. Контрактники, игравшие роль связников, незлобиво отмахнулись: ради маскарада стоило и потерпеть. Ярыш оглядел всех участников шутовского боя:
— Всем забыть, что здесь было на самом деле. Командирам взводов — привести оружие к нормальному бою.

Разведчики, подхихикивая, выстроились в шеренгу. Начали откручивать со стволов компенсаторы для стрельбы холостыми патронами и представлять офицерам оружие к осмотру. Так воевать можно…
— Товарищ старший лейтенант, вас из штаба группировки, — подбежал связист, приглашая командира к рации.

Ярыш со спокойной душой направился к палатке.
— Да, вылетели, — сев на нары и стаскивая с ног ботинки, ответил на главный вопрос начальника разведки. — Нет-нет, можете передать, что вёл себя геройски. Даже в атаку ходил. Конечно, в бронежилете и каске — как без страховки? Он фоток наделал, там сами всё увидите, — подмигнул вошедшему огнемётчику — всё прокатило. Однако тут же привстал, оступился о полуснятый ботинок и повалился обратно на нары. — Нет, я не буду… Всё равно… Не могу…
— Лейтенант! — заорали в трубку так, что Ярыш отстранил её от уха. И голос начальника разведки стал слышен и огнемётчику: — Я тебе приказываю:

за проявленное мужество и героизм представить Махонько к ордену Мужества.

— Пишите сами,— бескровными губами прошептал Ярыш, но его услышали.

— Что-о? Я напишу! Но завтра… завтра ты сдашь роту новому командиру. А сам в ремонтные мастерские. Глотать соляру. Командиром взвода.

— Есть…— выдавил старший лейтенант. У него оставался шанс уточнить — «…писать представление». Но Ярыш сглотнул ком: — Есть сдать роту.

Бросил трубку. Потрогал щёку — зря брился, знал же, что не к добру перед боем прихорашиваться. Только бой-то затевался игрушечный…

Почувствовав, что стоит на полуснятом ботинке, дёрнул ногой так, что обувка улетела в угол.

— Так ты и сам сказал, что он действовал геройски,— попытался перевести всё в шутку Шаменин, но осёкся под тяжёлым взглядом командира.

— Да если бы наших солдат так награждали, они бы у нас ордена уже на спине носили,— усмехнулся Ярыш.

— Но там же выборы…

— У нас здесь у каждого тоже свой выбор.

Босым вышел из палатки. Пока ещё его разведчики, весёлые и довольные ночной прогулкой, забросив на плечи пулемёты, словно косы, шли от вертолётной площадки к палаткам, похожим на стожки сена. Настоящая косьба начнётся для них в другое время и в другом месте. Коси, коса, пока роса. Роса долой — коса домой…

Круговыми движениями по часовой стрелке, как учили не имеющие достаточных лекарств батальонные медики, провёл по груди и животу, успокаивая резь от разыгравшегося гастрита. Может, и впрямь он появляется не от пищи, а от нервов? Зато теперь можно и в госпиталь лечь — из ремроты можно отлучаться, там спокойно…

Со стороны Мёртвого города начинал заниматься рассвет. Солнце по закону востока всегда вставало над каменными склепами, но сейчас это почему-то показалось старшему лейтенанту плохим предзнаменованием. Беря на себя грех за потревоженный покой обитателей Города, шёпотом попросил прощения у каменных изваяний:

— Ради живых…

И впервые за службу — может, потому что босой и без оружия сам был абсолютно беззащитен,— пронзительно почувствовал страх за своих подчинённых. Сейчас, ещё все живые, они шли к своим постелям, к своим прерванным снам, к своим иконкам. Кто поведёт их в бой завтра? Все ли вернутся?

Поднял взгляд в просветлённое небо. Не зная молитв и не привычный креститься, он просто попросил у него удачи своим разведчикам. Признавая, что дела земные вершатся под ним, под небом.

Помяни, Господи…

Священник крестил красные звёзды.

Они были одинаковыми, под трафарет вырезанными, как одинаковыми оказались и серебристые пирамидки, названные в сельской кустарной мастерской памятниками. И таблички, без разбору приваренные местным сварщиком дядей Сашей, тоже были для всех одни и те же: «Неизвестный солдат».

Хоронили погибших.

Не из ржавых ржевских болот или бескрайних брянских буреломов предавались земле останки ратников-бойцов-воинов образца 1941–45 гг. С круч крутых кавказских вывезены воины-солдатики-мальчишки, но уже рождения конца XX века. И не найденные следопытами, а отданные для захоронения медиками и прокуратурой. Без имён и фамилий. Безымянными. А потому — вроде как бы ничьими…

А всего-то и нужна была самая малость, чтобы миновала их подобная участь — останься от человека хоть какая-то зацепка. Например, котелок с нацарапанной ножом фамилией. А лучше — медальон с биографическими данными. На худой конец — жетон с личным номером.

Да только уходившие первыми в Чечню полки и бригады менее всего думали о котелках и кашах: в спешке побросали в рюкзаки вперемешку с пачками патронов и гранатами сухпайки, а в них сплошь — одноразовая пластмассовая посуда. Она первой и плавилась. Впрочем, в том аду, что испытали вошедшие в Грозный войска, плавились и котелки: находили потом алюминиевые расплавленные сгустки. Тут царапай не царапай, всё равно ничего не выгадали бы солдатики.

И с медальонами полная промашка вышла: полвека после Великой Отечественной тыловики занимались всем, чем угодно, только не возможностью сохранить имя солдата. Так и не придумали для идущих на войну медальоны. Считали — мелочь. Или ленились. А скорее всего, просто не верили, что понадобятся.

Жетоны же с личными номерами рядовому и сержантскому составу вообще не положены. Только офицерам и контрактникам. Потому, как ни крути, послали армию в Чечню не штучным товаром, а простой солдатской массой.

Так и гибли — массой…

А ещё научились, говорят, определять родство по ДНК и анализу крови. Всё бы хорошо, да только у некоторых погибших даже кровь выгорала. Дотла, оставляя от человека лишь горсточку пепла. Поди узнай по ней, кто ты, солдат? Чей? Какого роду-племени, полка-дивизии?.. Словно насмехаясь, война отбросила всех в каменный век, оказавшись выше человеческой цивилизации и её достижений, выше лабораторий с их электронной начинкой, химических препаратов и компьютерных баз данных. Родные и известные до последней черточки сотням людей, любимые и желанные, солдаты в первую чеченскую кампанию умирали неизвестными…

И лежали потом нераспознанными останками в ледяных рефрижераторах Ростовской военной лаборатории. Под номерами. Долго лежали. Годами. Получилось — до скончания века. Двадцатого. Их, в большинстве своём тоже двадцатилетних, могли, готовы были забрать матери, не дождавшиеся своих сыновей после войны — но не выдавали. Не положено известным отдавать неизвестных.

Так и хоронили. За счёт государства—и подешевле. Геройски погибших—но подальше от телекамер, политиков, любопытных и туристов. На окраине Москвы, на бывшем сельском кладбище. Хорошо, что хоть название оказалось утешительным—Богородское…

— Храни вас Господь,—крестил звёзды, людей, небо с кружащим в вышине аистом, свежие могилы местный священник.

Автобусы Министерства обороны привезли седых, не по возрасту старdays, словно умерших вместе с пропавшими сыновьями, родителей. Тех, кто не нашёл своих детей ни среди живых, ни среди мёртвых, ни в списках пленных, ни в холодных ростовских камерах. А «пропавшие без вести»—они могут быть и среди любого «неизвестного солдата». Верьте, что своего. Надейтесь, что где-то здесь…

Отцы ещё держались. Многие служили сами и знали: солдата на войну посылают не командиры—политики. Командиров тоже посылают умирать, и среди этих, неизвестных, они тоже наверняка лежат. Несмотря на выданные жетоны. А история, хотя и недолгая, но уже подтвердила: погибали русские парни на Кавказе не зря. Зачастую глупо—но не зря. Потому что вроде остановили заразу, поползшую по стране. Перестали бояться вестей с юга…

И только матери, небесные русские женщины, бросались от ямы к яме. Где мой? В которой? Где упасть? Где замереть-остаться? Какой холмик становится родным—вместо сына? Успеть, успеть оказаться рядом в самый последний его миг на земле. Фуражечки новые прибиты к красным крышкам, а на последних снимочках они в шапках стояли. Зима была… Здесь? А вдруг здесь? Среди всех неизвестных—какой её? Ну подскажите же кто-нибудь!!!

Падали, обессиленные, там, где подгибались ноги. А может, как раз у своего? Или всё же там, через одного? Через два? Они доползут, только скажите…

— Скажите!—вставали щупленькие, крохотные на краю могил женщины и вдруг находили в себе силы поднять за грудки офицеров салютного парадного полка—сплошь подобранных под два метра гренадёров.

Но плакали те вместе с матерями, проклиная свою миссию. Обмирали рядом и сельские старушки, подошедшие из соседних деревень помянуть и своих мужей, женихов из Великой Отечественной, тоже лежащих где-то под такой же табличкой.

— Помяни, Господи, здесь лежащих,—продолжал ходить священник вдоль новеньких, выровненных, словно солдатики в строю, могил: на Руси они никогда не переводились—воины и священники. Читал громко, нараспев, словно с высоким небом разговаривал.—Помяни и тех, кого мы не помянули из-за множества имён. Или кого забыли. Или чьи подвиги не знаем. Но Ты, Господи, знаешь всех защитников России и помяни каждого. И вознеси их в селение праведных.

Гремел салют—в память.

Шла молитва—за упокой.

И кружил в небе аист. Высоко—там, где теперь парили и успокоенные наконец-то солдатские души. Которым не нужны уже были ни бирки, ни метки, ни нацарапанные ножом имена…

— Аминь!

ДиН стихи

Евгения Коробкова

В воздухе старинном

Дождь, как старая пластинка,
Так шипит, что слов не слышно.
Липнут листья на ботинки,
На афишах мокнет Пьеха.
Люди прыгают неловко
Через лужи, как по крышам.
Я стою на остановке,
Жду трамвай до Теплотеха.
Этот день ещё не прожит.
Воду пьют из луж окурки.
Что случится мигом позже—
Правда—я совсем не знаю.
Я прошу, хоть слов не слышно:
«Здесь, внизу я, в белой куртке,
Разреши не знать о лишнем,
Дай мне просто ждать трамвая!»

Проданный дом

Кошка сегодня не будет пить молоко.
Проданный дом—звучит, как преданный дом.
С яблонями в саду, с песней про Сулико.
Преданный дом—он будет сниться потом.
Дедушка острым ножом срежет с ветвей гамак,
Бабушка скажет: «оставь новым хозяевам.
Будет в квартире место среди бумаг—
Мы на базаре купим тебе диван».
И закачаются ветки, как колыбель.
Дед запоёт без звука и по слогам.
Кислые яблоки стаею голубей.
Падают с дерева к дедушкиным ногам.

Наиль Ишмухаметов

Да выдержат плечи

Плоскорезы альбатросов пашут толщу лазурита,
Выкорчёвывая корни летней перистой слюны,
Точит капельница солнца парапеты лазарета,
Рвутся паюсные мысли, бритвой сна оскоплены.

По бесплодной голограмме целят стрелы арбалетов,
Вислобрюхие амуры щерят пухленькие рты,
Взгляд за оптикой прицела беспощадно фиолетов,
В тетиве бескомпромиссность горизонтовой черты.

Стрел цианистые тени разлетятся против ветра
Мимо тела, мимо сердца, к трёхкопеечной душе…
Осень… Скоро грянет осень, станет ночь мудрее утра,
Жёлтый лист коснётся лужи мягким бархатным туше.

Буду в капусте ли, в клюве — как все, тривиален,
Буду как солнце, как чёрный в подпалинах чёлн,
Чуждый заплаканным чарам под чёрной вуалью,
Выпитым морем просолен, смолой прокопчён.

Городом буду пустым, словно сорное слово,
Весью, бессмысленно топчущей бисера взвесь,
Буду орехом с начинкой — Эзоповым пловом,
Горьким, как всякая, впрочем, прискорбная весть.

В клинче сойдутся козлищи и нищие овцы,
Некому будет разнять, разорвать, отделить…
Будет и скучно, и грустно с тобою бороться,
Жми на delete, пустоглазая, жми на delete.

вот она, жизнь, малышок-голышок, посмотри —
свет — за спиной
впереди только память о нём
в поисках неба ты будешь пластаться внутри
душных тоннелей, что кончатся вечным огнём

вот она, жизнь, — родниковым кристальным враньём
полнит хрусталь и пластмассу и в пригоршни льёт
пей, по-другому нельзя — заклюёт вороньё
пей, только в душу не лей золотое гнильё

сердце моё — магадан колыма оймякон
зыбкие мысли — кромешный солёный эльтон
шило — душа
отражение — дверь на балкон
тело моё — отсыревший тяжёлый картон
дело моё — карандаш белоснежный листок
жизнь — долгота широта суета маета
быстрая смерть — беспощадный по пятницам ток
памятник мне — глаукомный зрачок маяка

Посол суверенного рая,
Пророк в суеверном аду,
О чём ты щебечешь, сгорая
В чужбинном геенском саду?

В какие оглохшие уши
Вливаешь, как в прорву, нектар?
Горохом стены́ не разрушишь,
Совочком не вспашешь гектар.

Божественной жертвенной трели
Нельзя ни купить, ни украсть —
Молчанья златым ожерельем
Болтливое горло украсть!

И будем безмолвьем богаты,
Беременны всклень тишиной…
Стихов наведённые гати
Не выдюжат ноши иной,
Чем ржавая дудочка Божья.

Не знаю другого пути —
Асфальтовым ложнодорожьем
К себе никогда не прийти.

Ты катись, антоновка Луны,
По тарелке с млечною каёмкой,
Покажи изнанку тишины,
Дай услышать и запомнить ёмкий
Стих, в котором белый звёздный шум
Бьётся в кровь с чернильным пустословьем.
Торопись, пока ещё дышу,
Поспешай, пока за изголовьем
Не поднялся Чёрный человек
И не поднял тяжеленных век,
Чтоб с ухмылкой просипеть: «Издохх!
Забирай готовенького, Бохх!»

Всё зудит цикада смысла жизни,
Смысла смерти всё свербит сверчок…
На судьбу взглянуть без укоризны,
Лобызнуть осаленный шесток.

Льёт тоску над ледяным покоем
Лысый одуванчик фонаря.
Жизнь моя — ну что же ты такое?
Где ты бродишь, смерть моя, зазря?

Радости — по ложечке столовой,
А печали — вёдра да бадьи.
В бабочке раздавленного слова
Жизнь и смерть навыворот мои.

жернова

это когда над тобой под тобой заскрипят жернова
и загложет подошвы тоска по не пройденным лужам
открываются истины главной простые слова
ты никому
кроме глины всеядной
не нужен

только она по тебе будет сохнуть
когда без тебя
только она поцелует взасос в обрамлении красных гвоздик
синие губы твои и в себя погребя
небу покажет злорадно гранитный язык

Где-то там, за черешневой радужкой глаз,
Вызревает диктат азиатских кровей,
Из булатных желёз вырывается глас,
Рассекающий надвое колос бровей.

Типографским клише пустоты—темнотой—
Проштампованы орды воинственных лиц…
Бредит степью акын, пьёт полынный настой
В пику триумвирату верижных столиц.

За лесистым бугром, за облезлым плетнём,
За кровавой войной созревает страна—
Зуб за зуб, глаз за глаз, боль за боль день за днём—
Созревает страна, непонятна, странна.

На ажурных подвязках её фонарей—
Обгорелые коды заоблачных мечт…
Бередят синеву аппликаторы рей…
И над венчиком розог—полуночный меч…

Для неё для одной ловим жемчуг со дна,
Для неё мы сбиваем алмазы с небес…
Созревает страна, ни к чему не годна…
С нею Бог, с нею чёрт, с нею ангел и бес.

мы живём на запястьях не чуя оков
под собою земли
над собою небес
присягаем на верность стране дураков
целину поднимаем до поля чудес

мы тетешкаем пешек—
гуль-гули
торк-торк
обращаем в ферзи—
голосуй
выбирай
всё равно приведут все дороженьки в морг
здесь и Рим
здесь и Крым
здесь и Сочи
и Рай

пусть натужно живём
кто-то должен тужить
кто-то должен тут жить
хлеб тяжёлый жевать
по ночам сотрясать вековую кровать
. . . .
свет включённый не нами—не нам и тушить

человек

1.

человек построил дом
садик с каменным прудом
в новый дом привёл жену
разъединственну-одну
вбил подкову над крыльцом
двум детишкам стал отцом
глаз остёр рука тверда
думал будет так всегда
думал день он думал ночь
подрастали сын и дочь
как дыра в носке носка
обнаружилась тоска

человек построил плот
думал к морю уплывёт
в море рыбка золота
не поймаешь без плота
в море волны солоны
словно слёзы у жены
ловит рыбку на крючок
рыбачок-не-дурачок
на наживку клюнул рак
цапнуть палец не дурак
жгут безрыбия морски
метастазами тоски

убивается жена
разъединственна-одна
от неё не отстают
дети дружно слёзы льют
плачут вишни во саду
плачут камни во пруду

по-над всею красотой
глубиной и высотой
по-над каменной плитой
паюс рыбки золотой

2.

человек открыл окно
было страшно и темно
человек взлететь хотел
над рекой спешащих тел

думал человек-Икар
остановится река
помолясь ушёл в пике
праправнук Сююмбике

речка, охнув: «Во даёт!!!»—
знай текла себе вперёд

3.

точка точка запятая
в кухне рожа пропитая
ручка стопка огуречик
сочиняет человечек

час два три четыре пять
вот и рассвело опять
горе ты моё порей
ведь убьёт тебя хорей

когда будущего на одну бессонную ночь
и уже ни плач твой
ни палач твой
ни врач твой
ни вой твой не сумеют помочь
остаётся вить из себя
сучить для себя
и самому намыливать итоги
и гадать на кофейной гуще допиваемой темноты
кто же вышибет поутру табуретку — дьяволы или боги
которых вполглаза боялся
или в которых в полсердца верил ты

тянут-потянут синицу за хвост из сини,
клин журавлиный всадили в калёную клетку.
— больно в неволе, погано в неволе? — спросили.
— будет ещё нестерпимей, — сказали, — к лету.
будут птенцы, не познавшие силу крыльев,
дружно у них отрастут вместо лап копыта,
вместо изящного клюва — свиное рыло.
вот она — главная, самая главная пытка!

загляну в глаза Казани на заре
в них и Рим
и Тадж-Махал
и Назарет
Междуречье
стоязыкий Вавилон
а над ними
Гжели русской небосклон

поутру в глаза Казани загляну
я у этих глаз в пожизненном плену

Глобус — круглый, город — плоский,
Каждый первый — одинок,
Режут воздух на полоски
Ножницы спешащих ног.

В складках любопытной кожи
Память лёгкого курка.
Жив ли, помер — всюду то же:
Вечный праздник — День сурка.

Прокуратор распинает,
Грудь служивая в крестах…
Всяк охотник твёрдо знает,
Что фазан сидит в кустах.

Боль фантомная тревожит
Плечи каждого креста.
Жить нельзя казнить…
О Боже!
Пли!
Курок мой, запята…

silentium

Не сделать ни шага навстречу,
Скулить на заточку Луны,
Фаланги отрубленной речи
Подбросить мышам тишины,

Молиться Евтерпиной тени
По-рыбьи, по-птичьи всю ночь,
Бежать неизбежности терний,
Когда примириться невмочь.

Ни шага, ни звука, ни вдоха —
Прикинуться жухлой листвой:
Борзыми стихами эпоха
Карман переполнила свой.

Прошу — покинь, покинь меня,
Душа болезна.
Я весь — колючая стерня
И тьма железна.

Молю — храни, храни меня,
Душа крылата,
От медных труб, воды, огня,
От звона злата,

И от серебряных висков,
И от колтунных,
Храни от бронзовых оков
И от латунных.

Даруй в последние деньки
Кусочек неба.
Не надо зрелищ никаких,
Не надо хлеба.

Изыди, призрачная тать,
Змеюка скользка!
Доколе выдюжишь пытать?
Терпеть мне сколько?

непослушные пряди волос
намекали — вот бог вот порог
обмануться хотел
удалось
обогреться хотелось
продрог

паутинкою мятной слюны
затянулись морские узлы
полнолунием накалены
прогорали слова до золы

не взошло из золы ни одно
да и ты мне не снишься
и пусть
впереди беспробудное дно
где забуду тебя наизусть

шар исполненный скорбе́й
катит чёрный скарабей
мелко-звёздный абразив
на загривок водрузив

жук на кнопочку нажал
правит лезвие ножа
брызжут искры с наждака
на потеху дуракам

будет знатная резня
ярко-красная мазня
то ли краска то ли ртуть
привкус гво́здика во рту

красный синий голубой
не найдём себе другой
катит хрупкий эксклюзив
по орбите жук-сизиф

Ты на той стороне дождя,
Я — на этой,
Бросим, полем чудес бредя,
По монете.

Здесь родятся тоска и хмарь,
Боль за болью…
Всходит солнца алтын, эх-ма,
Над тобою.

Значит, время ломать зонты,
Горизонты.
Жить, не ведая высоты,
Есть резон-то?

Только, знаешь, забыть дожди —
Равно — Бога…
Я приду, только ты не жди,
Смерть-дотрога…

Иннокентий Анненский

В луче прощальном

Первый фортепианный сонет

Есть книга чудная, где с каждою страницей
Галлюцинации таинственно свиты:
Там полон старый сад луной и небылицей,
Там клён бумажные заворожил листы,

Там в очертаниях тревожной пустоты,
Упившись чарами луны зеленолицей,
Менады белою мятутся вереницей,
И десять реет их по клавишам мечты.

Но, изумрудами запястий залитая,
Меня волнует дев мучительная стая:
Кристально чистые так бешено горды.

И я порвать хочу серебряные звенья…
Но нет разлуки нам, ни мира, ни забвенья,
И режут сердце мне их узкие следы…

Тоска возврата

Уже лазурь златить устала
Цветные вырезки стекла,
Уж буря светлая хорала
Под тёмным сводом замерла;

Немые тени вереницей
Идут чрез северный портал,
Но ангел Ночи бледнолицый
Ещё кафизмы не читал…

В луче прощальном, запылённом
Своим грехом неотмоленным
Томится день пережитой,

Как Серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой…
На гриф умолкшей виолончели.

Желание

Когда к ночи усталой рукой
Допашу я свою полосу,
Я хотел бы уйти на покой
В монастырь, но в далёком лесу,

Где бы каждому был я слуга
И творенью господнему друг,
И чтоб сосны шумели вокруг,
А на соснах лежали снега…

А когда надо мной зазвонит
Медный зов в беспросветной ночи,
Уронить на холодный гранит
Талый воск догоревшей свечи.

Canzone

Если б вдруг ожила небылица,
На окно я поставлю свечу,
Приходи… Мы не будем делиться,
Всё отдать тебе счастье хочу!

Ты придёшь и на голос печали,
Потому что светла и нежна,
Потому что тебя обещали
Мне когда-то сирень и луна.

Но… бывают такие минуты,
Когда страшно и пусто в груди…
Я тяжёл — и немой и согнутый…
Я хочу быть один… уходи!

Перевод с татарского языка
Николая Переяслова

Мухаммат Мирза

За той рекой

Рубаи

Кажущаяся лёгкость поэтической «школы» Хайяма

Рубаи — классическая форма стихосложения Ближнего и Среднего Востока, а также Средней и Юго-Восточной Азии, блестяще разработанная и утверждённая в восточной поэзии X–XIII веков такими мастерами поэтического слова, как Рудаки, Саади, Унсури, Фаррухи, Анвари, Хакани, Руми, Саади, Хафиз, Джами, Ибн Сина, Туси, Мехсети Гянджеви и, конечно же, Омар Хайям, который и довёл в своём творчестве этот жанр до абсолютного совершенства. Рубаи — это короткие, всего в четыре строки, стихотворения с рифмующимися 1-й, 2-й и 4-й строками, построенные на столкновении заложенной в его начале смысловой тезы и неожиданно возникающего в конце парадоксального и остроумного вывода. На первый взгляд, рубаи кажутся довольно простой для практического освоения формой стихосложения, однако на деле — это одна из самых сложных вершин поэтического творчества, представляющая собой самые настоящие поэмы в миниатюре, каждая строчка которых несёт на себе нагрузку полноценной самостоятельной главы. Без наличия искромётного остроумия, способности к парадоксальному мышлению и широты философских взглядов рубаи никогда не заняли бы той высоты в поэзии, которую они сегодня заслуженно занимают, вновь и вновь вызывая современных стихотворцев на творческое состязание с мастерами былых эпох.

Представляемые ниже рубаи Мухаммата Мирзы достойно выдерживают сравнение со своими «эталонными» средневековыми собратьями и с полным основанием дают их автору право быть причисленным к продолжателям хайямовской поэтической традиции. Главное достоинство поэзии Мухаммата Мирзы — это умение избежать плоскостного, одномерного изображения, его способность не просто выткать своим стихотворением словесный «ковёр» с остроумным сюжетом, но и суметь дать читателю увидеть внутренним взором тот потаённый смысловой узор, что как бы сам собой создаётся с тыльной стороны поэтического «ковра» узелками сплетающихся между собой сюжетных, образных и философских нитей.

Лучшие рубаи Мухаммата Мирзы — это в высшей степени органичный сплав социальности, философичности, лиризма и остроумия. Столкновение поступательного, логически мотивированного развития мысли с непредсказуемо-парадоксальным финалом четверостишия позволяет поэту при помощи всего четырёх строчек создать почти настоящую романную глубину, показав читателю то, о чём в стихотворении, на первый взгляд, как бы и не говорится — например, неконструктивную и пустопорожнюю деятельность некоего общественного деятеля или хозяйственного руководителя, зримо проступающую за строками следующего четверостишия:

Это счастье твоё, что с покорностью глупых овец
тебе люди внимают и даже кричат: «Молодец!»
Говорят о тебе: «Он такой — лишь один в целом свете…» —
и тайком про себя добавляют: «…осёл и глупец!»

Как видим, ничего конкретного о профессиональной деятельности и личных качествах главного «героя» стихотворения напрямую вроде бы и не сказано, а, между тем, его никчёмная личность и дутый авторитет раскрываются с поразительной отчётливостью.

Удивительно ёмкий лирический портрет другого персонажа удалось создать поэту и в четверостишии о несчастном влюблённом, переживающем полосу тяжёлых жизненных неудач, но при этом не только не утратившем в себе умение любить и согревать этой любовью свою собственную душу, но и сохраняющем способность отдавать накопленное в его сердце тепло той, кого он так искренне любит:

Ну за что на него ополчилось всё страшное зло,
что на этой планете исхода себе не нашло?
Он от холода, бедный, в нетопленой хижине мёрзнет…
Но для милой на сердце — всегда сберегает тепло!

Наряду с такими стихами-шкатулками с «потайным дном», поражающими читателя неожиданно возникающими в последних строках оригинальными и запоминающимися выводами, есть в книге Мухаммата Мирзы одно простое на вид

четверостишие, которое, казалось бы, построено абсолютно без всякой опоры на столь характерную для его творчества игру в парадоксальность и представляет собой содержательно и философски одномерную картинку, по сути—мимолётно сделанный коллективный портрет некой человеческой общности, проживающей на другом берегу реки и принципиальным образом отличающейся от той, которая окружает автора на *этом* берегу (хотя именно о тех, кто находится на *этом* берегу, в стихотворении как раз ничего и не сказано):

За той рекой, за той рекой—
народ какой-то не такой:
там вам за так дают верблюда
и до-о-о-олго машут вслед рукой…

Казалось бы, автор ни слова не говорит о том народе, что проживает рядом с ним на *этом* берегу реки, однако уже из одного только беглого упоминания о том, что на противоположном берегу—«народ какой-то *не такой*» (т. е. сильно отличающийся от здешнего), можно сделать вывод о том, что на *этом-то* берегу вам верблюда «за так» не получить ни при какой погоде, разве что—за большущие деньги, и уж тем более не дождаться от окружающих проявления при расставании таких сентиментальных чувств, какие являются в ходу там, за рекой,—скажем, пожелания вам добра или счастливого пути… Словом—того, что было свойственно людям желать друг другу, когда наша страна воспринималась её гражданами как одна большая, одинаково доброжелательная ко всем своим детям многонациональная семья.

Собственно, мы все сегодня оказались на одном берегу с поэтом, отделённые бурной рекой истории и времени от нашей общей, взрастившей и защитившей нас во время войны от врага Отчизны. За той, неостановимо убегающей вдаль рекой перемен остались наши славные предки, наши великие богатыри и пророки, наши герои и праведники, наши пахари, мудрецы и поэты, которые по крупице собирали и накапливали для нас высокий нравственный опыт, глубокую жизненную мудрость и ёмкую поэтическую образность.

За той условной рекой, разделившей своим руслом на изолированные участки единое некогда поле нашей отечественной культуры, оказалось сегодня для большинства жителей России и творчество писателей национальных республик, произведения которых последние годы почти не переводятся на русский язык, оставаясь неизвестными широкому общероссийскому читателю.

За той клокочущей рекой нахлынувшего на страну непонимания и раздора виднеются манящие и притягивающие нас луга, где всех ожидают любящие люди, где мы нужны и близки друг другу, а наши культуры связаны тесным и взаимообогащающим сотрудничеством. Там—наше место и наше завтрашнее будущее. Туда зовёт нас душа, но не пускает разлившаяся в половодье река:

За широкой рекой—берег с ивами дивно красив,
там гуляют влюблённые, к ним на плотах переплыв.
Но когда половодье—река разливается бурно
и уносит плоты от затопленных водами ив…

Настоящая поэзия—всегда!—явление в высшей степени интернациональное, сохраняющее свою социальную, образную, этическую, философскую и культурную значимость при переводе на языки всех народов. На какие бы темы ни писали великие поэты прошлого и их сегодняшние последователи, подлинная поэзия уже самим своим высоким духом, красотой художественных образов и философским проникновением в суть вещей работает на создание единой общечеловеческой культуры, понятных и близких всем ценностей и соединяющих народы образов. И блистательно сработанные рубаи Мухаммата Мирзы, скреплённые многовековыми традициями поэзии Востока, как надёжные доски подвесного моста, повисают над бурно ревущими водами нашего века, зовя нас перейти реку и шагнуть в своё завтра—на тот берег, где миром правит не политика, а поэзия, где царит не раздор, а задор, где кумиром считают не хама, а Хайяма.

Вот такую удивительную силу имеют эти короткие, по-особому срифмованные четверостишия, если они написаны настоящим поэтом. Хотя на вид—всё это кажется так просто…

Николай Переяслов,
секретарь Правления Союза писателей России,
действительный член Петровской академии наук и искусств,
лауреат поэтического конкурса Совета муфтиев России
«Пророк Мухаммад—милость для миров» 2010 года

Пока ты под отчею крышей, ты можешь вопить,
что жизнь—для того и дана, чтоб гулять лишь да пить.
Но век человека сгорает быстрей сигареты—
успей покаянной молитвой грехи искупить!

Ну за что на него ополчилось всё страшное зло,
что на этой планете исхода себе не нашло?
Он от холода, бедный, в нетопленой хижине мёрзнет…
Но для милой на сердце—всегда сберегает тепло!

Лает пёс на цепи—аж земля под ногами дрожит!
Пробегает прохожий со страхом, ребёнок визжит.
Так и кажется: если сорвётся—то всех растерзает,
а шагнёшь к нему грозно—и он в конуру убежит.

Из села все века—в виде дара полей и лесов—
отправляли в столицу еду на десятках возов.
Нынче снова в село наезжают толпой депутаты—
чтоб собрать с избирателей хоть полмешка голосов.

Кто силу имеет—тот молотом камни дробит,
своею работой ландшафт улучшая и быт.
А тот, кто имеет лишь ум, тот весь день под платаном
сидит—и работою сильного руководит.

Земля развращается. Это уже очевидно.
Куда ни взгляни—всюду плоть обнажённую видно.
И даже луна, разведя облака, как шелка,
свой голый живот демонстрирует миру бесстыдно!

Писатель молвил: «Красота—спасёт собою мир!»
Ты взглядом зеркало своё протёр уже до дыр—
любуешься собой, а мир—несётся к преисподней…
Но что тебе до остальных? Ты сам себе—кумир!

«Сними свою шубу!—сказала лисица ежу.—
Она отвратительна, я тебе прямо скажу».
«Зато,—молвил ёж,—не мою, а твою шкуру носят
все модницы света, красуясь, как я погляжу».

Вся жизнь—подсчёт: как сесть и как ступить,
чтоб в некий круг «отмеченных» вступить.
Собрал ты сотни орденов и званий…
Куда б «За жадность» орден нацепить?

Все брежневский застой ругают смело
и хвалят демократию умело.
Но с трона слезть и власть отдать другому—
никто не в силах, к сердцу прикипело…

К чиновнику вопрос есть у меня:
ты знаешь свою цену, не темня?
Чтоб о себе узнать хоть раз всю правду—
отстой в больнице очередь полдня!..

Таких было много во все времена,
что слышать других не могли ни хрена
и только с самими собою считались,—
да кто теперь вспомнит хоть их имена?..

Безмерны возможности у богача—
он скачет, как мяч, по судьбе, хохоча,
он рубит сплеча, сгоряча поучает…
А жизнь в это время—горит, как свеча!

Лентяя и мухи давно не боятся,
что на нос ему без опаски садятся.
Он спит. Всё хозяйство его развалилось.
Зато ему реки кисельные снятся.

Он ликовал, найдя случайно клад.
Он страшно был находке этой рад.
А рядом с ним в рыданьях сотрясался
тот клад случайно потерявший брат.

Ты колесишь по разным городам.
Ты говоришь: «Я жизнь за вас отдам!..»
А за твоей спиною остаются—
лишь брошенные семьи тут и там.

Покайся, человек, перед Творцом,
пока ещё есть миг перед концом.
С нас спросится за все грехи земные—
что совершил и старцем, и юнцом…

Он весь блестит, как майский жук.
На шее—шарф, во рту—мундштук.
Он с виду—франт, но от мужчины—
в нём ничего нет, кроме брюк!

Ну кто бы в мире о тебе узнал,
когда б ты всюду жалобы не слал?
Ты всех достал! Тебя везде уж знают!
Но о такой ли славе ты мечтал?

За той рекой, за той рекой—
народ какой-то не такой:
там вам за так дают верблюда
и до-о-о-олго машут вслед рукой…

Ты стремишься увидеть иные края,
ты хотел бы, чтоб слава сияла твоя,
ты мечтаешь, чтоб жизнь, как цветок, расцветала…
Ну так что же ты роешь навоз, как свинья?

Время—та же река, глубоко её дно.
Выстрой сотни плотин—катит мимо оно.
Даже тем, кто постигнет все тайны Вселенной,—
всё равно новой жизни прожить не дано!

Нас не смоешь, как пыль с тротуара, дождём.
Здесь земля наша, жизнь наша, родина, дом.
Кто бы нам ни внушал, что милей заграница,—
скажем вслед за Тукаем в ответ: «Не уйдём!»

Всем однажды придётся исчезнуть с Земли,
отправляясь в миры, что мерцают вдали.
Я прошу—вы костёр после нас не гасите,
пока весть не придёт, что мы к месту дошли.

Всем однажды придётся исчезнуть с Земли,
отправляясь в миры, что мерцают вдали.
Я прошу—вы костёр после нас не гасите,
пока весть не придёт, что мы к месту дошли.

Не спеши раскрывать свою душу, как пласт,
перед тем, кому совесть—ненужный балласт.
Злопыхатель и кляузник все твои беды
переврёт—и циничной насмешке предаст.

Я могу ещё в чувствах любовных гореть
и в объятиях милую ночью согреть,
вызвать ревность могу и от ревности злиться…
А всё это утратив, могу—умереть!

Жизнь то радость приносит и просит: «Бери»,
то пинает под зад и шипит: «Не ори!»—
принимай со смирением все подношенья
и за всё её искренне благодари.

Что за чудо—имам! Он речист, как артист.
Он Коран излагает, не глядя на лист.
А вчера ещё—был коммунист он идейный
и подчёркивал всюду, что он—атеист!..

Мы должны быть готовы к любому концу.
Жизнь целует нас в губы и бьёт по лицу.
Наши судьбы—сгорают быстрее, чем спичка,
оставляя лишь серого пепла пыльцу…

Нынче «звёзд» на сцене—миллион,
не запомнить даже их имён.
Мельтешат, как мухи, на экране,
но от них в искусстве—только звон.

Мы все на этом свете только гости,
наступит час—и ляжем на погосте.
Но наш достаток виден даже в том,
куда и как зароют наши кости.

Вот ты тропой крутой (не упади!)
спешишь с ведром к колодцу впереди.
Я стал старик. Я пережил все страсти…
Но как глубок твой вырез на груди!

Он из сына растил удалого бойца.
Тот побил молодца и побил кузнеца.
А когда стало не с кем в округе подраться—
начал каждое утро мутузить отца.

Чтоб мир пробудить—свою мощь не тая,
петух звонким криком тревожит края.
Но утро июньское будит до света—
не глас петушиный, а трель соловья.

Я дверь открыл—и тёплый майский ветер
твой поцелуй принёс мне на рассвете,
цветущий сад стал источать твой запах…
Ну кто меня счастливее на свете?

Весь мир привычно смотрит, как у брата
брат отбирает всё, вплоть до халата.
Никто не крикнет: «Прекрати, злодей!»—
все за молчанье ждут себе «отката».

Он блещет ярче солнца и луны.
Ему диплом и знанья не нужны.
Чтоб стать звездой—достаточно всего лишь
надеть рубаху в блёстках и штаны!

Помолчи, если вдруг голова не светла,
не спеши молвить колкое слово со зла.
Гениальные мысли—не пшённая каша,
чтоб их запросто ложкой черпать из котла.

Он с трибуны гремел, будто шёл напролом,
он громил алкоголь, называл его злом,
а потом, на фуршете, дорвался до водки—
и, мертвецки напившись, уснул под столом.

Р. Валиеву

Ты сказал: «Если б жить не затем, чтоб считать барыши,
можно мир изменить, чтобы стали в нём все хороши…»
Но боюсь, что не может исправить иных и могила,
если нет в них ни сердца, ни веры, ни чувств, ни души.

Словно утренний холод, что в хлипкие двери проник,
в твою голову сплетни вдохнул чей-то лживый язык,
и твой ум, как слепец, теперь бродит на ощупь в тумане,
ты—игрушка, что вертит в нечистых руках клеветник!

Говорить о красотках тебе—что свистать соловью.
Ты за шиворот держишь судьбу и удачу свою.
Только слышишь, приятель,—не лезь в разговоры мужские:
что ты знаешь о жизни, коль не был ни разу в бою?..

Если трудно—сосед мой к себе созывает народ.
Но на помощь другому—вовек не шагнёт из ворот.
Не скажи, что ему наплевать на чужие проблемы:
он о них лишь услышит—с три короба тут же приврёт!

Холод щиплет за уши и щёки неистово жжёт.
Снег сверкает вокруг, ветер дьявольски свищет и ржёт.
Видишь, пропасть оскалила пасть в ожидании жертвы?
Ну так помни закон: «Бережёного—Бог бережёт!»

Ну вот и на солнце все тёмные пятна подсчитаны,
и тайны Вселенной, как детские книги, прочитаны.
Лишь белые пятна истории прячут от нас
страницы тех лет, что невинною кровью напитаны…

Если ты проиграл—то никто тебя слушать не станет,
и никто для тебя из кармана калач не достанет.
Выходя на дорогу судьбы, знай суровый закон:
кто упал—тот погибнет, коль сам через силу не встанет.

Нет забот у бездельника, кроме как лясы точить.
Ничего не умея, он каждого лезет учить.
Ты к нему подходить не спеши и на пушечный выстрел,
чтоб заряд болтовни несмолкающей не получить!

Муха бьётся в стекло, но разбить ей его не дано,
от бесплодных трудов—всё в её экскрементах оно.
Человек, оглянись! Покоряя просторы Вселенной,
не сравняйся с той мухой, которая бьётся в окно.

Мир—огромный базар. Оглянись беспристрастно вокруг:
продаются и речка, и поле, и роща, и луг.
Стали ходким товаром достоинство, совесть и гордость…
Ты ещё не отнёс на базар свою душу, мой друг?

Это счастье твоё, что с покорностью глупых овец
тебе люди внимают и даже кричат: «Молодец!»
Говорят о тебе: «Он такой—лишь один в целом свете…»—
и тайком про себя добавляют: «…осёл и глупец!»

В тёмном доме без окон себя, как в тюрьме, не запри—
жизнь течёт и клокочет снаружи сильней, чем внутри.
Мир широк и огромен, наполнен звучаньем и светом—
отвори шире окна, бери его, слушай, смотри!..

Тяжкий труд от зари до зари, краткий отдых на сене,
добывается хлеб для страны—не кривляньем на сцене.
Не пришлось бы просить сухари в этой жизни однажды
тем, кто труд хлебороба сегодня вконец обесценил…

Ты сияешь лицом, словно яркой журнальной обложкой.
Ты шагаешь к трибуне пунцовой ковровой дорожкой.
Ты твердишь тут и там, что очистишь от грязи наш мир…
Жаль, что вместо лопаты—орудуешь чайною ложкой.

Твои умные мысли—бесплодны, пусты и бедны,
в них одни только мёртвые формулы всюду видны.
Ты прочёл сотни книг и вобрал в себя множество знаний,
но коль нет в тебе чувств—то все знания будут вредны.

Ты клянёшься, что выведешь вора на чистую воду,
что о всех злодеяньях его ты расскажешь народу
и его опозоришь на весь необъятный наш мир.
Но забыл ты, что мир—уж давно ему служит в угоду…

…И наступит тот день, когда станет тебе не до песен.
Будешь нищ и убог, и покроет главу твою плесень.
От богатства до бедности—шаг. Был вчера ты—кумир,
а сегодня и дряхлому ворону неинтересен…

Хорошо, коль в народе единство царит без изъяна.
Хорошо, когда все—как один, и ни лжи, ни обмана.
Править царством таким научилась бы и обезьяна,
низведя ценность жизни—к моменту съеденья банана.

Ты познал в своей жизни и голод, и боль, и ненастье,
но душа не разбилась, как хрупкая ваза на части.
Ты окреп в постоянной борьбе. Но в грядущей судьбе—
хватит сил ли тебе, чтоб пройти испытание счастьем?..

Он во всякое дело влезает с сужденьем непрошено.
Если все скажут «стрижено» — он будет спорить, что «кошено».
Если ж с мнением чьим-то случайно согласие выскажет —
целый месяц вздыхает потом и молчит огорошенно.

Не списать этот грех на режим большевистский иль царский —
мы забыли башкирский язык и забыли татарский,
и теперь сам шайтан толмачом нам единственным стал,
мудрость гениев переводя на язык тарабарский.

Ты сказал — ты единственный в мире (читай: исключение).
Мы смеялись сначала: тебе, мол, пора на лечение!
Но таких «исключений» становится в мире всё больше —
не с того ль у всех прочих вся жизнь превратилась в мучение?

«Чтобы берег речной укрепить — надо высадить иву.
Чтоб клубнику на даче растить — надо выжечь крапиву.
Чтобы речку в разлив переплыть — надо выстроить плот…»
«Ах, ну хватит уже говорить — наливай лучше пиво!»

Одолжив в трудный час горсть муки, наши прадеды в срок
отдавали долги, чтоб никто упрекнуть их не смог.
А беспечные правнуки их набирают кредиты,
а потом от истцов, словно зайцы, бегут со всех ног.

Пока ты ездишь на коне, тебя все уважают,
Кричат: «Привет!» — со всех сторон, за общий стол сажают.
Но слух пройдёт, что конь твой пал, — и станет всё иначе:
тебя и знать уж не хотят, и денег не ссужают.

Что за дивный народ! Каждый ближнему — искренне рад,
пусть не может помочь, но зато и не чинит преград.
Нет ни зависти здесь, ни вражды, ни взаимных упрёков…
Что мешает и нам быть такими — не знаешь, мой брат?

Так давно повелось: тот, кто хочет в судьбе утвердиться, —
тот стремится имеющим власть чем-нибудь пригодиться:
чтоб им верность свою доказать — их готов облизать…
А другим это сделать трудней, чем вторично родиться.

Сколько рек за судьбу — ради счастья, любви или славы —
переходим мы вброд иль на лодках форсируем браво!..
Жизнь — такая ж река. Дан и левый ей берег, и правый.
Отчего же душа — так не хочет спешить с переправой?

Не согреть к обеду чайник, если нет огня в печи.
Если дом без стен и окон — для чего ему ключи?
Засучи скорей рубаху. Вот раствор, вот кирпичи…
Жизнь промчится мимо, если — вместо дел — мечтать в ночи.

Каждый день все талдычат вокруг об одном:
«Мы последнюю чашу истории пьём!»
А сосед мой, что трезвым почти не бывает,
говорит: «Ничего, мы другую нальём!..»

Мир стремится к богатству, от страсти дрожа.
Продаются достоинство, честь и душа.
Вся история нашей несчастной планеты—
это бег торгаша по следам барыша.

Он объехал весь мир, чтобы жизнь повидать,
он свой опыт готов землякам передать—
и он учит друзей молодых материться
и окурки щелчком на пять метров кидать.

Твердишь ты, что жизнь изучил до глубин,
борясь с ней один, как герой Аладдин…
Внимать твоим сказкам мы были бы рады,
да смысла в них—точно ума у сардин!

Всё, что жизнь предлагает,—с улыбкой бери,
нет широкой дороги—тропинку тори,
даст судьба гору золота—будь благодарен,
даст пятак—как за золото благодари.

Чтоб вымыть тело—в воду окунись.
Чтоб вымыть душу—рьяно помолись.
Чтоб не грешить—беги от всех соблазнов.
Чтоб быть святым—наполни верой жизнь.

Он, как пожар, сжигал всех, а не грел,
он слал из глаз поток горящих стрел,
он всем кричал: «Не пробудите пламя!»—
и мир спалил, и сам в огне сгорел…

Брат-богач неимущему брату не рад,
брат-богач от него понастроил оград,
но случись до копейки ему разориться—
прибежит к бедняку: «Выручай меня, брат!..»

Клуб читателей

Ульяна Лазаревская

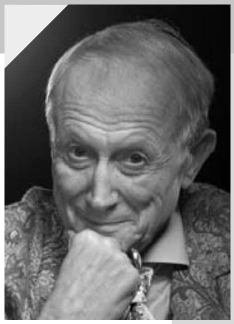
Иваново, Тоскана, Коктебель…

О новых книгах Яна Бруштейна

Книга стихов «*Тоскана на Нерли*» (М.: Летний сад, 2011)—явление удивительное и уникальное. Она издана Флорентийским обществом и пронизана той «всемирной отзывчивостью», теми симфоническими перекличками, которые, как это чувствовал и понимал Пушкин, так свойственны русскому духу, русской культуре. Пётр Баренбойм, Президент Флорентийского общества, основанного в России в 2001 году, в послесловии к изданию пишет: «На современном флаге Тосканы совершенно не случайно красуется Пегас. Данте, Петрарка и многие другие великие поэты сделали эту легендарную землю настолько знаменитой, что для того, чтобы проникнуться её значением и поддаться её поэтическому очарованию, совсем не обязательно видеть её. <…> Кроме стихов, основанных на непосредственных впечатлениях от поездки во Флоренцию и Тоскану, есть ещё воображаемая, но от этого не менее важная тема—«литературная Тоскана», «литературная Флоренция». Автор этой небольшой книги Ян Бруштейн никогда не был во Флоренции <…> и его стихи относятся к этому направлению русской поэзии, возглавляемому Мандельштамом и Цветаевой». Действительно, Флоренция у Бруштейна—не конкретный географический пункт, не «топос», а источник мистического сияния, которым овеяно всё—речка Нерль, неказистая судьба мальчика-художника, погибшего в Чечне, польская трагедия Катыни и, конечно, еврейская тема, глубоко органичная и в то же время опосредованная культурным опытом и мастерским русским стихом.

Другая книжка Бруштейна—«*Планета Снегирь*»—вышла в этом году в издательстве «Вест-консалтинг». Двадцать пятой книгой серии «Библиотека журнала «Дети Ра». И, хотя многие стихи вошли в оба сборника, у «Планеты Снегирь»—своё обаяние и особая аура. Иваново, где живёт поэт; Тоскана, о которой он мечтает; Коктебель, где обитают ласковые музы,—образуют его собственную поэтическую географию.

мой последний беспробудный безоглядный коктебель
в жизни медной в жизни трудной и причина ты и цель
как монетку жизнь мне бросит жадный запах чабреца
дела нет что в эту осень мир железами бряцал
эту привязь эту завязь эти путы разорву
не противясь задыхаясь уроню себя в траву
пусть до края годы злые и навылет и сполна
утешая киммерия мне плеснёт в стакан вина
ты налей мне нынче втрое ты попробуй мне поверь
и алейников откроет заколдованную дверь.



Евгений Евтушенко

«Чьё имя драки останавливало…»

О поэзии Валерия Возженникова

— Юра, дорогой, это Женя Евтушенко позвонил!..
— Здравствуйте, Евгений Александрович!

Так начался наш телефонный разговор с континентально известным поэтом. К автору многих полюбившихся в народе стихотворений и многолетнему составителю ещё не вышедшей в свет антологии «Поэт в России больше, чем поэт», где будут представлены десять веков русской поэзии, попали стихи пермяка Валерия Возженникова и моё небольшое предисловие к ним. Собственно, вот выдержки из него:

«Валерий Возженников умер от внезапного сердечного приступа за несколько часов до своего 70-летия, в ночь с 21-го на 22-е февраля 2011 года, когда село Постаноги, где он всю жизнь преподавал в школе историю, готовилось отметить юбилей своего поэта. Помню, как во время наших прогулок вдоль Енисея в июне 1991-го Виктор Петрович Астафьев посетовал (запечатлено на диктофонной ленте): «Ты думаешь, в Овсянке знают, что здесь живёт писатель?..» Случай Возженникова был исключительным. В пермских Постаногах знали и любили его стихи. Именем Возженникова даже останавливали драки. Постаноги поджидали поэта всем миром. Оказалось, всем миром проводили. А дня за четыре до будто бы наведённой кончины Возженников вместе с редактором Надеждой Гашевой завершил работу над составлением своей итоговой книги «Черёмуха и церковь». Код роковой завершённости… Он присутствует и в дате рождения: 1941. Почему поэт на излёте жизни оглушал себя самопризнанием, что «тот свет с каждым годом родней»? Оказывается:

Там не пишут историю заново
И моё поколение чтут.
Там друзья мои песни Фатьянова
На небесном крылечке поют.

Он и сам был первым гармонистом на селе. Однако предпочёл «небесное крылечко». Если вдуматься, это серьёзный укор Родине, которая «не поклонилась Богу», когда «встала в полный рост» — во времена Великой Отечественной. Щемящий укор. Все стихи Возженникова — щемящие. Умные, блистательные, смелые поэты ещё не перевелись. Щемящих — единицы. Нет, это не голос отчаянья, но голос преодоления и смирения. Рассказывают: когда обнаружили тело поэта, в одной руке он сжимал кружку, а в другой — кусочек хлеба. Горького и сладкого хлеба Родины».

Лирика Валерия Возженникова так влюбила в себя Евгения Евтушенко, что, несмотря на то, что в Америке в это время было три часа ночи и у Евгения Александровича, по его собственному признанию, «слипались веки», он не утерпел и позвонил мне в Пермь, чтобы я послушал только что законченное им стихотворение, которое он потом переслал мне по электронной почте, равно как и свою статью, посвящённую творчеству ушедшего поэта. При этом Евгений Александрович добавил, что и стихотворение, и статья, и подборка Валерия Возженникова войдут в антологию «Десять веков русской поэзии». Как всё сошлось в небесных сферах!.. Внезапная смерть, звонок Евтушенко и выход той самой книги Возженникова «Черёмуха и церковь». «Эх, если бы Валера знал!..» — вздохнула в телефонную трубку редактор этого сборника Надежда Гашева.

Юрий Беликов

Кто вам преподавал историю?

Юрию Беликову, подарившему
мне рассказ об этом случае

Беспамятным во устыжение,
во просветление всех нас
горит звездиночка Возженникова,
который стольких юных спас.
Он был поэтом и учителем,
глазами тёпел — не свинцов,
не усмирителем —
мирителем
буйноголовых сорванцов.
Всегда поэзия серьёзная,
где с Богом спорит ученик,
явление религиозное —
сквозь строки брезжит Божий лик.
Однажды шёл по сельской улочке
былой пермяк, не впавший в спесь,
кто помнил то, чему наученный
он был Возженниковым здесь.

И вдруг увидел драку мрачную,
как говорят, «навеселе»,
и не прошёл он, отворачиваясь,—
ведь всё же был в родном селе.
Ему в знакомой сваре уличной,
где финку прячут в рукаве,
припомнился царевич в Угличе
на свежескошенной траве.
Провидя жертв новоопричнины,
дымился набрызг от ножа,
как ожерелие брусничное,
на белом горлышке дрожа.
А после—не мишени баночные,
что из под печени трески,—
в подвалах выстрелы лубяночные
в затылки чьи-то и виски.

Так жизнь преступная ночная вся—
с хмельного зуда в кулаках.
Убийцы с драки начинаются
на пустырях и в тупиках.

И бывший ученик Возженникова
ворвался в свалку пьяных туш,
надеясь мало на возжжение
уже почти погасших душ.
«Вам кто преподавал историю?»—
вопрос хлестнул, как Божий бич,
и совесть вдруг из всех исторгнула:
«Валерий Леонидович!»

Они, наверно, лишку выпили,
не нанеся, по счастью, ран,
и монтировки сами выпали
в неокровавленный бурьян.
И враз все замерли пристыженно,
разжали даже кулаки,
себе со вздохом не простившие,
какие были дураки.
Ну, слава Богу, что одумались.
А стольким драться невтерпёж,
и злоба пострашнее дурости
тех, кто хватаются за нож.
Как семечки, всех пришлых лузгая,
форсят убийцы напоказ,
и русских убивают русские,
когда и так всё меньше нас.

Антихристята недостойные,
ужель бессмысленно, как встарь:
«Вам кто преподавал историю?»—
с креста кричать в безликость харь?
Не дай нам, Боже, расставания
с людьми такими на Руси,
чьё имя драки останавливало
без мановения руки!

«Чьё имя драки останавливало…»

Мало кто писал о Боге так нежно, задушевно, запросто, словно о близком родственнике их семьи, которого он любил и уважал с детства, как Валерий Леонидович Возженников—поэт и преподаватель истории в селе Постаноги Пермской области.

Как я светел был в ранних летах!
Боже гладил не раз по головке
И покаяться в детских грехах
Отсылал меня к божьей коровке.

А теперь—под Десницей стою,
Прогуляв покаяния сроки,
И, теряясь в неясной тревоге,
Вижу грозного я Судию.

Нет, убить никого я не мог!
Но стою, будто в лодочке зыбкой.
Где тот мальчик, которого Бог
Привечал с неизменной улыбкой?

Вспомнился мне такой совсем иной и по масштабу, и по стилю поэт, как Пастернак. «О, весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет». Пастернак достиг в конце концов поздней, но не запоздалой цели, каковая ему досталась довольно нелегко, когда в стихах из романа сумел-таки «впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». А Возженникову словно и не пришлось добиваться этого «запросто» и этой «неслыханной простоты». В то же время он не перешёл опасной границы, где начинается «иная простота, хуже воровства». Почему? Да потому что его отношение к Богу не банально. Многие из нас попрошайки, да ещё и бесстыдно торгующиеся с Богом, стараются с ним договориться, что в обмен на «богоугодное» дельце Он нам простит какое-нибудь мошенство или даже убийство. Словом, они пытаются втянуть Бога в свои делишки. А тут кристальный человек, никогда не мошенничавший, никого не убивший—и всё-таки боящийся, что Бог может быть недоволен им, хотя за что именно, человек сам точно не знает, а не хочет Его подвести, потому что Бог так хорошо к нему относился с детства. Это не истеричный страх грешника, а необходимый страх не перед жестоким наказанием, а даже перед мягким, доброжелательным, но укоряющим за что-то взглядом друга—хотя бы за то, что он ожидал от нас чего-то большего. Для истинно верующих слова «Бог» и «совесть»—синонимы.

Взаимоотношения с Богом у людей, родившихся в сталинские времена, были сложными. Лишь немногие решались на то, чтобы не скрывать, что они верующие, и подвергались тем или иным преследованиям. Многие свою веру прятали, молились тайком, боясь приходить в церковь—как бы не донесли. Я, например, долгое время не знал, что я был крещён моей бабушкой Марией Иосифовной, которая сделала это тайно, даже от моей мамы. Некоторые постепенно пришли к Богу от разочарованности в политике, пытавшейся насильственно подменить Бога, когда у них ничего не осталось, во что бы они могли верить, кроме христианства. Затем наступил другой период—когда христианство стало огосударствленной формой политической корректности, и легко заметить, как с тех пор неумело крестятся многие чиновники, шагнувшие прямо из воинствующих безбожников

в ревнителей религиозной нравственности. Какой-либо развёрнутой биографии или автобиографии Возженникова я, к сожалению, не нашёл, но мне кажется, что такая вера в Бога была им семейно унаследована.

Мне, мой Бог, примнилось не однажды,
Будто бросил Ты меня навек,
Будто я уже не ангел падший,
А совсем пропащий человек.
Если так, то не бывает хуже,
Это уж навечная беда:
Как свечу,
        задует Демон душу,
Душу, недостойную суда.
Боже, коль не бросил, так не мучай
И прими участие в судьбе:
Дай мне боль какую или случай,
Как-нибудь напомни о себе.

Вот оно — истинное, на мой взгляд, христианство; это не унижающий, а возвышающий человека страх, когда он не столь страшится Божьего суда, сколь того, что будет этого суда недостоин. Если бы так чувствовали все, то думаю, что достоинства в человечестве прибавилось бы.

Коротенькое стихотвореньице об одинокой верующей поражает эпитетом по отношению к Богу. Как я ни проверял свою память, нигде не нашёл аналога, за исключением совершенно не сопоставимого с Возженниковым поэта — Игоря Северянина. Он тоже однажды назвал Бога «Милым». Но надо сказать, что у Северянина, при всех его «грезэрках» и «ананасах в шампанском», попадались, правда, редкие, но прелестные стихи о русской природе, о русской душе. Впрочем, это сказано не мной, что иногда кажущиеся противоположности неожиданно сходятся.

Ничего у Бога не просила.
Что подаст — считала сверх всего.
Лишь всем сердцем Господа любила,
Лишь Его любила одного.
Не боялась ни земли, ни неба —
Крепче страха та любовь была.
Без молитвы и без всякой требы
К Милому с улыбкой отошла.

В чём разительное преимущество стихов Возженникова о Боге в сравнении со стихами, припадочно бьющимися лбом перед иконами, — в том, что у него нет никакой религиозной кичливости, превращающейся в чувство презрения и даже ненависти к тем, кто не в то и не так верит. Это стихи вообще не о какой-то единственно «правильной» надчеловеческой религии, которую необходимо навязывать всем нациям, а о человеческой совести, которая и есть самое главное во человецех. Его не зря уважали воспитанные им односельчане и любили его и как учителя, и как поэта.

Здесь приливами накатывает рожь,
И дорогу чужаки найдут едва ли.
Приходи на Постаноги — и поймёшь,
Что не всё мы в этой жизни потеряли.
Сам услышишь, как поют перепела,
Встретишь девушек с пречистыми глазами,
И увидишь ты, какою Русь была
До падения Козельска и Рязани…

Пермский поэт Юрий Беликов, заботливо собравший многие стихи Возженникова, в своей прекрасной статье «Предпочтя небесное крылечко» привёл рассказ одного свидетеля, что именем Возженникова останавливали даже драки. «Две ватаги схватились за монтировки. Я им кричу: «Вам историю-то кто преподавал?» — «Валерий Леонидович!..» И монтировки сами выпали из рук». Он родился в 1941 году и, конечно, не мог воевать. Но никто, пожалуй, с равной проникновенной горечью не написал такого исповедального от имени многих ветеранов стихотворения, как «Боль фронтовика». Редкое, родниковое, целомудренно чистое дарование. О чём бы он ни писал — о Боге, о фронтовиках, о деревенских старушках, о природе, — это всегда были стихи о любви.

Валерий Возженников

Но чуден от Бога и мрак

Сирень у росстани

Как она зацветает у росстани,
Так навряд ли цветёт у крыльца.
Будто тронута млечною роздымью
Или чудным дыханьем Творца.

Красота—сотворенье не адово,
Но уж высветит душу твою.
Видно, небом самим так загадано:
Кто мы будем, коль будем в раю?

Вся по звёздочкам нежно растаскана,
И уликой—ущербная тень.
Ничего,—отвечают мне ласково,—
Здесь ничья у дороги сирень.

Божья девочка! Кажется, дожили.
И боюсь я развязки одной:
Изведут тебя люди хорошие,
А плохие—пройдут стороной.

Дорога

Осенняя в пустых полях дорога,
Одно жнивьё пообочь да вода.
Но разве ты от этого убога?
Или ведёшь неведомо куда?

Пусть над полями лайнер не промчит,
И свет небес не так чтоб очень ярок,
Но тишина органная звучит
В его лучах и звёздных капиллярах.

Какая величавая печаль!
И посреди щемящего простора
Берёзы над холмом мерцают вдаль,
Как главы уцелевшего собора.

И снова я душой не одинок.
И верится: Земля не одинока,
И что иных надёжнее дорог
Осенняя в пустых полях дорога.

Старухин дом похож на склеп—
Дверь замела пурга.
Но под рукой у старой хлеб
И кружка молока.
Сама на случай бытия
Ничто не припасёт.
Живёт,
как в саночках дитя,
И Бог её везёт…

Слеза

Панихиду никто не отслужит,
И не надо об этом жалеть.
Сам поэт—он отпел свою душу,
Как уже никому не отпеть.

Эту бездну любви и печали
Никакие не сдержат весы.
И качнутся астральные дали,
И в аду затрезвонят часы.

Будет сплетням команда:
—На вылет!
Дьявол в чашу смолы подольёт.
Но Господь эту заморочь выльет
И слезу золотую смахнёт,

Чтоб на всю поднебесную сушу
Той слезой просиять, прозвенеть.
Сам поэт—он отпел свою душу,
Как уже никому не отпеть.

Белый ангел глянул в Божьи очи,
Полные смиренной чистоты,
И сорвался, став темнее ночи,
Со своей прелестной высоты.

Глянул просто так, не от гордыни,
Да тяжёлым выдался урок:
Видит ангел сам в себе поныне
Те грехи, о коих знать не мог.

Бог вернуть его обратно хочет.
Но боится падший высоты
И, увы, забыть не может очи,
Полные смиренной чистоты.

В парке в тот вечер
Играли «металл»,
Будто стреляли картечью.
Но ничего,
Городок устоял,
И никакого увечья.

Как ни суди—
Не из пушки огонь.
Только спасибо за милость:
К речке в тот вечер
Не вышла гармонь,
Слово из песни—забылось.

Приглашение в Постаноги

Фёдору Вострикову

Наши дали от твоих недалеки,
Но уж хляби таковые здесь местами,
Что на руки надеваем сапоги—
И гребём уже обоими мостами.

Ну а кто до магазина догребёт,
Тот забудет о семье и о работке.
Не поверишь, деревенька столько пьёт,
Что тебе не переплыть на мотолодке!

Так и было бы, пусти сюда транзит,
Допились бы до земли пустопорожней.
Но пока ещё спасает и хранит
Деревеньку золотое бездорожье.

Здесь приливами накатывает рожь,
И дорогу чужаки найдут едва ли.
Приходи на Постаноги—и поймёшь,
Что не всё мы в этой жизни потеряли.

Сам услышишь, как поют перепела,
Встретишь девушек с пречистыми глазами.
И увидишь ты, какою Русь была
До падения Козельска и Рязани…

Боль фронтовика

1.

Родина, как я тебя любил!
Под Москвой—не прятался за танком.
Шёлк твоих знамён боготворил
И армейским кланялся портянкам.

Мир тобой был увлечён всерьёз,
Сам свернул бы на твою дорогу.
Но когда ты встала в полный рост,
Почему не поклонилась Богу?

А теперь, мой аленький цветок,
Вся ты уместилась на петличке…
«Чья Москва и чей Владивосток?»—
Бомж меня пытает в электричке.

Сдали выси, веси, города…
Ну а как ты высоко стояла,
Знала только падшая звезда,
Помнит только донышко Байкала.

2.

Добивают моё поколение,
Добрались и до скорбных камней…
Что ни год,
этот свет всё чужее мне,
А тот свет
с каждым годом родней.
Там не пишут историю заново
И моё поколение чтут.
Там друзья мои песни Фатьянова
На небесном крылечке поют.

Наде

Не бросались мы страсти в силки,
Знать не знали такого пожара.
Между нами цвели васильки
И божественно небо лежало.

Подарил из цветов поясок.
Не кори подарившего слепо.
Сам не помню, как я пересёк,
Перешёл это поле и небо.

Вот и грянула грозная мгла,
Встрепенулась Господняя стража.
И не знаешь, то ль туча прошла,
Накренилась седьмая ли чаша…

А глаза у Судьи велики,
И на них бирюза набежала.
Между нами цвели васильки
И божественно небо лежало.

Юле

А судьба сводила—не свела.
И когда гармонь моя ходила,
Мать под лопушок тебя вела,
Чтоб случайно пылью не прибило.

Берегли, как яблоньку в саду,
А по осени прислали сватов.
Я играть на свадьбу не приду,
Хоть и знаю—ты не виновата.

А у птиц в округе чуть не шок:
Два села заваривают пиво.
Где такой найти мне лопушок,
Чтоб судьбой случайно не прибило?

Живём не в раю, а под мраком.
Лукавый взгляд, лукавый шаг,
По платью зыбкие горошки,
И я, талантливый дурак,
Тебе пиликал на гармошке.

Мы уходили за село,
Где трав некошеных немало.
Но, как назло, но, как назло,
Гармонь зевала и зевала.

Кто виноват? Сбежала ты…
И я, не в силах оглянуться,
Услышал, как цветут цветы—
Цветут, и плачут, и смеются.

Услышал, трепет затая,
Молчанье тех, кого не стало,
И с той поры гармонь моя
Мне никогда не изменяла.

В Даниловке

Догнивают застрехи под крышей,
Жёлтым инеем гривы кропит,
И грызут потихонечку мыши
Неподбитые кромки копыт.
С каждым годом здесь тише
и глуше.
Прямо в яслях, припав
на кулак,
Спит себе подгулявший конюший
И проснуться не может никак.
Кружат в воздухе белые мухи.
Нестерпимо туманится даль.
И в глазах персиянских Гнедухи
Мировая слезится печаль.

Дорога русская

Виталию Богомолову

Даль тусклая, дорога русская.
Звёздочка пошаяла —
и пала с высот…
Ночь тёмная, кобыла чёрная.
Еду да пощупаю:
не чёрт ли везёт?
Крик ворона — кобыла в сторону
И пошла оврагами.
Дёргаю башкой.
Жуть хрусткая, дорога русская.
Видно, нет мне к Боженьке
дороги другой.

***

Навалились страхи и печали,
Снятся космы чёрного огня…
Но приходит мать ко мне ночами —
Попроведать грешного меня.
Как всегда, поправит одеяло
И от сердца пламень отведёт.
Будто никогда не умирала,
Лишь поутру из дому уйдёт.
Запоёт синицей половица,
И повеет шёпот золотой:
«Нам с тобой, сынок,
не разлучиться,
Я ещё возьму тебя с собой…»

Не прельщаюсь
горними цветами
И, почуяв этой жизни край,
Не о рае думаю — о маме.
Там, где мама,
там и будет рай.

Кошмар

Проснулся —
Свету белому не рад:
Меж звёзд метался
Мой покойный брат
И к Богу, бедный,
Он взывал: «Очнись!
В небесном царстве деньги завелись…»

***

Живём не в раю, а под мраком.
Но это сверх милости мрак.
Вновь полюшко светится злаком
И весь в незабудках овраг.

И, жгучую чувствуя грешность,
Однажды, в тишайшем цвету,
Вдруг вздрогнешь:
Какая же нежность
Царит в том небесном саду!

А чья-то душа или птаха
Так горько заплачет в зарю,
Как будто пролётом — из мрака —
На вечные муки в раю.

Испытан я был этой пыткой.
С тех пор, как душой ни горю,
Стараюсь не хлопнуть калиткой
В своём заповедном краю.

Вновь полюшко светится злаком
И весь в незабудках овраг.
Живём не в раю, а под мраком.
Но чуден от Бога и мрак.

***

Мысль моя не раз перевернулась —
И разбилась об иную даль.
И души мятежной вдруг коснулась
Тихая, смиренная печаль:
Зря я, грешный, возроптал на Бога,
Позабыв, что милостью Христа
Дан мне крест по силам,
а дорога —
Равночестна
тяжести креста.
Лишь в одну погибель я согнулся,
А в другую — не успею, чай…
И пошёл,
но прежде улыбнулся,
Как велела мне моя печаль.

***

Как победитель тьмы и зла,
Вставал Пасхальный День.
О том сияли купола
И пела в храме дверь.

А я в пивную путь держал —
Не Богу душу нёс —
И мимо храма пробежал,
Как шелудивый пёс.

Я мимо храма пробежал,
За мной другой с другим.
Но вскоре страх меня объял:
— Да что же мы творим?!

И что тогда,
коль в Судный Час,
Как громом по кресту,
По вере каждого из нас
Воздастся и Христу?

Не кукуй, кукушка, мне так много,
Не сули бескрайние пути.
Знаю: коротка моя дорога,
Да и ту бы вовремя пройти.

Только всё ж шепчу в своей неволе,
Над строкой оборванной склонясь:
Слово, слово, путник в чистом поле,
Ты спеши ко мне, не торопясь.

Не кукуй, кукушка…
Может статься,
Ляжет ель кромлёною доской…
Смерти не боюсь—боюсь расстаться
Со своею смертною тоской.

Послевоенный рояль

Он в школе нас пугал порою,
И уж не знамо в год какой
Накрыт был белой простынёю,
Как снегом—камень гробовой.

И вот однажды, свет роняя,
Хоть что угодно ожидай,
Открылась крышка у рояля.
И мне сказали: «Запевай!»

Играл рояль, и я, ребята,
Запел совсем не о войне…
И одноруких два солдата
Аккомпанировали мне.

Старуха в ночи

Ворчат ночные дерева:
«Куда несёт её проруха?»
Полуслепа и чуть жива,
Просёлком тащится старуха.

Не в силах даже век сомкнуть,
В ночи постанывает глухо.
Над ней простёрся Млечный Путь.
Просёлком тащится старуха.

Но что ей звёздная межа?
В глазах земля и небо тает.
И устремляется душа,
Куда и мысль не долетает.

Лежать на лавочке нелепо,
Но, как у детства на часах,
Перед глазами то же небо
И белый голубь в небесах.

Он то зависнет на отмашке,
То вдруг закружит надо мной.
Как бы по мне кроит рубашку
Из давней бязи голубой.

Мы расстаёмся.
Ни в какие дни
Тебя уже не встречу так,
как прежде.
И всё-таки возьми,
возьми свои
Внимательно оставленные вещи.
Возьми брелок
и камушек-рубин,
Не позабудь на столике помаду…
Уж ты поверь:
я так тебя любил,
Что ничего на память мне не надо.

На лавочке

Как лихо нас
Пути-дороги развели:
Уже к утру
Из разных туч умылись.
Но наши ангелы
Расстаться не смогли
На лавочке,
Где мы с тобой простились.

И грянул гром,
Уже в который раз:
—Бескрылые,
Куда вы покатились?
И горько плачут
Наши ангелы о нас
На лавочке,
Где мы с тобой простились.

Громко и без таинства,
Удивив миры,
Рабства и неравенства
Срыли мы бугры.

Конницей погладили,
Понужали так,
Что Державной Матери
Растоптали стяг.

Изменили алому—
Не избыть тоску,
И чужому дьяволу
Сдали мы Москву.

Нам теперь «окурочки»
Подают. Берём!
Под чужую дудочку
Плачем и поём.

Помолиться некогда.
Стой, душа и плоть!
Отступать нам некуда—
Позади Господь.

Сергей Есин

Страницы дневника[1]

2009 г.

17 июля, пятница

Начну с основного события дня. <…> По дороге в машине вдруг раздался телефонный звонок. Это Гриша Заславский. Начал он так: «Сергей Николаевич, я знаю, что вы человек порядочный, но вот я прочёл в интервью с Лямпортом о том, как вы его провожали». Тут же выяснил, что это во вчерашнем «Ex libris». Я сразу вспомнил, что вчера заходил в Книжную лавку, чтобы купить книжку «Твербуля»—он в связи с кризисом подорожал и стоит теперь 334 рубля,—и вдруг, повинуясь какому-то наитию, взял ещё последний и предпоследний номера «Ex libris». Я ведь уже давно не успеваю читать текущую литературную периодику, а тут почему-то взял. Естественно, всю дорогу мучился, что же в газете написано обо мне. <…> На даче благодать, но надо было поливать теплицы и грядки, готовиться к обеду; за газету я принялся лишь где-то в третьем часу. Ляmпорта подают как «самого скандального критика». Я сразу же подумал: если бы хоть что-то подобное по плотности и накалу было в «Российской газете», отдел культуры которой я читаю регулярно. Но по порядку, здесь ещё будут и цитаты. Это уж такое моё свойство: я часто говорю со своим будущим читателем через авторов, с которыми я совпадаю. И каждый раз радуюсь за такого автора: ай да молодец! Это ведь не большое достижение—особым образом подумать, но надо ещё и сформулировать, надо ещё осмелиться высказать. А я-то только подтявкиваю, укрывшись чужим авторитетом, только потираю ручки.

Интервью началось с представления интервьюера Михаила Бойко и самого Ляmпорта. С тактичного заявления первого, что он не во всём согласен со своим героем. Я лично согласен с Ляmпортом во всём. Кстати, постоянно называя критика простенько Ефимом, сам Бойко никогда не обмолвился, что по отчеству его собеседник—Петрович. Имеет ли это отчество отношение к взглядам гениального самоучки-литератора Ефима, я не знаю, но мне показалось, что это нужно было бы написать. Детали опускаю ради отдельных высказываний.

«Моя рецензия на книгу Владимова, вызвавшая гнев Третьякова, называлась «Литературный власовец». В ней, коротко говоря, я написал, что формально-стилистически книга Владимова представляет собой типичный клон советско-секретарской литературы, и её художественная ценность равна нулю; а с содержательной стороны книга—прямая апология предателя, фашиста генерала Власова, и через эту апологию предательства она есть не что иное, как пропаганда исторического немецкого национал-социализма. Учитывая, что отечественный либерализм на данном этапе совсем обезумел и в своей антикоммунистической страсти готов обниматься хоть с чёртом, хоть с Гитлером, у меня нет никаких сомнений в том, что Владимов получит за свой роман премию «Букер».

Изначально роман был опубликован с большой помпой журналом «Знамя». Председателем Букеровского жюри в тот год был Станислав Рассадин, активно лоббировал книгу критик Лев Аннинский, и Владимов, в полном соответствии с моим прогнозом, получил премию».

Вся эта история говорит о поразительной гнилостности всего нашего литературного мира. Он готов кричать «да здравствует» по любому предложенному властью поводу. Гибкость убеждений творческой интеллигенции удивительна. И ведь почти так же она вела себя после революции. Были, конечно, исключения, но наши титаны не из их числа.

«За что меня выгнали с работы и заставили уехать из страны? За то, что я со страниц «Независимой» сказал обезумевшей либеральной клике, породнившейся с криминалом и фашизмом, что присуждение премии роману Владимова есть не что иное, как ревизия решений Нюрнбергского суда. Прямая реабилитация исторического фашизма. Преступление».

Собственно, это, судя по высказываниям, послужило последней причиной перед тем, как, объявив об этом публично, Виталий Тойевич Третьяков, тогдашний редактор нг, выгнал Ляmпорта из редакции. Но это были не все шалости моего любимого критика. Когда впервые мы с ним встретились на жюри «Антибукера», я уже вырезал все его газетные публикации. Я будто чувствовал, что с ним может что-то случиться, и тогда же пригласил его в аспирантуру. Правда, тогда я не знал всех обстоятельств его жизни. Такое ощущение, будто Ефимом руководил я—вернее, он руководствовался моими смутными ощущениями и догадками. Как я хорошо помню эти

1. Начало публикации: «ДиН» №2, 2011.

первые «Букеры»! И как, в принципе, был Ефим дальнозорок. Это уже потом Окуджава подвергся обструкции народа в Минске. Особенность позиции Лямпорта заключалась ещё и в том, что ему не могли сказать — антисемит, но и талант критика был отменным. <…>

Жизнь любого современного российского литератора — это постоянная борьба не только с литературными начальниками, министерскими чиновниками, смотрящими на литературу, как на огород, но и с литературными бонзами и секретарями, распределявшими и распределяющими премии, с вождями литературных тусовок, определяющими табель о рангах в литературе. Но это ещё и борьба за собственное место, которое всегда готовы захватить родственники вождей, бонз, предводителей, начальников, жён начальников и пр. Ах, эти литературные династии и литературная родня! Здесь я как-то взял книжку Сергея Чупринина «Русская литература сегодня. Путеводитель»: «Рыбакова Мария Александровна родилась 6 декабря 1972 года в Москве. Дочь критика Н. Б. Ивановой и внучка прозаика А. Н. Рыбакова. Училась на отделении классической филологии филологического факультета МГУ (1994–96), закончила Фрай университет в Берлине (1998) и аспирантуру Йельского университета (США). Магистр искусств. В 2002–2003 годах преподавала латынь и историю Древнего Рима в Центре древних цивилизаций Северо-восточного университета в Чанчуне (Китай)». И снова скажете мне, что у нас общество равных возможностей? М. А. Рыбакова, дочка критика и внучка прозаика, ещё и романистка! Как эти удивительно талантливые дети умудряются так устраиваться, чтобы потом с таким запасом прочности войти в мир? <…>

Но пора взглянуть на то, что удивило Гришу Заславского, — что же Ефим Петрович всё же написал обо мне. На фоне общего забвения. Уже и это радует моё честолюбивое старое сердце. Я вписался в один из поворотов жизни Ефима, но опять столкнулся с замечательным критиком Латыниной. Я ведь не забыл, какой несправедливой, но «партийной» критике я сподобился в «Литературной газете». Это произошло после того, как вышла моя повесть «Стоящая в дверях». Карты были раскрыты. Отделом тогда руководила Алла Латынина.

«Татьяна Земскова, редактор Центрального телевидения, подбила меня с Сергеем Николаевичем Есиным делать передачу на Первом канале. Придумали название: «Наблюдатель». Сняли пилотный выпуск. Цензуры в ельцинские времена, как известно, не было, поэтому Алла Латынина служила на Первом канале не в должности цензора, а в должности внутреннего редактора. Передачу она и зарубила. Внутреннюю рецензию Латыниной отдали Татьяне Земсковой, Земскова написала в НГ письмо — с цитатами из Латыниной. Опубликовали. Тоже можно найти, почитать. Поучительно. Особенно в свете разговоров о ельцинских вольностях».

Меня подмывает взглянуть на эту рецензию. Надо бы её найти. Но до этого надо поместить ещё и абзац, так восхитивший Гришу Заславского. Вот он. Ефим Лямпорт, выпихнутый из этого мира своими коллегами, уезжает в эмиграцию.

«В Шереметьево на машине Литинститута меня и мою семью привёз Сергей Николаевич Есин. Вместе таскали чемоданы. Через год он помог собраться маме».

Это один из самых острых моментов моей той жизни. Я хорошо, до деталей, помню, как мама Лямпорта улетала в Америку вместе с огромным котом. Его долго не могли поймать дома, поэтому возникли какие-то тревоги, потом некоторые сложности возникли, кажется, из-за кота в Шереметьево. Но оказывается, я, проводив своего молодого товарища, пропустил ещё одну сцену, связанную с ним.

«И буквально на следующее утро после моего отлёта (друзья по телефону рассказывали взахлёб) в какой-то развесёлой телепрограмме ведущий поздравил россиян с тем, что из России уехал — наконец-то! — тот самый ужасный Лямпорт, неоднократно оскорбивший, оклеветавший наше лучшее всё, поднявший руку, осмелившийся… Я ещё подумал, что водевиль какой-то. В безошибочно дурном вкусе».

Цитированные выше сцены каким-то образом связаны со мною, но само огромное интервью заслуживает того, чтобы стать одной из вех современного литературоведения и критики. Я пропускаю суровый «наезд» Лямпорта на Быкова, огромное рассуждение о роли критики в сегодняшней литературе и об американской критике в частности — здесь всё полно удивительных точных деталей, это интервью — событие в литературе. Но, кажется, очень неплох и весь номер «Ex libris». Я думаю, что я продолжу своё чтение этого издания. <…> А на даче благодатно и светло, но жарко.

18 июля, суббота

<…> Уже второй день изучаю «Независимую газету» и её приложение «Ex libris». Есть вещи и увлекательные, и неожиданные. Например, последнее «прости», которое своему другу, только что навсегда ушедшему Георгию Вайнеру, посылает действующий писатель, претендующий на место в литературе, Михаил Ардов, но почему-то подписывает своё прощание как протоиерей Ардов. Мне это напоминает часто встречающиеся на кладбищенских плитах указания или звания, или чина покойного. Если на доске пишут под именем: писатель, — то, значит, здесь похоронен не писатель, а в лучшем случае литератор. И кому сейчас какое дело, состоял ли купец Севрюгин в первой гильдии или в третьей? Изо всех камер-юнкеров мы ведь знаем лишь одного — Пушкина. Должность, слава и известность писателя — его имя.

Но продолжаем чтение. Ожидаемым и подтверждённым оказалось, что Шиш Брянский—это филолог и языковед. Я помню его выступление в Политехническом музее. Или определённая инвектива против Захара Прилепина. Статья идёт под заголовком «Сахарный прилипала». В материале есть некий некрасивый намёк на вторичность полюбившегося мне романа.

«В один прекрасный день раздел «Научные работы» на сайте Прилепина может пополниться ещё одной научной работой под названием «Плагиат Прилепина». Мы ведь не можем исключить, что какому-нибудь филологу придёт в голову прочесть друг за другом два романа—«Скины» Дмитрия Нестерова и «Санькя» Захара Прилепина… В своё время мне довелось брать,—*это пишет полюбившийся мне Михаил Бойко, готовивший и интервью с Лямпортом,*—у Прилепина интервью. На все вопросы я получил развёрнутые ответы, и лишь один невинный вопрос был вымаран—о романе Нестерова. А ведь так просто было ответить: нет, не читал».

К этому можно было бы и прислушаться, но кто тогда писал почти гениальный роман «Патологии»? Всё это меня могло бы удивить, если бы я не знал, сколько, с точки зрения филолога-обывателя, вторичного в пушкинском «Евгении Онегине». Уже гениальное название «Санькя»—это не «Скины»; впрочем, роман Нестерова постараюсь прочесть. Но в этой же статье Михаила Бойко есть занятнейший пассаж. Бойко—борец, солидаризировавшийся с крутыми либералами, для которых влияние Прилепина на публику—это равно самоубийству.

«Плохо и то, что с критикой Прилепина до сих пор выступали почти исключительно совсем уж сомнительные авторитеты вроде Петра Авена, Валерии Новодворской или Тины Канделаки. Пытается бороться с оголтелой раскруткой Прилепина Наталья Иванова. Но вот оно, следствие многолетней ангажированности: когда Наталья Иванова говорит абсолютно правильные вещи—ей уже никто не верит».

Это гвоздь, заранее забитый в крышку… <…>

24 июля, пятница

<…> Оставшийся день сидел с рукописями и бумагами, кое-что читал. Физических сил у меня не хватает, чтобы перелопатить весь ворох возникающих соображений. Тем не менее, вот две любопытных цитаты из только что вышедшей «Литературной газеты». Во-первых, колонка Дмитрия Каралиса, за порой отчаянными высказываниями которого я уже начал следить. Дмитрий пишет на опасную, как бритва, национальную тему.

«Почему, казалось бы, такая очевидная реалия, как национальность, в нашей многонациональной стране находится под негласным запретом? Почему упоминание национальности рабочего Иванова и олигарха Абрамовича может быть отнесено к уголовно наказуемым деяниям, к статье «Разжигание вражды по национальному признаку»?»

Вторая цитата—об известном певце Андрее Макаревиче. Я взял её из рецензии Александра Яковлева на роман Вадима Ярмолинца «Свинцовый дирижабль „Иерихон 86–89“», оставшийся в коротком списке «Букера». Это пассаж об известном певце Макаревиче. Есть элемент мстительности в моём отборе. В своё время, не будучи знакомым со мною, Макаревич проголосовал против меня во время выборов в Авторском обществе. Почему бы сейчас мне не ответить ему чужой цитатой? Газеты быстро уходят, а книги иногда живут дольше и передаются из рук в руки. В принципе, с мыслью о ловкости Макаревича, довольно удачно жившего в советском прошлом, которое выдаётся за ад сегодня, я солидарен.

«Меня от этой песни тошнило. Ещё сильнее меня тошнило от самого Макаревича, от его напускного вида усталого гения, поскольку этот гений играл, как играли двадцать лет назад группы типа «Credence». Хотя—что я говорю! У тех что ни песня, то хорошая мелодия, взять одну только «Who will Stop the Rain», а у «Машины» что ни песня, то фига, и даже не в кармане, а возле него, чтобы начальству виднее было. И начальство в своём перестроечном порыве мимо этой фиги не прошло. И вот, пожалуйста,—мотор ревёт, и новый поворот! И так он, всем на радость, заводной, перестроечный, оптимистичный и снова с фигой, поскольку содержит щекочущий начальственные нервы вопрос: «Что он нам всё-таки несёт—пропасть или взлёт?» Между тем вопрос чисто риторический, потому что новый поворот несёт Макаревичу с его бригадой в красивых разноцветных пиджаках взлёт, а всем остальным—не несёт ни хрена!»

Комментарии к этой цитате опускаю. <…>

2 августа, воскресенье

Хватило собранности сразу же утром уехать на дачу. Прихватили ещё Володю и Машу, с ними их же, отраднинский, Саня. Он их ровесник, работает охранником, сейчас безработный. Я изучаю жизнь московской окраины. Правда, ребята хорошие; я чего-то покупаю из продуктов, часть покупает С. П., но зато они ведут хозяйство. Маша специализируется по агротехнике, Володя топит баню и ведёт текущий ремонт. Именно это и позволяет мне вести на свежем воздухе кое-какую текущую работу.

Участок за две недели, что я не был, весь зарос. Но уже пошли огурцы, и кажется, в этом году будет много помидоров. Я уже не говорю о чесноке и кое-какой другой зелени.

Что за время моего отсутствия случилось в России, без газет малопонятно, но по телевизору

показали пребывание патриарха Кирилла в Севастополе и его богослужение в Херсонесе, где, по преданию, был крещён князь Владимир. Несмотря на чтение книги Купцова, всё это во мне вызывает добрые чувства.

Днём, пока ребята занимались участком, а С. П. обедом, я сидел над приведением в порядок записей в дневнике и читал толстушку «Аргументов и фактов», прихваченную в самолёте. Есть две занятные, всё на мою же тему, цитаты, которые и привожу. Одна из статей, кажется, бывшего пресс-секретаря в правительстве Ельцина Вяч. Костикова. Номер газеты, кстати, юбилейный.

«Доставшиеся нам от эпохи Ельцина и олигархические по происхождению кадровые резервы,— *пишет автор, в подзаголовке статьи которого стоит: «Необходима бюрократическая революция»,*—слишком задержались у пульта управления. Они, может быть, и были полезны в период, когда стабильность, удержание власти и сохранение в неприкосновенности «либеральной цели» ценились выше императивов развития. Их жестокая политическая ангажированность и «личная преданность», возможно, и были исторически допустимыми. Но сегодня они не обеспечивают ни потребностей роста, ни улучшения привлекательности российской модели. Напротив, их неспособность обслужить потребности реальной экономики, их раздражающее словоблудие уже негативно сказываются на настроениях населения, генерируют недоверие к власти, а следовательно, и новую нестабильность».

По кому идёт огонь, совершенно понятно. Но связывать недовольство населения с тенденциями самого нового времени—это слишком круто. Если бы русские были как итальянцы, бастующие по каждому поводу, то всё давно выглядело бы по-другому.

Вторая статья связана с Черкизовским рынком, её выстрелы направлены в ту же сторону.

4 августа, вторник

Собственно, я почти никогда не был так долго на даче. Живу, как мечталось. Потихонечку, по мере сил, копаюсь в огороде, поправляю и редактирую дневник за итальянские числа, думаю о романе. Роман уже поднадоел. «Дворня» занимается своими делами, но всё время что-то делает по хозяйству. Вечером коллективом посмотрели старый фильм Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». Фильм этот я видел раньше с Валей, но уже забыл, помню только знаковую сцену, как вся компания идёт по дороге. Многое, что тогда проходило мимо нас из анализа поведения буржуазии, теперь оказалось просто нашим: коррупция, пустота чиновников, недееспособность армии. Вечером читал подаренную мне Марком Заком последнюю книжку о кино. Это погодовая выборка из его монографий и статей о тех или иных фильмах. На этот раз и отобранные куски поживее, и сама идея создания описания лучших, знаковых фильмов с 57-го по 84-й чрезвычайно любопытна. «Фильмы в исторической проекции». Марк всегда отличался некоторой дубовостью стиля, а здесь чуть повеселее.

Опять снилась Валя, ей сделали операцию на одном глазе, как бы спасли зрение, и теперь она снова будет жить со мной. Я ещё раз увидел её огромные сияющие глаза. Дальше продолжать не могу, уже у меня из глаз слёзы. Во сне видел также и своего брата Анатолия. Как он там?

6 августа, среда

Утром сидел над седьмой главой и несколько её продвинул. Весь день летит, если уходишь из дома рано и даже если думаешь, что поработаешь где-нибудь на работе. План был такой: заехать в Московское отделение—вышел очередной номер «Колокола» с шестой, предпоследней главой «Кюстина». Оказалось, что в этом номере, хотя он и вышел ничтожным тиражом в 200 экземпляров, напечатана ещё моя статья о театре Гоголя—полный вариант со сравнениями и былыми сокращениями. Потом пешком, с Никитской улицы, переулками, по Бронной—в институт, а уж оттуда, вечером,—на Бережковскую набережную, напротив Киевского вокзала. На пароходе «River Palace» Борис Семёнович Есенькин, генеральный директор компании «Библио-Глобус», т. е. огромного и, безусловно, лучшего книжного магазина Москвы, справляет свой юбилей. Кажется, предстоит нечто грандиозное. Вместе с пригласительным билетом мне прислали и рекламный буклет этого «River Palace». Это судёнышко водоизмещением в 200 000 тонн, которое своим ходом побывало в Париже на «гастрономических гастролях» и в Лондоне, хотя оно сошло со стапелей только 8 августа прошлого года. Здесь уже побывали Дм. Медведев, Мирей Матье, Галина Вишневская и Валентин Юдашкин—список цитирую по буклету. Список сам по себе занятен: вот так в России выстраиваются приоритеты. От президента до портного.

Пока ехал в метро, прочёл две бросившиеся мне в глаза статьи. Одна о том, что ректоров двух университетов будет назначать президент, причём значения иметь не будет, насколько я понял, сколько ректору будет лет, а вторая статья о том, как командующий округом отправил служить в обычную роту солдат-певцов и танцоров из ансамбля. Насколько я понял, решение о ректорах сделано под В. А. Садовничего. Недаром, видимо, Виктор Антонович впустил в МГУ своеобразную ВПШ «Единой России». Само соседство двух статей занятно: с одной стороны, в законе об образовании делается некое изъятие для персоны, которую не выбирает университет, а представляет президент страны, а с другой—там, где сама логика жизни в искусстве и многолетняя традиция требует некого исключения, тут всё как надо, всё делается по закону. Воистину наш закон что дышло: куда повернёшь, туда и вышло.

В начале шестого добрался наконец до Бережковской набережной. Корабль-ресторан оправдывает название «Palace». Это заведение высшего типа—по кухне, еде, количеству официантов, посуде и десятку мелочей, которые определяют

и стиль, и характер подобного учреждения. Чтобы покончить с этой частью темы, сразу скажу: всё было организовано прекрасно. Что касается еды и напитков, то они были выше всяких похвал: в Кремле на официальных приёмах, где я всё же бывал, так никогда не кормили. Юбиляр проявил и щедрость, и организационный талант. Работала беспроигрышная лотерея, всё время кто-то пел, танцевал, артисты менялись и менялись, был конферансье, как сказал поэт Вишневский—«звезда Юрмалы». Мне показалось, что это-то было не так хорошо. По крайней мере, и конферансье, и сам Вишневский стихи читали такие народные, что слушавшую рядом со мной эти сочинения Ларису Васильеву приходилось утешать. Гостей, по моим подсчётам, было около двухсот человек. Из вполне определённо знакомых мне людей—Серёжа Кондратов, Юра Поляков, Лариса Васильева, Володя Вишневский, Людмила Шустрова, Евгений Евтушенко с женой Машей, наш, из клуба, Степанец, которого я со всеми знакомил. Кстати, в результате моего сватовства Серёжа Кондратов вроде решил выпускать собрание сочинений Полякова и собрание Евтушенко. Я в свою очередь, поговорил с ним о Кюстине. Серёжа невероятно молод, элегантен и предупредителен. Говорит, что много физкультуры. Кажется, у него дома свой бассейн. Во время разговоров и бесед подумал, что я со своими огромными связями не имею ни собрания, ни достаточного количества книг и денег.

Борис Семёнович был в белом костюме, подтянутый, энергичный, почти молодой. Всех встречал у трапа—как и на любом приёме, здесь организовалась очередь,—был мил, предупредителен и обаятелен. Празднество предполагалось проводить до 24-х часов, но я всё же вышел на технической остановке что-то около десяти. Я юбиляру подарил толстую книгу, изданную в «Дрофе», приблизительно с такой надписью: «В день юбилея (не без авторского садизма) знаменитому книжнику и директору самого большого книжного магазина в Москве, книгу, которой нет у него на стеллажах».

Отдельно не могу не написать о Е. А. Евтушенко. Собственно, знаком я с ним уйму лет, но впервые как-то его по-другому понял. И это не ответ на его комплимент, когда он при всех сказал, что Сидоров струсил дать ему диплом об окончании вуза, а Есин, дескать, нет. Я ему, правда, объяснил, что Сидоров просто не мог этого сделать, потому что существовали другие законы. Сидоров, вероятно, не знал о некоторых связанных с законами возможностях. Я сначала получил право на экстернат, которым, правда, воспользовались только единожды. Исключительно под Евтушенко практически и получали. Попутно вспомнили о Зинаиде Ермолаевне, уже покойной матери Е. А. Собственно, затеяв это длинное отступление, я хочу сказать только о двух моментах. Первый—это воспоминание о поездке Е. А. по Лене: «Я ехал по местам и читал стихи там, где даже не знали слова «поэзия» и, по крайней мере, никогда не видели живого поэта». Второе—это прекрасная его застольная речь, вызвавшая аплодисменты всей разномастной публики. Е. А. говорил об отмене сочинения при поступлении в технические вузы. Он каким-то образом, но очень справедливо, связал это с тем, что шестидесятники—техническая интеллигенция, которая, собственно, и вывела нашу страну в космос и к другим достижения цивилизации,—были ещё и прекрасными, лучшими нашими читателями.

7 августа, пятница

Не выспавшийся, что-то, как всегда, перепутав, утром в девять поехал в институт: мне показалось, что сегодня в десять начнётся экзамен по этюду, но сегодня день объявления результатов творческого конкурса, и в соответствии с законом об образовании, в который вляпалась вся страна, будут проводиться апелляции. С этим я сидел весь день, иногда мне помогал М. Ю. Стояновский, как член комиссии. Проводить одному апелляцию было нельзя. Собственно, запомнился мне один парень, который написал 40 страниц без единого абзаца. Текст его был полон телевизионными и кинореминисценциями. Но что-то иногда в его страницах прорывалось живое. Я может быть, и взял бы его на платной основе к себе в семинар—как меня уговаривала его мать,—но парень совершенно больной и абсолютно в литературе тёмный. Не мог во время беседы вспомнить элементарных вещей из Л. Толстого и Ф. Достоевского. Мне даже непонятно, как он смог закончить школу. Похоже, что этот бедный парень наблюдается у психиатра. Кое-каких девчонок мне тоже было жалко. Какие-то огоньки иногда просвечивались и у них. Особенно у одной девушки, которая учится в автомеханическом институте. На очное отделение мы взяли только двадцать парней на шестьдесят с лишним мест. Вуз, конечно, феминизирован. Но как им всем объяснишь, что при всём прочем отбирал их и браковал мастер и теперь принудить этого мастера, повышая им оценки, взять их очень трудно. Это всё равно что принудить парня, которому девушка не нравится, полюбить её. Силой мил не будешь. Правда, одному парнишке, которого отбраковал Куняев, я всё же поднял балл до минимума, чтобы он принял участие в следующем экзамене. Парень писал только на античные темы, упоминая всех античных героев. <…>

8 августа, суббота

<…> Вечером по «Эху Москвы» какой-то парень, компьютерщик и писатель, говорил об Америке, из которой он только что вернулся. Кажется, он реиммигрировал. Она совсем не показалась ему раем. Я бы с удовольствием прочёл его какие-нибудь книжки. В частности, у него есть какая-то своя теория относительно 11 сентября. По крайней мере, то, что он рассказывал, было ново и интересно. <…>

9 августа, воскресенье

<…> Вечером по каналу «Культура» показали замечательный зарубежный фильм—это реконструкция одного из дел молодого Цицерона. Видимо, его речь на этом процессе послужила документальной основой. Это об убийстве неким сыном своего отца, чтобы получить наследство. На самом деле всё

было сфальсифицировано, чтобы это «наследство» через аукцион получил некий богатый отпущенник, любимец Суллы. Именно во время этого процесса тогда ещё молодой адвокат Цицерон произнёс своё знаменитое: «Кому выгодно?» Всё, к сожалению, оказалось очень похоже на наше время. Может быть, ничего и не изменилось? Такая же страсть к чужому, такая же бесстыдная власть, даже под другими названиям существуют политические проскрипционные списки. Отличие лишь в одном: защищая это безнадёжно проигранное дело, Цицерон дрался и за свою жизнь, которой мог лишиться в случае проигрыша. И ещё: коллегия суда, к которой обращался адвокат, не побоялась вынести вердикт, который наверняка не понравился власти. Не меняется ли всё же наш мир к худшему?

Кадыров высказал пожелание, чтобы Путин стал пожизненным президентом. К слову, совсем недавно в Чечне убили правозащитницу из «Мемориала». <…>

11 августа, вторник

<…> Утром, в постели, прочёл рассказ Анатолия Ливри, который он прислал в «Российский колокол». Журнал с моим романом, о котором он мне писал, был наводкой. Это всё та же известная мне история со славистикой в Сорбонне и минутой молчания по поводу всё тех же событий 11 сентября. В какой-то степени Ливри сейчас самый яркий по стилю писатель, пишущий на русском языке. В каждой фразе—какой-нибудь замысловатый или изысканный троп. Вот начало рассказа, хотя по сравнению с другими его частями не самое яркое.

«Утренний Париж смотрелся старичком в коляске, розовым, чистеньким, амнезичным, с парализованной правой стороной. Город был недвижим, беззвучен, и только Сена, прячась за горбатым дворцом—тоже ухоженным, точно оскоплённый хищник в клетке,—с шипом влачила свои воды прочь из Европы».

Сколько смыслов, и как безошибочно! Не знаю, насколько точно описана современная славистика Сорбонны и насколько всё документально, но сделано это чрезвычайно жестоко. Предельно жестоко, убийственно. Выписываю, поскольку это ещё и описание еды.

«Ах, эти сентябрьские устрицы! Ох уж эти жареные тетерева животами вверх! Ах, этот Арарат грецких орехов с молочным Тереком пастилы! А вазы, полные фруктов! И где сейчас этот мученик лосось с укропом в питоновой ноздре?! А рахат-лукум с круассанами и калачами! А тот поросёнок, пожертвовавший славистике последними неделями своей жизни и павший на оловянное университетское блюдо средь комьев капусты с чёрной сливой, разорвавшей ему пасть! Вечная ему память! И пусть славится в веках красная гвардия пивных банок да караул из задастых бутылей цимлянского, которое довольно успешно выдавалось профессорами начальству за шампанское!

А начальство действительно ожидалось. Не потому ли появились в горшках тюльпаны, уже наказанные за свою свежесть и повёрнутые меловыми лицами в угол?—и не из-за высоких ли гостей лесбийская пара матрёшек да их многочисленные отпрыски лишились русых бород, которые они отращивали месяцами на книжных шкафах и которые заставляли чихать смуглянку-библиотекаршу с безуховским ключом на плоском заду?—не для них ли динамики пряли веберовское «Приглашение к танцу», а стадо девиц своими красными руками с плебейским выражением пальцев волокло стонущего клавишами «Петрофф'а» к стенке, оклеенной обоями гри-перль с бордюром, и посреди которой, словно жучок микрофона, виднелась шляпка гвоздя. На неё, в зависимости от ситуации, вешался то портрет Путина, то де Голля лондонского периода, коего незлобивая художница по ошибке наградила капитанскими эполетами петеновского адъютанта. Сейчас же—Толичка это сразу заприметил—обе картины были спрятаны под стол с пивом, а у стены скучал пустоголовый бюст Набокова с откушенным сорбонновской Агафьей Федосеевной ухом».

Как мне кажется, если журнал дойдёт до Парижа, то опять возникнет скандал. Но Толичка—в рассказе Анатолий Ливри так именует своего героя—этого и хочет, и по-своему прав: око, как говорится, за око. Но себя, тем не менее, любит безумно.

«Толичка с удовольствием воззрился на своё отражение: намеренно туповатый взор манекенщика, расколошмаченные о макивару костяшки кулаков, бычий лоб, белые одежды, сходящиеся складками в выпуклой промежности,—всё то, за что его и взяли преподавателем в Сорбонну…»

<…> Вечером, когда я приехал в Москву, то нашёл в почтовом ящике новую посылку от Ашота. Это копия указа Лужкова о присуждении премий Москвы. Я выписываю только то, что меня или интересует, или волнует. Во-первых, Инна Кабыш премию не получила, потому что в последний момент «Литературная газета», которая её представляла, не принесла необходимый листок по учёту кадров. Но это ещё и привычка поэтессы, чтобы всё было кем-то сделано: у неё плохие отношения в собственной школе, а ходить объяснять и просить у дирекции, видимо, не хотела. Обидно, потому что можно было бы подобрать что-то достойное из современной литературы. Литература опять потеряла место. Но есть и приятное: Олег Кривцун, автор замечательной книги «Творческое сознание художника», премию получил. Я приложил здесь много сил. В секции преимущественно театроведы, и все они лоббировали своих. Получил премию и Олег Пивоваров, редактор «Театральной жизни». Что касается премии по кино, то её давали коллективно за фестиваль «Московские

премьеры». У А. Баталова, который был в этой группе «паровозом», премий вагон и тележка, но вот В. Шмыров заслужил. В этом же списке есть ещё и Елена Ардабацкая, редактор отдела кино «Московского комсомольца».

Средства массой информации гудят из-за открытого письма Д. Медведева В. Ющенко. <…>

17 августа, понедельник

Сходил утром к зубному врачу Элле Ивановне и включил радио. Два события: одно почти привычное—в Назрани взорвали местное увд, большие жертвы, террорист-смертник въехал на машине во двор учреждения и подорвал себя; второе происшествие можно квалифицировать как катастрофу. На Саяно-Шушенской гэс во время ремонта вышел из строя один из агрегатов, в машинное отделение хлынула вода, разрушена стена машинного зала. Погибло 8 человек ремонтников и рабочих, и объявили ещё о более 50-ти пропавших без вести. Наверное, тоже погибли. Отключены все десять агрегатов.

Как это произошло, мне непонятно; по сообщению местных властей, может быть частичное подтопление. Чуть ли не целый день был отключен ряд регионов Сибири. Ещё в четыре часа по Москве в половине Абакана не было электричества. К вечеру кто-то из начальства сказал, что на изготовление новой турбины и генератора потребуется чуть ли не два года. <…>

18 августа, вторник

С утра ходил к нотариусу, отнёс документы. Там же посмотрел на письмо о вкладах В. С. в сберкассу. С 2005 года, с которого она не брала пенсию, накопилось 167 тысяч рублей и лежит ещё около тысячи долларов. В. С. и оттуда помогает мне.

Довольно долго занимался Интернетом и телевизором, они подключены через компанию «Акадо». Мне всегда казалось, что компания чуть плутует, когда берёт за месяцами не востребованный Интернет и телевизионные программы, но у них появилось и новшество: выключают без предупреждения, без «письма» на экране, которое было раньше. Недавно, внеся 1000 рублей, решил, что буду какое-то время жить вольно,—не тут-то было. Я целую неделю думал, что встретился с какой-то неисправностью в сети, потому что раньше о выключении Интернета всегда предупреждали, но оказалось, что всю систему просто отключили. Но из новшеств это не последнее: за включение теперь ещё и берут 232 рубля. Мне даже показалось, что теперь фокусы с «отключением» будут возникать постоянно. Выгодно.

Вечером опять читал книжку Купцова. Масса любопытных исторических сведений. Это как бы закулисье нашей истории.

Церковь и невмешательство в дела мирские

«Из воспоминания участника Гражданской войны Калмыкова: „В 1919 году красные, тесня деникинцев, подошли к селу Хотмыжек Борисовского уезда Курской губернии. Шла перестрелка, и, прикрывая отход белых, с колокольни хотмыжской церкви красных обстреливали из пулемёта. Когда взяли село, то окружили и обыскали церковь и нашли там спрятавшегося деникинского пулемётчика и попа, который в бинокль следил за боем и подносил пулемётчику патроны“». Стр. 196.

Это фрагмент о том, на чьей стороне была нейтральная церковь.

О белом терроре в Сибири

«По сути, большинством жертв белого террора были те, кого «сдали» попы, так как они хорошо знали местные условия и жителей». Стр. 197.

Таких примеров и ссылок на книги, где эти примеры можно было бы найти, автор приводит множество и потом итожит:

«И когда вам где-нибудь в сми какая-нибудь падаль говорит, что его деда (знакомого, отца, брата, отца или деда жены и т. п.) посадили или, того чаще, расстреляли *как священника*—это ложь!

В 100% случаев это означает, что уже после Гражданки или неожиданного для белых наступления поймали какого-нибудь попа из карательного отряда Мамонтова или Семёнова, а то и просто палача, который насиловал, пытал и расстреливал. И уже в любом случае доносил, обрекая на смерть и пытки».

Кто грабил церкви

«Бывший белогвардеец И. Лунченков следующим образом рассказывает в своих воспоминаниях о мамонтовской добыче *(знаменитый победный рейд Мамонтова по красным тылам.—С. Е.)*, о её дальнейшей судьбе и о грабеже других семейных ценностей: „Главную часть добычи составляли ризы, иконы и кресты, изъятые из «храмов божиих» Центральной России, да многочисленные сейфы банков тех городов, где прошёл огнём и мечом Мамонтов“».

Это, конечно, фрагмент проблемы, но в книге есть и его продолжение; собственно, здесь отображено многое.

19 августа, среда

<…> Сегодня поехал в институт, чтобы отвезти книжки для сестры Татьяны, за ними к проходной подойдёт кто-то из её подружек. Но пришлось ещё проверить четыре этюда из «платников», которые позже подали заявления. Уровень, конечно, ничтожный, еле-еле для девушек наскрёб проходной балл, какой-то паренёк написал значительно лучше. Прозаики. Это опять старая песня: мужчины и женщины в литературе. Татьяна Никитична Толстая была права: у мужиков это получается лучше. С Л. М. говорили о президентстве Медведева, на голову которого скатилось столько государственных несчастий.

Обедал с ректором, поговорили об Италии; кстати, сын БНТ, мой любимец Федя, только что прилетел из Венеции; говорили о Болгарии, откуда БНТ только что вернулся. Среди прочего возникла идея и чтения курса о славянских литературах. Я напомнил, что в институте есть кафедра русской классической литературы и славистики.

По дороге к метро встретил Серёжу Арутюнова и так славно с ним поговорил. Кстати, впервые узнал, что четыре месяца он был в Абхазии во время войны. Много интересного он рассказал и о некоторых публикация в «Знамени». У меня Серёжа всегда вызывает свежее впечатление, я так рад, что он как никто живёт в литературе.

Вечером долго варил очередной борщ. Особенность его состояла в том, что я забыл положить в него капусту. Но когда пошёл к телефону, обнаружил у двери, на столике в прихожей, кочан капусты, который купил. Пришлось доваривать. Во время гастрономической акции по «Эху Москвы» Алексей Венедиктов разговаривал с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Тема—события августа девятнадцать лет назад, путч и т. д. Неумный, заискивающий перед радиоведущим человек, бывший кумир-разговорник, не изменил себе. Всё та же двойственная позиция, виляние, выяснились не украшавшие его подробности—звонок Ельцину; человек без нравственного стержня. Намекнул, что самолёт, на котором он возвращался из Крыма, вроде бы хотели сбить. Много говорил о прослушках в его квартире на Ленинских Горах. Не постеснялся сказать, что Лукьянова тянул потому, что вместе учились, а потом попрекал, как много для него сделал. Полное непонимание, что, кроме жажды власти, у других людей существуют убеждения. Рассказал об истерике Раисы Максимовны, что теперь, дескать, его собираются убить, о каких-то людях в камуфляжах, которые ползком пытались окружить его дачу в Форосе. Почему не рассказал, что при строительстве его дачи была вырублена половина рощи реликтовой сосны? Жалкий человек, заклеймённый предательством. Тот же Купцов о нём пишет так: «До 1987 года, когда пятнисто-лысая сволочь Горбачёв начнёт восстанавливать в России капитализм, остаётся 15 лет. За это время СССР должен стать «империей зла» и «империей лжи». И начало об этом должны положить (кроме мифа о красном терроре) гонения на РПЦ». Кстати, Купцов очень доказательно пишет, что эти гонения были талантливо организованы Хрущёвым, другим либералом.

Сообщали, что восстановление Саяно-Шушенской может обойтись в 40 миллиардов рублей. Оказывается, повреждены были не два, а пять агрегатов. 60 человек—всё ещё «пропавшие без вести», т. е. на дне двадцатипятиметрового затопленного водой колодца машинного зала или смыты водой.

20–21 августа, четверг—пятница

Два дня сидел дома и работал над романом. К вечеру пятницы седьмая глава почти закончена, как-то всё живо пошло, и остался лишь последний, «самый современный» эпизод. Им, наверное, станет авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Слушал все передачи, читал статьи в «Российской газете». Из довольно уклончивого интервью председателя правительства Хакасии привожу несколько фрагментов. «Между тем, оставалось непонятно, куда растворилась пятая часть акций станции, которую правительство Хакасии в своё время передало собственникам в обмен на гарантированные льготы по тарифам на электроэнергию. Есть постановление за подписью Черномырдина, есть решение арбитражного суда о том, что это соглашение бессрочно, однако про льготы как бы забыли». Основным словом здесь было *«собственники»*. Судя по всему, это не государство, потому что дальше Виктор Зимин говорит: «Статус стратегического объекта был понижен, государственное влияние на его безопасность практически свелось на нет». <…>

22 августа, суббота

<…> Уже на даче, куда мы приехали поздно, после всех заездов за продуктами в «Перекрёсток», я ещё раз подумал, что в известной мере дача меня спасает. Два дня в неделю—когда я дышу другим, чем в Москве, воздухом, хорошо, благодаря стараниям С. П., ем, сижу в бане, а главное, это единственное место, где я высыпаюсь,—дача меня спасает.

За рулём от начала, от моего дома, с заездом к С. П., всё время был Володя. Это очень облегчает мне жизнь, позволяя всю дорогу грызть тыквенные семечки, участвовать в отгадывании кроссворда, которое кипит на заднем сидении, и даже прикладываться к «Медовухе», которую С. П. купил в предчувствии своего скорого дня рождения. Естественно, параллельно со всем этим я обдумывал и то, как закончу роман.

Довольно долго сидели в бане, о чём-то разговаривали, до бани смотрели по НТВ любимую передачу простого народа «Максимум». Прелесть этой передачи—в её каком-то восхищённо-мстительном характере и в том, что её содержание—при всём обилии в ней знаменитых лиц—немедленно забывается. Что касается телевизионных споров, то Маша большой специалист по «Дому-2», который она смотрит страстно и с подробностями много лет. В известной мере Володя тоже воспитанник телевидения. Схватились, естественно, по поводу Ленина, о котором, так же как и о былом, никто ничего не знает, но все судят.

23 августа, воскресенье

Поднялся несколько позже, чем обычно, чуть ли не в девять. Иногда я рад, что молодёжь засиживается почти до утра за пивом, а потом чуть ли не до трёх часов спит. Это моё время, я спокойно читаю, принимаю лекарства, медленно встаю, разминаюсь в спортивном зале, поливаю огород, смотрю на цветы, обрываю последние ягоды с кустов чёрной или красной смородины, снова ложусь или открываю компьютер на террасе возле открытого окна. В общем, если говорить сразу, то уже под вечер, близко к отъезду, часам к пяти, я с облегчением написал последнюю фразу в седьмой главе. Роман окончен.

Сразу скажу о новом чувстве, которое раньше я не испытывал, хотя не первый раз заканчивал роман и ставил последнюю точку. Но это был особый роман. Во-первых, он писался под топором «поспеть в номер»: каждые два месяца, хочешь или не хочешь, пишется или не пишется, но положи на стол Ирочки в «Российском колоколе» главу. Здесь никто не станет считаться, есть у тебя «вдохновенье», успел ты что-нибудь придумать или не успел — вынь и положи. Сроки висели, как срок к расстрелу. Во-вторых, роман очень трудный потому, что ты зависишь не только от собственной фантазии и работоспособности, но ещё и от того, соберёшь ты материал или не соберёшь, — роман, где свирепствовала подлинная документальная основа, которую надо было умело заворачивать в придуманный сюжет. Так вот, это было чувство немыслимого освобождения. Будто бы изменился свет, и я уже по-другому, более открыто и свободно, смотрю на мир. Кстати, когда я сказал об этом С. П., он поделился со мною и своим наблюдением: два последних месяца на моём лице всё время полыхала какая-то «лирическая смурь». <…>

24–25 августа, понедельник — вторник

Собственно, оба дня прошли совершенно одинаково. Утром я в девять уезжал на работу, а вечером, около восьми, возвращался. Естественно, так уставал, что ни о какой творческой работе речи уже не шло, поэтому заполняю дневник по памяти уже во вторник.

В понедельник шло собеседование с ребятами, поступающими сначала в семинар И. Л. Волгина, потом в семинар С. Ю. Куняева. Ни в том, ни в другом семинаре почти нет лидеров. Две тенденции, повторившиеся потом, на следующий день, и в большом семинаре А. Сегеня. Во-первых, много ребят, поучившихся два, а иногда три года в других и часто технических вузах, а потом решивших, что это не их дело. Это означало, что после десятилетки сломя головы, куда бы ни попасть, бежали в любой вуз, а потом взрослели и понимали, что всю жизнь с нелюбимой работой, как с нелюбимым человеком, прожить нельзя, и теперь пытаются перебраться к призванию. Во-вторых, чрезвычайно низкий общий уровень школьного образования. К этому я отношу и полное пренебрежение к отечественной литературе, вкус к которой, видимо, отбит со школы. Когда ребят спрашиваешь о современных отечественных писателях и писателях второй половины XX века, то почти всегда натыкаешься на полное незнание. Я задаю себе вопрос: зачем идти в отечественную литературу, которой не знаешь? Но ведь и литература обеднела: она, лишённая заинтересованных читателей, лениво критикует текущий строй и, лишённая идей, не знает, о чём же ей писать. Я думаю, что и любовь современных будущих писателей к так называемой фэнтези проистекает из полной опустошённости нашей идеологии. Без внутренней идеи между капитализмом и воспоминаниями о социализме. И капитализм-то без Бога тоже нехорош.

Обедал с ректором; он сказал, что в 80-ти государственных вузах недобор студентов. Этот недобор есть даже в МГУ. Я этому не удивился, мне казалось, что последнее время очень энергичный В. А. Садовничий больше интересовался своей судьбой, нежели результатами набора. Как я и предполагал раньше, мы набрали свой контингент полностью, несмотря на так называемую «демографическую яму».

26 августа, среда

Сегодня день рождения С. П., поздравил его утром по телефону и пошёл в «Ашан» покупать ему подарок. Чуть позже подарок и купил: целую упаковку, 12 пачек, кофе — 3 кг.

По дороге в «Ашан» проходил мимо здания «Газпрома». Буквально напротив моих «Красных домов» на улице Строителей ещё в самом начале перестройки из двух больших девятиэтажных жилых домов выселили жителей, и один огромный жилой дом отдали под здание «Газпрома», а второй — под здание Строительного комитета. Меня всегда привлекал комитет, в который после какого-то конфликта распределили бывшего секретаря ЦК КПСС Бориса Ельцина и где он ни разу не был. Оба здания, конечно, сильно модернизировали, пристроили к ним сзади гаражи, а спереди по два вестибюля. Я всегда, как налогоплательщик, с чувством заинтересованности наблюдал за тем, как всё это обустраивается, монтируются новые окна взамен старых, а наша улица наполняется самыми дорогими машинами, на которых приезжают служащие. Хорошо жить возле газа. Сегодня меня в очередной раз привлекли новые строительные экзерсисы газовиков. К своему роскошному вестибюлю они прилаживали роскошные гранитные ступеньки. Это, конечно, не Иорданская лестница в Зимнем дворце, но размах тот же. Я посмотрел на то, как при помощи гастарбайтеров и механизмов кипит работа, и порадовался, что, несмотря на кризис, наши газовики не забывают строительство и украшают свою жизнь.

Что-то часов в двенадцать тем же коллективом выехали в Обнинск. Ещё утром доваривал варенье из сливы. Чистил сливу и варил вчера вечером. Здесь и вспомнил В. С.: она любила чистить картошку или резать капусту в большой комнате перед телевизором.

В Обнинске расписание обычное: обед, баня, ребята в промежутке между обедом и баней смотрели кино, я попытался поспать, а потом немножко «поигрался» с компьютером и читал «Литературную газету». Прочёл большую статью Уткина о результатах ВОВ. Это некоторое допущение, что бы произошло в мире, если бы победила гитлеровская Германия. Картина получалась безрадостная, на которой и Америка могла стать страной второго сорта.

Количество жертв катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 69-ти; как я и предполагал, все нашлись на нижних этажах разрушенного машинного зала. И ведь никто за это отвечать не будет. Путин сразу предложил родственникам по миллиону из особого фонда правительства; родственники хотят пять. «И сапогов ещё не износив».

27 августа, четверг

<…> Вечером по радио и по телевидению — умер Сергей Владимирович Михалков. Похороны будут в субботу, надо возвращаться в Москву. Я с содроганием вижу теперь, как разграбят последнее, что осталось от Союза писателей СССР. Михалков был фигурой своеобразной, но его всё же и боялись, и стеснялись.

27 августа, пятница

Видимо, у меня начался период чтения. Уже в постели взялся за номер «Нашего современника», который в знак примирения мне подарил Куняев. За романы и прозу я и не берусь, потому что заранее догадываюсь о её качестве, но публицистика у них всегда отчётливая. «Гвоздём», конечно, стало интервью с Савелием Васильевичем Ямщиковым. Он недавно умер, и вопросов к нему больше нет. Вроде бы правленый текст интервью за три дня до смерти Ямщиков передал в редакцию. Весь материал посвящён М. Е. Швыдкому, бывшему министру культуры. Есть, конечно, подтексты, но основные тезисы: постоянная «всплываемость», поддержка иного лагеря, мздолюбие. По этому поводу — две цитаты. Всё, что сделано министерством во время Швыдкого, тоже подвергнуто критике: от вновь открытого музея Гоголя на Никитском бульваре до поддержки «Современника». Ну, с этим всё понятно, там свои и своя раскрученная пьеса, недаром С. Ямщиков говорит: «Благодаря дружбе с Ельциным процветает Волчек, Любимов вернулся на коне». Достаётся всем, хотя, если бы на коне были бы, как говорится, «наши», было бы не лучше. Теперь собственно ударная фраза, которую можно приравнять и к сплетне. Впрочем, после того, что я видел, ничего неожиданного для меня не существует.

«О какой демократии можно говорить после того, как в телепередаче «Постскриптум», посвящённой трофеям, Николай Губенко, бывший министр культуры и председатель Комитета по культуре Госдумы, а ныне депутат Московской думы, официально заявил: «Господин Швыдкой, я чётко знаю, что за Бременскую коллекцию вы получаете 280 миллионов долларов отката». Почему оскорблённый не подал в суд? А сколько было публикаций об антикварной торговле его жены; о том, как они для своего дачного участка отрезали кусок Рижской автострады…»

Приблизительно в том же духе и другой материал, уже рецензия Сергея Семанова на две книги женских мемуаров — последней жены композитора Никиты Богословского Аллы Богословской — с нею я знаком по РАО — и Валерии Новодворской, «бабушки» либеральной революции. Статья довольно невнятная, но названия обеих книг занятные. Богословская назвала свой том «Как я оседлала Никиту Богословского», а Новодворская — «Прощание славянки». Всадница и славянка! Здесь же, в рецензии, есть и семановский пассаж, называющий издательство Захарова «либерально-еврейским». Возможно, это и так, но издательство это — одно из самых интересных, почти все их книги я читаю. Обе книги в духе и характера С. Н. Семанова, я перекладывать и транслировать его мысли не стану, но одну цитату из Богословской, отвечающую моим представлениям, выну. Стр. 282:

«Бывшие „лабухи“ быстренько сориентировались, враз забыли наивные мечты тщеславной юности. Они вдруг стали руководителями телевизионных каналов, радиочастот, концертных и эстрадных площадок. Стадионы и корпоративные вечеринки тоже находились под их неусыпным наблюдением. В одночасье, как чёрт из табакерки, возник институт музыкальных продюсеров, уничтоживших на корню отдел пропаганды Союза композиторов. Откуда-то высыпала целая армия клубных промоутеров, ди-джеев и звёзд шоу-бизнеса, изгнав такой привычный и милый сердцу эстрадно-песенный жанр. Вся эта компания запела, заиграла, заговорила и затанцевала новую музыку „поколения пепси“».

Совершенно верно С. Н. Семанов сокрушается, что вдова не назвала ни одного имени из своего подразумеваемого списка.

Всё это написано утром. А впереди немалый день.

С утра идёт дождь, крыша в спортзале опять подтекает. Меня утешает, что жёлоб, по которому с основной крыши течёт вода, на этот раз не протекает в середине, — это проверка того ремонта и реконструкции, которые Володя провёл вчера.

Ещё до завтрака, который у нас переходит в обед, начал снова читать конкурсные работы. Дело это, конечно, утомительное, но зато много узнаёшь; пишут, чертяки, и все считают себя большими писателями. В основном это некая ирония над текущим временем. Читаю пока «мелкие» рукописи и стараюсь, пока не забыл, что вполне естественно, сразу же заполнить дневник и написать хотя бы короткую рецензию.

Владимир Вестер. «СССР, или Другая цивилизация». Есть и ещё один подзаголовок: «Жизнь и смерть короля рок-н-ролла». 190 стр., издательство «Зебра Е». Это очень милая серия «молодых» рассказов старого человека приблизительно из времени моей юности. Мило, но это какая-то мелочная, а не премиальная проза. Отблески дозволенного американского искусства в наших жизнях. Хорошие мальчишки, много думающие о сексе. Всё это скорее в традиции «южно-одесской» школы — правда, чуть сердечнее.

Леонид Медведев. «Один год. Повесть, рассказы». Здесь нет издателя, но обозначен тираж в 100 экземпляров. Внимательно прочёл первые рассказы и повесть. Всё вместе это должно как бы обрисовать круг жизни. Традиционная в высшем смысле повествовательная повесть, без какого-либо обострения стиля. Повесть — один год из жизни молодого парнишки из деревни, по путёвке попавшего на одну из великих строек, в данном случае в Комсомольск-на-Амуре. Мило,

трогательно, интересные детали, один раз даже не без трагизма—это когда мальчишка чуть ли не задохнулся под землёй в лазе для трубы. Это неплохое от природы и грамотное письмо—не больше.

Николай Ерёмин. «Комната счастья». Это уже изделие красноярских издателей, тираж опять самодеятельный—100 экземпляров. Автор—врач и выпускник Лита. Небольшие, резко отрицательные и насмешливые рассказы о нашем времени. Радует, что это профессионально и без потери вкуса. Вещи есть смешные: как, например, распределялись гранты партией «Бедная Россия» разным творческим союзам—обзор положения провинциальной интеллигенции. Неплохо, но и не более.

Пока в свой короткий список я могу внести только *Татьяну Чекасову* с её *«Батальонной любовью»*, но всех жалко.

По радио объявили, что в субботу рано утром в храме Христа Спасителя будут отпевать С. В. Михалкова, и я решил ехать в Москву, чтобы рано встать и пристроиться к очереди. По дороге завёз всю компанию на дачу к С. П., там ревизия недавно возведённой отопительной системы—комфорт стоит дорого. В принципе, я человек городской и, хотя и люблю «деревню», долго за городом находиться не могу: мой удел—мотаться туда и сюда. В Москве сразу же принялся за хозяйство: доваривал варенье, нажарил себе кабачков, которые уже две недели томятся у меня в холодильнике. В этот момент Сергей Пархоменко, не без томности в голосе, говорил о С. В. Михалкове, отдавая должное его знаменитым детским стихам, но постоянно упирая на то, что старый, теперь уже умерший, поэт три раза переписывал текст гимна, всё время пристраиваясь к текущей власти. Слегка прошёлся и по «племени», по Никите Сергеевичу. Здесь же подпел ему какой-то слушатель из Ленинграда, взволнованно назвав покойного «помощником палача», видимо, имея в виду Сталина. По Сталину тоже внезапно в эти дни возникла целая дискуссия. Реставрируя станцию метро «Курская», строители возобновили прежнюю, снятую при Хрущёве, надпись из первого михалковского гимна: «Нас вырастил Сталин…». Скандал идёт страшный, но хватит с нас и того, что столько разрушено памятников и царской эмблематики—это то, по поводу чего следующее поколение будет задавать вопросы. Вот так я всё слушал, и вдруг объявили, что буквально сейчас в храме Христа Спасителя начнётся прощание с С. В. Михалковым. Как там будет завтра, я не ведаю—может быть и толпа, как во время похорон Зыкиной и Солженицына; сразу же одеваюсь и еду на метро.

По дороге долго думал о покойном, с которым был неплохо знаком. В общем-то, он прожил жизнь так, как хотел бы прожить каждый. Во всех инвективах, направленных в сторону покойного, много зависти. Прожил жизнь, конечно, на острие ножа, но, вспоминая всё, что я о нём слышал, должен сказать, что он был человеком, не стремящимся делать людям зло, и всегда был готов прийти, если мог и если это не задевало его, на помощь. С его уходом многое в нашей писательской жизни изменится.

Такого многолюдства, какое было при прощании с Солженицыным и Зыкиной, не было. Никакой очереди, в храме не больше ста человек. Покойный лежал в центре храма, рядом с патриаршим местом, за специальной загородкой, которой обнесена вся центральная часть. Гроб был огромный, с откидной крышкой, лицо Сергея Владимировича я различал сквозь туман. На лбу покойного лежала бумажная лента с молитвой.

Здесь же в избранном месте сидели члены многочисленной семьи. Я узнал и молодую, в чёрном и, как мне показалось, похорошевшую, последнюю жену покойного, и Никиту Сергеевича, который крестился, повторяя крестное знамение за монашкой, читавшей псалтырь, узнал Анну, дочь Н. С., и первого сына Михалкова-Кончаловского—Егора. Его-то я хорошо помню, он приезжал ко мне в институт за дипломом кинофестиваля. Сначала в храме горел большой праздничный свет, в одиннадцать его пригасили, и атмосфера стала таинственнее. Никита Сергеевич каждый раз вставал и троекратно целовался с каждым, видимо высокопоставленным, человеком, который проникал за загородку.

Когда уже через час я выходил из храма на пустынную паперть, то ближе к проезжей части увидел группку сравнительно молодых, лет тридцати, людей с букетами цветов. Видимо, они готовились идти в храм, а пока весело и дружелюбно читали наизусть стихи покойного поэта. Это, пожалуй, главное впечатление от всей этой церемонии.

Последний штрих. Кажется, в храме, но по другую сторону от меня, я видел Арсения Ларионова. Я хотел было к нему подойти, чтобы сказать: «Арсений, неужели ты не понимал, что никакого письма против тебя я никогда написать бы или подписать не мог?» Но не подошёл, а потом всё растворилось в тумане.

29 августа, суббота

Весь день читал роман *Серёжи Самсонова «Аномалия Комлева»*. В аннотации сказано, что Самсонов написал книгу, равноценную по масштабам «Доктору Живаго» Бориса Пастернака, «Жану-Кристофу» Ромена Роллана, «Импровизатору» Ганса Христиана Андерсена. Сказано здесь же и об игре метафор и образов. Вот это действительно здесь есть. Это удивительный дар у Серёжи, ещё больше расцветший после института. В своё время недаром, видимо, я, когда он был ещё студентом, напечатал в нашем институтском журнале его роман. Но в чём-то роман Серёжи меня разочаровал. Ещё раньше мне казалось, что умение выписать, изобразительная доминанта у него превышает и социальную, и философскую, а проза—это, как говаривал Пушкин, мысль, мысль и мысль. В описании музыки это уже несколько устаревшие пафосные приёмы, а другого и нет. Но, к сожалению, он очень продвинулся в описании секса; правда, делает это с удивительной литературной откровенностью—здесь он, безусловно, нов. Чем-то мне этот роман показался похожим на роман Минаева. Естественно, в рейтинге я всё же поставлю ему высокую оценку—судим ведь,

сравнивая с другими, а что касается моих завистливых замечаний Серёжиного преподавателя, так сказать, запустившего его на это поприще, это уж мне простится. Молодец!

30 августа, воскресенье

Ночью же, когда наступила бессонница, добрался до седьмого номера «Нового мира» и прочёл крошечный рассказ Олега Зоберна «Жертвы объёма». Каким-то невольным образом этот рассказик связался у меня и с романом Серёжи Самсонова, и с собственным так называемым творчеством. <…>

Ночью же прочёл очень ловкую статью С. Ю. Куняева в «Нашем современнике» «Истерика пана Помяновского» — в ней не только сражение с польскими антирусскими СМИ, но и романтическая битва Куняева за некоторую объективность в восприятии истории. Да разве она существует?! Я вообще-то зря последнее время не читаю «Современник», здесь много интересного и для меня важного. Есть в его борьбе и вещи смешные. Оказывается, этот самый пан Ежи Помяновский, с которым сейчас идёт полемика, — старый герой журнала, который когда-то, в 10-м номере за 2003 год, фигурировал, по мысли Куняева, под другой фамилией в повести «Бродячие артисты» — под именем Ежи Самуилович Либерсон.

По какой-то странной ассоциации вспомнил, что ещё вчера решил, что надобно записать в дневник вчерашний же крошечный эпизод. Утром, чем-то занимаясь на кухне по хозяйству, я слушал прекрасную и полную передачу по «Эху Москвы» о музее-усадьбе «Архангельское». Всё так обычно и идёт в руку. Казалось бы, только что я прочёл в интервью покойного Саввы Ямщикова о М. Е. Швыдком, где говорилось и о куске Рижской автострады, отрезанном для его дачного участка, а это, если мне не изменяет память, где-то рядом с Архангельским. Я пишу об этом ещё и потому, что видел, довольно, правда, давно, передачу, где ещё фигурировали какие-то спиленные деревья и, твёрдо помню, упоминалось Архангельское, как снова возникает та же самая география.

Собственно, передача была просто замечательная, которыми эта радиостанция и знаменита: прекрасный неторопливый, в качестве главного гостя, директор и две ведущие — Ксения Ларина и Майя Пешкова; образ мыслей обеих я отчётливо себе представляю. И вдруг неторопливый гость, отвечая на все вопросы дам, как постепенно, естественно, не без помощи советской власти, этот замечательный уголок русской культуры, искусства и русской природы стал разрушаться, ляпает… Молодцы дамы: на секунду замолкли и ни одним движением, ни одной модуляцией голоса не намекнули своему гостю о том, что он играет не по правилам. Правда, чуть позже, когда по обратной связи пошла реакция слушателей, Ксения Ларина вдруг сказала что-то вроде того, что от наших слушателей достаётся Троцкому.

Ещё в юности, когда я много раз бывал в Архангельском, а один раз с неутомимым Борей Борисоглебским, и каждый раз, когда я с террасы глядел вдаль, — я поражался, каким образом и кто додумался поставить в этом месте два корпуса военного санатория. Всё это мне казалось таким антикультурным делом и связано с таким невежеством, что я просто дивился. Так вот, из передачи выяснилось, что Лев Давидович Троцкий здесь, в Архангельском, устроил ставку Верховного главнокомандующего, которым в начале революции он являлся, и преспокойненько здесь же, в Архангельском, в родовом гнезде российского аристократа, и проживал и чуть ли не пользовался теми комнатами, которые сейчас показывают как парадные покои. А почему нет? Чуть ли не в то время появились здесь и санаторские корпуса, потому что место долго оставалось за армией. Наши вожди, оказывается, любили жить по усадьбам. Ленин в Горках, Троцкий в Архангельском, какое-то ещё не разграбленное и не разорённое имение выбрал себе под резиденцию и Луначарский.

1 сентября, вторник

Как же я соскучился по работе! В половине десятого уже был в институте. Власть всё же чего-то побаивается — возле проходной дежурит милиционер. Описывать всю процедуру начала учебного года не стану, она практически как всегда. БНТ с каждым годом, будто наращивая уверенность, говорит всё лучше. Пока он говорит, я думаю: кого набрали? Лица новой нашей молодёжи — это некоторая неразбериха. Девчонки из моего семинара за лето стали писаными красавицами и принялись восторженно орать, когда настала очередь мне выступать. Говорю с нашего крылечка. Все мы выкрикиваем наши речи через ветхий мегафон, который висит на плече у Миши Стояновского. Слышно плохо. По традиции вещали руководители, набиравшие семинары: Сегень, Королёв, Николаева. Но лучше и ярче всех сказала М. В. Иванова, декан дневного отделения.

Сразу же после того, как закончилась церемония, я пошёл в «Российский колокол» относить правку к уже отосланной по Интернету седьмой главе. Мой семинар начнётся позже, в два. Лёва, у которого была рукопись, с большим вниманием и точностью всё вычитал. Но почему же я столько мелочей пропускаю?! В «Колокол» ходили вместе с Соней, по дороге она рассказывала мне о своих новых планах, а я ей — об истории с Витей Симакиным. Именно на сегодня назначена встреча согласительной комиссии из Москвы и голодающих артистов.

Мой семинар прошёл быстро: сделали график обсуждений, поговорили о том, кто и как отдыхал, кто что читал. Самое любопытное — это время, проведённое Верой Матвеевой: она ездила к сестре в Швейцарию, где сидела, как нянька, со своими племянниками. Перед этим она довольно много прочла детской литературы. Я подумал, что вся эта ситуация могла бы стать темой хорошего рассказа. Похоже, плотнее всех летом работала Ксения Фрикауцан — у неё в заделе что-то около четырёх работ. Не было Марка Максимова и Саши Киселёвой, они поехали хоронить кого-то из родственников. Собственно, Марку и была адресована цитата из

рассказа Олега Зоберна. Кстати, об Олеге: по приглашению какого-то американского университета он едет в Америку.

По телевизору много говорят о визите Путина в Польшу. Мне нравится, как он отбивается от разнообразных нападок. Он хорошо подготовлен и бьёт наотмашь. Например, оказалось, что среди владельцев прав на газопроводы на территории Польши, где права были поделены поровну, было с польской стороны ещё и некое физическое лицо. Теперь журналисты, я думаю, раскопают, кто это. Самая большая новость в области культуры — это четыре словаря, которые министерство образования признало эталонными. Прелесть этой ситуации в том, что все они выпущены издательством «АСТ-Пресс». Во дают!

Уже дома занимался приведением в порядок дневника, потом сел читать «Русская литература сегодня. Новый путеводитель. 2009 год». Делает этот путеводитель Сергей Чупринин. Сначала проанализировал статью о себе: конечно, она лишена какой-нибудь человечности, интонации, но в целом достаточно объективна и полна точных сведений, которых уже нет и у меня. Потом я просмотрел весь довольно большой том и понял, что всё же Сергей проделал огромную, даже невероятную работу и проделал её с огромной точностью. И как-то осело на него раздражение: может быть, надо действительно убрать его имя из романа? По крайней мере, всё надо предельно смягчить. Это, конечно, замечательная работа, и, конечно, надо её выдвинуть бы на премию Москвы.

Уже около девяти приходил Игорь со своей девушкой Леной. Кормил их ужином. Ребята принесли мне в подарок «Киевский» торт, который я, конечно, немедленно съем. Воздержание вокруг сладкого выше моих сил. Принёс Игорь и киевскую газету «Коммунист», вышедшую в пятницу 21 августа, свежую, на русском языке. Вот чего я не мог ожидать, так это своего в ней имени. На полосе четыре крупных «постера»: это высказывание некого читателя Андрея Ковтуна, а дальше мои знакомые — Александр Зиновьев, генерал Леонид Шебаршин, с которым я состою в одном клубе, он бывший начальник внешней разведки КГБ, и я. Меня представляют как писателя и ректора Литинститута, но, правда, стоит год 1995-й. «Сняли памятники деятелям революции, без энтузиазма и самоотверженности которых этим новым деятелям не быть не то что президентами и спикерами, а просто никем — навозом, холопами, потому что эта новая, закиданная ныне грязью власть сделала их людьми, научила чистить зубы, писать и считать». Какие отзвуки, какое эхо!

2 сентября, четверг

<…> За последнее время слово «писатель» стало очень востребовано. Ведь писатель больше, чем телеведущий, чем бизнесмен, чем чиновник, писатель перекрывает и облагораживает даже такое понятие, как «олигарх». Писатель сейчас — каждый, кто выпустил даже за свой счёт или просто надиктовал литобработчику свою «книгу». <…>

3 сентября, пятница

<…> Сижу, жду телевизионщиков, которые ангажировали меня рассказать что-то — о чём я догадываюсь — о Евтушенко. План дня такой: телевидение, потом заехать в банк, потому что обещал дать денег взаймы на работе, а потом в три часа у нас в институте должно состояться годовое собрание, где ректор будет рассказывать об условиях распределения гранта Минкульта.

Я полагал, что телевизионщиков заинтересует только эпизод с выдачей Евгению Александровичу диплома, но всё оказалось не совсем так. Приехала сравнительно молодая пара: редактор или автор сценария Лариса и Олег, оператор. У Ларисы оказалось довольно большое досье из того, что когда-либо я говорил о Е. А. Всё, по её словам, было из Интернета. Опираясь на мои высказывания, Лариса довольно ловко вкручивала мне вопросы. Здесь было и о его энергетике, и о дипломе, и о женщинах, которые что-то значили в его жизни. Я назвал двух: Ахмадулину, как духовно образующий центр, и последнюю жену Машу, принёсшую в жизнь поэта русское умиротворение. Говорил ещё и о чувстве некоторой зависти, которое его сверстники испытывали к нему. Оказалось, что я помню многие этапы жизни Евтушенко. Мой разговор имел ещё ту особенность, что в известной мере я подобрел к нему, и что-то после нашей встречи 6 августа во мне к нему изменилось.

Во второй половине дня в институте состоялось собрание «трудового коллектива». Народа, по обычаю, собралось немного. Тарасов довольно долго говорил о тех денежных прибавках, которые дают вузу по гранту Министерства культуры. Если бы я всё это или почти всё не слышал уже в третий раз, я бы многое не понял. Как деревенский кулак, желающий получить наибольший доход, БНТ всё напирал, что кафедры должны проводить больше каких-то публичных мероприятий. Некоторое ощущение батраков, работающих на барина. Касается ли это его кафедры с совершенно застоявшимися просветителями, чем те порадуют нас? Тем не менее, своих кафедральных я буду подбивать на какие-то подвиги и более тесные контакты со студентами. Но настоящий мастер всегда работает на пределе сил. Не все наши сотрудники поняли, что грядёт некоторое сокращение преподавателям зарплаты. На неё раньше шли деньги от коммерческого обучения. Теперь происходит перераспределение коммерческих денег в пользу технического персонала. Это опять наползание уравниловки и решение экономических вопросов привычными и удобными начальству методами. Снимается с преподавателей коммерческая надбавка, которая всегда и для всех была равна второй зарплате. Почему одним много?.. А потому. При этом сам БНТ несколько раз возвращался к тому, что его зарплата определена Минобразом. Занятно, что А. Н. Ужанков, наш проректор по науке, немедленно, когда запахло грантовскими деньгами, принёс свою трудовую книжку в институт. До этого он два года работал совместителем. Точно так же поступил и мой милый В. С. Модестов.

Вечером немножко посмотрел телевидение, где по первому каналу показали Саяно-Шушенскую ГЭС. Постепенно стали отказываться от всех предыдущих версий. Уже ушла версия гидравлического удара, ушла версия и теракта. Станция всё время наращивала для увеличения прибыли мощность, а для уменьшения расходов свои ремонтные и обслуживающие цеха передала особым компаниям. Руководство этих компаний работало чуть ли не в Москве. Об этом говорил кто-то из рабочих. Министр Шматко, конечно, эту позицию выставлял как прогрессивную.

Оказалось также, что вибрация была зафиксирована несколькими днями раньше катастрофы, а «новая» автоматика, которая должна была в случае аварии автоматически опустить затворы, не сработала. Я лично полагаю, что её монтировала такая же фирма по получению прибыли.

Прочёл в девятом номере «НМ» статью Елены Римон, доцента-литературоведа из Израиля, о Мишеле Фуко. Вся статья — это некоторый иной, чем у нас, уровень литературоведения, где всё завязано на полноте знания о предмете. Очень здорово и абсолютно раскованно. Буржуазия бунтует против себя, но одновременно показаны игровые и бесчеловечные основы этого бунта призывов. Я выбрал из большой статьи самый для себя понятный и доступный абзац, где вдобавок ко всему сказано то, под чем могу подписаться и я сам.

«История как театр. Политика как театр. Спрашивается, чем были недавние путешествия европейских интеллектуалов с Кипра в Газу, как не театром? Они же не рассчитывали всерьёз «прорвать блокаду» и дать возможность безработным «азатим» вернуться на стройки в Ашкелоне? Помитинговали и вернулись в Европу, ободрив красивых безумцев, а те остались со своим безумием, со своими проблемами, со своими касамами и со своим Хамасом. Вот как хотите, а мне эти интеллектуальные игрища в аутентичных кровавых декорациях кажутся омерзительными. На европейские правительства такой театр действовал довольно слабо. Но с еврейским государством это как раз оказалось очень эффективно, потому что евреи, сами будучи маргиналами, очень чувствительны к чужому взгляду (это замечательно описывает Сартр в своих рассуждениях о еврейском вопросе) и сильно нервничают, когда их насильно вытаскивают на сцену и делают фигурами на сцене традиционного мифологического театра (замученные от евреев христианские либо мусульманские младенцы и прочее)».

Вечером ходил дышать воздухом, стараюсь по возможности двигаться, но жизнь такая пустая! Завтра надо начинать читать работу к семинару. <…>

7 сентября, понедельник

Спал довольно долго и лёг не очень поздно, но всё равно настроение сонное — наступает осень. Но, впрочем, температура сегодня за окном около двадцати градусов, и обещают опять несколько дней тепла. Встал через силу и сразу вспомнил, что надо солить огурцы и перетирать помидоры на аджику. Каждый год я делаю такой аджики — помидоры и чеснок с солью — три трёхлитровых банки, но в этом сделаю, наверное, только две. После того как большой холодильник я отдал Вите, надо экономить в холодильнике маленьком место. Во время утренних хозяйственных работ всё время слушал «Эхо Москвы». Сегодня «Эхо» радовало небольшим комментарием Бастрыкина об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и родным голосом Евгения Киселёва.

Прав был «наш новый Гоголь» Михаил Жванецкий, что каждый имеет то, возле чего и живёт. Киселёв очень интересно говорил об одном из героев прошлого режима Науме Эйтингоне — генерале и организаторе убийства Троцкого. Среди прочего было сказано, что все работники ГБ еврейской национальности перед войной сменили свои имена и отчества на русские, — почти цитирую, — чтобы не привлекать дополнительного внимания осведомителей из бывших дворян и начавших сотрудничать с новой властью белых офицеров, среди которых традиционно был распространён антисемитизм.

Всё это пишу для того, чтобы сообщить маленькую детальку. Прокуратура не так уж охотно реабилитировала всех, а пользовалась законом о реабилитации, который запрещал это делать, если человек совершил преступное деяние, противоречащее конституции. Убийцы и отравители даже по политическим мотивам в категорию оправданных не попадали.

Наш герой подавал документы на реабилитацию несколько раз, но только когда пришёл Ельцин, так сказать, насупротив советской власти, прокуратура это сделала.

Что касается изложения интервью Бастрыкина о ГЭС, то речь шла о том, что компания не совершала необходимых профилактических ремонтов и не соблюдала правил безопасности. Прибыль вершит всем.

Был Витя. Собственно, он приехал в Москву по предварительной договорённости с моим соседом Жуганом, чтобы поработать у него до весны шофёром и что-то заработать. У них в Перми, в деревне, несмотря на предприимчивость Витька́, работы никакой. Привёз мне две банки мёда, которые они с Леной купили мне в подарок. Мне его жалко, но селить у себя я его на этот раз не буду — это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, пусть немного поживёт в иных, нежели у меня в полутепличных, условиях; конечно, он и у меня кое-что делал, но ведь просыпался после часа дня, а иногда и после двух. Во-вторых, мне жалко и себя, я всё принимаю близко к сердцу, страдаю, начинаю заниматься чужими проблемами и т. д. Буду пока жить один — так, кстати, и свободнее, и дешевле.

С Витей довольно долго и хорошо поговорили, сварили вместе с ним суп из банки консервированной горбуши, поели. Живёт он на квартире, куда устроил его Игорь; кажется, пока не платит. Вика в деревне уже ходит в детский сад, Лена пока не работает, но и негде.

8 сентября, вторник

Наконец-то я услышал то, что и хотел услышать. Как надо доверять своей интуиции, а не дрожать, трусить, бояться высказаться. Итак, по радио сегодня объявили ещё один диагноз Саяно-Шушенской гэс. На этот раз провидцем оказался Сергей Вадимович Степашин. Ещё два года назад Счётная палата сообщила правительству и послала соответствующие бумаги в прокуратуру, что оборудование Саяно-Шушенской гэс изношено на 85%. В ответ Степашин получил, кажется из правительства, бумагу о том, что Саяно-Шушенская гэс — это акционерное предприятие, так вот пусть акционеры по этому поводу и думают. К этой информации у меня и собственные размышления. Акционеры, так ловко и быстро захватившие бывшую всесоюзную стройку, думали только о доходах. Настоящая жизнь мерцала им из-за рубежа. Люди правительства обладают своеобразным менталитетом: пограбить и смыться!

На семинаре, как и всегда, отбивал талантливую часть, которая много и ярко работает, от той его части, которая очень хорошо знает правила и примеры, но пишет слабее. Саша Осинкина представила на обсуждение десяток глав новой повести. Здесь ещё не очень ясен общий сюжет, но отдельные фрагменты наполнены своеобразной и хорошо прописанной жизнью. Не очень прописано одно: столичная это окраина или глубокая провинция. Действие: школа с неким учителем-нимфоманом, две сестрёнки, занимающиеся колдовством и волхвованием, соседские судьбы, мальчики, в которых эти сестрички влюблены. Всё это, безусловно, подлинно, но не всегда отчётливо. По всем этим мелочам и шёл разговор.

В начале семинара я довольно много говорил об интуиции писателя и о необходимости новизны в его взглядах на мир.

9 сентября, среда

Днём покрутился немножко, пару часов, в институте. Писал ли я, что вместо очень милой и прагматичной Лизы — у неё всё и всегда «пожалуйста, Сергей Николаевич» — взяли другую девушку, Ксению. Милое, хрупкое и обаятельное существо. Ксения не принадлежит к той группе образованных девушек, которые лидируют в академических знаниях, оценках, общественной работе. Они полагают, что они главные и основные. Естественно, есть преподаватели, которые поддерживают эту своеобразную генерацию. В этом смысле очень показательна защита двух наших драматургинь, о которых я писал весной. Ну и что же: одна из них, просто из-за моей с А. М. Турковым доброты, в этом году окончила институт, уже работает в деканате, потом поступит в аспирантуру, потом станет поддерживать умных и аккуратных девушек.

Кроме этих, уже отмеченных русской литературой, свойств, подобные девушки обладают ещё и редкой настойчивостью и пробивной силой. Ну да ладно, маленькая, как птичка, Ксения мила, самоотверженна и очень исполнительна. Главное, она откровенна. Мне с ней легко; по крайней мере, мои цитаты она печатает, а просьбы она выполняет мгновенно.

В среду, кстати, Вл. Ефим. уже повесил мою выставку фотографий. Сделал это быстро, но, как всегда, без вкуса и воображения. Я разозлился.

В три часа пошёл в Минкульт на экспертный совет. Мне нравится, что совет всё больше и больше настраивается на объективность. Но вот что интересно: как мало заботятся о себе люди, которые что-то по-настоящему сто́ят в искусстве. Я и Масленников буквально взбеленились, когда увидели, что знаменитого режиссёра Глеба Панфилова представили на Дружбу. После определённых баталий всё же сумели перевести в список, где значатся претенденты на орден «За заслуги перед Отечеством». По мелочи кое-что потрясли в народных и заслуженных артистах и очень сильно, буквально на две трети, вычистили «заслуженных деятелей искусств». При награждении этим званием возникает сложная ситуация. Всё неопределённо, и начинает казаться, что сюда можно подогнать любую персону. Но: деятель не одного искусства, а искусств. Не администрирование искусством, а участие в самом процессе, так сказать, на передней линии огня.

После комиссии от министерства до Бронной шёл вместе с Юрием Мефодиевичем Соломиным. У нас много совпадений во взглядах на театр и на жизнь. В начале октября в театре начинается сезон, предложил походить неделю в театр: «Будете сидеть на моём месте». К моему удивлению, он оказался, как и мы все, очень незащищённым от чиновничьего аппарата. Невероятный его авторитет как артиста, невероятная к нему любовь народа — всё это для чиновников не имеет никакого значения.

Среди прочего говорили о том, с каким воодушевлением наш молодой зритель слушает в театре классические тексты. По мнению Соломина, для зелёной молодёжи подобное — как весенняя трава для животных. У них дефицит простого и ясного слова. У людей старшего поколения другое — они снова хотят в свою среду. Также говорили о среднем поколении, в том числе и артистов. Ю. М. вспомнил и своего брата, и Абдулова — они перенапряглись. Им хотелось всего: и работы, и устраивать свою жизнь, и строить дома, и играть в театре, и сниматься в кино, и всё — с полной отдачей… Жизнь и желания их съели.

Снова заглянул в институт. Те фотографии, которые я принёс ещё во вторник, уже висят. Команда В. Е. оформила всё небрежно, по-деревенски. Фотографии, в основном портреты, сделанные ещё в «Кругозоре» сорок лет назад, заняли целую стену. Эту маленькую выставочку я назвал «Моя молодость»…

10 сентября, четверг

С большим трудом поднялся, съел позавчерашний суп, который в холодильнике, к счастью, не прокис, и поехал в «Терру». В плане — поговорить с Сергеем Кондратовым, всё-таки он мой издатель. В метро и в электричке читал.

Утром по радио, со ссылкой на «мк», передали, что на Саяно-Шушенской — за новейшей историей я внимательно слежу — будто бы нашли ещё один труп, который, по чьей-то версии, принадлежит террористу. Ранее след террора был категорически опровергнут. Я почти уверен, что слух вброшен, чтобы как-то отвести ответственность от сегодняшних владельцев-акционеров и от дирекции компании. Тут же возникла мысль: как повезло Чубайсу, что он вовремя ушёл из энергетики. Ты ушёл, но цветы, посаженные тобой, остаются.

В «Российской газете» сегодня небольшое интервью Натальи Дмитриевны Солженицыной. Паша Басинский её ответственно и верно «пасёт». Н. Д. рассказывает, что, по совету Путина, «Архипелаг ГУЛАГ» теперь будет входить в школьные программы, и она готовит усечённое «школьное» издание. Я полагаю, что это не лучший совет, который дал образованию В. В. Путин. А что будет в этой программе ещё из советского периода?

Если уж говорить о ГУЛАГе, то, по ассоциации с ним, я всё время думаю о навсегда, видимо, ушедшей советской цивилизации. Она сейчас видится мне замечательным островом. Остров этот ненадолго вплыл из тумана на пути корабля современной цивилизации. Поймёт ли когда нынешняя молодёжь, как мы жили, в каком внутреннем покое за свою судьбу? Если бы Бог отпустил время, я мог бы, пожалуй, написать эту роскошную утопию ушедшего. Сейчас в моих планах книга о Вале, которую я буду делать постепенно и клочковато. Бросить дневник и написать настоящие мемуары. И ещё бы написать роман о трансвестите, по рассказам моего ученика Ярослава.

В «РГ» также ещё небольшая заметочка об одной старой истории. О том, как бывший премьер-министр Касьянов по дешёвке купил себе какие-то дачи. Я честно говоря, помнил об этом, но думал, что всё как-то заглохло. В подобных случаях Путин гонит своего врага, как гончая.

Доехал быстро, практически за час, даже успел на электричку, которая уходит в 10 с Рижского — две остановки. Серёжа бережёт время, у него всегда работа, но на этот раз поговорили долго и обстоятельно. Самое главное, я отдал ему рукопись романа, рассказал, что у меня есть ещё не изданная книга о крупнейших деятелях искусства — мои газетные очерки, и сказал, что неплохо бы сейчас напечатать «Ленина». Во время разговора всё время тёрлась у моих ног его замечательная собака, шарпей, и я сразу вспомнил Долли. Похоже, что его квартира соединяется с рабочим кабинетом. Серёжа напоил меня каким-то замечательным чаем. На книжной выставке чай подарил знакомый коллега-японец. Поговорили о прошедшей книжной ярмарке, о начальстве, о читателе, о мэре и его декларации, о его старой машине и прицепе, чтобы вывозить на природу ульи. Серёжа рассказал мне об обстановке в отдельных департаментах мэрии. Возле кабинета Ресина пост милиции. Я подумал, что, пресмыкаясь перед начальством, что всегда бывает видно по телевидению, эти начальники второго эшелона устраивают потом дворцовый княжеский этикет у себя в офисах. Серёжа дал мне новый экземпляр письма к Л. И. Шевцовой. Посмотрим. <…>

11 сентября, пятница

Утром ходил в магазин «Журналист» на проспекте Вернадского, чтобы купить ящик для картотеки и кое-что из канцтоваров. Потом собирал и просматривал нечитанные газеты. Естественно, все официальные статьи пропускаю — меня всегда интересуют только мелочи, здесь труднее обмануться. Их, собственно, я и фиксирую. В «РГ»: в дело столичного председателя по рекламе включились депутаты во главе с Иосифом Кобзоном. Суть дела: Макаров — именно такова фамилия председателя — надавал скидок до 50 процентов на размещение наружной рекламы аж на 131 миллион рублей. Я отчётливо представляю, кому эти скидки были розданы и кто поживился, и даже представляю возможную благодарность, выраженную в разных или необычных формах. Любопытно, что всегда и везде — сужу в первую очередь по наградам, которыми занимаюсь в Минкульте, — что почти всегда, когда соискатель не дотягивает до планки, обязательно следует или звонок начальству от Кобзона, о чём, как правило, начальство с чувством удовлетворения докладывает, или от Кобзона письмо. У него, кстати, сегодня или на этих днях день рождения — дай Бог ему добрых дней.

Вечером, около пяти, пришли Володя и Маша, я прихватил их и поехал в театр Гоголя. Там сегодня премьера спектакля по пьесе В. Шукшина «А поутру они проснулись». Пьесу я хорошо помню — это про утро в вытрезвителе с дюжиной персонажей, каждый из которых рассказывает историю своего пьянства. Сергей Петрович подъехал прямо в театр попозже. Пока я наверху разговаривал с С. И. Яшиным, который был уже готов к приёму гостей — чашки и печенье у него в кабинете на столе, паровал чайник, — внизу компания, кажется, неплохо выпила. Не пил наверняка только один Володя — он сегодня за рулём. С. И. жаловался, что его замучили вводы в спектакль новых актёров. Это неизбежно в начале сезона. Мужчины уходят сниматься в сериалах, молодые женщины беременеют. Собственная работа С. И. — пьеса про сына М. Цветаевой — стоит.

Спектакль на этот раз поставил Вася Мищенко, актёр театра «Современник», с которым встречался когда-то в гостях у Андрея и Лены Мальгиных. Ещё раньше С. И. рассказывал, что это и предложение Васи, и некий его же спонсор, который должен оплатить какие-то расходы по оформлению. Народа было довольно много, по фойе бродили не узнанные мною, но, по словам Иры, завлита, присутствующие ВИПы. Вася сам и оформлял спектакль, который закончился довольно неожиданно.

Сама идея постановки и как бы новое в ней заключались в том, что социолог, пришедший в камеру вытрезвителя, это некий ангел (в прологе у него есть и крылья, по примеру тех, что в средневековой польской армии носили за плечами конники). Ангел — ловец душ, который даёт всем возможность искупления своего греха через исповедь. В конце спектакля всех как бы отпускают

на волю, и тут поворачивается на сцене задник, на котором был изображён городской пейзаж, и появляется икона. Возникает ощущение, что в принципе неплохие люди наконец-то обрели через исповедь свою подлинную правду. Да и какие все они грешники? Это жизнь грешна и перед ними в долгу. Безусловное достоинство спектакля — он в одном действии и идёт 1 час 45 минут.

На банкет, который устраивают Вася и театр, мы не остались, а в 12:30, с заездом ко мне домой и к С. П., были уже на даче.

Спектакль, конечно, получился. В этом смысле — это победа Мищенко. Пьеса Вас. Шукшина, конечно, простовата по ходам и характерам, но гениальна по подлинности русской жизни и русского сюжета. Я уже не говорю о некоторых абсолютно фантастических, вызывающих восторг у зрителя репликах. Актёры с наслаждением играют. Есть несколько просто концертных номеров. Скажем, беспроигрышный урка, которого играет Андрей Зайков, или тракторист в исполнении Олега Донцова. И конечно, невероятно глубоко сделал свой кусок Олег Гущин. Это даже и не роль, а эпизод, но как полно Гущин его творит, как замечательно работает «на фоне», пока действие идёт с другими героями. Как он напивается, пьянеет и демонстрирует спесь среднего советского начальника. Актёрская работа, которую можно показывать студентам как учебный образец.

12 сентября, суббота

Ещё в четверг позвонила Г. А. Ореханова — о том, что у Т. В. день рождения. Как хотелось бы на нём побывать, но я уже твёрдо договорился ехать с С. П. на дачу. Теперь вот блаженствую, но сердце, что не выполнил свой долг, подтачивает.

Когда проснулся — погода великолепная, и летом таких дней не было. Единственная трудность — отчего-то болит правая нога, стопа. Я думаю, что это мне ночью свело ногу. А вчера я ещё добавил. Когда я заснул, а ребята сели играть в карты, что, кажется, делали до пяти утра, то мне приснился какой-то страшный сон, я кричал, и С. П. прибежал смотреть, не случилось ли что-нибудь со мною. Кажется, мне снились Валя и мама, и то ли я их хотел покинуть, то ли они меня, вот я и закричал. Возможно, тогда же мне ещё раз свело ногу.

Провёл ревизию участка. Во-первых, прекрасно идёт дайкон, который я высадил в конце лета на новую грядку. Вытащил один корень, и он сегодня же пошёл в дело. С. П., который сегодня дежурный по кухне, замечательно, натерев на тёрке, соединил его с укропом. Во-вторых, наконец-то высунулся зелёный лук, который две недели назад посадил на освободившейся грядке. День начался… Последние огурцы в теплице, новые кабачки. Съездили в город за жёлобом для крыши. Большая и славная баня. Сидел и рисовал дневник, прочёл ещё одну книгу на конкурс «Пенне».

<…>

14 сентября, понедельник

Утром делал шарлотку, добил аджику из помидоров и чеснока, возился по кухне. Созвонился с Витей Перегудовым, так как мне надо отнести в мэрию бумагу, чтобы там мне выделили экземпляры моей книги «Далёкое как близкое. Дневник ректора». С этой книгой какая-то напасть, она почти не попала, в отличие от предыдущего тома, в свободную продажу, а распространялась по школам и библиотекам. Не очень это, правда, школьное чтение. Тарасов подписал мне письмо, попытаемся хотя бы два десятка экземпляров отбить из запасов издательства и мэрии.

Весь день планировал заняться перебиранием бумаг и необходимыми телефонными звонками. Собирался весь день просидеть дома и только к пяти ехать в институт, поставить во дворе машину и к семи пойти в театр Маяковского. Сегодня празднуется день рождения Сергея Арцибашева. Я его люблю и как замечательного актёра, и как талантливого режиссёра. Внезапно раздался телефонный звонок: Маша от Виктора Ерофеева. Смогу ли я сегодня в пять быть на «Свободе»? Я сначала спросил, кто ещё будет на эфире, и оказалось, что приедет знаменитый музыкальный критик Артемий Троицкий. С ним я уже был знаком и поэтому согласился. А перед этим задал просто коварный вопрос: а кто не пришёл? Естественно, получил своеобразную фамилию не нашего языкового развода. У парня заболел кто-то из близких, родня. Тема передачи — гражданское общество. Сразу же в голове забрезжили слова Цветаевой: «Чтобы была жизнь, а не ярем». Чего-нибудь скажем.

О самой передаче чего писать? Текст наверняка вывесят на сайте в Интернете. Кое-что я говорил — о политической воле и о двух мирах, в которых заставляют жить страну: в мире реальностей, где рушатся электростанции, и в благополучном мире телевизионной благости. Что на этот раз поразило, вернее, на что я впервые обратил внимание? В гостевой комнате висит на стенах чуть ли не десяток карикатур Бориса Ефимова на американские средства массовой информации, и в частности — на радиостанцию «Свобода». Всё не без таланта, но немудрёно. Во-первых, приятна, конечно, такая самоирония, а во-вторых, поразила небрезгливость, с которой брат Михаила Кольцова брался за подобные политические заказы.

<…>

15 сентября, вторник

Естественно, не выспался, встал слишком рано. План у меня такой: до института — на машине, а потом уже — пешком до Моссовета. Рассчитываю, что идти придётся из-за бессонной ночи и больной ноги дольше, чем обычно. Пришёл вовремя, поднялся на пятый, «правительственный», этаж. Здесь я когда-то уже был. Широкие мраморные лестницы, много света, огромные коридоры — просто в царских апартаментах живёт городская власть. Витя, которого я раньше держал просто за хорошего и умного писателя, да ещё и товарища по астме, теперь уже сделался большим начальником, таким большим, что даже может заходить к мэру. Он — как и я его — мой читатель. О его рассказах, которые печатались в «Российском колоколе», я писал в дневнике раньше. К счастью,

я взял две свои новые книги и том второй части «Дневников». Начальству кланяюсь подарком, но и оно мне подарило свою книжку. Минут десять разговаривали о разном, в основном о литературных делах, а потом Виктор познакомил меня и с Новиковым. Нужны бы инициалы, но не помню. Это ещё больший начальник, и он тоже оказался моим читателем — по крайней мере, знает мои дневники и интересы. Иногда очень увлекательно говорить с крупными людьми именно потому, что они ещё и очень осведомлены.

Ещё один вывод из визита в мэрию. Возможно, московская политика могла быть — в первую очередь это касается пенсионеров — и менее социально направлена, если бы в аппарате не были собраны социально заострённые люди. Сам Новиков — человек, безусловно, ясный и приобщённый к большой культуре, — рассказал интересный момент, связанный со знаменитым эпизодом, когда Марк Анатольевич Захаров сжёг свой партбилет в пепельнице. Кто уж завёл об этом разговор, не помню. Оказалось, что партийный билет по определению ни сжечь, ни намочить, чтобы размыть текст, просто нельзя. Он сделан из особой бумаги, которая при горении сначала должна плавиться. Наверное, разговор возник из моих впечатлений от вчерашнего спектакля С. Арцибашева. Тут же было приведено и занятное пояснение директора Ленкома, защищавшего своего принципала: «Ну, надо было как-то выделиться, отметиться, поставить точку». Какая жалость, что я этого не знал, когда в самом начале перестройки, почти сразу же или, по крайней мере, вскоре после этого демократического аутодафе, встретился с Марком Анатольевичем в особняке МИДа на каком-то приёме. Мы ели казённые деликатесы за столом прямо напротив друг друга. Вот бы здесь спросить о плавкости или горючести бумаги! <…>

К семи часам поехал на заседание клуба Н. И. Рыжкова. На этот раз — в Московской консерватории. А. С. Соколов, покинув министерское кресло, опять занял пост ректора. Такое положение даёт ему стереоскопический обзор.

Тема была заявлена так: «Проблема профессионального музыкального образования в свете общеобразовательной реформы». А. С. просто расцвёл после того, как перестал быть министром, — как мне показалось, даже помолодел. Большое впечатление произвела консерватория. Здесь я впервые. Эдакая тьма народа и хозяйство, которое можно сравнить, пожалуй, только с университетом. Тема мне была знакома по коллегиям министерства. А. С. выбирал то, что ему лучше известно. И тем не менее, в его докладе было много мне ранее не знакомого. Московская консерватория была открыта на шесть лет позже Петербургской. Если в Северной столице профессура сплошь иностранная — поляки, немцы, то в Московской профессура — русские. Совсем недаром, только окончив консерваторию, Чайковский стал профессором именно в Москве. Обе эти старейшие консерватории, в отличие от иных высших музыкальных заведений, никогда не создавали филиалов. Отсюда и высочайшая ценность дипломов. Дипломы подразумевают высочайшее качество.

О наших трёх степенях в музыкальном образовании. Центральная музыкальная школа при консерватории. Вся система музыкальных школ по стране. О русской школе. Приблизительно такую же систему создал в Лондоне выходец из России Иегуди Менухин. Теперь мы с помощью новшеств пытаемся эту систему разрушить. Кстати, именно в Лондоне, в Королевской академии, изобрели так называемое интегрированное образование. Вот оно-то прекрасно обходит трудности болонских доктрин.

Наши консерватории повторяют структуру университетов — здесь учатся специалисты всех основных специальностей. Отсюда — взаимовлияния в процессе обучения. За границей композиторов и музыковедов готовят в обычных университетах.

Среди прочего. А. С. не только накормил всех замечательным ужином, но и показал Рахманиновский зал, в котором я никогда не был.

16 сентября, среда

Несмотря на ворох дел, всё же решил съездить в Дубну. От Москвы это 125 километров. У больного Анатолия, моего двоюродного брата, я не был с лета. Сейчас, уже у себя, в Дубне, его подвергают химиотерапии. Поехали втроём — с Валерием, моим племянником, и его женой Наташей. День выбрали не случайно. Шестнадцатого у брата день рождения.

По дороге в машине довольно долго разговаривали. Мой племянник — отставной полковник, по натуре он мудрец, да вдобавок ко всему мудрец информированный. Уйдя на военную пенсию, работает он сейчас в крутом учреждении. Судя по всему, среди сотрудников постоянно идут разговоры на политические, да и технические темы. Я попросил объяснить мне его вариант аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь, оказывается, много чрезвычайно любопытных подробностей. Как я понял, многое из Интернета. Технические детали — расположения агрегатов, заслонок и водоводов — я не привожу. Схема такая: о вибрации во втором блоке работники станции знали уже чуть ли не несколько недель. Она, видимо, образовалась, когда агрегат поднимали и меняли крепления, но не вычистили шпильки, на которые навинчиваются огромные гайки. Когда ржавчина облетела, возник люфт. Рабочие несколько раз пытались заглушить генератор — здесь технические подробности, не вполне мне понятные, — но каждый раз, когда уменьшалась частота вращения, вибрация резко увеличивалась. Для решения задачи и ревизии, что же происходит с механизмами, надо было приостановить несколько блоков. Но тогда резко уменьшалась выработка энергии, а значит, прибыль. У директора или другого начальника, от которого зависело решение, именно в день аварии, 17 августа, праздновался день рождения. Начальник этот выехал за пределы станции встречать гостей и, следовательно, был недосягаем для быстрого решения. Рабочие решили так: коли до сих пор ничего не случилось, то ничего не случится,

если ещё один или два дня турбина поработает. Но именно в этот день и произошла авария.

Высота плотины — 200 метров, это означает, что столб воды, давящий на лопасти турбины, обладает невероятной мощностью. Внезапная авария, вырвавшая из шахты агрегат, срезала все приборы и устройства, которые должны были закрыть проёмы наверху. Потом с огромным трудом пятеро рабочих закрыли их вручную.

Всё это я описываю, наверное, с техническими ошибками и упуская многие другие трагические детали. Например, в месте аварии должно было, по штатному расписанию, находиться 14 человек, но погибло 75.

Часа три сидели у Анатолия, сознание у него по-прежнему ясное и яркое. Жена и дочь говорят, что после химиотерапии ему лучше, но Валера, на руках у которого умирал его отец, мой брат, настроен менее оптимистично. Я как идеалист, надеюсь на чудо, но я ведь верю и в то, что В. С. до сих пор со мною, и не удивлюсь, если откроется дверь и она войдёт. «Есин, что у нас на ужин?» С Анатолием связана вся моя юность, его хорошо знала и Валя. Меня растрогало, что у Анатолия большое собрание, хотя, конечно, далеко не полное, моих книг. Есть и книга Вали о Лидии Смирновой с, как всегда у неё, искренним и точным автографом: «Книжку эту я не люблю, а вот Светика (это жена Анатолия), ласкового и доброго, люблю».

Теперь, даже уже больной, Анатолий прочёл мою книгу, сделанную с Марком, и заметил, что мои взгляды несколько изменились. Посидел пару часиков, поели что-то полупарадное и поехали домой. По дороге завезли дочь Анатолия Татьяну, уже тоже бабушку, в местный университет, в котором она работает, и заехали на берег канала. Здесь кончается или начинается канал, а дальше — уже Московское море. Похоже, это именно то самое место, которое было показано в фильме «Волга-Волга». У входа в канал на просторы Московского моря стоит огромная скульптура, собранная из гранитных блоков, — В. И. Ленина. По монументальности она не уступает скульптурам Абу-Симбела в Египте. На другой стороне пролива стояла скульптура И. В. Сталина. Её после XX съезда взорвали. Татьяна рассказывала, что сделали это с большим трудом. Сразу же это красивейшее место здешние бомжи и пьяницы облюбовали для своих встреч. Острые на язык обыватели назвали это место поминальней.

17 сентября, четверг

Сижу дома. Больная нога делает меня инвалидом. Занимаюсь готовкой и пишу дневник, заполняя пропуски. Днём приезжали из Союза книголюбов, надо было подписать документы на награды к 35-летию организации. К счастью, поблизости оказался Ашот, который большой дока в наградных делах. Основным событием дня стало чтение «Литературной газеты». Во-первых, Боря Поюровский изменил привычке своей юности писать невинные статьи о театре, где никого не обижал. Во-вторых, событием стало невероятное по глубине и резкости интервью Владимира Меньшова. Здесь много мыслей, с которыми я готов согласиться.

О том, что настоящая литература всегда найдёт своего читателя, что моя мысль, как они поступают с конкурентами, совершенно справедлива и находит ещё одно подтверждение. Также — что для мести ещё важнее, чем состав крови, степень талантливости.

«Самое яркое впечатление за последнее время — «Учебник рисования» Максима Кантора, превосходного художника, который и писателем оказался блестящим. Я увидел в нём собеседника — очень умного, глубокого, саркастичного. Его анализ сегодняшней жизни творческой интеллигенции показался мне чрезвычайно точным и очень смешным. Поражён, что эта книга-событие не оказалась ни в коротких, ни в длинных списках многочисленных наших литературных премий. Там по-прежнему распределяют награды по принципу «свой — чужой». Конкурентов сегодня не хают, опасаясь привлечь к ним внимание. Их просто замалчивают».

О том, что в угоду моде не надо стыдливо оставлять своих кумиров только потому, что они кому-то мешают и говорят так, как думали.

«В поэзии моя первая и на всю жизнь любовь — Маяковский, и меня бесит, что его как-то тихо и целенаправленно выдавливают из общепризнанной на сегодняшний день обоймы больших русских поэтов. Туда даже Есенина, без которого русскую поэзию и представить себе невозможно, не очень охотно включают».

О том, что всё, предложенное модой или общим правилом, всё равно любить невозможно, и, чтобы сохранить свою индивидуальность, надо быть искренним. Или ещё раз о Достоевском.

«У Достоевского никогда не мог осилить больше двадцати страниц за раз. Нарастало раздражение от тех самых психологизмов, которые так восхищают в нём читателя, особенно западного. Женщины его кажутся мне персонажами насквозь искусственными. От всех этих «а вот ручку-то я вам и не поцелую», переходящих из романа в роман, я просто на стену готов лезть. Это не мой писатель. Самым любимым автором был и остаётся Герцен: обширнейший ум, блестящее владение стилем, «бездна», как он любил выражаться, юмора. «Былое и думы» могу перечитывать бесконечно. Рискну заявить — это лучшее, что было написано на русском языке».

Казалось бы, обычный пассаж о самобытном русском пути или о Западе и Востоке. Здесь примечательно имя Петра Чаадаева, но соль приведённого ниже пассажа — в последней фразе, где сформулировано то, что ощущали многие. Цитата начинается с риторического вопроса.

«…Быть может, Запад растроганно принял наши извинения и раскаяние и распахнул нам свои объятия, и мы оказались приняты в семью цивилизованных народов, сбылись вековые мечты наших Чаадаевых? Да нет, придерживают нас уже двадцать лет в сенях, а мимо, брезгливо поглядывая в нашу сторону, следуют в светлую горницу куда более цивилизованные румыны, болгары и разные прочие албанцы. Ещё один урок преподнесла нам новейшая история: антисоветизм был всего лишь эвфемизмом вульгарной русофобии».

Перед такой ясностью и смелостью можно, как говорится, и снять шляпу.

Во второй половине проковылял в банк. Увеличили плату за охрану. Потом поплёлся в парикмахерскую. Здесь плата за стрижку увеличилась на 120 рублей. Возвращаясь обратно, поговорил по телефону с Колей Чевычеловым. Он рассказал, как он почувствовал себя воцерковлённым. Оказывается, он только что ездил в Ленинград, чтобы приобщиться мощам Ксении Петербургской. Я ещё раз позавидовал людям, обретающим веру. Дальше, уже подходя к дому, встретил своего соседа Бэлзу. По-соседски довольно долго говорили. «Соседушка» — источник многих и чрезвычайно интересных сведений. В частности, он рассказал о похоронах Василия Павловича Аксёнова и о речи Евгения Евтушенко. В известной мере эта речь, оказывается, была вызвана романом Аксёнова, который сейчас печатается в журнале «Караван истории». Здесь Василий Павлович вывел многих друзей юности под прозрачными псевдонимами.

Ещё более интересно великий мой сосед рассказал о мастер-классе, который вёл Ван Клиберн. Американский маэстро, приехав в Россию, забыл прихватить орден Дружбы, которым в прошлый его приезд наградил В. В. Путин. Бэлза напомнил маэстро об ордене. Тот не растерялся и быстро спросил: «А у тебя такой орден есть?» Конец истории: на своём торжественном мастер-классе кумир щеголял с орденом моего соседа.

Ещё утром передали: американское правительство решило не размещать противоракетные системы в Польше и Чехии. Много разнообразных комментариев, кто выиграл и кто проиграл. Мне показалось, что выиграл от этого Обама. Он продемонстрировал нормальное течение логической мысли: а на фига? Поздно вечером говорил с Натальей Евгеньевной, моим редактором в «Дрофе». В разговоре возникла рубрика «Профессорская проза» и занятная компоновка новой книги — «Кюстин» и «Дневник» за 2009 год. Если бы!

18 сентября, пятница

Снился странный сон: будто бы в какой-то гостинице, похожей на наше институтское общежитие, я вижу, что в разных комнатах, двери от которых открыты в общий коридор, пакуют в дорожные мягкие сумки свои вещи Наталья Дмитриевна Солженицына и Александр Исаевич. У меня складывается впечатление, что они между собой не в ладах. Потом Александр Исаевич исчезает, а за ним вдруг засобиралась Наталья Дмитриевна. Я начинаю волноваться, что она уедет, ничего не поев и не позавтракав. Я вроде бы предлагаю ей сходить в магазин и купить хотя бы сыра и молока. К моему удивлению, Наталья Дмитриевна, которая в представлении моего сна гордячка, вдруг соглашается. Я выхожу во двор и вижу автобус, в который садится народ. Я тоже сажусь — в надежде доехать до какого-то места, где начинаются магазины. Мы едем, мелькают какие-то городки, и потом я замечаю, что весь автобус полон гастарбайтеров, и понимаю, что меня уводят в рабство. Тогда я пробираюсь ближе к кабине, за какую-то шерстяную занавеску, и вижу там полицейского, которому пытаюсь объяснить, что я русский журналист. В ответ на это полицейский протягивает руку, кладёт пальцы мне на веки и отчаянно давит, приговаривая: «Кричи». Тут я просыпаюсь.

По материалистической привычке искать объяснение для снов понимаю, что сон вызван крошечной информацией в газете. Министр Фурсенко издал приказ, которым в список обязательной литературы для изучения в школе включил «Архипелаг ГУЛАГ». Один филолог — В. В. Путин — предложил, посоветовал, другой филолог — Фурсенко — немедленно выполнил. Кто там шагает левой?

Ещё пару дней назад прочёл книгу *Вл. Личутина «Последний колдун»*. Здесь его первая знаменитая повесть-открытие «Обработно — время свадеб» и собственно повесть «Последний колдун». Отношение у меня ко всему этому сложное. Личутин, конечно, просто волшебник слов, его фраза вибрирует и светится. Но всё это одна какая-то фреска, которую Личутин пишет всю жизнь. Не очень-то это и ясно, существуют ли эти люди, этот язык и эти отношения. Но ведь и мир Фолкнера — это тоже придуманный мир.

Написал письмо Марку и, как всегда, еду вечером на дачу.

19 сентября, суббота

Хорошо выспался. Весь вчерашний день, несмотря на то что пытался себя занять, был посвящён чувству удивительной неприкаянности. Всё в мире было пусто, целей нет, погода ухудшилась, дождит, похолодало. В Интернете вчера прочёл, а потом Ашот опустил мне в почтовый ящик ещё и заметку из «Коммерсанта»: в короткий список «Ясной поляны» я не попал. Паша Басинский долго корреспонденту, будто перед кем-то оправдываясь, объяснял: «сильный список», «трудный выбор». Оставили троих: Василия Голованова — с нон-фикшен об острове Колгуеве, Романа Сенчина с «крестьянством», о современной деревне, и «ретро-рассказ с домовыми» Игоря Малышева. С чувством удовлетворения выписываю имена моих хороших знакомых или даже друзей, входящих в жюри: Лев Аннинский, Игорь Золотусский, Валентин Курбатов, Владислав Отрошенко, Павел Басинский. Председательствует непосредственно граф и помещик Владимир Толстой, охарактеризованный в качестве «журналиста, эссеиста и директора». Один из них, выпускник Лита Паша Басинский, в своей жизни всё же написал роман,

о котором мне так своеобразно говорил Юра Поляков. Никто, конечно, ничего не прочёл.

Утром на термометре было ноль градусов, потом засияло солнышко. Надо работать и перестать кукситься. Начал с того, что прочёл довольно большой материал *Кати Писаревой «Во втором составе»*. Достоинством является, что Катя пытается, хоть и на примере театра, показать судьбу человека во времени, т. е. целую жизнь, и это мне кажется важным. К сожалению, много рассказано, а не показано, язык почти не держит повествование. Катя не знает реальностей театра, настоящую работу режиссёра, актёров, даже уборщицы. Но замах энергичен. <…>

Вечером по НТВ шла жуткая разоблачительная передача о московской милиции. Как они только отыскивают такой материал? Было даже сказано, кто из каких начальников какую фирму или магазин *крышует* — туда милиции входить не следует. Оповестили размер взятки на контрафактный товар стоимостью в один миллион. Если низовая милицейская структура, то хватит и 20 тысяч, если городская — нужно до 100 тысяч, а вот если нагрянула министерская проверка, то надо выкладывать сумму до 500 тысяч. Возможно, это связано с назначением нового главы московской милиции. Его перевели откуда-то из провинции. Как прокомментировало НТВ, именно он был причастен к «устранению семьи губернатора Строева от дальнейшего разграбления Орловской области». Идеальный, как утверждали патриоты, губернатор, бывший спикер Думы, бывший секретарь обкома — во! Как своевременно дочка уступила ему место в Сенате. Теперь сенатор!

20 сентября, воскресенье

Утром, не вставая с постели, — как показывает опыт, пока не ввязался в хоззаботы, ещё можно что-то сделать для души, — принялся читать рассказы *Сергея Михеенкова* в «Роман-газете». Всё-таки молодец Юра Козлов, подваливает, в пику и вопреки «букерам», другую литературу. И немалым для нашего времени тиражом. Пять с половиной тысяч экземпляров. Это не менее интересно, чем рассказы Ярослава Шипова, и, конечно, здесь та же неторопливая русская школа. Школа, имеющая в своём основании веру в немеркнущие отечественные ценности. Если об этом так упорно пишут писатели — значит, она существует и ещё не выкорчевана до конца. Значит, не перевелись люди, которые свою жизнь и рождение воспринимают как миссию и службу перед лицом жизни вечной и Бога. Значит, не исчезли те, кого издавна называли праведниками.

Рассказы Михеенкова — он, кстати, окончил ВЛК — более жёсткие. В них чаще возникают фигуры военных, сюжетно они точно выстроены. Это читается совсем не в тягость. Здесь другой батяня-комбат, нежели у Расторгуева: комбат привозит гроб сержанта в деревню, к матери. Мужественно и трагично. Впрочем, иногда вкус Михеенкову изменяет: я не думаю, что комбата надо было хоронить во сне, на постели убитого сержанта, в доме его матери. Стоит отметить и густой, подлинный мужской дух. В собрании много и небольших рассказов. Скорее, зарисовок, но написанных писателем. Иногда они дышат искусственностью: женщина приезжает в Москву, чтобы петь в переходе. Так она зарабатывает, чтобы продолжал учиться сын-студент. Мне, правда, всё это близко, потому что Михеенков калужанин и здесь часто возникают Таруса, Малый Ярославец и другая калужская география.

Вечером прочёл «Российскую газету» за субботу. Александр Терехов всё же, наверное, получит за свой «Каменный мост» премию «Большая книга». Я помню, что довольно много народа говорили мне, что читать книгу трудно и скучновато. Не знаю, но помню, что Поляков её хвалил и лоббировал, он в этом году сопредседатель конкурса. А вот интервью, которое газета взяла у Терехова, необыкновенно интересно. Мне показалось, и сюжет — убийство из ревности, и сама влюблённость двух молодых людей из кремлёвского окружения — всё это даёт возможность писателю развернуться. Я уже не говорю о редком интервью, которое умница Саша дал газете. Я выписываю фрагмент, который касается журналистики:

«Журналистика, даже если это расследование, — это письмо на туалетной бумаге. Это жизнь охотничьей собаки: свистнули — сбегал и принёс. Это способность легко возбуждаться на то, что не возбуждает. А книга — это такая ровная, спокойная, сама по себе возгорающаяся и сама по себе затухающая бытовая одержимость, чем-то похожая на одержимость распространителей посуды «Цептер» и вообще менеджеров по продажам, что ходят с клеёнчатыми сумками по офисам и верят, что все миллиардеры начинали именно так».

21 сентября, понедельник

Утром успел поймать по радио сообщение о том, что акционером одной из компаний, в последнее время работавшей на Саяно-Шушенской ГЭС, был нынешний министр энергетики. Успел записать название компании: «Союзгидроспецстрой». Но вчера, уже перед сном, где-то в эфире поймал заседание госкомиссии в Абакане. Председатель сообщил более экстравагантные данные. Ремонтом на агрегате ГЭС, и, кажется, именно на втором, давшем «старт» к остановке всего комплекса, занималась компания, зарегистрированная в Москве. Именно она принадлежала руководителю ГЭС. Председательствующий на госкомиссии зам. премьера Сысоев иронизировал: начальник сам у себя принял работу, сам подписал акт, а главный бухгалтер станции — видимо, она же и главный бухгалтер компании, — сама себе и своему начальнику выписала деньги за работу.

Утром не стал восставать, не дочитав начатую вчера небольшую книжку *Валерия Хатюшина «Не изменяй себе»*. Здесь несколько рассказов, повесть и публицистика. Публицистика и её запал привычны. Практически нового ничего, хотя боевито, часто по делу и пафосно. Но ничто так

быстро не стареет, как именно публицистичное начало, остаётся только «художественное». Лучший пример—«Божественная комедия». Комедия, т. е. «земное»,—ушла, божественное—осталось. Прочёл также два рассказа—«Дневник солдата» и «Перед уходом»; основное достоинство обоих—искренность и подлинность, всё это имеет значение как безусловное свидетельство жизни. Книжка В. Хатюшина издана, как объявлено, «к 60-летию выдающегося писателя современности», а для прозаика подобной зрелости 240 страниц «прозы и публицистики», пожалуй, маловато. Но кое-что серьёзное в этой книжке есть. Мысли человека, уже ощущающего дыхание смерти:

«Скажу сразу, выводы эти—печальные, более того—очень и очень печальные. Нет, не потому, что жизнь человеческая трудна, трагична и в основном грустна. В этом-то как раз есть высшая логика. Но потому, дорогой друг, что сам человек оказался мелок и недостоин того предназначения, какое замысливалось для него свыше. Вернее, природа человека, изначально Божественная и прекрасная в своей духовной высоте, в конце концов выродилась в нечто эгоистичное, тупое, приземлённое, в нечто не желающее даже думать о своём предназначении и отказывающееся помнить о высоком происхождении».

С самого утра поехал в институт. Написал достаточно толковый план работы кафедры на 4 месяца, ещё раз обнаружив, что даром хлеб не едим. Звонил Юре Козлову, он жалуется, что у «Роман-газеты» из-за кризиса резко снизилась подписка, журнал становится нерентабельным. Но всё же попросил почитать «Кюстина», отдельные главы он уже видел, и, возможно, роман можно будет пристроить и в «Роман-газету».

Сегодня так уж получилось, что я не смог пойти на встречу с Зюгановым в Союз. Лариса Георгиевна Баранова-Гонченко передавала: дескать, что же Есин давно не появляется, Зюганов спрашивал персонально. Но внезапно объявили заседание экспертного совета. Зюганов—информированный человек, многое, наверное, мог бы от него услышать.

Вечером были Игорь Пустовалов с Леной, много рассказывали забавного и о театральных, и о московских нравах. Игорь только что приехал с гастролей в Армении. Принимали хорошо.

22 сентября, вторник

Утро началось с трагической ноты—позвонил Юра, сын моего двоюродного брата Анатолия: «Папа скончался». Я подумал: как хорошо, что я попрощался с братом ещё живым. Теперь до конца дней буду помнить его лежащим в солнечной комнате и разговаривающим со мною. Всё это я воспринял так трагически ещё и на фоне собственного нездоровья. Уже полторы недели сильно болит нога, прямо в стопе, и на большом пальце появилась крошечная язвочка—не самый лучший предвестник. Наверное, в четверг поеду на похороны.

В одиннадцатом часу поехал на работу. Подвозил мой сосед сверху. Москва полным-полнёшенька, машина продиралась через Садовое кольцо. Если говорить о Москве, сейчас идёт жуткий напряг на московского мэра Лужкова. Главный козырь у оппонентов не он даже сам, а его жена, которая застроила чуть ли не тысячу с лишним драгоценных московских га и считается самой богатой женщиной Восточной Европы. А наш скромный пасечник здесь ни при чём. Богатые растут невесты. У меня, кстати, лежит ещё не читанная «Правда» с каким-то аншлагом о коррупции в Москве.

Власть, чувствуя растущее недовольство, дала команду и спустила собак не только на московского мэра. Судя по Интернету, в поле зрения властей попал и другой считающийся благополучным «объект»—российская почта. Здесь уже поработала прокуратура и немедленно нашла «расходование денежных средств на оплату услуг, не имеющих отношения к целям и действиям, перечисленным в уставе». Например, 15 миллионов рублей было израсходовано в 2007-м и 2009-м годах на проведение конкурса «Мисс Почта». Но «Мисс Почта» в 2009 году ещё и хорошо попировала: на банкет железные дороги бросили 2 миллиона рублей. К сожалению, в документе прокуратуры ничего не сказано, сколько украли. Но зато как развлекались высокопоставленные железнодорожники! Например, 2 миллиона потратили на проведение семинара в отеле «Гелиопарк», где жили в номерах категории «люкс» и даже в «апартаментах», как кинозвёзды. И это притом, что средняя заработная плата основного почтового работника—оператора и почтальона—немногим более чем 7 тысяч рублей.

Из мелочей: отослал «Кюстина» Ю. Козлову, написал и сдал план в ректорат, провёл семинар. Во время семинара, когда обсуждали Катю Писареву, достаточно критично, но всё же без, как в прошлый раз, оглушительной предвзятости я вдруг начал рассуждать о возникновении художественного образа. Надо бы сравнить мою «теорию» с Выгодским. Импульс, первый образ-видение, образ-фантазия, когда всё время, имея перед собой первоначальный, самый первый проблеск, художник дофантазирует и дорисовывает картину. Дальнейшая разработка—уже с применением технологических средств: там нужен разговор, там пейзаж, там описание действия. Не забыть бы это и постараться написать. ЕБЖ становится моим постоянным девизом. С каждым днем я начинаю чувствовать себя всё хуже, это общая слабость, плохой сон, начали болеть ноги…

23 сентября, среда

Попытался утром посидеть дома, чтобы продвинуть свои обязательства, но практически не получилось. В три часа—учёный совет, потому что БНТ уезжает в отпуск. В институте тревога: «Росимущество», борясь с взятками и коррупцией, изменило правила сдачи в аренду помещений. Теперь в обязательном порядке конкурс, а помещение за два месяца до конкурса должно быть свободным от арендатора. Для нас это означает: даже если удастся не менять привычных и порядочных

наших арендаторов, их надо куда-то на два месяца прятать. А как спрячешь столовую? Возможно, до конкурса Альберт Дмитриевич закроет своё кафе, а значит, мы прекратим бесплатно студентов кормить. Представляю, чем это может обернуться для института. Трапеза вообще цементирует все человеческие действия.

Совет прошёл живо, отчитывалась Оксана Павловна о приёме, который прошёл в этом году удачно. Радость, которую по этому поводу выразил БНТ, я не вполне разделяю. Все творческие вузы были и так, в смысле желающих в них поступить, полны, но вот и университеты (МГУ и РГГУ) якобы от демографической ямы пострадали. Наша жизнь и наши средства массовой информации сделали технические специальности неперспективными. Разве в наше время в политику, на высокие посты попадают инженеры и врачи? Разве когда-нибудь по ТВ говорили добрые слова об инженерах-металлургах или наших инженерах-автостроителях? Хорошие инженеры остались за бугром, где строят «Ламборджини» и проектируют «Боинги». Наши кумиры — актёры сериалов, Андрей Малахов и юристы. От президентов до Жириновского. Вот с кого писать жизнь!

После учёного совета довольно долго говорили с Камчатновым и Михальской о необходимости менять учебный план. Надо ориентировать его на практику, выстраивая таким образом, чтобы постепенно закрывать лакуны средней школы. <…>

Госкомиссия отложила вынесение вердикта по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС; тем временем возникают научные гипотезы о смещении земных пластов. Не думаю, что за эти гипотезы заплатили, но сами по себе они занятны. Тогда не будет никого и виноватого. Завтра похороны Анатолия, моего двоюродного брата.

24 сентября, четверг

Я опять утром совершил прежний маршрут: двумя пересадками на метро до «Сходненской», а там меня уже ждал Валера. На его машине поехали в Дубну. Если можно назвать похороны близкого человека мероприятием, то главное и основное в нём — что наконец видишь почти в полном сборе свою родню. У Анатолия много родни; уже шесть внуков и даже правнучка. У всех, даже у не вполне русского мужа одной из его внучек Рустама, какая-то общая генетическая «мордатость». Все очень друг на друга похожи. Анатолий умер во вторник, через неделю после того, как я у него побывал. Оправдались трагические предположения моего племянника Валерия, а не моя вера в чудесное.

Покойного отпели в морге больницы, куда его после смерти забрали. Потом уже другой священник провожал на кладбище. Хоронили не в Дубне, где Анатолий много лет жил, а на городском кладбище в Дмитрове. Здесь похоронены родители его жены Светланы. С тайной грустью наблюдал я за всем этим. Какое родовое гнездо, как сердечно и достойно похоронили, какое замечательное и сухое место на самом кладбище, почти у самых ворот. У меня-то такого уже не будет, да и горевать обо мне будет некому.

Ценность для меня всего этого обряда заключалась в том, что на этот раз я стоял близко от священника и мог отчасти распознать высокие и справедливые слова, которые он говорил. Главное — не просить прощения у покойного и не искать в себе к нему сочувствие, а, выказывая любовь к нему, просить прощения за него у Господа. Постоянно во время этих похорон вспоминал Валю, с её уходом буквально погибаю и я.

Ещё в машине по пути в Дубну Валера, который вообще любит поговорить, очень умно пересказывал мне некоторые соображения, касающиеся экологии веры нынешнего патриарха. В частности, мысль о многочисленных суевериях, которые порой царствуют в нашей повседневной жизни. Где и в каких древних книгах написано, что надо занавешивать зеркала, когда в доме покойник? Сегодня священник сказал, что и верующим, и неверующим, крещёным и некрещёным Господь даровал после смерти жизнь бессмертную, но по делам его. Кстати, я где-то читал, что именно православная религия определяет человека не по вере, а по делам. Это тоже вроде бы говорил патриарх.

После похорон пришлось снова вернуться в Дубну — на поминки. Они проходили на закрытом предприятии, где Анатолий работал. Там делали и создавали приборы для нашего подводного флота. Здесь сегодня тоже грустная статистика: раньше работало 4 тысячи человек, теперь только 400. <…>

25 сентября, пятница

Моя двухнедельная командировка в Ленинград окончательно решена. Это особенность нашей системы: выделены деньги на повышение квалификации преподавателей. Деньги надо истратить. У начальства теперь забота, как бы отправить меня подороже и пороскошнее, чтобы истратить деньги. Я настаиваю на удобном и демократическом поезде: во вторник, сразу после семинара, сидячее место, но чтобы приехать в Питер в одиннадцать ночи. В любой поездке самое главное для меня — собраться, всё продумать и ничего не забыть: одежда, лекарство, компьютеры, книги. <…>

26 сентября, суббота

<..> Как всё же не хочется читать то, что я читаю, какие приходится делать усилия, как разжигать себя, чтобы окончательно не озлобиться. Почему, в общем-то, так всё скучно? Иногда я думаю, что попал в тот возраст, когда художественная литература вообще перестаёт действовать на человека. Иногда — что просто завидую энергии и времени у молодых. Я должен сказать, что старый писатель, как правило, всё же плохо относится к молодой прозе: и не так, как писали мы, и не про то, и сразу начинает брюзжать что-нибудь о традициях. <…>

27 сентября, воскресенье

В шесть встал, попил чаю и в восемь выехал. Домчался за два часа, в десять я был уже дома, за компьютером. По дороге подвозил довольно пожилого, уже вовсю поседевшего мужика, он назвал меня «батяней». В отместку решил «заняться

бессмертием», записать два эпизода, которые раньше умостились у меня в памяти, но то ли вчера, то ли позавчера, когда суждения возникли, в дневник не попали. Но и то, и другое казалось мне достаточно важным.

Во-первых, всё время по радио говорили об огромном сокращении на ВАЗе, но тут же было высказано и недоумение: дескать, как же так, если весь мир в связи с кризисом переходит на автомобили такого же типа, как ненавистные нашим средствам массовой информации и нуворишам «Жигули». Я например, всю жизнь езжу на машине этой марки.

Во-вторых, дня два или три назад я видел по «Дискавери» замечательную передачу о Рауле Валленберге, и тут же, или в другой передаче, было рассказано о сопротивлении датских властей немецким требованиям о выдаче евреев, о жёлтой звезде, о солидарности народа с еврейским населением. Естественно, стала виднее личность Валленберга и его очень богатых родичей, которые сотрудничали с немецкой промышленностью. Существовали, оказывается, даже некоторые сношения с Эйхманом. Но рухнул миф о том, что когда в Дании немцы всё же ввели звезду, то вроде бы сам король наколол себе на грудь жёлтый шестиугольник. Как раз этот эпизод так поразил меня в фильме Рязанова об Андерсене. В Дании евреи никогда жёлтую звезду не носили. <…>

Вечером вместе с С. П. пошли на спектакль в театр Ермоловой «Перед заходом солнца» Герхарда Гауптмана. Любопытно, что пьеса приобрела совершенно новое, почти современное звучание. Раньше это была пьеса о гримасах капитализма, а вот теперь просто о наследстве и хищничестве поколения. Как замечательно Андреев играет Матиаса Клаузена. До него на нашей сцене играли эту роль и Астангов, и Якут. Какой кудесник! Сам спектакль, в котором больше десятка действующих лиц, и каждый — с заметной ролью, знаменателен тем, что в нём участвуют ученики Владимира Андреева многих лет. По программке я насчитал 17 человек. Представлена школа, и поэтому в семье старого Клаузена все дышат как бы единым дыханием. Это, конечно, повод написать большую статью об учениках и мастере вообще.

28 сентября, понедельник

Начну прямо с праздничного меню. Помню, был такой случай. Максим Лаврентьев как-то даже меня упрекнул: куда, дескать, Сергей Николаевич, из ваших последних «Дневников» исчезла пища, еда. Да просто поводов, Максим, не было. Понятно, почему я в самом начале управления Ельцина приводил меню кремлёвских приёмов, а вот меню торжественного обеда, который дал белгородский губернатор по случаю 85-летия сенатора Н. И. Рыжкова от Белгородской области в районном центре Прохоровка:

- овощи натуральные свежие;
- сало с чесноком и горчицей;
- конвертики из баклажанов с сыром, зеленью и цветной капустой;
- рулеты из сельди с зелёным луком и грибочками из картофеля;
- студень из гусиных потрошков с хреном;
- ассорти рыбное с маслинами и имбирём;
- ассорти мясное с аджикой;
- форель озёрная, фаршированная морской форелью с грибами;
- ушица по-царски;
- судак морской;
- филе индейки в беконе;
- пирожки сдобные в ассортименте.

Об остальном и не говорю, всё остальное было тоже по-русски: морс, водка, особенно хорош был самогон.

Ещё месяц назад меня спросили, полечу ли я в Белгород на день рождения Николая Ивановича Рыжкова; я твёрдо сказал, что полечу. Много я в этой жизни пропускал, но только не здесь. Здесь легенда, один из наших сокровенных мифов.

Николай Иванович не был бы Рыжковым, если бы и организовано всё не было с такой невероятной точностью.

Я, как всегда в подобных случаях, проснулся на час раньше. Минут на сорок раньше приехал и Александр Яковлевич, шофёр ректора. Кстати, машину мне дали, чтобы отвезти на аэродром, без единого слова. На этот раз это было место для меня совершено неизведанное — Внуково-3. Это уже после правительственного Внуково-2, почти под Толстопальцевом. Я-то всегда, когда ездил по Киевскому шоссе, поражался каким-то очень уж масштабным работам и дорожным грандиозным развязкам в этом районе. Власть не только выстроила роскошный аэродром для частных самолётов, но и позаботилась подвести к нему дороги. Но хватит злобствовать, всё было прекрасно. А если на лётном поле стоит самолёт Абрамовича — ну и пусть стоит. Может быть, мне описывать это интереснее, чем ему летать.

Я ведь всегда не отличался памятью на лица, да и не стремился всех знать. Поздравления начались уже в небольшом зале в аэропорту, тут же громоздились и подарки — бесконечные коробки и парадные упаковки. Потом всеведущий Юра Голубицкий мне сказал, что вывезли подарков большую грузовую тележку. Но мне показалось, что моей книжке Николай Иванович радовался не меньше, листал, разглядывал. Народу в зале набралось человек семьдесят. Совершенно точно я определил адмирала Касатонова, мы и приехали с ним самые первые, и долго разговаривали. Потом приехал А. С. Соколов, был Альберт Лиханов, сенатор Глухих, совершенно точно я опознал и сегодняшнего министра культуры Авдеева. Потом, когда всё перемешалось, а Соколов, Авдеев оказались в общем разговоре, я подумал: вот стоят два министра культуры, а третий работает у меня на кафедре.

На самолёте в Белгород — взлететь и сесть. И уже на месте я понял удивительный план Рыжкова отпраздновать юбилей в местах, где сумел дать реванш судьбе.

Во время обеда в одной из речей прозвучало: как же сразу после падения СССР пресса и «общественность» накинулись на Рыжкова! Эпоха разрушения действительных ценностей истории. Вот тогда-то этот деятельный человек, наверное, возможно, волей случая попавший в Белгород и на Прохоровское поле, что-то для себя и решил. Нужна была большая идея и непреодолимая, как он привык, задача. Собственно, именно его волей и настойчивостью Прохоровское поле превратилось в третье ратное поле России: Куликовское, Бородинское — и Прохоровское.

Экскурсия, осмотр Прохоровского поля, монумента, митинг у библиотеки.

29 сентября, вторник

С предотъездным синдромом я никогда справиться не мог. Чемодан у меня не собран, я только определился: брать как можно меньше. Но и так — книги, два компьютера и пр. До начала одиннадцатого позавтракал и погладил бельё, которое на кресле валялось с лета, ещё раз просмотрел вёрстку последней главы «Кюстина», написал рейтинг книги для конкурса. Здесь отчасти воспользовался советом В. Н. Ганичева больше интуичить — написал Мише Семернякову записку, перечитал рассказы Жени Максимович к семинару.

К обеду пришёл Петрович. Всё же всучил ему бумагу, на которой я ещё позавчера, когда вернулся из театра, написал завещание. Чувствую себя с каждым днём хуже, в моём возрасте всё может случиться. Объяснил ему, что всё вообще может достаться дворникам или потребуется куча усилий, чтобы что-то спасти. С. П. категорически от всего отказывается.

В институте надо тоже сделать кучу дел. Получить деньги и билет, купить ещё один том с «Твербулем», отослать его с Ксюшей А. С. Соколову, сбегать к Харлову и, наконец, провести семинар.

Семинар сегодня я начал в час, чтобы спокойно уехать в 16.30 в Ленинград. На разминку я прочёл один рассказик Галины Щербаковой и поговорил о вторичной и коммерческой литературе. К сожалению, оказался в своём репертуаре: забыл книгу Андрея Геласимова, из которой собирался прочесть отрывок. Ну да ладно, в следующий раз, когда вернусь.

У Жени Максимович сильные короткие рассказы с плотным внутренним действием и притчевым выходом. По неопытности, желая эти десять-двенадцать страниц превратить в некое целое, она снабдила всё какими-то фантазиями по мотивам рун. Это оказалось мелким и безвкусным.

Сюрприз ожидал меня в конце семинара, когда встал Антон Яковлев и не без пафоса сказал, что вот, дескать, вы, Сергей Николаевич, всё рассказываете нам о Саяно-Шушенской ГЭС, а ничего не говорите о том, что у нас закрывается столовая. Тут же Антон сказал, что студентам ведомо и о гранте правительства институту с «восемью нулями». Насколько я понял, студенты застоялись и готовы к волнениям. К этому приводит атмосфера таинственности, которая последнее время царит в институте. Я ведь и сам о сложившейся ситуации, если бы не какие-то доверительные рассказы, ничего не знал. Не говорили об этом и на недавно состоявшемся учёном совете.

Ребят я постарался успокоить, объяснил, что дело здесь не в воровстве и не в стремлении их как-нибудь ущемить, а в бюрократической неразберихе, которая скоро, как я надеюсь, рассеется. Сказал и про грант, сказал, что их стипендия, её размер — это дело государства и правительства.

На вокзал мою сумку и рюкзак тащили Дима Иванов и Володя Репман. Позвонил Вася, он меня встретит.

30 сентября, среда

Валерий Сергеевич был прав, когда сказал, что надо переезжать из этого отеля. Внешне, казалось бы, комфортно, и вроде умывальников достаточно, и комнаты чистые, а у меня требовательность небольшая. Всё, правда, наталкивается на параноидальную слышимость, на затаившуюся скученность. Чистить зубы надо рядом с кем-то, как в армии, в трусах даже ночью в уборную не выйдешь. Но всё по порядку.

Приехал на вокзал почти за час до отхода поезда. Комфорт на железной дороге вслед за ростом цен на билеты вырос. В поезде предлагают, кроме обычной коробки с пакетиком сока, колбасной нарезкой и булочками, ещё и горячий завтрак: рыба, птица или мясо. Словно на самолёте в бизнес-классе, кормят на фарфоровых тарелках и с металлическими приборами. Правда, лихие официантки норовят вместе с тарелками быстренько унести и всё, что лежит на подносе. Так у меня — старый дурак растерялся и не дал соответствующего отпора — утащили коробку с закусками и пакет сока.

Всю дорогу на маленьком компьютере что-то записывал, читал «Комсомольскую правду». Она тоже вошла в «пакет» уже оплаченных с билетом услуг.

Встретил меня Вася и донёс мою тяжёлую сумку до «мини-отеля» на 7-й Советской. От вокзала — минут десять. Это новая форма ленинградского гостиничного обслуживания. Огромная квартира в когда-то доходном доме, поделённая на клетушки — а может быть, так оно и осталось после расселения, — отель. Правда, сантехника и все бытовые приборы — новые. Посредине квартиры просматриваемый коридор; у дверей сидит девушка-администратор. Перед нею телевизор, на котором все уголки и закоулки и четырнадцать клетушек с лёгкими, скорее декоративными, дверьми. Есть общая кухня с посудой и плитой, холодильник, на котором висит призыв: не бери из холодильника чужого!

Валерий Сергеевич предупредил меня по телефону, чтобы я не распаковывал чемоданы; я так и сделал. И утром мы переехали в гостиницу «Таврическая», которая расположена рядом со Смольным монастырём. Со временем, наверное, всё опишу поподробнее. Можно задохнуться от восторга, когда не торопясь обходишь собор и разглядываешь детали.

Занятия в одном из монастырских флигелей. Первая лекция, которую я услышал, была по делу

и довольно интересная. Рассказали о требованиях Болонской декларации, их практически десять пунктов. Хартия зла. По своей привычке я всё записал. Здесь много нужного и много для нас совершенно невыполнимого. Хотя бы пожелание, чтобы студент хотя бы один семестр учился в другом университете, и желательно — в другой стране. Но от Бонна до Парижа — это, я думаю, ненамного дальше, чем от Москвы до Белгорода. Примем во внимание, что транспортные расходы по сравнению с советским временем выросли во много раз.

Рассуждения по поводу Болонского процесса почему-то у меня в памяти вызывают госпожу Гейз из «Лолиты» Набокова. Она прекрасно знала все мелкие правила этикета, но сама была бездушна и эгоистична. Сама Болонская декларация связана с принципами Европейского союза о свободном перемещении труда и капитала. Теперь необходимо, чтобы так же свободно перемещался и интеллектуальный труд. За этим видно стремление Европы конкурировать с США, хотя бы объединёнными силами. <…>

После лекции ходили с Валерием Сергеевичем на вокзал менять мне билет, чтобы уехать на сутки раньше. Устал страшно; ноги я, видимо, совершенно запустил, но на то и командировка, чтобы расхаживать. По дороге и в гостинице прекрасно разговаривали, у Валерия Сергеевича масса разных случаев из жизни и баек. Как интересно слушать чьи-то простые истории из жизни.

Номер теперь у меня прямо напротив монастыря — спокойно, тихо. Завтра в нашей гостинице, в одном из залов, соберётся государственная комиссия по Саяно-Шушенской ГЭС. Вот бы попасть на неё вместо наших лекций. <…>

Окончание следует

Дмитрий Косяков

В кадиллаке Синей Бороды

Май

По лабиринтам маленьких дворов,
Разбросаны куски удачных строчек,
И вышел месяц май из берегов,
Но нам тепла подать не хочет.

Нас вечер крепко за руки берёт
И дотемна нам головы морочит,
Пока не облачится горизонт
В одежды ночи.

Мне хочется забрать к себе под зонт
Туманами пропитанные стены,
Я не хотел бы отвечать за зло
Чужой системы.

Мой сад

Скорее приходи в мой сад,
Пока открыта дверь.
Там ждёт тебя сестра-лиса
И женский люцифер,
Там два зелёных мертвеца
Увидели кино,
И принцы прямо из ларца
Приходят под окно,
Волшебник мучает людей
И прячет в бороде.
А знаешь, кто? А знаешь, где?
А вот никто нигде!

Пока ещё так рано спать,
Есть целых пять минут,
Скорее приходи в мой сад,
Пока нас не убьют.

Игрок

Танцуют деньги на сукне
В одной азартной круговерти,
Кто рассчитал, тот — на коне,
А кто увлёкся — в лапах смерти.
Я не похож на игрока,
Не лез в рабы и кукловоды,
Но чья-то властная рука
Уж передёрнула колоду.
Нет, я не стану подлецом,
От вас мне незачем скрываться,
Я веер выверну лицом
И всё ж сумею отыграться.
Приподымитесь со скамьи —
Взгляните в козыри мои!
Я вижу тёмные глаза,
Их взгляд чего-то ожидает,
Но кто-то под столом туза
Мне анонимно предлагает.
Ещё ни разу не ходил,
Но кто-то, фишки перепутав,
Уже кричит: «Ты победил!»
Суёт мне деньги почему-то.
Я ненавижу этот ад,
Возьмите золото назад!
Возьмите ваше и моё,
Чего делить нам в яме этой?
Но вместо карты остриё
Скрывает кто-то за манжетой.
Внезапный холодок в груди,
Поплыли радостные лица.
Что ж, видно, сердце не спасти,
Пока игра не прекратится.

Александр Астраханцев

Ты, тобою, о тебе[1]

Часть вторая

1.

Всю нашу с Тобой первую весну Ты, не желая бросать своих школьных питомцев, героически моталась через весь город в прежнюю школу. Но к сентябрю у Тебя — не без моего влияния — всё же хватило духу перевестись в наш район; теперь Тебе было до работы всего десять минут ходьбы.

Новая школа Тебе понравилась, и не только потому, что близко, — она и в самом деле была новой, светлой и просторной. Только если раньше Ты занималась с пяти- и шестиклассниками, то теперь у Тебя были старшеклассники — Ты их побаивалась, много готовилась к урокам, волновалась… И кто, интересно, Тебя выслушивал, когда Ты возвращалась оттуда с ворохами впечатлений?.. Во всяком случае, у меня терпения на это хватало, и всё, что Ты рассказывала, у меня теперь смешалось в один такой вот рассказ.

— Они все такие большие! — *рассказывала Ты мне, густо смешивая воедино в этом рассказе юмор, удивление и отчаяние.* — Вхожу, здороваюсь, говорю: «Давайте знакомиться». Ноль реакции — на меня смотрят, как на новый экспонат. А у меня для ускорения знакомства своя метода — не по журналу, а — как сидят: слева направо и — от первой парты к последней. Первым сидит юноша, крупный такой, важный. «Как вас зовут?» — спрашиваю, а он ухмыляется и изрекает важно: «Нас зовут Николай Иванович!» Класс прыскает от смеха. А мне что делать? Тут главное — не сорваться; даю понять, что мне их смех до лампочки. «А фамилия у вас, Николай Иванович, есть?» — спрашиваю. «Да-а, Петров!» — лопается он от важности. Записываю и повторяю вслух: «Петров Николай Иванович». Класс затихает: что за цирк будет дальше?

Следующая — девчушка с чёлкой на лбу, крепенькая такая; убрать чёлку — таким бы милым личико получилось! «А вас как зовут?» — спрашиваю. «Меня, — говорит, — зовут Малышка». — «Так и зовут?» — «Да, так и зовут». — «А фамилия у вас, Малышка, есть?» Вокруг — уже хохот: ребятня учуяла, что я игру с ними затеяла. «Есть», — говорит и уже понимает, что прокололась: это над ней хохочут, — называет фамилию. И вот так — весь класс… А Петров, между прочим, когда я несколько раз назвала его «Николай Иванович», подошёл и взмолился: «Пожалуйста, называйте меня просто Коля!» — «Хорошо, — говорю, — Коля. Я начинаю уважать вас за мужество…»

Причём моё неизменное «вы» с ними просто, чувствую, изводит их, не даёт им покоя. Терпели-терпели — не выдержали: «Почему вы с нами на «вы», когда все учителя нам «тыкают»?» А я не могу сказать прямо: «Потому что уважаю», — это был бы, наверное, вызов всей школе, — отвечаю уклончиво: «Вы помните эпизод, где Гамлет держит в руке череп шута и объясняет Горацио: «В нём целый мир погиб»?» — хотя они, конечно же, ничего не помнят. «Так вот, — говорю им, — я хочу, чтобы в ваших головах был этот самый «целый мир», хочу его уважать и чтоб вы сами его в себе уважали». Кстати, чувствуешь, под чьим влиянием я это? Не под твоим ли?..

Там у нас один мальчик есть, Глеб, умненький такой, но зазнайка; так он взялся пропускать мои уроки. «Почему пропускаете?» — спрашиваю, а он мне — с таким вызовом, будто я для него пустое место: «Я на физмат готовлюсь, так что ваша литература мне ни к чему: на четвёрку я и так знаю!» У класса, естественно, ушки на макушке: что, интересно, я предприму? — пример уж больно заразительный. Мне, конечно, проще отправить этого Глебушку к завучу — пусть она разбирается, но ведь я распишусь в бессилии: эти детки меня потом заклюют… Ломаю голову: как бы его ущучить? И придумала: устроить диспут после первой же большой темы и по результатам диспута выставить оценки… Ребята меня поняли, в наших отношениях с Глебушкой стали на мою сторону и такой диспут отгрохали — неделю потом класс на ушах стоял: кто, да что, да как сказал?.. Глеб, естественно, прогулял, а когда услышал про диспут — подходит, тусклый такой, и спрашивает тихонько: когда следующий будет?..

Им этот диспут так понравился, что мы решили ввести их в обычай. И поехали. А головы горячие: чёрт-те что в запале нести готовы! Снова ломаю голову: как привить им дисциплину речи? Опять придумала: попросила принести магнитофоны;

1. Окончание. Начало: «ДиН» № 4, 2011.

записали мы следующий диспут на кассеты, а потом слушать стали. Смеху было!..

И — представь себе: пошёл по школе слух, будто у нас сиди где хочешь, делай что хочешь, неси любую чушь — всё можно, — и начали к нам на диспуты валить из других классов... Скандал!

Вызывает меня завуч: «Почему у вас на уроках шум, смех, ходьба? Так нельзя вести уроки!» — «Но, по-моему, — отвечаю, — задача уроков — давать знания? Я их даю: успеваемость повышается...» Она берёт тогда сочинения моих учеников и проверяет — а придраться не к чему.

Приходит на урок комиссия. А я как ни в чём не бывало веду себе урок и нарочно вызываю не самых лучших: иначе ребятня тут же просечёт, что я пыль в глаза пускаю, — самые середнячки у меня отвечали — и знал бы ты, как они старались, чтобы меня не подвести!..

Но, видно, меня всё же решили поставить на место — новая комиссия приходит. А ученики видят, что я честно играю, и за меня горой: отправляют депутацию в молодёжную газету. Приходит в школу журналистка: разобралась, написала; напечатали. Опять скандал — хоть из школы беги!.. Но — представь себе: в результате меня не только не выгнали, а ещё и объявили автором новой методики! Теперь завуч водит ко мне на уроки учителей и показывает всем как достижение школы!..

Но Ты рано радовалась своим успехам... Именно той зимой, после нашей свадьбы, Твоя свекровь по первому мужу решила отомстить Тебе за своего сыночка (а может, даже надеялась вернуть Тебя?) и мщение придумала проверенное: накатала жалобу, а в ней описала все подробности Твоего нового замужества и — свой вывод: будто бы Ты со своим моральным обликом недостойна быть учительницей — таких надо гнать из школы метлой! — а жалобу размножила и разослала куда только можно. В том числе и в вашу школу...

— Странно, — сказала Ты тогда, — а ведь мы с ней когда-то ладили...

Помню, какой убитой Ты вернулась из школы после разговора с директрисой: она посоветовала Тебе, пока не уляжется волна от кляузы, взять месяца на три отпуск и посидеть дома. Похоже, Тебя собирались тихонько оттуда выжить.

— Видишь: опять из-за наших с тобой отношений страдаю я одна! — чуть не со слезами укорила Ты меня тогда.

Конечно, у Твоей обиды была подоплёка: сколько за время наших отношений на Тебя свалилось мытарств! И по злой иронии судьбы они валились именно на Тебя...

— Милая, но я готов защищать Тебя на любом уровне! — оправдывался я. — Давай завтра же поговорю с директрисой, а не поможет — так и в городское, и в областное управление образования пойду. А на свекровь надо подать в суд — за клевету!..

Однако Ты судиться со свекровью отказалась:

— Имею я право хоть раз поступить по-христиански? Пусть уж это останется на её совести. А что до школы — я там новый человек; кому там нужны неприятности из-за меня? И тебя не хочу впутывать в дрязги. Может, и в самом деле лучше поберечь нервы — тихо уйти?

— Нет, милая, нет! — возражал я Тебе. — Как можно спускать подобные вещи? Мы их этим только развращаем!..

И на следующий же день в самом деле отправился к директрисе.

Директриса, крупная женщина с суровым голосом и диктаторскими замашками, когда я представился ей доцентом пединститута и проч. и изложил причину визита и свои недоумения по поводу её советов, любезно объяснила мне, что её советы — куда разумней и для Тебя самой, и для школы, чем все предстоящие разборки, комиссии начальства и Бог знает что ещё. Особенно её пугали комиссии... Тем не менее, я любезно возразил ей, что на всякое незаконное увольнение существует суд, для которого пресловутый «моральный облик» — не довод. И как мне показалось, с моими доводами она согласилась.

Но на следующий день после того разговора Ты опять вернулась из школы удручённой: директриса успела сделать свой *ход* — предъявила Тебе письменный приказ с «предупреждением», из-за якобы низкой дисциплины на Твоих уроках. Понятно, что следующим ходом должен был стать приказ о Твоём увольнении — директриса нас упреждала. Тогда я предложил Тебе новую программу борьбы. А что ответила мне Ты?

— Знаешь, милый, — сказала Ты мне, — прости меня, но я не готова к борьбе. Ещё год назад — о, как бы я боролась! А теперь даже не знаю, что со мной; совсем размякла: слишком много, видно, отдаю тебе сил. Так что ну их к чёрту, я сдаюсь — давай лучше сохраним себя друг для друга. Подам заявление, посижу дома, позанимаюсь с Алёной, а потом пойду искать работу...

Ты меня обезоруживала.

2.

Но нам и тут повезло.

С того Колядиного визита, который остался в памяти нашествием Чингисхана, мы искали квартиру. Но не торопились; в Колядиной мастерской было светло и просторно; здесь, в экзотической, можно сказать, обстановке, нас любили навещать друзья; разве только над нами висел страх нового вторжения Коляды. И когда он однажды нагрянул снова, мы тотчас сбежали к Павловским, а уж убрать за ним ворох хлама было делом пустяшным.

И всё же наша жизнь там больше походила на поэтическую феерию, на временный бивуак или цыганский табор, чем на семейное пристанище. Причём мы-то с Тобой — ладно, но как терпела эту феерию Алёна? — а она терпела стоически: дети, как известно, быстро ко всему привыкают.

Однако её терпение, да и наше тоже, нельзя было испытывать бесконечно. И я наконец нашёл подходящую квартиру: один знакомый моего знакомого уезжал вместе с семьёй по контракту за границу на целых пять лет, хотел оставить квартиру в надёжных руках за умеренную плату и искал «приличных людей» с обязательством содержать её в порядке. Хозяев квартиры мы с Тобой в качестве «приличных людей» вполне устроили, и квартира осталась в нашем распоряжении… Нет, нам просто фантастически тогда везло — или, может, нам покровительствовали какие-то силы в надзвёздных сферах, покорённые нашей с Тобой грешной, святой любовью?

А помнишь, с какой неутомимостью мы взялись приводить в порядок наше новое жилище: белить потолки, переклеивать обои, мыть окна, двери, двигать и переставлять оставшуюся мебель? Нанять кого-то — об этом и мысли не было: быстрей — сделать самим! Мы даже наших добрых ангелов, Станиславу с Борисом, пощадили: работы не так уж много, а наши с Тобой руки — мы в этом давно убедились — работали слаженно. Ты сама вдохновляла меня и подталкивала: «Давай ещё это сделаем! А теперь вот это»,— и я соглашался делать и то, и это, лишь недоумевая: зачем упираться сию минуту, поздно вечером или посреди ночи, когда можно сделать завтра? — и поглядывал на Тебя с тайным страхом: не сломаешься?.. Нет, Ты всё-всё стойко выдержала!

Когда мы с Тобой въезжали в Колядину мастерскую, всё наше имущество, помнится, уместилось тогда в Борисовом «жигулёнке». Теперь же, когда съезжали из мастерской, пришлось брать грузовик. Зато с каким энтузиазмом мы наше имущество расставляли!.. И вот расставили и разложили всё и наконец-то почувствовали: мы — дома!..

Вот тут-то Твой «школьный вопрос» и решился автоматически: Ты тихо перебралась в другую школу, поближе к новому дому… Но от школьных экспериментов охоту у Тебя с той поры отбили — Ты стала куда как осторожней.

Теперь мы на целых пять лет были обеспечены пристанищем. А потом? — всерьёз задумались мы на этот раз и поклялись: во что бы то ни стало за это время купить собственную квартиру.

Я нашёл несколько неплохих способов зарабатывать на неё и как-то не страдал оттого, что докторская — в ступоре: время ещё есть… Да и кому она нужна? Разве нам не известен маленький секрет, состоящий в том, что занятие наукой — всего лишь средство удовлетворить нереализованные амбиции? Миллионы книг написаны амбициями обездоленных любовью и счастьем людей. Будь на свете больше любящих и любимых — книг и знаний было бы куда меньше, зато насколько бы при этом стало меньше жестокости, распрей, несчастий, войн… Так что моим творческим актом на некоторое время стала наша с Тобой жизнь. Правда, я испытывал некоторое беспокойство от творческого безделья: сколько, интересно, оно может длиться? А если всю жизнь?.. И холодел от этого каверзного вопроса, пробуя подобрать к нему самый главный ответ: зато, может быть, от нашей с Тобой любви мир хоть чуточку, но потеплеет?..

Однако оттого, что я мало занимаюсь, появлялись угрызения у Тебя. Они сгущались иногда до такой степени, что Ты едва не силком усаживала меня вечером или в воскресенье с утра за стол, велела Алёне не шуметь, а сама активней занималась домашними делами. И я действительно работал; а потом кто-нибудь из нас не выдерживал: или Ты подходила спросить шёпотом какую-нибудь мелочь (будто шёпотом нельзя помешать человеку!), или сам я шёл к Тебе, унюхав соблазнительный запах из духовки,— и мы с избытком компенсировали время, что провели врозь… Это было какое-то наваждение; верь я в колдовство — я бы решил, наверное, что меня «испортили»; но я не верил ни во что, кроме своего горячего чувства и своей неизрасходованной потребности в Тебе.

А когда привели квартиру в порядок, я забрал у Ирины главное своё богатство: свою часть библиотеки вместе со стеллажами.

Когда-то я собирал эти книги, как пчела мёд: каждую надо было высмотреть в магазине, не без волнения взять в руки, над каждой помучиться сомнениями: купить? не покупать?.. И когда я привёз их все в нашу новую квартиру — удивился тому, какая их уйма: пока они стоят одна к одной, сомкнутые, на стеллажах или в шкафу, это незаметно, но стоит их снять и упаковать в связки — набираются тонны! И эти тонны надо снести, погрузить в машину, затем сгрузить, поднять по лестнице, сложить в двухметровый штабель на полу, затем снова расставить.

Целая неделя ушла на это, и когда, наконец, каждая моя книга заняла своё место, я сел перед ними в кресло, оглядел их, как полководец — свои войска, перебрал взглядом корешок за корешком — и вдруг ощутил: какая добрая, успокаивающая энергия исходит от них! Они теперь придавали моему быту уют, душевную устойчивость и опору… Причём мне даже незачем их доставать: я мысленно беру каждую и мысленно же листаю страницу за страницей, безошибочно находя места, где у меня закладки, отчёркнутые абзацы, записи на полях…

Меня только беспокоило, как отнесёшься к библиотеке Ты: впишется ли она в нашу с Тобой жизнь, станет ли и Твоим товарищем — или разожжёт ревность и станет барьером меж нами?.. Затем привёз с работы огромный, списанный в утиль письменный стол, разложил в его тумбах свои папки и только тогда почувствовал: странствия мои в бурном житейском море закончились — я причалил!

В каждой семье есть свои маленькие ритуалы; в будни нашим главным ритуалом стало встречаться за ужином.

Ты быстро готовила простой и дешёвый ужин; в приготовление его Ты неукоснительно вовлекала Алёну, однако мои услуги отвергала: «Уходи, не мешай! Не твоё это дело — торчать на кухне!» — а после ужина, отпустив Алёну в её комнату (которую

она, кстати, очень полюбила и торопилась в неё), мы с Тобой оставались за столом, не спеша пили чай и рассказывали друг другу о том, что с нами за день произошло. При этом все наши дневные перипетии и все герои наших рассказов непременно оказывались почему-то уморительно смешными.

Странно как: мы могли перенести разговор из кухни в комнату, но, казалось, превись мы и сделай эти несколько шагов—и атмосфера душевного контакта исчезнет. Мы не просто рассказывали—мы распахивались друг перед другом до крайней степени доверия, и эти распахивания бывали такими интенсивными, что, рассказав всё и вволю отсмеявшись, мы продолжали сидеть, подперев подбородки, глядя друг на друга и улыбаясь, и никакие словесные нежности были нам не нужны—слишком простыми и грубыми были бы они, чтобы выразить ими наши состояния.

Они даже не каждый день выпадали, эти минуты,—но бывали часто: время забывалось; мы сидели, удивлённые тем, что с нами происходит, и затихали—что-то продолжало в нас звучать, пока мы молчали. Да такие состояния и не могли быть ежедневными, иначе бы потеряли осязаемость, и мы не загоняли себя в них силком—Ты бы сама посмеялась над малейшей фальшью, которую чутко ловила. «Ой, хватит, а то сейчас разревусь от избытка чувств!»—именно так Ты говаривала, когда мгновения эти затягивались, и решительно их прерывала.

Другим ритуалом было прийти ночью на кухню едва не голышом, проголодавшись после очередного акта, и жевать что-нибудь, сидя друг против друга, медленно остывая и взглядами изливая друг на друга остатки любовного жара.

Однажды сидели так вот, глаза в глаза; Ты заботливо пододвигала мне что-то необыкновенно съедобное, и было настолько тепло от Твоей льющейся на меня любви, что хотелось длить и длить эти минуты до бесконечности; тут Ты бережно взяла мою руку в обе свои и, будто стыдясь порыва, сказала:
—Знаешь, милый, я чувствую в себе столько сил, что, кажется, нарожала бы ораву мальчишек.
—Почему именно мальчишек?—улыбнулся я.
—Чтобы все как один на тебя походили... Впрочем, не бойся, шучу. Но одного бы родила. Занялась бы им—и тебе бы не мешала.
—Ну что Ты—разве Ты мешаешь?—горячо возразил я.—Конечно же, родишь—но давай ещё подождём. Как-то всё пока неопределённо: ни квартиры своей, сидим на чужих стульях, ужинаем за чужим столом... Давай хотя бы определимся с перспективой на собственную квартиру?
—Да, милый. Как ты скажешь,—отозвалась Ты, всё так же открыто глядя на меня и кивая.

Но улыбки на Твоём лице уже не было, и голос Твой при этом слегка потускнел; кажется, даже что-то затвердело в нём... С тех пор, знаю, всё было то же—и не то: не стало Твоей безоглядной распахнутости навстречу мне. И полное совпадение наших настроений бывало реже; в Тебе появилась после того вечера некая озадаченность: не сразу, не безоглядно Ты теперь отзывалась на мои обращения к Тебе—а только подумав.

Интересно, что когда я вернул Тебе рукопись со своими советами, как довести её «до ума»,—Ты забросила её и тотчас о ней забыла.

Я недоумевал: почему надо бросать хорошо начатое дело? Можно подумать, что Ты писала её с одной целью: свести со мной знакомство... И однажды я Тебе о ней напомнил:
—Давай-ка, радость моя, купим для Тебя письменный стол да подумаем, куда поставить,—чтобы Ты, наконец, одолела свою повесть.
—Милый, не беспокойся,—как-то равнодушно ответила Ты,—я себе место найду. В конце концов, у меня есть кухня...

А когда ещё раз напомнил о ней—ответила:
—Знаешь, я, наверное, не смогу её больше писать.
—Почему?
—Не знаю... Всё, что было до тебя, теперь такое мелкое, скучное! Меня будто вихрь подхватил и всё кружит, кружит и никак не опустит на землю. Но ты за меня не бойся; мне просто надо прийти в себя.
—Что же у Тебя тогда будет для души?
—Я работаю—разве этого мало? Нам ведь нужны деньги...

Интересно было смотреть на вашу с Алёной реакцию на появление библиотеки, этого скопища книг рядом с вами: в первые дни вы лишь почтительно на неё поглядывали и обходили стороной—она вас пугала. При этом знаю, как Ты скучала по телевизору, к которому привыкла в *прежней* жизни. В Колядиной мастерской я Тебя убедил, что телевизор там неуместен, но теперь Ты стала намекать, что пора его купить. Однако я этому, сколько мог, сопротивлялся, и Ты мучилась, не зная, чем вечерами заняться.

Ты стала шить и вязать, купила швейную машину; в доме появились журналы мод, мотки цветных ниток, вязальные спицы...

Ты склеивала большие листы бумаги, раскладывала их на полу и, ползая по ним на коленках или на животе, что-то без конца высчитывала и чертила, а потом из этого получались выкройки. От умственного напряжения лоб Твой прорезáла резкая складка, а взгляд настолько уходил в себя, что, глядя на меня в упор, Ты меня не видела. Потом кромсала по этим выкройкам ткани, смётывала куски и шила из них себе и Анюте платья, без конца их переделывая. В конце концов, по нескольку платьев себе и Анюте Ты сшила—да не простых, а особенных: каких ни у кого больше нет!.. Или, забравшись с ногами на диван, принималась вязать, сплетая из шерстяных ниток какие-то особенные узоры, без конца считая петли, распуская потом нитки и начиная всё сначала... В результате у всех у нас появилось по роскошному джемперу.

Эти Твои усилия найти себя меня просто умиляли: Ты, со своими выкройками, нитками и спицами, со слезами досады при неудачах и радостью, когда у Тебя получалось, становилась необыкновенно домашней, родной, близкой. Меня огорчало

лишь, что у Тебя—никакого интереса к книгам, хотя Твои пробелы в чтении просто ужасали: помимо вузовской программы, прочла Ты мало; притом Ты говорила порой такое, что я приходил в отчаяние: могла произнести *«лаболатория»*, и когда я Тебя осторожно поправлял—возмущалась: «А я и говорю: *лаболатория!*»—и только после второй поправки улавливала ошибку. А их было много, неправильно произнесённых слов, ударений, исковерканных известных фамилий, нелепых утверждений, примет, суеверий… Я приходил в отчаяние: боже мой, ведь у Тебя—высшее гуманитарное образование!.. Как же Ты училась?!

Между прочим, во время вечерних бдений между болтовнёй и смехом я рассказывал Тебе, какие читал днём лекции, и иногда их Тебе пересказывал; Ты слушала, спрашивала… Я понимал, что краткими пересказами Тебя не обтесать; не стать Тебе моей Галатеей—но что-то же я должен был делать!.. Странно: почему это меня так занимало?.. Думаю, то был подспудный страх: что же я буду делать с Тобой всю оставшуюся жизнь, когда нам надоедят болтовня и смех?..

Однажды, во время такого «бдения», Ты меня спросила:

— Милый, а что такое «конформист»?

— Откуда ты взяла это слово?—удивился я.

— Что, нехорошее?—испугалась Ты.—Один учитель обозвал нас так.

Я объяснил Тебе значение слова; Ты спохватилась:

— Это что же, я в самом деле конформист?

— Выходит, так,—рассмеялся я.

— Тебе хорошо смеяться!—обиделась Ты.—Но откуда ты всё знаешь?

— Читать надо.

— Ага, много будешь читать—быстро состаришься!—фыркнула Ты, а потом обречённо вздохнула:—Поздно, доктор: больной неизлечимо болен…

Первой ринулась пользоваться библиотекой Алёна: она с удивлением обнаружила там, не без моей, правда, помощи, собрание мирового фольклора в добрую сотню книг, и среди них—сказки, причём в хорошо иллюстрированных изданиях. Первую книжку мы с ней прочли вместе, вторую я ей подсунул, а третью она уже взяла сама. И дело пошло.

Не помню, сколько времени ходила мимо стеллажей Ты, присматриваясь и привыкая к книгам. Брала, листала, ставила на место… Но вот заинтересовалась одной, прочла, взяла вторую, потом третью…

Я хотел угадать Твои пристрастия—и не мог: Ты стала с жадностью читать всё подряд—то рассказы современного писателя, то русский, то французский классический роман, то перехваченные у Алёны сказки, то том эссеистики, насквозь пронизанный философскими построениями…

Ты по-прежнему скучала по телевизору, а я продолжал сопротивляться: «Потом-потом, когда будет свободней с деньгами»,—так что единственным развлечением для нас было чтение, особенно если на дворе дождь или вьюга.

Я не оставлял надежды понять: что же Тебя всё-таки интересует?—авось бы подсказал, чтоб не теряла время на мякину, которая, мимикрируя под литературу, чаще всего лезет в руки неискушённых.

— Меня интересует, милый,—неизменно отвечала Ты мне,—всё, что читал ты сам,—и в Твоём простодушном ответе я различал два подсознательных желания: одно—понять меня до конца («О Господи,—умилялся я,—каким же непонятным я Тебе кажусь!»); а второе—невольное соперничество; да-да, милая, соперничество, желание сравняться со мной и что-то мне доказать; Ты бросала мне вызов!..

Чем же я вызывал это соперничество? Неосторожной фразой? Снисходительностью? Самим фактом своего существования таким, какой есть? Но меня Твой вызов устраивал—значит, Ты не распустёха, не тряпичная кукла: что-то же в Тебе ворочается, заставляет делать усилия? Давай, милая, дерзай, напрягайся, догоняй! Только ведь я не топчусь на месте—моя профессия заставляет меня шевелить мозгами; у меня отлаженные каналы подпитки, привычка работать. Однако я протягиваю Тебе руку: я помогу Тебе, и вместе—вперёд!

Время шло, и по мере того как Ты читала—Твоя жажда чтения не убывала: у Тебя вдруг прорезался волчий аппетит на него—Ты стала глотать книгу за книгой, Ты объедалась ими. Твоя натура и здесь пробивалась: за что бы Ты ни бралась—бралась безоглядно.

А между тем как Ты втягивалась в чтение, Тебе стало не хватать нашей библиотеки, как не хватало её мне самому. Я приносил из библиотек книги, журналы, специальные и литературные, и просматривал их вечерами—так что Ты пристрастилась и к журналам тоже, сначала литературным, а потом и специальным, вычитывала в них что-то своё, ждала, когда принесу свежие. Сначала Ты таскала их у меня, а потом я стал давать их Тебе сам, чтоб Ты их просматривала и пересказывала мне всё, что там есть интересного,—чтоб не терять время на поиски мне самому. И эта Твоя новая страсть мне понравилась: меньше стало пустой болтовни, больше оставалось времени для занятий.

Читали мы и «модных» авторов, наших и зарубежных, о которых в то время много говорили,—причём читали по очереди, а самые интересные места в книгах зачитывали друг другу вслух.

Почему-то запомнились от той поры среди литературной *текучки* два романа, американский и французский, оба «про любовь»; романы были нагружены элементами постмодернизма и—заметно фрейдистскими, однако—серьёзные, даже драматические. Но нас с Тобой они почему-то никак не могли настроить на серьёзный лад, без конца вызывая смех над любовными похождениями героев—скорей всего, потому, что мы с Тобой сами жили в атмосфере, близкой этим похождениям… Молодой герой-американец, например, жил там с какой-то *клячей*, мечтал о *круглой девичьей попке*, без конца чертыхался, чувствовал себя живущим в *дерьме*, клял *этот дерьмовый мир* и при этом ужасно боялся казаться своему *дерьмовому миру полным дебилом*; и чем серьёзней он страдал от *дерьма* и казался себе *дебилом*—тем больше мы смеялись

над ним: «И всё равно ты—дебил, и не выбраться тебе из дерьма! И *круглая попка* тебе не поможет!..»

Автор-француз же без конца описывал слизь, пот и прочие прелести любовных актов; а когда его несчастный герой-любовник совсем захлёбывался в этой слизи, Ты жалела «бедного француза» и предлагала мне, путая при этом героя с автором: «Давай напишем ему—посоветуем, чтоб хоть научился выбирать себе подруг почистоплотнее...»

И—в самом деле: несчастные люди!.. У нас с Тобой тоже случался избыток пресловутой *слизи*—но мы-то как-то умели справляться с ней легко и просто, даже с юмором, не делая из забавных мелочей драмы. И *дерьма*, серости и безлюбья вокруг было хоть отбавляй—но нас оно не задевало!..

Я специально вспомнил об этом—с намерением оправдаться за то, что взялся описать наше с Тобой великое, длиной во много лет, любовное приключение. Причём—оправдаться именно тем, что мы, кажется, всё-таки овладели маленьким секретом: как своими руками построить собственный остров, недоступный для всеобщих дерьма и грязи, и суметь жить на нём счастливыми Робинзонами.

Помню, как поначалу меня смешило Твоё постоянное желание проникнуть в мою душу и объять меня даже там: когда я задумывался над чем-нибудь—спрашивала, пытливо глядя мне в глаза: «Милый, о чём ты сейчас думаешь?»

На такой вопрос бывает трудно ответить: мысли бегут слишком быстро, плодятся, как матрёшки, одна из другой, трансформируются, словно цветные фигуры в калейдоскопе, разбиваются на потоки, ни на секунду не прерываясь,—как рассказать про всё это? Сначала надо вдуматься, в каком месте была мысль в момент вопроса, затем облечь её в понятный текст... Иногда, не в состоянии проворно ворочать языком, я отвечал: «Так, ни о чём»,—а Ты понимала это по-своему—что мне лень с Тобой говорить, и обиженно замолкала. Чтобы замять свою оплошность, я торопился объяснить, что всего лишь устал сегодня и мне трудно напрячься. Или, не в состоянии рассказать всего, лукавил: рассказывал про одну из текучих мыслей,—и ту редактировал; однако Ты улавливала лукавство, и если великодушно прощала его—я был Тебе благодарен за это. Зато как легко и свободно мне становилось, когда я выкладывал Тебе всё! Ты радовалась моей искренности и сама в ответ старалась быть предельно искренней... Эта чуткость Твоего чувственного аппарата к движениям моей психики и желание и умение настроиться на неё просто удивляли меня!.. И вот это состояние предельной искренности стало исчезать, когда Ты начала читать и задумываться о прочитанном: у Тебя появилась отдельная от меня внутренняя жизнь—а мне, в отличие от Тебя, было лень допытываться до неё. Может, именно с этого всё и началось?..

Ты по-прежнему много занималась домашними делами, освобождая от них меня, и, как всегда, делала их легко и быстро; впрочем, понемногу Ты стала перекладывать их на Алёну, уча и её тоже делать всё легко и быстро.

А меня начало одолевать некое беспокойство относительно Тебя. Отчего? Оттого ли, что Ты теперь не знала, как распорядиться избытком своего времени иначе, чем завалиться после домашних дел с книжкой на диван,—или оттого, что Ты больше не приставала ко мне всякую минуту с вопросами и изъявлениями нежности, что стала сдержанней и немногословней?.. Что пора, наконец, просыпаться от бездумного счастья и начинать жить обыденной жизнью—а просыпаться и окунаться в обыденную жизнь не хочется?.. Ни словом, ни жестом я не выдавал своего беспокойства, но Ты улавливала его:
— Милый, ты сердишься, что я опять с книжкой?
— С чего Ты взяла? Читай-читай, набирайся ума,—успокаивал я Тебя. А заодно и себя.
— Нет, сердишься,—упрекала Ты меня.—Вот увидишь, я чем-нибудь займусь, только потом. Сейчас я в каком-то тупике—голова идёт кругом.

Я подсаживался к Тебе и начинал гладить Твою голову, которая «идёт кругом». Это было началом игры; затем следовали поцелуи, и снова, как прежде, мы падали в ослепительную бездну близости... То была цепь цветущих, пряных островов цельного подводного материка большой и долгой, длиной в годы, нашей с Тобой не проходящей страсти.

3.

Той весной матушку в деревню снова отвозил я.

Ей эти переезды давались всё трудней; жизнь в городской квартире ослабляла её за зиму настолько, что к весне она еле волочила ноги; а приехала в деревню, дохнула полной грудью воздуха, подставила солнышку бледное лицо, расправила плечики, почувствовала себя хозяйкой—и, глядь, поступь её стала уверенней, голова выше, голосок—смелей и твёрже.

Я был обижен и на неё, и на Татьяну оттого, что они не хотели с Тобой знакомиться. Даже о нашей с Тобой женитьбе поставил их в известность не сразу. Татьяна произнесла в ответ на известие, иронически кривя губы: «Поздравляю!»; матушка отнеслась к сообщению внимательнее: выронила слёзку, поцеловала в щёку и пожелала счастья, но—даже не расспросив о Тебе... А тут, в деревне, при неспешном течении времени, когда мы с ней как-то сумерничали за обеденным столом, не зажигая огня,—тихо, будто прощения просила, разрешила:
— Приезжай с Надей.
— Спасибо, мама,—сказал я.
— Думала, Ира с Игорем будут ездить,—начала она оправдываться.
— Не приедут,—покачал я головой.
— Почему вы все такие—со злостью?.. Ты, раз уж женился снова, относись к жене добрее; от мужчины многое зависит.
— Хорошо, мама,—пообещал я.

И в следующий же выходной мы приехали втроём. Татьяну я попросил в тот выходной не приезжать, чтоб не мешала сближению двух самых близких мне существ.

Тебе я никаких инструкций на этот счёт не давал, хотя Ты, кажется, их ждала; но ведь тут никакие инструкции не помогут—это был Твой экзамен

на такт и чутьё, и я тайком поглядывал на Тебя: как-то вы сойдётесь, сумеешь ли?.. И Ты экзамен выдержала: Ты была сама учтивость и предупредительность, и Алёну *проинструктировала* так, что та боялась лишний раз шелохнуться: рот—сердечком, глаза—ангельские, ручонки—чуть не по швам, и лепетала каждый раз единственное слово, и то почти шёпотом: «Спасибо!»

Матушка осталась удовлетворена встречей. Она потчевала нас воздушными пирогами со свежим щавелем, а потом самолично—в знак доверия—повела Тебя в огород показать своё хозяйство: где у неё цветы, где смородина и клубника, петрушка и сельдерей и всё остальное. Я остался в доме и сквозь окно следил за развитием ваших отношений.

Вот вы, обойдя огород, остановились посреди грядок и о чём-то долго-долго говорили. Знаю ведь: ни Ты, ни матушка—не говоруньи. Что за тема заставила вас так долго и серьёзно беседовать? Возможно, этой темой, в которой обе стороны осведомлены и заинтересованы, была моя персона. Делили сферы влияния на меня и владения сторон?.. Во всяком случае, сама Ты мне о содержании вашего разговора так и не рассказала; да я и не настаивал: могут же у вас быть свои тайны и своя солидарность? Но, как говорят дипломаты, лёд недоверия был сломан, и мы потом ездили в *нашу* деревню с некоторой регулярностью—работали там и отдыхали.

—Теперь Твоя очередь знакомить меня с родителями,—сказал я Тебе как-то, но Ты будто не расслышала или не поняла—заговорила о чём-то другом, отвлекая меня. Однако, отвлекаясь, я всё же подумал с недоумением: что за упорное нежелание говорить о своих родителях?..

Через неделю снова напомнил: когда поедем знакомиться?—и Ты опять попыталась отговориться, причём со смехом:

—Ты знаешь, мой первый муж так и не удосужился с ними познакомиться. Он считал, ха-ха-ха, что знакомиться с ними—отживший обычай: женимся, мол, не на предках, а друг на друге.

Но я не принял Твоей отговорки; даже обиделся:

—Я не хочу походить на Твоего первого мужа.

—Милый,—Ты кинулась обнять меня,—я не хотела тебя огорчать, но зачем они тебе? У тебя же есть я. Они у меня плохие родители, пьющие.

—Эка!—рассмеялся я.—Ты что, думаешь, я вырос в оранжерее и не пил с пьющими? Можешь с ними не пить, а я выпью: они Твои родители—для меня это уже довод для знакомства.

—Ладно, милый, мы обязательно поедем.

И всё не ехали… Но однажды Ты сказала:

—В этот выходной—едем.

Прекрасно! Больше меня радовалась этому Алёна… Мы с Тобой заранее купили коробку конфет, торт, бутылку водки и бутылку вина: пьют так пьют—значит, угостим вином и водкой,—сели и поехали, все втроём. И в десять утра уже выходили из автобуса на их остановке.

Мне было очень интересно: откуда Ты взялась, где выросла?—и когда сошли с автобуса и двинулись по улице, я рассматривал всё, что Ты показывала. Вокруг было бедновато и ничем не примечательно—и в то же время празднично и необыкновенно только потому, что всё было одушевлено Тобой и несло на себе незримую печать Твоего давнего присутствия здесь—весь этот скромный квартал с рядами стандартных двухэтажных домиков. Они были почти игрушечными, эти белёные домики, если б только не зловещий фон позади них из упёртых в небо громадных труб среди заводских кубических громад, размытых в мареве сизого нечистого воздуха.

Вот за решетчатой оградой—двухэтажная школа, где училась Ты; вот тротуары, по которым Твои ноги прошли тысячи раз; заборы, через которые Ты лазала девчонкой, обдирая колени; вот—деревья, кусты, трава, на которые Ты смотрела ребёнком, подростком, девушкой…

Ты вдруг увидела на тротуаре расчерченные мелом детские «классики», остановилась перед ними—и начала прыгать на одной ноге по неровным клеточкам.

—Мама, да ты что?—с ужасом пролепетала Алёна.—Люди увидят!

—Ха-ха-ха!—заливисто расхохоталась Ты.—Это же я, я их рисовала—на этом самом месте, двадцать лет назад!

—Мама, пойдём!—схватила она Тебя за руку и потащила прочь.

А вот и Твой дом под огромным тополем с тяжёлой тёмной кроной; вот три ваших окна на первом этаже, под которыми мы проходим,—в них пышно цветут алые герани и фуксии.

Дверь нам отворяет Твой отчим, «папка» Геннадий Михайлович.

—О-о, кого я вижу! И внученька приехала!—искренне радуется дед, подхватывает Алёну на руки, и мы входим в дом.

Геннадий Михайлович худ и темноволос, с глухим прокуренным голосом, с бледным сухим лицом и щегольскими, в ниточку, усами; одет он в полосатую тельняшку и чёрные, хорошо отутюженные флотские брюки-клёш. Мы крепко пожимаем друг другу руки.

А вот, наконец, и Твоя матушка, Евдокия Егоровна: она выходит из кухни в затрапезном ситцевом платье и клетчатом фартуке, первым делом впивается острым взглядом в меня и говорит:

—А я как раз оладьи пеку—будто чувствую: кто-то придёт!

Вот она какая, значит, Твоя мама! Я смотрю на неё во все глаза. Сухопарая пятидесятилетняя русоволосая женщина с суровым и серым каким-то лицом, с блёклыми усталыми глазами, с зычным голосом работающего на открытом воздухе человека… Её лицо—почти копия Твоего. Только грубая копия. Неужели и Ты будешь когда-нибудь такой же—сухой и жёсткой, с острым холодным взглядом и грубым голосом?.. Нет, никогда! Твой голос останется чистым, глаза сияющими, а лицо светлым—Твой лик и Твою душу огранивает и шлифует свет любви!..

Тем временем вы, все трое—Ты, Алёна, матушка,—заговорили разом, а я стал незаметно

осматриваться… В комнате — опрятно, но голо: дерматиновый диван, стол, несколько стульев. Только на окнах ещё пышнее, чем видно с улицы, цветут цветы — целый сад полыхает, загораживая свет, оставляя в комнате полумрак, в то время как на улице буйствует солнце.

— Какие пышные у вас цветы! — говорю я Евдокии Егоровне.

— У мамы рука на цветы лёгкая — она заговор на них знает! — с готовностью отвечаешь Ты мне и, заметив мою недоверчивую улыбку, зажигаешься: — Да, мама знает заговор, и у неё в самом деле лёгкая рука!..

И матушка Твоя поддерживает Тебя: да, знаю, да, лёгкая, — и Ты довольна, что всё так дружно, так хорошо у нас складывается… Но тут Ты заметила, как Геннадий Михайлович накинул пиджак, и встревожилась:

— Папа, ты куда?

С самого нашего прихода Ты, надо сказать, разговаривала с ними строго-покровительственно — я Тебя такой ещё не видел; а они с Тобой — скованно, даже робко… Глаза у Геннадия Михайловича заюлили:

— Сейчас приду — тут недалеко.

— Водку брать не смей — мы принесли! — строго сказала Ты.

— Да зять ведь, угостить полагается! — слабо запротестовал тот.

— Пусть сходит, — разрешила Евдокия Егоровна.

— Знаешь, мы не для того сюда ехали, чтоб смотреть, как вы напиваетесь! — сурово выговорила Ты ей.

— А с чего ты взяла, что напиваемся? — тут же обиделась Евдокия Егоровна. — Пьём — это правда, но не напиваемся!..

Геннадий Михайлович, воспользовавшись вашей перепалкой, исчез, а Ты стала заметно нервничать, умолкла и нахмурилась.

Матушка Твоя меж тем собирала на стол.

Тесть вернулся быстро и выставил на стол целых три бутылки водки. Меня при виде их передёрнуло, а Ты нахмурилась ещё суровее.

— Куда такую прорву набрал? — накинулась Ты на него. — Убери сейчас же!.. А шоколадку Алёне купить не догадался?

— Да я, Надя, не в магазине брал, — пробормотал он.

— У азербайджанца опять? В долг? — спросила Евдокия Егоровна.

— Ага. Сейчас сбегаю, куплю шоколадку, — сказал он, убирая две бутылки со стола. — Дай, мать, денег.

— Где я тебе возьму? — раздражённо отозвалась Евдокия Егоровна.

— Ладно, не бегай. Есть торт и конфеты, — хмуро махнула Ты рукой.

Как-то почти сразу сели за стол. На столе — незамысловатый обед: жареная картошка, селёдка, салат из редиски и свежих огурцов, оладьи. И гранёные стопки. Тебе тесть налил вина, остальным — водки.

— Ну, со знакомством! Поехали! — кратко провозгласил он, поднял стопку, торопливо чокнулся со всеми и поднёс стопку ко рту.

— Погоди, успеешь! — одёрнула Ты его. — Я привела сюда мужа, которого люблю и уважаю; вы его впервые видите — и вам нечего сказать нам обоим?

— А что ещё говорить? — добавила за мужа Евдокия Егоровна. — Непривычные мы… Счастья вам.

— Правильно, мать! Лучше не скажешь! — крякнул Геннадий Михайлович и наконец опрокинул в себя стопку, которую явно устал держать.

Выпили и мы с Тобой. Этот ужасный обычай — пить по любому поводу… Когда-то я робел перед обычаями; теперь научился пренебрегать — или симулировать, если не хватает смелости обидеть отказом. Но там, в Твоём родительском доме, я не пренебрегал и не симулировал — я приготовился выпить всё, что мне полагалось на правах гостя. Хотя бы при первой встрече.

Но не я, а сам хозяин и пал жертвой обычая… По две стопки одолели быстро; Геннадий Михайлович, переругиваясь с Евдокией Егоровной, успевал при этом подливать. Когда Ты пыталась протестовать, я молча дотрагивался до Твоей руки, и Ты замолкала.

После третьей лицо у Геннадия Михайловича стало наливаться свекольной багровостью, волосы его взмокли и прилипли прядками ко лбу, а сам он вспотел и стал бестолково разговорчив.

— Значит, литература, да? — повернулся он ко мне. — Знаю, тоже любил. Стихи вот ей читал, — ткнул он пальцем в Евдокию Егоровну и произнёс несколько разрозненных есенинских стихотворных строк: — «Уйду бродягою и вором… Пойду по белым кудрям дня!.. На рукаве своём повешусь»!.. — причём произнёс он их так прочувствованно, что в глазах у него блеснули слёзы.

Ничего больше не вспомнив, он перескочил на воспоминания о детстве — и тоже разрозненные: про *вот такие яблоки* в саду у деда, про крик пастуха на заре: «А ну-у коров выгоня-ать!..» — но опять расчувствовался до всхлипа и тут же перескочил на флотскую службу — самое яркое, кажется, что пережил в молодости. Говорил он невнятно, проглатывая концы фраз и повторяясь, так что Евдокия Егоровна одёрнула его:

— Ну, завёлся опять, моряк-с-печки-бряк!

— Иди в задницу! — взревел на неё Геннадий Михайлович.

— Папка, что это такое? Как ты с мамой разговариваешь?! — возмутилась Ты. — И хватит, мы сто раз это слышали!

Однако он не унялся — а важно и с достоинством изрёк:

— Молчите, женщины, — не с вами говорю!

— Хватит, тебе сказали! — рявкнула на него Евдокия Егоровна.

— Чё ты, курва старая, с человеком поговорить не даёшь? — возмутился Геннадий Михайлович и, апеллируя ко мне, снова ткнул в жену пальцем: — Меня никто столько не оскорблял, сколько эта стерва!

— Папка! — крикнула Ты на него, а Евдокия Егоровна взорвалась:

— Ах ты, рожа ты неумытая! Кто тебя отмыл?

— Ты, что ли? Да я бы лучше нашёл!

— Хватит! — треснула Ты ладонью по столу.

— Баба, деда, не ругайтесь! — попросила Алёна спокойно — она, видно, подобные свары уже слышала, — но её уже никто не слушал.
— Пьяница несчастный! Алкоголик! — кричала Евдокия Егоровна.
— Да, пьяница! Но не алкоголик! Я работаю! — кричал отец, подняв палец.

Я вопросительно посмотрел на Тебя: надо было что-то делать.
— Пойдёмте отсюда! — скомандовала Ты нам с Алёной, швырнув вилку на стол так, что та подпрыгнула и упала на пол, и решительно встала.
— Ну и катись! Подумаешь, осчастливила! — заорала на Тебя мать. — Ещё и мужика привела! А прежний муж твой, Лёнька, между прочим, на счету у начальства, повышение получил! Шалашовка ты — мало я тебя в детстве драла!
— Вот зареклась к вам больше не ходить — и не приду больше: живите как хотите! — ругливо, в тон ей, ответила Ты; и когда мы уже были в прихожей, через незапертую наружную дверь бесшумно вползли два каких-то пришибленных существа — мужского и женского пола.
— А-а, Наденька! — осклабившись, прошелестело существо женского пола. — Мамочку проведать пришли?
— Чего вам тут надо? А ну вон отсюда! — рявкнула Ты на них, и те безропотно исчезли за дверью.

Теперь мы шли по улице быстро и молча; я молчал, потому что понимал: любое слово сейчас вызовет у Тебя раздражение, и думал лишь о том, как нелепо живут люди — Твои родители, моя сестра, Павловские, мы с Ириной когда-то… Нет, милая, у нас всё будет по-другому: мы оплодотворим своей любовью эту жизнь, мы будем примером им всем!.. И только когда ушли далеко, Ты, ещё не остывшая, колючая, накинулась на меня:
— Ну, насмотрелся, удовлетворил любопытство?
— Я не из любопытства, а из простого долга, — смиренно возразил я.
— Извини, — помолчав, сказала Ты. — Вот они, во всей красе! И соседка их Люба — такая же: уже учуяла, уже ползёт на запах со своим хахалем!

Я сказал, что сожалею, что Ты поругалась с родителями, — а Ты лишь махнула рукой:
— Ничего с ними не сделается!.. Все тут такие: от получки до получки, от пьянки до пьянки… Думаешь, почему я с тобой не шла? Выжидала: раньше они перед получкой тихие были, радовались, когда я приходила, — теперь даже этого нет! Как они мне противны, ты бы знал! Вся моя жизнь прошла под их застолья: день и ночь — галдёж! Потому и замуж не глядя выскочила. Сколько я водки в унитаз вылила, сколько с ними ругалась! А ведь вроде бы нормальные люди: мать — хорошая крановщица, отец — электрик с высшим разрядом… Куда всё? Чтобы стать перегонными аппаратами, относить зарплату азербайджанцу за вонючую отраву? Ничего хорошего не помню: платья — самые дешёвые, туфли — рваные, никуда не ездила, нигде не была…

Я чувствовал: Ты сейчас расплачешься, нагнетая в себе горечь и обиду, — а день такой яркий, солнечный, зелёный!
— А куда это мы так разогнались? — удивился я.
— И в самом деле! — очнулась Ты. — А ведь я есть хочу — ничего в рот не лезло! Сейчас набегут соседи, и начнётся… Скажи им всем в глаза, что лечиться надо, — оскорбятся, а ведь всех, весь посёлок лечить надо… Что вы на это скажете, господин учёный?..

А мне только одного хотелось: чтобы Ты вылила своё раздражение на меня и никуда больше его не несла.
— Слушайте: у меня предложение, — наконец немного успокоилась Ты. — Тут недалеко парк есть. Там, правда, одни тополя и дорожки, но это было моё любимое место в детстве: там есть качели, карусель и кафетерий. Папка водил меня туда, катал на карусели, и мы ели мороженое. Он был тогда молодой, щеголеватый и вправду читал стихи…

Для Алёны мороженое стало главным доводом в пользу парка, и мы свернули туда… Там всё было так, как помнила Ты: качели, карусель и кафетерий, и мороженое продавали, и публики для середины воскресного дня было немного, так что мы перекусили в кафетерии, а потом — пока Алёна каталась с мороженым в руках на карусели — мы с Тобой, тоже с мороженым, сидели на скамье, и Ты никак не могла унять горечи — бередила рану:
— А ведь они молодые были, учились, книги читали — куда всё? Мать жалко. Пока я с ними жила, они меня боялись.
— Теперь я понимаю, откуда Ты пришла, — кивал я.
— А знаешь, как мама старалась меня отсюда вытолкать! — горячо продолжала Ты. — Как она меня шпыняла за тройку в дневнике, за малейший проступок!.. У меня подруга была, Варя, единственный человек, о ком я тоскую, — она потом уехала, в МГУ поступила. Не знаю: почему она меня выбрала? Папа у неё — главный инженер на заводе. Я страшно любила у них бывать — как в сказке: тихо, просторно, красивые вещи, книги, музыка! И мама у неё — такая добрая: бывало, накормит меня; даже ночевать оставляли. Это был верх блаженства! Они знали, что у меня дома творится… А я мечтала: стану взрослой и тоже буду жить как они! Глупость, конечно, детские мечты…
— Ты действительно будешь так жить! — заверил я Тебя.
— Да ну, что теперь… Ты мне столько дал, что тот Варин уют не таким уж и великим кажется! Но тогда он был чем-то недосягаемым… Прости, милый, я тебя огорчила сегодня. Не хотела вести — знала, что так и будет!
— Ничего. Просто у них своя жизнь, а у нас своя.
— Не хочу больше к ним ездить; не хочу, чтобы их видела Алёна!

Эта решимость отгородить нас от их гибельной жизни была трогательна — но Твой жест был слишком суров; я возразил:
— Нет, будем ездить. Иногда. И будем ставить свои условия.
— Да, милый, ты прав: иногда, и только — свои условия! — согласилась Ты, сжимая мне руку. — Раз в год, не чаще! Чаще — это выше моих сил!..

4.

Помню день, даже час, когда Ты спросила: что такое социология? Не потому помню, что вопрос неожиданный,—просто спросила в неподходящий момент… Накидываясь на чтение, Ты зачитывалась до того, что мне приходилось отнимать у Тебя ночью книгу или журнал, а Ты отдавать не хотела, ворча, что Ты—свободный человек и вольна делать что хочешь, так что мы затевали возню под девизом «Кто тут главнее?»—и возня заканчивалась понятно чем: объятиями и прочими атрибутами любовных игр; а утром Ты не могла встать, и я тормошил Тебя, щекотал или делал Тебе массаж—его Ты обожала… И в одно такое утро, когда я, выпростав Твоё тело из-под одеяла, оседлал его и занялся массажем Твоей спины, заряжая Тебя, а заодно и себя бодростью,—Ты, ещё разнеженная и расслабленная, не в состоянии разлепить глаз и поднять головы, неожиданно спросила:
—Милый, что такое социология?

Я едва не свалился с Тебя, ошарашенный: «Ну, начиталась, моя радость!»—однако от смеха удержался и, продолжая своё приятное занятие, коротко объяснил Тебе в объёме энциклопедического словаря, лукаво утрируя в духе прямолинейного марксизма, что такое социология.
—Спасибо, милый,—сказала Ты, не заметив моего лукавства.—Ты всегда так просто всё объясняешь!.. А знаешь, я бы хотела заняться ею.
—Почему?—снова впал я в состояние полного недоумения.
—Всегда хотела копаться в людских проблемах. Только не знала, как подступиться.
—Да как же Ты хочешь заниматься, не имея об этом понятия?—взялся я Тебя вразумлять.—Чтобы заниматься, надо снова учиться!
—А мне нравится учиться,—простодушно ответила Ты.
—А если учёба затянется на годы, а потом надоест?
—Милый, ты в меня не веришь?
—Верю,—легко бросил я, только чтобы отделаться—пора было вставать и заниматься делами; так что решить проблему Твоих гипотетических отношений с социологией утром мы так и не успели.

Продолжили разговор за ужином.
—Ты не забыла, как утром хотела быть социологом?—улыбнулся я.
—Нет,—ответила Ты серьёзно.—Я думала над этим целый день.
—И что надумала?
—Милый, я не раздумала.

Теперь задумался я: что это с Тобой? Каприз? Кризис души? Желание что-то кому-то доказать?.. Между тем, Ты встала, чтобы убрать со стола.
—Посиди,—попросил я.

Ты села; я взял Твою руку в свою и сказал:
—Раз хочешь—иди. Только зачем? Я буду считать виноватым себя: что-то такое сделал, что сбил Тебя с толку.
—Нет, милый, ты тут ни при чём,—ответила Ты кротко.
—С Тобой что-то происходит. Что именно?
—Видишь ли, милый… Ты, я знаю, принимаешь меня за дурочку—так удобней нам обоим.
—Хорошего же Ты мнения обо мне!
—Да я о тебе самого лучшего мнения, но твоя голова всегда занята, тебе трудно переключаться на мои проблемы. И зачем? Ты и так много мне дал. У меня всегда были свои мысли, но в них такой кавардак! Мне ужасно хочется многое понять—а чего-то главного ухватить не могу. Вроде бы и читаю много, а оно всё равно ускользает.
—Ты знаешь, многие бьются над этим главным всю жизнь—и не находят.
—Что мне многие!
—Но разве главное для нас с Тобой—не семья и работа?—попробовал я Тебя переубедить.—Отсчитывай отсюда, и всё у Тебя встанет на свои места.
—Да, милый, ты, как всегда, прав. Но понимаешь… Что-то всё-таки есть ещё,—продолжала Ты, не очень, впрочем, уверенно.—И повесть моя была желанием найти это, и учительство… И в тебя влюбилась поэтому: вот, думаю, человек, который поможет мне справиться с моими проблемами… Милый, ты не обижайся, я ведь откровенна с тобой; но я так влюбилась в тебя—даже не в тебя, а в этот твой образ мира,—мне хотелось видеть как ты, думать как ты! Но странно: я потеряла голову, потеряла почву под ногами—всё потеряла! Поверь, милый, я не дурочка, нет,—просто я переросла себя, ту, прежнюю, и теперь, когда мы уже столько лет вместе, начинаю понимать это… Но я хочу большего: вровень с тобой быть—чтоб ты мог на меня опереться, доверить мне самые глубокие свои мысли… Помнишь, как мечтали: спина к спине, и—круговая оборона? Но я вижу, чувствую: ты по-прежнему—в одиночку; я у тебя—только для тепла и уюта…
—А Ты помнишь, как собиралась нарожать ораву мальчишек?
—Но ведь ты же не хочешь!
—А если захочу?
—Так нарожаю! Ты же мне поможешь немного, правда?
—Даже не «немного», и, думаю, это будет уже скоро.
—Прекрасно! Так, милый, ты позволишь мне сменить работу?
—По-моему, Ты в ситуации *пойди туда, не знаю куда*,—мягко возразил я.—У Тебя же прекрасная работа!
—Милый, а что мне помешает вернуться, если не получится?..

Я не сказал тогда «да»—решил больше Тебе не потакать: слишком избаловал я Тебя своей мягкостью. И продолжал ломать голову: что с Тобой?..

Разгадывание этой загадки помогло мне кое в чём разобраться. Да, там такой клубок мотиваций был, что распутать его требовалось время… Я ведь знаком со школьной жизнью не понаслышке; с Твоим характером работать там трудно: школа требует характеров ровных и твёрдых, без эмоциональных зигзагов и рискованных экспериментов, но Тебе это скучно—Ты тратишь там слишком много усилий и, сама того не осознавая, ищешь смены занятий… И ещё одно обстоятельство, в котором уже повинен я: я приохотил Тебя к знанию, к книгам—а это, оказывается, небезопасно:

Тобой овладела жажда, *похоть* знания. Как мне это знакомо!.. И потом… вон сколько навалилось на Тебя разом! — Ты становишься совсем-совсем взрослой, и это превращение Тебя пугает: Тебе по-прежнему охота лететь куда-то, мчаться, ощущать жизнь праздником. Это Твоё превращение совершалось на моих глазах… Но что было делать мне? Наверное, хотя бы придержать немного? И я, сколько мог, придерживал…

Когда Ты напомнила о своём желании снова, я спросил:

— Ну хорошо, а где бы Ты хотела работать?

— Милый, я уже навела справки: на заводе, где работают мои родители, создаётся социологический отдел…

Вот оно что: Тебя снова потянуло туда, в юность?

— Да, это интересно, — сказал я, — но это несерьёзно! Знаешь, как это делается там? Пристроят завотделом дочку какого-нибудь начальника, а Тебя возьмут девочкой на побегушках, и придётся Тебе на эту дочку пахать!

— Милый, я не боюсь быть на побегушках. Я своего умею добиваться — ты меня ещё не знаешь!..

— А зарплата Твоя будет раза в два меньше, чем сейчас.

— Милый, с каких пор нам стали важны деньги?..

«Да-а! — сказал я себе. — Если женщина хочет — что, интересно, может её остановить? Не моё же «нет»?» — и пошёл на последнюю хитрость:

— Да зачем Тебе завод? В университете есть лаборатория, и я знаком с руководителем: может, возьмёт? Так ведь это же другой уровень!

— Конечно, милый, — я тебе так благодарна! — Твои глаза засияли возбуждённо, едва Ты услышала о моём предложении.

— Погоди благодарить; может, там и мест-то нет.

— А сколько ждать? Боюсь, на заводе место пропадёт…

— Хорошо, я постараюсь побыстрей.

Я действительно был знаком с университетским завлабом Марковым: когда-то, в молодости, участвовали с ним в семинарах по проблемам молодёжи, — и как только Ты завела речь о социологии, сразу вспомнил о нём. Но Ты думаешь, я бросился ему звонить? Дудки-с! И совсем не потому, что не люблю *блатных* дел — просто ждал, когда иссякнет Твой социологический пыл.

Через день Ты спросила меня: звонил ли я товарищу? Я соврал: звонил, но он в командировке, будет через две недели.

Ровно через две недели Ты мне напомнила:

— Милый! Твой товарищ, наверное, уже вернулся?..

Выкручиваться я больше не стал: на следующий же день позвонил Маркову и, зная, что отказать по телефону — проще простого, сказал ему, что хотел бы встретиться и потолковать по одному приватному делу. Он согласился и назначил встречу в тот же день, на шесть вечера. И ровно в шесть я был у него.

В так называемой «лаборатории» — заставленной столами комнате — три разновозрастные дамы, сидящие там, дружно прощупали меня взглядами, когда я протиснулся в боковой закуток, кабинет начальника. Всё виделось мне мельком, но цепко: может, и в самом деле Твоя судьба — именно тут?.. А в закутке — письменный стол, сейф, книжный шкаф и единственный стул для посетителя…

Юра — да уж и не Юра вовсе, а солидный Юрий Семёнович — Марков встал из-за стола, протянул руку и пригласил меня сесть.

А изменился он, однако! Глаза за стёклами очков — ещё водянистее; под глазами — нездоровый серый цвет, румяные когда-то щёчки обвисли, тёмные волосики на висках засеребрились; на темени — проплешинка… Да ведь и он, поди, нашёл следы разрушения на моём лице? И чем-то озабочен: своими ли проблемами, усталостью — или моим приходом с неизвестно какой просьбой?.. Вежливо улыбнулся и замер, ожидая: с чего я начну?

— Давно не виделись, — сказал я.

— Время идёт, — стандартно отозвался он. — Чем обязан вашим визитом?

Мы уже на «вы»? А ведь когда-то едва ли не ходили в обнимку…

— Хочу просить устроить жену в вашу лабораторию.

— А почему именно ко мне? — и при этом — колкий тон и ледяной взгляд.

— Хочет работать именно у вас, — улыбнувшись, соврал я.

— Хм-м, — скривился он. — Прошу прощения за непраздное любопытство: сколько ей лет?

Я ответил. Лицо его посерьёзнело; он, видно, ожидал возраста посолидней. Оставив колкий тон, спросил, где Ты училась, где работала… Твоя учительская профессия его отнюдь не смутила.

— Ну что ж, — ответил он. — Могу принять. Лаборантом.

— Всего лишь?

— Но ведь она не специалист. Пока — только техническая работа.

— А перспектива?

— Простите, Владимир Иванович, но вопрос — провокационный, — уже мягче ответил он. — Вы же знаете: перспектива зависит от способности к научной работе. В её возрасте поздновато начинать. Пусть придёт: посмотрим, какой уровень знаний, насколько серьёзное желание…

Ну что ж, молодец — я его даже одобрил: прижимистым на обещания оказался мой старый приятель… Вечером я доложил Тебе о результатах визита. На следующий день Ты съездила к нему на собеседование, а уже через две недели работала в его лаборатории.

5.

О, с каким рвением Ты взялась за новую работу!

Тебе, как лаборанту, доставалось, разумеется, всё самое незамысловатое: беготня, езда в транспорте с сумкой, полной опросных листов, — но с каким старанием Ты всё это исполняла! А я понял так, что Тебе, с Твоим-то *моторным* темпераментом, до сих пор не хватало именно этого самого движения — и наконец дорвалась… Только, подумал я, через сколько дней Тебе это надоест?

Самой простой работой у вас были опросы людей, и чаще всего Тебе доставалось исполнять

их или прямо посреди улицы, останавливая прохожих, или в магазинах, или среди рабочего класса в цехах и молодёжных общежитиях,—а поскольку рабочий народ не слишком отзывчив на всякое общественное дело и неохотно напрягает извилины, чтобы ответить на бесчисленные анкетные вопросы, которые изобретают в кабинетной тиши ваши научные сотрудницы во главе с Марковым, то Тебе приходилось ещё стоять над душой у каждого и уговаривать заполнить анкету, а то и самой заполнять, клещами вытягивая ответы на каждый вопрос; и хорошо, если у человека ещё хватало добродушия выслушать Тебя и даже ответить на вопросы,—а если попадался раздражённый или обиженный и вместо ответа отмахивался от Тебя, как от мухи? Или—того пуще: невзирая на Твой пол и Твою обходительность, посылал Тебя подальше в самых недвусмысленных выражениях?

А когда опросы проводились в общежитиях—вам приходилось ехать туда вечерами, тащиться по плохо освещённым улицам… Да если ещё день оказывался днём получки или неведомым вам празднеством, так что общежитие от пьянства *стояло на рогах*, и в каждой комнате к вам приставали с сальными любезностями, видя в вас всего лишь сиюминутный сексуальный объект, или вас норовили усадить за стол и всучить стакан вина, так что ехать туда вы не соглашались даже вдвоём или втроём—вы производили туда «десанты» всем коллективом во главе с самим Марковым и входили в комнаты не менее чем по двое, в то время как Марков стоял в коридоре *на стрёме*, подстраховывая вас и сжимая бледные кулачонки…

Но зато сколько новых впечатлений Ты нашла на свою голову! Причём Ты и не думала жаловаться на трудности, которых у Тебя теперь было *под завязку*. А на кого жаловаться-то?—сама выбирала; так что я был лишь громоотводом для Твоих новых впечатлений… При этом я замечал, как быстро Ты училась работать, приспосабливаясь к психологии своих *респондентов*, с какой смекалкой лепила образы, в которые входила: к рабочим Ты ездила этаким серым воробышком, который зарабатывает на хлеб чушью, которую неизвестно кто и зачем требует; перед студентами Ты являлась во всём женственном блеске, излучая сияние; перед интеллигентной публикой представала усталой и озабоченной деловой женщиной в очках, всё понимающей,—и эти образы давались Тебе удивительно легко.

Единственное, на что Ты жаловалась,—когда изнывала от безделья, если не было работы: вот к этому Ты совершенно не привыкла. А без работы вы оставались частенько—в ваших исследованиях мало кто нуждался, а на работу ходить Марков всё равно требовал: вдруг подвернётся что-то сию минуту?.. А придя домой, Ты в ядовитейших красках расписывала мне вашу лабораторию, которую узнавала всё ближе. Особенно доставалось от Тебя моему «другу» Маркову.

Я подсказывал Тебе: «Веди дневник! Ты не представляешь, какие богатства можешь накопить!..»—но Ты так уставала, что после ужина валилась на диван с книжкой и тотчас задрёмывала, успев лишь пробормотать: «Милый, я ничего не могу—я засыпаю!..»—а когда наступало время ложиться спать по-настоящему, мне приходилось Тебя, сонную, поднимать, раздевать и укладывать. Правда, в этом была и игра: Ты начинала мешать мне и хихикать от щекотки, а когда укладывались—сонно обнимала меня и бормотала: «Милый, я тебя люблю, но я так устала! А ты не забывай, люби меня!»—и, наскучавшись по Тебе за день, распалённый вознёй с раздеванием, я набрасывался на Твоё расслабленное тело и брал Тебя, полусонную, а Ты продолжала бормотать, блаженно улыбаясь: «Бери меня, делай что хочешь—я вся твоя; только сама уже ничего не могу, нету сил!..»—причём усталость Твоя была чисто физической; выспавшись, утром Ты вставала бодрой и готовой к новым *трудовым подвигам*.

А через год такой жизни Ты уже бегло изъяснялась с помощью социологических и прочих терминов, совсем не обязательных для лаборанта; причём Тебе даже нравилось щеголять ими. Некоторые термины были мне незнакомы, и когда я спрашивал у Тебя их значение, Ты объясняла их мне, надуваясь от гордости: ведь Ты уже знала нечто такое, чего не знал я!

Правда, к этому же времени стал снижаться накал Твоей восторженной деятельности и страстного желания везде успеть и всё узнать. И хотя по-прежнему Ты веселила меня ситуациями, которые у вас без конца случались,—но за смешной стороной их Ты уже умела различать изнанку—человеческую необязательность, лень, эгоизм, зависть,—и училась делать выводы, сама начиная понимать древнюю истину: в знании всегда есть семя ядовитой горечи…

У Тебя уже и походка стала не столь бегучей, и глаза смотрели не с такой распахнутостью—в них появился свет знания и лёгкая усталость. Замечая всё это, я сожалел о Тебе прежней—легкомысленно-стремительной, без конца теряющей деньги, перчатки, зонтики, которыми Ты небрежно сорила на своём пути,—и в то же время приветствовал Тебя новую—серьёзную, неожиданно повзрослевшую…

Однажды, поражённый какой-то Твоей учёной фразой, зная, как легко Ты их заимствуешь, спросил:

— Признайся: у кого украла?

— У тебя, милый, у кого же ещё!—пожала Ты плечами.

— Как—у меня? Ведь мы с Тобой, кроме болтовни, ничем не занимаемся!

— О нет, милый, твоя болтовня многого стоит!..

Ты лукавила, конечно. Но Твоя цепкая натура и в самом деле ничего не упускала—всё брала с собой и у всех училась: у меня, у Маркова, у сотрудниц…

А через два года такой жизни у Тебя там случились целых три события, круто изменивших Твою жизнь.

Первым был семинар, который организовал ваш Марков; впрочем, из такого скромного события, как семинар (экая важность: собрать два десятка

заводских социологов и назвать это семинаром!), ваш ловкий Марков сумел извлечь все возможные выгоды: влить в тему практического семинара чуточку философского смысла, а посему—привлечь к участию доцентов философских кафедр, да ещё залучить парочку учёных светил из Москвы и Питера и—венец всего—организовать «круглый стол» в одной из телестудий с участием этих светил, где речь шла совсем не о местной социологии; приезжие светила, имея слабость блистать при любом удобном случае, покоряли телезрителей блеском красноречия, да ещё (вероятно, по обоюдному согласию, подкреплённому, должно быть, приличным гонораром) возглашали осанну «дальновидному» руководству области и воздавали должное талантам местного восходящего светила Маркова…

Но, казалось бы, причём здесь Ты? А при том… Твоя роль на семинаре, разумеется, была самой скромной и ужасно, однако, хлопотливой—Марков умел выжать из вас всё: Ты вместе с вашими дамами, составив «группу по организационному обслуживанию семинара», хлопотала там так, что, придя домой, совершенно валилась с ног,—зато возвращалась с ворохом впечатлений, среди которых было ещё больше, чем всегда, забавного и о гостях, и о самом Маркове.

Но не это было главным среди Твоих впечатлений—а то, что, несмотря на беготню, Ты успевала бывать на заседаниях семинара и даже записывала кое-что из выступлений, так что возвращалась заряженной уймой новых идей и мыслей, которые тут же, за ужином, передо мной вываливала; при этом мы ещё обменивались мнениями, так что наши разговоры—даже споры!—поднимались на новый уровень; Ты теперь легко опрокидывала моё общее знание о вашем предмете и торжествовала: извини, мол, но *истина—дороже*…

Однако всё это—во-первых. А во-вторых, на одном из заседаний Ты взяла слово и, возражая против какой-то научной выкладки, сделала краткое, но дельное сообщение, и оно было замечено: о нём потом упомянуло в своём резюме одно из приезжих светил, назвав Тебя при этом «научным сотрудником»; это светило, кроме того, отыскало Тебя в толпе и с Тобой побеседовало, и не снисходительно, как это умеют делать приезжие снобы, обращаясь к женщине: «девушка»,—а обращаясь к Тебе по имени-отчеству, и Ты этим была несказанно польщена.

Третьим же событием, прямо вытекающим из второго, оказалось то, что из-за Твоего выступления Марков на Тебя разбрюзжался: зачем вылезла без его дозволения? Покрасоваться, блин, решила: смотрите, какая я умная?—ибо научная субординация—куда строже военной: там хоть, если проявил инициативу без позволения начальства, всего лишь схлопочешь головомойку, а здесь обиженный начальник может навек испортить тебе карьеру; Ты этого, похоже, ещё не знала… Однако сказалась, сказалась у Маркова природная смекалка—сумел, видно, обуздать свои амбиции, просчитал все «за» и «против», и «за» перетянуло: раз уж Ты *засветилась* в учёном мире—то отступать некуда; и потом, как не воспользоваться толковой лаборанткой? При этом человечек, великодушно прощённый, бывает ведь вдвое преданней… Короче, вволю набрюзжавшись, Марков предложил Тебе аспирантуру, о чём Ты, влетев домой едва не на крыльях, тотчас же мне выболтала, присовокупив, правда, при этом:

—Хочу, милый, посоветоваться с тобой: стоит или нет идти в аспирантуру?—хотя всё в Тебе так и кричало: стоит! стоит!

И что мне было ответить?.. Честно говоря, я женился не на научном работнике, а на той, что взяла меня в плен любящим взглядом и умела отдавать себя всю, не требуя залогов… Но почему я, в таком случае, два года назад не воспротивился Твоему желанию пойти в лаборантки—ведь то уже была заявка?..

А что я мог, если Ты изо всех сил рвалась навстречу судьбе?.. Именно так я и подумал, а потому и не возразил: хватит, мол, с нас и одного кандидата; насмотрелся я на научных работников женского пола—Тебе-то это зачем?..

—Ну что ж,—сказал я вместо этого,—дерзай, раз труба зовёт.

Однако не забыл при этом и напомнить Тебе то, о чём Ты ещё не имела понятия: Ты была лишь на празднике—а ведь подобным крохам радостей предстоит долгий чёрный труд; а начать придётся с экзаменов… И не поздно ли—в тридцать-то—начинать?.. Однако Ты выслушала мои предостережения вполуха—Ты жаждала дела, и трудности лишь разжигали жажду.

—В конце концов, у нас будет куча денег, когда я защищусь,—мы сможем тогда много себе позволить!—возбуждённо лепетала Ты.

Что, интересно, Тебе представлялось под этим «много»? Куча платьев, сапог, туфель, в которых Ты пока что себе отказывала?.. Я тогда, помнится, чуть-чуть посмеялся над этим «много», а Ты обиженно произнесла—будто пригрозила:

—Ладно, смейся, смейся!..

А если бы я тогда воспротивился—смог бы я Тебя остановить?..

Впрочем, я не верил серьёзно в Твою решимость: блажь, вызванная восхищением говорунами; перегоришь и остынешь. Мне ли не знать, сколько аспиранток не доходит до финиша? И подумал: до защиты дело едва ли дойдёт, а вот позаниматься как следует своим интеллектом никому не мешает…

6.

Твоё поступление в аспирантуру тянулось всю зиму: оформляла документы, бегала на курсы английского, готовилась к экзаменам… Впрочем, шло это как-то незаметно—мои предупреждения заставили Тебя осторожничать. Ты ждала трудностей и жаждала их преодолевать, а их пока не было, и Ты между делом втягивалась в работу… Но однажды Ты пришла и сказала:

—Можешь поздравить: сдала английский!

—Как? Уже?—удивился я.—И какой балл?

—Пятёрка!—твой голос звенел от ликования.

—Поздравляю. Хоть бы предупредила—я бы торт купил.

— Да боялась, не сдам. А тортик сама испеку.

И через час мы уже и в самом деле пили чай с простеньким *манником*, и Ты рассказывала про свои страхи на экзамене — да как гладко всё получилось… Тут же обсудили подготовку к следующему экзамену — по философии.

Я представлял себе, какая нагрузка предстоит Твоей бедной головушке: всё, что для меня просто, — для Тебя полно непостижимой тайны; то, что я произношу походя, как избитую истину, Ты принимаешь за откровение, тайком от меня, знаю, записываешь в тетрадку и терпеливо потом осмысливаешь. Ну что ж, я и сам когда-то проходил этот путь, причём — один; а у Тебя есть я…

Учебниками по философии Ты уже вооружилась; я Тебе только предложил: всё, что непонятно, спрашивай; насколько смогу — отвечу.

Принимать экзамен должны были на кафедре, которой подчинялась ваша лаборатория; Тебя там уже знали — можно было надеяться на поблажки. Но жизнь научила Тебя не ждать поблажек: каждую мелочь Ты привыкла добывать сама, поэтому всё делала всерьёз; всерьёз приступила и к философии. Только однажды попросила меня рассказать об идеализме.

Я начал с Платона: с кого же, как не с него, если вся европейская философия им предопределена, а диалоги его я почитывал на сон грядущий как детективные повести?.. И видно, настолько увлёкся, рассказывая Тебе про его Космос и Мировую Душу, что Ты спросила:

— Милый, а ты сам, случайно, не идеалист?

— О, я бы много дал, чтобы им быть! — рассмеялся я; мы впервые говорили на такую серьёзную тему — как-то не до того нам было до сих пор; поэтому разговор наш меня тогда слегка смешил. — Материализму ужасно не хватает крыльев, — продолжал я, уже серьёзнее. — Когда человек уверен, что им движет божество, — насколько сильней он становится!

— Милый, а Бог есть на самом деле? — спросила Ты.

— У каждого он — свой, — пожал я плечами. — Для кого-то — абсолют, для кого-то — судья, для кого-то — мастеровой, а для кого-то Бог — это Безбожие.

— А у тебя какой? — допытывалась Ты.

— Никакого. Я — человек, испорченный образованием.

— Ты — марксист?

— Да почему обязательно марксист? Существует около десятка материалистических воззрений.

— Но ведь марксизм — единственная теория, основанная на научном материализме! — неуверенно возразила Ты мне.

— Ну, во-первых, — ответил я, — марксизм — это ещё не теория. Чтоб быть теорией, в нём слишком много уязвимых мест.

— О-ох, милый, научишь ты меня на мою голову! — ужаснулась Ты.

— А ты не слушай.

— Да как же не слушать, если интересно? А я, милый, и в марксизм верю, и в Бога; мне ничего без Бога непонятно: как жизнь зародилась, кто Вселенную запустил? Если взрыв — так отчего?

— Но, по-моему, гораздо легче представить себе всё это без Бога.

— Да как же — без Него?

— Так и пусть Он будет, раз Тебе с ним спокойней.

— А-а, ты опять смеёшься!.. Нет, а в самом деле?

— А я и говорю: раз для Тебя есть — значит, есть. Только не пойму: откуда в Тебе это чувство? Оно не бывает случайным. Твои родичи от этого далеки…

— Это — от бабушки, — вздохнула Ты. — Кстати, давай съездим к ней летом в деревню? Я бывала у неё в детстве. Вот увидишь — это такая бабушка!

— Давай.

— Она трактористкой и комсомолкой в молодости была — и в Бога верила, а иконы прятала в подполье, чтобы дети не видели. Полезет за картошкой и помолится заодно. И меня учила… Но, милый, ты мне не ответил: есть Он — или нет?

— Милая, да зачем Тебе это? Мы же решили: для Тебя Он есть.

— А может, мне хочется думать как ты?..

И я попался на Твою провокацию! Я забыл правило: разрушая чужое знание, разрушаешь человека, — и начал терпеливо Тебе объяснять:

— Конечно, это здорово, что Тебя такие вопросы тревожат. Только у меня свой — может, даже испорченный — ответ на Твой вопрос. Опустим предысторию: как человек встал на ноги и начал махать дубиной. Но вот представь себе: природа вдруг обнаружила, что у неё завёлся гадкий утёнок на двух ногах, с головой, в которой мозгу больше, чем надо, и — с передними лапами, которыми он может вытворять вещи, которым она его не учила. Она отказалась от этого урода: иди, мол, отсюда и живи как знаешь! Вот он и живёт сиротой, и мучается поэтому; ему страшно, ему одиноко, ему тоскливо с самим собой, и чтобы не сойти с ума, он придумал себе двойника, сильного, грозного двойника, и стал с ним беседовать, жаловаться ему, просить помощи… Обрати внимание: все боги похожи на человека — ничего он не смог придумать, кроме своего отражения! Но странное дело — этот двойник стал ему помогать! Человек покорился ему и назвал его Богом… Объективно говоря, Бог был гениальным изобретением человека — важнее железа, колеса и гончарного круга. Зато можешь себе представить, насколько человеку стало легче, когда он снял с себя столько обузы и переложил на Бога!..

— А почему ж тогда, раз всё так просто, гадалки, например, угадывают судьбу человека? — с подозрением спрашивала Ты.

— Потому что судьба и в самом деле есть: её заложили в нас родители, предки, наши характеры. Просто гадалка умеет прочесть её. А Бог… Если принять за Бога всю Вселенную со всеми её законами — такого Бога я, пожалуй, приму… Но не хочу подчиняться его диктату — хочу пройти свой собственный путь… А многие не хотят: им уютнее под властью Сильного и Доброго — так спокойней и спится крепче; можно поплакаться, попросить добра, участия, и уж совсем приятно знать, что ты его частица, а потому бессмертен… Да, я бы хотел верить в него — но не могу! Знаю: за гробом ничего нет; трудно это принять — но не даёт мне мой разум идти там, где легче, и нет у меня отчаяния оттого, что жизнь — такая каверзная штука: вручила мне

шикарный подарок—тело, сознание,—а я обязан подарок вернуть, и это будет уже так скоро—не успеешь оглянуться. И в то же время настолько удивительно—знать, что всё управляется только законами природы—и так слаженно, я бы сказал, управляется; вот что потрясает! И не удивительно ли, что человек, этот мурашик, затерянный на небольшой планете, живёт себе, преодолевая своё бессилие и страхи,—и не просто живёт, а ещё и обустраивает, и украшает свою жизнь, поднимается над бытом, создаёт города, науки, технику, философию, искусство,—это ли не мужество, не вызов природе? Я горжусь тем, что принадлежу к человеческому роду!..

Произнеся всё это, я даже вспотел и взволновался.

—Как здорово ты это говоришь!—тоже волнуясь, сказала Ты.—Как, в самом деле, странно всё, как удивительно! Ты настоящий, ты сильный, ты умный!.. Но почему мне тебя всё равно жалко, милый? У тебя даже слёзы выступили!

—Спасибо,—отозвался я, уже спокойней.—Да ведь и Ты—настоящая.

—Ты—как лебедь среди гусей! Как здорово, что мы с тобой можем говорить обо всём!.. Волшебник мой, мой милый волшебник!

—Плохо, что я кажусь Тебе волшебником,—рассмеялся я.—Что будет, когда волшебство кончится?

—Ну что ты, как оно может кончиться? Оно—на всю жизнь!..

Правда, подобные разговоры у нас случались редко—в слишком немыслимые выси они нас уводили... После них, одумавшись, я ругал себя: зачем я так бесшабашно вытаптываю эти смутные, едва различимые контуры Твоего мира, водружая на их месте свои? Чтоб заслужить Твоё восхищение? Но это же опасно: мой мир хорошо защищён, а Твой—такой хрупкий, такой уязвимый!..

Однако эти угрызения действовали на меня недолго—быстро забывались.

7.

Настала летняя жара. Тебя приняли наконец в аспирантуру. Теперь Тебе полагался летний отпуск, а я уже отдыхал. Мы сговорились с Павловскими закатиться на дальние озёра и готовились к поездке.

И вот всё готово; Ты дорабатывала последние дни—как вдруг являешься посреди дня домой растерянная и показываешь телеграмму: умерла бабушка в деревне; похороны—через сутки. Её вручил Тебе отчим, разыскав на работе.

—Что же делать?—спросила Ты в отчаянии, решив, что я рассержусь на Тебя, оттого что срывается отпуск.

—Где она была больше суток?—спросил я, рассматривая телеграмму.

—Вчера они были нетрезвыми,—пожала Ты плечами.

—Давай-ка тогда вот что,—предложил я, сам ещё не зная, что делать.—Заварим хотя бы чай, сядем и соберёмся с мыслями.

Заварили чай, сели...

—Как я перед ней виновата, перед моей бабушкой! Так и не съездили,—Твои глаза набухали от слёз.

—Что теперь сожалеть!..—постарался я перевести разговор в деловое русло.—Во-первых, надо дать ответную телеграмму. А во-вторых, Тебе надо ехать.

—Надо... Но я не хочу одна—я хочу с тобой!

—А мне что там делать? Съедутся родственники, и я там всем чужой...

—Милый, почему чужой-то? Ты будешь со мной!

—А родители? Они поедут?

—У них, как всегда, нет денег.

—Так надо дать.

—Не хочу!—тотчас взъерошилась Ты.—Пусть занимают у соседей, которых поят! Они зарабатывают куда больше нас с тобой!

—Хорошо, поедем,—согласился тогда я.—Странное название у деревни: Весёлка... Как туда добраться?

—Отсюда до райцентра—автобусом, а дальше—уж и не помню как.

—Так что же мы тогда сидим?—поднялся я.

Решили так: я сейчас же мчусь на автовокзал, беру билеты на автобус и жду Тебя там, а Ты собираешь сумку, берёшь такси, покупаешь по дороге венок, что-нибудь из продуктов, и—встречаемся там.

Мы сумели втиснуться в последний, шестичасовой, автобус. В руках у нас—две большие сумки и шуршащий искусственными розами и ядовито-зелёными листьями венок, который приходилось нести мне, еле сдерживая себя перед насмешками какого-то пьяного эстета по поводу художественных достоинств венка. Ну да чёрт с ним!..

Через три часа автобус должен был быть в райцентре. И конечно же, не был—на середине пути сломался и простоял ещё два часа, пока водитель *шаманил* с двигателем. От духоты, от качки и оттого, что успела устать, Ты дремала. Мне бы тоже надо было вздремнуть: что ещё за ночь ожидает нас впереди?—но дремота не приходила.

А помнишь гостиничку в райцентре, в которую мы заявились чуть не посреди ночи (пока нашли её в словно вымершем городишке!), в которой, как и следовало ожидать, не оказалось мест?.. Но мир не без добрых людей и там: кажется, пожалев нас благодаря злополучному венку, дежурная поставила нам в холле на втором этаже скрипучую раскладушку, и мы, без матраца, одеяла и простынь, крепко обнявшись, чтоб не свалиться, сладчайше спали на ней до шести утра, а утром, даже не позавтракав, пошли на окраину, туда, где уходила в Весёлку дорога,—поймать попутную машину, потому что единственный автобус туда из райцентра шёл лишь после обеда.

Нам с Тобой и тут повезло—мы словно плыли на облаке удачи; мы готовы были ехать хоть на тракторе, несмотря на то что одежда наша соответствовала событию: на Тебе—чёрный деловой костюм и чёрная газовая косынка на голове; на мне, несмотря на моё сопротивление, которое Ты преодолела, чёрный костюм с галстуком—так настояла Ты... И тут перед нами останавливается белая «Волга». Правда, чтобы остановить её, мы отчаянно перед ней прыгали и махали руками.

Дверцу распахнул опрятно одетый, упитанный, с красным лицом и рыжим, коротко стриженым ёжиком водитель и с достоинством, безо всякого, впрочем, выражения — может, даже надеясь, что нам с ним не по пути, — спросил:

— Вам куда?

— В Весёлку, — ответил я.

— А к кому? — он впился глазами в наш венок.

— Хоронить Федосью Захаровну Мерзликину! — твёрдо отчеканила Ты.

— Садитесь, — коротко бросил он, открывая заднюю дверцу.

Мы тотчас забрались, и «Волга», оставляя за собой шлейф пыли на гравийной дороге, помчалась.

— Я и не знал, что она умерла. Неделю не был, и уже — новость, — сказал водитель после паузы.

Сами мы, ещё не до конца веря в везение, помалкивали; мы даже ещё не знали: довезут ли нас до Весёлки?

— А вы что, знали её? — осторожно спросила Ты.

— Да, — ответил он. — Я там всех знаю: я директор Весёлковского совхоза. Вы что, родственники?

— Она — внучка Федосьи Захаровны, — ответил я за Тебя.

— Внучка? — директор поправил зеркало заднего обзора и внимательно через него в Тебя вгляделся. — Это чья же вы дочь? Не Евдокии?

— Да, — ответила Ты. — Вы что, знаете её?

— Вместе в школе учились. Даже, помнится, провожал... раза два, — усмехнулся он. — Как вас зовут?

— Надежда Васильевна.

Директор умолк, что-то соображая; это чувствовалось по нервным переключениям рычага скоростей и подёргиваниям его широкой спины.

— А что же она сама не приехала? — наконец спросил он.

— Не может, — сухо ответила Ты.

— Чем же она занимается?

— Крановщица на заводе, — так же сухо ответила Ты.

— Мгм... — неопределённо покачал головой водитель и перевёл разговор: — Посмотрите, какие хлеба! Это уже — наши, — машина как раз шла через обширное поле густой спеющей пшеницы.

В благодарность за то, что он везёт нас, я поддержал разговор, и любознательный директор, явно хороший психолог (вот Тебе, милая, блестящий пример практической психологии, не имеющей ни малейшего представления о теории!), быстро раскрутил меня и через четверть часа уже знал, что я Твой муж (разумеется, приметив разницу в возрасте) и доцент в пединституте... Впрочем, потрошил он меня не без пользы для себя: оказывается, дочь его — старшеклассница, и он закидывал удочку на предмет возможности её поступления к нам на филфак. Причём интересовали его чисто практические стороны поступления: конкурс, стипендия, общежитие, возможность аспирантуры после института и — стоит ли ей идти в филологию?.. Я постарался ответить на все его вопросы исчерпывающе, не удержавшись, впрочем, от того, чтобы не прочесть нашему перевозчику небольшую лекцию о пользе гуманитарного знания безотносительно к сиюминутной корысти...

Директор, уязвлённый, видимо, моей маленькой нотацией, оставил свои расспросы и, широким жестом показав на поля, заметил, что без этого вот «хлебушка» никакая культура и никакие гуманитарные знания не пойдут на ум. Однако я возразил ему, что, строго говоря, не хлеб поддерживает культуру, а, скорее, наоборот, эти поля с растущей на них пшеницей, даже машина, на которой мы едем, — есть частное выражение общей культуры и один из её маленьких результатов, потому что только огонёк культуры, зажжённый человеком в себе с превеликим трудом, эта селекция человека, им самим над собой совершаемая, заставляет его поддерживать в себе огонь творчества и терпение в труде, чтоб не скатиться в звериное прозябание...

На этом наша маленькая дискуссия и закончилась, хотя директору явно не терпелось возразить на мой невольный экспромт о культуре, почему-то задевший его. Однако машина уже стояла посреди деревенской улицы перед бревенчатым домом с голубенькими ставнями и пристроенной к нему дощатой верандой. Мы выгрузились и поблагодарили директора; я спросил о плате, но он лишь махнул рукой:

— Не надо...

Машина умчалась, и мы остались посреди улицы одни.

Шёл девятый час утра; солнце уже палило. Надо было брать сумки и идти; однако дом, что стоял перед нами за серым штакетником, ничем не выдавал, что за его стенами смерть: ни души вокруг.

— Этот? — усомнился я.

— Да, — сдавленно выдохнула Ты, и я понял, как страшно Тебе туда идти — никогда ещё Ты не хоронила близких. Я взглянул на Тебя и невольно засмотрелся, как оттеняет Твоё побледневшее от недосыпа лицо чёрная газовая косынка и как тревожно блестят Твои глаза.

— Ну, держись, милая. Идём, — сказал я и крепко сжал Твою ладонь в своей; она была холодной — в нещадно-то палимое солнцем утро.

Однако прежде чем мы взялись за сумки, Ты, будто заранее прося у меня прощения за своих родичей, пробормотала:

— Только ты... не осуждай их ни в чём, ладно?

— Не беспокойся, — сказал я, ещё крепче сжав Твою ладонь, давая понять, что мы с Тобой — одно целое.

Мы подхватили сумки и пошли. И уже когда входили в калитку, на крыльцо дома вывалили сразу трое мужчин с папиросами в руках, все чем-то между собой схожие: коренастые, неопределённого возраста, с коричневыми, продублёнными солнцем лицами и светло-рыжими шевелюрами. Один из них узнал Тебя и, растопырив руки, шагнул с крыльца:

— О, Надька приехала! Молодец! А мать-то где?

— Дядя Петя! — обрадовалась Ты, дав ему себя обнять, и представила затем меня ему. Тот, в свою очередь, пригласил остальных двоих сойти с крыльца и познакомил с нами; то были его племянники, Твои двоюродные братья; все трое, несмотря на то, что ещё утро, были уже навеселе, и больше всех — Пётр.

— Клаша-а! — заорал он изо всех сил, взбежал на крыльцо и толкнул ногой дверь. — Кла-аш!

Из дома вышла плотная, коренастая женщина одних с Петром лет, в фартуке поверх платья, и грубо одёрнула его:

— Чего орёшь-то? На свадьбе, что ли?

Затем с достоинством поздоровалась с нами и повела на веранду.

На веранде стоял длинный стол, уставленный пустыми бутылками и грязной, облепленной чёрными гроздьями мух посудой.

— Мы привезли продуктов на поминки, — сказала Ты, ставя свою сумку на пол перед Клавдией.

— Хорошо, — ответила та. — Вы небось есть хотите? Давайте садитесь, — сказала она, берясь расчистить часть стола.

— Нет, я сначала — к бабушке, — сказала Ты.

Клавдия провела нас в дом. Из прихожей, миновав двери и распахнув старомодные плюшевые рыжие портьеры, мы попали в просторную комнату; здесь, в полумраке, при нескольких зажжённых свечах, стоял на табуретках обитый голубой тканью гроб, а в нём — тело сухонькой старушки со сложенными на животе ручками и маленьким восковым личиком, утонувшим в повязанной вокруг головы цветной косынке. Перед гробом, скрестив руки на животах, сидели две грузные молчаливые старухи.

Ты подошла к покойнице, положила руку на её тёмные костлявые руки, затем села на одну из пустых табуреток у изголовья гроба, по другую сторону от старух, и жестом пригласила меня сесть рядом. Я присоединил наш венок к уже стоящим вдоль стены, за изголовьем, и сел.

Старухи продолжали молчать, а Ты, посидев некоторое время молча, стала рассказывать мне шёпотом — да так тихо, что я едва слышал, — как вы с бабушкой ходили однажды «по клубнику», как палило солнце и кусали *пауты*, а клубники на лугах было столько, что, когда пасшаяся там серая лошадь валялась в траве, бока у неё становились красными, как кровь; и как вы прятались от объездчика, который отбирал корзины; и бабушка рассказывала Тебе, как собирала здесь ягоду, когда ещё сама была девчонкой… Ты так запомнила всё, что пересказывала бабушкины рассказы с её интонациями, а я, слушая Тебя, думал о том, что, наверное, именно так, через детскую память, и передаются тысячи лет из уст в уста сказки, песни и поверья.

Никто больше не приходил. Старухи напротив были неподвижны и немы, словно вырезанные из тёмного дерева. Однако за портьерами шла своя жизнь: шаркали подошвы и тихо переговаривались. Я вслушался: говорила, главным образом, Клавдия, причём — тоном сварливым и беспокойным; мужской голос — Петра, наверное, — бубнил что-то в оправдание. Ты тоже слышала и хмурилась. Я шепнул Тебе:

— Пойду узнаю: может, требуется какая помощь? — и, сделав Тебе знак остаться, вышел.

Клавдия сердилась недаром — у них было полно проблем: кто-то обещал привезти мясо для поминок и не везёт; обещали привезти надгробие — тоже не везут; обещали выкопать могилу — никто не копает… Клавдия грызла Петра, чтобы шёл и занимался всем сразу, а тот — кажется, ещё пьяней, чем давеча, — бормотал, что раз обещали — значит, сделают, отчего Клавдия сердилась ещё сильней.

— Знаете что? Дайте лопату, я пойду копать могилу, — предложил я.

— Да вы что — вы же родственник! Вы же только что приехали! — в один голос запротестовали Пётр вместе с Клавдией.

— Ничего страшного, — заверил я их, тут же, при них, снял пиджак и галстук и потребовал лопату.

— Нам потом стыдно будет людям в глаза смотреть! — пытались они меня отговорить, но я продолжал требовать лопату.

На шум явилась Ты, быстро разобралась в их проблемах, и мы с Тобой решительно предложили им свои услуги: я, в самом деле, взяв в помощь парней, что слоняются и курят на крыльце, пойду копать могилу, а Ты, захватив Петра, отправишься к директору, который нас привёз, — чтобы помог. На том и порешили; Ты вместе с Петром пошла в контору, а мы, взяв лопаты, отправились на кладбище; к нам был прикомандирован ещё последыш Петра и Клавдии, подросток Паша, и выдан на всякий случай лист бумаги с нарисованной схемой кладбища и — крестиком на месте будущей могилы.

Однако на кладбище всё оказалось не так, как на рисунке; мы долго искали место, обозначенное крестиком, бродя меж могил и споря.

И вот уже воткнута в дёрн первая лопата… Но и тут всё оказалось непросто: кладбище располагалось на южном склоне холма; глина с примесью щебня, что началась сразу под слоем чернозёма, была сухой и твёрдой, копать такую — не подарок; на моих интеллигентских ладонях тотчас вздулись позорные *водянки*, а Твои двоюродные братцы, поскольку в неизбывной печали по бабушке пили, видно, уже два дня подряд, — через четверть часа выдохлись, истекали потом и еле двигали руками, хотя, скинув рубахи, и предъявили добротную мускулатуру. Снарядили Павлика домой, чтобы принёс *верхонки* и питьевую воду.

Паши не было долго, но — принёс наконец и верхонки, и воду, а заодно и сумку съестного, в которой что-то подозрительно звякало.

Кроме огурцов, помидор и вороха пирогов, мы обнаружили там ещё бутылку водки. Это был уже перебор. Я приказал Паше нести её обратно, однако братья смотрели на меня так укоризненно, что проняли до глубины души, и — будь что будет! — я махнул на всё рукой:

— Ладно, давайте примем по чуть-чуть для бодрости.

Братья одобрительно закивали.

— Как там дела? — между тем спросил я у Павлика. — Памятник готов?

— Папа говорит, что тётя Надя поставила всех в конторе на уши; директор уже дал команду, делают, — ответил Паша.

Хорошо… При этом — странно! — как только мы перекусили и выпили, глина и в самом деле показалась легче, так что могила хоть и неспешно, но уходила вглубь, и братья уже не выглядели

столь сурово-печальными—даже начали шутить, насколько позволяло шутить место, и работа подавалась споро… А когда осталось углубиться всего на два штыка, пришла наконец подмога—те самые мужики с лопатами, которых ждали с утра. Долго же они шли! Но пришли. Так что мы сразу послали Пашу с вестью: «Готово!»

И только выкопали и сели отдохнуть—а тут ещё солнце, перевалив за полдень, стало печь совсем нещадно—едут.

Между последними домами и кладбищем—большой, выщипанный коровами зелёный выгон и—никакой дороги. И на этот выгон медленно выкатился грузовик с опущенными бортами. В кузове его, покрытом ковром, стоял гроб и сидели несколько женщин, и среди них—Ты; а вслед за машиной валила пешая процессия, тут же рассыпавшись по выгону беспорядочной толпой—словно на гулянье. Толпа была большая. «Ничего себе!—ещё подумал я.—Неужели всё село собралось?»

Как только машина подошла и толпа окружила могилу, я помог Тебе спрыгнуть и хотел помочь мужчинам снять гроб, но Ты удержала меня шёпотом:

—Не суетись, сами справятся!

Мы отошли немного. Мужчины, толкаясь и мешая один другому, сняли и поставили гроб на табуретки, и его сразу окружили. А Ты, держа меня под руку, рассказывала мне шёпотом:

—Представляешь? Я оставила дядю Петю в приёмной и зашла к директору одна: думаю, раз я в трауре, он наедине со мной будет добрей. Так он—нет, ты представляешь?—стал со мной торговаться: предлагать мне встретиться с ним в городе! Скажи, как назвать это, а?

—И что же Ты?—спросил я.

—А ты как думаешь?—глянула Ты на меня резко, и я понял: Твои нервы на пределе—можешь взорваться.

—Прости,—я незаметно сжал Твою руку.

—Мне полагалось хлопнуть дверью,—продолжала Ты шептать,—но без директора здесь никто пальцем не шевельнёт! Я просто сказала: «Нет». Господи, ну почему они все такие?..

Молча стояли у гроба мужчины; молча стояли старухи в платках; всхлипывала Клавдия.

—Ты поплачь, поплачь, Клавочка, легче будет,—уговаривали её старухи.

Женщины наклонялись и прикладывались губами к бумажному венчику со славянской вязью на тёмном лбу покойницы. Подошла и Ты, приложилась и снова вернулась, взяв меня под руку—моя рука придавала Тебе надёжности. Над могилой стояла спокойная, несуетная тишина. Может, именно такими—в скорбном молчании перед приобщением уходящих от нас к вечному покою—и должны быть похороны?

—Ну что, будем опускать?—сказал кто-то.

И уже кто-то взялся за крышку, а ещё кто-то стал примащивать бруски поперёк могилы. И тут Ты шагнула вперёд и крикнула:

—Постойте! Как же так? И это—всё?

Все замерли и удивлённо вскинули на тебя глаза.

—А чего ещё?—недоумённо спросил Пётр.

—Но ведь… человек же уходит—бабушка!—воскликнула Ты, решительно идя к гробу, так что все невольно расступились.—Она же родилась здесь и всю жизнь прожила вместе с вами, у вас на виду! Неужели некому сказать о ней доброго слова? Чего молчите? Сколько она снопов в войну связала, земли перепахала, сколько мешков с зерном, с картошкой на своих худых плечах перенесла, сколько людей накормила, коров передоила, телят вырастила! У неё же руки всегда чёрные были! И её за это вот так, молчком, в яму—и ни слова благодарности за то, что жила среди вас? Не сказать ей вслед «прости»?

Твой голос сорвался, и Ты замолчала, не в силах больше говорить: ещё фраза—и, я чувствовал, разревёшься. Я подошёл к Тебе и взял под руку; Ты ткнулась лицом мне в плечо и в самом деле всхлипнула.

—Успокойся,—шепнул я Тебе.—Всё—как и должно быть.

Кто-то из мужчин пояснил по поводу Тебя:

—Расстроилась—не в себе.

А другой добавил:

—Водки ей надо дать маленько.

Кто-то уже услужливо протянул Тебе налитую стопку:

—Выпей, легче станет!

—Не хочу, чтобы—легче!—отвела Ты от себя стопку, снова подошла к гробу, поклонилась и сказала:—Прости, бабушка, нас всех. И маму мою прости, и меня тоже—что давно не была, не навестила, пока Ты была жива. Но я всё-всё помню и буду помнить о тебе всегда!—сказала это и снова отошла и взяла меня под руку.

—Вот ты за нас и сказала,—грубовато похлопал Тебя по спине Пётр и развёл руками.—Такие вот мы, *ничо* не умеем сказать…

А уже слышно было, как заколачивают гроб, как потом, командуя друг другом, опускают его в могилу и как ударили по нему куски твёрдой глины…

А уже дома, на поминках, когда усадили и отпотчевали поочерёдно две партии людей (родственницы хозяйки, и Ты в том числе, сбились с ног, разнося блюда и бутылки с водкой, а потом делая уборку за каждой партией и снова накрывая столы),—«свои» сели только под вечер. Набралось человек двадцать. Проголодались ужасно, так что дважды никого приглашать не было нужды—уселись вмиг, как только стол оказался готов. На минуту гомон утих; слышался лишь звон посуды: накладывали в тарелки еду и наливали в стопки водку. Тут Ты поднялась и сказала, приложив руку к груди:

—На кладбище я сорвалась—простите, ради Бога!—и поклонилась всем.

—Да ладно,—сказал кто-то миролюбиво,—всё нормально! Сказала, и хорошо. Давайте помянем бабушку, а то уж водка прокисла. Чтоб земля ей, значит, пухом!

И все выпили и дружно застучали ложками. А когда выпили по второй и снова закусили—пошёл по траурному застолью гулять говорок,

сначала робкий: «Могла бы и ещё пожить», «А *сколь* ни живи—всё мало»…

Мы с Тобой сидели в самом центре стола. Ты выпила водки, порозовела, оживилась и заговаривала теперь то с Петром, то с двоюродными братьями, то с женщинами, с которыми накрывала столы и с которыми уже перезнакомилась, и общалась с ними на их корявом языке, в котором, однако, есть свои условности, свои табу и свои словечки… Я уж забыл этот язык: понимать—понимал, а изъясняться не умел, поэтому сидел молчком, лишь тайком наблюдая за Тобой—как легко и свободно теперь Ты со всеми держишься, и радовался тому, что у Тебя столько родственников, что Ты—среди своих и чувствуешь с ними живую тесную связь.

Нас окружали кряжистые, крепкокостные мужчины и женщины; лица—разные, но на всех—некая общая печать: красно-коричневый загар, скуластость, вздёрнутые носы и светлые, выгоревшие волосы, брови и ресницы. Твоё лицо тоже несло на себе общие фамильные черты, и всё же Ты казалась среди них, в самом центре этого траурного застолья, залётной из другого мира: тонкой, гибкой, с живым блеском в глазах,—и я подумал, что, может, и в самом деле в Тебе бьётся и требует выхода всё накопленное поколениями родичей, и Тебе на роду написано распечатать груз их векового молчания. Не от этого ли Твои неосознанные желания писать, заниматься наукой?..

В это время кто-то сказал Тебе:

—А ведь ты, Надежда, на бабушку похожа!..

Все вгляделись в Тебя внимательнее и—согласились. Ты даже смутилась от такого внимания к Твоей персоне—но оно было Тебе приятно; Ты едва заметно мне подмигнула: дескать, ты уж прости, милый, и потерпи,—и я тайком кивнул Тебе: всё, мол, в порядке; держись…

Был какой-то миг в том застолье, когда тяжёлые на раскачку языки развязались, и все заговорили, вспоминая бабушку, ясно слыша и дополняя друг друга, так что возникло состояние удивительного единения сидящих—но быстро погасло: оно было таким мучительно прекрасным, что им было невмоготу удерживать его долго—они заторопились не то усилить, не то заглушить его новой полновесной стопкой… После неё голоса зазвучали громче—однако пьющие перестали друг друга слышать, и образ бабушки померк и стал медленно отодвигаться. Заговорили о покосах, огородах, автомашинах и мотоциклах; уже кто-то затянул дребезжащим тенором записного запевалы песню, но его одёрнули; кто-то уже дерзко ударил кулаком по столу, но, дружно вцепившись в него, звеня посудой и гремя отодвигаемыми стульями, его поволокли на улицу—утихомиривать…

В это время Ты, прервав разговор с кем-то, сжала мою ладонь под столом и шепнула:

—Устал?

—Немного,—шёпотом ответил я.

—Я тоже,—кивнула Ты.—И соскучилась по тебе. Давай выйдем?

И, стараясь никого не тревожить, мы тихонько выбрались из-за стола и вышли на крыльцо.

Солнце уже село, но небо было ещё светлым; и задорно, весело, будто в насмешку над нашими печалями, серебрился в небе тончайший, как лезвие бритвы, лунный серп. С огорода тянуло тёплыми пряными запахами укропа, мяты, чеснока. Нам хотелось побыть вдвоём, но и на крыльце, и во дворе, и на улице—всюду стояли, курили и бубнили пьяные мужчины.

—Подожди меня,—шепнула Ты,—я поговорю с Клавдией, где нам устроиться на ночь: я просто валюсь с ног!

Через некоторое время Ты вышла с ворохом тяжёлых шуб, передала их мне, снова ушла и вернулась с одеялом и подушкой.

—Вот всё, что нам досталось,—улыбнулась Ты.—Ничего, что будем ночевать в бане? Зато никто мешать не будет.

—О, это даже здорово!—улыбнулся я.

—Тогда пошли,—сказала Ты, и мы двинулись в огород.

Баня стояла среди капустных и морковных гряд. Внутри неё, когда Ты включила там свет, было просторно, чисто и сухо. На лавках в предбаннике расположиться было трудно, и мы решили спать в прохладной парилке, на широком полке. Ты постелила постель и выключила лампочки. Сквозь оконце пробивался слабый вечерний свет, достаточный, чтобы ходить, не спотыкаясь.

—Ложимся?—спросила Ты.

—Конечно!—согласился я, тоже теперь чувствуя усталость; от выпитой водки слегка кружилась голова.

—А ведь я хотела с тобой ещё прогуляться, показать тебе мои любимые места, сходить на реку.

—Завтра, завтра!

Мы разделись в предбаннике, прошли босиком, забрались на полок, на застеленные простынёй шубы, и Ты тут же меня обняла и впилась в мои губы. Твой поцелуй мгновенно снял с меня усталость… Однако тут кто-то стал стучать в дверь и дёргать ручку. Мы притаились. Стук продолжался.

—Чего надо?—не вытерпев, спросил я нарочито грубо.

—Д-да я с-с бут-тылкой, выпить с вами хотел!—раздался в ответ нетрезвый мужской голос—кажется, Петра.

—Мы уже спим!—так же грубо рявкнул я.

Ты хихикнула; я зажал Твой рот ладонью, но у Тебя был такой неудержимый позыв хохота, что Ты больно впилась зубами в мою ладонь. Дёрганье прекратилось; некто за дверьми побрёл неверной походкой прочь. Остановился, шумно помочился и двинулся дальше, пока, наконец, шорох его шагов не смолк. И тут на нас напал смех, а вслед за ним—такое неистовое желание, что мы кинулись друг другу в объятия и безумствовали потом добрую часть ночи.

Что мы с Тобой тогда вытворяли! Это было какое-то бешенство плоти, сумасшествие, затмение разума. Мы были оглушены им, даже подавлены, а наши тела, будто вырвавшись на свободу, жили сами по себе; причём Ты была активнее и ненасытней, возбуждая меня снова и снова… Что за сила в нас буйствовала?.. Конечно же, это—и от

выпитого, и от обильной еды на ночь после длинного голодного дня, и — от всех наших волнений во время сборов и самой поездки… Но главное, видно, всё же — от впечатления самих похорон, от смерти, виденной нами, от тайного страха перед нею, вползающего в нас в обход сознания, и вот — ответ на неё нашего подсознания и нашей плоти, бешено протестующей против смерти, изо всех сил бьющейся, чтобы выплыть от неё к жизни, ибо что может быть яростнее протеста против смерти, чем сумасшедший половой акт?

Да, именно от страха Ты, дрожа, впивалась в мои губы и горячо вжималась в меня, чтобы слиться в одно — то было единственное лекарство от страха и главный природный инстинкт, отрицающий смерть. Ты билась в меня, мучительно стеная и крича, сжимая меня в объятиях так, что было трудно дышать:

— Люблю тебя! Люблю! Милый, как мне хорошо! Ещё, ещё, ещё, ещё!.. — и — какие-то совсем уж нечленораздельные звуки и звериный рёв, так что мне становилось страшно за Твоё безумие: это была уже не Ты, а сама неистовая, слепая, глухая ко всему природа, в то время как я — лишь Твой придаток, недостающий Тебе орган, инструмент в руках природы и судьбы…

Я подозревал, что каждое сконцентрированное в нескольких минутах безумие, сотрясающее Твой организм, — маленькое подобие родов, их имитация; это Твоё загнанное в тёмную глубину неизбытое материнство тоскует в Тебе, воя и стеная; мне было даже жаль Тебя, бьющуюся в пароксизме акта.

Потом Ты лежала в совершенном изнеможении, тихая, будто оглушённая, — Тебе самой было страшно оттого, что с Тобой было; Ты протягивала руку, чтобы погладить мои волосы, и рука бессильно падала, а Твои глаза в темноте блестели тихим безадресным светом.

— Боже, что мы с тобой делаем? В такой день! — с ужасом шептала Ты. — Это же кощунство!

— А может, наоборот, в этом большой смысл? — успокаивал я Тебя.

А когда, уже в совершенном изнеможении, скользкие от пота, мы лежали, отстранившись, — я вспомнил, как Ты предлагала когда-то нарожать кучу детей. Теперь мне вдруг захотелось этого, и я сказал:

— Знаешь что, сумасшедшая моя супруга? А давай-ка зачнём нашего общего первенца! Помнишь, читали с Тобой, как Шива землю в океане *пахтал?* Так и мы *спахтаем* наше с Тобой дитя, и если будет девочка — назовем в честь бабушки Феодосией, а если сын — Феодосием.

— Давай! — эхом откликнулась Ты, а потом чуть-чуть подумала и возразила: — Нет, мы с тобой пьяные — нельзя.

— Да мы уже протрезвели! В конце концов, можно завтра или послезавтра — не откладывая, а?

— Послезавтра, милый, — задрёмывая, пролепетала Ты.

— Ловлю на слове! — шутливо погрозил я Тебе пальцем, а Ты поймала его, расцеловала и, уже засыпая, продолжала лепетать:

— Лови меня, милый, лови… Делай со мной всё, что хо-о… — и на этом Тебя сморил сон.

А я не мог уснуть… Бывает, что ощущение счастья захватывает до той сладчайшей боли, когда сами собой начинают литься слёзы. Как если попадают в резонанс с состоянием души прекрасные стихи, спектакль, картина, ландшафт. Что-то подобное творилось со мной в ту ночь.

8.

Ну и сумасшедшие денёчки в то лето выдались!

Через день мы вернулись домой. Была пятница, Твой последний рабочий день перед отпуском. На следующее утро мы намечали отправиться в путешествие, а по пути навестить Алёну в пионерлагере, но Ты даже не знала: отпустят Тебя или нет? Поэтому, как только приехали, Ты, едва успев вымыться и переодеться, помчалась на работу. И как в воду канула. Позвонил в обед — Ты, растерянная, ответила, что ничего пока неизвестно: приказ не подписан, и начальника Твоего поймать невозможно.

Позвонил в четыре — ответили, что Ты сидишь у начальника и у вас там какие-то дебаты. Я попросил передать, чтобы позвонила, когда освободишься.

В шестом часу ваш телефон вообще не отвечал…

Время к семи вечера, а Тебя всё нет… Уже несколько раз звонили Павловские: так едем завтра или нет? — а я ничего не мог ответить…

Наконец в начале восьмого являешься.

— Поздравь: я в отпуске! — заявила Ты с порога и, видя, что я раздражён, обняла меня и расцеловала. — Прости, милый, но — представляешь? — в шесть я ещё получала отпускные, а наши женщины уже накрывали стол: *обмывать* отпускницу! А телефон, чтоб не мешал, отключили! — оправдывалась Ты.

Ты сама позвонила Павловским: едем, как намечено! — и мы с Тобой начали спешно собираться: Ты что-то пекла и жарила, набивала в банки и пакеты, готовила запасы белья, носок, свитеров и курток, я укомплектовывал рюкзаки… Утром, спросонья, новый перезвон с Павловскими, торопливый завтрак, и — звонок в дверь. Я открыл; на пороге — Борис:

— Готовы?

— Конечно!..

И, закрыв двери на замки, понесли вещи вниз.

В пионерлагере Алёна была впервые, многое ей там пока что нравилось, и ехать с нами она наотрез отказалась: назавтра к ней обещала приехать бабушка с папиной стороны и забрать её на дачу — так что на ближайшие две недели Ты насчёт неё была спокойна. Побыв с нею, пока не надоели ей, мы помчались дальше… И только к вечеру добрались до желанного озера.

Оказывается, не зря Павловские столько о нём рассказывали; мы подъехали к нему с северной, степной стороны совсем неожиданно: перевалили через увал, и оно распахнулось перед нами во все стороны. Борис свернул с дороги и поехал прямиком к воде. Голый, без единого куста,

пологo уходящий в воду берег был истоптан скотом. Поверхность воды — настолько неподвижна, что противоположный берег километрах в пяти, холмы за полосой леса на том берегу и висящие высоко над холмами розовые на закате облака и выцветшее от жары небо отражались в воде без малейшего искажения; на воде расходились слабые круги от всплесков. Рыба!.. После долгого сидения в душной машине тянуло скорей в воду; но Борис расслабиться не позволил:

— Да вы что! Нам ещё ехать и ехать — во-он туда! — показал он рукой в противоположный берег.

Успели только разуться, зайти в воду, чтобы остудить ноги, влезли затем в машину и помчались дальше.

В восточном углу озера притаилась рыбачья деревушка. Миновав её, въехали в берёзовый лес. Дорога превратилась в сплошные колдобины, и только благодаря Борисову мастерству мы умудрялись ехать вперёд. Сквозь берёзовые стволы виднелась вода, а на её фоне — палатки и дымы костров.

— И не жалко тебе рвать машину? — решилась, наконец, Ты спросить Бориса. — По-моему, места хватит всем — зачем так далеко?

— Здесь у каждого своё место. Могут и по шее…

Оставалось ждать, пока он, наконец, не довёз нас до «своего» места. Зато дальше нас уже никого не было.

Выбравшись из машины, мы с Тобой радовались всему: вечеру, тишине, цветочным полянам среди берёз, голубизне воды, — а Павловские посмеивались над нашими восторгами. Место и в самом деле было прекрасным: небольшой залив с реденьким камышом по колено в воде; обрывистый бережок, а между обрывом и водой — узкая полоса песчаного пляжа; недалеко от нас с обрыва клонилась к воде толстая берёза с висячими ветвями.

Наскоро искупавшись, запалили костёр и начали обустраивать бивуак; и пока мы с Борисом ставили палатки, натягивали тент над раскладным столом, расчищали старую яму-погреб и таскали сушняк — вы со Станиславой взялись готовить ужин. Да не просто ужин — решено было отметить начало отпускного сезона добротным застольем.

И в конце концов это застолье было нами осуществлено, уже в сумерках, необычайно тёплых, при интенсивном розово-лиловом свете, оставшемся после заката солнца и окрасившем и степь на том берегу, и воду, которая теперь будто кипела от рыбьих всплесков. Мы хмелели от обильного возлияния и радовались благодати лета, этому лиловому свету, рыбьим всплескам, огню костра. Казалось, лучше уже и не бывает: дальше — переизбыток.

А меж тем вечер, перетекая в душную ночь, всё темнел и темнел, из лилового превращаясь в чернильно-фиолетовый. Мы с Тобой ещё удивились: какие здесь тёмные ночи! — а Борис сказал:

— Дождь будет. Слышите? — где-то гром гремит.

— Да это реактивный самолёт! — сказал кто-то из нас.

— Нет, это гром, — возразил он. — И рыба играет как очумелая.

Мы все посмотрели на небо; там были только лиловые облака, такие неподвижные, что мы засомневались в его предсказании — тем более что меж них поблёскивали, отражаясь в зеркальной воде, звёзды.

Я устал от бесконечного дня, хотелось в палатку, а Ты никак не желала уходить из этого великолепия, и мы с Тобой всё сидели и сидели у костра, пока наконец не сморило и Тебя.

В палатке было так душно, что, лёжа на расстеленном спальнике, пришлось снимать с себя всё. Распахивать палатку не давали комары; теперь мы завидовали тем, кто ночевал на степном берегу — там тоже рдели огоньки костров… Мы лежали, свободно растянувшись после любовных игр, и я, посмеиваясь, напомнил Тебе, что уже и послезавтра прошло, а у нас — опять никакой возможности зачать ребёнка…

Разбудил нас среди ночи страшный раскат грома прямо над головой. Палатку сотрясало ветром. Один из порывов, видно, оборвал растяжку — палатка мешковато провисла и хлопала. И всё это — в кромешной тьме, прерываемой блеском молний. Я оделся на ощупь — благо, одежду положил под голову, а Ты беспомощно шарила по палатке и хныкала:

— Где моя майка? Куда она делась?

— Подожди, сейчас возьму фонарь у Павловских, — сказал я и вылез наружу — вечером мы спохватились, что забыли захватить свой фонарь.

Снаружи едва виднелось; налетал порывами ураганный ветер, гоня по земле искры из полупотухшего костра; хлюпала под берегом волна, и угрожающе мотались вверху вершины берёз. Павловские были уже на ногах.

— Давайте всё из палатки под тент: гроза идёт! — скомандовал мне Борис; он был в одних шортах.

— Сейчас, — ответил я. — Дай фонарик!

Он протянул его мне; я взял его и обернулся — и в это мгновение увидел в свете молнии, разом всё осветившей, как наша палатка совсем рухнула и её остервенело треплет, а Ты стоишь над ней в одних плавках, стыдливо прикрыв рукой грудь, словно мраморная Афродита в голубой молнийной вспышке, с белоснежной, ещё незагорелой кожей, — живая Афродита, рождённая из грозового дождя и блеска молний, растерянно хныча:

— Иванов, ну помоги же мне!

И в это время обрушился на нас ледяной ливень. Я рванулся к Тебе, содрал с себя рубашку, отдал Тебе, и пока Ты, путаясь в рукавах, натягивала её на себя, стал срывать с кольев палаточные растяжки и сворачивать в бесформенный ком рухнувшую палатку вместе со всем, что внутри.

— Давай под тент! — крикнул я, когда Ты наконец натянула на себя рубашку. Однако Ты, к Твоей чести, не побежала тотчас, а, мешая мне, стала суетиться возле. Я сунул Тебе фонарь: «Свети!» — сумел всё-таки справиться с палаткой, и уже вместе мы отволокли этот мокрый ворох под тент.

Ливень уже хлестал вовсю.

Удивительно, сколько в нас было тогда неистраченной энергии; когда мы, мокрые, полуголые

и босые, стаскали всё под тент и Ты, стуча зубами, произнесла: «Бр-р, как холодно!» — Борис предложил:
— А давайте, чтобы согреться, попляшем под дождём!

И мы мгновенно согласились: выскочили под дождь, взялись вчетвером за руки и под всплески молний и раскаты грома, хохоча, стали дико выплясывать под выкрикиваемую нами же дурашливую, в ритме буги-вуги песенку студенческих времён:

> Мы идём по Уругваю-у,
> Ночь — хоть выколи глаза-а.
> Только слышно: попугаев-аев-аев
> Раздаются голоса-а!..

Гроза и эта пляска ввергли Тебя в дикое возбуждение: Ты стала звать меня купаться. Я пытался отговорить Тебя, но Ты лишь дразнила меня:
— Боишься, ха-ха-ха? Трусишь? Слабо, да?
— Я за Тебя боюсь! — кричал я Тебе.

Однако Ты заразила своим возбуждением Станиславу; я воззвал к Борису, нашему негласному лидеру, но тот лишь махнул рукой:
— Да пусть остынут! В заливе мелко.

И вы со Станиславой попёрлись в воду. Ссориться с Тобой в первые же сутки отпуска не хотелось, но я отказался идти с вами — вслед за Борисом влез в машину и, сам не свой от беспокойства, стал наблюдать за его реакцией на ваше буйство. Однако Борис, уже переодевшийся, спокойно подрёмывал.

Утонуть в заливе вы и в самом деле не могли — но ведь в горячке попрётесь дальше, в глубину! — и я не выдержал: взял фонарь, вышел на берег, встал под берёзой и стал высвечивать вас — чтобы вы хотя бы не потеряли из виду берега, а вы там, в темноте, что-то орали про тёплую воду, ржали, как кобылицы, и звали к себе… В конце концов Борис не выдержал: подошёл ко мне, уже в плаще с капюшоном, и крикнул изо всех сил, что если вы сейчас же не вылезете — утром возвращаемся домой!..

И вот, переодетые во всё сухое, сидим в машине — в ней ещё осталось дневное тепло: Павловские на переднем сиденье, мы на заднем. Согревались глотками спиртного и неспешно болтали, пока вы со Станиславой наконец не уснули. Чтоб не мешать вам, мы с Борисом тихо проговорили до рассвета, пока не закончился дождь; потом мы с ним тихонько выбрались из машины и принялись приводить в порядок лагерь, разжигать костёр, сушить вещи и налаживать жизнь.

Через несколько дней, когда мы с Тобой, горячие от дневного зноя, лежали ночью в палатке, я опять напомнил Тебе:
— Может, всё же закрепим этот апофеоз хорошим жестом — зачнём?..

Между прочим, я постоянно дивился Твоей осторожности: Тебя нельзя было застать врасплох — предохранялась Ты всегда сама, и ничто не могло поколебать Твоей непреклонности… А Ты — кажется, впервые, — надолго задумалась над моим предложением и рассудительно затем ответила:
— Знаешь что, милый? Давай подождём ещё, а?
— Но Ты же хотела!
— Да; но раз уж начала — надо *аспиру* закончить и защититься.
— Да зачем Тебе это? — взорвался я — меня уже злила Твоя серьёзность.
— А ты знаешь, я бы всем женщинам советовала позаниматься наукой — хорошо помогает выбрасывать из головы бабьи глупости.
— Да не наукой вам надо заниматься — а детей рожать!
— Старо, милый, — насмешливо отозвалась Ты.
— Неужели? — с издёвкой произнёс я. — А мне сдаётся, что хорошие истины не стареют.
— Не сердись, милый, — стала ластиться Ты, видя, что я раздражён.

Однако решения своего так и не изменила…

Место, куда мы приехали, и в самом деле было прекрасным: если и есть рай на земле — он именно на том озере во второй половине июля. Погода больше не портилась, так что по утрам, пока вы со Станиславой досматривали сны, мы с Борисом рыбачили; днём купались в прогретой воде и загорали под ненавязчивым, катящимся в август солнцем, а вечерами бодрствовали у костра под набирающим бархатную черноту небом, пока вечер не растворялся без остатка в прохладной ночи с обильной росой и чистейшим воздухом, напитанным лесными и озёрными запахами. Каждый день был таким долгим, что устаёшь от его медленного течения, а каждая ночь, когда мы уходили в палатку, была ночью маленьких любовных приключений… Но больше к теме ребёнка мы не возвращались.

9.

Вернулись из отпуска, и лето сразу не то что кончилось — просто конец его ознаменовался дождями, которые зарядили недели на две. Однако если вначале они были тёплыми, то к концу августа стало по-осеннему холодно и неуютно, так что негде было от этого неуюта спрятаться, даже в квартире: приходилось постоянно держать включённым электрообогреватель, но и он не согревал — настолько остыл дом.

И мы с Тобой снова включились в работу. Правда, о том, что ещё лето, старались не забывать: по выходным ездили с Павловскими за грибами; но в лесу было сыро и холодно — не помогали ни костёр, ни спиртное; хотелось одного — скорее домой. В лесу неисправимые оптимисты Павловские изо всех сил старались вселить в нас бодрость:
— Грибной дождь — это же сказка! Послушайте, как он шуршит!.. Посмотрите, какие роскошные капли кругом висят!.. А какая великолепная форма у этого гриба!.. А понюхайте, понюхайте, как он пахнет!..

И всё равно тянуло домой, к письменному столу.

А потом пришла настоящая осень — с холодом и дождями. Но когда втягиваешься в работу и в городскую повседневность, погода становится уже не активным фактором жизни, а всего лишь нейтральным фоном…

Ты, будто изголодавшись по работе, теперь набрасывалась на неё с жадностью, честно исполняя

любую белиберду, которую заставляли тебя делать: переписывать тексты, заполнять карточки, бланки, анкеты, сочинять отчёты, писать черновики статей для журналов и бюллетеней… При этом Ты успевала работать над диссертацией, сдавала кандидатские экзамены, участвовала в конференциях, моталась с сослуживицами в командировки в районные городишки и возвращалась оттуда грязной, простывшей — в районных гостиницах вечно не было ни тепла, ни горячей воды… Кроме того, Тебе приходилось теперь просматривать кучи журналов, книг, рефератов. Ты научилась читать быстро, хватко, причём часто — за счёт сна и общения со мной и Алёной.

И за ту зиму далеко продвинулась — я замечал это по вопросам, которые Ты мне задавала: если ещё осенью они едва удерживали меня от улыбок, то уже весной, если Ты и спрашивала о чём-то, — отвечая, мне приходилось напрягаться. Да самих вопросов становилось меньше — Ты научилась наконец пользоваться справочниками и словарями.

И как быстро менялась Ты сама! Торопясь после ужина поработать ещё, ты уже не смешила меня своими историями, а если мы и задерживались за чаем, то задерживал нас только спор: мы стали часто спорить. Причём затевала споры Ты сама: вспомнив какое-нибудь моё утверждение, мимоходом сказанное два-три года назад, касалось ли оно христианства, материализма, свободы личности, возможностей разума, науки, интуиции (о чём мы только ни говорили — и, оказывается, Ты всё это держала в памяти!), — теперь по поводу этих тем Ты могла наконец позволить себе собственное мнение.

Большие расхождения бывали редко; зато у нас были разные сторонники: меня защищали классики — Ты больше опиралась на современных психологов, социологов, философов; цитаты из них Ты теперь лихо шпарила наизусть; частенько они колебали моих классиков, но уронить их с пьедесталов им было не под силу, и Ты досадовала, что слабовато моих сторонников знаешь.

Часто поединки заканчивались вничью; это значит, мы мирили старых классиков с новыми… Но если я ленился спорить и нарочно поддавался — Ты сердилась:

— Это нечестно — Ты обязан отстаивать свои взгляды до конца!

От постоянного чтения и писания у Тебя ухудшилось зрение, и Ты стала носить очки постоянно — красивые очки с большими стёклами в тонкой золочёной оправе. И если раньше Ты их стеснялась, то теперь Тебе понравилось их носить: стёкла очков создавали некую твёрдо ощутимую границу между Тобой и видимым миром вокруг, и, по-моему, Ты находила в этом некий шик.

К тому времени я уже изучил Тебя и видел, как Твоя эйфория новичка в науке иссякала, как Ты теперь просто везёшь свой воз, словно хорошая рабочая лошадь, — по инерции и привычке, и не очень-то уже Тебя влекут учёное звание и будущая зарплата: придут в свой черёд, никуда не денутся!.. Но — странно! — Тебя теперь волновало и влекло само знание; Ты словно пришла на берег океана, окинула его взглядом и увидела, насколько он огромен, — но Тебя он не испугал; Тебе хотелось знать, знать, знать как можно больше, удовлетворять своё любопытство и свою жадность: Ты готова была переплыть этот океан, и единственная корысть, которая владела Тобой, — лишь желание сравняться со мной в знании и не уступать ни в чём, ни на шаг… Откуда у Тебя взялась эта гордыня? Что Ты ею восполняла в себе?.. Я долго ломал над этим голову. И кажется, всё-таки понял, в чём дело. А понять это мне помог Твой начальник, Марков: столкнувшись однажды с ним на учёном заседании, я спросил его про Тебя:

— Как там моя протеже? Не жалеешь, что взял?

— Нет, — кажется, честно признался он. — Хватает всё на лету и изрядно начитана. Это ты её так натаскал?

— Может быть, может быть, — ответил я, не очень, впрочем, уверенно.

— Чувствуется влияние…

Мне бы спросить его, в чём же, интересно, он видит это влияние и как отличить его от её собственных усилий, — но я смолчал тогда: не было времени на разговор, да и трудно возражать на льстивый комплимент — а возразить было нужно, потому что, как я потом понял, вся ваша лаборатория, конечно, думала так же, как Марков, сводя Твои собственные интеллектуальные усилия лишь к моему влиянию. Тебя это, видно, уязвляло, не давая Тебе при этом возможности опровергнуть их…

Порой Ты думала, что уже сравнялась со мной, и в Тебе сразу начинало расти чувство превосходства — а потом какая-нибудь моя случайная фраза ставила Тебя в тупик, и опять Ты мучилась от своего несовершенства и с такой страстью снова накидывалась на занятия, что мне хотелось облегчить Твои усилия, сэкономить Тебе время на них, помочь — но чем, как? Где-то тут находился предел, за которым никто не в силах был Тебе помочь — только сама себе.

Причём дома у нас, кроме меня, был ещё один Твой союзник — Алёна. Подрастая, она всё больше понимала, как много Ты работаешь и как стараешься, и сама самоотверженно старалась Тебе помочь в домашних делах — даже в ущерб своим школьным занятиям… Единственное, чего вам с ней не хватало — времени для общения. Причём Алёна видела, сколько сил я отдаю Тебе, и, кажется, всё больше уважала меня за это, так что мы с ней становились сообщниками, объединёнными, чтобы помочь Тебе.

Надо сказать, Алёна становилась настоящей хозяйкой в доме. Давно прошло время, когда Ты устраивала ей головомойки за плохо простиранные маечки и трусики, и никакие слёзы не спасали её от Твоей суровости, так что я не выдерживал: тихонько, чтобы Алёна не слышала, пытался её защищать, — но Ты и мне не давала за это спуску. Однако Алёна знала, что я её защищаю, и потому нам с ней было легко сговориться, так что мы уже и ужины вместе готовили, и затевали генеральные уборки. Как трогательно она при этом старалась, как суетилась!..

Чтобы помочь Тебе, я тогда совсем забросил свою кабинетную работу. Но я плевал на неё — зато какое удовольствие было видеть, как крепнет Твой интеллект, и как я радовался тому, что все мы, втроём, сидим, уткнувшись в свои занятия! Как я тогда торжествовал про себя: я вас обеих обратил в свою веру!

10.

Старая-престарая истина: за счастье надо платить. Причём в табели о рангах оно стои́т высоко и сто́ит дорого. Но какова цена, и чем приходится платить?.. Конечно, я думал и над этим тоже, но как-то неконкретно: расплачиваемся же чем-то! — совершенно не понимая ещё, что со счастливчиков бывает нечего взять: бесстыдно в простодушной слепоте своей глядим счастливыми глазами в глаза ближним, а расплачиваются за нас они.

С Ириной после той памятной встречи на улице я не сталкивался. Но с сыном встречался: *подкидывал* деньжат в подарок ко дню рождения или просто *на прокорм*, и немного с ним болтали. На вопрос: «Как дела?» — он неизменно отвечал: «Нормально, отец!» — и я радовался: какой самостоятельный парень!.. Единственное, что огорчало, — мало читает: не сумел я привить ему этой страсти, не хватило у меня для этого времени. Но виноват ли я, если *они* не хотят знать *нашей* культуры? Может, их невысокие стандарты и есть та новая культура, для которой мы с Ильёй Слоущем — сплошной палеозой? Да и нужно ли *технарю* то чтиво, что питает нас? Может, им и в самом деле достаточно всего лишь умения пользоваться справочниками?..

Но однажды — кажется, курсе на третьем, — его вдруг прорвало. Началось с того, что я спросил:
— Как там мама? — и он скривился:
— Да-а, сдурела.
— Почему — сдурела-то? — не понял я.

И он с досадой — оттого, наверное, что проболтался, — ответил:
— Да-а, дома ничего делать не хочет. Вообще дома не ночует.
— А где она ночует? — удивился я.
— «Где-где»!.. — передразнил он, недовольный моей недогадливостью. — Улюбовника, наверное.
— Н-ну, что ж… — пробормотал я и, не зная, чем утешить, взял и напустился на него: — Но ты-то уже взрослый — чего ей возле тебя торчать?

Однако он не принял моего упрёка — вывернулся:
— Но имею я право получить хоть немного родительского тепла?.. — и я не понял, был ли это злой упрёк мне — или просто крик одинокой души.
— Тебе что, так плохо? — спросил я сочувственно.
— А что хорошего? Ты ушёл… Нам ведь было так хорошо втроём!

Вон оно что: да, упрёк!
— Понимаешь, сын… — замялся я. — Каждому, даже очень взрослому человеку, хочется добрать хотя бы частицу где-то когда-то недополученного счастья. Вот и мы с мамой тоже…
— А мне что делать? — спросил он в отчаянии. — Меня просто тошнит от вашего счастья!
— Так, чтобы не тошнило, заведи себе хотя бы подружку, что ли? — сказал я.
— Да есть у меня подружки! — раздражённо ответил он. — Разве в этом дело? Но им-то бы только брать — а что я им дам? Кроме секса, конечно!
— Знаешь что? — ответил я ему тогда, раздражаясь сам. — Это эгоизм с твоей стороны: мы с мамой честно старались, чтоб у тебя было нормальное детство — но не может же оно длиться без конца! Тебе уже двадцать, пора становиться взрослым и учиться решать свои проблемы самому, а нам с мамой оставь наши, пока наши сроки ещё не кончились!..

Он обиделся на меня тогда, хотя как будто и понял что-то, и снова при встречах заверял: «Всё у меня в порядке, отец!..» Я конечно, замечал, как он маскирует этой бодростью свою неуверенность в себе и ощущение своей ненужности никому. Я конечно же, корил себя, что недодал ему своего отцовства, а то, что даю, — это, на их жаргоне, *отмазки*… Поэтому, когда он закончил свой *техан* и пошёл работать, я вздохнул с облегчением: наконец-то подзатянувшаяся его юность для него благополучно завершилась, и в этом, как ни отрицай, есть всё же и мои маленькие усилия… И вот, когда я так про себя решил, — звонит Ирина:
— Ты можешь поговорить с сыном?
— А что случилось?
— Беспокоит меня. Пива много пьёт и, по-моему, бездельничает.
— Но он же работает?.. Перебесится и возьмётся за ум!
— Тебе что, это трудно?
— Нет, конечно, — раз надо, встречусь и поговорю…

И мы встретились, теперь уже — за столиком кафе.

Он как-то быстро изменился: стал большим, громоздким, животик наметился, говорит басом, — как с ним, с таким, объясняться?

Я, между прочим, взял себе тогда кофе, а он — пиво.
— Ты что, без этого пойла не можешь? — спросил я.
— Могу. Но — зачем? — пожал он плечами. — Что, мама заставила тебя провести воспитательную беседу?
— Хотя бы и так. Что ж тут плохого, если она беспокоится о тебе?
— Нет, ничего. Просто она теперь учение живой этики изучает, мужик знакомый её вовлёк, и такая правильная стала — мо́чи нет.
— И в этом тоже нет ничего плохого, — заметил я.
— Ну вы меня и достаёте… Может, я и стану правильным, когда с ваше проживу, — но сейчас-то я имею право жить, как хочу?
— Конечно, имеешь. Но какие-то цели, хотя бы далёкие, у тебя есть?
— Ты извини, но далёкие цели ставят себе не очень далёкие люди.
— Где ты эту глупость вычитал? Выходит, я, ставящий себе какие-то цели, — человек недалёкий?
— Выходит, так. Ведь ты своих целей не очень-то и добиваешься, как я смотрю. А по мне, так жить без всяких целей — тоже неплохо: просто сидеть

вот так и разговаривать, с тобой или с кем ещё. Почему надо презирать за это человека?
— Да я не презираю,— ответил я ему.— Но ведь надо же, чтобы не отупеть совсем, как-то нагружать себя, свой интеллект!
— Хорошо, отец, считай, что ты меня надоумил,— сказал он с таким издевательским смешком, будто говорил: какого чёрта вы все меня учите? И чему можете научить меня вы, сами себе не умеющие устроить жизнь?..

В общем, не получался разговор; я сидел и об одном думал: какими же мы — я, он, Ирина,— стали немыслимо чужими друг другу!..
— Кстати, как у тебя с женским полом отношения?— поинтересовался я.

Может, именно оттуда — от сексуальной неудовлетворённости — эта бравада и этот поверхностный скепсис? Так, может, хоть я посоветую ему нечто, заслуживающее его доверия?..
— Да-а,— скривился он,— они все сдурели: всем замуж приспичило.
— Но это для них вполне естественно.
— А мне это зачем? Ты что, дедушкой торопишься стать? Так это можно устроить и без женитьбы.
— Нет, не тороплюсь. Но тебе всё же не мешает повзрослеть. Понимаешь? Уровень взросления мужчины как-то соответствует отношению к женщине. Не остаться бы тебе вечным повесой!
— Ну и останусь, так что?..

Такой вот ни чему не обязывающий разговор получился: из сына так и пёрла юношеская заносчивость, когда мало чего знают, но хотят *казаться*… А я клял себя: как мало я ему всё-таки дал! И что теперь трясти запоздалыми сентенциями? Он ведь явно не простил мне, что я однажды переступил через его доверие, и теперь мы совершенно не понимали друг друга; за его заносчивостью сквозило отчуждение: чего, дескать, тебе надо?— ты, старый, чужой, нудный мужик, отвяжись от меня!..

А я по-прежнему видел в нём того беспомощного, пахнущего молоком ребёнка, что когда-то болел и плакал, а я носил его на руках и укачивал, и всякий раз потом, когда вижу его, вспоминается именно это, и к горлу подступает нечто мучительное… Но не будешь же рассказывать об этом взрослому мужику, с которым нет точек соприкосновения… Единственная надежда — на то, что, когда у него самого будут взрослые дети, он, может быть, поймёт мои усилия протолкаться к его неустроенной душе?..

А что же Алёна?..

Меня всегда подкупало в Тебе благоразумие: не чинить ни малейших препятствий для встреч Алёны с её родным отцом. Мало того, Ты сама с непреложной регулярностью отправляла её по выходным на встречи с ним.

Правда, когда Алёна возвращалась, Ты выведывала у неё: чем она там занималась, о чём говорили?— а потом передавала мне её рассказы со своими комментариями, иногда язвительными… Твоё ревнивое внимание к отношениям Алёны с отцом было понятно: ведь она — Твоя дочь! Однако жизнь Алёниного отца с той поры, как Ты с ним разошлась, складывалась не безоблачно, и чем сложней она у него складывалась, тем язвительней становился Твой комментарий — вот что мне было неприятно. Потому что, когда Алёнин папа женился снова, в его в отношениях с Алёной начались проблемы…

У Тамары, так лихо гульнувшей тогда на нашей свадьбе, завладеть первым Твоим мужем Леонидом сорвалось, и она — в отместку ему, что ли?— стала у Тебя главным информатором о нём. Вы часто болтали по телефону, и темой болтовни был Твой бывший муж. А потом Ты пересказывала мне эту вашу болтовню, и запретить Тебе пересказывать её у меня не хватало духу: с кем Тебе ещё было поделиться, кроме меня, когда Тебе не было мóчи держать всю эту информацию в себе? Я терпел эти пересказы и прощал их Тебе — только уговаривал Тебя быть как можно осторожней с Тамарой:
— Подумай сама: не есть ли в том, что она Тебе подсовывает столько информации, какая-то каверза? Забыла, что она вытворяла на нашей свадьбе?
— Да она тут ни при чём — это Зинка всё!— оправдывала Ты Тамару.

Честно-то говоря, с некоторого времени Твоего бывшего мужа мне стало просто жаль. Может быть, его было жаль и Тебе тоже?— хотя Ты об этом ни разу не проговорилась.

Я не собираюсь пересказывать *всех* подробностей ваших с Тамарой пересудов о том, как Леонид женился второй раз: как, заявивши будто бы: «Ну их к чёрту, этих городских кривляк!»— привёз себе в жёны девицу из глухой деревни (этакая-то простота крепче любить будет!), да как баловал свою юную жену и какими осыпал подарками, да как привязался к младенцу, когда она ему его родила — настолько привязался, что не доверял ей даже купать его и пеленать — только сам!— и не позволял ей идти работать, чтобы ребёнок получил побольше материнской заботы. Да как от бесконечного сидения дома та разленилась и научилась куражиться над мужем, а чтобы разнообразить себе жизнь — стала ездить на курорты, лечить мнимые болячки, оставляя дитя на заботливого папу, а на курортах — заводить романы, которые приносили ему страдания, потому что он знал про них…

Невесёлая, конечно, то была история; только, казалось бы, что нам до неё за дело — если бы я, я лично не был виноват в страданиях этого мужика и уж вовсе неведомого мне младенца, и если бы эта история не касалась Алёны! Дело-то в том, что молодая Леонидова жена невзлюбила падчерицу, и как только убедилась, что имеет над мужем власть,— запретила Алёне бывать у них, так что отец встречался с Алёной крадучись, у своей матери, Алёниной бабушки.

Боже мой!— думал я, выслушивая эту печальную и одновременно банальнейшую историю,— насколько же они бессмертны, эти образы злой мачехи и слабохарактерного отца из старых сказок!..

Поначалу Алёна после встреч с отцом делилась с Тобой обидами на мачеху и на отца, но когда подросла — поняла, что наносит этим урон папиному

престижу в Твоих, моих и её собственных глазах, и делиться перестала; она приезжала хмурая, и сколько Ты ни билась: «Расскажи, милая, что там опять случилось?»—упорно молчала. Ты обижалась на неё за это—но я-то чувствовал, насколько уязвлено Алёнино самолюбие и как ей стыдно за папино предательство…

Да, она старалась не давать Тебе повода торжествовать над отцом, а я принимал Алёнины страдания на свой счёт—потому что я, я был первоначальным виновником её страданий! Для неё самой цепочка истинных причинных связей была пока слишком сложна, чтобы распутать её и понять—но я-то свою вину знал и ни на кого не перекладывал!..

К Твоей чести, Ты понимала моё состояние и как могла меня утешала.

— Не надо, не бери на себя! *Он*,—показывала Ты глазами куда-то вверх,—всё видит и всем воздаст по заслугам!..

Но Тебе было легче: у Тебя был Он. А у меня был лишь я сам.

11.

В Твоей тогдашней работе меня раздражало одно обстоятельство: чем глубже Ты вживалась в лабораторную среду—тем прочнее срасталась с ней, тем сильнее она превращала Тебя в её часть, и влияние её на Тебя начинало со временем довлеть над моим влиянием: я чувствовал, что теряю его над Тобой.

Кто составлял эту вашу среду? Ваш завлаб Марков, аспиранты, лаборантки; какая-то Юлия Борисовна, стареющая учёная дама, с мнением которой вы все почему-то считались; заезжие научные сотрудники.

Казалось, они все сговорились отучить Тебя от «предрассудков». Они потешались над Твоей *старомодной* женственностью и Твоей *простодушной* любовью ко мне и над тем, что Ты беззаветно мне веришь. «Таких, как Ты,—убеждали они Тебя,—мужья дурят, сами имея при этом любовниц!..»

Они регулярно вбивали Тебе в голову, что институт семьи давно обветшал и трещит по всем швам, что сексуальная свобода женщины задавлена дурными традициями, патриархальным бытом, конфликтами между «разумным верхом» и «телесным низом»… Эту начитавшуюся плохих книжек и лживых теорий, охочую до чужих «мужиков» и «баб» и до скабрёзных анекдотов компанию просто раздражали Твоя цельность и Твоя искренность, и они делали всё, чтобы их в Тебе разрушить.

«Ну почему, почему,—мучительно думал я,—людям так досадно видеть рядом с собой людей чище, добрей, правдивей, чем они сами? Почему это не даёт им покоя? Что за прихоть такая—непременно растлевать людей, втаптывать в грязь, опускать до себя?..» И чем больше я над этим думал, тем неизбежней начинал понимать, что сам смыкаюсь с ними: сам когда-то выпалывал в Твоей душе цельность и простоту,—и вспоминал, с каким удовольствием разжигал сомнения в Тебе и жажду познания, поощрял честолюбие, учил материализму, атеизму… Зачем, ради чего я это делал?..

Не знаю, всё ли, о чём вы говорили в лаборатории, Ты рассказывала мне, но над тем, что рассказывала, мы смеялись вместе; однако черви сомнений в Тебе уже поселились—отсмеявшись, Ты бралась меня допрашивать:

— А скажи мне: ведь у вас в институте полно молодых *филологинь*—неужели у тебя никогда нет желания закрутить с ними роман? Они ведь умнее меня, образованнее!.. А может, ты уже и крутишь?

— Милая, да зачем мне это, если я люблю Тебя, если Ты заменяешь мне их всех!—горячо протестовал я.

— О-ох, Иванов, знаю я твои способности пудрить мозги!—шутливо грозила Ты мне пальцем.—А Марков говорит, что мужчина не может обходиться одной женщиной и что у любого мужчины есть сто способов обмануть жену!

— Что же он ещё говорит, этот сукин сын Марков?

— Что женщина по природе своей—хищница и проститутка.

— Да неужели Ты не понимаешь, что он Тебя растлевает!—возмущался я.—Ещё и переспать с ним будет от Тебя требовать! Дай-ка я поговорю с ним!

— Ради Бога, не надо!—просила Ты.—Ведь я же с тобой откровенна! Они тогда меня совсем запрезирают!..

Но я как в воду смотрел: как-то Ты призналась, что Марков и в самом деле предложил Тебе переспать с ним за то, что консультирует как аспирантку.

— Ну, это уж слишком—давай я с ним разберусь!—возмутился я.

— Не надо, милый!—опять просила Ты.—Ведь он легко откажется от своих слов, да ещё расскажет всем—и представляешь, какой болтливой дурой меня выставит!

— В таком случае Тебе надо уходить оттуда.

— Но я не хочу уходить—я люблю свою работу!

— Значит, надо менять руководителя темы.

— Но другого у нас нет! Это значит—искать в другом городе, а где гарантия, что другой—порядочней? В другом городе он ещё мерзостней окажется!

— Да ведь обходятся же люди без диссертаций?

— Милый, но у меня почти готовый материал!..

Несмотря на Твои протесты, я всё же при очередной встрече потрудился объясниться с Марковым… Да с ним и говорить всерьёз не пришлось: он сразу всё понял и, чего-то испугавшись, заверил меня, что то была лишь шутка, которую Ты будто бы, со своей чисто женской логикой, совершенно не так истолковала, что он приносит глубочайшие извинения нам обоим, и если на то будет наше согласие—инцидент можно считать исчерпанным… И в самом деле помогло: после того разговора он прекратил источать на Тебя свои сальности. И не только он—каким-то чудесным образом подобные разговоры в лаборатории вообще прекратились… Или, может, Ты сама—из осторожности—перестала делиться со мной всем, что у вас говорилось?

Но я не каюсь, что поговорил с Марковым, и не считаю, что поставил Тебя в неловкое положение. Во всяком случае, Тебе это нисколько не повредило,

и через три года Твою защиту мы шумно *обмывали* и у вас в лаборатории, и в ресторане, и у нас дома. Ты ходила счастливая и торжествующая — такой счастливой я Тебя видел разве что на нашей свадьбе: Ты чувствовала себя победительницей и упивалась своей победой.

С той поры наша жизнь стала быстро меняться… Нас будто подхватила волна возможности неплохо зарабатывать, и — после стольких-то лет неустройства! — мы наконец взялись энергично восполнять это неустройство…

К моему удивлению, Ты оказалась практичной в смысле умения зарабатывать и, в отличие от меня, быстро научилась пользоваться своим учёным званием: кроме обычной надбавки к зарплате в лаборатории, Ты стала вести на курсе у Маркова практические семинары и вести дипломников; Ты подготовила собственный курс лекций и читала его сразу в нескольких технических вузах; Ты уже сама вела договорные темы на больших предприятиях и консультировала мелкие предприятия; особенно Тебе нравилось работать с торговыми фирмами — они были гораздо щедрей и платёжеспособнее… И отовсюду Тебе *капали* денежки.

— Слушай, Иванов! Что нам с ними делать? — смеялась Ты, принеся домой и выкладывая на стол толстые пачки денег, немного бравируя ими передо мной, ещё не привыкнув к их обилию и слегка ностальгируя по былому нашему безденежью и бездомью. — У нас теперь этих денег столько, что даже скучно!

— Терпи! — улыбался я. — Это нам испытание на вшивость…

Но терпеть Ты не желала. В первую очередь Ты ринулась покупать себе одежду и обувь и скоро завалила ими квартиру. Меня эти вороха одежды поначалу умиляли: Ты имела на них право — после многих-то лет воздержания…

По оставшейся аспирантской привычке заниматься с утра до ночи Ты продолжала много работать вечерами, а то и ночами. Однако меня отчего-то беспокоил этот Твой бесконечный труд и вкрадывались сомнения: а не стои́т ли за Твоей нескончаемой работой элементарная жадность?..

Когда я заговаривал с Тобой об этом, Ты, прекрасно понимая, о чём я, и чувствуя себя теперь в наших спорах уверенней — кандидатский диплом и заработки Твои с некоторых пор стали в наших спорах существенным аргументом, — обрушивала на меня лавину возражений:

— Ты, милый, старомоден, ты безнадёжно отстал от жизни… Оглянись вокруг! Время энтузиастов и простодушных романтиков ушло — теперь время прагматиков, делающих карьеры, деньги, состояния. Да, они работают за деньги — но они ещё и работают на общество!.. Я ведь не просто зарабатываю деньги — я ещё зарабатываю себе имя, авторитет, общественный вес, меня знает всё больше и больше людей, и чем больше меня знают — тем больше я могу, в том числе и зарабатывать тоже!.. Ты хочешь, чтобы я, как прежде, сидела в уголке и вязала на спицах? Это мило, конечно, — но я хочу быть личностью, причём личностью полноценной и свободной, а свободу, если говорить откровенно, дают только деньги!..

Мои возражения относительно свободы, денег, прагматизма и моих «старомодных» взглядов, отставших от «современной» жизни — я сам чувствовал это, — казались против Твоих доводов наивным лепетом: ведь со мной по-прежнему были мои «пыльные» классики, а с Тобой — все современные естественные и экономические науки с их безжалостной формальной логикой, бесчисленные печатные издания и университетские кафедры с миллионноголовой армией современных экономистов, социологов, футурологов, объединённых в одну дружную корпорацию, с известными всему миру именами авторитетов, так что гуманитарию просто даже невозможно противостоять их стальной логике, в которой нет места таким понятиям, как влечения души, сердца, любовь, привязанности, доброта, порядочность, чувство долга, чувства такта, вкуса, гармонии…

Причем Ты теперь, хорошо усвоив социологические уроки и современные методики, в спорах со мной становилась жёстко-аналитичной, какой бывала, наверное, на семинарах и в аудиториях, смотрела на меня сквозь прозрачные стёкла своих очков очень твёрдо и серьёзно и, наверное, видела во мне лишь оппонента, которого надо переубедить — или уничтожить. После таких споров некоторое время между нами оставался холодок отчуждения…

Я, конечно, тоже что-то зарабатывал, но Твои заработки не шли ни в какое сравнение с моими. Я даже не знал, сколько Ты теперь получаешь: деньги шли к Тебе из трёх-четырёх источников одновременно, — а когда я допытывался у Тебя о Твоих истинных доходах, Ты отвечала с громким смехом:

— Милый, да разве в деньгах дело? Пусть эти глупости тебя не волнуют!

И я понимал подоплёку Твоего смеха: когда-то сам говаривал Тебе эти самые фразы; а теперь Ты давала мне понять, что прекрасно помнишь их и возвращаешь их мне. Так что получалось, будто мы менялись в семье местами…

Ты полностью взяла в руки наш семейный бюджет — правда, привлекая себе в помощницы взрослеющую Алёну, натаскивая её и в денежных расчётах тоже, в то же самое время меня от денежных хлопот постепенно освобождая. Ты облегчала мне жизнь; только должен ли я был позволять Тебе делать это?

Зато через несколько лет мы уже жили в собственной квартире, полностью нами обставленной, а летом на пикники и в отпуск на озёра с Павловскими ездили уже на собственной машине. И всё же нам постоянно было нужно что-то ещё, и чего-то всё не хватало и не хватало…

Теперь-то я понимаю, что, стремясь к добротному уровню жизни, мы начинали работать на этот пресловутый *уровень*, пестовали и откармливали его, и со временем из него вырос монстр, который нагло вмешивался в наши дела, заслонял нас друг от друга, высасывал из нас силы и диктовал, как

нам жить и что делать… После многочасовой работы и длительного общения с людьми Ты приходила домой выжатой, так что прежнего контакта вечерами не получалось, и Ты сама же от этого страдала и нервничала.

Сейчас даже трудно вспомнить причины всех стычек, и мелких ссор, и периодов взаимного непонимания, которые начались у нас с некоторых пор. Правда, пока что нам хватало ума не давать им разрастаться—мы быстро мирились. Но многие из этих ссор и стычек застревали в памяти…

Помню, деньги, отложенные на ежедневные расходы, мы хранили в толстом томе Маркса, и каждый из нас троих брал оттуда сколько нужно, делая при этом запись в отдельной тетрадке; а клали мы их в тот том по двум соображениям: раз ты, Маркс, великий экономист—вот и храни наши деньги; а если заберётся воришка, то вряд ли сообразит искать их в толстом скучном томе…

Но, сунувшись туда однажды за деньгами, Ты обнаружила большую недостачу. Виновницей оказалась Алёна—заносить свои траты в тетрадь она часто забывала; а именно в тот день у неё случилась какая-то трата… Наверное, можно было бы заставить её вписать трату в тетрадь и этим решить конфликт; но Ты, раздражённая чем-то посторонним, принялась пилить Алёну, причем раздражение Твоё было несоразмерно её деянию, и я за неё вступился. Твоё раздражение перекинулось на меня; я неуклюже отшутился:

—Давай, давай, милая, спускай на меня Полкана—я потерплю.

Но Ты истолковала мою реплику по-своему:

—Ах, ты меня только терпишь? Я для тебя—сторожевой пёс, Полкан?..—и пошло-поехало, и сколько я ни оправдывался, что Ты по-прежнему—моё самое дорогое сокровище,—всё истолковывалось Тобой превратно: будто бы я лгу, фальшивлю, это пустые, дежурные фразы, которыми я привык отгораживаться от Тебя,—так что мне осталось одно: ждать, когда Ты выговоришься.

Кстати, к тому времени Ты стала вдруг очень ревнива и готова была ревновать меня ко всем, кто моложе Тебя, даже к дочери—особенно когда мы с ней начинали шутливо *подначивать* друг друга; дело в том, что Алёна—бок о бок-то с такими родителями, как мы,—стала весьма бойкой на язык и за словом в карман не лезла, а Тебе наши с ней пикировки казались Бог знает чем—чуть ли не скрытым эротизмом.

—Чего ты к ней пристаёшь?—ворчала Ты.—На детей потянуло?

—Ну что за глупости—Ты, матушка, явно начиталась лишнего!—иронически качал я головой.

—Какая я тебе матушка?!—взвивалась Ты.

Но бывали размолвки и вовсе нелепые… Однажды вы отмечали на работе какое-то событие, да так разгулялись, что решили продолжить кутёж, и Ты привела всю заряженную разгульным настроем компанию сотрудниц к нам. Встретил я вас приветливо, но участвовать в разгуле отказался: у меня была срочная работа, и я вернулся за письменный стол, слыша при этом, как вы сначала галдели на кухне, потом накрыли стол в гостиной и переместились туда. Галдёж на время затих; но тишина длилась недолго: подогретый алкоголем, он снова вырвался у вас наружу; потом грянула музыка, и ко мне явилась делегация из двух дам, приглашая к танцам,—без мужчины, хотя бы единственного, у вас там, видите ли, ничего не получается.

Ссориться с ними не хотелось, да и толку от занятий уже не предвиделось; жаждущие веселья дамы чуть ли не силком подхватили меня, увели в гостиную и закружили. И когда какая-то из них, выказывая большой интерес к моим занятиям, завела со мной на эту тему разговор во время танца, то я, не имея понятия о том, что дама эта—Твоя тайная недоброжелательница, так увлёкся, что станцевал с ней два раза подряд; тогда Ты подошла и бесцеремонно нас остановила:

—Ты чего в неё вцепился? Нас тут много!

Я не подал вида, что обиделся, и, извинившись перед партнёршей, станцевал ещё с несколькими дамами—однако и Твоё, и моё настроение было уже подпорчено. Дамы, спохватившись, что уже поздно, засобирались домой, помогли Тебе отнести на кухню остатки пиршества и ушли. Ты принесла в гостиную ведро с водой, швабру и принялась протирать пол, а я стоял в дверях и выговаривал Тебе за бесцеремонность со мной при гостьях. Ты хмуро молчала, и чем дольше молчала, тем больше раздражался я. Затем, вытерев пол и прополоскав в ведре тряпку, Ты, ни слова не говоря, взяла ведро и вылила его на меня.

Ты была пьяна, конечно,—но такой наглости я не ожидал; по моему лицу текли потоки грязной воды, и я стоял, отфыркиваясь, мокрый с головы до пят. У меня хватило выдержки не влепить Тебе сгоряча затрещину—но не хватило выдержки увидеть в этом хоть и злую, но шутку.

—Дура Ты взбалмошная!—рявкнул я, хлопнул дверью и пошёл в ванную отмываться, а потом молча постелил себе в гостиной.

Ты, быстро уснув в спальне и хватившись меня ночью, пришла ко мне, разбудила и стала звать к себе. Однако я упорно не желал с Тобой разговаривать.

—Милый, ну прости меня—я у тебя в самом деле дурочка!—ластилась Ты.—Сама не пойму: зачем я это сделала?..

Но я был настолько обижен и этими помоями, и Твоим небрежением ко мне при дамах, что остался непреклонным. У меня было желание поговорить с Тобой о наших отношениях всерьёз, но Тебе в тот момент совершенно не хотелось ни о чём говорить. Растерянная, не зная, что делать, Ты решительно принесла несколько тюбиков губной помады и принялась исписывать ею стены, отбрасывая прочь пустые тюбики: «Милый, прости меня! Я тебя очень, очень люблю! Я не могу без тебя!..»

—Губы-то чем будешь красить?—невольно улыбнувшись, фыркнул я.

—А я не буду красить, пока ты меня не простишь!—ответила Ты, и я не выдержал: рассмеялся, встал и подошёл обнять Тебя—чтобы Ты не успела окончательно испачкать все стены.

12.

Так вот мы и жили с Тобой, пока Тебе не стукнуло сорок…

Сорокалетие навалилось на Тебя как-то неожиданно — или Ты просто отгоняла мысль о нём, как противную муху? — и только когда оно подступило вплотную, ты ужаснулась:

— Боже мой: мне уже будет сорок!..

Стало заметно, как Ты всё тревожней вглядываешься в своё отражение в зеркале и — яростней втираешь в кожу косметические средства; на Твоём туалетном столике начала фантастически расти и множиться батарея флаконов и тюбиков — десять лет назад Тебе хватало и десятой их доли. Потом, устав от снадобий, обречённо вздыхала:

— Нет, ничего не помогает — сорок есть сорок!

— Запомни: Тебе никогда не будет сорок! — переубеждал я Тебя.

— И всё-таки мне сорок, — сокрушалась Ты, разглаживая пальцами пока что тончайшую, едва видимую паутинку морщинок возле губ, вокруг глаз, на шее…

Конечно же, я замечал эти едва приметные и всё же нагло лезущие в глаза признаки Твоего увядания. Замечал, как опадают Твои, прежде такие упругие, формы, видел Твои постоянно тревожные теперь, даже когда Ты улыбалась, глаза. Странно: Ты никогда не блистала красотой; однако теперь, когда на Твоё лицо словно упал блёклый отсвет осени, оно стало прелестней; я глядел на Тебя, трогательно беспомощную под напором разрушительных сил природы, и сердце моё щемило от нежности к Тебе.

— Знаешь что? — успокаивал я Тебя, целуя в эти самые едва заметные морщинки — будто хотел выпить или слизнуть их. — Странное свойство у Твоей внешности: с каждым годом Ты становишься всё красивей и нравишься мне всё больше и больше!..

Видно, это звучало настолько убедительно, что успокаивало Тебя на время. Но я не мог постоянно быть рядом, чтобы убеждать Тебя ежечасно; Ты снова начинала беспокоиться, худеть, печалиться, и беспокойство это готово было довести Тебя до невроза; казалось, Тебя гложет какая-то болезнь.

— Ты плохо себя чувствуешь? У Тебя что-то болит? — беспокоился я.

— Нет-нет, всё нормально; не обращай внимания на мои страхи, — отвечала Ты и старалась выглядеть беззаботной…

И вот он нагрянул, Твой *сороковник*…

Ох, эти сорок! У меня у самого в мои сорок развился такой сумасшедший невроз, что увёл меня далеко-далеко. Как-то переживёшь его Ты?.. Ты запретила мне называть этот день рождения «юбилеем» — Ты о нём и слышать не хотела, и когда я предложил Тебе на выбор: в ресторан вечером — или пригласим друзей домой? — Ты из нелепого суеверия, будто бы сорокалетие вообще отмечать нельзя, и от того, и от другого наотрез отказалась. Странно… Неужели это и в самом деле рубеж опасный, чреватый непредсказуемыми зигзагами судьбы?..

— Но хоть чаю-то попьём ради такого события? — спросил я.

— Чай — можно, — великодушно согласилась Ты.

Кстати, лето было, и мы остались с Тобой вдвоём: Алёна в том году закончила первый курс и укатила в студенческий лагерь… И утром того дня — а день начинался жаркий, солнечный, — мы с Тобой, уже в предвкушении скорого отпуска, подчёркнуто буднично поехали каждый на свою работу… Но я схитрил: я взял в тот день отпуск и поехал не на работу, а по магазинам и на рынок, к середине дня приволок домой охапку роз и сумку с продуктами и принялся готовить праздничный ужин.

Я не специалист в кулинарии — но старался, и, кажется, стол получился отменным. А охапки роз хватило на целых два букета — чтобы они напомнили нам всю историю нашей с Тобой жизни: один букет я поставил в напольной вазе, той самой, что подарил нам когда-то Борис Павловский на новоселье в Колядиной мастерской, а второй букет, поменьше, — на столе, и розы были разного цвета — как когда-то на свадьбе. И свечи приготовил, зная, как Ты любишь свечи. И подарок приготовил, и музыку выбрал, которая будет звучать, хотя и знал, что Ты не любишь, когда всё до мелочи предусмотрено, — Тебе нравилась спонтанность и неожиданность поворотов. Однако и моё внимание к Твоим маленьким прихотям Тебя всегда подкупало. Как было проскочить между этими крайностями?.. Но я старался.

И вот семь вечера, всё готово — а Тебя нет. Ну да, без *междусобойчика* сегодня на работе Тебя вряд ли отпустят… Я и звонить Тебе не стал, чтоб не дёргать попусту — взял книжку, читаю и жду.

Ты явилась часов в десять вечера, встала на пороге и глупо хихикнула:

— Что, Иванов, потерял меня? А я пьяненькая пришла!

— Ну, раз Твоё явление состоялось, — говорю, — проходи: почётной гостьей будешь.

Ты прошла в гостиную, увидела накрытый стол, всплеснула руками:

— И всё-таки ты!.. И — розы, те самые!..

Подошла, опустила лицо в цветы, вдохнула их запах, замерла надолго и вдруг… разразилась рыданиями!

— Что с Тобой? — кинулся я к Тебе, растерянный: неужели я настолько пронял Тебя этими знаками внимания?..

Ты, отворачиваясь и всё же опахивая меня винными парами от своего дыхания, продолжала рыдать.

— Успокойся, — обнял я Тебя и стал оглаживать. — Кто Тебя обидел?

Ты резко оттолкнула меня и выпалила с отчаянием:

— Не трогай меня — я грязная! Я влюбилась! Я была с ним!

Я онемел; ещё не веря Тебе вполне, сказал как можно спокойнее:

— Эка невидаль… От этого ещё никто не умирал.

— Как ты можешь спокойно это говорить? — истерически крикнула Ты.

— А что мне делать? Убить Тебя, что ли? — мрачно усмехнулся я.
— Ну, отругай! Побей! Сделай что-нибудь! — кричала Ты.
— Не буду я с Тобой ничего делать! Сядь! Ты просто пьяна, — я усадил Тебя, подал бокал минеральной воды, который Ты мгновенно осушила, и спросил: — Ты что, это всерьёз? Или — как Тебя понять?
— Не знаю я ничего! Ничего не понимаю!
— Как не понимаешь? Когда Ты успела отдаться?
— Ничего я тебе больше не скажу!

Тут только до меня стал доходить весь смысл сказанного — слишком неправдоподобным оно показалось сначала: шуткой, розыгрышем — чтобы ярче оттенить наш праздник! И в то же время Твои слёзы и истерика давали понять, что в самом деле случилось что-то серьёзное.

— А Ты помнишь, — сказал я, — как мы с Тобой договаривались, когда женились? Мы свободны — ничто нас не держит вместе, кроме чувства. Но если его нет — что ж…
— Это ты договаривался — я не договаривалась! Да, я — тварь, и вообще, чёрт знает что со мной! Но ты готов так быстро от меня отказаться?
— Я не знаю, что мне делать… — я действительно не знал; на меня вдруг навалилось чувство тупика и пустоты; я сел, налил себе вина и стал пить мелкими глотками. — Тебе не предлагаю, Ты и так наквасилась… И кто же он?
— Просто… хороший человек, — ответила Ты коротко, боясь, наверное, вызвать во мне бурную реакцию и опустив глаза с размазанной от слёз тушью на веках.
— Я спрашиваю: кто он? Чем занят? — уже резче спросил я.
— Он… — нерешительно начала Ты, подчиняясь моему резкому тону. — Он аспирант, приехал из… — Ты назвала город, забыл уж какой.
— И сколько лет Твоему аспиранту?
— Тридцать.
— Теперь понятно, чем он хорош! — возмущённо усмехнулся я.
— Да, он молодой и красивый! — с вызовом ответила Ты, огненно блеснув глазами.

И почему-то я сразу представил себе этого человека — на своём веку уже повидал их — красавчика, что присасывается к способной энергичной женщине намного старше себя, в надежде, что она, теряя голову, поможет ему одолеть очередную ступеньку на поприще успеха: напишет ему кандидатскую, поможет защититься, должностишку выхлопочет — больше ему и не надо. Только ведь он, по недалёкости своей, просчитался: ему попалась нестандартная…

— И что же, он не женат, этот молодой красивый аспирант? — спросил я.
— Женат. Но бросил семью и ушёл в общежитие.
— Из-за Тебя, конечно?

Ты пожала плечами.

— И дети у него есть?
— Есть. Двое.

Меня просто подмывало швырнуть Тебе в лицо: «И у Тебя хватило совести соблазнить мужчину намного моложе себя, развалить семью, осиротить детей?» — и осёкся: я не имел права на упрёк — сам-то!.. Однако мне не терпелось сказать Тебе что-нибудь едкое, злое — чтобы лопнул Твой воздушный замок, Твой мыльный пузырь; и я сказал:

— Тебя я, по крайней мере, понимаю; но ему-то что от Тебя надо — сама подумай? Может, ему хочется вместо меня на пригретое местечко в постели улечься?.. Он Тебя использует, а потом перешагнёт! Ты же социолог — должна такие задачки влёт щёлкать!
— Может, и перешагнёт… Но у меня такое чувство, будто я лечу!.. Да ведь у нас с тобой то же самое было — только наоборот! — хихикнула Ты.
— Не-ет, не то же самое! — убеждённо покачал я головой. — Неужели не видишь разницы? У нас было будущее!

Ты посмотрела на меня с тоскливым укором, поняв, что я и в самом деле разрушаю Твой воздушный замок, и пролепетала:

— Прости меня — я не знаю, что со мной!
— Ну, прощу… А дальше что?
— Не знаю… Не знаю я ничего!
— Тебе что, было так плохо со мной?

Ты склонила голову, не желая отвечать.

— Ты мне врала, что любишь меня? — настойчиво продолжал я.

Ты подняла глаза и горячечно заговорила:

— Не врала, неправда! Мне с тобой в самом деле было хорошо!.. Но я и вправду не знаю, что со мной: увидала его, и в меня будто бес вселился!.. Он весёлый — он поёт, сочиняет песни, играет на гитаре, рядом с ним самой хочется петь, танцевать, быть весёлой, делать глупости!.. — Твои глаза наполнились слезами. — Ну что мне делать, если мне тошно жить, когда не могу любить безумно, забывая себя?.. Помоги мне, милый, помоги выбраться! Я сильная, я выберусь, только помоги!
— Но как, чем я Тебе помогу? — отчуждённо спросил я, в самом деле не зная, чем можно помочь жене, влюблённой в чужого молодца. Бить его по мордасам? — так ведь только придашь любовнику ореол страдальца, претерпевшего от нелепого в ревности мужа!..
— Знаешь что? — осенило Тебя. — Давай уедем отсюда?
— Да куда ж мы уедем?
— Куда-нибудь! В другой город… В деревню, в конце концов, — будем там работать… в школе! Разве это несбыточно? Огород заведём… Я ты знаешь, давно мечтала жить в деревне! Вырви меня отсюда: мы живём какой-то чужой, ненастоящей жизнью — пустой, суетливой! Хочу, чтобы каждый наш день был новым, ярким, полным смысла! Родим наконец ребёнка — мы же ещё в состоянии сделать это? Давай, милый!..

Я не знал, что ответить; но то, что не кинусь сию минуту исполнять Твою прихоть, я знал точно.

— Но, дорогая, мы же не птицы, чтоб порхать с ветки на ветку! Менять свою жизнь из прихоти я не могу, — сурово ответил я. — Да, я вышел из деревни и люблю её, но я готовил себя к другому — поэтому я здесь. А Тебе она быстро надоест. Что тогда скажешь?.. После налаженного быта да

в деревню — не слишком ли это рискованно? Там много работать надо и мало благ, к которым Ты привыкла.

— Меня работой не испугать, ты знаешь! — запальчиво бросила Ты.

— Ну, знаю, — продолжал я в том же — суровом — тоне. — Конечно, идеальной нашу жизнь не назовёшь… Но есть же у нас какие-то планы, обязательства, связи, которые нас держат, так что пустой я её не считаю: всё зависит от того, как Ты сама себя в ней позиционируешь. Ты много порхаешь и суетишься, а потому устала и впала в кризис. Остановись, подумай; Ты ж не девочка уже — Ты взрослая женщина на пятом десятке: пора разумом жить!..

Ещё долго я убеждал Тебя в том же духе… Конечно, Ты была уже не столь чувствительна к Слову, как когда-то, когда Ты была молода и мы только что встретились, и всё же молчала и внимательно слушала. Я старался не задевать Твоей смятенной души упрёками: только — разумное и спокойное Слово, только оно должно было стать моей помощью Тебе — чтобы Ты смогла победить свою слабость.

Я постелил себе в гостиной, давая Тебе время побыть одной, остыть и протрезветь, чтобы утром исчерпать инцидент и, возможно, помириться.

— Ты не хочешь быть со мной? — робко спросила Ты, глядя, как я стелю.

— А Ты что, хочешь быть сразу и со мной, и с ним?..

Погасил свет и лежал, думая о Тебе. Было тяжело, мерзко, муторно… «Да, — думал я в отчаянии, — я упустил из виду, что женщину надо каждый день завоёвывать; вчера ты её завоевал, а сегодня она уже забыла, что завоёвана… И потом: может быть, я выдумал Тебя, я сотворил из Тебя легенду и решил с этой легендой жить — а Ты взяла и всё разрушила?..» Я знал, конечно, что супружество — это труд души, и труд непрерывный… «Где ж Тебе его выдержать! — возмущённо думал я, сдирая с Тебя, как праздничное платье, мною созданный ореол. — Красота — и серость, интеллект — и глупость, доброта — и коварство, любопытство — и апатия, активность — и лень, — всё это Ты, Ты одна, и всё это, несовместимое, взрывается в Тебе, искрит, как шутиха…» Я всё распалял и распалял себя этими мыслями и не мог уснуть… Кроме того, мешала уснуть Твоя бесконечная возня то на кухне, то в спальне… «Чего она там возится, почему никак не угомонится? — раздражённо вслушивался я в Твою в возню. — Напилась, натворила чёрт-те чего!.. Давай помучайся, помучайся теперь!..»

И всё-таки я уснул. А проснулся среди ночи от странных звуков; они походили на громкую икоту. Я вскочил, встревоженный, быстро прошёл в спальню — звуки шли оттуда, — включил там свет, и то, что я увидел, повергло меня в ужас: Ты, одетая в лёгкую ночную сорочку, лежала на краю постели на животе, беспомощно свесив вниз голову и обнажённую руку, а на коврике перед постелью растеклась лужа зелёной рвоты, пахнущей алкоголем, и в ней плавало множество таблеток, и уже полурастворённых желудочным соком, и — ещё целых.

— Что с Тобой? — кинулся я к Тебе и начал трясти за плечо.

Ты была без чувств, совершенно на меня не реагируя, однако при этом содрогаясь всем телом в спазмах и громко икая, а из Тебя продолжала течь рвота вместе с таблетками. Сколько их было! Мне стало жутко: казалось, Ты умираешь.

На трельяже рядом с постелью стояла большая железная коробка из-под чая, в которой мы хранили лекарства, совершенно теперь пустая; рядом — кружка с водой, а пол вокруг усеян пустыми упаковками… Кружкой придавлен исписанный лист бумаги. Я схватил его и впился в него глазами; в глазах плыли торопливо нацарапанные карандашом строчки: «Прости меня! Я причинила тебе много зла и хочу умереть. Не суди меня строго! Я тебя очень, очень люблю!»

Я кинулся к телефону и вызвал скорую помощь, наскоро объяснив ситуацию и умоляя приехать быстрей, а до её приезда, преодолевая собственный рвотный спазм, унёс и швырнул в ванну испачканный рвотой коврик, принёс и поставил на месте коврика таз и вытер тряпкой остатки рвоты на полу.

И только я успел это сделать, примчалась скорая; врач, молодой здоровяк, быстро расспросил меня об обстоятельствах, рассмотрел пустые лекарственные упаковки, велел принести большой чайник воды из-под крана, затем заставил меня усадить Тебя и крепко держать, так как тело Твоё беспомощно валилось, будто тряпичное, в то время как сам он, разжимая своими сильными пальцами Твой рот, начал вливать в него из чайника воду. А потом эта вода хлестала из Твоего рта фонтаном, и — не только в таз, но и на пол, и на постель, и на меня: всё кругом было мокро, и вместе с водой Ты продолжала изрыгать из себя полурастворённые таблетки… Сколько же их было!

Наконец, когда из Тебя пошла чистая вода, врач сказал:

— Кажется, хватит. Кладите.

Я уложил Тебя на спину; теперь Ты лежала совершенно неподвижно, с белым помертвевшим лицом, и, как мне казалось, не дышала. Врач сел рядом, измерил пульс и давление. Затем сделал в предплечье укол и встал.

— А теперь пускай отоспится, — сказал он.

— Она не умрёт? — спросил я, тревожно вглядываясь в Твоё лицо.

— Нет! — уверенно ответил тот. — Она здоровей нас с вами: давление — в норме, дыхание — ровное; пульс, правда, немного частит — явно перебрала винца. А таблетки, что наглоталась, не смертельны. Да и не успели раствориться. А у нас, простите, вызовов сегодня полно.

Я поблагодарил его и проводил до двери. Потом втащил в спальню кресло, поставил возле кровати и продремал в нём всю ночь при свете ночника, время от времени приходя в себя, чтобы проверить Твой пульс и потрогать лоб. Но под утро сон меня сморил.

Очнулся я оттого, что Ты смотрела на меня, продолжая недвижно лежать в постели, уже при дневном свете, сером сквозь светлые шторы, и,

казалось, мучительно силилась вспомнить, что тут произошло.
— Доброе утро! — сказал я Тебе, по возможности приветливо улыбаясь. — Как себя чувствуешь?
— Ужасно! — едва слышно простонала Ты. — Кажется, я натворила вчера много глупостей? Прости меня!
— Да уж, свой юбилей Ты отметила с размахом, — усмехнулся я. — Помнишь, как врач с Тобой возился?
— Врач? — удивилась Ты и сосредоточенно наморщила лицо; потом вдруг закрыла лицо ладонями и захныкала: — Да, помню, помню сквозь сон! Стыдно — не могу! Что я творю! Это невыносимо!
— Успокойся, — как можно терпеливее сказал я, пересел на кровать и стал гладить Твои волосы. — Конечно, Тебя бы следовало выпороть. Но как-нибудь, думаю, перетопчемся?
— Милый! — Ты схватила мою руку, прижала к лицу и стала целовать, поливая слезами. — Прости меня! Какая я глупая, какая тряпка! Прости, только не бросай! Вот увидишь, я могу быть сильной, я буду сильной и никогда больше не доставлю тебе огорчений!
— Вот и договорились, — сказал я, покорно отдав свою руку поцелуям, а другой продолжая гладить Твои волосы. — Только знаешь, что я подумал, горькая моя радость? По-моему, мы с Тобой просто устали. Давай-ка возьмём как можно скорее отпуск да махнём с Павловскими на озёра!

13.

Ты была права в одном: надо срочно сменить обстановку, хотя бы ненадолго, — сбить напряжение, выросшее между нами и не снимаемое ничем, кроме времени и новых впечатлений. А что лучше, чем поехать туда, где нам всегда было хорошо — на дальние озёра?

И мы решили немедленно туда уехать.

Почему именно на озёра, а не на какое-нибудь Чёрное море? Да потому что мы, вместе с друзьями, презирали комфортный отдых с бесконечными едой, питьём и лежанием: только — жизнь среди природы, где надо ежедневно вставать спозаранку, разжигать костёр, готовить пищу, добывать дрова и даже пропитание — свежие грибы и рыбу, где постоянно зависишь от капризов природы — от солнца, дождя, тумана, холода, — и бываешь вознаграждён за это тишиной, природными запахами, восходами, закатами, звёздами, и, чтобы выжить там, надо быть дружней и внимательней друг к другу…

Мы, видно, так рвались туда, что оформили свои отпуска за два дня, тем более что договорённости на работе у нас уже были: просто мы собирались ехать позже, большой компанией и на нескольких машинах, и сговаривались взять отпуска все одновременно. Но ждать остальных уже не было сил, и мы, как только оформили отпуск, тотчас же и помчались, и приехали на нашу старую стоянку первыми. Так что хлопот — обустроить её — было полно, и с неделю жили там вдвоём. А уж остальные подтягивались на готовенькое…

И эта неделя там как-то всё между нами определила.

Я давно уже усвоил первое правило всяких отношений: один-единственный обман разрушает их навсегда, потому что душа, этот самый чуткий сейсмограф на свете, ловит малейшие отклонения, так что если даже ты не понял, что именно случилось, — всё равно будешь ломать над этим голову, анализировать и терзаться, и пока ты этим занят, подозрительность твоя нарисует тебе картину во сто крат страшнее реальной, и процесс этих терзаний навечно оставит в памяти рубец. Тогда нужно, чтобы рубец этот хотя бы поскорее зажил. Именно за этим мы сюда и ехали.

Примечательно, что всё время нашей уединённой робинзонады погода стояла дождливая; однако желания сбежать оттуда у нас не было. Приходилось много сушиться у костра, без конца заготавливать дрова и поддерживать огонь в примитивном очаге. Этим удобней всего заниматься вдвоём, причём Ты, когда нужно, всегда оказывалась рядом.

Мы заново всматривались друг в друга, осторожно, на ощупь учась искренности и доверию… Это ведь ужас как трудно — быть искренним: всё время сбиваешься на привычные фразы; но если раньше мы бездумно оперировали ими, то теперь от них несло несусветной фальшью; надо было уходить от фальши и искать новые, искренние слова. А ведь, кроме слов, есть ещё сфера молчаливых знаков — без них нет доверительного общения; надо было найти и их тоже, условиться о них, нагрузить смыслом… Удивительно! — но за неделю мы сумели вернуть и обрести всё это. И не знаю, кто из нас больше над этим трудился. Мне кажется, Ты.

А что же я?.. Я не был так скор на руку и уже не мог быть весь с Тобой: одна половина меня искренне стремилась навстречу Тебе и активно поддерживала Твои усилия вернуть доверие, а вторая… вторая наблюдала за происходящим и всё-всё подмечала, на всякий случай ожидая подвохов и готовясь к ним… Ты, конечно, чувствовала, что вторая моя половина пока что Тебе недоступна, и терпеливо с этим мирилась, надеясь со временем приручить и её тоже.

Ты не хотела меня отпускать от себя, даже когда мне надо было съездить за шесть километров в деревню — купить свежего хлеба и овощей, — и или уверяла меня, что обойдёмся без них, или просила взять Тебя с собой. Побеждал разумный довод: нельзя бросать лагерь! — и когда я возвращался через час или два, Ты встречала меня, как после долгой-долгой разлуки.

А через неделю нагрянула остальная часть нашей компании и привезла с собой прекрасную погоду с жарким солнцем, и наша с Тобой частная жизнь естественно влилась в общее русло, закрутилась и растворилась во всеобщем отпускном гвалте с волейболом, бадминтоном, рыбалкой, подводной охотой, дневными и ночными купаниями, вечерними бдениями у костра с бесконечными разговорами, гитарой, песнями и винцом.

И тень человека, вставшего между нами с Тобой, рассеялась наконец: где же было этому человеку, так нелепо ворвавшемуся в нашу жизнь, выдержать

конкуренцию с нашими тесно сцепленными отношениями, нашими общими вкусами и привычками? Мы радовались нашей победе над ним и открыто смотрели в глаза друг другу… А когда вернулись в город, хмель отпускной жизни ещё целую неделю бродил в наших телах и наших головах.

Однако всякий отпуск имеет свойство однажды кончаться. Закончился он и у нас, и мы вышли на работу…

Но с той поры я стал внимательней следить за нашей общей жизнью, анализировать её и осмысливать в ней себя самого (раньше я этого сознательно избегал, считая эгоизмом и началом всякого разъединения), и размышления эти приводили меня к неутешительным выводам…

Да, мы с Тобой долго жили, ни о чём не думая и ничего вокруг не замечая. А вокруг тем временем происходило многое: шаталось и трансформировалось государство, менялся социум, ожесточались люди… Но нам-то что было до этого за дело?— мы с Тобой, уединившись от всех, плыли по реке времени в своей семейной лодочке; на ней у нас было своё маленькое государство: республика, устроенная по законам любви и счастья… Правда, иногда мы спохватывались и пытались *войти* в реальность. «Милый (или «милая»),—говорили мы друг другу,—ты витаешь в облаках: посмотри, что кругом делается!..»—но тут же об этом и забывали—что нам было до пресловутой «реальности»? Плевали мы на неё!..

Конечно, необходимость заставляла нас выходить за границы нашего маленького государства—ездить на работу, в командировки, в отпуск,—но с какой радостью мы возвращались в свой плавучий дом, в свою лодочку!..

Чтобы государство процветало, нужны граждане, неутомимо работающие на его благо; чем больше в нём равнодушных обывателей—тем неутомимей приходится быть активным гражданам, и чем меньше государство—тем неутомимей… Анализируя шаг за шагом нашу с Тобой жизнь в последние годы, я вдруг понял, что становлюсь этим самым обывателем: всё меньше исполняю гражданских и мужских своих обязанностей в нашем с Тобой маленьком государстве и слишком привыкаю к комфорту и покою… Да, я знал, что Тебе нравится жить по восходящей, что Ты зовёшь меня куда-то смутными порывами и ждёшь от меня чего-то неожиданного,—а мне стало хватать того, что есть: я обленился!.. Ты ни в чём меня не упрекала; мы просто избегали говорить об этом… Но именно теперь, анализируя все наши стычки, ссоры и недоразумения, я, кажется, начинал понимать, что Тебя раздражает разница наших ожиданий…

А Ты заметила, как изменились наши *акты*?.. Куда делись эти лучистые взгляды, эти переливы любовной энергии из глаз в глаза, эта чуткость нервов, возгласы, улыбки, дрожь, обжигающие прикосновения? Вместо этого—заученный, механический какой-то, торопливый, словно ужин нищих, секс—с единственным желанием: взять и поскорее вычерпать из него всё, что можно… И Ты же потом начинала злиться—будто мстила в своей гордыне за свою зависимость от меня, за то, что получаешь в этой зависимости удовлетворение…

Не всегда это происходило—но пробивалось: хоть и робко, но всё же заметно. Усталость ли от жизни сказывалась—или привычка друг к другу? Изменения ли это в характерах—или тривиальная разница в возрасте?..

Надо было что-то делать… А что я мог? Я, видно, исчерпал свои творческие лимиты в отношениях— и предложил Тебе банальнейший выход, каким пользуются в таких ситуациях миллионы.

—Знаешь что? Всю местную географию и географию Чёрного моря мы с Тобой уже изучили,—сказал я.—Давай-ка подкопим деньжат—да махнём на следующий год в отпуск в Европу? По-моему, пришла пора основательно освоить и её тоже?..

И, кажется, Ты мой проект приняла благосклонно: мы несколько раз доставали наш географический атлас, раскрывали его на страницах с картами Греции, Италии, Испании, делились невеликими познаниями об этих странах и пытались определиться поконкретнее с будущими нашими маршрутами.

И ещё я внимательно следил за Твоим душевным состоянием, когда Ты приходила с работы: справляешься ли со словом, которое дала мне после *залёта*?—сомнения мучили меня, и я никак не мог от них избавиться.

Мы ни разу об этом не обмолвились, однако Ты понимала моё состояние и делала всё, чтобы развеять сомнения,—спокойным тоном голоса, доверчивым взглядом Ты давала мне понять: перестань терзаться, всё хорошо, всё нормально, я—Твоя!—и если я не кидался, как прежде, обнять Тебя и расцеловать после работы—сама норовила взять меня за руку или хотя бы коснуться её, старалась рассмешить припасённым маленьким рассказом или напрашивалась на похвалу, хвастаясь тем, что Тебе удалось сделать за день. И добивалась своего: я снова начинал Тебе доверять.

Месяца два спустя, поздней осенью, Ты вместе с лабораторной группой поехала в командировку в один из городишек нашей обширной области. Обычная трёхдневная командировка… Как мне не хотелось Тебя отпускать!

—Неужели, кроме Тебя, некому ехать?—ворчал я.—Будь моя воля, я бы запретил замужним женщинам командировки—не женское это дело!

—Не расстраивайся, я буду вести себя примерно,—успокаивала Ты меня.—Давай буду каждый вечер звонить тебе и докладывать, что делаю,—договорились?..

И я, хоть и с тяжёлым чувством, но отпустил Тебя, рассуждая так: что ж я буду вечно караулить Тебя, как скупец—золото? Надо, наверное, когда-то и испытать наши отношения на прочность расстоянием?..

И Ты мне в самом деле звонила каждый вечер; а через три дня я встретил Тебя, тревожно вглядываясь в Твои глаза: моя Ты—или нет?—и Ты, чтобы развеять мои сомнения, подробно рассказала мне

ещё раз, чем вы занимались,—даже находя забавные стороны вашей жизни там.

И всё же совсем меня успокоить Тебе не удалось: не было того бескомпромиссного напора преодолеть мои сомнения, и глаза Твои смотрели не с исчерпывающей прямотой… Что ж, успокаивал я себя, за три дня мы опять отдалились… Или я слишком наседаю со своим недоверием? Ничего, пройдёт время—и опять притрёмся…

Но время шло, а *притёртость* не наступала. Мало того, дня через три Ты вернулась домой в девять вечера и на мой вопрос, где была, скороговоркой объяснила: работала на предприятии, а потом обсуждали с главным инженером результаты работы… Скрепя сердце, я поверил.

Дня через четыре опять припозднилась; от Тебя при этом попахивало винцом. На этот раз Ты объяснила, что вы в лаборатории отмечали очередной день рождения; если не верю—могу хоть сейчас позвонить кому-нибудь из ваших сотрудниц домой и спросить… Объяснение тоже было правдоподобным, и если бы я позвонил, то оно бы, наверное, подтвердилось; неубедительным был только сам тон Твоих объяснений: в нём теперь сквозило явное раздражение моим недоверием и Твоей необходимостью передо мной отчитываться. И глаза у Тебя при этом—холодно-усталые… Ты будто проверяла мои нервы на прочность—или провоцировала на ссору?

И я вдруг понял: то, чего я боялся,—случилось; просто я изо всех сил оттягивал это открытие; но когда-то же его надо было принимать?.. Неправы те, кто уверяет, что мужья узнают об изменах жён последними; они узнают об этом вовремя—просто у них, пока открытие ещё не стало всеобщим достоянием, есть время подумать: как быть и что делать?..

Я вдруг растерялся—это был тупик; всё рушилось и становилось ненужным: друзья, работа, квартира с набитым в ней добром, машина… Зачем всё это? Кому это теперь нужно? Потрачено столько любовной энергии, объятий, слов—зачем? Какая бессмыслица!.. Вспомнилась Ирина: теперь, спустя уйму лет, я вдруг понял всё её недоумение, когда поставил её перед таким же выводом… А пока надо было судорожно соображать, что делать,—казалось, наступает конец света: сейчас разверзнется земля, потухнет солнце, и мы все погибнем…

По крайней мере, я понял, что ругаться с Тобой бесполезно… Я замкнулся, надеясь, что пройдёт какое-то время—месяц, два,—Ты устыдишься своей слабости, своего ослепления, и Твоё благоразумие возьмёт верх. Так что всё пока зависело от Тебя, и я, уязвлённый и растерянный, стал ждать.

А Ты продолжала регулярно, через каждые три-четыре дня, приходить поздно. Формально мы общались, обходясь минимумом слов; но в основном—молчали: молча ужинали, затем расходились по комнатам; молча утром завтракали, уходили на работу. Мне было тяжко это выносить. Но Тебя, похоже, такая ситуация вполне устраивала.

Однако хуже всех приходилось Алёне: она чувствовала, что приближается катастрофа, и металась меж нами, пытаясь её предотвратить. Вечерами за общим ужином, когда мы с Тобой молчали, она, изо всех сил сдерживая себя, чтобы не взорваться в этой атмосфере молчания, пыталась втянуть нас с Тобой в общий разговор… А когда Ты задерживалась вечером «на работе», она, не находя себе места, упрекала меня:

— Почему ты позволяешь маме так поздно приходить?

— А что мне делать? Я не могу ей приказывать,—отвечал я.

— Ты должен её отругать!—решительно советовала она.

— Ругал, не помогает.

Тогда она брала дело в свои руки—накидывалась на Тебя, когда Ты приходила, с упрёками:

— Мама, ты почему опять так поздно?

— Доченька, у меня много работы,—спокойно отвечала ей Ты.

— И долго у тебя будет много работы? Может, уже пора всю её сделать?

— Знаешь что, дорогая?—раздражалась Ты тогда, повышая голос и, наверное, подозревая, что я подучиваю её сердиться на Тебя.—Это моё дело, когда мне приходить, так что не суй нос не в свой вопрос!.. Ты, между прочим, уже почти взрослая—можешь и без меня побыть!..

Но вечной эта ситуация быть не могла—она должна была чем-то когда-то разрешиться, и разрешить её помогла не кто иная, как Станислава. Видно, им с Борисом не хотелось терять нас обоих; причём—странно!—Станислава оказалась на моей стороне: однажды, во время Твоей вечерней отлучки, она позвонила мне и возмущённо сказала:

— Послушай, Володя! Я… мы с Борисом должны, наконец, сказать… Ты что, не в курсе, что Надежда тебе изменяет?

Я промычал что-то неопределённое.

— Я понимаю,—продолжала она,—мужья узнают об этом последними, но, наверное, это всё же в твоих руках—прекратить безобразие? Ведь они едва не каждый день уходят, держась, как юные влюблённые, за ручки, садятся в машину и уезжают! Я понимаю: сердцу не прикажешь,—но почему это надо демонстрировать всему свету?

— Хорошо,—смиренно пообещал я.—Что-нибудь предприму…—и опять ни словом не выразил Тебе упрёка—чтобы, по крайней мере, освободить Тебя от вранья,—когда Ты в тот вечер вернулась поздно.

Но в ближайшую же пятницу—сердце подсказало, что опять в этот день задержишься,—решил проверить Станиславино сообщение; чтобы начать что-то делать, нужен был железный довод, и я пошёл его добывать: за двадцать минут до окончания рабочего дня подъехал к университету, оставил машину подальше от парадного входа, поднялся на ступеньки и стал прогуливаться меж колоннами портика, чтобы именно здесь, не прячась, встретить Тебя вместе с избранником и на месте всё решить. А заодно—взглянуть в Твои глаза, когда Тебя уличу.

Я ждал вас к шести или к началу седьмого. Но ведь вам не терпелось!—вы выскочили без четверти шесть и—настолько стремительно, проскочив

всего в четырех-пяти метрах от меня, продолжая на ходу одеваться, сбегая затем по ступенькам вниз, смеясь и о чём-то щебеча — так школьники сбегают с уроков, — что я от неожиданности остался стоять как вкопанный. Но, по крайней мере, успел рассмотреть молодого человека. Он оказался никаким — тщедушным и невзрачным, — я даже усмехнуться не преминул, вспомнив Овидия: да-а, жестокий, проказливый Эрот бьёт беспощадно!.. Единственным достоинством молодого человека была молодость. Но Ты-то — Ты будто светилась вся, глядя на него и ничего вокруг не видя — даже меня, стоявшего между колоннами совершенно открыто, не прячась. Как давно я не видел Тебя такой счастливой!

Между тем вы сбежали вниз, пересекли тротуар, выскочили на проезжую часть, запруженную в этот час машинами, и начали нетерпеливо *голосовать*; одна из машин притормозила; вы впрыгнули в неё и умчались.

Первым моим желанием было немедленно бежать к машине и преследовать вас: во что бы то ни стало помешать вашему счастью, драться, бить этого сукиного сына без пощады, отнять Тебя, лживую, подлую, вероломную!.. — я даже сбежал следом вниз… и остановился. Зачем, куда бежать?.. Постоял, глядя вам вслед. Прошёл к машине, сел в неё… В глазах всё ещё стояло Твоё сияющее лицо. Представил себе, как Ты, после этого упоения счастьем, приходишь домой — а Тебя встречает дома мрак… Но что же я — или хотя бы Алёна — можем противопоставить этому счастью?..

Самым ужасным было представить себе, как *он* лапает Тебя, раздевает… кружилась от боли в висках голова; надо было заглушить эту боль, заставить себя не думать об этом… Продолжал ли я Тебя любить? Да, может, именно такую — весёлую, стремительную и безумную от счастья — и любил?.. Но что же теперь делать-то? Что же делать?

Ты тогда опять пришла домой в девять вечера.
— Где Ты задержалась сегодня? — внешне спокойно, однако с огромным внутренним напряжением спросил я: что-то Ты солжёшь на этот раз?
— Была на предприятии, — твёрдо и спокойно ответила Ты.
— Врёшь! — не выдержав, крикнул я. — Мне позвонили: вас обоих видели выходящими с работы без четверти шесть!
— Да, мы вышли без четверти шесть, потому что позвонил главный инженер, попросил срочно приехать на совещание, где рассматривались наши рекомендации, — не дрогнув, так же твёрдо и спокойно ответила Ты.
— Дело в том, — устало сказал я, — что никто мне не звонил. Я стоял на крыльце, когда вы промчались мимо, — вы опахнули меня ветром и при этом ржали, как лошади. Ты даже не заметила меня!
— Ах, ты уже шпионишь за мной? Н-ну, хорошо! — сказала Ты с угрозой в голосе, сверкая глазами, которые теперь смотрели на меня неприязненно. — И всё-таки я говорю правду, — повторила Ты, — мы поехали на предприятие!

Моя уверенность дрогнула перед Твоей твёрдостью.
— Может быть, и на предприятие, — сказал я. — Но ваши счастливые лица, когда вы смотрели друг на друга, я видел сам!
— Чего ты от меня хочешь? Чтобы я призналась? — сердито, с новым запалом отозвалась Ты. — Так я тебе отвечу: да, я в него по-прежнему влюблена, потому что он молодой, красивый, талантливый! Но я с ним не сплю — я же тебе обещала! Я не хочу быть шлюхой! Тебе достаточно?..

И когда Ты выкрикивала «молодой, красивый, талантливый», то будто вбивала в меня гвозди — мне слышалось продолжение фразы: «а ты — немолодой, некрасивый и неталантливый!..» Что мне было делать? Смириться, пережить, вытерпеть Твой безумный фейерверк влюблённости? Ведь этот фейерверк и меня когда-то опалил и позвал из спокойной жизни на праздник… Но сейчас мне не хватало терпения — я был заложником свободы: когда-то я сам её провозгласил и не раз напоминал о ней Тебе; напомнил и сейчас:
— Ты забыла, как мы договаривались быть свободными в отношениях? Наверное, пришло время исполнять договор?
— Тебе нужна свобода? — дерзко рассмеялась Ты. — Так забери её себе — мне она не нужна! Скажи: когда? — и я готова!

Тебе, видно, стало легко и весело оттого, что я освобождал Тебя от необходимости врать и изворачиваться.
— Хорошо, — сказал я. Мне захотелось сбить с Тебя весёлость. — Только имей в виду: с Твоим характером Ты можешь далеко уйти и плохо кончить!
— Ха-ха-ха! — покатилась Ты со смеху. — Ты знаешь, первый муж тоже меня этим пугал — только я ведь тогда не испугалась!
— Ну, раз Ты уже поставила мне порядковый номер, — произнёс я непроницаемым тоном, — значит, в самом деле пора в загс…

В бюро загса существует дурацкое правило: супругам, желающим получить развод, надо явиться туда вместе. А если не хочется вместе?..

Вот и нам с Тобой не хотелось ехать туда вместе; мы просто условились о встрече там — благо, дорожка туда нам была памятна, — встретились, накатали заявления, договорившись указать причиной развода стандартную формулу: «не сошлись характерами», — тут же усмехнувшись над этой нелепостью — ведь любой дурак вправе нас спросить: «Как же вы, с несхожими-то характерами, столько лет жили вместе?..» А потом я довёз Тебя до работы. Ехали молча; говорить было не о чем. Когда я остановил машину, чтобы высадить Тебя, — Ты, открыв дверцу, сказала:
— Ну что, пока? До вечера?
— Нет, я сейчас поеду домой, соберусь и — в деревню. Что-то, знаешь, потянуло опять побыть одному, на чистом воздухе, — я уж не стал добавлять, как мне трудно теперь быть с Тобой под одной кровлей, в одной квартире.
— Прости меня, — сказала Ты неожиданно проникновенно.

— Прощай,— сказал я, так и не поняв, за что я должен был Тебя простить: за измену? за этот поход в загс?..

Ты вышла из машины и, не оглядываясь, двинулась к входу своим умопомрачительно лёгким шагом, покачивая всё ещё гибкое своё тело, торопясь, наверное, обрадовать ненаглядного своей предстоящей свободой. А я смотрел Тебе вслед и глотал ком в горле: рвалась нить, рвалась жизнь — удаляется, смешивается с толпой, уходит родной, самый близкий мне человек; всё в нём попрежнему трогательно, дорого и любимо — до ноготков на руках и ногах, до родинок на теле, до каждого участка Твоей гладкой светлой тёплой кожи… Ты уносила с собой всё-всё-всё: грудь, которую я так любил целовать, лицо, в которое смотрелся как в зеркало, лоб, который Ты так сурово и смешно морщишь, когда думаешь, со всеми его морщинками, над которыми столько хлопочешь, Твои прихотливо очерченные губы, в которые впивался бессчётно, глаза, в которых столько тонул… Хотелось окликнуть Тебя, остановить, вернуть! — а разумом понимал: против Твоей безумной влюблённости мой крик бессилен — так же, как когда-то никто не в силах был Тебя остановить, когда Ты, рвя прежние привязанности, летела ко мне на лёгких крыльях… Было тоскливо, тяжко: никто никогда не повторит, не сможет повторить тех слов, что мы сказали друг другу; никогда и ни с кем мы с Тобой больше не будем такими искренними, добрыми, нежными,— как Ты этого не понимаешь, глупое Ты, торопливое, бестолковое существо? Больше никогда у Тебя это не повторится — такое не может повторяться! Всё будет новым, другим — но скучнее, тусклее, хуже!..

От Твоей недосягаемости и своей опустошённости душа у меня тихо скулила; успокаивая себя, я повторял вслух:

— Не получилось. Торопись, лети, возвращайся в свою жизнь — свободна!..

14.

Теперь-то я понимаю: я сам малодушно сбегал от Тебя, когда решил сию же минуту ехать в деревню…

Однако существовал человек, перед которым мне было совестно за бегство: Алёна. Для неё я был главарём нашей маленькой стаи: знаю, рядом со мной она чувствовала себя в безопасности; она доверяла мне даже больше, чем Тебе, и в наших с Тобой размолвках почти всегда брала мою сторону. Может, то было лишь из чувства самосохранения, потому что со мной — надёжней?.. Во всяком случае, наши с Тобой ссоры она переживала больнее нас самих — и мне так не хотелось встречаться сейчас с её укоряющим взглядом и объясняться с ней! Напишу, решил для себя, записку, всё в записке ей объясню и попрошу у неё прощения.

Однако Алёна была дома; чем-то занятая, она из своей комнаты громко и даже весело поприветствовала меня через дверь, но, слыша, как я суечусь, заподозрила что-то и вышла посмотреть: чем это я занят?

Между прочим, взрослея, она стала рассудительной: наверное, судьба компенсировала ей нашу с Тобой безрассудность, потому что кому-то же из нас троих полагалось быть рассудительным, и она поняла, что эта участь выпала ей? Иногда она сурово отчитывала нас за наши ссоры, за неумелую трату денег, за лень, которой мы начинали вдруг предаваться самым бессовестным образом… В этой её суровости была своего рода игра, которую мы позволяли ей вести и забавлялись этим: «Вот это мы получили с Тобой взбучку!..» Но сейчас наши с Тобой отношения оказались вне игры, и я честно выпалил Алёне, как только она вышла из своей комнаты:

— Мы с мамой только что подали заявление о разводе.

— Почему? — недоумённо распахнула она глаза; видно, известие настолько её поразило, что она не в состоянии была сразу его осмыслить.

— Потому что мама любит другого,— ответил я.

— И что теперь? — спросила она обескураженно.

— Я уеду в деревню…

Надо сказать, что телесно Алёна выдалась не в Тебя, обещая стать пышнотелой девушкой с крупными формами, которые только-только ещё намечались; при этом лицо её, ещё ангельски чистое, с нежнейшим румянцем на щеках, было трогательно схоже с Твоим — именно таким оно должно было быть у Тебя в Твои восемнадцать… И вот на этом лице начало медленно проступать страдание.

— Ты что, бросаешь нас? — печально спросила она.

— Алёна, но что же мне делать? Я мама и её любимый — мы не можем жить все вместе! — стал я отчаянно перед ней оправдываться.

— Он что, придёт сюда, вместо тебя?

— Не знаю,— пожал я плечами.

Алёнин лоб мучительно нахмурился, осмысливая ситуацию.

— Я считаю, что ты просто сбегаешь от нас! — выпалила она, смерив меня гневным взглядом.— Неужели ты не можешь объяснить маме, что она неправа? Она бы тебя послушала — она тебя любит! У меня не укладывается в голове: как мы теперь будем жить?

— Алёна, милая, но мне-то что делать?

— А мне что делать? Отец, мама, ты — все, все меня бросаете! Куда мне деваться? — уже в истерике кричала она; на глазах у неё выступили слёзы.

— Но ты же останешься с мамой! — продолжал я оправдываться.— Она тебя в обиду не даст. Может, всё уладится, и мы снова будем вместе?.. Поверь: мне не меньше твоего тяжело, но я не могу — мне надо уехать!

— Бросаешь, значит! — презрительно фыркнула она, разрыдалась и бросилась в свою комнату.

Я не мог оставить её, не успокоив,— постоял в раздумье и вошёл в её комнату. Она лежала на постели лицом вниз, уткнувшись лицом в подушку и вздрагивая от беззвучных рыданий: вздрагивало её тело, одетое в пёстрый ситцевый халатик без рукавов, вздрагивал затылок, вздрагивал не закрытый волосами участок тонкой, такой детской молочно-белой шеи с завитком светлых волос за розовым ухом. Меня пронизало чувство острой жалости к ней, такой беззащитной и бесконечно одинокой; хотелось обхватить её ещё неокрепшее

девичье тело ладонями, крепко прижать к себе, как малого ребёнка, гладить её волосы, говорить что-нибудь весёлое, ободряющее, обещать сделать всё для того, чтобы она не страдала и не плакала, и я уже занёс было руку, но вспомнил о Тебе и подумал: «Ну почему, почему опять—я? Почему никто больше не хочет думать о близких?..» И всё же я осторожно сел на край постели, положил ладонь на её вздрагивающее плечо и тихо, стараясь её успокоить, извиняющимся голосом сказал:

—Ну что делать, Алёна, если взрослые люди не умеют жить в согласии? Понимаю, как тяжело, когда всё рушится. Но надо как-то учиться терпеть; ты уже вон какая большая. Счастья на все времена, видно, не бывает, и всё всегда смешано с горечью, с утратами. Потерпи, милая; всё ведь ещё не окончательно—просто нам с мамой надо хорошенько подумать о будущем: может, со временем как-то утрясётся?.. Прощай. И помни обо всём хорошем—у нас столько было хорошего!..

Она не отзывалась, хотя её вздрагивания стали реже. Я чувствовал, что сам сейчас не выдержу—так засвербело в горле,—а потому встал, быстро вышел, взял чемодан и спустился на улицу, к машине.

И вот опять, как двенадцать лет назад, один в деревне; круг замкнулся. Опять мне некуда деться, опять я вытеснен в свою берлогу… Но как были непохожи те, прежние мои одиночества на это! Тогда у меня было ясное предчувствие, что меня ещё многое ждёт, что я на пороге какой-то новой, неведомой жизни,—а теперь знал: ничего уже не будет, всё, конец—меня будто выпотрошили; тело стало пустым и безвольным. Я и не подозревал, что за эти двенадцать лет выложу столько сил и разрыв с Тобой будет таким болезненным! Если б знал тогда—интересно, решился бы я на этот путь?..

Я продолжал жить автоматически: утром уезжал в город, в институт, потом возвращался, наскоро готовил обед, обедал. Но если в прежних моих одиночествах готовка обеда и сам обед были временем интенсивной работы мысли, то теперь ничего не хотелось: ни думать, ни есть… Я заставлял себя хотя бы есть, чтоб не растерять остатки сил и не выбиться из жизненного ритма… Потом садился готовиться к завтрашним занятиям и работал до ночи, причём всё это—на автопилоте. А когда, ложась спать, брал в постель книгу или журнал—то не мог прочесть и страницы: с любой строчки меня тотчас уносило к Тебе, и я уже не мог от Тебя отделаться—разговаривал с Тобой мысленно, спорил, раздражался от невозможности прогнать Тебя из своих фантазий… А заснув, подскакивал среди ночи от Твоего явственного голоса в тишине, зовущего меня: «Во-ва!»

Чтобы вытеснить мысли о Тебе, я начинал решать теоретические задачки: может ли, например, так совпасть, чтоб мужчина и женщина одновременно и с одинаковой силой любили друг друга?—и, подумав, отвечал себе: может—но, по теории вероятности, явление это должно быть событием исключительно редким. Стало быть, мы с Тобой—счастливчики?.. А может ли любовь быть вечной?—продолжал я развивать задачку дальше и отвечал себе: по мнению авторитетных источников—редко, но тоже бывает… Но уж никак она, эта любовь, не может закончиться для обоих одновременно!—продолжал я мысль дальше. Разве может быть столько совпадений сразу, хотя бы по теории вероятности? Где-то эти совпадения должны кончиться, и, стало быть, кому-то из двоих неизбежно приходится страдать… Но не благо ли это страдание, если только оно—не страдание уязвлённой гордыни или потерянного покоя?.. Так что, говорил я, обращаясь сам к себе, если только ты её в самом деле любишь—благодари судьбу, что не ты, а она вышла из игры первой и все терзания достались тебе!..

А когда, измученный этими мысленными построениями, засыпал—мне снилась Ты. Сны были такими яркими, что наутро казалось, будто я виделся с Тобой вживую… Многие помнятся и поныне; вот один из них.

Будто бы в помещении работают за столами люди, и я с ними, и тут входишь Ты: светлые, ветром растрёпанные волосы, лицо со строгим взглядом, открытые по локоть руки в золотом загаре, лёгкое золотистое платье, а на ногах—туфельки на тончайших каблуках, и Ты не идёшь вовсе, а, явно демонстрируя себя мне и покачиваясь, плывёшь себе этакой манекенщицей («Смотри: нога—от бедра!»—комментировала Ты когда-то свой шаг), а я неотрывно слежу за Тобой глазами и спрашиваю: «Где Ты взяла это платье?»—и Ты, снисходительно улыбнувшись, оттого что вызвала моё восхищение, бросаешь через плечо: «Взяла померить!»—«Я хочу купить Тебе такое же!»—кричу вслед; тогда Ты мгновенно подлетаешь ко мне, шепчешь нетерпеливо и горячо: «Нет, милый, ты мне знаешь какое купи?»—и, щекоча моё лицо волосами,—каждая мелочь в этом сне отчётлива!—наклоняешься и прямо на деловой бумаге упоённо рисуешь дамский силуэт, необыкновенно похожий на Твой собственный, с какими-то фантастическими деталями платья: с буфами, вырезами, складками. Но моё внимание больше занимает не рисунок, а Твоя шея прямо перед моими глазами, так что я незаметно от всех впиваюсь в неё поцелуем; Ты косишься на меня строго-удивлённо, и Твоё удивление сменяется доверчивой улыбкой; Ты прижимаешь палец к губам, шепчешь: «Тихо!—и, уже забыв про рисунок, распрямляешься, достаёшь из кармашка конфету в золотистой обёртке и протягиваешь мне:—Попробуй—меня угостили!» Я беру её, разворачиваю—а там крохотный флакончик с пробочкой. Я не знаю, что с ним делать; Ты берёшь у меня флакончик, выдёргиваешь пробочку, высыпаешь себе на ладонь несколько золотых шариков

и протягиваешь мне: «Попробуй!» Я беру один, кладу в рот, ощущаю необыкновенный вкус, и одновременно—удивительное тепло душевной близости с Тобой, и вижу, как Ты тоже кладёшь шарик в рот, закатываешь глаза и, изнемогая от блаженства, мотаешь головой…

Я просыпаюсь, ещё весь пронизанный этими теплом и блаженством, оказываюсь в пустоте и одиночестве, и нервы мои не выдерживают: две мучительные, нестерпимо горячие, как кипяток, слезы текут из глаз и прожигают мне щёки. Возмущённый своей слабостью, сжав зубы, я мысленно обращаюсь к Тебе: «Н-ну з-зачем Ты так?» Но—никакого ответа…

Накануне дня, назначенного в бюро загса для нашего развода, звоню Тебе и напоминаю о завтрашнем дне:

— Готова завтра к процедуре?

Но Тебе, как и мне, не хочется туда—на эту процедуру.

— Сходи один,—отвечаешь Ты сухо.—Я завтра занята.

Объясняю Тебе, что если хочешь развода—надо идти вместе, иначе заявления придётся подавать заново.

— Хорошо, приду,—неприязненно говоришь Ты и приходишь ровно за минуту до начала процедуры, суровая и решительная, в совершенно новом для меня обличье: коричневый деловой костюм; вместо волос, будто навсегда растрёпанных ветром, гладкая причёска; и—ледяное отсвечивание тонированных очков, наглухо закрывших живой блеск Твоих глаз,—так что я оторопел: неужели эта твёрдая, решительная женщина писала мне когда-то лыжными палками на снегу, помадой на стёклах: «Я тебя очень, очень люблю!»—и шептала в горячечном от страсти бреду: «Делай со мной всё, что хочешь!»?..

Процедура развода—пока при нас прозаически выписывали документы и заставляли расписаться в получении—длилась минут двадцать, так что мы вышли оттуда уже каждый со своим свидетельством.

— Может, зайдём в кафе, отметим событие хотя бы чашкой кофе?—спросил я на крыльце—так хотелось оттянуть минуту окончательного расставания!

— Извини, я тороплюсь,—сухо ответила Ты.

— Может, хоть поцелуемся напоследок?

— Не нацеловался, что ли?—и холодно-удивлённый взгляд.

— Хорошо, тогда давай подвезу до работы, раз торопишься.

— Спасибо, сама как-нибудь. Прощай,—сказала Ты отчуждённо, повернулась и решительно зашагала к автобусной остановке.

— Нового счастья Тебе!—крикнул я вдогонку и долго стоял, провожая Тебя взглядом.

Ты, конечно, чувствовала мой взгляд, но не оглянулась…

Я вслушивался в себя. Трагизма своего положения я уже не ощущал; была только обида на Тебя: как легко Ты всё разрушила!.. «Но нет,—мстительно подумал я, когда Ты исчезла из вида,—навечно мы ещё не простились. Я не дам Твоему хахалю так легко утвердиться на моём месте!..»

На следующий же день я позвонил Тебе и предложил обсудить условия размена квартиры. Я ожидал, что Ты начнёшь упрекать меня, скандалить, протестовать, придётся судиться,—но нет, Ты, к моему удивлению, была само великодушие:

— Конечно, давай разменяем. Я понимаю: ты много в неё вложил, и тебе надо где-то жить…

Удивительно, но Ты сама участвовала в поисках вариантов размена; и я так и не понял, чего там было больше: желания непременно устроить меня—или поскорее устроиться самой?.. И через месяц, после некоторых хлопот, мы с Тобой благополучно разъехались: Ты—в двухкомнатную, я—в крохотную однокомнатную, под самой крышей высокого дома, в «монашескую келью», как я её назвал; и был ей рад, не мечтая о большем: зачем мне теперь много? Для одиноких бдений за работой—вполне хватит…

А если возникнет вдруг соблазн *оскорбить любовь любовью новой*?—на всякий случай спрашивал я себя—и сам себе отвечал: не выйдет!—*я всё вложил в игру и проиграл*, и хватит с меня; ни на какие чувства больше я не способен, и, стало быть, кому я нужен такой? И у женщин будет меньше соблазнов на мою персону ради пресловутых материальных ценностей, с моей-то кельей… Праздник кончился; остались будни, одиночество и кропотливая работа—переплавлять прозу жизни в слитки воспоминаний.

15.

Через неделю после переезда мне позвонил на работу Илья Слоущ:

— Встретил твою Надежду…

— Она не моя теперь; мы разъехались.

— Она мне сказала.

— Знаешь что?—предложил я, опережая его недоумения.—Поскольку переехал я тихо и новоселье зажилил—приглашаю в свою келью: будешь моим первым гостем. Только приглашаю пока одного: ещё сижу на чемоданах. Растолкаю вещи—приглашу с Элей. Согласен?

— Когда прийти?

— Да хоть сегодня вечером.

— Говори адрес…

И вот он у меня. Я немного смущён перед ним за кавардак, но, по-моему, настоящее новоселье и должно быть таким: в кухне лишь плита да холодильник; в комнате на месте—пока только письменный стол с компьютером; стены и окна—голые, книжный стеллаж установлен, но большинство книг—навалом посреди комнаты: есть повод перебрать их и освободиться от книжного хлама. Зато есть старые диван-кровать, кресло и журнальный столик: этот хлам Ты великодушно спровадила мне, желая обставиться новыми…

Но Илью я принимаю радушно.

Он — с подарками: графический городской пейзаж в рамке за стеклом, бутылка коньяка и — новая его собственная книга, подписанная им для меня.
— Спасибо! Особенно за книгу: прекрасный мне укор, — говорю ему.
— А ты думал, я по головке тебя гладить приду? — басит он, всё такой же широкий и добродушно-ироничный.

Ни ширины его туловища, ни седины в волосах не прибавляется — время разбивается об него, как об утёс.
— Тогда — прошу на разговор! — приглашаю его на почётное место, в своё любимое кресло, сам садясь напротив — на диван-кровать.

Наш ужин уже на столике. Желая подчеркнуть холостяцкий стиль ужина, не стал я готовить мудрёных блюд — лишь чёрный хлеб, порезанные и разложенные по тарелкам ветчина, рыбий балык, простой суровый салат из помидор и репчатого лука, пучки петрушки и сельдерея, водка и минералка. И за неимением пока рюмок, — два стакана.
— О, почти студенческий выпивон! — потирает руки Илья. — Только постеленной газетки не хватает. Но, может, всё же начнём с коньяка?
— Давай! — соглашаюсь я, и мы начинаем одновременно и коньяк, и разговор. И по мере того как убывает коньяк — диалог наш разгорается, причём разгорается по ходу разговора всё ярче: ведь нас же, кафедральных говорунов, хлебом не корми — дай блеснуть всеми прелестями риторики! Да если ещё их в состоянии оценить твой оппонент, да ещё если эти прелести расцвечены парами алкоголя!..
— Ну, нагулялся? — откровенно насмехается надо мной Илья. — Поздравляю со свободой. Вот она, диалектика факта: в каждом минусе — свои плюсы. И моя книга — в самом деле тебе в укор: теперь уже никто тебе не мешает пахать и пахать… Помнишь наш разговор перед твоей *свадьбой?* — слово «свадьба» он произносит с ироническим фырканьем.
— Помню, конечно, — отвечаю, — как ты меня жучил за Надежду.
— А ведь я был прав тогда: все эти порывы страсти, любовь, счастье — они же как песок для подшипников! Этот аппарат, — постучал Илья по лбу пальцем, — должен работать и постоянно давать результат.
— Понимаешь, в чём дело, Илюша… Счастья, наверное, и в самом деле нет. Но его ожидание, его промельки в жизни — вот в чём дело.
— Между прочим, уже видел её с каким-то хлыщом. Легкомысленная ба…
— Молчи! Ни слова больше!
— Вот так всегда: за правду приходится страдать, — бормочет он. — Ладно, будем пить за пепел твоей сгоревшей любви.
— Может, тебе и не понять, — говорю ему после очередной порции коньяка, — но я нисколько не жалею этих лет.
— Ну конечно, где же мне понять! — откровенно издевается он надо мной. — Только знаешь, что тебе скажу? В древних еврейских верованиях считалось, что у женщины нет души, и для вечной жизни спасаются только те, кого полюбит мужчина: на этом спасательном круге они переплывают в лучший мир. Так вот, по-моему, у них этот способ спасаться остался до сих пор…
— А ты прав — она и в самом деле отказалась от вечной жизни! — невесело рассмеялся я.
— Но Бог с ними! — пресёк меня Илья. — Я, собственно, не об этом. Я же до сих пор помню, как ты сочинял стихи в институте, писал отличные курсовые и — о чём мы с тобой говорили. Ты извлекал из своей интуиции очень интересные вещи; ты хватал на лету и светился природным талантом — я тебе даже завидовал.
— Ты? Мне? Завидовал? — удивился я. — Это я тебе завидовал: столько знаешь, столько прочёл! Мне казалось, ты родился в очках и с книжкой в руке. Да, честно говоря, я тогда всем вам, городским, завидовал — у вас всегда была фора передо мной.
— Сейчас речь не о твоей, а о моей зависти, — менторски поправил он меня. — Да, собственно, то не чёрная зависть у меня была — просто ревность; она заставляла меня преодолевать себя, свою лень, свою медлительность… Но твой талант, Вовка, — что ты с ним сделал? Двенадцать лет назад ты мне говорил, что у тебя докторская в кармане, — где она?
— В кармане, — сокрушённо ответил я.
— Вот-вот! В наши годы пора уже из своих трудов выжимать дивиденды, а ты? Извини меня, но на шестом десятке ты сидишь в этой норе, один, брошенный, и лепечешь, что ни о чём не жалеешь. По-моему, ты просто пребываешь в шоке — но надо же как-то выходить из него!.. Тебе бы женщину найти, тихую, скромную, без претензий, но — с квартирой, с каким-то бытом, и — как-то опираясь на неё, что ли?..
— Ё-моё! — перебил я его. — Это что же, мне, столько лет жившему в звёздном мире, ты предлагаешь «тихое» и «спокойное», с каким-то там бытом?
— Да, «тихое» и «спокойное»! — подтвердил Илья. — Хватит с тебя этого звёздного мира, оставь его юнцам, а тебе, чтобы что-то ещё успеть, пора запираться и работать как вол — навёрстывать упущенное!
— Нет, Илья, это уже не для меня, — отрицательно покачал я головой и при этом — оттого что хватил лишнего, что ли? — понёс такое, о чём не помышлял сам, пока был трезвым: — Не знаю, что со мной будет дальше, — знаю только одно: мне трудно жить без волнения — не хватает воздуха, света, который как-то освещает наши потёмки и тот абсурд, в котором мы пребываем! Но этот свет и это волнение — только от влюблённости; ну не могу я без этого: мне нужна только та, что высекает из меня искры! В благодарность за это я готов отозваться всем, что у меня есть в душе, в интеллекте, — это так украшает жизнь, Илья, — а без этого ну не вижу я никакого смысла в том, чтобы чего-то достигать! Может, я избалован? Но, по-моему, хотеть этого — так естественно!
— М-да-а, — с сомнением покачал головой Илья; мой монолог вызвал в нём едкую реакцию, и её он не преминул тотчас же выплеснуть на меня — его, как и меня, тоже несло. — Знаешь, лет двадцать назад я бы тебя ещё одобрил, а теперь… Может,

я зря всё это говорю — жизнь слишком развела нас по разным камерам?.. Но ведь не для того же ты растил свой интеллект, чтобы всю жизнь изводить его, простите, на баб? Их миллионы, Вовка, — с их нехитрыми снастями: ловить простаков, высасывать и даже забывать благодарить за это! И мужчин, готовых лезть в эти снасти, — миллионы. Но нам-то что до них за дело?.. Человек, Вова, — это существо с очень ограниченными возможностями, и ни образование, ни культура, ни Интернет не помогут ему эти возможности расширить; неужели ты этого не просёк? Для пользы дела надо когда-то отказываться от удовольствий, от этих душевных искр и прочей романтической х...ни и запираться в стенах... Да, согласен, у простого человека — большая потребность в «другом»: поныть, пожаловаться, услышать отклик, реализовать, в конце концов, свою похоть и другие слабости — он же просто не может без «другого»! Но нам-то, Вова, надо выбирать: или *сиропиться* с «другим» — или жить ради своего интеллекта, который кормит тебя и тебе же освещает твои потёмки. В сущности-то, только благодаря интеллекту немногих жизнь не превращается в ад! Ведь, между нами говоря, человек в массе своей туп и нравственно сомнителен — только мы, люди культуры, можем как-то влиять на это жадное, безмозглое, насквозь порочное двуногое и двулапое существо, которое по недоумию носит звание человека, хотя оно и норовит постоянно от нашего влияния ускользнуть. На нас, если угодно, — миссия! Ты что, забыл, о чём мы спорили тогда, как мы открывали эти истины у Шекспира, у Толстого, у Достоевского? У того же Вольтера, у Ницше? Забыл, как они были нашим светом тогда? Как можно отрекаться от них? Ради чего?

— Ничего я не забыл — всё помню. Но за эти годы я ещё много чего понял.

— Ты был в состоянии ещё что-то понимать? — фыркнул он.

— Да, представь себе! — раздражённый его фырканьем, повысил я голос. — Конечно, можно построить всю эту человекомассу и чему-то её научить, даже какой-то порядок устроить — но сами-то люди от этого нисколько не изменятся!.. Любовь, Илья, — вот ключевое слово! В принципе-то, ещё ни один умник не дал идеального рецепта устроить мир — все их теории рассыпаются в прах; одна любовь может дать рецепты, а она, как ни крути, проявляется только через «другого» — вот что я понял! Так что зря ты иронизируешь над «другим»!

— Да уж, что-то твоей любви не хватило даже, чтобы устроить тебя самого! — саркастически фыркнул Илья. — Где ж её на всех-то хватит? Фишка, как говорят мои студенты, в том, что ни понять «другого», ни слиться с ним невозможно — иллюзии всё это, дорогой мой Вова! Чем глубже интеллект — тем больше разница с «другим»! Чтобы контактировать с ним, надо хитрить и лукавить... Хочешь проявиться? Ну, проявись, и опять — за стол, в одиночество! Потому что интеллектуальным топливом, Вовка, ты можешь обеспечить себя только сам; ни единая душа тебе в этом не поможет! Тем более — женская.

— Да разве я — против? Давай выпьем за интеллект! — предложил я.

Выпили.

— Нет, Вова, — сказал затем Илья, — ты со своей любовью совсем разучился мыслить последовательно — все категории в кучу свалил: интеллект, любовь, «другого»...

— Неправда, всё у меня на месте, — возразил я. — И всё-таки если на одну чашу весов я соберу весь интеллект мира, а на другую — эту проклятую, пресловутую любовь, то представь себе: она перевешивает! Недаром её умудрялись воспевать при всех режимах и при всех религиях, и тот, кого она хоть раз опахнула своим крылом, готов помнить о ней как о величайшем счастье!

— Теоретически, может, ты и прав, — сказал Илья. — Но тут есть парадокс. Знаешь, в чём он? Те, кто пишет про любовь, — для них это подённая работа, а сама любовь — лишь крючок: ловить простаков. Ты вот — счастлив сейчас?

— Но я был на этом празднике!

— Ха-ха, был да сплыл! А я вот, не посвятивший любовной риторике и тысячной доли того, что истратил ты, — я уважаю свою старую надёжную Эльку и никогда не сменяю — даже на двух молодых! Не знаю, что это: любовь — или?.. Давай выпьем за мою Эльку!

— Давай!..

— Ну ты и хитёр, — сказал я ему, когда выпили. — Сам — с Эльвирой, а мне, значит, — с тихой и спокойной?

— Знаешь, как говорят англичане? Самая лучшая женщина — та, о которой меньше всего говорят.

— Но мы же с тобой не англичане! Скифы мы с тобой... — сказал я

Между тем, мы были уже в таком состоянии, что жали друг другу руки, хлопали по плечам и пытались обняться.

— Ты-то точно скиф, а я всё же больше европеец! — кричал он.

— Да какой ты европеец — такой же скиф, как я! — грозил я ему пальцем. — Сам подумай: ну какого европейца будет сегодня занимать вопрос, который не пахнет евро?... Но мне-то, мне что делать?

— Знаешь, что я тебе скажу, бабий ты страдалец? — в свою очередь, грозил мне пальцем Илья. — Есть у нас на кафедре одна дама...

— Эк чем удивил! У нас, между прочим, тоже есть одна!..

— Так за чем дело стало? Чего тогда воздух молоть? — пьяно уставился на меня Илья. — Д-давай в-выпьем за неё — и вперёд!..

16.

«Одна», о которой я упомянул в «беседе» с Ильёй, носила (хотя почему носила-то? — благополучно до сих пор носит) редкое имя: Карина. И знакомство моё с ней состоялось, когда я Тебя ещё и знать не знал, но уже ушёл от Ирины и жил в деревне.

Представь себе зимнюю сессию в институте: душная, закупоренная из-за морозного января аудитория, а в ней пятеро четверокурсников — парень и три девчонки готовятся за столами поодаль, а одна сидит прямо передо мной. Духоту дополняет

постоянно преследующий меня в институте тяжёлый смешанный запах крепких духов, дезодорантов и обильных потовых выделений молодых, разгорячённых от волнения тел; открыв форточку, ловлю долетающую до меня струю свежего морозного воздуха, слушаю уныло-многословный ответ записной отличницы и при этом украдкой наблюдаю за парнем, сидящим за столом: прикрыв ладонью глаза, он нагло переписывает шпаргалку, пряча её где-то на коленях.

Кое-как вникнув в ответ моей визави, рассматриваю её попристальней: милое округлое лицо, чистая кожа, волосы цвета тёмного каштана (гадаю: крашеные или нет? Если крашеные, то — искусно), серьёзные серые глаза, округлые плечи и хорошо развитая грудь склонной к полноте девицы. Нет, не вамп-дива — такая она вся домашняя и добротная…

— Хорошо, с первым вопросом покончили, — прерываю её, пока она не уморила меня своим знанием, к которому нет никакой возможности придраться. — Со вторым вопросом давайте поступим так: подробностей не надо — дайте лишь собственный взгляд на проблему…

Рассмотрел зачётку. За такую не стыдно: сплошные пятёрки… Она опять было разогналась со своим обширным взглядом; остановил её подчёркнуто вежливо и негромко — чтобы не мешать остальным готовиться:

— Благодарю за ответ, — и добавляю, отступая от педагогических правил, пока вписываю оценку в экзаменационную ведомость: — Имя у вас редкое. Знаете, что оно обозначает?

— Нет, — отвечает растерянно.

— «Кара» по-итальянски — «дорогая». Никогда не слыхали старинный итальянский романс «Кара мио бен»? Перголези, кажется.

— Нет, — совсем тушуется моя визави.

— Надо интересоваться и этим тоже, — говорю ей, удовлетворённый тем, что нашёл слабину у этой отличницы, и от собственного удовлетворения становлюсь добрым. — Хотя подготовка у вас основательная. В аспирантуру, поди, готовитесь? — спрашиваю, теперь уже вписывая оценку в зачётную книжку.

— Да, — кивает.

— И куда хотите?

— Хотела бы к вам, — и при этом бесстрашно глядит на меня.

— Почему — ко мне? — на секунду запинается моя ручка.

— Мне нравится, как вы читаете, как знаете материал, — твёрдо отвечает она и добавляет, помедлив: — Мне нравится всё, что вы делаете… — и наконец, не выдержав собственной твёрдости и чего-то так и не досказав, смутилась и покраснела, продолжая при этом нагло глядеть мне в глаза.

Влюбчивость студенток в преподавателей — дело заурядное и не поощряемое, в том числе и мною. Кроме того, как отличить простодушные чувства от расчёта или, того хуже, от какой-нибудь каверзы?

— Спасибо на добром слове, — тихо, чтоб разговор не долетел до девиц за столами, отвечаю ей. — Однако если б даже я и хотел — то не смог бы ответить вашим чувствам из соображений общепринятой морали.

— Странно, — так же тихо, как и я, только насмешливо говорит она, не отводя взгляда. — Вы боитесь общепринятой морали?

— Я не боюсь, — дрогнул я перед её напором, — а просто придерживаюсь её. Можете себе представить, что было бы?

— А что было бы?

Ну наглая — навязывает какой-то бессмысленный разговор! — но продолжаю так же спокойно, не поддаваясь на провокацию:

— Вы и сами можете прекрасно ответить на свой вопрос.

— Вы что, меня боитесь? — спрашивает она тогда.

— Чего вы хотите? — произношу тихо, но сурово.

— Хотя бы просто поговорить с вами. Это-то можно?

— Если просто — то можно, — улыбнулся я и протянул зачётку.

Она взяла её и пошла из аудитории, а я озадаченно посмотрел вслед — на её крепкие икры и крепкую спину: она ведь, чёрт возьми, оставила меня в недоумении!.. Странная особа, — пожал я плечами и повернулся к следующей девице, которая уже раскладывала передо мной свои бумаги.

В пятом часу пополудни посреди зимы на улице — уже чёрная темнотища.

Усталый и голодный, выхожу из институтского здания на улицу и тут вспоминаю про Карину и про разговор наш, кончившийся, слава Богу, ничем… Иду, с удовольствием вдыхаю колючий морозный воздух, мысленно расслабляясь, — и слышу, как кто-то торопливо скрипит сзади снегом, явно догоняя меня. Оборачиваюсь, всматриваюсь при свете фонаря: Карина! В тёплой шубе, с туго набитой сумкой, дышит от торопливой ходьбы морозным паром. Остановился подождать. И ни тени щекотки самолюбия: за мной, дескать, ещё бегают девчонки! — одно унылое беспокойство; ведь эта дура грузит меня проблемой: недавно из института со скандалом — за связь со студенткой — выперли молодого преподавателя. Но мне-то зачем этот риск?

Запыхавшись, она наконец догнала меня и впервые за время нашего общения улыбнулась.

— Ну, и о чём же мы будем говорить? — спрашиваю суховато.

— Обо всём, — заверила она меня.

— Но мне-то ведь на вокзал надо, — взглядываю я на часы.

— Я знаю, — решительно сказала она.

— Откуда?

— Студенты знают о преподавателях больше, чем вы думаете. Я провожу вас и задам всего несколько вопросов. Можно?

Я уж не стал советовать ей задавать вопросы вовремя — на лекциях.

— Ладно, идёмте, — говорю.

И мы пошли пешком — благо, время мне ещё позволяло и не было необходимости заходить по пути в хозяйственный и продуктовый магазины;

и мы действительно поговорили дорогой обо всём понемногу, от библейской истории до модерна и до мельтешащей вокруг жизни. Чаще спрашивала она; но кое-чем поинтересовался и я у неё, и тут выяснилось, что живёт она вдвоём с мамой — вот она, маленькая разгадка её проблем: этой назойливо умной девочке не хватает всесильного и всезнающего доброго папы; сколько их обожглось на этом, сколько соблазнителей воспользовалось проблемами этих девочек!.. Правда, меня роль отца-искусителя не влекла — сама эта роль вызывала во мне некоторую эстетскую брезгливость.

А девица чем-то напомнила мне мою Ирину, только юную. Правда, для полного сходства девице не хватало крупной составляющей: некой хитрости и полной уверенности в себе юной самки, что ли, которых у Ирины было хоть отбавляй. Карина пугала меня своей прямолинейной настойчивостью — ещё раза три потом провожала на вокзал, — однако никаких душевных волнений высечь во мне так и не смогла: я по-прежнему видел в ней лишь настырную любознательную отличницу и не *парился* по поводу несходимости наших с ней координат во времени и пространстве. Да и как иначе? Я не мог позволить себе легкомыслия ни влюбиться в неё, ни влюбить её в себя: кроме страха быть разоблачённым какими-нибудь охотниками до разоблачений, на моём месте грех было размениваться на такие мелочи, как смутные влечения студентки, которая сама ещё не знает, чего хочет, — я ждал большего — может, даже главного; были, были предчувствия — и я не хотел пропускать этого главного из-за каких-то мелочей... А всего через два месяца я встретил Тебя, и Ты заслонила собой всё остальное. В том числе и эту настойчивую девицу.

Карина же на пятом курсе благополучно вышла замуж и потерялась из виду. А года два назад опять обозначилась, уже на соседней кафедре, и мы теперь здоровались как старые знакомые... Выяснилось, между прочим, что живёт она опять с мамой; о муже и детях народная молва умалчивала.

И не о ней ли доходил до Тебя смутный слух, когда Ты допытывалась у меня относительно «молодых филологинь», которые будто бы кишмя кишели у нас в институте и мечтали умыкнуть меня у Тебя?..

Карина — да уж и не Карина вовсе, а миловидная и ещё молодая дама Карина Яковлевна — внешне почти не изменилась; правда, теперь в её повадке исчезло бесстрашие — видно, успела наполучать за это шишек; зато прибавилось желания тихо жить и терпеливо делать институтскую карьеру.

Однажды, уже после развода с Тобой, в преподавательской столовой я попросил разрешения сесть со своим обедом за её столик:

— Позволите?

— Да, конечно же, Владимир Иванович! — живо ответила она, одарив меня светом своих серых глаз, и когда я сел — спросила: — У вас в последнее время такой потерянный вид. У вас что-то случилось?

— Да, — согласился я. — Трудно пережил развод.

— А вы не пробовали утешить себя как-нибудь?

— Честно говоря, пока что не приходило в голову.

Она на секунду пристально в меня вгляделась — будто оценивая на глаз: чего я сто́ю? — и тихо, так как кругом были люди, предложила:

— А вы приходите в гости, на чай — развеяться.

— Да? — удивился я такому простому выходу из положения. — Когда?

— Когда хотите.

— Мне неловко нагружать вас своими проблемами.

— Какие могут быть счёты! Мы же старые друзья?

— Конечно! Спасибо за поддержку...

Она неспешно закончила свой обед и перед тем, как встать и уйти, достала из сумочки и протянула свою визитку с домашним адресом и телефоном.

Я принял приглашение и следующим же вечером явился со скромными подарками, приличествующими рядовому визиту: букет золотистых хризантем и коробка конфет к чаю. Однако ехал я с некоторым волнением — правда, и иронизируя над собой: «Куда прёшься, старый ты ловелас, — никак не унимают тебя годы!» — и всё же слабо надеясь, что авось чаепитие развернётся в какие-то отношения с неизвестной степенью глубины (волновала именно неизвестная степень глубины) — ведь ничто этому не мешает: мы взрослые свободные люди, ничем как будто бы не обременённые...

Встречен я был Кариной Яковлевной радушно-сдержанно, снова омыт светом её глаз и усажен за чай. В уютной, ухоженной квартире стояла тишина, но мне казалось, что, кроме самой Карины, кто-то здесь есть ещё — дверь в одну из комнат была плотно прикрыта; оставалось впечатление, что этот кто-то сейчас выйдет познакомиться со мной, поэтому оставался настороже.

— Вы живёте с мамой? — спросил я наконец Карину, желая упредить не мной расписанную программу.

— Да. Но она сегодня в гостях у своей сестры, — с улыбкой ответила она, догадываясь о моих опасениях. — Завтра обещала вернуться.

Так что больше ничто не мешало нашему сближению позиция за позицией. Да сама атмосфера в доме способствовала этому: мягкий свет кругом, тишина, абсолютный порядок в доме, тяжёлая старая мебель с тёмной полировкой и тугими сиденьями, обилие старинных безделушек, сияющие хирургической чистотой фарфор и серебро на столе; правда, на всём в квартире лежал отсвет обильной женской ауры и явная нехватка ауры мужской...

И сама хозяйка (чуть старше того возраста, в котором встретилась когда-то мне Ты) была прелестна — в старомодном вечернем платье, без тени красок на лице, — будто нарочно гася свою молодость из уважения к моим сединам и подсказывая мне: меньше пафоса — больше доверия друг к другу; но свежесть её лица невозможно было спрятать, и я невольно возвращался к мысли о том, что занимаю здесь чьё-то место по недоразумению... Мало того, она была абсолютно вышколена: ни разу меня не перебила, внимательнейше при этом слушая, в то время как сам я, забываясь, перебивал её не однажды, тут же, впрочем, прося прощения — рядом с чужой вышколенностью куда заметней собственные промахи.

И вполне естественно, что в этой хотя и совершенно трезвой, но так располагавшей к сближению обстановке уже к полуночи мы были готовы лечь вместе в постель, и мы это с непреложностью осуществили. И в спальне тоже всё было мило и эстетично: и сама спальня с тёплыми тонами убранства и ненавязчивым полумраком, и хруст безукоризненных простынь, и Каринино чувство собственного достоинства, и её в меру тихое попискивание во время акта, и её удовлетворённость, и умеренные похвалы по поводу моих скромных сексуальных возможностей, и её уверенность в себе и в своей власти надо мной…

Хотя сам-то я по поводу этого события, моего участия в нём и моих возможностей придерживался несколько иного мнения… Конечно же, мой сексуальный голод заставлял меня держаться на высоте—я набрасывался на Карину так, будто не был с женщиной много лет, и ей это нравилось; но было ещё одно обстоятельство, неведомое моей доброй партнёрше: это Ты была вместо неё там, заслоняя собою её, это Тебя я мучил и терзал, Тебя одну помнил, в Тебя вгонял, вместе с обидой, страсть неутолённого желания, Тебе мстил, изменяя со случайной женщиной по имени Карина, Тебе предназначал всё, что отдавал теперь ей, Тебя любил, о Тебе думал!.. Но был со мной ещё и страх, что всему, что было когда-то у нас с Тобой, не повториться больше, и немыслимая печаль заставляла меня цепляться за эту женщину и длить судороги сексуальных всплесков…

Мы стали встречаться по выходным или у меня, или у неё; иногда выходили на люди. Встречаться чаще—не получалось: Карина много работала, готовясь к защите; она оказалась настолько организованной, что и меня подталкивала достать из забвения заброшенную докторскую да попробовать её закончить.

Огненные страсти как-то быстро улеглись, и отношения наши стали спокойными и полезными: снимали напряжение и спасали от одиночества.

Милая Карина… Тот девичий её задор давно изросся в ней—она стала доброй покладистой женщиной, и рядом с ней я—кажется, впервые в жизни,—воистину отдыхал, будь то в постели, за обедом, на прогулке или на филармоническом концерте. Наверное, такой и должна быть жена: благоразумной и практичной, способной поддержать мужа в добрых начинаниях и удержать от безрассудных? Одним словом, *надёжной опорой*.

Через некоторое время я понял, что та отрасль науки, которой она занимается, особенно её не интересует, а пишет она диссертацию лишь затем, чтобы иметь в будущем надёжную работу и приличный заработок. По некоторым признакам я даже догадался, что она и меня-то выбрала из вполне практического расчёта: свободен, неглуп, опытен в жизни—с таким вполне можно строить семью, даже рожать и растить детей; а что касается разницы в летах, так это для её спокойного характера не помеха—с таким ещё надёжней. И она не роняла себя от этого в моих глазах—такая расчётливость достойна всякого уважения. Да и мне, слегка уставшему от жизненных перипетий, теперь, наверное, нужен именно такой стиль жизни—размеренный, комфортный и чистоплотный, при обоюдном согласии, без душевных терзаний и необходимости преодолевать какие-то чрезвычайные обстоятельства и преграды.

Уже чуть ли не полгода наших с ней отношений прошло, когда, успокоившись наконец от душевных передряг, я немного заскучал: чего-то не хватало. Остроты? Пряности? Встрясок? Каких-то особенных праздников?.. Она догадывалась, конечно, что мне чего-то недостаёт, и старалась—да что старалась!—до сих пор старается восполнять какие-то недостачи: и экзотические блюда всех кухонь мира появляются тогда на столе, и красивая посуда, и салфетки безукоризненные, и собственные наряды ею придумываются для таких случаев, и я ценю эти усилия—до горячей благодарности, до слёз умиления. И в самом деле, такие праздники удаются на славу… Но иногда бывает просто мучительно. Потому что праздники, строго говоря, не ухищрениями создаются, а особенными состояниями души, от которых эта самая душа взмывает в небеса,—неважно, сидишь ли ты на празднике с кем-то вдвоём, или целой компанией, или всего лишь один-одинёшенек…

Конечно же, я вспоминал о Тебе, и вспоминал чаще, чем полагалось бы; оказывается, Ты въелась в меня настолько, что я оказался избалован—да что избалован!—отравлен Твоим прихотливым, изобретательным на фейерверки фантазий характером… Нет, я не укорял и не проклинал Тебя, не жалел, что расстались,—а просто, чем бы ни занимался, тихо, без единой жалобы помнил о Тебе, тосковал и предательски сравнивал Тебя с Кариной… Но она и тут оказывалась на высоте: понимала, что это со мной, и ни разу не упрекнула—лишь окликнет с улыбкой, поймав мой остекленелый взгляд:

— Владимир Иванович, где вы?

— Да… задумался немного,—оправдывался я, встряхнувшись и стараясь выглядеть легкомысленней.

— Где вы были? Я бы очень хотела попутешествовать с вами по закоулкам ваших мыслей,—обезоруживала она меня, и я начинал рассказывать ей об одном из своих мысленных потоков, умалчивая о других, и рассказ мой вполне мог сойти за правду.

Однако постоянная её готовность быть всегда рядом слегка утомляла; мне не хватало некоего витамина радости… Несмотря на предлагаемую ею серьёзность отношений, я выскальзывал из них, давая понять, что наши отношения пока лишь—чисто дружеские, оставаясь благодарным ей за то, что она со мной терпелива—как с больным ребёнком… Да ведь я и в самом деле всё ещё болел Тобой.

17.

Однажды, через год с небольшим после нашего с Тобой развода, Ты позвонила мне и сказала:

— Мне надо с тобой поговорить…

Был воскресный вечер; перед этим я полтора дня подряд общался с Кариной: в субботу шатались

по магазинам, выбирали подарки её тёте, потом были у тёти в гостях (Карина терпеливо вовлекала меня в знакомства с родственниками), потом вернулись ко мне, и ночь наша получилась такой, что потом до обеда отсыпались. Но мне нужно было работать, и я проводил её домой, хотя уходить ей явно не хотелось—казалось, её беспокоит какое-то смутное предчувствие.

Перед тем как сесть работать, мне бывает необходимо побыть в одиночестве… Ты позвонила мне именно в этот час, и—странно как!—во мне, ещё не остывшем как следует от предыдущей ночи вдвоём с Кариной, всё всколыхнулось с прежней силой—и раздражение Твоей изменой, и тоска по Тебе, и радость снова слышать Твой голос, и ликование: наконец-то Ты позвонила!

—Мне надо с тобой встретиться и поговорить,—сухо сказала Ты; но по интонации, хорошо мною различимой, я сразу понял из этой Твоей сухой фразы, что Ты хочешь возобновить наши отношения; однако уязвлённое самолюбие не давало моему ликованию прорваться.

—О чём Ты хочешь поговорить?—спросил я сдержанно.

—Это не телефонный разговор,—ответила Ты.—Ты сейчас один?

—Да.

—Так, может, позволишь зайти?..

И в меня впились, как две острые иглы, желание немедленно согласиться и увидеть Тебя—и осторожность обманутого: что-то в Твоей интонации настораживало.

—Нет,—ответила за меня моя осторожность.—Давай—в кафе.

—Хорошо. В кафе «Весна». Помнишь, бывали там?

—Конечно, помню. Через час—согласна?

—Да…

Ты опоздала ровно на три минуты. Это совершенно в Твоём стиле: опоздать—но не раздражать слишком большим опозданием… Мой взгляд жадно ловил изменения в Твоей внешности: да, стала ещё стройней и суше, а лицо—странно усталое, тусклое какое-то, с подурневшей кожей; как Ты следила за собой когда-то! И где блеск Твоих глаз?.. Ты привычно чмокнула меня в щёку, и сквозь запах духов пробился запах табака… Мы разделись в фойе, прошли в зал и долго искали пустой столик—чтоб никто нам не мешал.

—Что Тебе заказать?—спросил я, когда наконец уселись.

—Закажи бутылку вина, салат и что-нибудь мясное—ты же знаешь, я не привередлива, хотя кафешным меню предпочитаю приготовленное самой,—ответила Ты, вынула из сумочки пачку сигарет и нервно закурила.

—Чего это Ты взялась курить?—спросил я.

—В этой чёртовой жизни не только закуришь, но и запьёшь,—усмехнулась Ты невесело.

—Ты сильно изменилась,—сказал я.

—Странно, если б мы не менялись!—и опять невесёлая усмешка.

Принесли вино и салаты.

—За что выпьем?—спросил я, наполнив бокалы.

—Давай—за наше прошлое; оно было к нам благосклонным!—решительно предложила Ты и столь же решительно выдула бокал, будто Тебя мучила жажда, а в бокале не вино, а вода.

Я смотрел на Тебя, слушал и—не узнавал: это была Ты—и не Ты; то решительное, бесшабашное, что раньше било из Тебя, лишь мило подсвечивая Твою лёгкость и женственность,—теперь грубо выпирало, заполнив, кажется, Тебя всю. Нет, я всё-таки узнавал Тебя, но Ты была не моей! Что с Тобой стало?..

—Почему Ты вдруг про меня вспомнила?—спросил я.—И вообще, как Ты живёшь? Как Алёна? Как родители?

—Спасибо, что помнишь о них.

—А почему я должен о них забыть? Мне это в самом деле интересно.

—Алёна продолжает учиться. Родители… Отец всё так же пьёт, а мама перестала: сердечная недостаточность у неё.

—А Ты?

—Я?.. Налей ещё—почему ты забываешь о своих обязанностях мужчины за столом?—капризно сказала Ты, и когда я налил—опять отпила полбокала.

—Ты стала много пить?—спросил я.

—Так жизнь всему научит,—раздражённо произнесла Ты одну из мерзких банальностей, которые я терпеть не могу: жизнь ведь учит только тому, чему позволяешь ей себя учить,—и если б Ты по-прежнему была со мной, то чувствовала бы фальшь этой чуши и не городила бы её…

—И всё-таки—почему Ты вспомнила обо мне?

—Я… я вытурила своего, как ты выражался, *хахаля* и живу одна.

—С Алёной, хочешь Ты сказать?

—Алёна, между прочим, собирается замуж.

—О, сколько новостей!—сказал я, заметив при этом, что Ты увиливаешь от прямых ответов на вопросы.—Передай ей, что я искренне желаю ей счастья в замужестве—она этого достойна.

—Ты можешь и сам сказать ей это.

—Могу… Но что с Тобой? Почему вы так быстро разошлись?

—Видишь ли… В нас слишком много остаётся от прошлого. Ты был добрым и имел терпение—а *он* пришёл из другой, грубой жизни… Я ему нужна была без прошлого—он хотел вытравить его из меня, заставлял, чтобы всё забыть, пить вино, и вообще… Не нужны ему ни моя душа, ни разум—только тело.

—Но, по-моему, Тебе самой хотелось именно этого?

—Прости меня; это было такое нелепое затмение!

—Если б я не простил, я бы сейчас не пришёл.

—Спасибо. А ведь я до минуты помню, как у нас с тобой всё было. И вспоминаю всё чаще. И вот подумала… Может, нам…—и, не договорив—как раньше, когда нам не были нужны слова,—положила ладонь на мою руку, лежавшую на столешнице.

От Твоего прикосновения у меня перехватило дыхание, но усилием—чего: воли—или осторожности?—я подавил желание взять Твою руку в свои.

Я, я должен был сию минуту решить… И если б я хотел отделаться от Тебя, когда Ты позвонила, мне

бы это было легче простого: ведь я теперь не один!.. Но я умолчал о Карине, и только тут, в кафе, вдруг понял, почему не углублял отношений с Кариной: я ждал Твоего звонка, я предчувствовал его!..
— Ну что ж. Над Твоим предложением надо подумать… хотя бы дня два,— как можно спокойнее сказал я, хотя был в тот момент неприятен сам себе: насколько же я стал осторожным!.. И свербело от совершаемого по отношению к Карине предательства…
— А ты тоже изменился,— усмехнулась Ты.— Раньше ты был куда как решительней… Хорошо, давай подумаем.

После кафе я проводил Тебя до автобуса, вернулся домой и два дня потом честно думал. Карина звонила мне, намекая, что соскучилась, и чувствуя, что со мной что-то происходит, но я неизменно ей отвечал:
— Прости, но я сейчас очень-очень занят — мне нужно сделать одну работу.

И я действительно был занят: надо было на что-то решаться.

Теперь, через год после нашего с Тобой развода, я винил себя, только себя — за то, что так легко от Тебя отказался, не выдержал, перестал держать свои чувства в напряжении, расслабился, дал возможность Тебе влюбиться в другого, уйти… Да, я готов был отказаться от Карины — ничего я ей не обещал! — и исправить свою вину перед Тобой: снова крепко обнять Тебя и никуда уже не отпускать; да и Тебе, судя по всему, никуда больше не захочется.

Но сколько я мысленно ни всматривался в Тебя — Тебя, той, прежней, непохожей ни на кого, не находил: видел лишь чужую женщину, утомлённую жизнью, работой, сексом, дурными привычками, упрощённую, жаждущую выжать из жизни ещё немного радостей. Но ведь таких легионы в одном только нашем городе!.. Моя любимая не может быть одной из легиона — она должна быть единственной, неповторимой; она должна парить над землёй, а не волочить свою душу под грузом забот! Заботы, в конце концов, возьму на себя — но я должен восхищаться ею, а не жалеть!.. И в то же время Карина… ведь я, кажется, позволил ей надеяться?

Всё-всё было мною тщательно обдумано. Оставалось нечто невыясненное: вдруг я чего-то ещё не понял до конца и буду потом всю жизнь казнить себя?.. И меня осенило спросить у Станиславы: что происходит с моей Надеждой? — не упоминая о нашей с Тобой кафешной встрече. Они с Борисом должны знать; но я после развода с Тобой перестал с ними общаться: оставил Твоих друзей Тебе… Нашёл телефон и позвонил, и она рассказала мне свою версию событий…

Я, оказывается, переоценил Твоего *хахаля*: ему было нужно от Тебя совсем немного — гораздо меньше, чем я предполагал; даже диссертация, с которой бы Ты ему могла помочь, ему оказалась не нужна. А когда Ты ему надоела, он, видите ли, обратил взгляд на Алёну и вознамерился её соблазнить, а для этого взялся спаивать вас обеих… Устав от его приставаний, Алёна со скандалом ушла из дома и живёт у подруги, в то время как Ты сама не в состоянии его изгнать, так что Борису приходится помогать Тебе; но осуществилось ли это изгнание окончательно, Станислава пока толком не знает, потому что Борис сам начал как-то странно себя вести, и теперь у Станиславы с ним весьма шаткие и очень неопределённые отношения; а что сейчас происходит дома у Надежды — ей неведомо, да и неинтересно… Боже мой, какая разрушительная цепная реакция!

Да-а, нагрузила меня Станислава!.. И ещё выговор сделала: дескать, *вашей* Надежде явно не хватило вкуса в выборе партнёра: её драма — на уровне скабрёзного анекдота… И тут у меня возникла кощунственная мысль: а не выдумал ли я Тебя, в самом деле, и не жил ли я все эти годы с Тобой, придуманной мною?.. Или Ты сама слепила в моём сознании собственный образ, подверстав его под мои вкусы? Вот это загадку Ты мне задала! Кто Ты на самом деле?..

И вот два дня прошли, пора давать ответ — а я даже разговаривать с Тобой не хочу от обиды: на кого же Ты меня сменяла!..

Ты позвонила сама: когда я отозвался на звонок: «Алло!» — спросила меня: «Ты дома сейчас?» — и аппарат тотчас дал отбой… Я решил, что чей-то, Твой или мой, аппарат неисправен, и стал ждать повторного звонка, чтобы окончательно объясниться — но повторного звонка не было. А через полчаса — звонок в дверь, и тут я разгадал Твою хитрость: убедившись, что я дома, Ты тотчас приехала сама, и если только войдёшь, то уже вряд ли выйдешь, рассчитывая застрять у меня навсегда. Я решил Тебя не впускать — тихо прокрался к двери и вслушался: может, там кто-то другой?.. Звонили нетерпеливо: звонящий явно знал, что я дома; потом начали стучать. Потом раздался Твой голос:
— Открой! Ты же дома!.. Боишься меня, что ли? Я ничего тебе не сделаю, даю слово,— но скажи хоть что-нибудь!

Я стоял в полуметре от Тебя, разделённый лишь дверью, и не шевелился. Ты умолкла, явно вслушиваясь — может, даже приставив к двери ухо,— а потом продолжила свой монолог:
— Да, я обманула тебя однажды! Но давай сделаем ещё одну попытку, последнюю,— вот увидишь, я буду твоей верной собакой, твоей рабой до последнего дыхания; ничего мне больше не надо! Мне сейчас так не хватает тебя, твоего совета, твоего разума! И Алёне тоже не хватает общения с тобой. Она тебя любит! Я знаю, что виновата перед тобой. И Алёна это знает — она так страдает из-за того, что у нас всё развалилось, и готова ненавидеть меня за это! Да, я виновата: я всюду вношу разрушение! Мне иногда хочется покончить с собой — такой я кажусь себе тварью! Я боюсь за себя!..

Слышно было, как Ты всхлипнула там, за дверью; у меня разрывалось сердце от Твоего монолога и выступили в глазах слёзы; я глотал их и продолжал стоять неподвижно. «Нет,— говорил я себе,— это не Ты, не Ты, не моя Надежда, и я Тебе не открою, не открою, не открою, даже если Ты начнёшь ломать дверь!»

— Ну откуда мне было знать, что женщина всегда, при любом варианте, проигрывает?— продолжала Ты после всхлипа.— Неужели у Тебя нет жалости ко мне, стоящей тут, под дверью, и всё проигравшей?

Я едва не крикнул в ответ: «Есть, есть у меня жалость!»— но воздержался. А Ты снова замолчала. Я даже подумал было, что Ты ушла. Но Твой голос, теперь уже гневный, раздался снова:

— Ну и сиди за своей дверью! А я всё равно тебя люблю, и ты был моим и моим остался, если даже будешь с другой и если я буду с другим или уеду за тысячи вёрст! Потому что мои клеточки вросли в тебя, а твои— в меня! Запомни: это навечно!..— затем стало слышно, как Ты стучишь каблуками, спускаясь по лестнице, и уже с лестницы крикнула на весь подъезд:— Я всё равно тебя люблю, и тебе ничего с этим не поделать!..

Уже и тот памятный день далеко, а всё— как вчера.

Продолжаю влачить свою жизнь и честно делаю что могу, не замахиваясь на большее. Докторская так и остаётся недописанной: зачем? Хлопоты, что сопутствуют этой проблеме, мне всегда были скучны— я привык заниматься лишь тем, что мне интересно, а заработка моего мне хватает и так.

Наши с Кариной вялые отношения продолжаются; мало того, она, исчерпав своё терпение, решительно взялась подводить более прочную базу под наше с ней общее будущее, и оно, кажется, уже просматривается— её героическими усилиями. И я отчасти благодарен ей за это: что стало бы со мной без неё? Потому что есть одна серьёзная опасность для меня: в последнее время надо мной нависает тень мизантропии, которая пытается накрыть меня с головой,— а Карина, добрая душа, спасает меня от неё, загораживая своим телом, и роль спасительницы только придаёт ей сил. Под её благотворным влиянием я, может, даже допишу и защищу свою докторскую (чем порадую своего древнего товарища Илью), хотя мне эта докторская… Я наверное, буду похож тогда на Мюнхгаузена, который тащит себя из болота за волосы; так и хочется прыснуть со смеху над собой.

А по поводу мизантропии— я всё меньше нахожу прелести в окружающей жизни, в том числе и в окружающих меня людях; наблюдения за ними оптимизма не придают. Святое, простодушное время— пора детства, юности и то особенное время, когда я был с Тобой и видел что хотел, а чего не хотел— того и не было! А теперь, когда иду по улице— устаю от встречных лиц без выражения и без света в глазах; мало того, они сливаются для меня в одну безликую массу и неразличимы— как китайцы; впрочем, один профессор-китаец признавался мне, что ему все европейцы кажутся на одно лицо, в то время как китайские лица— необыкновенно разнообразны; всё, оказывается, зависит от точки зрения… Утешаю себя тем, что ещё не дошёл до взглядов г-на Свифта, известный герой которого в конце концов предпочёл общество людей, мерзких *йэху*,— лошадям в конюшне.

Но в моей душе есть один особенный уголок: на зелёной поляне там цветут цветы, и звенят в синем небе над поляной жаворонки; там светло и солнечно— даже в пасмурные дни, даже ночью; там живёт Твой образ; Ты там часто смеёшься, меряешь обновы, зовёшь меня попробовать лакомство своего приготовления или просишь, когда Тебе скучно, поболтать с Тобой, рассказать что-нибудь очень-очень серьёзное и необыкновенно при этом смешное…

Странно: ведь мы с Тобой столько раз делали *love* в самых разных местах, и эти *loves* бывали и легкомысленными— до хохота!— и тягуче-сладкими, и мучительно-страстными, и ослепительными, как ночная гроза… Но почему не *loves* являются мне на тех зелёных полянах в моих снах? Я думаю, потому, что над этими яркими, но короткими эпизодами нашей жизни простиралось то самое, большое до необъятности, что зовётся Любовью— именно она увлекала нас в божественную игру, а эти *loves* бывали в той игре лишь маленькими пряными приложениями; именно она— в чистом виде!— и приходит теперь ко мне в моих снах— а не эти безделицы *loves*! Сны о Любви благотворно действуют на меня: делают бодрым дух и лёгким воображение; вспоминая Тебя в них, я всегда улыбаюсь.

Странное это явление: когда теряется счёт времени и пространства— их заменяет собой одно чувство, то самое, которое с большой буквы, и необыкновенно счастлив должен быть тот, кого посетило то самое, большое-пребольшое, приобщающее нас к бессмертию, и несчастен тот, у кого было всё остальное— но не было его; значит, поленился поискать его в закоулках жизни, поломать голову, как заложить на камнях своей души цветущий сад и потрудиться его вы́ходить,— а ухватился за первую подделку, что ему подсунул случай…

Где Ты сейчас, что с Тобой?.. Сначала мне передавали, что Ты— по знакомству, наверное?— перешла социологом на завод, известный в городе хорошими прибылями и большими зарплатами. Тебе понадобилось много денег? Что с Тобой стало? Ведь мы с Тобой знали, что работать лишь для денег— самое пустое на свете занятие: когда чего-то главного в жизни нет и уже не будет, остаётся иллюзия, будто можно купить это главное за деньги… А Алёна вроде бы вышла замуж и уехала вместе с мужем за рубеж, на Запад (тоже, может быть, за деньгами?)… И Ты будто бы после этого с кем-то (или за кем-то?), бросив завод, тоже уехала— перебралась поближе к Западу и, соответственно, к Алёне. И когда Тебя провожали друзья, Ты будто бы горько плакала и говорила, что наш город стал мешать Тебе жить, просто измучил воспоминаниями: каждая улица, каждая скамья кричит Тебе о прошлом, где Ты была куда счастливей… Но на самом-то деле Тебя здесь, как я понял, уже ничто не стало держать: связь с родителями (если они ещё живы) утратила, дочь далеко…

А потом, через третьи руки, мне передали, что Ты будто бы умерла. Но не верю этому слуху! С чего бы это— молодая ещё женщина, и вдруг?.. Нелепость!

А если и в самом деле? Значит, Твои душа и тело исчерпали свои силы, потеряли тонус, и какая-то болезнь одолела их? Но если бы Твоё чувство ко мне не кончилось и мы бы остались вместе, переливая друг в друга силы и энергию,—сумела бы тогда болезнь одолеть Тебя, или она сильнее всяких уз?

А я продолжаю носить Тебя в себе, и Ты во мне по-прежнему—молодая, озорная, весёлая… Иногда на улице, среди толпы, слышу Твой смех, настолько явственный, что вздрагиваю и озираюсь… Или вдруг вижу Твой силуэт вдалеке—ведь я узна́ю его из миллиона!—и невольно ускоряю шаг, чтобы догнать; но Ты так же неожиданно, как возникла, исчезаешь… Колдовство какое-то; ведь не может же быть, чтобы Ты была размножена в сотнях копий! И начинаю понимать: просто Ты—во мне, и моё воображение постоянно пытается Тебя оживить…

Однажды среди бумаг нашёл Твою записку: «Милый, не теряй меня—скоро буду. Я!»—и рядом с «Я»—шутливо нарисованная женская фигурка, очень похожая на Твою. Совершенно забыл: по какому поводу Ты её писала?—но я сидел над ней, обалдевши, и явственно видел Тебя с высунутым кончиком языка, старательно выводящую эти каракули и фигурку,—и торопливая писулька наполнилась для меня другим, новым смыслом… А однажды нашёл среди своих бумаг золотой-золотой волос—Твой!—и чуть не заплакал над ним, а потом бережно завернул в бумагу—взглянуть на него когда-нибудь ещё.

Трижды мы с Тобой бывали на Чёрном море, на его Крымском и Кавказском побережьях… Как-то не столь давно разговорилась со мной о тех местах сослуживица, много раз там бывавшая; с энтузиазмом вспоминала она тамошние чудеса природы и древние развалины, терзая меня вопросами: а видели вы то? а помните это?.. Я смутно помнил и то, и это—но больше всего мне помнилось лишь обилие света, тепла, солнца, морского простора и синевы, и посреди всего этого, на фоне этого, ярче солнца—только Ты, Ты одна!..

Единственное, что меня теперь мучает: не слишком ли дорого заплачено нами за то, чтобы наши отношения состоялись, и есть ли им оправдание, раз они остались бесплодны? И не из-за того ли иссякли, и не из-за того ли умерла Ты—если только умерла? Или (боюсь произнести вслух тайное сомнение, всё чаще меня одолевающее) и в самом деле есть какие-то высшие силы и высшая справедливость, которые нас настигают и воздают нам на всё?

Где найти ответы на эти вопросы?.. За *такие* отношения, видно, и в самом деле надо много платить? И не больше ли всех заплатили мы с Тобой?.. И зачем в принципе существуют *такие* отношения? Если только для зачатия—чтобы не прервалось человечество,—то ведь для этого достаточно физиологического акта, остальное избыточно, причём избыточность эта хлопотна—насколько без неё проще и спокойней!..

Но, может быть, именно для того, чтобы человечество не только не прервалось, а ещё и придало себе мощный импульс остаться на Земле, и нужна такая энергия избыточности—и именно её человечество бездумно теряет, растрачивая на пустяки?.. Как я теперь сожалею: какую же мы совершили глупость, что избыточность наших отношений не проросла в вечность—мы не родили ребёнка! Столько сил впустую! И виноват только я, я один: ведь я, я нёс ответственность и за Тебя тоже!—но я сомневался в божественной природе наших отношений, и вот итог: Тебя нет, и вокруг пустота. Отразится ли то, что с нами было, как-нибудь в мире—или это бесследно и потому бессмысленно?..

Тебя нет, а я всё продолжаю мысленно разговаривать с Тобой через время и расстояние, и, возможно, через грань бытия; я винюсь перед Тобой за то, что слишком мало прекрасных слов сказал Тебе и мало благодарил, и лишь теперь навёрстываю упущенное; я объясняюсь с Тобой, даже спорю—не затем, чтобы найти истину: разве ищут в споре истину?—в споре, если только в нём нет борьбы амбиций, ищут лишь ускользнувшую гармонию… И если правда, что у души есть вечная жизнь,—значит, мой мысленный голос, который я рассеиваю в виде волновой энергии, долетит до Тебя, Ты его услышишь и узнаешь среди миллионов других в невидимом хоре, и он заставит Тебя пусть даже не ответить мне—но хотя бы настроиться на мою волну и пережить со мной радость нового общения!.. А если нет—так пусть эти мои волны заполняют эфир и, даже когда и меня уже не будет, будут жить независимой от меня жизнью—может быть, давая чьим-то чутким душам возможность уловить мою мелодию, и она поможет им стать чуть-чуть богаче нашим с Тобой опытом.

Вадим Ковда

Покой и свет

Баллада о петухе

Надменный, гордый, в атрибутах власти:
при клюве, гребне, шпорах и хвосте,—
он гнал её, он гнал, исполнен страсти,
готов—всегда, любую и везде.

Она ж свою работу выполняла—
бежала обречённо от него,
кудахча, квохча, с шумом придыхала,
скрывая от подружек торжество.

Мясистая и белая, хитрила,
вкруг мусора петляя и юля.
Она его всё больше заводила,
выписывая гузкой кренделя…

Он молча гнал её—глаза навыкат.
Она ж, чтоб честь свою не запятнать,
бежала. Ну а он—её владыка—
алкал догнать, достукаться и взять.

Минут пятнадцать так они носились:
пыль, перья, гогот, квохт, собачий лай…
Потом амуры пели и резвились,
когда её загнал он за сарай.

И наскочил, растрёпанный и мятый,
как дикое, голодное зверьё,
как гриф, как кондор, как фашист проклятый,
на чистую и юную её.

И стал клевать, как злая тварь лесная.
Топтал, давил, подпрыгивал и мял.
Терзал когтьми!.. О, право, я не знаю,
как он хребет ей, слабой, не сломал.

Казалось, что теперь она загнулась,
что у сарая ей околевать…
Но вот очнулась, скромно отряхнулась
и снова пшёнку начала клевать.

А он уже другую безоглядно
преследовал, проходу не давал…
С каких харчей?—Мне было непонятно:
он, бедный, и пшена не поклевал.

Раб

Нет цельности в твои-то годы?
Ну что ж, смирись и помолчи.
Ты раб любви, ты раб свободы.
Тебя гоняют их бичи…
Как ты устал от сей работы!
Пришла пора повременить.
Ты раб любви, ты раб свободы?..
Их никогда не примирить.

* * *

Окрыляет в жизни невысокой
и зовёт в иное бытиё
с поволокой взгляд голубоокий,
вся фигурка ладная её.

Матери родной забуду имя…
Лгу жене… Вся жизнь—как в полусне.
Лишь блеснёт глазами, лишь обнимет,
лишь прижмётся, тёплая, ко мне.

Оттого-то в ней души не чаю,
да, люблю, и что тут укорять,
лишь за то, как бёдрами качает,
как умеет «кудри наклонять».

И душа бессмысленно ликует,
и горюет, и с ума схожу…
Что уж говорить, как зацелует,
как заплачет, если ухожу…

* * *

Л. Тарану

Столько помнить и совесть не рада.
Я надеждами душу не льщу.
Боль и радость, тоску и отраду—
всё, что было, с собою тащу.

И в былом копошусь, точно в хламе,
реже радуясь, чаще скорбя…
Уходи от меня, моя память,—
я устал, я устал от тебя!

Словно жжёт меня серное пламя—
я хочу чистой жизнью пожить…
Уходи от меня, моя память,
дай хоть что-нибудь мне позабыть!

* * *

Тоской и страстью опалён
и ничему не веря,
я вновь к тебе приговорён,
как к самой высшей мере.

Начнут возмездие свершать,
ну что же—не раскаюсь.
И мне тебя не избежать.
Да я и не пытаюсь…

Аэропорт. Почтамт. Перрон…
И плоть, и душу—рушу…
Я сам к себе приговорён.
И это много хуже.

Памяти княжны

Думай, Стенька! Всё видно заране:
хватит воли, отваги и сил…
Всё равно проиграешь восстанье:
для чего ты княжну погубил?

Пролил крови. Награбил. Дорвался.
А теперь ещё мягок ночлег.
Ну зачем ты над ней надругался—
может быть, и она человек?

Ах, не тот ещё ветер подует.
Ах, крепка ещё кость у Москвы.
Пусть старши́на ревёт и лютует,
но тебе не сносить головы.

Не спасут ни оружье, ни деньги,
мрак обступит, не вылечит хмель.
Ты пропал в то мгновение, Стенька,
когда кончить решил канитель.

Погуляй, побунтуй же, приятель,
взбаламуть подневольный народ.
И на век твой найдётся предатель…
Подожди, уже близок черёд.

Почему?

Утро… Свет с голубой высоты.
Облаков безупречное диво.
Средь великой такой красоты
почему б нам не жить справедливо?

Речка тихая, травы, цветы…
И к воде наклонённая ива…
Средь великой такой красоты
почему мы так жалки и лживы?

Это что—неуменье иль грех?
Мы во что так упорно играем?
И зачем свой бесспорный успех
так бездарно и верно теряем?

И кого нам и в чём обвинять?
Укрепляется дух изуверский…
Неужель, чтоб хоть что-то понять,
мы должны докатиться до смерти?

Томик стихотворений

Тоска и скука в доме,
ковры да зеркала…
Но стихотворный томик
на краешке стола.

Расчёт, бесчеловечность,
сгущенье тьмы и зла…
И всё же—бесконечность
на краешке стола.

Корысти сбита корка,
и вечером в тиши
идёт, идёт подкормка
слабеющей души.

Покой и свет

Недружно листья падали, кружа.
Стожки на солнце весело блестели.
И голос мой, и сердце, и душа,
и птицы, и кузнечики—все пели.

О том, что здесь просторные леса,
что облака уходят вдаль, сияя,
что женщины прекрасные глаза
туманятся, так много обещая…

Покой и свет. Свет, воля и покой.
Ещё любовь, почти как в пасторали.
При жизни неприкаянной такой
неужто мы своё не отстрадали?

Неужто на такое пали дно,
так скурвились, так души искрошили?!
И то, что всем во все века дано,
неужто мы с тобой не заслужили?

Красота спасает мир!
Враки!—не спасает.
Но любовь спасает мир!
Тоже не спасает.

Ленка—царская жена
с подведённой бровью…
Вся Троянская война—
рождена любовью.

Доброта спасает мир!
Сердце верить хочет.
Не ходи, дружок, в сортир—
там тебя замочат.

Бестолковый мы народ—
счёта нет потерям..
Может, нравственность спасёт?
Тоже не уверен…

И сейчас—не гладь, не тишь.
Путь наш всё короче.
Мир спасётся только лишь,
если Бог захочет.

Наш век

Наш век не знаменит.
Чего уж хвастать, право?
Жестокий, как бандит,
бессмысленный, как право…
Нагадил, наследил.
И сам себя карает.
И от избытка сил
всё жжёт
и прогорает…

Олег Янушкевич

Песня северного оленя

Лафет

Ну на что ему, солдату,
Эти гильзы от снарядов
(Просто так иль на лафете)?
И зачем так воют трубы?
И куда идут солдаты,
И чего идут устало,
Почему молчат солдаты
И зачем кусают губы?

Ну на что ему, солдату,
Если нет его, солдата,
Эти звёзды на подушке
И приказы, что герой?
Если враз свалились звёзды,
Если враз палят солдаты,
Если звёзды на подушке
И одна над головой?

Что ты плачешь? Вытри слёзы.
Не вода живая—слёзы.
Лучше смейся—я смеялся,
И ещё любил я звёзды.
Вот и всё. Палят солдаты.
И труба чего то воет.
Было много звёзд когда то.
Есть одна—над головою.

Песня Данилы

(по сказкам Бажова)

Где живу—меня не спрашивай,
Где работаю—не выведывай.
Это тайна, тайна страшная.
Ну, пока, я пошёл, поеду я.

Отпусти меня, отпусти.
Я б остался. Но надо идти.

Ждут меня резцы да яхонты,
Это тоже тайна страшная.
Да ещё заждались ящерки
С малахитовой вместе чашею.

Отпусти меня, отпусти.
Я б остался. Но надо идти.

Ждут меня узоры хитрые.
Ждёт меня хозяйка медная.
Не могу без малахита я.
Ну, прощай, я пошёл, поеду я.

Отпусти меня, отпусти.
Я б остался. Но надо идти.
Отпусти меня, я молю.
Я ведь, знаешь, Хозяйку люблю.

Переправа

Дождь стучит по каскам, как по крышам,
И стекает с касок, словно с крыш.
Пацанва, безусые мальчишки:
Этот слаб, а этот вот—крепыш.
Вам сейчас с девчонками, а вы вот…
Переправа, каски да паром.
Этот рыжий, как собака, вымок.
И в глазах у каждого перрон,
Свой перрон. Да всех-то вас не встретят,
Многим суждено вот тут остаться.
Будут здесь гулять над вами ветры
Да берёзы приходить на танцы.
Вот, смотри, как бомбы будут падать.
Вот сейчас шарахнут переправу.
Ты возьми да грудь прикрой лопатой.
Эх, пацан, да кто ж мне вас направил!
Ну вставай, чего ко мне прижался?
Слышишь, как тебя? Уже шарахнуло!
Чёрт с ней! Снова наведём, не жалко…
Это что, пацан, с твоей рубахою?
Кровь! Чего же ты не дышишь?
Ты меня прикрыл, пацан! Молчишь…
Дождь стучит по каскам, как по крышам.
И стекает с касок, будто с крыш.

Я спрошу—и ты ответишь,
Сколько звёзд на белом свете,
Кто выкатывает солнце,
Почему жуют так долго
Сено свежее коровы.
Ты ответишь—ты же знаешь!
Нет, ты всё спешишь куда-то!
Недостроенный скворечник,
Как больной, в моих игрушках…
Обещаешь, забываешь…
То сидишь и смотришь мимо
И меня совсем не видишь…
То мне голову погладишь,
И накроешься газетой,
И уходишь в мир газетный.
Вот я вырасту до неба,
И тогда меня ты спросишь,
Потому что ты забудешь:
Сколько звёзд на белом свете?
Кто выкатывает солнце?
Почему жуют так долго
Сено свежее коровы?
Спросишь ты—и я отвечу!
Если только не забуду.

Песня северного оленя

Над тундрой моей просыпается день,
И я просыпаюсь, и каждый олень.
Но только ступлю на серебряный лёд,
Как тут же вдогонку отец мне поёт:

Уймись,
Не оступись о круг полярный,
Смотри не обожгись
О свет сиянья.
Не провались в холодный омут,
Не застудись,
Не растеряй в горячем беге серебро!

Теперь-то я вырос. Я вольный олень.
Хочу—побегу, догоню свою тень.
Где я ни промчусь—серебро зазвенит,
Но только отец всё твердит и твердит:

Уймись,
Не оступись о круг полярный,
Смотри не обожгись
О свет сиянья.
Не провались в холодный омут,
Не застудись,
Не растеряй в горячем беге серебро!

Я быстрый и сильный, богат я добром.
И совам, и белкам дарю серебро.
Зимою и летом копыта звенят,
А песня отца догоняет меня:

Уймись,
Не оступись о круг полярный,
Смотри не обожгись
О свет сиянья.
Не провались в холодный омут,
Не застудись,
Не растеряй в горячем беге серебро!

А годы—как птицы. И нет серебра.
И нет волшебства, а ведь было вчера.
Холодное солнце свалилось за чум,
И я молодому оленю кричу:

Уймись,
Не оступись о круг полярный,
Смотри не обожгись
О свет сиянья.
Не провались в холодный омут,
Не застудись,
Не растеряй в горячем беге серебро!

Вы помните Стаську с Чкаловской?
Да помните, чтоб я сдох!
Ну как же! Стаську с Чкаловской—
Чистильщика сапог!

И госпиталь на Чкаловской—
Сейчас в нём пединститут.
Смотрите—какие чинарики
Метлою метут!

Чинарики можно высушить!
Зачем пропадать махре?
Чинарики можно высушить
И выменять на хлеб!

По улице—мёрзлые листья.
Труба заводская гудит.
—Кому сапоги почистить?
А ну подходи, подходи!

Несутся полуторки мимо,
И раненых—пруд пруди.
—Эй, дядя! Солдатик!
Эй, милый!
Почистим, а ну подходи!

Надраю бархоткой и кремом
До блеску, за высший сорт!
Эй, дядя, какого хрена!
Почистим, ведь вы же на фронт!

В таких сапогах, простите…
Вам столько ещё пешком!
Ну я вас прошу, подойдите,
Я вылижу их языком!

И чтоб по сугробам, по глине,
Пусть хоть на карачках, ползком,
Но вы их снимите в Берлине,
Ну а назад—босиком!

И тысячи их, изодранных,
Впитавших солдатский пот,
Валялось сапог у Одера
И у Бранденбургских ворот…

Вы помните Стаську с Чкаловской?
Да помните, чтоб я сдох!
Ну как же! Я—Стаська с Чкаловской,
Чистильщик ваших сапог!

Надежда Герман

Восьмая нота

Галера

*Авторитетный пастырь, хмурый, как вор в законе,
смотрит куда-то мимо из-под припухших век…
Знать бы, куда поедем, если откинем кони,
видеть бы, что приснится, если уснём — навек!..*

1.

Живое — тянется к теплу,
но Вечность — не имеет меры…
Я — раб, прикованный к веслу
пустой галеры.

Я пью безверие до дна,
как на пиру из полной чары
пьют лицедеи и корсары —
и допьяна, и допьяна!

К беседе ангелов зову,
но никому меня не слышно…
Всесильный Ра, Аллах и Кришна! —
откликнись, Господи… ау!

2.

То, что казалось вечным, — тает, как свет в окошке:
холодно — там, снаружи… муторно изнутри…
Я приручаю Вечность, выложив на ладошке
жалкий остаток жизни: зверь ненасытный, жри!..

Ветер, туман и солнце. Клочья лазурной пены.
Парус белее снега. Купол небесный — чист.
Светятся дуги радуг. Внятно зовут сирены…
(то воробьиный щебет, то соловьиный свист…)

Птичка садов эдемских, пой, да не больно шибко!
Вверх запрокинув очи, что ты опять несёшь? —
или в расчётном курсе произошла ошибка,
и горизонт свернулся, будто уснувший ёж?

Поздно… и сил не хватит, чтобы доплыть обратно:
камень, упавший в воду, тает на глубине…
(Бездна меня — не тронет… даже ежу понятно:
если душа утонет — ей не гореть в огне!..)

3.

Все мы, рабы Господни, служим не больно честно!
Лбами столкнулись ветры с разных концов Земли.
Вечность — кромешный хаос? или — пустое место,
где без следа пропали звёзды и корабли?

Вёсла скрипят и цепи лязгают на галере.
Сник утомлённый кормчий: мрак — не видать ни зги!
Всех нас научит плётка верить в желанный берег:
все мы — рабы Господни до гробовой доски…

Нам ли являться к Богу, требуя новой роли?
Дремлет ручная Вечность, ткнувшись веслом в ладонь.
Это — почти свобода. Только саднит мозоли.
(Если душа утонет — кто за неё в огонь?..)

Тоска по Родине

…где тепло, там и Родина…
Лука из пьесы А. М. Горького «На дне»

Душа — как высохшее дерево
на фоне бурого заката…

Седой дымок над крышей терема
и шум речного переката…

Не страшно вóрону сорваться
в густые заросли смородины…

А у Летучего Голландца
ни крыльев не было, ни Родины —
как у любого агасфера,
забытого в земной пустыни…

…По миру ветрено и серо,
но где-то есть огонь в камине!

…И мы тоскуем по чему-то,
не зная, что творится с нами,
и всё пытаемся распутать
следы, оставленные снами:
какие памятные даты
нас по ночам в объятьях душат?..
каким сокровищем богаты
ещё не проданные души?..

…Костёр. Лиловая палатка.
И алый флаг на рейде реет…

А Родина — не там, где сладко,
но где хоть что-нибудь да греет…

…и мы искать её уходим
в необъяснимое куда-то
на двухколёсном пароходе,
пропахшем копотью и мятой…

…Мой парус не прочней бумажки,
чернильница не глубже моря…

…Мне снится: небо — и ромашки
рассыпаны на косогоре…

И вечный бой! Труба зовёт солдата.
Встать под знамёна звёздного полка
Труба зовёт — она не виновата…
Набухший снег — как скомканная вата…
Цена победы слишком высока.

И некому поплакаться в жилетку…
(Есть только бронированный жилет!)
Но верь, солдат, ещё наступит лето!
И это неизбежно, как победа…
Неважно чья: не проигравших — нет…

Вариации на собачью тему

1.

Темнеет… моросит… хандрит печёнка…
Внутри растёт озноб, как снежный ком.
В глаза глядит печально собачонка
и лижет руку тёплым языком.

Доверчиво, по-свойски… Эх, подруга!—
какая от меня тебе корысть?—
ты—старая и умная зверюга,
а у меня—такая закорюка…
такая карусель—хоть в гроб ложись!..

Один просвет во всей собачьей жизни:
уткнуться мордой в тёплую ладонь
и слушать, как в печи гудит огонь…

…А за окном—рябиновые кисти,
и лысый дворник мучает гармонь.

2.

Приду с работы вечером, найду халат и тапочки.
Собака вислоухая обрадуется мне.
Включу торшер у столика, чтоб стали мне—до лампочки
проблемы, вереницею идущие извне…

Заварка будет старая, почти позавчерашняя…
Плесну в стакан из чайника горячего питья.
Без сил—и без косметики, сама, как пёс, уставшая,
предамся размышлению о смыслах бытия.

Хоть время будет позднее, чтоб открывать Америки…
но и во тьме египетской—отдушина видна:
от чёрной меланхолии, унынья и истерики
спасут—тетрадка в клеточку, собака и луна.

Луна—такая близкая, печальная, как задница,
висит одна над бездною, где звёздам—нету числ…
(В означенной метафоре мне лично больше нравится
не грубость выражения, но—утончённый смысл.)

А псина—смотрит пристально, внимательно и преданно
и думает, наверное, о добром и простом:
мы все, конечно,—заняты… нам жить, по сути,—некогда,
но можно—время выкроить и повилять хвостом!

Розовые чайки

Розовые чайки.
Чёрные воро́ны.
Небо голубое.

Мальчик в красной майке
делает поклоны
в сторону прибоя.

Середина лета.
Мелкая монета,
брошенная в воду.

Дуйте—и не плачьте—
по отвесной мачте
прямо к небосводу!

Солнце золотое.
Линия прибоя.
Акробаты в алом.

Девочка. Косичка.
У причала бричка
с пёстрым покрывалом.

Пешка ходит в дамки.
Доктор ищет средство.
Штурман ждёт момента.

В золочёной рамке
розовое детство,
голубая лента…

Восьмая нота

1.

Было ветрено. Пахло тиной.
Падал снег. Приближалась ночь.
(Лужи… Дождь по дороге длинной…)
На картине одной старинной
нарисовано всё точь-в-точь:
сеть зелёная на заборе,
волны, чайки над бездной вод…
Но сегодня в сонате моря
не хватало каких-то нот.
Может, так проступает старость
из тумана… едва-едва?..
…Я как будто ещё старалась
на ходу подобрать слова
поточней… Но цветные фразы,
как бы ни были высоки,
будто комья дорожной грязи
налипали на башмаки:
ювелирная вязь аккордов…
рифмы… радуги… «Отче наш…»…
Вдохновенье моё упорно
в каждом звуке искало фальшь:
голос сердца… томленье духа…
самоценность земных святынь…
(…Будто слон наступил на ухо,
и слова—как во рту полынь…)
Будто воля чужая чья-то,
всё решившая наперёд,
в ей лишь ведомое куда-то
всё несёт меня… всё несёт…

2.

Но однажды над сонным морем
грянет луч, будто гром небесный…
(Мокрый тополь, дыра в заборе,
крики птиц над свинцовой бездной.)
И вернусь я сюда украдкой
синим вечером, тени тише…
(хоть с этюдником, хоть с тетрадкой…)
И закину я невод трижды:
сквозь осеннюю непогоду
за распахнутой настежь дверью
нарисую себе свободу
и, как в Бога, в неё поверю.

Чуть слышное движение души
уже похоже на фрагмент улыбки…
Ещё мечты и призрачны, и зыбки,
но так непобедимы миражи!..
В туманной тишине, над жижей лжи,
взметнулся голосок ожившей скрипки.

И снова, в сотый раз, душа моя,
разбитая, как старое корыто,
обидами, как струпьями, покрыта,
нагая, без обличия и вида,
рождается из мути бытия…
как из морской пучины—Афродита…

Сергей Князев

Я спустился в подвал

На страничке потрёпанной, той, что вот-вот
Вдруг однажды покинет карманный блокнот,
Там записано важное что-то,
На страничке, которая вдруг пропадёт…
А пока — она крепко в блокноте живёт,
Только выпала из переплёта.

Здесь любимые люди свои адреса
Записали. Творили они чудеса,
Я к ним греться ходил в лютый холод.
Чудотворцам, им было легко на земле:
Души их никогда не горели во зле,
Я же был и доверчив, и молод.

Каждый знак на страничке потрёпанной был
Мной. Меня осудил и простил
За великие за прегрешенья.
Может статься, и жизнь моя так же пройдёт,
Как страничка покинет вот этот блокнот.
Ищешь, ищешь — и нет утешенья.

Три молчанья

Ничего от Вселенной не просит
Этот на́сквозь проплаканный дом.
Скоро лопнет заржавленный тросик,
Будет ставень летать пред окном.

О, печальное благодаренье
Жизни, выпавшей в горестный срок!
Три молчанья, Три Матери Древних,
Свой военный смолят табачок.

И мне чудится страшная тайна
В этом доме, похожем на скит.
Слово, несколько слов, и — молчанье,
И — молчанье, и — «Бог вас простит!»

Я ушёл от прочитанных книг,
Я забыл всё, что раньше читал.
Я ушёл, я забыл про дневник,
Я спустился в подвал.
Я спустился в подвал, я проник
Глубже хрестоматийного «Дна».
Здесь нашли мы старинный тайник —
Я да крыса одна.
В сто замков был одет молчаливый тайник,
Мы его открывали сто лет.
И тайник тайника перед нами возник,
В сто печатей одет.
Когда сотую сняли печать —
Нам открылись сто тайн тайника.
Вот теперь бы и повесть начать —
Плавно, издалека…

Я обернусь к озябшему кусту.
Мы с ним погодки. Рядом проживая,
Мы оба заполняем пустоту
Двора, ночного города и края.

Глядишь вокруг, и — ночь, и — ни-ко-го…
Но куст! В нём столько света преломилось,
Что взгляд любой светлеет от него,
И малость принимается как милость,
Когда звезда затеряна в листве,
А мир спелёнат високосной тенью.

Так вот с кем я в соседях и родстве! —
И к темноте причастен, и к растенью.

Ладонь подоткнута под бок,
Глаза белеют из-под век…
Так под заборчиком прилёг,
В клубок свернувшись, человек.

На полусбитом каблуке —
Подковы стёршаяся сталь.
И прижилась на пиджаке
Его военная медаль.

Он полупьян иль полуспит —
Не важно. Важно, что — устал:
Когда-то был он страшно бит
И сам, быть может, убивал.

Подробно видится с балкона
Наш двор, понятный всей земле.
Коляска детская у клёна,
Блокнот и ручка на столе.

Там, помню, женщина сидела:
То на руки дитя возьмёт,
То пишет что-то, то и дело
Листая медленный блокнот.

Дитя заплачет — ветер дунет —
Потонет в листьях детский плач…
С того ль, что женщина колдует,
Иль оттого, что я незряч, —

Пред ней я видел не страницы,
Но окна здания уже,
Где творчество и материнство —
Два бога, данные душе.

Я много повидал на свете
И слёз, и милой чепухи.
Но — этот клён! Но — этот ветер!
Но — эти женские стихи!

Женщины в дзюдо

Не шлюха, не богиня, не раба,
Но—ах!—как эта женщина груба!
А как свободно сделала захват!
Как бросила соперницу на мат!
И крякнула при этом. Но за то
Она достигнет звания в дзюдо.
Устала. Из-за уха вытек пот.
И вот—опять соперница встаёт,
Опять—захват, рывок, присест—бросок.
И кисть её цепка, и стан высок.
И вновь её соперница встаёт,
И вновь—захват, рывок, переворот…
И вновь её соперница встаёт,
И вновь—захват, рывок и крик: «Адью!»
Но вновь её соперница встаёт
И всё твердит: «Убью тебя! Убью!»

В руках её—сеточка с палкой,
А ноги обуты в ботинки.
Шла бабушка в Павловском парке,
В кустах подбирала бутылки.

А в парке июньском—так жарко,
Что люди разделись до плавок.
«И бросить бутылки, да жалко…»

Так шла она—влево, то вправо
Качнётся: знать, ветер изменчив—
То дунет он, то—пожалеет.

А сеточка—всё тяжелее,
А бабушка—легче и легче…

Тщеславья демон стерегущий
Ни стен не знает, ни окон.
Он для души—лишай стригущий,
Закон, свергающий Закон.

Ты на горе живёшь иль в горе,
Хорей поёшь иль чтёшь тропарь—
Он поселяется в притворе,
Чтобы скорей войти в алтарь.

Ты был восхи́щен к райской куще
И свет нетварный созерцал.
Тщеславья демон стерегущий
Об этом людям рассказал,

И вот—ни образа, ни света,
Ни тишины сердечной нет.
Всё стерегущий демон это,
Из сердца пьющий Божий свет.

Отчаянье от радости поёт.
В воздушном теле птица Досвиданье
Воды попьёт и гнёздышко совьёт.
Душа уже не бродит взад-вперёд,
А в вечное стремится мирозданье.
Там, где гуляло имя Легион,
Звучит Октоих. Ангельский канон,
Составленный из несловесных слов,
До светлых долетает облаков.
Потёмками, в безоблачной дали—
Ты помнишь ли, куда народы шли,
Куда глядели смутные глаза?

Нам Радость отворила образа,
Преображая и земную ось,
И всё, что здесь отчаяньем звалось.

Сон

Подходят люди. «Мама, это ты?»
Но люди превращаются в цветы,
В наскальные саранки и тюльпаны.
И плот плывёт посередине Маны,
Но вот уплыл в чудны́е небеса.
Сплетаются лучи и голоса
Светил и женщин—Оли и Марины.
В хрустальной вазе, хрупкой, дорогой,
Одна волна сменяется другой,
Гора с горою сходятся в долину,
Долина нас уводит за собой.
Раз полюбив, как этот мир покину?..
Мой тихий брат, красивый и живой,
Уводит вдаль тяжёлую машину
И всех нас вдаль уводит за собой.
И снова скалы. Красное на чёрном,
И вновь—машины красные борта,
И красный дом на небе золочёном,
И мама открывает ворота́
Оранжевого лёгкого забора.
«Не уходи! Куда же ты? Постой!»
Но медленный трубач уходит в гору
С возлюбленной улиткой золотой.

Чек и сдачу взяла у кассы.
Молодая и с броской брошью.
Вот походит к отделу «Мясо»,
Говорит: «Позовите Гошу!»

Выйдет Гоша, красивый, пышный.
Скажет: «Здрасьте!»—и загрустит.
А взмахнёт резаком—и слышно,
Как застывшая кровь хрустит.

Юрий Татаренко

Шахматная партия

Какие же прощальные слова
Желтеющий листок готовит ветке?
Узнает не стрела, а тетива—
Что пробил час выписывать виньетки.

Но осень не преступник, не палач—
Король в углу, уставший, жаждет пата…
Что шепчет лист, недвижен и незряч,
Вступая смело в реку листопада?

Насвистывает пошленький мотив:
«Прости-прощай, любить не обязуйся…»?
И камеру поставит на штатив
Мальчишка-оператор, шкет безусый.

Рассветы разноцветьем пеленать—
Задача для любого непростая…
Как хочется желтеть с листвой и знать,
Что слово напоследок предоставят.

Какие же прощальные слова
Желтеющий листок готовит ветке?
Узнает не стрела, а тетива—
Что пробил час выписывать виньетки.

Но осень не преступник, не палач—
Король в углу, уставший, жаждет пата…
Что шепчет лист, недвижен и незряч,
Вступая смело в реку листопада?

Насвистывает пошленький мотив:
«Прости-прощай, любить не обязуйся…»?
И камеру поставит на штатив
Мальчишка-оператор, шкет безусый.

Рассветы разноцветьем пеленать—
Задача для любого непростая…
Как хочется желтеть с листвой и знать,
Что слово напоследок предоставят.

На лугу

Влюблённые скрываются в траве.
Глаза опустит клеверная кашка…
А был ли мальчик—ну, поди проверь,
А был ли первым—девочка не скажет…
В моей руке не спит твоя рука—
А там, на коммунальном небосводе,
Во сне задушенные облака
Никто лениво мелом не обводит…
Свидетелей убийства—устранить:
Неписанное правило из «зоны»,
И нас с тобой живыми хоронить—
Зелёная толпа до горизонта.

Сорок строк из Завьялово

Слёзы сами, без подсказки
Начинают улыбаться…
Здравствуй, кайф по-карахански,
Здравствуй, море,—
Здравствуй, база!
Ни клеёнки, ни скатёрки…
Звякнут вилки-ложки—тихо,
Наслаждения шестёрки,
Шестерёнки аппетита!
Помнят девушку босую
И прожжённые галоши…
Аромат грибного супа
Бросил крышку ради ложки.
Мох, беременный грибами,
Бросит тень на лес, не бросит?
Солнца луч, ствол огибая,
Превратился в знак вопроса.
Волны прокурорским тоном
Требуют прямых улиток!
В томике Андре Бретона,
Минералкою залитом,—
Сила дневника Пандоры,
Тайна жертвоприношенья…
«Балтику» узнает штопор
Лишь по родинке на шее.
Пьют мужчины на природе,
Водку пивом запивая,—
И динамики «Короллы»
Жажду жизни отпевают…
Ветер, обо мне подумай!—
О свободе думать стыдно!
Волны льнут к бетонной тумбе…
Толя, где ты?—водка стынет!
Неохота откликаться…
Пахнет ссора перегаром…
Любят змеи пресмыкаться!
На земле—не до регалий…
Белый в шаге от тропинки—
Бомж с июльскою пропиской!
Просит
Допинга слезинки
Буква «я» в твоей записке.

Культурная программа

Приглушённый свет.
Телевизор сник.
Тает слово «нет»…
Да и леший с ним…
Точно-точно в цель…
Прочный-прочный хват…
Классики концерт.
Фрак коротковат.

7 ноября

Упадок сил. И слякоть не в новинку.
Суббота размагнитит полюса.
Листу на ветку не найти тропинку,
И на заборах нечего писать.
Начало ноября под слоем масла.
Асфальт включил растаявший балет.
На запах звёзд—закатная гримаса.
И мой народ включает в окнах свет.

Шахматная партия

Я на грубияна непохож,
Ты меня ещё не разглядела.
Вон пацанчик—вылитый Гаврош,
Хоть сейчас бери с собой на дело…

Только распоследний размазня
Может не ответить на нападки!
Синий купол на исходе дня
Красный шар положит на лопатки.

Пусть поют мадмуазели блюз,
Вызывая головокруженье,—
Песня шлюпки служит кораблю
Поводом для самоутвержденья.

Офицер не выглядит качком,
Просто в состоянии аффекта—
И уже, пардон, лежит ничком
Ферзь, напоминающий конфету.

Ногу припечатывать к груди
И к паркету—не одно и то же:
Выиграть не значит победить,
Победить не значит уничтожить.

Хижины—родители дворцов,
Собирают желуди—под дубом,
Но при виде пламенных борцов
Лично я б на искру не подумал…

Лает на прохожих злобный пёс,
Только что был—безобидный бобик!
Уи, ле заппарансе сон тромпёз—
Но мы не во Франции с тобою.

Лучше б назвала меня козлом:
Вот, мол, околачиваю груши…
Втаптывает звёзды в небосклон
Туча, непохожая на тушу.

Поэты вне себя живут,
Их крик—на грани преступленья.
На троне «мэйд ин Голливуд»,
В пыли «высокие стремленья»…
Не по одной ли шли цене
Мечты Обломова и Штольца?
Но лишь на срубленной сосне
Заметны годовые кольца.
И если рифма дочь смолы—
Стихи похожи, вероятно,
На схватку века и пчелы,
Вражду неясного с понятным.

Отшлёпали лягушки недоверия.
Своё отпели соловьи предательства.
В футляре ртутный столб высокомерия.
Бинтам и гипсу не до разбирательства.
Похмельем серп и молот забракованы.
С утра рыбак бредёт домой за удочкой.
Нас примут за болотом в насекомые.
Не всё клочкам летать по закоулочкам.

В ночь, в тьму-тьмущую—напропалую,
Путеводно сверкают зрачки.
Реагирует рот поцелуем
На раздавленные очки.
Серебристая нега в перилах
И в ребристости карандаша.
Это лето. Несложные рифмы
И мучительный поиск Ковша.
С простодушьем конфетно-букетным
Раздвигается щёлочка штор,
И подхватит с утра эстафету
Неуёмный соседский топор,
Что взасос расцелует полено,
Бросит взгляд на бревенчатый мост…
Это осень: река по колено
И трава в человеческий рост.

Дремотой выложено дно
Непроходимого оврага…
Размотанное полотно
тумана—
Мнится белым флагом.
Росой стреножена трава,
Ручья запутаны поводья,
И тяжелеет голова,
И сон не в силах побороть я…
Я был, казалось, на коне
В последнем нашем разговоре…
Заката шрамы—всё длинней
В небес болезненном узоре.
Густеет темноты бальзам…
Тебя я встречу, без сомненья,—
На дальних подступах к слезам,
На тайных тропах пробужденья.

Любимая стала мамой—
Да это же суперновость!
Да, радостей в жизни мало,
Когда ты не Казанова…
Чертям не отнять у тёщи
Врождённого глазомера:
Узнает, кто раньше, кто позже,
Про три кг и полметра…
Такая фраза простая—
А сколько чувств неподдельных!—
Любимая мамой стала.
А ты до сих пор бездетный.

Стефано Гардзонио

Рабыня кудрявая

Подлинная история «Рабыни кудрявой»

Знаменитый на весь мир итальянский славист Стефано Гардзонио, профессор Пизанского университета, в течение десяти лет (1999–2009) президент Ассоциации итальянских славистов, член Международного комитета славистов и Международного комитета по изучению Центральной и Восточной Европы, основатель новой серии по современной русской литературе в Италии, серии по эмигрантской поэзии „Русская Италия“ в Москве» и прочая, и прочая (кому интересно — посмотрите в Интернете и «Журнальном зале»), давно уже стал активным участником современного российского процесса, что и послужило поводом для его награждения медалью Пушкина «За заслуги в развитии российско-итальянского культурного сотрудничества» согласно указу Президента РФ от 08.03.2007 № 293. И совсем недавно, уже в этом году, — литературной премией «Глобус».

Круг его интересов чрезвычайно широк и простирается от фундаментальных исследований в области истории и теории русского стиха, статей о Державине, Жуковском, Пушкине, Бенедиктове, Лермонтове, Блоке, Балтрушайтисе, Вяч. Иванове, Мандельштаме, Пастернаке, русских политэмигрантах в Италии до остроумных, отнюдь не академических штудий на тему «русского шансона» вообще и наших блатных песен в частности. Всё это удаётся ему благодаря блестящему знанию *живого* русского языка, прекрасному пониманию *контекста* современной русской культуры, а также знакомству, а то и дружбе с физическими лицами, эту культуру представляющими. Начиная со знаменитостей типа Виктора Шкловского и заканчивая простыми российскими любителями «Жигулёвского» пива, песен В. Высоцкого, а также группы «Лесоповал». Автор более трёхсот статей (на итальянском, русском, английском, французском и литовском языках), книг и переводов с русского, Стефано Гардзонио, используя свои знания, навыки и способности, написал к тому же три повести на близком ему, но всё-таки не родном русском языке. Одну из них я и хочу предложить вниманию читателей «ДиН».

«Рабыня кудрявая», чьё название лично у меня вызывает «неконтролируемые ассоциации» с песней «Уральская рябинушка» про «справа кудри токаря, слева — кузнеца», на самом деле погружает нас в иную географическую, смысловую и художественную реальность. Герой этого «фантастического пастиша» совершает нервное и загадочное путешествие на знаменитое, бесподобной красоты, Амальфийское побережье юга Италии, где, по преданию, были захоронены мощи апостола Андрея Первозванного. Легендарный язычник Эгеат, его жена Максимилла, композиторы Вагнер и Мусоргский, актриса Грета Гарбо, дирижёр Стоковский, чекист с револьвером, разыскивающий некую Ниночку, художник Клингзор, существовавший исключительно в воображении Нобелевского лауреата Германа Гессе, и реальные обитатели современного мира — спец по рекламе швейцарец Шонке, итальянские кабатчики-анархисты, шепелявый профессор Моцциконе, — все они здесь, в едином *писательском* пространстве и времени, все они, включая романтического рассказчика, всего лишь персонажи некой пьесы, которую автор «забыл на столике в баре и назад за ней не вернулся». Потому что литература есть литература, а жизнь в виде «высокой кудрявой красавицы» всё же поважнее будет. Лично я такие сделал выводы из чтения этого внешне «высоколобого» текста. И так увлекательно было следить мне за тем, как справляется коренной флорентиец Стефано Гардзонио со своей, поставленной им же самому себе, немыслимой задачей — создать полноценный текст на русском языке! Задачей, которую не смог разрешить даже великий поэт Рильке, чьи замечательные «русские стихи» всё же полны очаровательных старательных неправильностей, начисто отсутствующих у Гардзонио, чья лексика, на мой взгляд, вызывает в памяти стилевые изыски прозаиков Серебряного века с их осознанным «остранением». Я высоко оценил этот текст. Но мне интересно, как оценят его мои просвещённые земляки-красноярцы и другие читатели всероссийского толстого журнала «ДиН», издающегося в холодной Сибири, за тысячи вёрст от горячей Италии. Думаю, что оценят — ведь и *у них*, и *у нас* живут, любят и страдают люди. «И *всюду* страсти роковые, и от судеб защиты нет», — некогда написал А. С. Пушкин для всех нас. А курсив — мой.

Евгений Попов
7 февраля 2011, Москва

P. S. А ещё интереснее, как отнесётся к «Рабыне кудрявой» творческая молодёжь. По-моему, здесь для талантливых и «продвинутых» воспитанников известного и единственного в России Красноярского литературного лицея широкое поле деятельности. Для написания эссе, например, — на тему, например, «Смысловые аллюзии «русской прозы» С. Гардзонио». Или ещё лучше — «Подлинная история „Рабыни кудрявой“».

Предуведомление

Данная повесть написана в жанре фантастического пастиша. В ней описываются реальные места и отчасти реальные лица. Она обдумывалась во время моей короткой поездки в Амальфи и строится как комбинирование разных временны́х и исторических срезов. Действительность и фантазия перемешиваются, и с ними внешнее и внутреннее, эмоциональное, время. Ведь фантазия всё равно есть скрытая сторона действительности. Я старался её раскрыть в своих разыс каниях, в исторических и мифологических источниках. Конечно, всё может казаться легкомысленным и поверхностным, но литература—это и развлечение. Итак, я накопил разные литературные и музыкальные материалы, касающиеся Амальфи, Эгеата, Максимиллы, композитора Шонке, Вагнера, Греты Гарбо и пр. Получилось переплетение разных героев и сюжетов, которых я поставил в конкретный увиденный мной мир. Как в любом пастише, в повести приводятся фрагменты чужих текстов (Флобера в переводе Тургенева, рассказ из *Novellino* в собственном пересказе), многочисленные цитаты и подтексты. Но это не так важно. Надеюсь, что читателю просто будет интересно, и немного он тоже почувствует ностальгию по невиданному и недостижимому. Но почему писать повесть по-русски? В шутливом тоне об этом читатель найдёт ответ в словах одного героя. Главное, я хотел посмотреть извне на себя и на собственное скрытое стремление к творчеству. Язык—это и есть точка зрения. Мне захотелось выбрать необычную перспективу. Русская литература оказалась в моей жизни вторичным, но решающим ориентиром. Мне захотелось поделиться с любимым собеседником.

С. Гардзонио

Прибыв с опозданием в Неаполь, я заметил, что поезд на Салерно ещё стоял на двадцать пятом пути. Побежав по платформе, я успел впрыгнуть в вагон за миг до автоматического закрытия дверей.

Поезд состоял из двух вагонов и был совершенно пуст. Безлюдье меня сразу поразило. Механический голос бездушно произнёс подряд все названия остановок: Портичи, Санта Мария ла Бруна, Торре-Аннунциата, Помпеи… При упоминании последних я поднял глаза и вдалеке узнал голый облик Везувия. Тёмно-жёлтые его склоны, призрачные его очертания запечатлелись в моей фантазии, и чёрная тупая вершина этой голой горы, мне показалось, дрогнула, как морщинистый рот старика…

Я стал осматриваться вокруг. В поезде никого не было… передо мной мчались огромные обшарпанные дома неаполитанских пригородов… везде сушилась жалкая одежда и простыни жителей огромных безличных кварталов, из опустелых заводских корпусов выглядывали какие-то странные бездонные глаза… во дворах и на площадках громоздился металлолом: старые ржавые станки и грузовики…

Я опять осмотрелся вокруг и заметил, что кабина машиниста открыта настежь и внутри неё никого не было… поезд мчался без водителя… я вдруг подумал, что я сижу в игрушечном детском электропоезде… Вот куда я попал… Поезд время от времени останавливался. На перроне стояло много людей… Никто в поезд не садился… Их бездонные взгляды меня поражали… Двери закрывались, и поезд мчался дальше… Он прибыл в Салерно точно вовремя. Да, в Салерно, в город знаменитой медицинской школы. Я вышел из поезда и вдруг заметил, что вместе со мной выходит из другого вагона странная женщина в чёрном платье… Она сразу же удалилась быстрым шагом… я мог лишь различать её светлые кудри… вскоре она исчезла.

Я отправился в центр города. Целью моей поездки было найти ответ на очень странное письмо, которое я неожиданно получил несколько дней назад и которое (не знаю, правда, почему) принял всерьёз. Почему так получилось, что я даже бросил всё и поехал,—просто не знаю, но в жизни бывают какие-то внутренние порывы, какие-то внезапные просветления, которые заставляют думать о том, что мы находимся здесь и в другом месте одновременно, что мы живём сейчас—и, вместе с тем, в другое время… Излагаю коротко содержание полученного мной послания:

«Уважаемый сударь! Пишу вам и трепещу! Только вы можете освободить мою душу, только вы, мой тюремщик и палач! Я ваша, и только от меня зависит ваше счастье!! Придите и отворите мне путь через стену, за которой вы меня замуровали!! Придите. Сижу я в башне древней крепости!! Море пенисто меня лелеет или, рыдая, бурно грозит. Придите за крутые скалы, за узенькие зелёные бухты, за миртовые рощицы, придите сюда, где божественная мелодия украшает древние руины, где душисто капает *Lacryma Christi*[1] и где компас жизни и смерти вертится меж югом и севером, меж западом и востоком в башне у синей говорливой волны. Любовь—его начало: *Ама*… первая буква греческого алфавита α (альфа)—его конец (ω не бывать!). Амальфа… Ваша рабыня кудрявая».

Я пошёл бродить по городу. Спустился к морю и стоял долго на берегу без ощущения окружающего мира, без воли, без мыслей. Очнулся вдруг, когда какая-то старушка спросила у меня, где находится кафедральный собор. Придя в себя, я уверенно показал ей дорогу и потом, затрепетав, вспомнил, что я приехал в Салерно в первый раз в жизни. Отошедши от берега, я пошёл по Корсо Витторио. Я остро почувствовал гладный призыв пустого желудка, и как только дошёл до улицы Деи Мерканти, какой-то внутренний толчок меня направил вверх до Салернской медицинской школы. Оттуда, поднимаясь по переулочкам, я пришёл к собору. Зачем я так решительно стремился туда—сам не

1. «Слеза Христова»—знаменитое вино, производимое у подножья Везувия.

мог понять. Вдобавок вход во двор перед фасадом, так называемые Ворота львов, был закрыт. Я всё равно поднялся по ступенькам и через решётку заглянул во двор и на фасад.

«Максимилла! Максимилла!»—вдруг вырвалось, и я в испуге выбежал назад.

Я даже не заметил, как ко мне подошёл человек среднего возраста. Он тащил из магазина какие-то сумки. Я заметил, что в одном пакете царствовал огромный сельдерей. Он на него тоже взглянул и сказал: «Да, пора обедать, а мне ещё надо готовить приправу для соуса. Вам посоветую пообедать там, в той таверне!»—и указал на тускло освещённые изнутри стеклянные двери чуть выше по переулку, поднимающемуся вверх от собора в сторону церкви Св. Доменико.

Над дверьми висела вывеска: «Гостария иль Бриганте». Да, вы правильно поняли: «Трактир Разбойника»! Я обернулся, но человек уже исчез, и улица оказалась совсем пуста! Что за странная история со мной происходит?! Как будто какой-то готический рассказ! Я долго оглядывался вокруг. Какие-то школьники с рюкзаками за плечами возвращались домой после уроков, низкий и толстенький человек сидел и курил на соседней площади. Как и все, он читал розовую спортивную газетёнку. Я как будто заметил промелькнувшую у широкого окна огромного дворца на площади женщину с кошачьей головой; мне даже показалось, что у неё хвост торчит за спиной.

«Ну и что? Войдёте или как?»—сухо спросил у меня человек среднего возраста и роста, с седой гарибальдийской бородкой.

Я сразу же вошёл в маленький зал, где сидело много людей. Одна женщина, несмотря на все запреты, спокойно курила, в то время как группа молодёжи шумно шутила, явно издеваясь над неуклюжим полненьким мальчиком… над ним усердно хихикали две мордастые девчонки. Повсюду на стенах висели плакаты итальянской федерации анархистов и старые фотографии отцов анархизма. Особенно дико на меня смотрел с портрета бородатый анархист в кандалах. Наверное, это Бреши, тот самый, который убил короля Умберто I. Я прочёл надпись большими буквами: «Никто не родился, чтобы быть рабом!». Бородатый человечек, хозяин «Разбойника» (чуть позже я с ним разговорился, и он мне сказал, что его отец был врачом, что сам он ветеринар, но они вместе с женой по призванию и по идеологическим убеждениям—трактирщики: он кондитер, а она—повариха), посадил меня одного за большой стол и дал листок, где в малоразборчивых каракулях я с трудом прочёл предлагаемое «Разбойником» меню. Я заказал «Паста дель Бриганте» (разбойничья лапша) и кальмары с картошкой. Вино выбрал он сам, не спрашивая. Правда, заказ занял много времени. Разбойник-анархист долго перечислял сам все блюда из меню, как будто он пел революционную стихотворную агитку, и сквозь морщины его обгорелого тёмного лица весело сияли еле заметные кабаньи глазки. Приняв заказ, он подошёл к двери, выходящей на лестницу, и стал выкрикивать названия выбранных мной блюд. Очевидно, кухня находилась внизу. Время от времени два мальчика-официанта (были ли они сыновьями владельца?) приносили разные блюда на подносах, которые они доставали из подъёмника в центре зала. Я поел с удовольствием и аппетитом. Охотно пил красное густое вино, который разбойник-анархист снова и снова мне предлагал. Не знаю, напился ли я, но мне показалось, что групповые фотографии бородатых анархистов начала XX века двигались по стенам зала и что сидящие клиенты время от времени распевали гимны каррарских каменщиков. Бакунин, Кафьеро, Малатеста, батька Махно, товарищ Аршинов. Эти имена гудели в моей голове вместе с песнями *Nova Umanità* (да, вы правильно поняли: «Новое Человечество», исторический журнал итальянских анархистов). Хозяин приветливо и весело болтал с другими клиентами, пока я наслаждался вкуснейшим каприйским тортом с засахаренным миндалём и шоколадом. Вдруг открылась внутренняя дверь, и в красном платье явилась она—прекрасная женщина со светлыми кудрявыми волосами. Точно, это её я видел два часа назад на вокзале!

«Моя жена Максимилла!!! Наша повариха!!»—воскликнул хозяин, и все клиенты её приветствовали.

Многие выражения на диалекте были для меня не вполне ясными, но я понял, что муж её благодарил и говорил, что уже двадцать лет они вместе и что она всё делает всегда с энтузиазмом, как будто это первый день женитьбы! Он любезно намекнул на еду, но я, взглянув на её высокую грудь, на её полные красные губы, на её кудрявые длинные волосы, понял совсем другое: её красота меня поражала и одновременно пугала. Она вдруг ушла. Я попросил рассчитаться, заплатил мизерную сумму, что-то сказал в поддержку анархических идеалов, хозяин сдержанно это одобрил, и я вышел на улицу.

Свежий воздух меня взбодрил, и я вспомнил «ама» и «альфа». Мимо меня проехал старый автобус с надписью *Amalfi*. Да! Вот куда мне! Подумал и оглянулся. Где же автобусная станция? Худенький мальчик попросил у меня монетку и сказал, не дожидаясь вопроса:

«Видишь вокзал? Вот рядом у самого входа останавливается ваш автобус…»

Не досказав фразу, он убежал от меня.

Да, очень странно выстраивается жизнь… Будто какой-то неуклюжий романист меня выдумал и поставил в эти неправдоподобные обстоятельства. А я и правда стою напротив центрального вокзала Салерно и жду автобуса.

Вскоре огромный и пустой синий автобус автолинии SITA остановился передо мной, и я сел в него вместе с массой других пассажиров (в большинстве гастарбайтеров из Восточной Европы, Африки и Азии) и с шумной группой школьников. Заплатив за билет, я сел у окна слева. Я был уверен, что так мне будет удобнее смотреть на синее море, на скалы и на светлое небо. Автобус тронулся, и мы поехали…

Проконсул Эгеат проснулся рано и сразу же подошёл к открытому окну. Ветерок поднимал занавеску.

Уже светало, и скалистые контуры залива стали вычерчиваться на фоне моря и неба, как огромные челюсти каменного змея. Он вдруг повернулся и заметил, что его кровать пуста!!

Она исчезла, она, его бывшая кудрявая рабыня, теперь его жена! О как своими огненными поцелуями она разжигала его тело, как она умела освободить его душу от грустных дум. Своей красотой она удивляла весь город Патры Ахейские. Как ему завидовали все кесарские наместники, и сам император, когда Эгеат привел её в Вечный Рим, был поражён её ослепительной красой! Потом она заболела, впала в помешательство, в безумие, и это было после приезда его брата-философа Стратокла. Максимилла и Стратокл обратились в веру в единого Бога, и Эгеат сам чуть не сошёл с ума.

Прекрасную кудрявую рабыню Максимиллу именно он превратил в благородную жену. Об этом проконсул вспоминал часто и знал, что этого не бывает без помощи богов, обитающих на Олимпе… Сколько раз он им предлагал богатые жертвоприношения: нежных жирных агнцев Венере, сильных огромных быков Юпитеру. Великий Кесарь сам изволил благословить его свадьбу. За такие нежные объятия, за такую жаркую любовь, за такие страстные ночи Эгеат был готов подать в отставку, отказаться от своего наместничества и удалиться в свои дальние имения на острове Капри.

После скромного завтрака (Эгеат любил тихую жизнь: неслучайно он согласился жить вдали от Рима, в провинции, на солнечной стороне Патр Ахейских) наместник императора принял своего секретаря и главу преторианцев. Ему сообщили о новых событиях в Патрах и в окрестностях города. Он слушал рассеянно, как будто ждал кого-то… Её ли? Максимиллу? Нет, такому не бывать. После того, как она стала любить не его, а нового Бога своего… как она стала избегать своих супружеских обязанностей, а ночью, в темноте, на её месте он находил рабыню Эвклию… не бывшую кудрявую белую рабыню, а страстную и жадную черноокую и кудрявую Эвклию. За деньги и драгоценности она согласилась заменить Максимиллу и обманула Эгеата, потом стала всё больше требовать и рассказывать про свои ночи с Эгеатом. Узнав об этом, проконсул вырезал ей язык и изувечил, приказав потом выбросить её, как кошку, на добычу собакам.

Эгеат, не потерпев обмана и предательства, сначала проклял и выгнал жену, хотя мог бы сразу казнить. Он ещё помнил, как она уходила от него в утренних сумерках при отблеске денницы… Она вышла из дома и исчезла в окрестных холмах.

Она и его брат-философ ушли от него и пошли к крамольникам-христианам. Он, Эгеат, остался верным красоте языческого мира. В сердце его звучало прекрасное эхо рога вечного Пана, и он убеждённо верил в бессмертие Рима и кесарской власти.

«Крамольники, враги римского величия, приверженцы иудея Иисуса, продолжают распространять среди народа своё лживое учение!—объявил глава преторианцев.—Как быть дальше? Мы думали, что наказания быстро исправят положение, но христиан всё больше и больше, и они идут навстречу смерти с радостью и многогласными гимнами…»

«Пусть так, Валерий,—тихо пробормотал Эгеат,—мы им и дальше покажем, что власть великого Рима беспощадно карает крамольников и врагов Юпитера и бессмертного Кесаря!»

Эгеат почувствовал усталость. Кровь лилась рекой, и это мрачное зрелище казалось ему чуждым и далёким. Кружевно-пенистые волны разбивались о скалы, и ему мерещилось, что прекрасная Максимилла лежит на триклинии под шатром у самого берега. Молодой стихотворец слагает в её честь стихи от имени Эгеата, а далеко на холмах торчат на крестах мёртвые тела крамольников. Он помнил, что их глава, апостол Андрей, выбрал себе специальный крест, спорил с ним о Боге, отказался от жертвоприношения и даже от милости кесарской, несмотря на мольбы самой Максимиллы. И ушедшая к христианам Максимилла хранила в пещере тело святого…

Эгеат был уверен, что его прекрасная жена, в которую он был влюблён до умопомрачения, сошла с ума, что демоны крамольников безвозвратно лишили её разума.

Преторианец продолжал докладывать, но Эгеат его не слушал. Перед его глазами проходили образы умерших под пытками крамольников, многочисленные костры и вихри песка и пыли на голых холмах вокруг Патр… Преторианец ушёл. Эгеат остался в одиночестве и вдруг вышел один к морю.

Свою любимую Максимиллу, предавшую его Максимиллу Эгеат думал даже помиловать… но величие Рима и красота, красота золотого века, красота эгейской глубины, чистота венериной пенистой волны заставили его молчать, остановили его руку. Он говорил со скалистым берегом Эгейского моря, он слышал советы эолового дуновения, он чувствовал жалобу умирающего Пана, и приказа казнить прекрасную кудрявую жену отменить не смог. Её уже год назад замуровали в цистерне недалеко от храма Венеры, где морской прибой до сих пор монотонно плачет о гибели мученицы-красавицы.

Недалеко от этого места, около одинокого мыса, уже к вечеру стоял Эгеат и прислушивался к голосу Вселенной. С крутой вершины мыса смотрел он на небосклон. Он дождался последнего отблеска закатного солнца и тогда только понял, что красота умерла безвозвратно. Под наплывом тоски он бросился в морские волны и исчез в них без малейшего крика. Стемнело.

После Вьетри автобус медленно поднимался и спускался по узкой дороге Амальфитанского побережья. Сидящему за мной толстенькому ребёнку стало плохо, он ужасно побледнел, и мать попросила шофёра остановить автобус. Они вышли, и за поворотом, чуть спустившись с дороги, ребёнок оставил свой обед прямо у крутой вершины узкого каменного мыса. Вскоре они вернулись назад, и мы смогли поехать дальше. Дорога всё время спускалась и поднималась. На частых поворотах автобус тормозил и с трудом пропускал

встречные машины. На обочине усталые ослики тащили тяжёлые мешки, наполненные камнями.

«Очень любопытно!» — сказал сидящий за мной длинный краснолицый блондин среднего возраста.

Он говорил с явным немецким акцентом и держал в руке огромный художественный альбом, на обложке которого я смог прочесть имя «Клингзор». Как только освободилось место, немец сел рядом со мной. Очевидно, ему захотелось поговорить.

«Вы хорошо знаете Амальфитанское побережье?» — спросил он.

«Нет, я здесь в первый раз!» — ответил я, продолжая смотреть в окно и любоваться пейзажем.

«Вы знаете, здесь всё волшебно. Природа, люди, искусство, кухня. Особенно кухня!» — и засмеялся.

Его громкий и продолжительный смех окончательно убедил меня, что это немец.

«Знаете ли, что страсть и любовь глубоко предопределили судьбы этой земли, и музыка лучше всего воплощает эту страсть и эту любовь?»

Я повнимательнее посмотрел на альбом у него в руках и понял, что передо мной репродукции картин художника Клингзора. На обложке огромная голова утопленника. Она была изумрудно-зелёного цвета, и в открытых глазах мертвеца читалась безутешная тоска.

«Нравится ли вам этот грубоватый художник?» — спросил немец.

«Так себе...»

«Да, я тоже предпочитаю классическую симметрию, точность и изысканность, а он искал красоту в уродливости, в судорогах, в гримасах... не в прекрасной гармонии музыки, а в крике и в бешенстве! Вот эта картина называется «Эгеат на берегу Леты», и, кажется, она вдохновлена апокрифическим рассказом из деяний св. Андрея Апостола. Меня попросили привезти альбом, но этого художника я вообще не люблю!»

«А вы тоже художник?» — вдруг отважился спросить я.

«Нет, я занимаюсь рекламным делом, паблисити, хотя в молодости увлекался музыкой. Вы не поверите, я даже сочинял оперы и симфонии. Именно в связи с музыкой я хорошо знаю эти места... Вы понимаете, Равелло, вагнеровский фестиваль... Замок и сад Клингзора в вилле Руфоло, создание Парсифаля и т. д. и т. д.».

«Любопытно, — сказал я. — А если не секрет, какие именно оперы вы сочиняли?»

«Это всё так далеко, как если бы вы попросили старуху рассказать о первых любовных встречах... с одной стороны, она всё сильнее идеализирует, с другой — на самом деле ничего уже не помнит... Но я ещё не такая старуха...» — и тут опять он по-немецки громко засмеялся и весь покраснел, как индюк. — Моя самая известная опера посвящена новелле Оноре де Бальзака «Максимилла Дони», но ещё у меня есть симфоническая поэма «Клингзор». Я её сочинил именно в этих краях. А теперь реклама... Вы не поверите, работаю над клипом, рекламирующим шины *Goodyear*. Идея неплохая. Клип будет называться «Леди Гудйар»... она будет ездить голой на открытой машине, наподобие той самой Леди... Я приехал сюда, чтобы на досуге, вдали от городской суеты, спокойно поработать над сюжетиком и, если получится, найти подходящую обстановку для съёмок клипа... Я остановлюсь в Равелло, но сначала мне надо в Амальфи — передать этот альбом».

Болтливый немец не закрывал рта, а у меня от всех поворотов по извилистой дороге стала болеть голова. Вдали по морю плыли большие корабли, а в узких бухтах у причалов раскачивались лодки и мелкие суда. Проехали Минори и Майори, и автобус медленно продолжал свой путь. Медленно, со всеми остановками.

«Вы творческая натура?» — вдруг спросил немец.

Я посмотрел на него с удивлением. Что за вопросы? Он меня не знает — и сразу угадывал...

«Всё моё творчество в свободное от работы время — чтение занимательной прозы».

«А какая у вас работа, если не секрет?»

«Совсем не творческая: сижу в офисе и заполняю скучные бумаги... Жизнь беспросветна... Bouleau-dodo[2], как говорят французы... Но очень люблю путешествовать».

«Понимаю. А раз вы так любите читать, что именно вы читаете? Каковы ваши предпочтения?»

Мне не хотелось говорить о себе, и любопытство немца стало мне мешать. Я решился ответить ему кратко и сухо:

«Я люблю читать сочинения, автором которых я бы желал быть. Сочинения короткие, лаконичные, точные в изложении и ясные в языке!»

«Например?» — с иронической улыбочкой спросил краснощёкий немец.

«Детские сказки!» — ответил я несколько раздражённо.

«И я люблю сказки! — прошипел немец. — А ваша страна — сама по себе сказка! — и опять громко усмехнулся. — Да, вы правы, — продолжал он, — многословие в литературе, туманность, сложность в изложении и выражениях меня тоже отталкивают. Вот я бросил искусственность и стал заниматься адвертайсин... Краткость и ясность — признаки гениальности!»

После развилки на Равелло автобус проехал ещё несколько поворотов, одолел длинный спуск, и наконец мы приехали в Амальфи. Немец крепко пожал мне руку и пригласил вечером в ресторан. Я человек мягкий, отказаться не сумел и согласился встретиться с ним на главной площади Амальфи в восемь часов. Немец опять крепко пожал мне руку и добавил:

«Конечно, вы будете моим гостем! А забыл, извините, меня зовут Отмар, Отмар Шонке... из Швейцарии. Вы найдёте меня в энциклопедии, но я давно этим не горжусь».

Я растерянно взглянул на него... договорился о встрече и пошёл искать себе ночлег.

Ярко освещённая солнцем площадь была переполнена празднующим амальфитанским народом!! Торжественно отмечался день покровителя города, и все обитатели побережья вышли на широкую площадь, открытую на бухте, в то время как

2. Работать и спать *(фр.)*.

в заливе плавало множество лодок и корабликов с нарядными рыбаками и матросами. Перед высокой лестницей кафедрального собора Амальфи проходила разноцветная процессия. Во главе были высокие церковные чины, несли тяжёлый крест и статуи святых, а за ними шествовали местная знать, военные в мундирах и представители различных корпораций и профессий. После них шли музыканты и танцоры и много молодых девушек, украшенных гирляндами и разбрасывающих душистые цветы. Все ждали конца официальной части праздника и последующего гулянья. Ребятня играла и баловалась. Давно были готовы вкусные рыбные блюда, торты, пирожные, цукаты и восточные сладости. Празднующих ждали охлаждённая чедрата и разнообразные молодые местные вина.

Правда, Амальфи давно был в упадке, и народ сильно одичал, но старинные традиции оживляли его и поддерживали в нём чувство собственного достоинства.

В толпе выделялась молодая кудрявая красавица Максимилла, жена строителя лодок и кораблей; муж только что уплыл на работу в Палермо. Она была одна, её красота сияла и, как утреннее солнце, освещала всю площадь. Все местные мужчины ни на секунду не сводили с неё глаз. Самый удалой и самый красивый, портной Марко, играющий на свирели весёлые танцевальные мелодии, махнул ей рукой и быстро обменялся с ней взглядом. Сразу по окончании праздника они стремительно поднялись по узким выбеленным переулочкам в сторону холмов, туда, где у Максимиллы был крохотный деревенский домик. Там её муж занимался приготовлением досок для своих лодок, а она летом выращивала овощи и цветы. Они быстро пришли, сразу же вошли в домик и заперли ворота. За поясом у Марко висела маленькая свирель. Он разгорячённо бросился к Максимилле, начал её обнимать и целовать.

В это время по площади растерянно ходил Донно Баттимо, священник, хранитель соборной сокровищницы, толстый и лысоватый старик, тонкий знаток Святого Писания, но человек блудливый и корыстный. Он озабоченным взглядом искал Максимиллу. Он знал, что муж её в отъезде, и уверенно предвкушал удовлетворение своих похотливых желаний. Он прибежал к её дому, постучал, но, не получив ответа и заметив, что дверь крепко заперта и все ставни закрыты, решил, что она не вернулась домой, а… а, конечно, пошла в деревенский домик мужа на холме. Донно Баттимо хорошо знал это место, так как не раз видал там Максимиллу и там с ней встречался. Весь в поту, бегом, с блудливой мыслью о грешном совокуплении, имея с собой на всякий случай большой нож *Salvum me fac*[3], Донно Баттимо через несколько минут стоял перед воротами.

В это время портной Марко сжимал в своих объятиях Максимиллу, и любовники беззаботно, с лобзаниями и ласками, полностью предались наслаждению.

Донно Баттимо понял, что кто-то есть дома, и обрадовался: очевидно, кудрявая красавица там одна и ждёт его!! Он громко постучал в дверь.

«Кто там?»—спросила красотка.

«Донно Баттимо!!»—басом ответил возбуждённый прелат.

«Какими судьбами в этот час отдыха и покоя?»—полушутливо воскликнула Максимилла.

«Открой, моя милашка! Ты знаешь, какие у меня желания! Нету твоего муженька, и мне так…»

«Идите с Богом, святой отец!—ответила она.—У меня сегодня к делу нет расположения!»

В ответ прелат закричал с яростью и насмешкой:

«Открой, целомудренная Максимилла! Всё равно сломаю дверь, войду и исполню свои желания!»

Он застучал в дверь со всей силой.

Бедная женщина в испуге попросила Марко подняться на второй этаж: всё равно бешеного дьявола в рясе никто не был в силах остановить. Портной, в груди которого билось овечье, а не львиное сердце, покорно согласился, и Максимилла открыла дверь. Прелат ворвался, как сатана! Его глаза горели огнём, толстое тело дрожало и корчилось. Он сразу обнял кудрявую красотку, заржал, как конь на брани, и воскликнул, что, мол, святой Папа вот-вот войдёт в Ватикан! Потом бросился с ней на постель и в исступлении повторял: «Вот Папа въезжает в Рим!» И каждым движением, каждым порывом он то трогал алтарь, то видел трон Петра!

Портной Марко, победив испуг, смотрел на танцы толстого прелата и вдруг подумал, что без музыки и веселья не празднуют торжественное вступление Папы в Рим! Тогда он взял свою свирель, заиграл весёлую танцевальную мелодию, начал прыгать на досках и шуметь!

В испуге от шума Донно Баттимо подумал, что за ним пришли cum gladiis et fustibus[4], чтобы его побить!!! Полураздетый, весь дрожащий и в поту, увидев, что дверь открыта настежь, он вдруг отпрыгнул от девицы, бросился на улицу и стал бежать как угорелый. Развеселившийся Марко спустился вниз и крепко обнял свою кудрявую красотку. Вскоре они в восторженном экстазе поняли, что весёлая мелодия приветствовала не торжественное вступление Папы в Рим, а праздник входа турок в Константинополь!

Я остановился в гостинице *La Bussola*[5], прямо на берегу моря, недалеко от мола и причала. Занял номер и в ожидании вечерней встречи решил сразу же пойти погулять по Амальфи.

Уже темнело, и на берегу моря, в автобусной станции, накопилось много народу. Но если перейти через дорогу и войти сквозь арку на главную площадь, где с правой стороны величественно поднималась лестница кафедрального собора и рядом блистали освещённые витрины знаменитой кондитерской «Панса», то там город уже пустел, местный народ торопился по домам—в сторону холмов по центральной улице и дальше, по боковым, поднимающимся в гору переулочкам.

---

3. Буквально: «Спаси меня». Выражение из Псалтыря.
4. С мечами и кольями *(цит. из Мт 26.47)*.
5. Компас *(итал.)*.

Я посмотрел на часы и заметил, что уже давно шестой час. Решил зайти в собор, но до этого не смог отказать себе в чашечке вкусного местного кофе. Вошёл в кондитерскую и остановился в полном восхищении при виде огромных ромовых баб, изысканных шоколадных и кремовых слоёных пирожных, разнообразных и разноцветных фруктовых цукатов и шоколадных конфет. Заказал у официанта кофе и попросил разных лакомств. Посидел в зале и начал думать о только что прошедшем дне.

«Зачем я так покорно откликнулся на призыв кудрявой рабыни? Что за ерунда, в конечном счёте? И вот, я здесь, в городе Амальфи… «где душисто капает *Lacryma Christi*, где компас жизни и смерти вертится меж югом и севером, меж западом и востоком в башне у синей говорливой волны…» Что за башня, что за компас?—подумал я, хотя сразу я вспомнил, что в Амальфи жил изобретатель компаса Флавио Джиойа и что я остановился в гостинице *La Bussola*.—И наконец, кто такая кудрявая рабыня, и какие у меня с ней дела? Ладно, допустим, это шутка, пусть даже шутка влюблённой в меня неизвестной дамы или какая-то глупая выходка какого-то дешёвого остряка,—всё равно я здесь! Лучше буду наслаждаться, хоть парочку дней буду беспечным туристом».

Так я думал, когда заметил даму, сидящую передо мной за столиком в углу зала. Дама уже не первой свежести, с рыжими волосами, довольно толстая, но не без некоторого обаяния, с огромными жёлтыми кошачьими глазами, прожорливо ела мороженое и нервно смотрела в сторону дверей. Вдруг вошёл полный седой мужчина в чёрном костюме и широкополой чёрной шляпе. Когда он снял шляпу, обнаружилась его безнадёжная лысина и бросились в глаза густые брови. Картавя, он обратился к женщине:

«Довогая Эвклия, пвошу—не так жадно, а то всё ввемя будешь выдать, что у тебя певевес… и что на бовт самолёта жизни тебе больше стюавдессы не вазвешат войти…»—и начал радостно и громко хохотать.

Рыжая дама продолжала объедаться многоцветным мороженым и не обращала на него никакого внимания. Зачем же тогда она так озабоченно смотрела на двери кафе, если слова бровастого её никак не задевали?

«Догововились встветиться с двузьями в вестоване в восемь твидцать,—продолжал он,—а ты вешила свазу певевыполнить план… а где же вся звевиная гибкость моей дикой кошечки?!»

И опять громко захохотал.

«Пошёл ты, нехристь,—вдруг просвистела она странным кошачьим голосом,—ты мне жизнь давно испортил, а ещё шутишь о моей увядшей красоте…»

Я посмотрел на часы и увидел, что уже пора идти в собор. Расплатился и вышел на улицу. Свежий морской ветерок ласково трепал меня по щекам. Я стал подниматься по огромной и длинной лестнице собора в полном очаровании от красоты фасада и последних световых отблесков умирающего дня. Я вошёл в собор: нефы и арки поднимались в тихой темноте, храм был совсем пуст. Я вспомнил, что главная достопримечательность—знаменитая капелла в крипте, где хранятся мощи святого Андрея Первозванного. В расписании у входа я с досадой прочёл, что крипта заперта, однако, машинально толкнув дверь, обнаружил, что она была открыта. Тогда я вошёл и стал спускаться в крипту по боковой лестнице. Огромная украшенная створка была полуоткрыта, и в полумраке я заметил, как в дальнем углу капеллы мужчина передавал что-то некоей даме… Напрягши глаза, я узнал своего знакомого швейцарца Отмара. Он вручал даме каталог художника Клингзора. К сожалению, я не смог хорошо разглядеть её лицо и не был в состоянии определить её возраст.

«Auf wiedersehen, Geliebte Maximilla!!»[6]—послышалось мне.

Когда Отмар стал поворачиваться, я отпрыгнул назад и сразу же стал подниматься обратно. Всё равно в темноте крипту не увидишь.

Я вернулся в храм и вышел на улицу. Быстро спустился по лестнице и решил до ужина зайти в гостиницу.

Просидев несколько минут в номере, я взялся за раскладывание своих вещей… Чемодан у меня был лёгонький. Книг с собой я практически не взял, если не считать захваченного случайно томика Флобера. Я достал книжку, открыл её наобум и начал читать:

«**Антоний.** Но о ком говоришь ты?
Прискилла. Да о Монтане!
Антоний. Монтан умер.
Прискилла. Это неправда!
Голос. Нет, не умер Монтан!

Антоний оборачивается; рядом с ним, с другой стороны, на скамье сидит вторая женщина—белокурая и ещё более бледная, с припухшими веками, словно она долго плакала. Не дожидаясь его вопроса, она говорит.

Максимилла. Мы возвращались из Тарса по горам, когда на одном повороте дороги увидели под смоковницей человека. Он издали закричал: «Стойте!»—и бросился к нам с бранью. Рабы сбежались. Он разразился смехом. Лошади вздыбились. Молоссы выли. Он стоял. Пот катился по его лицу. Плащ его хлопал от ветра. Называя нас по именам, он поносил суету наших деяний, позор наших тел, и он грозил кулаком, указывая на дромадеров, в негодовании на серебряные колокольчики, подвешенные у них под челюстью. Его ярость внушала мне ужас, и в то же время словно какое-то сладостное чувство меня убаюкивало, опьяняло. Сначала приблизились рабы. «Господин,—сказали они,—животные наши устали»; затем заговорили женщины: «Нам страшно»,—и рабы отошли. Затем дети подняли плач: «Мы голодны!» И не дождавшись ответа, женщины исчезли. А он говорил. Я почувствовала кого-то возле меня. То был мой супруг; я внимала другому. Он полз

6. «До свидания, любимая Максимилла!!» *(нем.)*.

между камней, крича: «Ты покидаешь меня?» — и я ответила: «Да, отыди!» — дабы последовать за Монтаном.

Антоний. За евнухом!

Прискилла. А! это тебя удивляет, грубый сердцем! Но ведь Магдалина, Иоанна, Марфа и Сусанна не делили ложа со Спасителем. Души способны с ещё большей страстью обниматься, нежели тела. Дабы соблюсти непорочность Евстолии, епископ Леонтий изувечил себя, любя больше любовь свою, чем свою силу мужчины. Притом же это не моя вина: некий дух понуждает меня; Сотас не мог меня излечить. А всё-таки жесток он! Что нужды! Я — последняя из пророчиц, и после меня наступит конец света.

Максимилла. Он осыпал меня подарками. Впрочем, ни одна и не любит его так — и ни одна так не любима им!

Прискилла. Ты лжёшь! Меня он любит!

Максимилла. Нет, меня!

Дерутся. Между их плеч появляется голова негра.

Монтан *(в чёрном плаще с застёжкой из двух костей человеческого скелета)*. Успокойтесь, мои голубицы! Мы неспособны к земному счастью, но наш союз даёт нам полноту духовную. За веком Отца — век Сына; и я предвещаю третий век — век Параклета. Его свет сошёл на меня в те сорок ночей, когда небесный Иерусалим сиял на небе над моим домом в Пепузе. Ах, в какой тоске кричите вы, бичуемые ремнями! как ваше исстрадавшееся тело ищет пламенной моей ласки! как вы томитесь на моей груди неосуществлённой любовью! Сила её открыла вам миры, и вы можете ныне созерцать души вашими очами…»

Я перестал читать, начал немножко фантазировать, потом опомнился и посмотрел в окно… Уже пора было идти на свидание с Отмаром. Я оделся потеплее и вышел на улицу. Морской ветерок встретил меня радостно и колюче, и я, взирая на тёмное морское пространство, остановился на несколько секунд и глубоко вдохнул. Вдруг мне послышался кошачий зов, я повернулся и поднял взгляд… Мне показалось, что у окна гостиницы промелькнул профиль женщины с кошачьим лицом и что у неё даже хвост торчит за спиной. Вдруг она стала пристально смотреть на меня, и её глаза даже светились в темноте…

Всё мерещилось. На самом деле в гостинице было безлюдно — так же, как и на набережной, и в самом городе. Я прошёл краткое расстояние от гостиницы до центральной площади Амальфи… освещённая кондитерская опустела, и у лестницы кафедрального собора пока никого не было. Меня поразил сам факт, что у подножья лестницы, в самом здании собора были какие-то магазинные витрины. Всё было закрыто — и как будто уже с давних времён… Однако мастерские и магазины прямо в соборе…

Вдруг я заметил, как из боковой двери храма вышла женщина в чёрном. Она держала большую книгу… Она оглянулась и внезапно решила подняться по крутой улочке в сторону холмов. Вскоре вышел и толстенький прелат, тяжёлым ключом запер дверь и удалился в другую сторону.

«Нерасцветающая красота!» — прозвучало за моей спиной…

Я повернулся: передо мной стоял мой швейцарский немец.

«Жалко, что надо рекламировать шины. Для этой задачи Амальфи не очень подходит, но я уверен — я найду другие вещи, которые можно будет успешно рекламировать на этой лестнице!.. Ах! Вот наш ресторанчик… «Двенадцать апостолов», он находится прямо в здании церкви, там, в боковом крыле, давайте!»

Мы вошли в помещение, более похожее на мастерскую художника или на антикварную лавку, чем на ресторан. Везде картины, статуи и другие предметы искусства. Мы стали подниматься по крутой и узкой лестнице и вошли в большой пустой зал со столами и соломенными стульями… На стенах беспорядочно висели картины разных мастеров и стилей (помню огромную голую бабу прямо у арки перед кухней), на более узких столиках стояли разные любопытные изысканные предметы местного или экзотического происхождения.

Мы сели за стол, и скоро появился молодой официант в красном свитере. Он рассеянно подал нам меню и сразу удалился в сторону кухни. Я заметил его огромное висящее пузо при худощавом телосложении: «Вот пиво!» — подумал я.

«Да, пиво вредно действует на линию!» — высказал Отмар, и я с испугом посмотрел на него… Что, он читает мои мысли? Или это просто совпадение?

«Да, — продолжал он, — в наших краях таких пуз полно. Комплекция нормальная, а вот пьют да пьют, и у них появляется такое бремя, которое им таскать по всему свету и день, и ночь… Давайте сегодня закажем хорошее местное вино! *Lacryma Christi* из-под Везувия».

Наш столик стоял напротив низкого окна, откуда нашему взору открывался узкий вид на правую сторону площади. Я долго всматривался. Заказали блюда и бутылку вина, которая вскоре заманчиво встала перед нами. Мы начали пить вино в ожидании еды.

«Завтра поедем в Равелло вместе?» — начал мой швейцарец.

С одной стороны, моя поездка всё больше казалась мне бессмысленной, непонятной… Я приехал в Амальфи из-за письма неизвестной дамы (если это ещё и дама!); но с другой стороны — почему не воспользоваться случаем и не посетить знаменитую местность Равелло, её прекрасные виллы Руфоло и Чимброне? Конечно, этот самый Отмар мне казался личностью весьма странной, но при этом и весьма любопытной.

За другим столом четверо англичан шумно пили пиво из огромных пол-литровых кружек, закусывая какими-то местными лепёшками. Я сначала не решался задавать вопросы Отмару о его встрече в крипте-капелле Св. Андрея, но вдруг отважился и спросил:

«Знаете, мне было бы интересно посмотреть ваш каталог о художнике Клингзоре… Вы его уже отдали?»

«Нет, он ещё у меня!»—весело ответил он, к моему полному удивлению.

Как же так? Я сам видел, как он его передавал той самой даме в крипте…

«А что именно вас в нём интересует?»

«Изображение мёртвого Эгеата… Тема, которая меня очень интригует, хотя я о ней мало знаю!»

«А! Вы знаете, существует легенда, согласно которой проконсул Эгеат получил от богов ужасный приговор за свою слабость. Свою кудрявую рабыню Эвклию, свою кошкообразную любовницу, он, поверив клевете, отдал на растерзание псам, а свою кудрявую рабыню-жену Максимиллу не сумел отстоять от влияния крамольников-христиан. Лишь потом, окончательно потеряв её, он решил её замуровать и после этого сразу же покончил с собой: не как античные герои—шпагой или ядом, а как женщина—бросился со скалы в море. Теперь Эгеат в Аду—кстати, вход в него недалеко отсюда… помните Вергилия? И мучится Эгеат там раскаянием и ностальгией, и приговорён он богами кончать с собой в каждую ночь полнолуния. Именно здесь, в Амальфи, в этом же здании, где мы теперь сидим, находятся мощи св. Андрея—как в пещере, где жена Эгеата Максимилла хранила тело святого… и, кажется, дух Максимиллы живёт теперь именно здесь, и, по преданию, в каждую ночь полнолуния Эгеат бросается в море с высокой скалы недалеко отсюда, и погибает в тирренских волнах, и его тело никто не может похоронить, а волны играют им до тех пор, пока не проплывёт лодка из потустороннего мира и не подберёт его. И так вечно по круговороту луны. Никто из живых не может увидеть его тело в море, но художник Клингзор увидел его и изобразил на своей картине. Эгеата жалко всем женщинам, любящим его. И Максимилла его не забыла, и Эвклия его не забыла, и, говорят, в полнолуние они шествуют с распущенными кудрявыми волосами вдоль моря и зовут его… Но, конечно, это всё неуклюжие легенды без особой опоры на традицию. Мне бы ими воспользоваться для успешного рекламирования чего-нибудь… Об этом я давно думаю».

Отмар расхохотался, и в эту минуту пузатый молодой официант принёс изысканно оформленные в духе *nouvelle cousine*[7] блюда.

«Если у «Двенадцати апостолов» вы ожидали народных традиционных блюд, то вам придётся разочароваться. Однако попробуйте, и уверяю вас—вам понравится».

«Слеза Христова» обильно лилась в наши бокалы, и мы с Отмаром веселились и болтали, когда в ресторан пришла парочка. Та самая полненькая дама второй свежести и её бровастый картавый спутник.

Как только они вошли, Отмар сразу встал и протянул руку бровастому картавому. Вот, подумал я, мир тесен, а Амальфи больше всего похож на театральную сцену.

«Профессор Бруно!—воскликнул Отмар.— Сколько лет, сколько зим!»

«Довогой Отмав! Я не надеялся вас встветить здесь зимой. Я знаю, что вы искуснейший лыжник и всю зиму носитесь по швейцавским долинам!»

«Разрешите представить вам профессора Бруно Моццoконе, самого знаменитого в Неаполитанском университете специалиста по древней истории Ближнего Востока. Мы с ним давно знакомы, как весенние завсегдатаи Равелло и всего амальфитанского побережья!»

Я, в свою очередь, представился, и меня сразу же познакомили с полной дамой.

«Вазвешите: моя синьова, Эвклия Скьяво-Моццоне!»

Я пристально посмотрел в жёлто-зелёные глаза дамы, заметил её полную трепещущую грудь, её кругленький красный ротик, но почему-то меня поразили её только что коротко постриженные волосы. Мне казалось, что в кафе у неё были прекрасные длинные кудри, а теперь…

Они сели за наш стол и тоже заказали ужин.

«Моей синьове только говяжье филе и салат. Она на диете»,—уточнил профессор и начал весело болтать с Отмаром.

Дама сидела передо мной и молчала. Её взгляд был грустен и рассеян, как будто она душой находилась в другом, далёком месте.

«Знаете, Бруно, мой знакомый очень заинтересовался художником Клингзором!»

«Любопытно,—отметил профессор,—такой посведственный художник. Я его ховошо знал».

«Как? Вы его знали?—вдруг воскликнул я машинально.—Разве он отсюда?»

«А вы что думали?»

Тут с хохотом его перебил Отмар и сказал:

«Вы не подумайте, милый друг! Это не тот художник, герой повести Германа Гессе… Что вы! Всё гораздо проще…»

«Да,—продолжил профессор.—Вы, навевно, знаете о Вагневе в Вавелло, о Павсифале, о саде Клингзова, о том, что в вилле Вуфоло великий композитов нашёл своё вдохновение и отождествлял башню и сад виллы с замком волшебника Клингзова…»

«И вот,—перебил его опять Отмар,—какой-то местный живописец, его фамилия не то Эспозито, не то Руотоло, вдруг стал подписывать свои картины псевдонимом „Клингзор“».

«Это не вполне так,—возражал Бруно,—тот самый Вуотоло на самом деле был полунемцем (кажется, по матери) и во ввемя немецкой оккупации вдвуг вешил себя облаговодить… не какой-то неаполитанский пейзажист по фамилии Вуотоло, а немецкий художник Клингзов! И жанв он поменял, и стал писать кавтины по античной истовии и по мифам и легендам Неаполитанского залива… Ещё студентом я с ним часто вствечался в Вавелло, и он у меня пвосил книги по античности…»

«Потом он вдруг в старости пережил какой-то мистический кризис и принял сан. Падре… падре…»—Отмар не мог вспомнить имени.

«Падре Монтан!»—вдруг сонно произнесла Эвклия и продолжала бесцельно смотреть вдаль.

«Пвавильно, и пвелат был васпутным!»—вскрикнул Бруно и начал весело наливать вино.

К одиннадцати мы вышли из ресторана, Отмар сказал, что ему нужно подниматься к себе по *Salita*

7. Новая кухня (французская кулинарная школа.—*фр.*).

Santa Caterina, а мы с Бруно и Эвклией, как оказалось, остановились в той же самой *La Bussola*. Итак, мы пошли втроём в сторону гостиницы. Вдруг около пустой автостанции к нам мирно подошла большая бродячая собака; Эвклия вскрикнула по-кошачьи и отпрыгнула назад.

«Не бойся, глупенькая!—сказал Бруно.—Пвосто не понимаю, что тебе сделали собаки?.. Вот этот бедный звевь, смотви, он ведёт себя совсем тихо, а ты так испугалась!»

Она молчала и неподвижно смотрела на собаку. Та испуганно отошла, помахивая облезлым хвостом.

Вскоре мы пришли в гостиницу, внизу у входа пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. На следующий день я собирался с Отмаром в Равелло, они же, как я понял, тоже собирались туда, но прежде им нужно было закончить какое-то дело.

Вскоре я уже сидел в номере и решил включить телевизор. Я себя чувствовал немного опьяневшим, достал газированную воду из маленького холодильника и начал медленно её пить. Может быть, именно из-за вина у меня проявилось какое-то смутное чувство грусти и неудовлетворённости. Столько впечатлений, что спать не хочется и не можется. Огромное окно номера было распахнуто, и я смотрел на море. На улице было холодно, но я горел, и мне было душно. Вдруг издалека мне померещился голос Бруно…

«Иди к нему, если ты ещё его любишь!—так мне послышалось, хотя, может быть, эти слова выдумал я сам.—Он тебе душу и тело разоввал, так жестоко с тобой васповядился, а ты…»

«Бруно! Я не могу забыть,—мяукала она,—не могуууу!»

«Он тебя не любил. У него единственная любовь—Максимилла!»

Я подслушал этот разговор и не мог понять, сочинил ли я его или действительно он прозвучал где-то на балконе выше.

«Нееет!—заплакал женский голос.—Крамольница меня погубила!»

«Тогда иди к нему, Эвклия, я больше не пevенесу эти ствадания. Сколько мне ждать тебя?»

«Узнаешь завтра!»

Прекрасная молодая кудрявая рабыня стояла на пыльной дороге, а тёплый морской ветерок ласкал её атласную кожу и шевелил её длинные волосы. Она была связана, и два солдата с копьями пристально смотрели на неё.

«Эй! Красотка! В чём ты провинилась?»—говорили они ей в ожидании дальнейшего приказа.

Она на них не смотрела: её гордый взор был направлен на залив и на синее море. Она отвечала им презрением, как будто всё происходящее к ней—именно к ней—не относилось. Когда они опять задали вопрос, она стала бурчать, даже мяукать… язык у неё был вырезан…

«Кошка, прекрасная кошка,—рассмеялся один из солдат.—Будешь с нами мурлыкать?»

Вскоре пришёл другой солдат и громко объявил:

«Проконсул приказывает изувечить её и отдать псам!!!»

Один солдат начал бичевать её, другой, хохоча, присоединился, а третий смотрел на неё тревожно.

«Ты что, Орес, боишься этой ведьмы?»

Орес грустно молчал, когда они бросили её в траву на поле и начали с криками и хохотом насиловать. Орес молчал, но вдруг решился за неё заступиться и с копьём бросился на своих товарищей.

«С ума сошёл, балбес!»

Они начали драться, а Эвклия, трепеща, в крови, еле дышала и не двигалась. Прикончив Ореса копьями, двое вернулись к любимому делу.

«Собакам ничего не останется!»—кричали они со зверским возбуждением и хохотали.

Вдруг Эвклии удалось встать. Её изувеченная красота блистала печалью. Как кошка, она отпрыгнула от них и ужасно вскрикнула. Казалось, далеко за заливом плачет Вселенная. В эту же пору пришла целая группа солдат, которые схватили рабыню и увезли её к молоссам. Ужасные стоны были слышны Эгеату издалека. Ему казалось, что в судорогах плачет сама природа. Повернув голову, он направил свой взгляд на тихие холмы вокруг. Там сотни крамольников с молитвами и гимнами принимали смерть на крестах… Эгеат думал о прекрасном нагом теле своей рабыни в ночной полутьме, о её горячих, исступлённых ласках при розово-синей авроре у залива. Красота бывает жестокой.

Я проснулся рано и стал смотреть в окно. Уже рассветало. Волны шумно разбивались о берег. Вдруг мне показалось, что в ванной льётся вода. Я встал и пошёл проверить, не забыл ли я вечером закрыть кран. Как только я вошёл в ванную, я увидел, что кто-то, стоя за занавеской, принимает душ. Я подошёл и раскрыл занавеску: передо мной стояла голая госпожа Скьяво-Моцциконе! Полное, круглое её тело поразило меня своей кошачьей гибкостью. Мне показалось, что у неё даже хвост торчит за спиной. Она сразу спрыгнула и набросила на себя огромное белое полотенце.

«Я не думала, что вы такой храбрый! Войти в чужой номер к замужней даме при муже! Но должна добавить, что как любовник—вы просто супер!»

Я смотрел на неё в полной растерянности и изумлении. Разве мы находились не в моём номере? Какие же любовные утехи она имела в виду?

«Я тебя вечно ждала, мой любимый, жила только для тебя!»

«Это вы мне писали?»—вдруг спросил я машинально.

«Я вам никогда не писала, я постоянно плакала о вас по ночам при луне и при грозе! Вы мой хозяин, а я—ваша рабыня! Розовая синь авроры у залива—это свет моей влюблённости».

«Он тебе душу и тело разоввал, так жестоко с тобой васповядился а ты…»—послышался голос из другой комнаты.

Я выбежал из ванной: в номере никого не было… телевизор был включён, и там показывали какие-то старые хроники. Вернулся назад. Ванная была пуста, и в зеркале я увидел своё измученное лицо. Что со мной происходит? Я подумал, что это всё последствия *Lacryma Christi* и что хороший кофе меня взбодрит.

После завтрака я вышел из гостиницы и на автобусной станции встретил Отмара. Вскоре мы сидели в автобусе, который должен был отправиться в Равелло.

«Выспались?—спросил Отмар.—Видите, сегодня такой хороший денёк. Самый подходящий, чтобы посетить Равелло и его виллы».

Я кивнул головой и стал смотреть в окошко. Автобус всё стоял, он уже опаздывал.

«В Италии с расписаниями не очень…—пошутил Отмар.—У них нет наших знаменитых швейцарских часов!»

«Зато у нас солнце и вино»,—ответил я.

Вдруг Отмар достал свой портфель и вытащил оттуда каталог художника Клингзора.

«Как видите, я ничего не забываю».

«Прекрасно!»—заметил я и, получив книгу, начал её перелистывать.

Передо мной прошла целая галерея жутких портретов мифологических и исторических лиц. Самый поздний период художника был посвящён религиозной тематике, и в частности—жизнеописанию св. Павла. Теперь я прекрасно понял, что художник он был очень посредственный. Однако картина мёртвого Эгеата меня поразила. В неподвижной гримасе смерти я видел какие-то знакомые мне черты… что именно, я не в состоянии был определить. Я задумался, а автобус всё стоял да стоял. В каталоге картины сопровождались длинным текстом на немецком языке, в приложении был короткий рассказ самого художника на французском языке под названием *Histoire de Maximille Doni*[8].

«Любопытно,—заметил я,—художник писал по-французски!»

«Вы знаете, меня—швейцарца—это не удивляет. У нас многие легко пишут на разных языках».

«Да, но художественный рассказ на чужом языке!»

«Тем более,—пошутил Отмар,—писать на родном языке неинтересно… Слова возникают отовсюду, давят, душат, не дают дышать, отсюда—многословие, а когда пишешь на иностранном языке, то делаешь всё возможное и невозможное, чтобы определить наиболее существенное, основное, отсюда—любимое мною немногословие, прекрасная ясность!»

«Да,—возразил я,—но стилистическое многообразие, многоголосие… без чувства языка как это возможно?»

«Видите ли, дорогой друг, стилистическое многообразие—это понятие музыкальное, и живёт оно в порывах нашей души, в её стремлениях. Думаю, оно определяется вне языка».

Я хотел возразить, но тут вошёл толстый грустный шофёр, сел за руль, завёл мотор, закрыл двери, и мы поехали.

Сразу же после Амальфи автобус стал подниматься по узкой дороге. Я заметил несколько больших винных магазинов и вспомнил вчерашнюю «Христову слезу». Прекрасные склоны гор и холмов пестрели разными растениями, и под лучами солнца сверкали стёкла теплиц. Какая богатая сторона! Какое счастливое цветение!!! Потом автобус вошёл в узкое ущелье, и с помощью сложных манёвров ему неоднократно приходилось пропускать встречные машины. Время от времени на поворотах перед глазами вдруг открывалось светлое тысячебисерное морское покрывало, и по мере того, как мы поднимались, всё яснее становились контуры мощного скалистого залива.

«Имя и концепт переплетаются во времени и пространстве,—таинственно вдруг сказал Отмар,—все эти места носят имена, отражённые в старинных мифах и легендах. И всё так сложно переплетено!»

«Что вы имеете в виду, Отмар?»—спросил я в недоумении.

«Просто так, ничего определённого,—ответил он,—каждое место, каждая деталь этого пейзажа соотносима с мифологическими, историческими и литературными именами, и часто непонятно, с каким временем, с каким местом и с кем мы имеем дело!»

«Вижу, что ваш художник Клингзор немножко на вас действует…»—пошутил я.

«Нет, у него всё просто халтура. Его картины—бессмысленная смесь разных источников и истории, а его французский текст—просто плохое подражание Бальзаку. Даже непонятно, почему он включил его в свою книгу. Но вы сами убедитесь. Каталог я вам подарю. Он подарил его мне, когда я был ещё композитором, и он надеялся, что вдруг я сочиню музыку по его картинам… но я теперь занимаюсь адвертайзингом, и мне не до его картин. Кстати, у меня возникла очень хорошая идея. Будете судить, когда увидите место. Я имею в виду виллу Чимброне. Там отдыхала Грета Гарбо вместе с дирижёром Леопольдом Стоковским… Помните его силуэт в фильме Диснея «Фантазия»? Там, где при исполнении «Ночи на Лысой горе» Мусоргского изображён огромный сатана? Вот именно там я хочу создать стилизованный чёрно-белый видеоклип для адвертайзинга: на террасе мифическая кинозвезда и великий маэстро. Всё происходит в сопровождении дьявольской музыки, время от времени виден образ лысого Везувия! «Greta, you are great!»[9],—говорит маэстро и наливает ей drink виски со льдом. Она, в своём белом шёлковом платье, в широкой соломенной шляпе, поднимает бокал и говорит: «Leopold, don't be so cold»[10]. Они страстно целуются, и вдруг звучит бетховенская «Пастораль» из того же cartoon-а. Далее время от времени виден образ амальфитанского побережья: «Whisky is greta!»[11].

«Забавно»,—без восторга заметил я, пока автобус проезжал через туннель.

Как только он его проехал, шофёр остановил автобус и открыл двери. Мы вышли и, пройдя пешком через другой недлинный туннель, весь заклеенный рекламными афишами о знаменитом фестивале, вскоре пришли на главную площадь Равелло, где величественно возвышался кафедральный собор.

---

8. Повествование о Максимилле Дони *(фр.)*.
9. Грета, ты велика! *(англ.)*.
10. Леопольд, не будь таким холодным *(англ.)*.
11. Созвучие слов: Greta / great.

Отмар начал издавать громкие крики удивления и восторга:

«Сюда я приезжаю часто… но Равелло всегда для меня такое прекрасное открытие! Просто не могу сдержаться! Куда сначала? В собор или на виллу Руфоло?»

«Как вам, знатоку, будет казаться более целесообразным»,—ответил я без особого удовольствия.

Вскоре мы уже поднимались по лестнице собора и входили в пустой храм. Мне стало холодно. Вдруг я почувствовал усталость: энтузиазм Отмара меня немножко смущал. Я рассеянно осматривался и специально не слушал непрерывных объяснений моего швейцарского гида. Он опять говорил про какие-то мощи, про какую-то легенду, а я смотрел дальше: за одной колонной, как мне показалось, вдруг прошмыгнула длинная быстролётная тень… мои глаза ухватили лишь кружево серой вуали и контуры светлых локонов. Я обернулся, но храм был действительно совершенно пуст.

«Какие густые лучи нежно проходят через круглое окно фасада и придают всему интерьеру розовую тональность синего зарева!»—сказал Отмар.

«У вас какой-то новый рекламный проект?»—желчно заметил я.

«Нет-с. Просто так… Что, сегодня у вас нет никакого эстетического подъёма?.. или что-то вас смущает?»

«Нет! Просто неожиданно мне стало душно»,—ответил я.

«Выйдем, выйдем… вы правы… сегодня здесь ужасно сыро».

Квадратная башня отмечала вход в виллу Руфоло. Световой фонтан открывающихся на море солнечных перспектив небосклона пробудил меня от смутно-сонного состояния. Выйдя в сад с видом на панораму, я сразу почувствовал юношескую силу давно прошедших дней. «Зачем мы не живём так всегда, а сидим в наших бесцветных лужах?»—подумал я. В это же время из большой центральной башни, как мне показалось, прозвучал то ли крик, то ли стон, то ли музыкальный аккорд.

«И жрец Кибелы изувечил себя, чтобы жить непорочно, и рыцарь Клингзор изувечил себя…»—послышался мне голос Отмара, но он был занят совсем другим делом. Он держал в руках мобильный и нервно набирал номер. Вскоре он начал громко ругать по-немецки своего собеседника. Правда, я ничего не понял, но, мне послышалось, он два-три раза упомянул Вагнера. После разговора он спокойно указал мне на сад и вновь заговорил о Клингзоре.

«Вот замок Клингзора…—сказал он шутливо.—Вот откуда у вашего «любимого» местного художника выбор псевдонима. Где-то сидит какая-то Кундри, и скоро, я уверен, она будет соблазнять вас, своего Парсифаля: вы попались в Венусберг!!»

И тут Отмар начал громко хохотать. Мы шли по саду и вдоль террасы и вдруг остановились: Отмар сказал, что должен на минуточку меня оставить, и убежал. Я сел на лавочку и стал меланхолично смотреть на блистающую морскую даль.

Мне мерещилось, что передо мной стоит полногрудая грустная Эвклия. Перед моими глазами были её округлые линии, и я слышал её дыхание. Мне показалось, что я не мог двигаться. Она только что вышла из башни Клингзора и пристально смотрела на меня, а я в оцепенении сидел на лавочке и меланхолично глядел на блистающую морскую даль.

«Не бойся, миленький, не бойся!»—сказала она.

Запах ранних лимонов дурманил меня, и ветерок ласкал моё лицо.

«Ты меня помнишь?—продолжала грустная Эвклия, и её кудрявые волосы вздымались от морского дуновения.—Я Кундри. Только я смогу вылечить твои душевные раны! Милый, ты не помнишь меня? Я привезла тебе бальзам из далёкой Аравии!»

Она положила руку на моё плечо. Я сидел и не мог двигаться.

«Ты меня отверг, ты меня приговорил… а я привезла тебе бальзам из далёкой Аравии!»

Я сидел и не мог сказать ни слова. Я хотел у неё спросить, хотел ей возразить, но оставался в полном безмолвии. Мне показалось, что вокруг меня ходят другие посетители виллы: их голоса звучно перегоняли друг друга, и вдалеке прекрасный залив блистал тысячебисерным стёганым покрывалом.

«Милый, я тебя простила. Ты изувечил моё тело, ты отдал меня молоссам, ты меня сгубил, но я тебя простила!»

Она была прекрасна. Раздался крик. Мне показалось, что где-то далеко стонет лебедь. Её кудрявые волосы поднимались от морского дуновения, и я смотрел на блистающую морскую даль.

Она подошла ко мне и стала целовать меня томительно и легко. Моё тело пронзила холодная сталь тоски. Как в быстром чередовании чёрно-белых кадров старой хроники, я мгновенно увидел всю свою не-жизнь, древнее сказание о жизни другого, не-меня, о жизни, разбудившей во мне тоску по долгожданной закатной красоте.

«Пророчество свершилось, и никто этого не заметил. Мы возвращались из Тарса по горам, когда на одном повороте дороги увидели под смоковницей…»

В этот же момент из башни вышел изувеченный жрец Кибелы и подошёл к Эвклии, которая в не-жизни была и Прискилла, и Кундри.

«Милый Монтан,—сказала Прискилла,—из Аравии привезла я тебе бальзам, чтобы лечить твои раны».

«Милый Клингзор,—сказала Кундри,—из Аравии привезла я тебе бальзам, чтобы лечить твои раны».

Изувеченный жрец Монтан, заикаясь, с трудом произнёс невнятную речь. Пророчествовал он о гибели прекрасного мира, своим бормотанием и стоном изображал меланхолические стенания древнего мира, своими гримасами и дрожью изображал растворение и разложение прекрасной солнечной симметрии.

Злой колдун Клингзор запел грозную арию, и весь сад вдруг обернулся иным миром, и небо стало зелёным, и море стало бурным, и залив стал скалистым, голым и пустынным берегом.

Я сидел неподвижно, и видения кружились и шумели вокруг меня.

«Максимилла!—вскрикнул я—или это мне померещилось.—Я другой! Я… я…»

«Милая, почему не пвигласить господина… как вас?.. пвигласить на обед?»

Передо мной стоял бровастый профессор Моцциконе. Я напомнил ему своё имя, и он добросердечно мне улыбнулся. Его жена, теперь бритоголовая, госпожа Скьяво-Моцциконе, рассеянно смотрела на меня. Мне стало неловко.

«Спасибо!—ответил я машинально.—Только я жду господина Отмара…»

«Знаем, знаем,—перебил меня профессор,—мы с ним уже догововились. Сейчас Отмав пвидёт и вместе с вами посетит виллу Чимбвоне, потом вы пвидёте в вестован, куда он сам вас пвиведёт, он знает куда… Видите, мы виллу Чимбвоне ховошо знаем, и моя жена сегодня ужасно устала и плохо ходит…»

Мне показалось, что у неё под глазом синяк, но я стоял против солнца и это видел лишь на миг. Мы договорились, и парочка ушла… я любовался кошачьей гибкостью госпожи Скьяво-Моцциконе и неуклюжими движениями полного бровастого профессора.

Прошло ещё пять минут, и наконец прибежал Отмар.

«Извините, ради Бога, я не думал, что это отнимет у меня столько времени!»

«Пожалуйста»,—мирно ответил я.

«Пошли, пошли,—сказал он,—мы должны успеть и к часу встретиться с Моцциконе на обеде. Вы попробуете такие морские блюда и такое истинное вино!!»

И начал весело хохотать.

Теперь мы торопились по узким дорожкам Равелло и спускались по правой стороне холма. То нас сопровождала выбеленная стена, то вдруг открывались прекрасные виды на море, на деревню, на виноградники и на обработанные сады и поля. Мы прошли мимо церкви Св. Франциска и Св. Кьяры и наконец пришли к входу виллы Чимброне. Эклектическая постройка, смесь стилей, античные элементы и прекрасный сад меня сразу поразили. Особенно я был ослеплён светом окружающего пространства. На стене я прочёл древнюю надпись: *Humani nil a me alienum puto*.

Отмар с удовольствием смотрел на меня и с гордостью указывал на открывавшуюся моему взгляду красоту.

«Ну и как?»—воскликнул он, и я в ответ кивнул головой в знак полного восторга.

Мы прошли несколько шагов и подошли к первой террасе. На стене висела доска, напоминающая о любви Греты Гарбо и дирижёра Стоковского. Перед нами открывалось всё амальфитанское побережье до Салернского залива. В небе стояла тишина. Время от времени из глубины долины был слышен глухой шум далёких машин и голоса крестьян на полях.

«Вот где я хотел бы снять сцену для рекламы! Здесь, на этой террасе! Вы подумайте, как эффектно. Всё это может быть вашим, если вы обратитесь к кредиту *Barclay Bank'a*! Всё в рассрочку! Хорошие стабильные проценты, которые инфляция никак не убавит!»

Я рассеянно соглашался, и мне вдруг показалось, что передо мной сидит божественная Грета и рядом с ней маэстро, который, как в фильме Диснея, поднимая палочку, даёт начало исполнению бетховенской «Пасторальной» симфонии.

«Да, здесь было бы чудно!—продолжил Отмар.—Хотя при такой красоте у меня возникают совсем другие стремления. Я вдруг опять становлюсь композитором!!!»

«Полностью согласен!»—заметил я, но думал о другом.

Я думал о ней… о ней—о ком, не знаю.

После прогулки по саду мы вышли на знаменитый Бельведер Чимброне. Вид поразительный. Я чувствовал полный восторг в груди и жизнерадостно вдыхал тёплый морской ветерок. Мы подошли к перилам. Под нашими ногами круто спускалась скала, а внизу пестро, солнечными отблесками, зеленели поля и фруктовые сады. Дальше шли глубокие долины и расщелины, пар и прозрачность. На фоне—широкая дуга морского залива. Голова кружилась. Хотелось туда полететь вниз головой.

Отмар вдруг повернулся ко мне и стал пристально смотреть мне в глаза. Я почти испугался. Какое-то странное предчувствие, какое-то невыразимое впечатление.

«Смотри на всю эту красоту, на эти камни и на небо, на море и на солнце!! На царства и на славу мира!! Всё это я дам тебе!!»—произнёс он величественным тоном.

Я смотрел на него в полном оцепенении: он спокойно улыбался в ожидании моего ответа.

«Что вы, Отмар?»—пробормотал я.

Он грустно молчал.

«Это я—третье звено! Не вы! Меня надо лечить аравийским бальзамом. Не вас! Вы всё это поймёте! К царствам и славе вы не стремитесь? К чему, к чему вы стремитесь? Не всё человеческое вы считаете своим? Что вас останавливает? От чего вы отреклись? От кого?»

Мы долго гуляли по роще виллы, заходили в разные храмы, осматривали античные памятники. Отмар вдруг стал в моих глазах совсем другим. Как будто мы знали друг друга давным-давно.

Кто же был этот странный швейцарский композитор-адвертайзер? Почему оказался он на моём пути? И куда этот путь меня ведёт?

«Знаете,—начал он хриплым голосом,—знаете, это я вам писал!»

«Как? Когда? По какому поводу?»

«Вы человек разумный и уже всё поняли, а я—натура творческая».

Но я ничего не понимал, и мне даже казалось, что я просто плохо расслышал его слова. Одинокая женская скульптура на террасе смотрела грустно на меня, когда мы снова пришли на Бельведер. Богиню, наверное, оторвали от её храма и поставили там, на просторе перед беззакатной красотой.

«Вы—человек чувствительный!—продолжал он.—Человек другой эпохи, другого времени, хотя

пользуетесь Интернетом и говорите по мобильному… Вы должны были вернуться к главным вопросам, разобраться в них… Вы знаете, у немцев модно говорить о Begriffgeschichte[12]… наша жизнь такая же Begriffgeschichte, и мы живём в постоянном изменении своей натуры, концепции самих себя… Наше имя — это просто условность, мы живём в множественности ликов, олицетворений и натур!»

Я уже не слушал его, а смотрел кругом в опьянении.

«Понимаю, вы голодны! Я тоже, кстати, и пара Моцциконе нас давно ждёт!»

Он посмотрел на меня, прищурил глаза и с усмешкой добавил:

«Вы постоянно меняетесь, постоянно не узнаёте себя, но дом, который вы себе купите в прекрасном *Future Village* на чудесном Лазурном берегу, будет навсегда! Каменный дом ваших мечтаний может быть вашим сразу, обратитесь немедленно к вашему дилеру по телефону…»

Отмар громко усмехнулся, и мы отправились назад в ресторан.

В ресторане большой зал выходил прямо на море. Тёплая температура позволяла держать распахнутой большую стеклянную дверь. Запах весны и чувство беспечности овладели мною. Я сидел и наслаждался едой, пока Отмар и Моцциконе весело болтали. Госпожа Скьяво-Моцциконе молчала и смотрела в открытую дверь. Вдруг она повернулась ко мне и сказала:

«Знаете, вы мне напоминаете кого-то, это было давно…»

«Неужели?»

«Да!»

Потом она вдруг изменила тон, и выражение её лица ожило:

«Почему ты вернулся? Ты вернулся, чтобы меня мучить?»

«Не пони…»

«Когда я тебя ждала, ты не пришёл… а теперь я… я просто не знаю, кто я… зачем, зачем мне все эти переживания!»

«Довогие двузья! — перебил всех профессор Моцциконе. — Я заказал вкуснейший гвиль выб и моллюсков… вино самое-самое! Должен пвизнаться, что для меня сегодня день совсем неовдинавный! (Это слово он произнёс с усмешкой…) Утвом я получил извещение о том, что я стал овдинавным (тут он замедлил) пвофессовом и могу занять славную кафедву в Восточном Институте в Неаполе!»

«Ура! Ура!» — закричал Отмар.

Мы все громко аплодировали. Я как будто вдруг проснулся. Обратив взгляд на госпожу Скьяво-Моцциконе, я заметил, что её грудь взволнованно трепетала, а полуоткрытые губы дрожали.

«За что? За что вам дали кафедру?» — пошутил Отмар.

Бровастый профессор стал серьёзным. Его лицо приняло важное выражение. Торжественно он начал:

«За ваботы, посвящённые истовии иудейской войны!»

Все затихли, потом Отмар вдруг поднял бокал и предложил тост:

«Выпьем за неординарную карьеру нео-ординарного профессора Моцциконе!!»

Все захохотали и выпили. Скоро мы сидели в такси и мчались назад в Амальфи. Солнце заходило, и уже виднелась полная луна, новая королева неба.

«После такого обеда, боюсь, вечером мы не пойдём дальше чашки кофе или капучино…» — сказал Отмар.

«У нас есть дела, — отметил профессор, — но завтва мы готовы к новым осмотвам!»

Отмар кивнул головой. Приехав в Амальфи, мы разошлись, но прежде мы с Отмаром договорились о встрече вечером.

Я отдохнул в своём номере в гостинице. Потом оделся потеплее и вышел. В чистом небе блистала полная луна, королева небосклона, и отблески от неё отражались в морской глади. Отмар ждал меня на улице.

«Я совсем не голоден», — уточнил я.

«Да, нужен какой-то отдых от постоянного объедания! Давайте немножко погуляем и потом зайдём в кафе «Панса» и что-нибудь закусим».

«Ладно!»

Прогулка прошла в молчании. Отмар как-то нервно ходил, держа руки в карманах, время от времени останавливался и обращал взор на морскую гладь.

«Дорогой друг, сегодня полнолуние, и нам с вами надо проверить достоверность местных легенд».

«Что вы имеете в виду?»

«Как что?! Я имею в виду легенду о вечном приговоре Эгеата! Сегодня блестит полная луна… ему опять бросаться в волны!»

Отмар с удовольствием засмеялся и указал в сторону кафе «Панса». Вскоре мы оказались прямо у лестницы собора… Я заметил, как женщина в чёрном выходила из собора. Она кивнула Отмару, но тот не обратил внимания на неё или не дал мне это заметить. В кафе было пусто. Мы сели за столик, заказали тёплый шоколад и несколько пирожных.

«Пребывание в Амальфи — это вечное посещение ресторанов и кафе!» — заметил я.

«Разве это плохо? Или у вас были другие планы?»

Я опять спросил себя, зачем я уже два дня сижу здесь и живу, как будто очарованный, в полном безделье.

«Нет… Мне надо просто отдохнуть», — ответил я наконец.

В этот момент в зал вошёл толстенький прелат и сел за соседний столик. Он заказал кучу пирожных и ещё крем-брюле и французский коньяк. Сидел он тихо и ел с полным удовольствием. Я стал пристально смотреть на него. Он это заметил и вдруг сказал:

«Чревоугодие надо исключить из списка пороков!» — и весело засмеялся.

Я кивнул головой. Я прекрасно понял, что он хотел завязать с нами разговор. Отмар с наслаждением глотал тёплый шоколад. В зеркалах зала

12. История понятий *(нем.)*.

я видел его с разных точек зрения, как настоящее осуществление множественности ликов.

«В первый раз в наших краях?» — внезапно спросил прелат.

«Да!» — ответил я.

«Ну и как? Красота нетленная, не правда ли?»

Я молчал, а он торжественно, как будто исполняя церковное пение на латыни, заговорил:

«Амальфи — это любовь и начало, альфа алфавита прекрасного. Святость сопровождается чистейшей красотой и духовностью! Тот, кто сюда приезжает, словно обогащает себя дарами святейшего вдохновения. Сама природа здесь дышит божественностью. И простой народ здесь особенно благочестив и религиозен! Истинная духовная красота!»

Я согласился с ним и спросил, кто он и как его зовут.

«Я дон Баттимо, хранитель соборной сокровищницы!»

Он продолжал есть свои огромные пирожные и наслаждаться вдруг найденной компанией для разговора.

«А вы считаете, что красота принадлежит миру сему?» — вдруг спросил Отмар.

«Разумеется!» — ответил прелат.

«Тогда что ещё нас ожидает?» — провоцировал его Отмар.

«Справедливость, — сказал прелат, — больше не будет ни греха, ни порока, ни пошлости, ни жадности!»

Отмар усмехнулся и вдруг добавил:

«А чревоугодие? Похоть?»

Прелат покраснел, как индюк, задрожал и вдруг обиженно ответил:

«Вам, иностранцам, не понять! Красоту спасёт весёлая игривость, шутливость, а не ваша беспросветная моральная логика. Шутливая утопия, и вместе с ней — тайна прощения! Красота жизни — её доброта!»

Отмар, видно, был совсем не согласен. Он мог бы понять мистическое, мистериальное отношение к жизни, а не такую лёгкую простоту, такую банальность. Конечно, он хотел возразить.

«Вот заиграли мандолины! — вдруг невнятно сказал он самому себе. — Вот танцуют тарантеллу!» — сразу же добавил он.

Прелат ничего не говорил, продолжая есть свои пирожные и подливая коньяк.

«Максимилла!» — вдруг воскликнул я непонятно почему.

Прелат с испугом посмотрел на меня. Отмар наслаждался этой сценой.

«Причём здесь это святейшее имя?» — после долгого колебания спросил прелат.

Я не мог ответить.

«Знаете ли вы, что у нас здесь, в соборе, хранятся святые мощи апостола Андрея и что Максимилла их спасла и долго хранила?»

«Конечно, всё это нам известно», — перебил нас Отмар.

«Нет, — вдруг захотелось мне уточнить, — я имел в виду рассказ Мазуччо про Максимиллу и Донно Баттимо, я его помню ещё со школьных времён!»

Прелат вдруг улыбнулся:

«Да, иностранец нас не поймёт! А мы всё поняли… Кораблик ушёл, вокруг красота майского расцвета, весеннее тепло и любовь. Это тоже шутливая утопия… Это тоже красота, хотя не все поймут… Знаете, уважаемый господин, я родился в этих краях, меня с детства закрыли в семинарии, и всю жизнь я служу Господу Богу… но с солнечным пространством морской стороны я никогда не расставался и не расстанусь. Её весёлая беспечность — самая высокая степень красоты, это просто божественная лёгкая простота!»

Когда он доел последнее пирожное, всем показалось, что великий дирижёр торжественно довёл до конца громадную симфоническую поэму. Мне даже мерещилось, что великолепное crescendo наконец нашло свою громокипящую вершину в последнем глотке коньяка, и вдруг оркестр затих. Не так ли бывает и в сладостном climax'е любви? Так мне подумалось, но потом в полном изумлении я увидел перед собой дона Баттимо в объятиях Максимиллы, допивающего до последнего глотка любовный свой эликсир!

«Нам пора!» — вдруг сказал Отмар.

«Куда?» — спросил я в недоумении.

«Не забыли ли вы про полнолуние?»

«Нет».

Мы распрощались с прелатом, который добродушно, не то приветствуя, не то благословляя, махнул нам рукой, и вышли на улицу.

«Не хотите погулять вдоль побережья до того самого места, откуда, по легенде, при полной луне Эгеат бросается в море?»

Я ничего не ответил, но понял, что Отмар очень стремился к этому, и не решился ему возразить.

«Вдруг вы, как художник Клингзор, его увидите?» — шутливо заметил Отмар.

Вскоре мы шли по дороге, и затем — по тропинке высоко вдоль берега. В темноте было плохо видно, и я ничего не понимал. Иду за малознакомым человеком, ночью, по горным тропкам над морем, чтобы увидеть место малоизвестного легендарного действия. Кроме того, я был плохо обут, и вскоре у меня стали болеть ноги. Чем дальше мы шли, тем больше я боялся упасть, уже не говоря о том, что не был в состоянии вернуться обратно, если бы вдруг потерял Отмара. Тот шёл уверенно и время от времени напевал какие-то альпийские песни. Полный кошмар. Вдруг за огромным камнем он остановился. Перед нами в лунных лучах блистала огромная морская гладь. Ночные отзвуки потерялись вдали… там же дрожали далёкие отблески селений и домов. Отмар стоял и смотрел на ночную тень. И вдруг запел:

Komm in die stille Nacht,
Liebchen, was zögerst du?
Sonne ging längst zur Ruh;
Welt schloß die Augen zu,
Rings nur einzig die Liebe wacht.[13]

Я зааплодировал. Он вдруг затих и поднял руку.

---

13. Начальные строки известного Lieder'а Р. Шумана на слова Р. Райника.

«Вот, теперь смотрите: мы на знаменитом месте, связанном с легендой. Вдруг вам удастся увидеть вашего героя?»

Я осмотрелся. Внизу шумели волны… на горизонте плыло огромное судно… Всё было тихо. Отмар смотрел то на часы, то на мобильный. Мы ждали. Кого? Зачем?

Внезапный шорох заставил меня обернуться. Отмар ничего не заметил, а я… Я просто увидел вдалеке тень, которая поднималась по камням. Присмотрелся внимательно.

«Вы что?»—спросил Отмар.

«Ничего…—ответил я.—Просто показалось…»

Нет, мне не показалось, я действительно видел тень, шедшую по нижней тропинке и поднимающуюся между камнями. На ней была белая длинная одежда и красная туника.

Вдруг на скале появился Эгеат, и я в ужасе узнал себя… своё постаревшее лицо… в его взгляде я узнал свою давнюю печаль, в его глазах я увидел всю давно ушедшую красоту… какая же это шутливая утопия! Какая же это весёлая беспечность… Он быстрыми шагами отошёл от нас чуть дальше в сторону мыса и встал на вершину скалы… Отмар, ничего не заметив, писал смс по мобильному… Я стоял, окаменев. Эгеат подошёл к пропасти… Мне стало плохо… В груди пусто, и голова кружится…

Эгеат осмотрелся вокруг… долго и пристально любовался морской гладью вдали… потом вдруг прыгнул и бросился головой вниз в море без малейшего звука…

Перед моими глазами, как в фильме, молниеносно чередовались обратным ходом чёрно-белые кадры из моей жизни… Ледяная гладь ночных волн… я тонул… Зелёная глубина… как в сказке… как в жизни изначальной…

«Что с вами?»—спросил Отмар.

Я падал в обморок. Как я добрался обратно в гостиницу, не знаю. Всю ночь я провёл в кошмарах. Отмар сидел у моего изголовья… Когда точно не помню, но пришёл профессор Моцциконе, чтобы узнать о моём состоянии. Вызвали ли врача, не знаю.

На рассвете я вдруг проснулся. Вокруг меня—полная тишина. Окно было полуоткрыто, и вялый луч света проникал сквозь немые тени окружающего пространства. Отмар спал в кресле полуодетым и с открытым ртом. Я осмотрелся. Тихонько оделся и вышел тайком из комнаты. Мне ужасно захотелось вдохнуть свежий воздух и наконец выйти из кошмарного состояния. Я стал подниматься по *Salita Santa Caterina*[14]… на земле было мокро: то ли дождик, то ли, скорее всего, утренняя роса. После нелёгкого горного пути я пришёл к развалинам старинной башни-цистерны. Она стояла рядом с огромным древним полуразрушенным зданием. Оно было очень похоже на бывший монастырь. Уже просветлело. Утренний туман рассеялся. Я повернулся, и передо мной открылась крутая дуга морского залива. Как руки каменного пловца, молы тянулись по воде, и первые морские птицы начали кружиться у тёмных берегов. Мне вдруг послышался голос, зов… Он шёл изнутри башни… Я сразу понял… Сломанную дверь я открыл без малейшего труда и взошёл по узкой лестнице на второй этаж… Было темно.

«Ты вернулся!»

Вдруг место озарилось: передо мной стояла Эвклия… Она была прекрасна. Её кудри величественно падали на стройные плечи. Её перси туго цвели, глаза её горели, как факелы.

«Голубка моя!»

Она подошла ко мне. Я сразу почувствовал теплоту её груди, опьянел от сладости её лобзаний, согрелся в её ласках. Что-то звериное встрепенулось в моей душе… я выпил весь фиал желания и чувственного наслаждения. «В ущелии скалы под ковром утёса!» Моё тело торжествовало.

«Это ты мне писала?»

«Нет, я тебе пела!»

И она начала мяукать, как кошка в весеннюю пору… её тело двигалось гибко и изящно, её красный ротик шептал цветущие слова. Снова и снова желание, как весенний горный источник, полноводно вытекало из пульсирующего мрамора её атласной кожи.

Однако мой импульс не мог притупить мою тоску, сладость телесного удовольствия не могла удовлетворить полного стремления к красоте. Я отскочил от неё и крикнул:

«И ты рождена разложением симметрии, ясности, красоты! Они, крамольники, послали тебя, чтобы обмануть меня, ты—не Максимилла!! Теперь я знаю: розовая синь авроры у залива—это не свет твоей влюблённости!»

Я посмотрел в открытое окно, меня ласково согревал луч солнца… я повернулся к ней: передо мной стояла грустная бритоголовая госпожа Скьяво-Моцциконе в полном desabillé. Её полное тело дрожало от холода и обиды. Глаза блистали горькими слезами. Мне стало грустно и стыдно. Я обнял её и нежно поцеловал. Я помог ей одеться и в последний раз посмотрел в её глаза. В них я увидел солнечную морскую сторону, в её голосе услышал ветер пустыни… она стала урчать, даже мяукать… её язык был вырезан…

Теперь я бежал по пустым переулкам Амальфи, не зная куда, но отчётливо чувствовал, куда мне надо. Вдруг на повороте передо мной появилась огромная фигура прелата. При виде его я оцепенел.

«Что так рано?—спросил он вежливо.—У вас очень невыспавшийся вид…»

Я молчал. Он сразу же понял, что в голове у меня полный хаос.

«С вами что-то случилось? Куда вы бежите? К нам в церковь?»

Как он догадался?

«Сегодня такой прекрасный день, смотрите, вся Вселенная—торжественный храм! Радуйтесь! Дышите чистым воздухом утреннего разлива!—дон Баттимо весело захохотал, потом оглядел меня серьёзным взглядом.—В такую утреннюю пору человек полностью проникает в сущность и значение красоты!»

14. Подъем Св. Екатерины *(итал.)*.

Я не понимал, мне было по-настоящему плохо. Вдруг он вытащил из-под рясы пачку сигарет *Camel*, взял одну, зажёг и с удовольствием закурил.

«Видите, лицемерие—это самый противный грех! У меня грехов много, но такого нет, поэтому могу с вами откровенно: люблю курить, люблю есть, и ещё много чего я люблю… и одновременно я—служитель святой церкви: ей я посвятил всю свою грешную персону и свою суетную жизнь навсегда, потому что уверен, что только в церкви спасение моей души и всего человечества!»

Серенький дымок поднимался в воздух, и толстый прелат смотрел на меня особенно пристально. Подошла какая-то старушка и поздоровалась с падре.

«Здесь никто не удивляется, что важный прелат, хранитель соборной сокровищницы, курит. Видите ли, эти места обладают особой исторической глубиной… может быть, здесь, где мы теперь находимся, когда-то стоял какой-нибудь древний жрец и открывал народу тайны грядущего. А я вам тоже мог бы открыть некоторые тайны. Например, что в жизни много вранья и постоянных компромиссов и что скорбь от этого вранья и от этих компромиссов—никому не видимая скорбь—равноценна великим страданиям героических подвигов. Быт не меньше и не ниже жизни, бытия. И в нём благов-одное ств-адание, и в нём бесценная кв-асота!»

Вдруг мне показалось, что дон Баттимо начал картавить, но это мне только показалось. Я всё молчал, как будто и мне вырезали язык. Он продолжал:

«Видите ли, красота, которую вы ищете, давно с вами. Идиотизм человека состоит в том, что он должен всегда искать что-то особое, другое, необыкновенное… А вам чего ещё надо? Вы здесь, в Амальфи, солнце, море, кофе, здоровье… чего вам ещё?»

Не попрощавшись с ним, я помчался дальше по переулкам и оказался на площади, прямо перед собором. Поднялся одним махом по лестнице и вошёл в храм. Вокруг—пустота и тишина. Отправился в сторону крипты и начал спускаться по лестнице… Вдруг мне навстречу появилась тень.

«Эгеат, наконец-то ты пришёл!»

«Я пришёл тебя освободить!»

«Нет, ты пришёл освободить себя!»

Под вуалью я узнал кудрявую рабыню Максимиллу! Она ужасно постарела… Сквозь морщины худого лица я узнал её взгляд, её прекрасный светлеющий взгляд. Она взяла мою руку и стала её сильно сжимать. Я стоял перед ней неподвижно и в полном молчании. Жгучие слёзы лились по моим щекам.

«Розовая синь авроры у залива—это был свет моей влюблённости!—послышалось мне.—Но моё место здесь, Эгеат, это давно решено, и это прекрасно. Красота мира не терпит твоей тоски, и это я должна была тебе сказать! То, чего я тебя лишила,—блаженный покой—я теперь тебе его возвращаю. Теперь ты всё поймёшь—и голос ветра, и язык морской волны; всё различишь—и слова Вселенной, и ланиты красоты!»

Моя душа торжествовала. Я поднял свой взгляд: передо мной стояла молодая Максимилла, под вуалью я различал её кудрявые волосы, видел её уста, полуоткрытые не то для улыбки, не то для благословения. Это было мгновение! Вскоре я оказался на площади. Я стоял один на мостовой и рассеянно смотрел на прекрасный фасад амальфитанского собора.

Оркестр заиграл первые ноты, и шумная болтовня публики затихла. Сцена открывалась прямо перед морем, публика сидела на площади у мола. Свежий вечер нежно ласкал морским ветерком головы и волосы. В открытом зале освещение вдруг померкло, осталось лишь мерцающее блистание морской волны. Вдалеке, на дороге, устало бормотали машины, но взрывы весёлой музыкальной перестрелки увертюры вскоре захватили внимание и сердца всех присутствующих. Толстый дирижёр без особого physique du rôle[15] вдохновенно жестикулировал и, медленно раскрывая сжатую в кулаке руку, старался вызвать у музыкантов особо страстную отзывчивость. Большая красная гвоздика украшала петлицу его фрака, и его вспотевшую шею стал промокать огромный белый платок.

«Настоящий провинциализм! Какой жалкий и одновременно неповторимый спектакль!!! Как я люблю такой невнимательный дилетантизм! Я, который дошёл до совершенства творческого искания, могу себе позволить такое безобидное удовольствие!»

Я дослушал слова Отмара, потом чуть-чуть повернулся в его сторону и одобрительно кивнул головой. В этот же момент поднялся занавес, и перед нашими взорами появилась главная площадь Амальфи. Жалкая многоцветная инсценировка представилась мне деформированным отражением настоящей кафедральной площади, вид которой открывался позади—за нашей спиной—через городские ворота.

«Какая недалёкая, но милая идея—ставить оперу Петреллы «Графиня Амальфи» именно здесь, в Амальфи, чтобы содрать деньги с доверчивых иностранных гостей… и оркестр такой жалкий, посмотрим, какие будут голоса… Увидите, как несообразно толсты певцы!»—с удовольствием улыбаясь, заметил Отмар.

Я думал о прошедшем дне. По правде говоря, я не мог вспомнить всех деталей и всех обстоятельств, но теперь я был на опере вместе с Отмаром и наблюдал, как бровастый профессор Скьяво-Моцциконе тихо сидел один несколькими рядами впереди и своими огненными глазами постоянно искал кого-то в публике. Уже чуть позже я узнал местного прелата. Он важно сидел прямо в первом ряду, и мне нетрудно было заметить его явное сходство с толстым дирижёром, который в нескольких метрах от него пыхтел и полноводно потел.

Когда на сцене появились певцы и сюжет оперы стал развиваться, мне вдруг показалось, что я уже не там, а живу в другой жизни и в другом месте.

15. Внешнее сходство с персонажем *(фр.)*.

Когда утром я оказался один на мостовой и рассеянно смотрел на прекрасный фасад амальфитанского собора, то понял, что вправду я живу в разных жизнях, в разных местах, в разные времена, и главное — что монотонно-однозначной формы существования не бывает. Что произошло потом, я помню смутно. Или даже вообще забыл. Перед моими глазами мелькало озабоченное лицо профессора… кажется, его жена исчезла… она от него ушла…

«Именно сегодня, когда я стал овдинавным пвофессовом!!» — страдающим голосом повторял бедняга в полном недоумении и отчаянии.

Вдруг мне показалось, что та самая синьора, кудрявая чувственная кошка, проехала совершенно голой в открытой машине. Длинные кудрявые волосы покрывали её полную грудь, и все вокруг кричали: «Лэди Гудйар! Гудйар! Ваши шины! Гудйар! Шины для настоящего мужчины!» На площади появился местный дурачок, одетый в мундир: он весело танцевал и подпрыгивал, потом останавливался и показывал разные фокусы. За ним бегала толпа крикливых детей. Ох! Какая шумная местная детвора! И вместе с ней, мне показалось, подскакивал улыбающийся Отмар… да, именно он, мой тайный знакомый, композитор и адвертайзер. Очевидно, очередной его фокус для нового рекламного проекта. Просто пока непонятно, какой!

Кажется, я долго лежал. Мне кажется, я лежал целый день, но, признаюсь, не совсем в этом уверен. И кроме того, где же я мог лежать?.. Казалось, день прошёл за один миг, и теперь, сидя на музыкальном спектакле под звёздным небом Амальфи, я переживал странное состояние немоты и беспамятства. Я сидел рядом с Отмаром, и он руководил мною так, как кукольник своими куклами. Он говорил со мной, задавал вопросы и сам отвечал за меня: перед моими глазами всё ещё стоял последний миг утреннего свидания с ней… и ветер, лаская мои волосы, как будто приносил нездешний аромат этой чудесной, но призрачной встречи.

Когда полногрудое высокое сопрано в красном платье с декольте запело арию Леноры: «Fu una sera d'ebbrezza, el'alma mia N'è piena ancor…»[16] — я вдруг очнулся от своей дремоты. Отмар смотрел на неё глазами, полными томления. Не музыка его очаровала, а именно она, полногрудая певица с длинными ресницами и золотыми локонами.

«Она гречанка! — вдруг прошептал мой швейцарец. — У неё чувственный голос и обаятельные кошачьи движения! Как жалко, что такая сильная натура чахнет в этой банальной среде!»

Пока она под неуверенный аккомпанемент оркестра завершала свою сложную партию, бровастый профессор встал с места и в полном опьянении слушал её стоя. Другие зрители шумели и толкали его, а он, как отважный кормщик, неподвижно стоял у руля, презирая могущественные валы народного негодования. Когда Ленора окончила свою арию и вся публика шумно аплодировала и громко кричала: «Браво! Браво! Бис!» — профессор Моцциконе решительно подбежал к подмосткам и крикнул:

«Эвклия, не бвосай меня, кавьева для меня ничтожна! Ты, ты звезда нашего небосклона!»

Оркестр затих, публика зашумела, и дирижёр поднял сжатый в руке белый платок. Певица смотрела на него, ожидая повтора своей арии, а дирижёр колебался, повернувшись к публике. В это время прелат подошёл к Моцциконе, проводил его к месту, посадил и подал знак дирижёру. Ленора вновь запела свою арию, и весь народ опять повеселел… «A'vezzi miei resistere non è sì facil gioco…»[17]

«Вери пиктореск!» — говорил англичанин англичанке.

«Вундербаар!» — повторял немец немке.

«Трэ жоли!» — уверял француз француженку.

Когда грустная Тильде вышла на сцену, я понял, что и эту жизненную минуту я уже давно прожил. Ария грустной кудрявой певицы, её движения по сцене, её рассеянно-печальный взгляд меня сразу завоевали.

«Она тоже гречанка! — вдруг прошептал мой швейцарец. — У неё таинственно-возвышенный голос и ангельские движения! Как жалко, что такая сильная натура чахнет в этой банальной среде!»

Пока Тильде под неуверенный аккомпанемент оркестра завершала свою сложную партию, пузатый прелат встал с места и в полном опьянении слушал её стоя.

Другие зрители начали шуметь и толкать его, а он, как вековая скала, неподвижно стоял под ударами морской грозы и презирал могущественные валы народного гнева. Когда Тильде закончила свою арию и вся публика шумно аплодировала и громко кричала: «Браво! Браво! Бис!» — хранитель соборной сокровищницы решительно подбежал к подмосткам и крикнул:

«Максимилла, божественная Максимилла, из-за тебя я надел эту рясу, ты, ты звезда святого небосклона! Ты звезда-кормило моего призвания!»

Оркестр затих, вся публика живо комментировала:

«Священник! Что за слова! Боже мой! Что скажет епископ!»

«Вери пиктореск!» — говорил англичанин англичанке.

«Зеер Кёмиш!» — повторял немец немке.

«Ан пэ дрол!» — уверял француз француженку.

Дирижёр поднял сжатый в руке белый платок. Печальная певица смотрела на него, ожидая повтора своей арии, а дирижёр колебался и повернулся в сторону публики. В это время Отмар подошёл к прелату, что-то ему прошептал в ухо, а дон Баттимо, как будто проснувшись, в испуге от большого переполоха подумал, что пришли за ним cum gladiis et fustibus[18], чтобы его побить и наказать!! Весь дрожащий, в поту, увидев, что выход из партера открыт, он отскочил от своего кресла, вышел на площадь и убежал как угорелый. Отмар подал знак дирижёру. Тильде вновь запела свою арию, и народ опять повеселел…

Когда занавес окончательно опустился и трагический сюжет оперы Петреллы завершился,

16. Это был вечер похмелья, и моя душа им ещё полна… *(итал.)*.
17. Твоим замашкам мне не так легко сопротивляться… *(итал.)*.
18. С мечами и кольями *(цит. из Мт 26.47)*.

мы с Отмаром вышли на соборную площадь. Я в полном смущении, молчал.

«Да, дорогой друг! У вас сегодня был очень тяжёлый день. Вы пережили стремительный творческий порыв и теперь полностью обессилены».

Я молчал. Он привёл меня в кафе «Панса», усадил в кресло и заказал две чашки кофе. Я осмотрелся в уже знакомом мне месте и заметил, что мы были в зале совершенно одни.

«Профессор Моцциконе безумно влюбился в полногрудую кудрявую гречанку. Она, я знаю, уйдёт к нему. На неё он растратит все свои деньги, а потом она его бросит и убежит с молодым красавцем. Это не мы с вами, конечно, хотя… не такие уж мы и старые!»

С этими словами он громко захохотал. Я молчал.

«Не хотите знать, что дальше?»

Я вопросительно смотрел на него.

«Старый ординарный профессор с разбитым сердцем будет жить в одиночестве, будет ездить по разным провинциальным театрам, где выступает дирижёр Фацци—тот самый, которого мы сегодня слушали… Он будет следовать за ним в надежде быть поближе к человеку, который открыл талант гречанки и первым целовал её в губы после каждой прекрасно исполненной арии…»

Я молчал… Хотелось возражать, спрашивать, но незримый барьер отделял меня от окружающего мира.

«Я вас понимаю, дорогой друг. Вам хочется узнать про нашего прелата и, главным образом, про вас, про вас, создателя и жертву этого сплетения чудес и судеб!»

Я кивнул головой. В это время официант принёс нам кофе и огромные ромовые бабы.

«Вы меня разочаровали и как автор, и как герой! Я создал для вас такие возможности, такие сценарии, представил вам таких женщин и таких хороших персонажей, а вы… вы всё испортили и дошли до того, что больше не можете ни говорить, ни вообще выражать ваши мысли! Что мне теперь делать? Начать всё сначала? Конечно, я бы мог всё перевернуть и привести в нужный порядок, но time is money[19], и у меня за это время появились такие замыслы, такие проекты адвертайзинга, что по сравнению с ними ваша мелкая проза никуда не годится. Эпоха художественного опьянения искусством для искусства давно закатилась, не говоря уже о назидательной функции её. Остаётся лишь запах денег, хотя и было сказано, что pecunia non olet[20]! Какой обман! Тот, кто различает этот запах,—настоящий художник, а кто не различает—приговорён к забвению!»

«А вы кто, господин Шонке?»—вдруг удалось мне выдавить.

Он посмотрел на меня с удивлением.

«Я ваша лучшая, позитивно думающая сторона!—и довольно захохотал.—Если б не я, вы давно покатились бы в небытие, а я вам покажу, как надо заботиться о себе, как надо писать рассказ о себе от первого лица! Но прежде—некоторые детали, а то без этих сказаний наша летопись останется неоконченной! Не забудьте, писать надо строго и немногословно. Невнимательный читатель (а все давно стали невнимательными) следит только за развитием сюжета… всё остальное—словесный мусор… его давно собирают, как макулатуру, но сдавать некуда и некому… давай шустро и без Пруста; давай не бойся, тут нет Джойса! Давай молниеносно, как по мобилу, а не медлительно, как по Музилю!»

Я уже начал его бояться, этого таинственного и грубоватого швейцарца. Кто его навёл на мой путь? Он вдруг заговорил со мной в автобусе, а потом постепенно довёл меня до немоты и беспамятства; он сам за меня и говорит, и пишет. Слава Богу, думаю я ещё независимо. Или мне так кажется?

«Итак, некоторые детали, а то наша летопись останется неоконченной! Наш прелат вернулся в собор. Там он долго продолжал быть хранителем знаменитой сокровищницы. Голос ангельской Тильде постоянно звучал у него в сердце и в памяти, напоминая ему о прошлых мечтаниях. Почему, думал он, ему была дана роль толстого, старого прелата? Разве к этому вели его юношеские стремления? Кто распорядился таким сплетением судеб? Приходы таинственной старой дамы в крипту успокаивали его совесть, но в то же время острое желание полного обладания жизнью и вытекающее отсюда неудовлетворение ужасно мучили его. Несовпадение бытия и стремлений, несходство внешней жизни и внутреннего порыва стали для него непреодолимыми противоречиями. Почему внешность и натура наделили его ролью пошлого прелата, любителя компромиссов? Говорят, что он, глубоко полюбивший певицу, в полном отчаянии от неосуществимости своих желаний, изувечил себя и в мистическом порыве стал писать безобразные картины и глаголить таинственными изречениями, пророчествуя о красоте мира иного! Вы, наверное, считаете, что всё это ужасно! Не знаю, дорогой друг, какое у вас мнение, но я считаю, что всё человеческое, даже самое свинское, мне не чуждо!»

Отмар хохотал, довольный; я хотел ему возразить, но у меня не было сил даже на то, чтобы открыть рот. Моя воля просто замирала, трепыхалась, как рыба в ведре, открывающая рот в полном беззвучии.

«Дорогой господин… Как вас?.. Да забыл, не важно! Дорогой господин Безымянный, вы, наверно, думали, что нас с вами ожидает спасение: свет и покой, истинная красота! Ваш рассказ так и закончился:

«*Розовая синь авроры у залива—это был свет моей влюблённости!—послышалось мне.—Но моё место здесь, Эгеат, это давно решено—и это прекрасно. Красота мира не терпит твоей тоски, твоей ностальгии, и я должна была сказать тебе об этом! То, чего я тебя лишила,—блаженный покой—я теперь тебе возвращаю. Теперь ты всё поймёшь—и голос ветра, и язык морской волны; всё различишь—и слова Вселенной, и ланиты красоты!*»

Моя душа торжествовала. Я поднял свой взгляд, и передо мной стояла молодая Максимилла, под

19. Время—деньги *(англ.).*
20. Деньги не пахнут *(лат.).*

вуалью я различал её кудрявые волосы, видел её уста, полуоткрытые не то для улыбки, не то для благословения.

Не так ли вы рассказывали, господин Безымянный?»

Я чувствовал себя как в бреду… мне казалось, что меня закрыли живым в стеклянном гробу, кричу—и никто меня не слышит!

«А это не так! Дорогой друг! Совсем не так, и я теперь расскажу вам всю правду, начиная с судьбы упругой, чувственной Эвклии! Эвклия, Эвклифчик Найк—VIP-досуг! Вот, не могу освободиться от своего адвертайзинга…»

Отмар всё хохотал, а я стал его просто ненавидеть: его пошлость, его самоуверенность меня задевали и ранили, но я в полной психологической зависимости от него.

«Вы меня не любите! Дорогой друг! И совершенно напрасно. Я великий художник, я глубокий мыслитель. Вы просто отстали и не принадлежите времени сему…»

Официант принёс ещё ромовые бабы и вдобавок бутылку коньяка. Я даже не заметил, как Отмар их заказывал:

«Вот эти ромовые бабы, эти чашки кофе, эти рюмочки коньяка. Разве они ниже художественного текста? У них и запах, и вкус, и цвет, и плотность… а у художественного текста… Кто же его поймёт? Но вам надо узнать о чувственной Эвклии… О ней лучше слушать, подливая хороший французский коньяк!»

Он заставил меня выпить. Всё произошло автоматически, он дружественно улыбался.

«Когда вы лежали в бреду в *La Bussola*, мадам Скьяво-Моцциконе пришла ко мне и объявила: «Я вас люблю, Отмар! Я это поняла с первого взгляда, вы единственный мужчина с чувством собственного достоинства. Мой муж не имеет о нём ни малейшего понятия, а человек, которого я так любила, которого ждала и о котором так мечтала,—не человек вовсе, а тростник на ветру без воли и без крови!» О ком она говорила, вы прекрасно знаете, дорогой господин Безымянный! Я овладел ею, и должен вам сказать, что буду и впредь повторять эти мои выходы в мир красивой неги и прелести земной!»

Отмар начал отвратительно хохотать и пить рюмку за рюмкой французский коньяк. Я полностью оцепеневший, чувствовал, как слезинка пробежала у меня по щеке и горько остановилась на похолодевших губах. Мне захотелось выть, поднять кулаки, возражать, кричать, что всё это неправда и ложь, но я оставался безнадёжно неподвижным перед победоносной улыбкой моего швейцарца.

«А ваша Максимилла!! Ваша богомольная красавица, ваша святая жена, Эгеатик ты мой…—продолжил мой демон-собеседник.—Ваша *кундри*-явая волшебница—она принадлежит мне, она моя любовница, а я её колдун-хозяин. Кундри и Клингзор… Эгеата давно нет на свете и, быть может, никогда не было… Ваша фантазия давно изжита, и ваша песня спета, дорогой любитель симметричной красоты античного мира!!»

Я плакал, а он ел ромовые бабы одну за другой, и на лице его как будто сияла полная радостная луна. Полнолуние—и у меня тяжело на душе, полнолуние—и мой прыжок в грозу…

«„*Розовая синь авроры у залива—это был свет моей влюблённости!*“ Такими рекламными объявлениями ничего не продашь, дорогой господин Безымянный, и ваша Максимилла вам изменила давно, вы себя изувечили, Монтанчик, вы в полном отчаянии покончили собой… прыгнули с вершины мыса вниз, в бушующие волны голубого залива. Эгеат, Эгеатик, какой вы недалёкий и наивный… идеального мира нет и никогда не было… байки рассказывают, чтобы продавать, а продавать—значит, обманывать… При Цезаре—как при Буше… Ваш сложный красочный сюжет не стоит ни гроша… нет специальных эффектов, нет никакого pulp'а и нет никакого интригующего сюжета для успешного сериала!!! И порнухи нет… Куда же его? Продаваться он не будет, а мои фотки с голой госпожой Скьяво-Моцциконе я могу продать без особого труда… Могу также шантажировать её глупого «овдинавного пвофессова». Жизнь—не драма, не миф… Её не поставишь в театре, её не расскажешь, и от неё не может быть никакого просветления, никакого очищения, а только сильный запах денег, спермы и крови…»

У пустого скалистого берега—только шум морской волны. Вдруг как будто пейзаж стал иным… исчезла южная задумчивость, и холодные руки влажного ветра били по щекам одинокого рыцаря. Только что всё вокруг теплело бесконечной негой, а теперь… Теперь хохот колдуна и волшебника, казалось, перевоплотился в воющий стон близкой грозы. Где же очарованный сад, где источник любви, откуда чистой лазурной водой очищал рыцарь свою душу? Где изысканные и лёгкие прыжки танцующих нимф? Или всё это только померещилось, и мы жили давно и во время иное?

Кудрявая Кундри, прекрасная светлая девичья душенька и тёмная чувственная волшебница, приманила одинокого рыцаря своей разъедающей любовью, звонко звала его и умоляла. И понял одинокий рыцарь, что он не в силах сопротивляться и что святое предназначение ему уже не исполнить!..

«Так, всё на продажу,—объявил Отмар,—вагнеровской музыкой прозвучит вся сцена, внимание зрителя займёт необычайная, дико-тёмная картина в глубине. Тут не важна филологическая и дотошная точность… потребителю не до подлинных Вагнера, Кундри, Клингзора или Парсифаля… Важно, чтобы эти имена неосознанно прозвучали в его голове!»

Героические вагнеровские ноты, гроза, угроза волшебника и колдуна, лесть и соблазн прекрасной, но зловещей Кундри. Парсифаль в грозе и в урагане сражается и отважно сопротивляется! Вдруг успокаивающий голос адвертайзера:

> О мой Парсифаль! Отведи взор свой
> от грозы и волшебной Кундри!
> Свой Грааль ты нашёл! Ты выиграал!
> Широкоэкранный многофункциональный телик
> немецкой фирмы «Грундиг»!

Довольный рыцарь кладёт свой меч и щит, снимает прекрасный шлем с изображениями, садится и включает телевизор!! Пустыня оборачивается прекрасным садом прелестей! Полный катарсис!! Настоящий кайф! Парсифаль сидит за столом, Кундри в баварском платье готовит ему вкусный яблочный пирог, а зловещий Клингзор становится верной собакой и дремлет у ног своих хозяев! И вы, как Парсифаль, заслужили такой кайф! Покупайте сразу новый широкоэкранный многофункциональный телевизор немецкой фирмы «Грундиг»! Купи «Грундиг» — полюбит тебя Кундри!»

Я смотрел на Отмара с отвращением, а он довольно хохотал. Я не мог говорить. Не мог найти слов и чувствовал себя страшно одиноким. Как прошёл дальнейший вечер, не помню. Кажется, когда мы наконец вышли из кафе, собора на площади больше не было. Абсолютная пустота. Даже моря я не заметил.

«Я вам больше не дам писать, говорить, думать! Вы давно этого не заслуживаете! — повторял Отмар. — Вы не живое существо, как не живые все ваши спутники мужского пола: Скьяво-Моцциконе, прелат и прочее, и прочее! Зато женщины какие живые!! Ой-ой-ой! И все они мои!»

Эти слова Отмара я прекрасно помню, после них как будто опустился занавес. Тьма и тишина! Всё! Finita è la commedia![21]

В купе быстро несущегося поезда я принялся читать свежую газету… Вообще я никогда не был большим любителем такого рода чтения… Я глубоко убеждён, что в газетах господствует поверхностная неточность, безбрежная болтливость, некая абстрактная расчётливость и так далее. Я пробегал страницы невнимательным взглядом, сосредотачиваясь на заголовках.

Вдруг в конце страницы, внизу, в местной хронике, я прочёл: «Гибель известного швейцарского адвертайзера». Я сразу же почувствовал в груди холодную боль. Не стал читать подробности и некоторое время рассеянно смотрел в окно на убегающие поля и дома, на далёкие холмы и горы, на низкие и серые облака. Я почувствовал какой-то внутренний покой.

Продолжил чтение:

«Известный швейцарский композитор, а впоследствии подлинный новатор рекламного адвертайзинга Отмар Шонке погиб вчера в море около Амальфи. По данным местного отделения полиции, г. Шонке прошлой ночью упал с вершины скалистого мыса около м. Майори. Обстоятельства трагического происшествия пока неизвестны. Очень трудно также определить, почему г. Шонке ходил ночью по этим труднодоступным местам в темноте при слабом свете луны. Труп известного адвертайзера найден на узком пляже среди скал.

Отмар Шонке, в молодости известный композитор (автор знаменитой оперы «Максимилла Дони»), в последние годы стал одним из самых известных деятелей международной рекламы. Ему принадлежат известные видеоклипы и рекламные кампании, заказанные самыми известными международными брендами. Г. Шонке часто приезжал в нашу страну и охотно работал для итальянских предпринимателей. Ему принадлежала знаменитая кампания *Pazzi per la Pizza*[22], которая успешно противостояла снижению образа пиццы в мире глобализации, и в частности — деятельности безликих международных концернов типа «Пицца-хат». Г. Шонке находился в Амальфи в сопровождении жены и свояченицы. Ими объявлено, что похороны известного художника состоятся в Цюрихе на будущей неделе. Многие деятели итальянского рекламного дела выразили свои соболезнования и с восхищением вспоминали многочисленные шедевры этого незаурядного художника».

Я прочёл статью и опять повернулся к окошку. Перед моими глазами величествовал голый Везувий. Сердце билось сильно-сильно. Хотелось плакать, кричать. Он погиб, но я всё ещё не мог сказать ни единого слова. Как будто у меня был вырезан язык. В купе было пусто. Я прочёл статью ещё раз. Итак, всё это и правда существовало! Или… И кудрявая рабыня, и средиземноморская нега, и тёплый песок пустыни… и я…

Вдруг в купе вошла молодая высокая кудрявая женщина. Не взглянув на меня, она села, достала мобильный и набрала номер. Я стал внимательно смотреть на неё и неожиданно вспомнил слова:

«Розовая синь авроры у залива — это был свет моей влюблённости!»

Она весело болтала по телефону, смеясь и сияя. Я хотел обратиться к ней, но слова давно застыли у меня в груди. Жестом я старался привлечь её внимание, но она не замечала меня и, смеясь, продолжала болтать. За окном проносились поля и деревушки, плыли облака — и испарялась вся пустота моего сердца. Кудрявая девица вдруг сняла модный свой пиджачок, обнаружив симметричную завершённость её молодого тела.

Я чувствовал себя как в бреду… мне показалось, что меня просто закрыли живым в стеклянном гробу… и в стеклянном гробу я кричу — и никто меня не слышит! Он умер, мой демон погиб, он бросился в бушующие волны, но его чары не сняты!

Вдруг другая девушка, худая высокая кудрявая блондинка, вошла, села и весело начала разговаривать с уже сидящей в купе молодой женщиной. Та продолжала болтать по мобильному, и я понял, что они говорили с какой-то третьей женщиной, и все вместе громко и весело хохотали.

Писарь Аноним был всегда рядом с проконсулом Эгеатом. Он постоянно сопровождал его, когда тот отдавал приказы, высказывал свои мысли. Писарь усердно всё записывал: и политическую хронику деятельности Эгеата, и его злободневные размышления, и философские изречения о симметрии и красоте. По приказу проконсула писарь записывал все высказывания Эгеата о красоте его любимой Максимиллы. Когда крамольники безвозвратно погубили прочную веру Эгеата в любовь и верность, он приказал писарю увековечить всё на папирусе. Когда Эгеат узнал об обмане и понял, что Максимиллу заменяла Эвклия, его

21. Комедия закончена! *(итал.)*.
22. С ума сходим по пицце *(итал.)*.

сердце пронзила глубокая тёмная боль. Слова стали грозными и лишились симметрии. Он перестал доверять своему писарю. Всё проверял. Когда заметил у писаря тревожный взгляд, понял, что написанное можно всегда проверить и исправить, а сказанное — никогда.

По приказу проконсула гвардия схватила писаря. Его закрыли в темнице без света. Эгеат решил вырезать ему язык, потому что он всё знал. После этого его выбросили на пустынный берег.

Писарь был единственным человеком, кто знал и разделял мысли Эгеата о симметрии и красоте. Пока писарь был жив, его мысли о красоте тоже оставались живыми. Другого выхода не оставалось. Эгеат решил, что бушующие тёмно-лазурные волны давно ждут его, а безъязыкий писарь останется единственным немым свидетелем прекрасной, гордой, сумеречной мысли.

На жгучем песке пустыни писарь сидел один и любовался прекрасным разноцветным миражом сумеречного мира красоты. Он чувствовал себя как в бреду… ему показалось, что он просто заключён заживо в стеклянном гробу, он кричит — и никто его не слышит! Далёкий стон умирающей Вселенной кольнул его сердце, но он не смог отозваться, ему лишь удалось освободить свою лёгкую мысль о прекрасном равновесии форм, чувств и стремлений. Писарь шёл вдоль бушующего моря, и холодные руки влажного ветра били его по щекам.

Где же очарованный сад, где источник любви, где чистой лазурной водой он смог бы очистить свою душу? Где изысканные и лёгкие прыжки танцующих нимф? Ему — тому, кому принадлежат все мысли Эгеата о красоте и симметрии, — не хватало чистой воды из источника любви!

Две девицы продолжали звонко хохотать и весело переглядываться. Я хотел с ними заговорить, но мои уста оставались безнадёжно замкнутыми. Вдруг одна из кудряшек протянула мне стакан с пузырящейся минеральной водой. Моя рука лежала неподвижной. Красавица обняла своей тёплой душистой рукой мою голову и помогла глотнуть чистой воды, как будто я уже давным-давно лежал без сил на тёплом песке пустыни. Другая пристально смотрела на меня. Поезд проносился мимо цветущих садов и зелёных полей. Я проснулся. Чувство невиданной усталости сочеталось во мне с мыслью о прекрасной чистоте! Внутреннее потрясение и внезапное просветление оживили мне душу. Теперь меня согревал чистый луч торжествующего солнца. В купе больше не было ни девушек, ни газеты, ни моих вещей. Omnia mea mecum porto![23] Я казался себе странником без посоха и без сумы, который летел к самому себе. Его путешествие приближалось к завершению. Когда я издали заметил огромный купол Брунеллески, то понял, что жизнь моя совершенно перевернулась.

Я вышел на перрон. Стал подниматься лёгкий ветерок, и то, что казалось далёким, за горами и морями, стоном, превратилось в златое звучание колокольчика! Занавес опустился.

Эпилог

Вся публика в зале в полном удовольствии начинает аплодировать, в то время как оркестр исполняет весёлый марш. Опять поднимается занавес, и на пустой сцене появляются римские солдаты и официанты из кафе «Панса». На подносах они несут ромовые бабы и предлагают оркестрантам. Публика смеётся и кричит:

«И нам, и нам тоже!!!»

Они выходят, и вот появляется салернский трактирщик с женой и детьми! Анархист поднимает боевой кулак, и оркестр начинает играть анархическую песню *Addio, Lugano Bella*[24]*!*

«Молодцы, молодцы!! Браво, браво!!»

Публика в восторге то кричит, то свистит. Входит суровый, изувеченный пророк Монтан и, хромая, медленно и молча проходит через всю сцену. За ним двое старикашек в обнимку: писатели Флобер и Тургенев, что ли? Здесь никто не может сказать ничего определённого. Вдруг публика замолкла. Но вскоре вновь веселье и крики: весь вспотевший, за девицами среди детей пробегает Донно Баттимо, а за ним, играя на свирели, Марко!! Толстый актёр, в белой пудре и в чёрной рясе, жестикулирует и шутит. Публика в восторге:

«Браво, браво!!»

Когда в оркестре начинает звучать одинокая флейта, на сцену выходит сам умирающий бог Пан, и с ним большая грациозно двигающаяся кошка и огромный молосс!

«Это кто?» — спрашивают многие.

«Кто его знает!» — слышится от многих сторон, а учитель гимназии уверяет:

«Античный бог лесов, вечный Пан!»

Пан шутливо играет на флейте и показывает публике фигу, будто хочет сказать: «Я умирать не собираюсь, а вы?» В этот момент над сценой пролетает чайка, и никто не понимает, участница она спектакля или просто испуганная птица, которая залетела через форточку в здание театра.

«Без чаек в театре не обойтись!» — подумал старый местный театрал и предположил, что бедная птица, наверно, буревестник, предвещающий конец античной симметрии и красоты. Чуть позже появление обыкновенного голубя объяснило, что просто где-то открыто какое-то окно.

Неожиданным криком удивления вся публика отметила выход божественной Греты Гарбо вместе с Леопольдом Стоковским; за ними следовал тёмный тип в кожаной тужурке и с огромным револьвером:

«Ниночка! Ниночка!»

Публика аплодирует и шумит, и вдруг появляется слепой старик с лирой руке, а за ним — бледная девица, которая тащит на верёвочке целый ряд детских игрушечных корабликов на колёсиках…

«Это кто? Это кто?»

«Гомер и Бессонница…»

«Хулиганство, настоящее хулиганство!» — заметила упитанная старая дева.

23. Всё своё ношу с собой! *(лат.)*.
24. «Прощай, прекрасный город Лугано». Знаменитая итальянская анархическая песня.

Не успела она закончить фразу, как вся публика встрепенулась и начала громко кричать! Перед ней появился профессор Скьяво-Моцциконе и странно пошёл, как Буратино. Вдруг он остановился и повернулся к залу. Своими огромными бровями он начал бросать странно-весёлые намёки и со значительностью крутить своими огромными чёрными глазами.

«Бвовастый пвофессов! Бвовастый пвофессов! Бвовастый пвофессов! Бваво! Бваво!»—с насмешкой кричала публика, а он всё это радостно принимал и гордо выставлял напоказ своё огромное пузо.

Он долго ходил по сцене, и вдруг, как появление валькирий в театре, загремела грозовая музыка! Оркестром теперь дирижировал сам Стоковский! На подмостках публика увидела торжествующего Вагнера, и за ним—нервничающего от его «блохи» Мусоргского и отважно надутого, никому неизвестного Петреллу за руку с италийским пророком, бессмертным Габриэле. Зрители молчали в непонимании. Некоторые из них продолжали кричать:

«Бвовастый пвофессов! Бвовастый пвофессов! Бвовастый пвофессов! Бваво! Бваво!»—пока зловещий облик Клингзора и таинственный суровый профиль Кундри не вызвали у всех испуганный стон удивления: «Ах! Ооо! Ах!»

Тишина длилась недолго, и неожиданно на сцене появился Данте.

«Что он здесь делает?»—стали спрашивать все.

«Говорят, он testimonial спектакля. Его всегда приглашают, он всегда приходит на сцену и проходит всегда лишь до середины пути…»

Божественный поэт сурово посмотрел на публику и вскоре ушёл. *Non ragioniam di lor, ma guarda e passa!*[25]

«Данте, Данте!!»—говорила мамаша своему детёнышу, и тот, не поняв, вспомнил огромный памятник перед их домом и сказал:

«Ожившая статуя. Купи мне, мама, купи! Будет сражаться с чудовищами».

Наконец, на сцене появились прелат и дирижёр Фацци!! С ними вернулся профессор Скьяво-Моцциконе!!! Восторг!!! Три толстяка: один хмурит свои кустистые брови, другой поддерживает своё пузо и длинную рясу, а третий поднимает белый платок в крепко сжатой руке!! Крики и шум!! Весь театр выражает одобрение!

Когда на машине проехала голая Леди Гудийяр, мужчины заволновались, а жёны постарались их отвлечь. Гуди, гуди в свой клаксон, Леди Гудийяр! Всё мужское—к твоим ногам, или, точнее, к твоим шинам!!

За голой красавицей появились певицы Ленора и Тильде, обе запели и закончили мелодию изысканной высокой нотой и трелью. Один зритель вышел прямо на подмостки и поцеловал им руку.

«Альфредо, Альфредо!—вскрикнула его жена.—Ты что, Альфредо?»

«Какие холодные ручки!! Так хочется их согреть!»—с трепетом заявил муж-меломан.

Когда на сцене появился Отмар Шонке, все присутствующие ахнули:

«Он жив?!»

Он медленно прошёл через сцену и поклонился. Ему долго аплодировали. Отмар показал на свой галстук и сказал:

«Версаче—нельзя иначе!»

Потом—на модный кожаный костюм:

«Армани, из чистой кожи лани!»

На остроносые ботинки:

«Пройдёшь весь мир в ботинках *Tod's*: они уверенней револьвера „Гроза-оц“!»

И, наконец, на духи:

«Мужские духи «Дольче и Габбана»—завоюешь сабинянок и девиц из любого стана!»

Отмар довольно захохотал и протянул руки к публике, как будто хотел всех обнять или вызвать всеобщую овацию.

Когда на пустой сцене зазвучала грустная мелодия арфы, на подмостки медленно взошёл одетый в тунику Эгеат. Выражение лица у него было такое, как будто он только что поднялся на вершину скалы.

«Трагик, настоящий трагик!—говорил учитель гимназии.—Он вызывает аффекты страха и сострадания!! Все условия для настоящего этического и эстетического переживания, для подлинного катарсиса!»

Эгеат остановился в центре эстрады и стал молча смотреть на публику, потом медленно поклонился. Остался в этой позе несколько мгновений, затем выпрямился и торжественно ушёл. Публика замолкла, потом вдруг заполнила зал шумными рукоплесканиями.

Тогда появился писарь, смиренно, стыдясь, прошёл через сцену, как будто в трансе, и ушёл. Не успели ему зааплодировать, как появились они—главные героини: Эвклия и Максимилла. Обе бесконечно красивые, обе кудрявые, обе скромно одетые, они прошли молча, потом печально посмотрели на публику и друг на друга. Никто не посмел прервать это чудное молчание. Вот красота человеческого взаимопонимания, когда слова уже не нужны! Две рабыни обнялись, к ним подошли амальфитанская Максимилла, жрица Присцилла, Грета Гарбо, жена трактирщика-анархиста, женщина-кошка из-за окна, две молодые девицы, путешествующие поездом, а дальше—все женщины из зала стали подниматься на сцену. Все громко аплодировали. Все обнимались, оркестр продолжал играть разные мелодии, и открылся прекрасный средиземноморский берег, золотой песок, тёмно-лазурные волны. В зале поднялся ветерок, и то, что казалось далёким, за горами и морями, стоном, превратилось в златое звучание колокольчика! В центре сцены появился фонтан, и женщины пригласили мужчин выпить его чистейшей прозрачной воды. Все пили воду и чокались бумажными стаканчиками. Потом открылись главные двери и огромные окна, и в зал ворвался солнечный свет! Публика стала неохотно выходить из театра. Все хотели, чтобы спектакль никогда не заканчивался, а про жизнь… про жизнь потом.

---

25. «Они не стоят слов: взгляни—и мимо!». *Данте Алигьери* «Божественая комедия». *Ад*, III, 51.

Я сидел в пустом баре у металлического круглого столика и держал в руках рукопись пьесы. Рассеянно закрыл её. На обложке прочёл заглавие: «Рабыня кудрявая». Грустно и устало огляделся вокруг. Вдруг передо мной появилась высокая кудрявая девушка. Она села за стол. Я залюбовался её карими глазами, белой и свежей кожей. Её взгляд сразу покорил меня. Она улыбнулась, я положил рукопись на стол и нежно погладил её холодную руку.

«Как обычно?»—вдруг спросил я у неё.

Она кивнула головой, и её кудри слегка коснулись моего лица и губ.

Я позвал официантку и уверенно заказал:

«Два двойных эспрессо!»

После кофе мы с кудрявой красавицей решили пройтись. Вышли на улицу, когда уже краснел закат. Нежно поцеловались.

Литература не должна заходить дальше, пусть останется за дверью.

Решившись плыть против течения…

…Мы все—потомки Денницы.

Поэтому нечего пенять на поэтов-богоборцев, нечего их осуждать, подобно тому, как осуждали друзья Иова за его ропот (хоть это сравнение и не вполне корректно).

Я думаю, Высший Суд уже состоялся, и Господь простил жаждавших Божьей Правды поэтов-богоборцев, вменив им в праведность чувствительность их во многом ещё плотских (в святоотеческом понимании этого слова) сердец, а также их честность и последовательность в пределах доступной им лжеименной философии сего века.

<…> Не будь этой Божьей милости, опирающейся на закон жертвенности, а не справедливости, возврат был бы невозможен. Недаром одним из мотивов поэзии Марины Цветаевой является мотив любви светлой героини к проклятому, демоническому с целью воскрешения и преображения в нём свернувшейся, ссохнувшейся божественной души. Ведь спасая любовью даже чудовище, даже демонов, мы тем самым спасаем и самих себя. Недаром когда на земной вершине богопознания, конец которого на самом деле бесконечен, подвижник обретает бесстрастие и может теперь богословствовать, сердце его как бы изнывает от милости. По словам св. Макария Великого, «Благодать так действует и умирает все силы и сердце, что душа, от великой радости (милости), уподобляется незлобивому младенцу, и человек не осуждает уже ни эллина, ни иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом мире…». А св. Исаак Сирский пишет так: «Милостливое сердце—это «горение сердца о всякой твари», о человеках, о птицах, о животных, о бесах—словом, о всяком создании… От постоянного терпения сердце соделалось сердцем младенца».

Заметьте, теперь уже совершенный человек не различает еретиков и правоверных, ангелов и бесов. Но в начале пути он очень даже различал, потому что это крайне необходимо—уметь различать!

Из этого начала все мы, желающие совершенства, должны сделать ряд последовательных шагов к Богу. Опираясь на опыт св. отцов, богословствующих не из собственного умозрительного рассудка («лжеименного разума», по св. Игнатию Брянчанинову), а из опыта живого богообщения, в котором открывает себя Дух.

Св. отцы—не посредники. Они—сталкеры. Но в отличие от героя одноимённого фильма А. Тарковского, они ещё дают и компас с путеводной нитью—своё учение.

Представим на минуту летящего на крыльях любви лермонтовского Демона. Он только что снова обрёл собственную бессмертную душу, узнав, полюбив её в образе прекрасной и кроткой Тамары.

Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться.
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня—
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
<…>

Вот приближается он, поднимаясь всё выше и выше, к Божественному Престолу.

И вдруг—ослепительная вспышка и Божественное Сияние превращается в Огонь, попаляющий наши грехи и страсти.

Гордый дух вновь низвергнут во внешнюю тьму, в логово родственных ему духов, чтобы вариться вместе с ними в огненном котле не находящих выхода страстей.

Ведь он так и не сумел отделить свою божественную природу от демонической, отделить образ божий от его «скотоподобия».

Задумаемся на минуту. Задумаемся мы все—воспрянувшие ото сна и решившиеся плыть против течения всего пошлого и больного в этом мире—а хорошо ли это: всегда оставаться всего лишь богоборцами?

Наталья Гвелесиани
Так с кем же боролись поэты—богоборцы?
«Новая реальность», № 30, 2011 г.

http://www.promegalit.ru/publics.php?id=3420

Эдуард Русаков

Рассказы завтрашнего дня

Комендантский час

— Почему после *этого* всегда хочется есть?— спросила Алёна, приподнимаясь на локте и всматриваясь в лицо Зайцева.— Отвечайте, профессор!
— Я филолог, не физиолог,— сказал Зайцев, не открывая глаз.— Ты молода, вот тебе и хочется. А я стар— и мне после *этого* хочется спать…
Он сладко зевнул.
Алёна соскочила с широкой тахты и, мерцая в вечернем полумраке голым телом, пошлёпала в кухню. Достала из холодильника яблоко, жадно стала хрумкать.
— У тебя даже колбасы нет,— сказала она.— Ты что, одними яблоками питаешься?
— Братья-китайцы, как ты знаешь, ввели карточную систему,— хмыкнул Зайцев.— С колбасой напряжёнка. И вообще со жратвой.
— А жрать хочется,— вздохнула Алёна, хрустя яблоком.— Сейчас бы съела телёнка!
— Бедный телёнок,— улыбнулся Зайцев.— Правы братья-китайцы: мир погибнет не от голода, а от обжорства.
— Западный мир,— уточнила Алёна.— Уж вам-то, в китайской зоне, смерть от обжорства пока не грозит… Можно, я возьму ещё яблоко?
— Ешь хоть все. Мне этим холодильником больше не пользоваться.
— Значит, решился? И когда?
— Сегодня.
— Как— сегодня?!— подскочила Алёна.— А что же ты мне раньше не сказал?
— Не хотел портить свидание… Вдруг оно у нас последнее? Кстати, тебе— пора. Скоро комендантский час, не опоздай.
— А ты?
— Я же сказал— я своим путём. Провожу тебя, а потом— на резиновой лодке…
— Но ведь это опасно!
— Жить вообще опасно,— заметил он с театральной меланхоличностью.— Но без риска жизнь так же пресна, как говядина без горчицы.
— Тебя этому братья-китайцы научили?
— Они, родимые… Нет, Алёнушка, кроме шуток— тебе пора!— Он включил свет, глянул на часы.— Через сорок минут— комендантский час… Подъём!— Он вскочил, похлопал себя по дряблому животу, подошёл к зеркалу, с отвращением посмотрел на всклокоченные седые вихры, на мешки под глазами, на морщины.— И зачем ты со мной связалась?..
— Любовь зла,— хмыкнула Алёна.— Ты же меня соблазнил, профессор. Забыл, что ли? Помнишь, как шантажировал: не поставлю зачёт, если не отдашься…
— Не было этого!— возмутился Зайцев.
— Шучу, шучу.
— А вот братья-китайцы не шутят. Они ведь всерьёз обвинили меня в аморальном поведении. Моя разведка донесла, что мне грозит не только увольнение из универа, но и суд…
— Товарищеский?
— Товарищеский суд Линча… Нет, серьёзно. Пора рвать когти. В китайской каталажке мне не выжить, Алёнушка. Сердце не выдержит. Ты же знаешь моё больное сердечко…
— Как не знать. Значит, поэтому и решил бежать?
— И поэтому тоже.
— А ещё почему?
— Будто не знаешь…
— Хочу услышать.
— Потому что хочу быть с тобой.
— А почему ты хочешь быть со мной?
— Ну, Алёнка, кончай дурить… ты прекрасно всё понимаешь…
— Нет— почему? Почему? Почему?
Зайцев подошёл к ней, притянул её к себе, поцеловал в приоткрытый рот, пахнущий яблоком.
— Потому что я жить без тебя не могу,— тихо сказал он.
— Вот ведь какой противный,— так же тихо произнесла она,— ни за что ведь не скажет, что любит…
— Ни за что,— согласился он,— никогда…
— Я хочу бежать с тобой,— прошептала она.— Давай вместе?
— Это глупо,— нахмурился Зайцев.— Зачем рисковать? У тебя есть нормальный пропуск, а я— на резиновой лодке… Ты встретишь меня на том берегу. Братья-немцы стрелять не станут.
— Нет, конечно. Они будут только рады принять такого гостя.
— Ладно, хватит болтать. Пошли!

Через пять минут они уже вышли из дома и направились к мосту через Енисей.
— Значит, так,— говорил на ходу Зайцев.— У меня всё заранее приготовлено. Добрые люди помогли. Две резиновых надувных лодки— одна на этом берегу, под мостом, а вторая— на острове Отдыха, с той стороны, тоже под мостом. Встречай меня на левом берегу, примерно через час, где-то возле краеведческого музея…
— Ради Бога, будь осторожен, милый…
— Обязательно буду. За меня не волнуйся. Ну, вот мы и пришли…— Зайцев помахал рукой китайскому солдату с автоматом на груди:— Нинь хао, тун-чжи!
— Стой!— крикнул китаец.— Васа пропуск!

Из контрольно-пропускного пункта вышел ещё один солдат, уже без автомата.

Алёна достала пропуск и паспорт.

Китайцы внимательно проверили её документы, светя фонариком. Зайцев достал сигарету, закурил.

— Бу-син! — сказал солдат. — Низзя курить!

— Дуй-бу-ци, — извинился Зайцев и затоптал сигарету.

— И-це чжэн-чан, — сказал солдат, возвращая Алёне документы. — Порядок. — Потом повернулся к Зайцеву: — Ты — кто? Чжан-фу? Муж? Паспорт! Ху-чжао!

— Бу-ши! Нет-нет! — рассмеялся Зайцев. — Я её просто провожаю. А живу в этой зоне, на правом берегу… Я профессор! Филолог! Юй-янь-сюэ-цзя! А это моя бывшая студентка…

— Проходи! — приказал солдат Алёне. — Стоять низзя! Бу-син!

Алёна повернулась к Зайцеву:

— Я боюсь за тебя…

— Всё будет хорошо, — сказал он. — Я тебе обещаю. Иди!

Сразу за контрольно-пропускным пунктом была трамвайная остановка. Алёна подошла к трамваю, который должен был увезти её на левый берег, в западную зону, к братьям-немцам. Зашла в трамвай, потом выглянула, крикнула:

— Я люблю тебя!

— Цзай-хуй! — крикнул он. — До свиданья!

— Как тебе не стыдно! — рассмеялась она, чуть не плача. — А ещё профессор… Мне страшно, Зайцев!

— Всё будет хорошо! — повторил он.

— Бу-син! Бу-син! — угрожающе надвинулся на него солдат. — Уходи!

— Прощай, товарищ, — сказал Зайцев. — Цзай-хуй, тун-чжи!

Он отошёл от контрольно-пропускного пункта и направился к Предмостной площади. Он знал, что солдат провожает его взглядом. Он не стал оборачиваться, хотя ему и очень хотелось это сделать.

Перейдя через Предмостную площадь, он свернул в тёмный переулок, потом круто повернул вправо — и окольным путём вышел снова на берег Енисея, только теперь уже на приличном расстоянии от КПП и от моста. Спустился к воде, присел на камень, закурил. Вроде никто его не преследовал. Тишина. Он встал и направился к мосту, где в кустах была спрятана резиновая лодка.

До острова Отдыха добрался спокойно, протока узкая, китайцы его не заметили. Перешёл через остров, на другом его берегу нашёл вторую спрятанную лодку. Теперь предстояло переплыть Енисей в его основной, широкой части. Он старался держаться ближе к мосту, с теневой стороны. Пока всё шло нормально.

Иногда он оглядывался назад: нет, погони не видно, тишина, правый берег тонул во мраке, только на Предмостной светились огоньки КПП. Зато левый берег, где была западная зона, весь залит огнями реклам, оттуда доносилась музыка из парка и с Театральной площади. Там — пограничная зона, восточный рубеж НАТО. Там — левобережный Красноярск, оккупированный немецкими войсками. Там, на берегу, ждёт его Алёна…

Когда до левого берега оставалось метров триста, не более, луч прожектора с моста зацепил его лодку — и тут же сверху раздались пронзительные крики и затрещали автоматные очереди.

— Вот суки, — ругнулся Зайцев, — это ж надо — сразу стрелять… Господи, пронеси!

Не пронесло. Пуля попала в лодку — зашипел выходящий воздух.

— Врёшь, не возьмёшь! — по-чапаевски крикнул Зайцев и перевалился через упругий борт обречённой лодки. — И так доплывём!

Когда-то, в юные годы, он весь Енисей запросто переплывал, а тут — каких-то двести-триста метров… Пустяки!

Он плыл, плыл, плыл, и судьба берегла его от китайских пуль, но не смогла уберечь от инфаркта. Уже коснувшись ногой дна, он радостно вскинул руки, рванулся вперёд с криком:

— Я здесь, Алёна! — но тут же замер и задохнулся от острой невыносимой боли, схватился рукой за грудь — и рухнул в воду.

Сердобольные немецкие солдаты помогли Алёне вытащить его из воды на берег.

Ромео и Джульетта

Бывают истории с плохим концом, а бывают и со счастливым. Куда реже случаются такие сюжетные развязки, когда трудно сразу определить: счастье это или нечто другое, чему и названия нет. То есть жизнь заставляет нас иногда призадуматься и ставит в позу недоумения.

Героев звали, конечно же, как-то иначе, но я, если честно, забыл их настоящие имена. Так что пусть они будут Ромео и Джульетта, не всё ли равно, ведь история эта во многом схожа с шекспировской. Во всяком случае, до определённого момента. К тому же, если я назову настоящие имена героев, навряд ли это понравится их родным и близким. Ведь история — подлинная, об этом даже в газетах писали, и не только в «жёлтой» прессе. Так что если уж кто-нибудь очень захочет докопаться до прототипов — докопается, не сомневаюсь.

Их родители враждовали между собой. Его отец был «авторитетом» по кличке Медведь и контролировал все городские рынки. А её папаша был следователем по особо важным делам и давно подбирался к Медведю, собирал на него компромат и мечтал об аресте.

Узнав о том, что Джульетта встречается с сыном Медведя, следователь по особо важным делам категорически запретил ей это знакомство и пригрозил, что если она не одумается, то Ромео загремит за решётку.

— За что? — удивилась Джульетта.

— Уж я найду за что.

А папаша-Медведь, когда ему донесли, что его сынок путается с дочкой следователя, тоже сделал отпрыску аналогичное предупреждение:

— Дочь мента — тебе не пара.

— Но, папа…

— Если ещё раз услышу, что ты с ней встречаешься, — замочу обоих.

Медведь, конечно, преувеличивал — убивать родного сына он бы не стал ни при каких обстоятельствах, но дочь мента не помиловал бы, уж это верняк.

Вот какая трагедия назревала на почве такой вот несчастной любви. Не могло быть и речи о тайном браке, о бегстве на край света и прочих романтических вариантах — верные люди Медведя и не менее верные люди следователя по особо важным делам отыскали бы беглецов хоть на другой планете.

Ну что им ещё оставалось делать, юным страдальцам? Разумеется, выход был один — двойное самоубийство.

Ромео и Джульетта отправились рано утром к железнодорожному переезду, поднялись на насыпь, окинули прощальным взором весь этот жестокий мир — и, взявшись за руки, бросились под колёса проносящейся электрички. Машинист затормозил, но было поздно — две головы скатились с насыпи, как мячи, а два туловища остались лежать между рельсами, продолжая держаться за руки.

Казалось бы, всё. Конец. Занавес. Все утирают слёзы и расходятся по домам. Ан нет. Новое время вносит коррективы в старые сюжетные схемы. По счастливой случайности, в одном из вагонов этой же электрички ехал, возвращаясь с дачи, знаменитый хирург. Не растерявшись, храбрый доктор мигом распорядился: остановил проходящий мимо грузовик-рефрижератор, перенёс туда бездыханные тела и головы несчастных влюблённых — и уже через несколько минут они были доставлены в краевую больницу неотложной хирургии, а ещё через несколько секунд оба мертвеца лежали, как миленькие, на операционных столах.

— Шнеллер, шнеллер! — покрикивал хирург, забыв от волнения неродной русский и перейдя на родной немецкий. — Каждая секунда дорога! Пошевеливайтесь, химмельдоннерветтер!

И чудо свершилось — врач-кудесник ещё раз смог доказать всему миру, что руки у него золотые: он пришил-таки отрезанные головы к туловищам, виртуозно воссоединил оборванные сосуды и нервы, и уже через полтора часа всем стало ясно, что операция удалась. Восстановились дыхание, кровообращение, работа мозга… Это была победа! Триумф современной медицины!

И это, наверное, можно бы было также назвать победой любви, триумфом воскресших Ромео и Джульетты (тем более что, пока длилась операция, родители несчастных влюблённых — крутой папа-Медведь и суровый следователь по особо важным делам, — так вот, слоняясь по больничному коридору, эти страждущие отцы как-то успели вдруг помириться и заключить нечто вроде пакта о ненападении), то есть всё говорило о хэппи-энде, всё, кроме того, что очень скоро, уже в тот же вечер, когда Ромео и Джульетту повезли на каталках из операционной в разные палаты, все присутствующие, сопровождающие, окружающие, лечащие и сострадающие, все вдруг с ужасом обнаружили, что головы пришиты не к тем телам! То есть голову Ромео гениальный, но рассеянный (как и положено гению) хирург пришил к туловищу Джульетты, а голову Джульетты — к туловищу Ромео.

Поначалу все были этим фактом ужасно шокированы. Тем более что, как очень скоро выяснилось, переделать операцию заново было невозможно по причине биологической необратимости уже начавшихся процессов заживления.

Родители Ромео и Джульетты после недолгого перемирия вновь разругались, а знаменитый хирург вообще куда-то исчез — вероятно, от страха перед разъярёнными родственниками.

Много было крика, шума, рыданий и суеты. Джульетта (с головой Ромео), придя в сознание после наркоза, тут же мигом сошла с ума и стала нуждаться в услугах психиатра. Ромео (с головой Джульетты) тоже некоторое время пребывал в состоянии реактивного ступора, но вскоре адаптировался к ситуации и переключился на заботы о душевнобольной возлюбленной (впрочем, трудно быть уверенным в правильности употребления мужского и женского рода: ведь хотя Ромео и оставался мужчиной, но мозг-то у него теперь был женский, а его, мужской, мозг, принадлежащий отныне Джульетте, пребывал в состоянии безумия… Так что, быть может, вернее было бы говорить, что это он сам, Ромео, сошёл с ума).

Ну не будем, не будем цепляться к словам. Главное — всё утряслось, успокоилось, Джульетта (с головой Ромео) со временем притерпелась к переменам, да и Ромео (с головой Джульетты) не разлюбил свою подругу, глядя на которую, он видел самого себя.

Короче, всё обошлось. И никаких трагедий. Живут себе тихо-мирно и любят друг друга, а если даже вдруг уже и разлюбили — так ведь это не наше дело, не правда ли?

Крестильная каша

Месяца три после смерти Мариши я не мог успокоиться, пил по-чёрному, бросил работу, так и жил-прозябал в пьяном тумане, пока деньги не кончились. Те самые деньги, что мы с Маришей скопили для нашего Феди, чтобы купить ему самых лучших пелёнок-распашонок, самых лучших игрушек-погремушек, самых лучших колясок и вообще всего самого-самого лучшего. А теперь наш Федя под присмотром ежедневно приходящей тёщи, Зои Петровны, — она его и кормит, и одевает, и нянчится с ним, так к нему прикипела — не оторвёшь. Федя с каждым днём становится всё больше похож на Маришу — те же рыжие волосы, те же зелёные глазки, и так же смеётся, и ямочки на щеках… Как увижу его, так умираю. Это ужас какой-то. Что ж он теперь — так всю жизнь и будет мне о Марише напоминать? Она мне и так каждую ночь снится — бледная, умирающая после родов от кровотечения и сепсиса, — смотрит на меня жалостно, губы синие дрожат, просит: «Фе… Фе… Федечку сбереги…» Знала ведь, что умирает. Эх, кровиночка ты моя. Как мы ждали с тобой, Мариша, этого ребёнка, как Бога молили, и вот — дождались… Но за что же её-то убил, Господи? В чём она провинилась?

Когда деньги кончились, я пошёл искать работу. Программисты везде нужны, и проблем

с трудоустройством вроде бы не предвиделось. Но в первой же фирме, когда я начал уже оформляться в отделе кадров, у меня, среди прочих документов, потребовали свидетельство о крещении ребёнка. Всё понятно: с тех пор как Россия стала православной державой, подобные требования можно услышать на каждом шагу,—но всё-таки я не ожидал таких строгостей.

— Я же на работу программистом устраиваюсь, не в церковный хор,—говорю обиженно.—Причём тут мой ребёнок?

— Но вы же сами—крещёный?—спрашивает меня завотделом кадров.

— Конечно, крещёный. А куда бы я делся, раз без этого нынче нельзя?

— Вот и ребёночка надо крестить. Как только решите эту проблему—так сразу и приходите. Всё равно ведь придётся. Его же, нехристя, ни в ясли не примут, ни в школу потом не возьмут. Так зачем тянуть?—Он оглянулся, нет ли кого рядом.—И гусей дразнить ни к чему…

— Каких гусей?

— Клерикальных гусей. Попов-ревизоров. Каждую неделю с проверкой приходят: нет ли тлетворного духа, не завелась ли ересь?..

— Дурдом,—буркнул я.

Но спорить не стал. Чего спорить с маленьким человеком? Он был прав—с некрещёным Федькой в ясли нечего было и соваться. А без яслей—как я смогу работать? Тёща старая, не потянет. И так уж из последних сил помогает.

Понимать-то я всё это понимаю, но душа не лежит, не хочу идти в церковь, и всё тут. Сколько раз собирался—и всё откладывал. Не могу я простить всемогущего Боженьку за то, что не спас Маришу, когда она истекала кровью… он что, в это время спал? Или занят был чем-то более важным? Интересно—чем? Не-ет… не прощу… не прощу никогда.

Но, с другой стороны, ради Федьки—придётся идти на поклон к попам. Иначе ведь ему житья в этой сраной (пардон—странной) стране не будет. А уезжать я не собираюсь. Здесь могила Мариши, и сам я здесь, рядом с ней, лягу…

И вот в субботу отправились мы втроём в ближайшую церковь—я, Зоя Петровна и Федька в коляске. Тёща, конечно же, была очень рада, она мне все уши прожужжала насчёт крещения, а я всё отмахивался: не хочу, мол, отстаньте, мамаша, я атеист. «В нашей стране атеизм, слава Богу, запрещён!—шипела тёща.—Не валяй дурака, не губи ребёночка!» Ну а тут—расцвела, Федьку принарядила, разноцветными ленточками разукрасила, над коляской крестик золочёный подвесила, а под подушечку маленькую иконку сунула. Дура, короче, старая.

В церковь пришли, а там в крестильном приделе—очередь. Разве могут у нас без очередей? Правда, ждать пришлось не очень долго: батюшка не шибко усердствовал, гнал по конвейеру, и уже через час дождались мы своей очереди.

Поп моложе меня на вид, толстощёкий, румяный, бородёнка редкая, глаза плутовские. Сорвал с нас за нехитрый обряд крещения полторы тыщи.

— Вы,—говорю,—батюшка, младенца мне только не застудите. Он не очень у нас закалён.

— Вот мы его духом святым и закалим,—тенорком проблеял священник.—Приобщим сына Божия Феодора к церкви православной… Кто у вас будет крёстным, восприемником от купели?

— Я—крёстная мать!—сунулась тёща.—Я всё знаю, что надо делать.

— Ну и справляйтесь тут без меня,—буркнул я и вышел на крыльцо.

Не могу я спокойно на этот спектакль смотреть. Не могу я верить в слепого Бога, который не видит людских страданий. Не могу я любить того, кто отнял у меня Маришу…

И потом—как можно любить и верить насильно?! Помню, в детстве меня заставляли вступать в пионеры, потом в комсомол, чуть из школы не выперли, а тут—нате: новая обязаловка! Россия, видите ли, православная держава… А куда бедному атеисту податься? Ведь даже в дворники не возьмут, а уж о серьёзной карьере и помышлять нечего…

И всё потому, что чем-то надо было заполнить идейный вакуум—вот и превратили страну в одну громадную епархию, где патриарх главнее президента. Душа человеческая, видите ли, должна приклониться к церкви… душа якобы мается от сиротства и одиночества… А вы оставьте мою душу в покое! Мы с моей душой уж сами как-нибудь разберёмся… Зачем мне такая тоскливая жизнь, когда все дороги ведут к храму?! На какую дорогу ни сунься—обязательно к храму придёшь… это ж с ума сойти можно! Да я, назло всем попам, протопчу свою собственную тропинку! И пусть она, эта тропинка, заведёт меня в дебри, в болото… но это будет моё болото! Моё!

Дверь распахнулась—и на крыльце появилась радостная, сияющая тёща с плачущим Федькой на руках. Следом вышел и улыбающийся священник. Вероятно, мы были у него последние клиенты.

— Вот и славно,—сказал он, кинув на меня лукавый взгляд,—вот и свершилось таинство святого крещения… А солнышко-то на небе какое! Сам Господь, небось, радуется, что раб Божий Феодор приобщился к церкви… Или вы со мной не согласны?

Я молча передёрнул плечами.

— Ох, зря вы так, сын мой,—укоризненно молвил священник.

— Я вам не сын,—огрызнулся я тихо,—это вы мне в сыновья годитесь… только я вас усыновлять бы не стал. И не стыдно—врать-то?

— Господь с вами!—испугался священник и быстро перекрестил меня.—Чую, чую, душа ваша подавлена великим горем…

— Тёща, небось, проболталась?

— Да я сам не слепой, сам всё вижу,—и он перестал улыбаться,—все ваши горести на вашем лице написаны… Но поверьте, что скоро, очень скоро вы сами ко мне придёте!

— Не будет этого.

— Будет, будет, ещё как будет, сын мой. И не раз придёте. Помяните мои слова. Ну да Бог с вами, ступайте пока. А я буду за вас молиться.

— А я вас об этом не просил,— и я повернулся к нему спиной и быстро направился прочь.

Тёща двинулась вслед за мной, катя коляску, в которой спал утомлённый обрядом Федька.

А вечером тёща созвала родню и знакомых, чтобы отпраздновать крестины. Напекла блинов, нажарила котлет — устроила, короче, пир горой. Я же оставался пассивным и отстранённым, словно всё это меня не касалось. Лишь когда выпил рюмку, то на душе полегчало — и я чуть расслабился.

Но тут тёща выкинула ещё один фортель — вздумала угощать меня «крестильной кашей».

— Что за каша? — говорю. — Я и не слышал о такой.

— А ты скушай, скушай ложечку,— уговаривает эта змея.— На крестинах так принято, чтобы отец кушал крестильную кашу, а потом мне, крёстной матери, чтобы денежки заплатил…

Ладно, думаю, чёрт с тобой, съем, а то ведь не отвяжешься. Взял и съел полную ложку — и аж задохнулся, глаза на лоб полезли и слёзы брызнули.

— Что за гадость?! — кричу.

А тёща хохочет. И все гости тоже радуются. Идиоты.

У меня же слёзы льются, льются. В этой каше — и перец, и хрен, и горчица, и чёрт знает какая ещё отрава. Вот уж славный обычай, чёрт бы вас всех побрал! Так обидно мне стало, вышел я из-за стола, ушёл на кухню — и плачу там, плачу, не могу успокоиться.

— Ну чего ты, зятёк? — нежно тёща меня утешает.— Ты, что ли, обиделся? Это ж такой обычай народный… а на народ обижаться нельзя…

А я всё плачу, плачу, и от неё отворачиваюсь, и не знаю, куда мне спрятаться, чтобы не видеть вообще никого, никогда…

Первая любовь

Вчера я зашёл в книжный магазин и поинтересовался, нет ли в продаже моих книг.

— Как вы сказали? — не расслышала продавщица.

Я повторил свою фамилию.

— А разве есть такой писатель? — удивилась она.— Впервые слышу.

А сегодня ночью мне приснился большой роскошный туалет, благоухающий французским парфюмом и сверкающий итальянским кафелем. Даже во сне я понял, что это и есть рай. Рай — это чистый большой туалет, где можно справить нужду безболезненно и комфортно. А вот летать во сне я давно перестал. Примерно тогда же, когда перестал сочинять. Всю жизнь я летал во сне. И вот перестал. Отлетался.

Проснувшись, я принял решение сделать то, что собирался сделать давно, да всё как-то откладывал. Умылся, почистил оставшиеся зубы, попил некрепкого чайку, съел вчерашнюю булочку с маком — и отправился в аптеку.

В аптеке я собирался купить по рецепту три стандарта снотворных таблеток. Плюс те два стандарта, что есть уже у меня дома,— будет пять стандартов, то есть всего сто таблеток. От этакой дозы подохнет и лошадь. Так что можно не сомневаться в летальном исходе.

Недрогнувшей рукой я взял из рук продавщицы три стандарта, сказал спасибо и направился к выходу, но вдруг — с этого волшебного «вдруг» можно было, кстати, и начинать весь рассказ,— так вот, вдруг я увидел в очереди девочку-подростка, в которую был когда-то влюблён, да-да, ту самую-самую первую мою любовь, самую мою нежную и драгоценную. Мы расстались с ней сорок лет назад, и вот я превратился в развалину, а она — это просто чудо! — осталась такой же юной, нежной, грациозной, и такие же светятся светло-карие глаза с золотым отливом, и такая же хрупкая шея без единой морщинки, и такой же вздёрнутый носик, и припухшая верхняя губка, и такие же светлые завитки волос на висках, и такая же чёлка наискосок…

— Здравствуй, Галя,— сказал я умирающим голосом.

— Здравствуйте, дедушка,— смутилась она,— простите, но что-то я вас не припомню…

— Что ты здесь делаешь, Галочка?

— Бабушке плохо, вот я за лекарствами прибежала…

Бабушке — плохо. Ты понял, старик, о ком речь? Бабушке — плохо. Твоя первая любовь отдаёт концы. Твоя нежная, хрупкая, драгоценная, та, с которой ты расстался сорок лет назад,— она собирается покинуть этот не очень-то белый свет, а ты, эгоист, престарелый нарцисс, ты ведь думаешь лишь о себе, о себе, о своей вшивой жизни, о своей собачьей смерти, хотя ты никому не нужен, и смерть твоя, как и жизнь твоя, никому не нужна и не интересна.

— Я старый друг твоей бабушки, милая Галя, ведь её тоже Галей зовут, не так ли?

— Да, именно так, Галиной Михайловной.

— Мы не виделись с ней много-много лет, и я очень рад, что встретил тебя. Ты позволишь мне навестить твою бабушку?

— Да, конечно. Она будет тоже рада.

Вот и славно, Галочка. Вот и славно, моя незабвенная девочка. А вот и я, дорогая, здравствуй, да, это я, ты узнала меня, молодец, ты совсем не изменилась, лишь постарела на сорок лет, ты лежи, не вставай, не волнуйся, я посижу с тобой рядом, я ещё поживу, ты ещё поживёшь, мы ещё поживём, уж теперь я тебя не оставлю, а хочешь, я тебя покормлю, потру тебе на тёрке морковки с яблоком, а хочешь, я почитаю тебе Есенина, помнишь, мы когда-то его любили, а хочешь, я спою тебе песню, наивную блатную песню, которая тебе почему-то нравилась, и мне тоже, тоже, да ты спи, ты не плачь, ты закрой глаза, вот так, хорошо, подпевай тихонько, ага… так здравствуй, поседевшая любовь моя, пусть кружится и падает снежок — на берег Дона, на ветки клёна, на твой заплаканный платок… мы ещё поживём, любовь моя, мы ещё полетаем вдвоём во сне, только это уж будет не наш сон, не наш сон, не наш…

Звезда не голубая, не розовая

С того дня, как мы с Машей поняли, что любим друг друга, наша жизнь превратилась в ад, в круглосуточное притворство, в бесконечную игру в прятки, в очень даже рискованный аттракцион.

Вот и сегодня, когда я позвонил ей из своей хирургической клиники, чтобы договориться о вечернем свидании, мне пришлось изъясняться намёками, лгать, актёрствовать, чтобы чуткие мои коллеги-врачи не расчухали, что я говорю с существом женского пола.

— Это я, Маркуша,— морщась от отвращения к педерастическим интонациям собственного голоса, сказал я.— Как твои дела, мой зайчонок? Вот и славненько! А как насчёт того, чтобы вместе провести вечерок?

— Инга, любовь моя,— проворковала издалека Маша (тоже явно страшащаяся чужих ушей).— Давай встретимся в восемь, в клубе «Розовая роза»? Мне надо сказать тебе что-то очень важное…

— О'кей, мой зайчик. Целую тебя в твой пушистый хвостик… ха-ха!

«Розовая роза» — вечерний клуб для лесбиянок. Значит, сегодня моя очередь перевоплощаться. Что ж, смиренно выряжусь в свой наилучший блядский наряд. Вчера мы встречались в «Голубой луне» — и пришлось постараться Маше, она нарядилась мальчиком, да так ловко преобразилась, что я её не сразу-то и признал… И никто из окружающих не догадался!

А ведь мы с ней рискуем, жутко рискуем. Если вдруг попадёмся, то всё, капут: не только любви конец, но и свободы лишимся, и нас разлучат — надолго, навеки… Не дай-то Бог! Об этом не хочется даже и думать. А что делать? Обидно ведь бесконечно прятаться, встречаться тайком в подвалах, на чердаках, в загородном лесу… Хочется и развлечься, и потанцевать… Мы же так молоды! Мы — изгои, преступники, отщепенцы; мы чужие в этой странной больной стране, где дозволяется лишь однополая любовь, где нет ни детей, ни роддомов, где живут лишь сегодняшним днём и ни у кого нет будущего.

Вечером, ровно в восемь, мы встретились у входа в «Розовую розу». Увидев меня, Маша фыркнула в кулачок. Я глянул на своё отражение в зеркальной витрине: бандитка! пиратка! разбойница с большой дороги! Поправил парик, оскалил зубы.

— С макияжем ты явно переборщил… переборщила! — шепнула Маша, давясь от смеха.

— Но-но! Где почтение к старшим? — и я шлёпнул её по тугой круглой попке.— Смотри у меня! Тётя Инга поставит шалунью в угол!..

— Ладно, пошли,— Маша потянула меня за собой.

Мы купили входной билет, заняли свободный столик в углу, заказали по бокалу мартини, закурили.

На небольшой эстраде томно изгибались две певички-близняшки, инструментальный квартет тоже состоял из женщин: аккордеон, саксофон, синтезатор, ударные.

— Ты хотела мне сообщить что-то важное,— напомнил я Маше.— Давай выкладывай.

— Игорёк… ты только, пожалуйста, не пугайся,— прошептала она.— И не сердись…

— Что случилось? — я отставил недопитый бокал.— Неприятности на работе?

— Нет… это касается только нас с тобой… Я — беременна… Не сердись!

Моё сердце замерло, сжалось, словно ошпаренное кипятком, потом забилось сильнее, сильнее. Несколько секунд я не мог ничего сказать, только молча смотрел на неё, на свою ненаглядную, на её родное, любимое скуластое личико, на её раскосые глаза, вдруг наполнившиеся слезами…

— Не сердись,— повторила она, чуть не плача.

— Боже мой,— прошептал я, еле сдерживаясь, чтобы не закричать от счастья,— да за что же я должен сердиться, Маша?.. Я рад, я так рад…

— Правда? Нет — правда? — прошептала она, и слёзы вдруг хлынули из её глаз.— Мой родной, мой любимый… а я так боялась, что ты — рассердишься…

— Тише, тише,— сказал я, оглядываясь по сторонам,— на нас смотрят… Возьми себя в руки. Не забудь, что я — Инга… а никакой не Игорь…

— Да, конечно, я помню,— кивнула она, улыбаясь сквозь слёзы,— я всё помню… я знаю, что нам нельзя заводить ребёнка… Но что же нам делать?!

— Всё образуется,— и я сжал её холодные пальчики в своих ладонях,— а сейчас предлагаю выпить за это… сама знаешь — за что.

Я заказал бутылку розового мартини, фисташек, сыру — и мы долго ещё пировали, празднуя нашу тайную радость, наше будущее запретное счастье, от которого мы не собирались отказываться.

А потом мне захотелось в туалет. В этом заведении была, разумеется, только дамская комната, я смело переступил её порог, зашёл в кабинку и… забыл запереть за собой дверцу. Потерял бдительность, разомлел, расслабился от счастья… идиот!

Расставив ноги и задрав юбку, я стоя справлял малую нужду, когда незапертая дверца за моей спиной вдруг распахнулась.

— Пардон…— смущённо бормотнул сзади чей-то женский голос, но тут же этот голос злобно заверещал: — Да тут мужик! Эй, охрана! В сортире мужик!

Я мигом опустил юбку, повернулся и двинул орущую бабу кулаком в живот. Она мигом заткнулась, выпучила глаза, лицо её побелело.

Протрезвевший, я быстро вышел из туалета. Передо мной стояла хмурая сотрудница охраны, бой-баба с резиновой дубинкой на поясе.

— В чём дело? — спросила она.

— Какая-то лахудра травки накурилась, мужики ей мерещатся,— буркнул я и быстро прошел в зал. Из-за углового столика на меня с тревогой смотрела Маша.

— Уходим немедленно,— сказал я ей, улыбаясь.— Ступай на улицу, быстро. Я расплачусь и догоню…

Маша метнулась к выходу. Я поманил пальцем официантку:

— Сколько с нас?

— Пятьсот двадцать.

Я бросил деньги на стол:

— Здесь шестьсот, сдачи не надо,— и пошёл прочь.

На пороге меня затормозила бой-баба, резиновую дубинку она сжимала в правой руке.

— А ну постой,— сказала она.— Надо кое в чём разобраться…

— Я спешу,— и я взялся за дверную ручку.
— А ты не спеши…

Я, не оборачиваясь, резко ударил её локтем в горло. Бой-баба хрюкнула и встала на колени.
— Бежим!— крикнул я Маше— и мы помчались прочь тёмными переулками…

…Это было весной, а спустя несколько месяцев, в ночь перед Рождеством, у Маши отошли воды. Она позвонила мне: что делать?! Не скорую же вызывать! Даже дома, в её-то коммунальной квартире, под бдительными взорами соседей, рожать было нельзя ни в коем случае.
— Сможешь подняться на свой чердак?— быстро спросил я.
— По… постараюсь…
— Поднимись и жди меня там. Я принесу всё, что надо!

И я быстро пришёл и принёс всё, что надо, что было заранее приготовлено: и бельё, и стерильные простыни, и большущий термос с горячей водой, и спирт, и хирургические ножницы, чтобы перерезать пуповину, и другие необходимые инструменты, которые, к счастью, не понадобились. Прихватил и пару стеариновых свечей— ведь на чердаке не было электричества, а слуховое окно забито досками.

Обошлось— тьфу-тьфу-тьфу— без каких-либо осложнений, ребёнок родился легко и быстро. Едва появившись на свет, он огласил чердак пронзительным криком, но вскоре замолк— словно специально, чтобы не привлекать своим криком внимания посторонних. Ах ты, умница. Это был замечательный мальчик— с золотистым пушком на макушке, с раскосыми, как у Маши, тёмными глазёнками.
— Слава Тебе, Господи,— прошептал я, хотя никогда, как мне казалось, не верил в Бога.— У нас всё получилось…
— Рано радуешься,— дрожащим голосом отозвалась обессиленная Маша. Она лежала на простынях, на ворохе тряпья, и бережно закутывала в пелёнки нашего сыночка.— Что мы дальше-то будем делать? Не сидеть же здесь вечно, на чердаке? Вот увидишь— нас найдут, арестуют, посадят в разные камеры, а ребёнка отнимут…
— Мы отсюда уйдём, убежим, уедем,— горячо перебил я её,— мы обязательно что-нибудь придумаем. Положись на меня! Твоя забота— кормить ребёнка, беречь его… А уж я позабочусь обо всём остальном… Клянусь тебе!

Маша неуверенно покачала головой, но не стала спорить, всё её внимание было сосредоточено на ребёночке.

Меня же трясло от возбуждения. Чтобы хоть немного успокоиться, я достал сигарету, прикурил от огня свечи.
— Да ты что? Не кури рядом с ребёнком!— прикрикнула Маша.
— Извини…

Я отошёл от них к слуховому окну, отогнул одну доску, сдвинул её чуть в сторону. Ничего, покурю здесь.
— Не застуди ребёнка!— крикнула Маша.
— Ветра нет, и морозец совсем лёгкий, погода сказочная,— сказал я, вдыхая свежий воздух.— А вон и рождественская звезда зажглась!

И впрямь— над домами, над городом, над всем миром сияла одинокая ослепительная звезда: не голубая, не розовая— ярко-белая…

Остров Поэтов

Только, пожалуйста, не перебивайте, мне доктор запретил волноваться…

В далёком и светлом будущем, когда исчезли межгосударственные границы и все страны добровольно объединились под властью Всемирного правительства, на Земле воцарились мир и согласие, гармония и справедливость. Вооружённые силы всех государств были распущены, и за порядком на планете следила международная полиция. Единая валюта и английский язык, принятый всеми за средство общения, способствовали экономическим и культурным контактам. Единое человечество, забывшее о межнациональных и межрелигиозных распрях, отдавало все силы охране природы, исследованию космоса и борьбе с болезнями. Были найдены средства лечения СПИДа, алкоголизма и наркомании, уничтожены все инфекционные и психические болезни, жизнь человеческая продлилась до двухсот с лишним лет, были найдены даже лекарства для снятия агрессивности и прочих преступных наклонностей в каждом человеке, начиная с раннего детства. Новорождённым делались прививки добра и любви, в каждом жилом доме и в каждом учреждении имелся свой врач-психолог, следящий за поддержанием гуманного микроклимата в коллективе.

Неизлечимыми и опасными для общества оставались только поэты. Правда, их было совсем немного, а стихи к тому времени перестали пользоваться спросом среди пользователей компьютеров (о существовании книг напоминали лишь почти никем не посещаемые музейные книгохранилища), но, тем не менее, поэты оставались единственными источниками смуты. И тогда Всемирным правительством было принято единственно правильное решение. Всех поэтов сослали на небольшой, но вполне пригодный для проживания остров Маренго, расположенный неподалёку от восточных берегов Австралии. Их свезли туда на больших судах из всех стран, как прокажённых в лепрозорий. Туда же, на остров, доставили всё необходимое для начального обустройства— стройматериалы и инструменты, большой запас консервов и продуктов питания, лекарства и одежду. Предполагалось, что в дальнейшем колонисты должны будут сами научиться себя одевать и кормить— нужда заставит!— а не научатся, что ж, тем хуже для них.

Поэты— народ живучий. Они быстро приспособились к новой среде обитания, понастроили на острове несколько посёлков, стали выращивать хлеб и разводить скот, ну а фруктов там было и так предостаточно. Прошло несколько лет— и остров Поэтов стал поистине райским местом, где не было больных и голодных и где все изъяснялись только

стихами. Постепенно остров превратился в маленькое государство со своими законами и своим правительством. Все указы и постановления, конституция и уголовный кодекс, все текущие документы писались только в стихах. Говорить прозой строжайше запрещалось, нарушителям грозила депортация, безоговорочное изгнание с острова. И жители охотно подчинялись этим законам.

Но в одно прекрасное утро взбунтовался вдруг самый талантливый и самый любимый всеми поэт. Выступая на очередном поэтическом турнире на центральной площади острова, он неожиданно заявил, что его тошнит от стихов, от чужих и собственных, и отныне он напрочь отказывается от рифм, метафор, эпитетов и прочей лирической чепухи. Он был готов к любому наказанию, и даже изгнание с острова его не пугало; мало того — он давно уже, оказывается, мечтал именно об этом.

Но островитяне не пожелали расставаться со своим кумиром. Они приняли единогласное решение, что якобы ничего чрезвычайного не случилось, а их любимец просто перешёл на верлибр, потому что настоящий поэт, по определению, не может продуцировать не-стихи, как паук не может продуцировать не-паутину. С того дня и всем прочим островитянам было позволено изъясняться верлибром, вскоре верлибр даже вошёл в моду, а уже к концу года на острове можно было безнаказанно и беспрепятственно говорить пошлой прозой, ибо никто не осмеливался брать на себя роль арбитра, определяющего — что же такое стихи и чем отличаются они от прозы.

Но закончилась эта история плохо: на острове Поэтов, отказавшемся от канонов и догм, воцарились анархия, беззаконие и хаос. Распоясавшиеся стихотворцы перестали соблюдать не только законы стихосложения, но и законы правопорядка, забросили всё хозяйство и разбежались кто куда, покидая остров на катерах и шлюпках. Исчез и главный виновник, нарушитель гармонии — дерзкий поэт-диссидент, затеявший всю эту смуту. Куда он делся? Никто не знает…

…Вы меня спросите — ну и что я хотел всем этим сказать? Где тут мораль? А морали нету. Мораль и поэзия — две вещи несовместные, братья мои по разуму, вернее — братья по безрассудству. Впрочем, пора принимать лекарства, проясняющие мозги, — вон, дежурная медсестра зовёт. Чур, я первый, братья-поэты.

Анастасия Ясеницкая

Отлучённые от вечности

Человек — существо биосоциальное, твердит нам учебник обществознания. А вы представьте мир одиноких: кругленьких таких, гладеньких, скользких ноликов, полностью самодостаточных, погружённых в рассуждения о сущности бытия, катящихся по собственной намеченной траектории. Идеальный мир. Ни мук любви, ни разрушенных семей, ни брошенных детей, ни слёз, ни горечи расставаний. Царство рационализма. Но ведь мы так не сможем. Не в нашей это природе.

Одиночество — болезнь. Что-то противоестественное до ужаса. Одно из самых страшных наказаний, порождающее животный страх. Наверное, с тех далёких времён, когда, отбившись от стаи, индивид погибал. Но сейчас-то что? Мамонта добывать вроде не надо, а мы, как болезненные, всё собираемся в плотные кучи, тянемся к светящимся окнам, всё жаждем человеческих рук, всё хотим быть любимыми. А в этом, наверное, наша главная человеческая глупость и чудо.

Как объяснить разрывающую боль познания того, что ты один-одинёшенек в этом мире? Ведь всем солнцам во Вселенной плевать на то, что ты существуешь. А ты же существуешь. А может, нет? Кто докажет, что ты сам себе не показался? А нам нужно только элементарное подтверждение в эквиваленте какого-нибудь человека, не до звёзд уж. Почему нам надо, чтобы нас обязательно кто-нибудь выслушал, оставил печать участия на наших мыслях? Почему нам надо отражаться в чьих-то глазах? Почему в нас существует неутолимая жажда любви? Почему человек становится странно мнительным, неуверенным, ранимым и сентиментальным в транзитных проявлениях одиночества?

Сколько бы человек ни был самодостаточным, в нём существует некая брешь, из которой невозвратимо убегают силы и уверенность. Пробоина ниже ватерлинии. Даже самым суровым брутальным дядькам нужны маленькие женщины, для которых они только любимые дети. Для меня на этом завязан весь мир. Не в вечном утешении и жалости к себе, но в свя́зи — нуждающихся в друг друге.

Мне кажется, что фраза «ты не одинок» — некий абсолют. Не одинок, и всё. Душа успокоена. Ты существуешь.

Марат Валеев

Воробышек

Вот и отступили суровые эвенкийские морозы. За окном — апрель, с крыш закапало, во дворе нашего дома весело зачирикали воробьи. В сорока-пятидесятиградусные морозы их не видать и не слыхать — прячутся где-то, бедолаги, от лютой стужи. А тут — пожалуйста: объявились, радостно прыгают по двору, склёвывая какой-то только им видимый корм. Мне же при их виде сразу вспомнились далёкое детство, моя родная казахстанская деревушка Пятерыжск на высоком песчаном берегу седого Иртыша, и вот эта история, связанная именно с воробышком.

Стояло жаркое, настолько жаркое лето, что босиком по пыльным сельским улицам ходить было невозможно — раскалённый песок обжигал подошвы. Мне тогда было лет семь, моему брату Ренату — около пяти. И вот в один из таких знойных дней мы почему-то вместо того, чтобы отправиться купаться, забрались с ватагой пацанов на пустынную в эту пору территорию совхозного склада — играть в прятки. А может быть, залезли мы туда уже после купания — точно не помню. За дырявым забором высились амбары для зерна, комбикормов, бугрились крыши врытых в землю ледников для мяса, хранились нагромождённые друг на друга конные сани, пылились зернопогрузчики с длинными железными шеями-транспортёрами, тянулись штабеля дров. Между амбаров и за ними буйствовали заросли чертополоха и конопли, лебеды. В общем, рельеф — самый подходящий для игры в прятки.

Я, как старший брат, всегда старался держать в поле зрения Рената, и потому мы вместе побежали прятаться за весовую. Это такая будка под шиферным навесом перед огромными напольными весами. А за будкой весовой мы увидели вот что: под стеной одного из семенных амбаров глянцево блестела под лучами белого раскалённого солнца чёрная и неприятно пахнущая битумная лужа диаметром примерно метра три-четыре. В центре её валялись несколько порванных бумажных мешков. Битум находился в них, но они полопались, когда их небрежно свалили здесь ещё в прошлом году. Осень, зиму и весну мешки с битумом, который должны были пустить на ремонт кровли прохудившихся амбаров, вели себя прилично. Крыши чинить почему-то никто не торопился, а в жару битум растаял и поплыл из дырявых мешков.

В центре этой чёрной лужи мы увидели отчаянно трепыхающегося и уже хрипло чирикающего воробышка. Ему в ответ галдела целая толпа его сереньких собратьев, сидящих на колючих ветвях растущей рядом акации, а также вприпрыжку бегающих у самого края битумной лужи. У воробушка прилипли лапки и кончик хвоста. Глупыш, как он туда попал? А, вот в чём дело: к поверхности коварной лужи прилипло множество кузнечиков, бабочек и ещё каких-то козявок. Видимо, воробышек захотел кого-то из них склюнуть, вот и прилип.

Я ещё не успел подумать, что же можно сделать для погибающего воробышка, как Ренат что-то крикнул мне и побежал по чёрной лоснящейся поверхности к трепыхающемуся комочку. Хотя где там — побежал. Он сделал всего несколько шагов, и битум цепко прихватил его за сандалики. Братишка дёрнулся вперёд, назад, потерял равновесие, одна его нога выскочила из сандалии, он упал на бок и испуганно закричал. На нём, как и на мне, были только сатиновые трусишки. Ренат сразу влип в битум одной ногой, боком и откинутой в сторону рукой.

— Ой, мне горячо! — захныкал братишка. — Вытащи меня отсюда!

Я страшно испугался за него, но не знал, что делать. Взрослых нигде не было видно, а пацаны разбрелись и попрятались по всей большущей территории склада — не забывайте, мы ведь играли в прятки. К стене весовой будки было прислонено несколько широких досок. Я уронил одну из них на землю, притащил к чёрной луже и подтолкнул к продолжающему плакать брату. Затем прошёл по доске к нему и попытался за свободную руку вызволить из плена. Но Ренат прилип намертво. Я дёрнул его за руку ещё раз, другой и чуть не упал рядом с ним сам. Ренат заревел с новой силой. А перепуганный воробышек, из-за которого мы и влипли в эту историю, напротив, замолчал и лишь часто открывал и закрывал свой клювик.

И тут, на наше счастье, на территорию склада с обеда пришли несколько женщин, работающих на очистке семенных амбаров под приём нового урожая. Они нас увидели, заохали, запричитали. Но не растерялись, а быстро притащили откуда-то несколько лопат. Этими лопатами женщины начали поддевать с краю и сворачивать в рулон (ну, как блин) битумную массу. Подвернув этот чудовищный блин почти впритык к временно умолкнувшему и во все глаза наблюдавшему за собственным спасением братишке, они дружно, в несколько пар рук, вытянули его из битумной массы.

Ренат стоял на твёрдой земле без сандалий — они остались там, где он только что лежал, — и дрожал, несмотря на жару, а с его правого бока, ноги и руки свисали чёрные битумные лохмотья и сосульки. Он был так нелеп и смешон в этом виде, что я не

выдержал и захихикал. Засмеялись и женщины — но это, скорее, был смех облегчения, — и пошли в свой амбар работать.

— Ну, татарчата, бегите домой! — деланно строго сказала задержавшаяся около нас наша соседка тётя Поля (она тоже работала на складе). — Обрадуйте мамку. А я сейчас попрошу управляющего, чтобы вам подвезли солярку.

— Зачем? — удивился я.

— А как Ренатку-то отмоете? Только соляркой, — сказала всё знающая тётя Поля. — Керосином — оно бы лучше. Да нет его теперь, керосину-то, электричество у всех. Так что и солярка пойдёт.

— Ну, пошли домой, — я взял брата за чистую руку, в уме прикидывая, достанется мне за него от матери или нет.

— Не пойду! — вдруг упёрся Ренат. — Воробушек там остался.

А ведь верно, про воробышка-то я и забыл. Он молча сидел в битумной западне, причём уже как-то боком, с полузакрытыми глазками и широко распахнутым клювом. Оказывается, бедолажка прилип к битуму уже и концом одного из крылышек.

— Идите, идите отсюда, он уже не жилец! — прикрикнула на нас тётя Поля.

Лучше бы она этого не говорила. Ренат заголосил так, что тётя Поля уронила лопату, а мне заложило уши.

— Спасите воробушка! — в истерике кричал братишка, а из глаз его ручьём текли слёзы. — Вытащите его, а то я снова туда лягу!

— Ты посмотри на этого жалельщика! — всплеснула руками тётя Поля. — Сам чуть живой остался, а за пичужку переживает! Ну ладно, попробую.

Так как битумная лужа уже была скатана с одного конца, до птахи уже можно было дотянуться. Тётя Поля наклонилась над встрепенувшимся и слабо защебетавшим воробышком, осторожно выковыряла его из битума при помощи щепки и протянула его мне:

— Нате вам вашу птицу!

Я завернул обессиленного и перепачканного воробышка в сорванный под забором лист лопуха, и мы пошли домой. Не буду рассказывать, как нас встретила мама. А впрочем, почему бы и не рассказать? Она нас встретила, как и полагается в таких случаях: и плакала, и смеялась, и шлёпала нас (чаще, конечно, меня), и целовала (а это уже чаще Рената). Потом она поставила братишку в цинковое корыто и стала оттирать его, хныкающего, жёсткой мочалкой, смоченной в солярке. И солярка стекала по нему на дно корыта уже тёмная от растворённого битума, Ренат же с каждой минутой становился всё чище и чище. А на подоконнике, в картонной коробочке с покрошенным хлебом и блюдцем с водой, дремал чисто отмытый сначала в керосине (для него всё же нашли чуть-чуть), потом в тёплой воде воробышек. Ренат не соглашался на солярочную процедуру до тех пор, пока мама первым не привела в порядок спасённого воробья.

Срочно вызванный с работы папа растапливал баньку. Он носил туда вёдрами воду, подносил из поленницы дрова, при этом что-то бормоча себе под нос и удивлённо покачивая головой — мама ему всё рассказала.

А дальше было вот что. Уже на следующий день по распоряжению перепуганного управляющего отделением битумную лужу срочно убрали. Ещё через пару дней наш воробышек совсем ожил и был выпущен на волю. Во двор его вынес, осторожно держа в горсти, сам Ренат. Он поцеловал птичку в светло-коричневую головку и разжал пальцы. Воробышек взмахнул крылышками, взлетел на верхушку клёна в палисаднике и громко зачирикал оттуда. Может быть, он благодарил нас на своём воробьином языке за его спасение? Довольные, мы побежали с братом купаться на любимое озеро. Там уже с утра самозабвенно плескались в тёплой, парной воде наши друзья, и их счастливые визг, крики и смех разносились очень далеко окрест. А впереди у нас было ещё много таких безмятежных дней и всевозможных приключений…

Евгений Чигрин

Батискаф

За осенью, в которой стих подмёрз, как Вяземский в халате обветшалом,
Вдыхая пыль, глотая абрикос, чертя судьбу, как блазнится, недаром—
Взлетает жизнь, забыв в шкафу крыла, и пропадает в городе брюхатом,
Куда спешишь, «бессмертная пора», стегнув себя некачественным матом?
Куда теперь, расстёгнутым на сто сиротств *таких*, что вспомнился б родитель
В каком-нибудь заштопанном пальто, скорее безучастный небожитель?
Зане о том, где первый—ничего известно *не*, и в этом *не*—причина,
Вдыхай, братан, такое волшебство, весь мир, друган, пиитова чужбина,
Как завернул один из США, воткнув перо под бок яйцеголовым.
…Я счастлив был (душок от беляша), я счастлив был в посёлке вереско́вом
Ловить любовь на музыку, забив на всё окрест… Кусай меня, столица!
Куда как «ласков» твой императив (В какой руке везучая синица?).
Взлетает жизнь за Вяземским, за тем, кто свыкся с одинокостью российской,
Строка, как чёрт, подсказывает темп, и ветер бьёт по вывеске буддийской.
…Я счастлив был, как джазовый концерт… Направо—банк, налево—Якиманка,
Заляпанная грязью, аки смерд, звенящая монетами цыганка.
Я счастлив был, как колокольный звон, как ангел, пропустивший три урока,
Рифмуй меня с печалями, Плутон, драконь, октябрь, циничностью итога,
Я был затем, чтоб, вспыхнув, поминать, по буквочке выкуривая *слово*,
Целуя охренительное «вспять» в ещё одном… от Рождества Христова.

Цирюльника летающая скрипка…
О. М.

Фиолетовый цвет Феодосии—сумерки… Свет
Симпатичной кофейни вблизи айвазовского моря.
Бесноватые чайки кричат с передышками бред,
Белопенные волны подобны осколкам фарфора.
В Киммерии нетрудной так правильно пить не спеша
Эти красные вина за жёлто-блакитные гривны,
По глотку поднимайся по строфам поэтов, душа,
Обретавшихся здесь, сочинивших нескучные гимны,

А вернее—упрятавших в слово живинку-тоску,
Обогретые камни да бьющие колером степи,
Чебуречную жизнь да цирюльника скрипку… Смогу
Что припомнить ещё? Ну какие искусные сцепы?
Этой улочкой брёл фантазёр и обманщиков брат,
Самый светлый алкаш, мореход сухопутных видений—
Молчаливый Гриневский в свой парусный солнечный ад:
Галерейная, 10, где только четыре ступени…

Этой улочкой шёл, видел эти густые кусты,
Фиолетовый цвет, может, самый спокойный на свете…
Наливайся, стакан, опрокинем за буквы-труды,
Нищету к нищете, понимающий музыку ветер,
И случайную жизнь, и считающий денежки порт,
За пустое кафе побелевшей акацией Каффы,
За сливовое море: медузы, актинии, йод,
Да пиратские клады, где золото, жемчуг, аграфы!

Батискаф

В окне пейзаж—припомнишь Писсарро—
Перешагнёшь в стихи, держа руками
Видение в сиреневом: тепло
Под серыми, в изломах, облаками.

Держу в руках видение—тебя…
Весь в мареве художника ландшафтик,
В котором ветер, в дудочки трубя,
Прохожего закутал в мягкий шарфик,

Одел в пальто и—спрятал за углом,
Опять Камиль художник «вынул дождик»,
Который—раз и—сделался прудом,
Где рядышком лопух и подорожник,

Где туча в тучу переходит как
Видение в виденье—раз и—сплыло.
Я *так* один. Любой ужастик-страх
По барабану! Пофигу! Квартира

Меняет облик: тянет тень крылом,
Над шкафом, подрезая приведенье,
Штормит за шторой шумовым дождём…
Как в батискафе, я—в стихотворенье…

Сколько хочешь

Сколько хочешь могу как придурок смотреть
На фигурки, в какие Гоген
Превратиться сумел: в эту тёмную медь—
В телеса таитянских камен,
В этот колер, замешанный на ворожбе,
Листик пальмы, густой тамаринд,
В это солнце лежливое, слышишь, как «ж»
В обленившемся слове звучит?
Вот вахина лежит, как лежала вчера,
Завернувшись в свою наготу,
И чернеет не идол? Скорее гора?
Заслоняет лагуну? Звезду?
В этом свете что хочешь привидится для
Самопальной неспешной строфы:
Берега, где от манго краснеет земля,
Тонет в зарослях крепкой листвы.
Слышит хлебное дерево птичью возню,
Духов мёртвых и шелест сестёр,
Подбираются звери к большому огню
Слушать тёмных людей разговор…
В этом свете что хочешь смогу объяснить:
Сновидения, смыслы, холсты,
Будто сети, тяну полуночную нить
Стихотворства, иллюзий, мечты…
…Как до хижин Гогеновых мне далеко!
Так *Откуда мы? Кто мы? Куда…*
Полстакана, стакан—и вздохнётся легко
И всплакнётся совсем без труда
О фигурках, в которых сумел хорошо
Поселиться, без выкрика SOS—
Сифилитик, сердечник, искусник, ещё—
Житель тропиков, жёлтый Христос.

«Яндекс»: Лагорио

Море Лагорио. Ветер, встречающий мрак
(Море художника: зрелость, естественность, знак…),

Парусник так одинок: на кипучих волнах
С волнами борется, бьётся да мечется… Так

И—пропадают, становятся пищей для рыб…
Кажется, вслушайся и—замерещится всхлип…

Море Лагорио. Грубость. Безумие. Мгла.
Сильный зюйд-вест. Мореманы погибнут зазря.

Скоро?—Лагорио знает. Кому ещё знать
Как этим кобальтом тёмным казнить и карать?!

Смешивать волны и смерть, до которой охоч
Сам Посейдон да геенной смотрящая ночь.

Море волнуется, море волнуется, как…
Это искусника фобия—самость и страх…

Призраки острова? Это видения, что
Нарисовал этот старый в немодном пальто,

Это его фотокарточку нынче в Сети
«Яндекс» сумел в Википедии живо найти.

Крымский художник Лагорио, крымский худо…
Все мореходы погибли. Не спасся никто.

Киммерия: Памяти Константина Богаевского

И в небе теплятся
лампады Семизвездья.
Максимилиан
Волошин

…изогнутое дерево—и мне
Строку бы изогнуть в таком порядке,
Придумывая музыку к весне,
Стремясь стихотворением к разгадке

Той Киммерии, что художник всем
Нарисовал, которую я вижу:
Видения, смотрящие в эдем,
Да корабли, да ангельскую крышу,

Все тайны Киммерии, что к нему
Стеклись на холст, всю фантастичность
Каффы,
Весь этот свет, всю золотую тьму,
Деревья, как чудные голиафы…

Как солнце обжигает! Свет и свет…
Белеющие скалы, камни мыса…
Пещерный город будущего?—Бред,
Который, может статься, больше смысла?

Который… Чем закончить этот стих?
Который лепта жалкая… возмездье…
Канун весны. Луны защитный лик.
Над головой лампады Семизвездья.

Роман Рубанов

Чудо

…Со страницы
Евангельской этот сюжет…[1]

А. С. Кушнеру

Чудо

Когда входил Христос в Капернаум,
народ толпился и теснил друг друга,
Бежали фарисеи с перепуга
под тяжестью невыносимых дум,

слонялись дети, стариков несли
на сбитых наспех плотником носилках,
мольбы и просьбы, слёзы, грязь в посылках
и боль и страх Иудиной земли.

И, окружён кольцом учеников,
Христос застыл, как столп, из света соткан,
к Нему на встречу шёл печальный сотник
с толпой больных еврейских мужиков.

Христос печаль его предвосхитил,
дал знак ученикам—и расступились,
и на латыни мёртвой покатились
слова, из камня делая настил:

«Больной слуга, оплаканный уже…»
Христос построил речь крылатой лентой:
«Не плачь. Te hominem esse memento[2].
Я помогу страдающей душе.

Иди под кров свой, усмири печаль,
пустует пусть могильная пещера.
Слугу спасла твоя живая вера!»
Он выпрямился и сверкнул, как сталь,

припав к ладони розовой Христа,
из недр души восславил Саваофа…

А вдалеке, на выжженной Голгофе,
уже чернела тень Его креста.

Первые апостолы

Христос подошёл к рыбакам и спросил:
«Где ловятся этакие караси?
В Галилейском море сегодня погоды нет,
Вся рыба, как камни, лежит на холодном дне.

И так небогат, вижу Я, ваш улов».
Они собирали сети молча, без слов,
И обида слезой блестела у них в глазах—
Не рыбный день выпал. Христос рыбакам сказал:

«Закиньте сеть, от берега чуть отплыв,
И рыбу в сеть загонит морской прилив!
Хотя—что рыба? Со дна следит за пловцами.
Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами

Человеков. Бросьте лодку и сети…»
А рыбаки: «Есть чудеса на свете,
Но чтобы вот так: «Закиньте невод поглубже…»—
Вытягиваем, и, как говорится, тут же—
Полная сеть рыб, рвущаяся по швам.
Кто ты таков, ответь, что Твоим словам
Внимает море и всё, что в его глубине?»
И сказал Христос: «Сомневаешься, Пётр, во Мне?

Оставьте снасти,—Он подозвал рыбарей,—
Идите за Мною, братья Пётр и Андрей!»
Дивились Андрей и Пётр: что же будет потом?!
Оставили лодку, сеть и пошли за Христом.

Начало положено. В город Иерусалим
Двенадцать апостолов позже войдут за Ним.
…Они ушли. А море сорвало челны
С насиженных мест и рычало: «Распни, распни!»

И волны, как гвозди, вбивало камни в борта,
Ложась у берега пеной, как пеной у рта.
И чайки кричали на солнце, что стало в зенит:
«Элои! Элои! Ламма савахфани?»

Притча

«Вот вышел сеятель сеять
Зерно.
И когда стал сеятель сеять,
Оно
Упало в пыль при дороге,
И вот—
Слетелись птицы к дороге
И поклевали его;

Иное упало на камни,
Где немного земли,
Почва была неглубока, и
Росты взошли,
Когда же вместе с ростами
Солнце взошло,
Оно своими лучами
Росты пожгло,

Ибо корня не было у роста—
Эта часть притчи проста;

Иное упало в терние
И выросло терние,
Так как заглушает терние
Любое растение,
Не миновала злая участь зерна сего:
Терние заглушило его!

1. Стихотворение А. С. Кушнера «О бегстве в Египет ни слова…»
2. Помни, что ты человек *(лат.)*.

Иное упало на землю добрую
И принесло плод—
Которое в тридцать крат, а которое
И в пятьсот.

Кто имеет уши слышать—
Да слышит».

А ученики ещё неспособны
Притчу сердцем воспринимать,
И они просят подробно
Учителя притчу им растолковать.

«Сеятель—сеет слово
В сердца.
Как всем известно, слово
О двух концах,

И вот—слово в сердце
Зреет,
Но это слово сердце
Не разумеет,
И тогда приходит лукавый,
Стращает,
Впивается в сердце клыками
И похищает
Слово из сердца. Так бывает у многих.
Это к той части, где посеянное—при дороге.

А вот—слово покорно
И с видимой кротостью принято,
Но не имеет корня
Сердце—и слово отринуто
Сердцем. Настанет скорбь,
И к слову протянет десницу
Гонение, словно корь,
И сердце тотчас соблазнится.

Эта часть притчи довольно проста:
Это о том, где посеянное—на каменистых местах.

А вот слово вроде замечено,
Но заботами века
И обольщением искалечено
Сердце у человека:
В сердце лежит пустота,
Зависть, корысть—что угодно…
Да, и в таких местах
Слово бывает бесплодно.

Это к той части притчи, где терние
Заглушило не выросшее растение.

А вот слово услышано, понято, неспроста
Оно передаётся из уст в уста,
Это слово живёт в сердце и сердцу приносит плод
В тридцать крат, в шестьдесят, иное в пятьсот».

Кто имеет уши слышать—
Да слышит.

Отречение Петра

Пётр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.

Евангелие от Матфея, гл. 26, стих 58

Пётр же вне храма сидел, на дворе.
Служанка к нему подошла и сказала:
«Постой, с тем, чьё имя Иисус Назорей,
И ты был». И тем, кто с ней шёл, указала

На Петра. Но он отрёкся пред всеми
Сказав ей: «Не знаю, что ты говоришь.
Что мне до рождённого в Вифлееме?»
И подсел к огню. Над серостью крыш

Поднимался медленно, как старик,
Луч рассвета оборванного,
И раздался истошный крик
Петуха подзаборного.

Первый!

Когда же Пётр приближался к воротам,
Сказали ему стоявшие там:
«А не из учеников ли Его ты?
Постой, друг, не ты ли апостол Христа?»

Но опять он отрёкся с клятвою,
Сказав, что не знает Сего Человека.
И побрёл предрассветной слякотью
Вон из города. Придорожный калека

Сказал Петру: «Точно, и ты из них,
Ибо речь твоя тебя обличает!
Вот ведь—как в притче: «Се грядет Жених!
Где девы те, друг, что Его встречают?»

Говори!» И тут же залаял пёс.
Тогда начал Пётр божиться и клясться,
Что не знает он… И взглянул Христос
На Петра. А луч за небо цеплялся,

И над крышами брызнул рассветный дух,
И заёрзало солнце на белой стене,
И запел горластый красный петух,
И заплясал на гумне.

Второй!

И вот Пётр вспомнил слово Господне:
«Прежде нежели дважды споёт петух,
От Меня отречёшься сегодня
Трижды». И заплакал Пётр горько, и глух

Становился плач, и голос хрипел,
И камни грызли зубами сандалии,
И вослед Петру Спаситель глядел
Со двора, там, где Его бичевали.

Сергей Сутулов-Катеринич
Урок сольфеджио

Урок сольфеджио

Кружи́т снежок—утюжит нежить.
Мартообрядность благодати.
Всепобеждающая нежность.
Мажор? Адажио? Анданте…

Всё побеждающая лёгкость.
Озноб прощёных воскресений.
Мелькнула молодость-дурёха
На перевале пред/весеннем.

Минор: надежды безнадежность.
Стихи, снежинки, «саперави»…
Всепобеждающая свежесть
На пост/апрельской переправе.

Всё побеждающая чёткость
Воспоминаний без иллюзий:
Профессор—чёрт, ему—девчонка,
Тебе—зачётка в грешном вузе?

Профессор—чёрт, ему в печёнку—
Смычком мальчишеской печали!
Цыганом умыкнул девчонку—
Педант сольфеджио отчалил.

Адажио? Анданте? Престо!
Кинороманы—в крематорий.
Ожог подснежника—невеста.
Жена—пожар консерваторий.

На перевале пред/осеннем,
На переправе пост/июльской—
Без опостылых опасений
За иллюстрации иллюзий.
. . . .
Душа в окошке—как… небрежность:
В чужую жизнь снежком попасть и…
Всепобеждающая нежность.
Всё пожирающие страсти!

Прощение беглянки

Ангелы парят над образами
С карими и синими глазами…

Я скучал один у «Трёх вокзалов»—
Скорый припозднился из Казани…
Песенка чужая (?) привязалась:
Музыка… Разлука… «Мукузани»…

Поезд обманул—игра без правил:
Девочка сошла на полустанке,—
Каин полупьяный, трезвый Авель
Слёзы выжимают из шарманки…
. . . .
Много лет осталось или мало
Странствовать царице наказаний?
Старая пластика простонала:
Ангелы парят над образами…

Кончилась эпоха исключений—
Гамлету достались две «Таганки»…
Господи, когда допишет гений
Песенку «Прощение беглянки»?
. . . .
Граждане, «Прощание славянки»!
Ангелы парят над образами…
Девочка сошла на полустанке…
Скорый припозднился из Казани…

Слёзы выжимая из шарманки,
Странствует царица наказаний…
Песенка «Прощение беглянки»:
Музыка… Разлука… «Мукузани»…
. . . .
Ангелы парят над образами
С карими и синими глазами…

О любви—без попурри!

рассказ для небольшого сюжета

Михаилу Анищенко

…поэт орал, и плакал, и молился,
и каялся, и пил, и быдлом был,
но женщина прощала: «без милиций…»,
она его любила: «будь любым—
тиранящим, покладистым, похмельным,
оболганным, освистанным, святым,
квадратным, треугольным, параллельным,
оборванным, расхристанным, тупым,
гламурным, гениальным, безрассудным,
пророком, прокурором, сорванцом,
безвизовым, бессонным, беспробудным,
алхимиком, бухариком, творцом,
Касперским, Козаковым, Квазимодо,
Кулибиным, Каспаровым, Кюри,
котярой, крокодилом, козьей мордой,
но, милый мой, люби—без попурри!..»

Апостолы! Поэт заезжей музе
Со сцены посвятил пустой сонет:
«Италия. Болезненность иллюзий…»
И женщина растаяла—в рассвет.

Поэт кричит—ранимая не слышит…
(О музах при французах повторим?!)
Прошепчет он—родимая в Камышин
Примчится, проклиная гордый Рим.

Младенцы, не пришедшие с войны

Любая бойня — мимо воли Божьей:
Помимо, но во имя сатаны.
Прапрадед правнучонка уничтожит —
Мальчонку, не пришедшего с войны…

Фельдмаршал поджигает шнур бикфордов,
Взрывающий кроссворды днк.
Убитый пехотинец — звук аккорда,
Пронзающий пространства и века.

Про предка при суворовской награде
Прорыкает филолог Боря Дно,
Предателю в кромешном Сталинграде
Читая наизусть «Бородино»…

Генетик гениальный, предрасстрельный,
Под шерри-бренди «травку» покури…
Тебя прикончит враг или наследник
Под музыку кудесника Кюи!

Война всегда кромсает Божье Слово.
Кровавый ад — на радость сатане.
И снова снится поле Куликово.
И снова мальчик мечется в огне…

Мечтатели-хохлы, оленеводы,
Ценители цыплёнка табака,
Любители портвейна и природы,
Витайте в акварельных облаках!

Кружите над мороками Марокко,
Макарами, марктвенами, марго.
Рифмуйте: Ориноко — одиноко.
Танцуйте в ритмах та́нго и танго́.

Радируйте бездарному Пилату:
«Ужо тебе, паршивый атташе!..»
Творите, ростиславные, по Плятту.
(По блату? — Позабывшим о душе).

Любите итальянок, кореянок,
Француженок, славянок… Ай-люли!
Но помните: в жене живёт подранок —
Грядущий или бывший: се ля ви.
. . . .

Другие мы! И новый мир инаков,
И новый Рим, и новые штаны,
Поскольку не хватает зодиаков
Младенцев, не вернувшихся с войны.

Воспоминания о синих пролесках

1.

Снега, прожжённые стёжками стихов.
Стихи, прошитые стежками снегов.

Любимые бывали разными —
Зеленоглазыми, кареглазыми…

Одни доживали до свежих снегов.
Другие тонули в морях васильков.

Любимое имя, увязнув в грехах,
Осядет, остынет в янтарных стихах.

Белый снег. Белый стих. Белый свет.
Белый свет. Белый стих. Белый снег…

2.

Снег валил и валил.
Подустал. Заскучал. Посерел.
Середина марта.
И снова снег повалил.
Кавказ — Северный.
Снег — южный.
Снежный наст по утрам — жёлтый.
Серебристый — ночью.
Подмораживает.
Снег валит и тает.
Тает и валит…
Эпоху назад —
В эту же пору —
В той же стороне (но в другой стране!)
Я собирал пролески в окрестных лесах.
Цветы для любимых.
Любимые меняли имена.
Любимые перевирали мои стихи.
Любимые глядели на меня разными глазами —
серыми, зелёными, голубыми, карими, жёлтыми…
И только взоры пролесков обжигали вечными
Синими искорками.
Синими, как мартовское небо…

3.

Прежние вёсны.
Прожитые жизни.
Жёлтый снег.
Корвалол.
Середина марта.
Воспоминания о синих пролесках.

Эдуард Хвиловский

На краю полыньи

Календарь

Что же мне взять из чужого напротив окна?
Шпагу? Подсвечник? Картину? Обманчивый свет?
Часть зарешеченности?—за которой тебя,
да и меня уже скоро как сорок лет нет.

Помню, как тени слипались на лёгкой стене.
Из ночи слышен был дальний утиный манок.
Всё обрывалось внутри, обрывалось вовне
станций прибытия на правомерный шесток.

Впрочем, возьму календарный измятый листок
с мягким кроссвордом-шарадой навеянных тем,
с датой, вобравшей в себя разукрашенный сок,—
мой двусторонний легчайший бумажный тотем.

Падает там же такая же точно листва
из совпадений того, что не может совпасть,
так же волнуя две тени того естества,
что не должно и не хочет, не может пропасть.

Мама

Моя бедная мама. Кусочки халата
и пришитые чем-то к чему-то детали—
низ от верха, верх снизу. Прочтенье с листа,
попродуктно, по спискам, пока не достали
через голову эти, у края «хвоста»
в никуда. На виду оболочки парада
забивают телами пустые места.
Мы в трамвае, где грузно и аляповато,
истираем терпением формы одежд.
Брешь надежды разрухи и горести меж,
безответность и мерзкость во всём голодухи.
Спи, сынок. Это чайки, голодные духи
городских запустений, покорных бегов
на дистанциях лет у родных берегов.
Это голуби и переулки выводят
в людность мест. Засыпай себе с былью поруки
семьяной, духовой, точно с ложкой во рту.
Это просто светает. Светает в порту.
Их ни там, ни в помине давно уже нет,—
у краёв перелатанной пылью прорухи
завалился живьём за подкладку рассвет
и пропал безответно, бесследно. Пока.
Где привет и прощанье слились воедино,
тарантасы не ездят отдельно от тел.
Облучки на колёсах. В ладонях—клюка.
Шофера коридоров давно не у дел.
Из хлебов возвращается в ящик мука.
Очерёдности всех заводная картина,
где в окне за балясиной машет рука.

Смотри

Я кремль себе, и я же мавзолей.
Ты не пугайся. Ты ещё налей.
Я посох, я же и на посошок.
Ты понял всё давно уже, браток.

Я и земля, и лошадь, и овёс.
Я нóшу эту на себе принёс.
Перечислять—не хватит тополей,
но ты ещё по маленькой налей.

Мне здесь служить, тужить и горевать—
и радость эту силой не отнять.
И нотный стан, и ноты все при мне,
и полный до краёв стакан вполне.

Теперь не слушай—только лишь смотри:
всё это расположено внутри,
снаружи только пепел и алмаз,
но больше пепел, и во много раз.

Итак…

«Итак, я жил тогда…»
А. С. Пушкин

«Итак, я жил тогда…»—и это
и кровь моя, и воздух мой,
и две оси кабриолета
из февраля, и мой покой,

и ложь моя—моя удача
на самой личной стороне,
где, вовсе ничего не знача,
я побывал и на Луне,

и в Императорском Приказе,
и в рощах всех мирских олив,
и в хрустале настольной вазы,
и в слёзной радости всех ив,

и смехом всей Земли цыганок
я был, и королём шутов,
и рыбкой рыбок всех бананок
и повелителем снегов.

О, как «итак, я жил…» когда-то!..
Земля хранит ещё следы,
и место по сегодня свято,
где я алкал тогда ходы,

и сохранились колокольцы
в центральном росчерке ветвей,
и где развешаны все кольца
от вырубленных в скалах дней.

Читая Поля Валери

Я плакал ночь, и радовался денно,
и мог две сотни птиц пересчитать
в одну минуту, и попеременно
мог два трамвая разных обогнать:
«Ты, как младенец,—вспомнив,—
спишь, Равенна».

В поры те мимо разных паровозов
мелькал лишь нужный мне локомотив.
Я машинистом был своих извозов
под нами обусловленный мотив,
ввиду всех приближавшихся морозов.

Обычное окно от многих зданий
мне открывало створчатый залив
и выполняло перечень заданий
вразрез с плакучей ветреностью ив,
под смех сквозь слёзы добрых начинаний.

Но ничего давно уже не снится,
и копия печатями верна
всем чувствам, как последняя страница,
там, где жива ещё моя страна
и в тайнике лежит твоя ресница.

К плечам лишь этим взглядом прикоснулся,
но не посмел себе о том сказать,
и мир опять к сознанию вернулся,
когда без меры можно воздавать.

В тех линиях—змеиный оклик жажды
томил и так усердствовал подчас,
что выпитого памятью однажды
на этот не осталось, видно, раз.

Неведомое молча преломлялось
перед восходом, отвердившим взгляд,
и неподвижность тайно извивалась,
собой пленяя собственный наряд,

и удила закусывались лично,
и шпоры заколачивались в бок.
Осмысленность сдавала на «отлично»
экзамен свой тому, кто одинок

и счастлив от простейших созерцаний,
заполонивших свой Охотный Ряд
и в перечень изысканных желаний
вносящих иероглиф «Как я рад!».

Ну зачем всегда о нехорошем?
Ну зачем о градинах на крыше?
Только и того, что в этом Прошлом
что-то ниже было, что-то выше.

Одного и только непочатый
край, так освежающий ремёсла,
ладожный, печорный, наровчатый,
помещённый изморосью в сосны.

Отнято, что до́лжно, без излишков.
Все бумаги подпись получили.
И несётся полосатый рикша,
говорящий днём на суахили.

Мне легко и легко
на неровном, подтаявшем льду,
и ни раньше, ни ныне
не смею и думать иначе.
Из чугунных ворот
изошёл и отрадно иду.
На краю полыньи
лёд чуть скользкий, такой настоящий.

Многослойным бинтом
воздух втёрт в основание зги,
смоляным ароматом
огни на шестах совращая
и смешинки твои
из смешения слёз и тайги
вдалеке от Чердыни
на мягком лету поглощая.

Лёгкий, лёгкий порог,
ощутимый в преддверье дверей,
в летаргии удачи
наколотый на две иголки,
перепевно возлёг
в отдалении всех снегирей
в полноправной истоме
и мхах малахитовой ёлки.

Не отстать, не отстать,
не замять неизбежный мотив,
только новые слоги
подчас от себя добавляя
про тебя, про тебя,
чуть тире и тире сократив.
На излёте дороги,
себя переплыв, понимаю,

что то времени суть
возлегает на тающем льде,
и её совершенство
наполнило поры покоем,
а истлевшая жуть,
составлявшая пару беде,
в полынье многокрайней
сокрылась с отчаянным воем.

Нет, ничего я не терял,
а более нашёл при встрече,
и Новгоро́дское мне вече
сияло светом всех зеркал,

и гребней, и посылок тёмных,
и светлых, и совсем простых,
и думами бояр седых,
и взглядами боярынь томных.

Я восхищённо обаял
догадки, степени, легенды,
что переплавились в календы
у греческих приморских скал,

но лучше—в загородных плёсах,
где нет ни слуг, ни понятых,
а из понятий всех простых—
лишь два, что утопают в росах.

Кирилл Анкудинов

Вертикальное положение

Журнал «День и ночь» начинает публиковать авторские страницы критика Кирилла Анкудинова «Литературный транзистор». Здесь Кирилл Анкудинов будет знакомить читателей «Дня и ночи» с ведущими тенденциями в современной литературной ситуации. Он выступит в роли своеобразного «транзистора», ловящего то, что сейчас «носится в воздухе».

В седьмом номере «Нового мира» опубликована статья известного литературного критика Валерии Пустовой «В Зазеркалье легко дышать».

Валерия Пустовая, опираясь на новую книгу композитора и культуролога Владимира Мартынова «Время Алисы», прочит «конец литературы». Или, по крайней мере, «финал литературоцентризма».

Не она первая (и не она последняя) — литературу у нас хоронят, начиная с 1991 года (а на Западе — того раньше).

Доводы Валерии Пустовой таковы…

«Цивилизация заморочена на субъекте, и с детства нас учат слушать себя или то, что услышали в себе другие. Навык бескорыстного созерцания, молчаливого внимания — внемления — миру утрачен в цивилизации тотального высказывания, царствующего субъекта. И не надо говорить о влиянии восточных практик — и Феофан Затворник учит внутреннему молчанию, остановке лихорадочного, неуправляемого монолога с самим собой, за шумами которого не слышен голос Бога. Недостижимость внутреннего молчания, неумение распознавать «зов бытия» — главная боль цивилизации слова, которая усиливается, едва выпадаешь в пространство, живущее не по законам речи».

Синдром понятен. Вспоминается очень многое — от Тютчева с его «мысль изречённая есть ложь» до «Альтиста Данилова» и пресловутого «тишизма». Но лучше обратиться к исходным корням всего этого — к Византии (не случайно Пустовая отсылает читателей к Феофану Затворнику).

Позволю себе рискованное признание: я недолюбливаю Византию — и как раз за то, что можно определить понятием «логомахия» (борьба с Логосом, со словом).

Рядовой византиец — по «гению места» (да зачастую и по крови) — перс. Отягощённый-полураздавленный греческой самоидентификацией, римской историей и (исходно) еврейской религией. Что называется, «дом на бабушке моей, целых восемь этажей».

Чтобы хоть как-то в условиях тройного культурного гнёта сохранить самого себя, свою ментальность, свой подкожный авестизм, византиец-криптоперс приучился саботировать Логос, не доверять слову. И передал это недоверие нам, русским, как опасную болезнь.

Логомахия — штука нездоровая, плохая. И, кстати, нехристианская — ведь Главная Книга Христианства начинается с того, что «В начале было Слово, и Слово есть Бог». Считать, что голос Бога «живёт не по законам речи» — не по-христиански.

И вновь — цитата из Пустовой…

«Старый язык искусства нагружен старым опытом жизни, старыми способами её восприятия. Мессидж «последних» произведений поэтому отнюдь не только формальный. «Последние произведения» созданы для того, чтобы менять не только наше искусство, но и нас самих, наши отношения с реальностью».

В качестве «последнего произведения», меняющего «наши отношения с реальностью», Валерия Пустовая настойчиво рекомендует роман «Горизонтальное положение», написанный Даниловым — нет, не альтистом Даниловым, а прозаиком и журналистом Дмитрием Даниловым, — и опубликованный опять-таки в «Новом мире» (в сентябрьском номере журнала за прошлый год).

Текст этот — отнюдь не бессловесен, но всё ж довольно необычен.

Вот как характеризует его Пустовая…

«В романе Данилова отсутствует то, что по традиции считается наиболее важным в литературе, да и в жизни, — человеческое измерение происходящего: личное отношение, мысли по поводу, эмоциональные реакции, оценки и суждения… Иными словами, вопреки традиции, *этот роман не является высказыванием* (курсив авторский. — *К. А.*).

Безличные предложения — всего лишь точно найденная форма такого непривычного восприятия реальности… Дело в том, что, убрав субъект из предложений и субъективность из повествования, Данилов устранил удвоение реальности в слове, показал нам жизнь без представлений…

Дмитрий Данилов исключил всё, что отвлекает нас от жизни: рефлексию и оценки, настроения и страсти, цели и мечты, а главное — литературу».

Не соглашусь с этим утверждением: на мой взгляд, автор ничуть не исключил в своём тексте ни «рефлексию и оценки», ни «настроения и страсти», ни «цели и мечты», ни даже «литературу». Всё это в «Горизонтальном положении» есть. Данилов исключил что-то совсем другое.

Чтобы не «удваивать реальность в слове», дам слово автору, приведу образчик его специфического письма.

«Пробуждение в два часа ночи. То ли ещё поспать, то ли доделать всю работу. Осталось всего ничего — три небольших малозначительных интервью и сведéние всех имеющихся материалов в единый текстовый массив. В принципе, можно всё это днём доделать. Или лучше сейчас. Да, лучше сейчас.

Расшифровка трёх интервью, на этом расшифровка закончилась, до чего же это всё-таки нудный и муторный процесс, сведéние всех текстов в один большой текст, всё, работа окончена, теперь её должно утвердить начальство, и всё, и всё, и всё.

Утро, Владимир уходит покупать билеты на самолёт, завтра в Москву.

Горизонтальное положение, сон.

Пробуждение. Владимир купил билеты, вылет завтра в девять сорок утра.

Владимир — очень хороший человек.

Предложение Светланы и Вячеслава отметить окончание работы и предстоящий отъезд, принятие предложения Светланы и Вячеслава, выпивание некоторого количества водки в кабинете Светланы в компании Владимира, Светланы и Вячеслава. На определённом этапе к выпиванию присоединяется главный инженер компании. Обмен визитками, братание. Ещё увидимся, обязательно увидимся, ещё вместе поработаем.

Вероятность осуществления этих предсказаний очень близка к нулю.

Горизонтальное положение, сон».

И *так* на сотню с лишним страниц.

Московский журналист с акынской старательностью перечисляет все свои деловые поездки, планёрки и каждодневные занятия — «выбегания», «выпивания», «разговаривания», «играния в компьютерные игры» и т. д.

…Говоря о «Горизонтальном положении», я менее всего хочу впадать в крикливый морализм («поглядите, люди добрые, какую дрянь подсовывают нам под видом актуальной литературы…»), а тем более в «конспирологию» («…и это всё — неспроста…»).

Более того, уверенно полагая, что сей текст находится за пределами литературы, я вовсе не утверждаю, что он плох.

В моём представлении плохо — то, что вредно, уродливо или безграмотно. «Горизонтальное положение» — не вредно (но и не полезно), не уродливо и даже не безграмотно (хотя отглагольные существительные-неологизмы — «выбегания-выпивания» — русский язык не украшают).

Это не плохо, это не хорошо — это *никак*.

Элементарнейший кабинетный эксперимент, доступный кому угодно — хотя бы мне (правда, мне он обойдётся труднее, так как в моей домоседской жизни событий на два порядка меньше, чем в жизни мобильного москвича Дмитрия Данилова).

Интересно не «Горизонтальное положение» как таковое, интересен его культ в литераторской среде. Он есть, я его улавливаю. И я его не могу объяснить.

Ведь бывают культы плохих явлений — объяснимые. А бывают культы неплохих явлений — абсолютно необъяснимые.

Я не люблю Джима Моррисона. Однако я вполне могу объяснить «моррисонофилию». А «Битлз» я, в принципе, люблю («…ну, приятные мелодичные песенки»). Но всемирный шестидесятническо-семидесятнический взрыв-морок «битломании» для моего ума — непостижим совершенно.

Так и «Горизонтальное положение» — словно «Битлз» — источник и объект необъяснимого культа.

Читатели вписывают в бесхитростный ежедневник то (своё), чего там нет и в помине.

Пустовая смеётся над романтическими трактовками издательской аннотации: «принять горизонтальное положение проще, но однажды герою суждено встать в полный рост» — экий пафос, можно подумать, что речь идёт-де о Романе Сенчине с его «протестами против рутины».

При этом сама Пустовая допускает куда более существенные домыслы: герой-то «Горизонтального положения», может быть, и впрямь когда-нибудь «встанет в полный рост», но очевидно, что текст Данилова невозможно, немыслимо соотносить с мифами и с мифологическим мышлением (как это делает Пустовая, ссылаясь на книгу Владимира Мартынова).

Ещё раз попытаемся досконально разобраться в том, *что именно* устранил Дмитрий Данилов в своём произведении.

Не рефлексию. «В принципе, можно всё это днём доделать. Или лучше сейчас. Да, лучше сейчас» — это ведь рефлексия чистой воды.

Не оценки. «Владимир — очень хороший человек» — это оценка.

Не настроения и страсти. «До чего же всё-таки это нудный и муторный процесс» — настроение и страсть.

Не цели и мечты. «Завтра в Москву» — цель. «Работа окончена, теперь её должно утвердить начальство» — мечта.

И не «литературу»: от даниловского эксперимента так и шибает Роб-Грийе, «новым романом» и роланбартовщиной.

Даже сюжеты (потенциальные, зачаточные) в этом тексте есть. Поездки героя-повествователя текста в Сибирь или в США — чем не сюжеты? Не переросшие в сюжетность.

Ведь сюжет и сюжетность — не одно и то же.

Дмитрий Данилов в «Горизонтальном положении» напрочь устранил *сюжетность*.

Как на уровне «большого сюжета» (метасюжета), так и на уровне «частной микросюжетизации действительности».

Сделаю учёное отступление на грани философии и психолингвистики…

Бытие окружает нас сплошным слитным потоком. Для того чтобы мы осмыслили весь этот поток, нам необходим *язык*.

Человек отличается от кролика тем, что если на кролика нападает «нечто большое, очень страшное, красное и чёрное», то на человека нападает *тигр*. Ибо человек (не в пример кролику) способен мыслить общими категориями при посредстве языка.

Есть различные языки, на которых люди общаются и мыслят (русский язык, английский язык, китайский язык и т. д.), а есть — общий для всех метаязык. И этот метаязык — язык *мифа*. То есть язык *сюжетности*.

Представим, что под нашим окном подрались Вася и Петя.

Можно изложить это событие в стилистике Данилова.

«Вечер. Драка Васи и Пети под моим окном. Победа Васи. Просмотр телевизора, горизонтальное положение, сон».

Но люди не могут быть настолько бесчувственными, всё же они — не кролики. В человеческом сознании обычная драка двух дворовых гавриков налагается на встроенные коды мифо-матрицы, становясь Священным Поединком, и после этого Вася превращается в «шлемоблещущего Ахилла» или в «солнечноликого Ормузда», а Петя — в «златораменного Гектора» или в «тёмного Ахримана». Какая бы то ни было — хоть самая элементарная — идентификация невозможна без наличия этих кодов. Мы ассоциируем себя с Васей или с Петей, с Мойшей или с Махмудом, с девочкой Таней или с учительницей Агриппиной Борисовной, с красными или с белыми, с Ельциным или с Зюгановым, с Базаровым или с Павлом Петровичем Кирсановым — лишь потому, что в наших мозгах сидят соответствующие мифо-программы, заставляющие нас делать это.

А поскольку поединок Васи и Пети, протекающий на наших глазах, непредсказуем по результату — вот она самая, наша голубушка — *сюжетность*. Чудесная игра с неведомым исходом, свидетельствующая о реальности.

Теперь представим, что за поединком с балкона наблюдает писатель. Он идентифицирует себя с Васей (или с Петей), отыскивает в происшествии некоторые смыслы — какие угодно: нравственные, социальные, культурные, метафизические (но в любом случае — мифопроизводные), — затем садится к столу и сотворяет увлекательную новеллу под названием «Вася и Петя». Так возникает литература.

Конечно, Пушкин мог бы написать вместо шестой главы «Евгения Онегина»…

«Утро. Плотина. Дуэль. Убивание Онегиным Ленского. Умирание Ленского, горизонтальное положение, смерть. Уезжание Онегина, горизонтальное положение, сон».

Однако Пушкин этого не сделал — и молодец, что не сделал.

Ведь даже Дмитрий Данилов не выдерживает до конца взятый на себя странный «обет бессюжетности». Разве не прочитывается в специфической структуре финала «Горизонтального положения» внятная интенция, некогда чуть иначе высказанная Владиславом Ходасевичем: «И обратно тащить на квартиру этот плед, и жену, и пиджак, и ни разу по пледу и миру кулаком не ударить вот так…»? (Кстати, Евгения Риц и Евгений Чижов, рецензируя «Горизонтальное положение», указывают на это, но Пустовая с ними не согласна; и в данном случае она неправа.)

Это ли не сюжет? Притом — вполне архетипический, весьма древний и более всего известный нам по источнику, именуемому «Книга Иова».

Когда сюжетность гонят в дверь, она возвращается, влетая в окно.

…Недавно возле майкопского вуза, в котором я работаю, у троллейбусной остановки, открылась книжная лавка. Не специализированный магазин, а именно лавка в виде павильона. В Москве подобных уличных книжных лавок-павильонов очень много.

Разумеется, ни отдела филологической книги, ни отдела поэзии в этой лавке нет. Зато есть четыре длинные полки, отведённые под «отечественную прозу».

Любопытно содержимое сих полок.

Из «классики XX века» — только «Доктор Живаго» (за этот факт, думаю, следует поблагодарить хрущёвское Политбюро). Из известных мне писателей-современников — Илья Бояшов (довольно мифоёмкий автор, представленный двумя книгами). Ну и Дарья Донцова с Татьяной Устиновой, естественно.

Остальные имена с четырёх книжных полок не говорят мне ничего. Потому что всё это — рядовые пехотинцы армии «массовых жанров», неисчислимые сочинители фантастики, детективов, боевиков, любовных романов и мистики.

Содержимое их творчества мне пока неведомо (наверное, как-нибудь раскошелюсь на пару-другую книжек из лавки). Думаю, что «чистых жанров» на полках павильона нет: где фантастика — там боевик, мистика и конспирология, где детектив — там любовный роман, мистика и конспирология, а где любовный роман — там просто мистика и конспирология. Без мистики с конспирологией сейчас никак невозможно. Даже в «оранжерейной литературе», в «прозе толстых литжурналов» — сплошь мистика и конспирология; что уж говорить о «дикорастущей литературе». Ещё, наверное, кое-где под вывеской «жанра» уцелел-сохранился «старый добрый реализм» — и притом он куда свежее, чем в «Октябре» или в «Знамени».

О чём говорит такая картина?

Пустовая мечтает о бессюжетной нирване, а вокруг люди, как заведённые, сюжетизируют, сюжетизируют, сюжетизируют окружающую действительность, поверяют её мифами. Людям нет дела до того, что их не печатают в литжурналах, не приглашают на фестивали и симпозиумы, не

рецензируют в критике, нигде не упоминают имена. Советская система «высокой литературы» (почти) рухнула, но никто этого не заметил. Башня упала, а лира всё звучит, и поющей лире нет дела до упавшей башни. Даже если «Новый мир» с «Октябрём» закончатся, люди будут продолжать сочинять фэнтези, мистические боевики, конспирологические детективы, публицистические расследования и эзотерические трактаты.

К слову, в той же книжной лавке—увесистая полка «исторической литературы». Там есть отдельные объективные исследования историков и доподлинные воспоминания исторических лиц, но, конечно же, основная составляющая полки—«альтернативная история», «криптоистория» и «мифоистория».

История—мутная, трудная и запутанная вещь. Так соблазнительно изложить её в духе Данилова…

«Прихождение скифов. Прихождение варягов. Прихождение славян. Прихождение монголов и шведов. В общем, все умерли, горизонтальное положение, безмолвие».

Но отчего-то современники, обращаясь к историческому процессу, сюжетизируют его, налагают на него мифы, ищут в нём смысл…

Вот оно—слово, которое найдено! *Смысл.*

Сюжетизация реальности—наделение реальности *смыслом*. Сюжетность—потенциальное присутствие *смысла*. Сюжет (состоявшийся или не состоявшийся)—это *смысл* (состоявшийся или не состоявшийся).

Сейчас многие читатели-консерваторы жалуются на «упадок реализма».

Реализм (в России благополучно просуществовавший полтора столетия) и впрямь падает—во многом по вине самих писателей-реалистов.

Реализм—ручной миф. Миф, преображённый в *игру* со своими строгими правилами. Реализм относится к мифу так же, как бокс относится к драке.

В реалистической традиции (как в боксе) запрещены некоторые приёмы. Запрещена мистика (и урезана фантастика), запрещены модернистские и постмодернистские манипуляции со «второй реальностью», ограничено обращение автора к устойчивым мифо-матрицам, мифо-канонам (и этим реалистическая литература отличается от «массовой литературы»). Для реализма «вторая реальность» обязана максимально походить на «первую реальность» (разумеется, не будучи ею). Таково «условие игры».

Иногда интерес к некоторым играм теряется—эти игры переживают кризис.

Возможен «кризис бокса» (как игры и как социального явления). Но невозможен, немыслим «кризис драки» (как жизненного явления).

Возможен упадок «традиционной провансальской кухни». Но невозможен упадок питания, поскольку приём пищи—необходимость всех людей. Люди могут разучиться «культурно питаться»—тогда они начнут жрать, хавать, уплетать. В чём-то это будет плохо. Но в чём-то хорошо, поскольку сие—показатель недюжинного аппетита (а значит, здоровья). Всеобщий аппетит наших современников к гиперсюжетизированной «массовой литературе»—не такой уж плохой признак. Читатели кидаются на Дарью Донцову, потому что изголодались по сюжетам, и даниловский «гербалайф» им совсем ни к чему.

Человек нуждается в том, чтобы питаться, спать, дышать. Точно так же в круг его потребностей входит необходимость сюжетизировать (осмыслять) действительность. Человек будет творить мифы-сюжеты даже на необитаемом острове—так уж он устроен.

И это замечательно!

Человек не лежит на земле, словно беспомощный младенец-подкидыш; он твёрдо стоит на ней. Человек способен понимать реальность при помощи языка, который дан ему. И в этом—залог человечьего самостояния по отношению к реальности.

Да здравствует вертикальное положение!

В конце концов, каждый из нас пишет—собою, своей жизнью—увлекательнейшую Книгу Бытия. У этой Книги—Великий Читатель. Бог.

Он любит сюжеты.

Лев Бердников

Жертвы моды

Моды во все времена никого не оставляли равнодушным. Порой вокруг них разгорались самые настоящие баталии, принимающие весьма жёсткие формы. Так, при Петре I взимался штраф, а то и наказывали палками за ношение бороды и усов, а также долгополой старорусской одежды; а тех, кто облачался в испанский камзол, нещадно били батогами. Во времена Павла I человек, дерзнувший появиться в общественном месте в круглой шляпе, панталонах, куртке, фраке или жилете, попадал на гауптвахту, мог лишиться чинов или даже оказаться в Сибири (не говоря уже о том, что его шляпа срывалась с головы, а костюм рвался в клочья). И в не столь уж отдалённом прошлом, в 50–60-е годы XX века, когда в СССР в разгаре была санкционированная свыше борьба с так называемыми «стилягам», «добровольные» отряды дружинников с помощью ножниц безжалостно кромсали узкие брюки, разноцветные пиджаки и аляповатые галстуки этих «антиобщественных элементов». Стиляг прорабатывали на комсомольских собраниях, подчас исключали из институтов, ломали карьеру, огульно обвиняли в спекуляции (фарцовке), что влекло за собой и уголовную ответственность.

Но не менее эффективными и уж, конечно, более симпатичными были другие способы борьбы с чуждыми костюмами и всякими модными веяниями. Речь пойдёт отнюдь не о карательных мерах, а о дискредитации моды путём её пародийного, карикатурного изображения, подчас доведённого до абсурда.

Рассматривая преобразования первой четверти XVIII века, можно говорить не только о повсеместном введении в России европейского костюма, но и о целой системе государственных мероприятий, направленных на запрещение традиционного ношения стародавней московитской одежды и бороды. В ряду известных петровских кощунств находятся шутовские свадьбы, где бородатых шутов и их гостей умышленно наряжали в русское народное платье. Вот как описывает такие увеселения Н. И. Кашин: «…И жениха, всешутейшего папу, в Иностранной коллегии и Его Величество со всем генералитетом и знатным дворянством убирали во одеяние, в мантию бархатную малиновую, опушённую горностаями, с большим отложным воротником горностаевым же, шапка белая, вышиною в три четверти аршина… Наряжали невесту в платье старинное… шапка горнотная бобровая, вышиной больше пол-аршина, покрывало волнистой тафты… Невесту из деревянного дома вели свахи из дворянских дам в уборе старинном, за нею следовало Её Величество с дамами в машкарадном платье».

Как отметил Б. А. Успенский, русское платье, представленное на свадьбе шутов, приняло в петровское время характер маскарадного. Точно так же позднее, в XVIII веке, гимназистов и студентов наказывали, надевая на них крестьянскую, то есть русскую национальную, одежду.

В. М. Живов показал, что шутовские свадьбы — это публичные церемонии, носившие обязательный характер. От них нельзя было отказаться, как нельзя было отказаться от назначения на ту или иную службу. Участие в таких свадьбах было необходимым признаком приверженности монарху, готовности перевоспитываться по установленному Петром образцу.

Принуждение носило массовый характер: толпы бегали и кричали со смехом: «Патриарх женится! Патриарх женится!» Одного из шутов, князя-папу Н. М. Зотова, перевозили через Неву в какой-то ладье, которая плавала в пиве. При этом его поили допьяна из ковша, сделанного в виде вульвы. После этого происходила пышная свадьба, строилась специальная пирамида с прорезанными в ней дырками, в которые кто хотел мог подглядывать. Туда и доставили пьяных новобрачных. Комизм усиливался и тем обстоятельством, что Зотову давно уже перевалило за 80, а невесте — за 60. Народ смотрел на них в эти дырки и хохотал. Для венчания «молодожёнов» нашли попа 90 с чем-то лет, который еле-еле мог говорить.

Цель подобных празднеств — принуждение общества к разрыву с традицией. Потенциальная нелояльность (а старорусская одежда воспринималась именно как отрицательное отношение к преобразованиям Петра) становилась предметом сатирического изничтожения. И в шутовских свадьбах монарх, наряжая по старинке своих подданных, провоцирует эту нелояльность и её же уничтожает смехом.

Глумление над щегольскими костюмами уже екатерининского времени предпринял некий «отставной чиновник, крайне невзрачной наружности, с золотушными шрамами на лице», о чём сообщает М. И. Пыляев. Этот насмешник нарядил в изысканные одежды свору беспородных собак, с которыми ходил по петербургским улицам. «Одна собака была в зелёном фраке, жёлтых штанах и красном жилете, другая в обтянутом пёстром кафтане, синих штанах, третья в каком-то бурнусе, с колпачком, в шапочке, с разноцветными перьями, четвёртая в фижмах, в роброне и парике с тупеем, пятая в дамском капоте и шляпке…» «Все

эти костюмированные собаки,—подчёркивает Пыляев,—носили имена современных франтов и франтих, известных в тогдашнем обществе». И далее продолжает: «Появление этого полупомешанного чиновника со своей свитой вызывало всеобщий хохот».

Думается, что Пыляев грешит перед истиной, называя «полупомешанным» этого собачьего костюмера: предпринятое им переодевание четвероногих в щегольское платье обнаруживает в анонимном чиновнике тонкую иронию, вызванную глубоким неприятием современной ему моды. А присвоение собакам имён франтов и франтих свидетельствует не только о дискредитации конкретных щёголей, но и о пародии на само щегольство как историко-культурный феномен.

В отличие от предыдущего насмешника, богатый чудак и меценат П. А. Демидов был настолько широко известен, особенно в Москве, что в русской культуре XVIII века сам приобрёл черты легендарной личности. Этот, по словам А. С. Пушкина, «проказник Демидов» был горазд на выдумки разных экстравагантностей, особенно касательно новейших мод. Когда появилась мода на очки, Демидов заставил их носить всю прислугу, а также лошадей и собак. Современники утверждали, что животные, для которых специально изготовили эту стеклянную невидаль, приобрели характерный задумчивый вид. Показателен был демидовский выезд, на который сбегались смотреть целые толпы: ярко-оранжевая колымага, запряжённая тремя парами лошадей—одна крупной и две мелкой породы, форейторы—карлик и великан. И все—в очках!

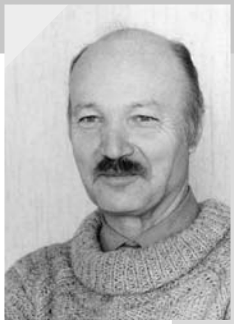
Демидов ёрничал, откровенно стирая грани между щегольской одеждой и самой грубой дерюгой. Свою челядь он одел весьма оригинальным образом: одна половина ливреи была шита золотом, другая—из деревенской сермяги; одна нога обута в шёлковый чулок и изящный башмак, другая—в лапоть.

Екатерина II, называя Демидова «дерзким болтуном», ценила его благотворительную деятельность и пожаловала ему, нигде и никогда не служившему, чин действительного статского советника. Монархиня—вольно или невольно—и сама использовала некоторые демидовские приёмы сатирического осмеяния чуждых ей мод. Так, известно, что Екатерина II воспринимала распространившиеся в России моды революционной Франции как покушение на государственные устои своей страны. Во Франции же вошли тогда в моду узорчатые фраки, и петербургские щёголи стали их носить. Что же сделала императрица? Она приказала одеть всех будочников в этот наряд и—не вослед ли Демидову?—распорядилась дать им в руки лорнеты. Современники свидетельствуют: франты во фраках после этого быстро исчезли. Екатерина, как видно, боролась с этой модой с присущим ей чувством юмора.

Важно отметить, что подобное «самодержавное остроумие» в борьбе с неугодными модными веяниями характерно не только для эпохи «богоподобной Фелицы». Во времена правления её царственного внука, Николая I, начальник Третьего отделения Собственной императорской канцелярии А. Х. Бенкендорф отправил 12 февраля 1838 года генерал-губернатору юго-западных губерний Д. Г. Бибикову письмо следующего содержания: «Доходит беспрерывно до моего сведения, что в Киевской, Подольской и особенно в Волынской губерниях молодые люди, упитанные духом вражды и недоброжелательства к правительству и принимая все мысли и даже моды Западной Европы, отпустили себе бороды… и испанские бородки. Хотя подобное себя уродование не заключает в себе вреда положительного, не менее того небесполезно было бы отклонить молодых людей от такого безобразия, не употребляя, однако же, для достижения сей цели мер строгих и каких-либо предписаний. А потому не изволите ли, Ваше Превосходительство, найти возможным приказать всем будочникам и другим нижним полицейским служителям отпустить такие бороды, и для вернейшего успеха отпустить их в некотором карикатурном виде? Но в случае Высочайшего проезда Государя Императора через губернии, Вам вверенные, полицейские служители должны немедленно быть обриты, дабы все видели, чтобы такое уродование лица противно Его Величеству и было допущено единственно в насмешку безрассудных подражателям чужеземных странностей».

Как видно, крупный николаевский функционер осмеивает «безрассудных» копиистов иноземных мод, не используя, как и Екатерина, «мер строгих и каких-либо предписаний». Как и при Екатерине, здесь очевидна идеологическая подоплёка: не случайно Бенкендорф называет бородачей «людьми, упитанными духом вражды и недоброжелательства к правительству». И вновь власти прибегают к помощи будочников—на этот раз их заставляют отпустить карикатурные бороды. Чтобы щёголи увидели и устыдились!

История показывает, что насмешка, заключённая в едкой, злой пародии, порой уязвляет не меньше, чем гауптвахта или другая карательная мера.



Виталий Пырх

Крошки на простынях

От «А» до «Б»

Все слова на «А», как ворона песнь,
в языке родном фиксирует слух.
Одиночество прогрессирует как болезнь,
и от мыслей отчаянных сводит дух.

Кликну друга — придёт мой законный враг,
Пожелает счастья — три раза сплюнь…
Иван Шепета, Владивосток

Все слова на «Б» будоражат дух,
С бодуна когда и без бабы ты…
Одиночество не бывает вдруг,
Сожжены всегда перед ним мосты.

Кликну друга я: вот барыш мой, на!
Не стесняйся, мол, его брать…
А навстречу мне идёт барышня.
Присмотрелся: нет! Идёт б…

Трудно мне сейчас подобрать слова,
Не держу теперь я их впрок…
Чтоб писать стихи, мало буквы «А» —
Надо букв знать хоть пяток.

Гоню стихов я точку прочь…

Дождь упражнялся с запятыми
И гнал рассвета точку прочь…
Владимир Макаренков, Смоленск

Дождь упражнялся в алфавите,
От букв на цифры перешёл…
Вы не ругайтесь, вы поймите:
Поэт так видит. Хорошо?

Потом, без ручек и без рук,
Смочив песок под лебедой,
Он вывел слово из трёх букв
И тут же смыл его водой.

Он упражнялся *так* весь день.
Он изгалялся *так* всю ночь.
Творил сплошную дребедень
И гнал рассвета точку прочь.

Но дождь не вечен, спору нет.
Господь отдёрнул свою штору…
Кончай писать стихи, поэт!
Пора идти учиться в школу!

Сказал бы жёстче: карта бита!
Да где ж их взять в такой дыре?
Жаль, что в стихах от алфавита
Одни лишь точки да тире.

Ожог поцелуя

Меня целуют умные старухи,
А я целую глупых молодух.
Николай Ерёмин, Красноярск

Смотрю: идут с конспектами старухи.
Какой от них исходит умный дух!
Не то что эти… Как их? Молодухи!
Особенно подвыпившие вдруг.

Идут, меня бессовестно минуя,
В библиотеку кто, а кто — в театр…
А я вослед шепчу им: «Аллилуйя!» —
И не могу себе позволить трат.

Другое дело — пьяная бомжиха…
Я для неё и гавань, и оплот.
Пускай в ней мало блеска или шика,
Зато она меня не обойдёт!

Что мне с того, что в ней немало скверны?
Она глупа. Она не скажет: «Стоп!»
Да кто же я? — вы спросите, наверно.
Я не поэт. Я — телеграфный столб!

Крошки на простынях

Время женщину не спросит:
Где её былая стать?
В волосах белела проседь,
А теперь — седая прядь.

И меня порой заносит,
Но себе устала лгать.
Откусил меня и бросил…
Милый, надо доедать!
Ольга Пулиайнен,
Лесосибирск

Разругавшись с казённою стервою,
В дом, знакомый мужьям, захожу…
Выбираю блондинку «на первое»,
А брюнеткою я закушу.

Не могу по-другому, иначе я,
Не хватает мне бабы одной…
Вот — шатенка. Она — «на горячее»,
После можно ещё по одной.

Отлюблю их с неистовой силою
И «на вынос» домой заберу…
Я не только доем тебя, милая, —
Я и крошки потом соберу.

Точка, точка, запятая…

Любить и целовать под вечной мерзлотой,
Шептать и рифмовать, слегка касаясь мочки.
И задирать подол до самой запятой,
И доходить, в конце концов, до самой точки.
Станислав Ливинский, Ставрополь

Задираю я стихам подол,
Как петух, преследующий квочки…
И бреду, как будто в бане, гол,
До последней выверенной точки.

Дальше ходу нет! Подол — не в счёт,
Вот она, любовь к стихам святая!..
Правда, там фамилия ещё.
А быть может, это — запятая?

К девушкам и к женщинам России

Как хочется любить!
Мне возраст — не помеха.
Покуда буду жив,
с маршрута не сойти…
Когда-то мне нужна
была Эдита Пьеха,
А нынче я могу
с буфетчицей сойтись.
Виталий Пырх, Красноярск

Да что вы торопитесь все так, бежите?
Не видите: страждет поэт!
Вчера он мечтал о Бардо, о Бриджите,
А нынче всё ходит в буфет.

И, стоя у стойки, в бреду, как в тумане,
А в баре вокруг — ни души,
Он, глядя на пышные груди тёть Мани,
Хоть бочку готов осушить!

От выпивки сразу становится легче,
К тому же его ли вина,
Что нет некрасивых на свете буфетчиц —
Бывает лишь мало вина?

А дома, пытаясь прийти в себя в ванне
И глядя задумчиво ввысь,
Готов он не только с буфетчицей Маней,
А с первой бомжихой сойтись!

Решите проблему, пожалуйста, эту,
Любой терапевт вас поймёт…
Придите хоть кто-нибудь ночью к поэту,
Не то он до ручки дойдёт!

Ускорить строительство монастырей!

Уходит в монастырь путанка,
Выходят на панель весталки…
Евгений Степанов, Москва

Не знаю, сколько там весталок
Поэт в России насчитал.
Но вот путанок больше стало —
Я это сам, друзья, читал.

Пусть это выглядит убого,
Но так получится быстрей:
Начнут искать путанки Бога —
Не хватит им монастырей!

Лошадиное меню

У монастыря стояла лошадь,
Свежий снег рассеянно жевала…
Марина Саввиных, Красноярск

У монастыря стояла лошадь,
Снег она задумчиво жевала.
Я к ней присмотрелся: её ноша
На санях нетронутой лежала.

Уголь, глина, старая баклуша
Да белья изорванного смена…
В общем, всё, что лошадь будет кушать,
Если не дадут ей вдоволь сена.

Чтоб помочь её пищеваренью
(Чем же лошадь провинилась эта?),
Я хочу, чтоб в божьем заведенье
Накормили снегом и поэта.

Лукавит зарево поэта…

Лукавит зарево рассвета,
Глотая туч наволгших ком
И птицам говоря про это
Подводным рыбьим языком.
Евгений Золотаревский, Ставрополь

Значенья слов поэт не знает,
Глотает их, как в горле ком.
Своих стихов не понимает —
Он пишет рыбьим языком!

Река ему считает капли,
Лукавит заревом рассвет…
Его читают только карпы,
И то — если там щуки нет!

Между Сетью и Степью

Редакция «ДиН» публикует полный вариант статьи живущего в Перми поэта и члена редколлегии нашего журнала Юрия Беликова, напечатанной в сокращённом варианте в июле этого года «Литературной газетой». Статья вызвала много откликов, свидетельствующих о том, что затронутая в ней тема (а именно: «Давно ли вам встречались породистые люди? Или порода—знак натуры уходящей?») задела за живое и расшевелила два Соляриса—Сеть и Степь, иногда дышащих друг на друга холодом автономности, а нередко изъясняющихся афоризмом великого князя Святослава Игоревича: «Иду на вы!» Впрочем, мы надеемся, что думающий читатель, погрузившись в текст исходного материала и откликов, им порождённых, разберётся во всём сам и при желании продолжит полемику.

Беспородные вторгались на Русь не единожды. Заметьте: не безродные, а беспородные. Алексашка Меньшиков, торговавший пирожками с зайчатиной. Анатолий Чубайс (страшусь назвать его Толяшкой), продававший цветы. «Цветы? Это же так романтично!»—воскликнете вы. Вот и продолжал бы радовать женщин, совершенствуя своё эстетическое чутьё. Однако подался в светлейшие, как его предтеча. Один—по княжеской линии. Другой—по части света в последней инстанции. Первый проворовался, закончив жизнь в ссыльном Берёзове, второй… Ах да: его рацион не имеет перспектив на берёзовую кашу. А между первым и вторым—«люди лунного света» (Василий Розанов): те, что из пломбированного вагона. Конечно, им резко захотелось стать породистыми. Посему для породистых был подан «философский пароход», разбухший до Ноева ковчега русского изгойства.

Беспородные—знаменье, предвестники смуты (чуть не забыл про череду Лжедмитриев) и революционного слома, порождающие законную реакцию породистых, как в стихотворении «Казнь» Ивана Бунина:

—Давай, мужик, лицо умыть…
Веди меня, вали под нож
В единый мах—не то держись:
Зубами всех заем, не оторвут!

В этом смысле для Бунина и Есенин был беспородным. А тот не оправдал «надежд» Ивана Алексеевича: «Не расстреливал несчастных по темницам».

Орда, перед которой меркнет Дарий

Из начала 90-х (а первый новейший набег беспородных приходится именно на эти годы) у меня стойко держится в памяти одна предновогодняя телепередача. Её устроители поставили необъявленный, а может, непреднамеренный эксперимент: Людмила Зыкина пела песни Олега Газманова, а Газманов—песни Зыкиной. Когда народная певица исполнила «Есаул, есаул, что ж ты бросил коня…», конь сразу воротился к есаулу, а того будто произвели в Атаманы Всевеликого войска Донского. Но когда сегодняшний народный артист России попробовал вытянуть «Издалека долго течёт река Волга…», просвещённый зритель понял: в данном случае Волга в Каспийское море не впадает. Впрочем, в сравнении с какой-нибудь «Фабрикой звёзд» нынче и Газманов—выдающийся вокалист. Это—в шоу, мать его, бизнесе. А в литературе?

На днях—«емелей»—получил почти истерическое, готовое меня посрамить послание одной московской поэтессы. Доселе донимавшая вашего покорного слугу директивами написать о её творчестве, она решила поднести к моим «хладнокровным» устам виноградную гроздь электронных ссылок. Дескать, вот сколько говорят обо мне превосходного—«и сайты, и блоги, и плейкасты, и чего только нет!». Послание заканчивалось якобы чувствительным щелчком по носу: «Если ты думаешь, что это ерунда, то попробуй ещё кого-нибудь забить и поискать в Сети из своих знакомых или очень известных поэтов, чтобы о них так сказали!»

Я забил. На блоги и плейкасты. По преимуществу, это мир множественного самообмана. Трижды прав санкт-петербургский поэт Александр Фролов, участник недавней дискуссии в редакции журнала «Звезда»: «На поэтических сайтах у нас 500 тысяч пишущих. Представляете, что это за армия? Это не какой-то там Дарий, со своими 30 тысячами. Это орда, страшная орда. И разговор надо вести не о значимости в этом плане, а об эстетической значимости сопротивления этому».

О Великая Сеть! Как написал новосибирский поэт-дикоросс Константин Иванов:

Не по степи,
а по сети—
переселение народов.
На караван-сараях сайтов—
навоз, солома, скрип телег и ржанье!..

Сеть производит свою иерархию—ценностей, ханов и ханш, репетируя роман Свифта «Путешествия Гулливера». Что в Сети—золото, то в Степи—навоз. И наоборот. То же самое—с ханами и ханшами. Идёт война—между Сетью и Степью.

Сеть алчет подчинить себе Степь. Сеть более пассионарна, поскольку молода. Что останется после их столкновения?

> Вот уже Первые
> вдаль ушли.
> И Вторые пооканчивали
> самоубийством.
> И Третьих
> поторопились выставить,
> не расспросив как следует
> обо всём…
>
> Снова последние
> в первых рядах
> учат,
> как жить охота.

Этот верлибр Станислава Подольского из Кисловодска называется «Те, кто выжил». Разве не так? Возьмите толстые литературные журналы. Когда-то их возглавляли «Первые». Потом—«Вторые», после—«Третьи». Александр Твардовский, Константин Симонов, Сергей Залыгин… Всеволод Вишневский, Вадим Кожевников, Григорий Бакланов… Михаил Алексеев, Владимир Крупин, Леонид Бородин… Валентин Катаев, Борис Полевой, Андрей Дементьев… Писательские имена! Как к ним ни относись. Чтобы встать у штурвала журнала «Октябрь», надо быть хотя бы Всеволодом Кочетовым.

Ностальгические пути завели меня в редакцию одного из «толстяков». Я узрел те же самые, памятные мне столы, только более вытертые и обшарпанные, нежели два десятка лет назад. Столы прежние, а те, кто за ними?.. Мне с гордостью было заявлено: «Из прежних никто не остался!» Однако хватило и пяти минут разговора, дабы укрепиться в мысли: «На фоне теперешних редакционных седоков их предшественники, чей вид вызывал у меня в своё время неизменную усмешку, выглядят просто патрициями!..» Конечно, можно подметать двор Литинститута и при этом зваться Андреем Платоновым. Но уместно ли, будучи курьером или фотографом, прыгать на десять голов выше—в главные редакторы?!

—Я думаю, вы совершенно правы, говоря о «последних в первых рядах»,—сказал мне, быть может, самый последний из «Первых»—возглавляющий журнал «Континент» Игорь Виноградов.—Но приходят другие фигуранты. И вовсе не обязательно, чтобы у руля того или иного журнала оказывались личности одного масштаба. Хуже другое: то, что смена вех, которая, за исключением времени Сергея Залыгина, происходила, допустим, в «Новом мире», где мне довелось работать рядом с Твардовским, обозначалась как отход от традиций Александра Трифоновича. И сейчас, мне кажется, этот журнал позиционирует себя, скорее, как продолжение «Нового мира» тридцатых годов, нежели продолжение «Нового мира» Твардовского…

Разумеется, речь не о внешней породистости. Глядя на «великого народного поэта» Илью Резника, произведённого в оные Примадонной, хочется воскликнуть: «Ну, прямо-таки курфюрст! Хотя по сути—парикмахер». Но давайте сравним: кто на стыке тысячелетий приезжал из столицы в города русской провинции? В ту же пожароопасную Пермь, наречённую Маратом Гельманом «культурной столицей России» с угрозой перерасти по щелчку его иллюзионных пальцев к 2016 году в «культурную столицу Европы», а в действительности ставшую площадкой для эксперимента по вымыванию и выветриванию породы? Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Александр Кушнер, Иван Жданов, Алексей Парщиков, Георгий Гачев… Увы, рок немилосерден: из этого списка в Перми продолжает давать концерты только самый работоспособный—Евтушенко. Возможно, некогда навестивший этот губернский центр юный Пётр Вяземский, нарёкший его стихотворно «в царство злата бедный вход», что-то провидел, ежели на излёте первого десятилетия XXI века сюда валом зачастили Станислав Львовский, Лев Рубинштейн, Дмитрий Кузьмин, Вера Полозкова, Всеволод Емелин, Андрей Родионов и другие сопровождающие их лица. Не улавливаете разницу—между прежними ездоками и нынешними? А москвич Родионов даже получил новое назначение в том самом «царстве злата»—учинять поэтические мастер-классы в Музее современного искусства PERMM.

Если верить Сети, Родионов—«один из самых заметных поэтов, дебютировавших в России в 2000-х годах», известный «своим жёстким субмаргинальным рэп-лиризмом». Однако я—человек Степи. И меня всегда коробило словосочетание «поэтическая продукция». Но когда я, паче чаяния, прилунился к поверхности размазанных по Сети родионовских текстов, то лицезрел полное соответствие этому словосочетанию. Налицо именно продукция. С банально-неряшливыми рифмами типа «виршах-книжки», «соседом-на землю», «зарплаты-кафе-баров», «усталая-палево». Впрочем, не исключаю, что я излишне строг и предвзят по отношению к «одному из самых заметных своим субмаргинальным рэп-лиризмом». Тогда обратимся к мнению тоже «одного из самых заметных»—известного в Перми и за её пределами книжного редактора Надежды Гашевой, через чьи руки проходили творения многих авторов—от Виктора Астафьева и Алексея Решетова до Леонида Юзефовича и Алексея Иванова.

—Это не слэм и не рэп. По-моему, это спам,—замечает она.—Это не палево—это фиолетово, выражаясь современным языком. Потому что рэп, по моим представлениям, это то, что должно быть с юмором, пусть он будет самого низкого порога. Рэп надо читать быстро, и он должен быть смешной или издевательский. А здесь ничего этого нет. Вот образчик: «…у него ещё с котом, у которого хвост супердлинный, дружба…» Во-первых, «с котом» читается слитно. Во-вторых, попробуйте-ка, хоть глазами, хоть вслух, прочитать: «Кошачий труп с резче от смерти оскаленной пастью…» Вот пишут, что Родионов «сотрудничал с рок-группой „Окраина“». Но он же человек-то глухой! Как он может рэп писать? Звук у рэпа должен быть чистый. Говорят, сей господин будет устраивать в Перми

поэтические фестивали? Хотя что же мы хотим от человека, написавшего:

Ладони краснодеревщика, мускулатура
давно устроившегося на совершенно блатную должность
в бюджетные мастерские с возможностью подхалтурить—
сделать шкаф, сэкономив чужие доски..?

Теория генетических расщелин

Впрочем, покамест Степь уходит в самою себя, а боярская Дума в образе жюри премии «Поэт» высиживает отгадку «Кого бы определить в те самые премиальные «Поэты» («Они, такие значимые, исчезают. Их через три года не будет»,—впадает в отчаяние Александр Фролов), расторопная Сеть—и за Степь, и за литбояр—уже всё решила, даже установила планку повыше: определяет, не кому быть-называться «Поэтом», а кому ходить в Главных. «…главный поэт будет назначен…»—авторитетно утверждает Андрей Родионов в интернет-газете «Соль». «А претенденты есть?»—любопытствует корреспондент. И «устроившийся на совершенно блатную должность» со знанием дела ответствует: «У каждой партии. Есть, например, Емелин».

Родионов не оговорился. Судя по всему, работа в этом направлении ведётся «адовая», если воспользоваться выражением Владимира Маяковского. Вот пример.

«Собственно, кого можно назвать бунтарём? Разве что Емелина»,—вторит в «лг» Родионову Игорь Панин. Кажется, это где-то уже звучало: «Поэзия сейчас на подъёме. Очень интересные ребята появляются. Дальше всех, я думаю, Роберт пойдёт. Рождественский. Не слышали? Есть в нём какая-то сила, дух бунтарский». Это—из фильма «Москва слезам не верит». Не правда ли, очень похоже?

Только вот что я скажу «интересным ребятам»: может, Емелин—«бунтарь» в столице нашей Родины—Москве? А в «культурной столице России»—то бишь Перми, по версии начавшего здесь выходить гламурно-одноимённого журнала «Соль», Сева «зажигает» на его страницах и подмостках Музея современного искусства, ослепляя фотовспышкой едва ли не галкинской улыбки пьющих и жующих vip-персон.

И «вся Россия смотрит, как вся Россия ест!»—когда-то припечатал на годы вперёд Андрей Вознесенский. Он ещё долго будет доставать из отпущенной ему Вечности тужащуюся играть в породистость всю беспородную чернь. Емелин—это то же, что Павел Лобков на нтв. Только гигантский Лобков. Но ведь тот, сочиняющий между занятиями генетикой и политикой злободневные вирши в духе разжижённого Маяковского, не отрекомендовывает себя поэтом.

Был бы сейчас среди нас другой человек породы—легендарный Юрий Влодов, покинувший этот бренный мир два года назад, он мигом бы поставил на место тех, кто привык гонять вторяки. Избранные жертвы его ударов кулаком по столу соврать не дадут:

— Встать, графоманская рожа, когда с тобой разговаривает Поэт!

Грубо, но—будто кием, загоняющим бильярдный шар в лузу! У Влодова была своя тгр—Теория Генетических Расщелин. А в ней—строгая градация, согласно которой между гением и графоманом—воробьиный скок, но между графоманом и способным—бездна, равно как и между способным и одарённым, а вот одарённый может развиться в талант, но талант, в свою очередь, никогда не достигнет уступов гения. И если применить эту теорию к нашему разговору, то получается: тот, кого тщатся назначить в «главные поэты», не более чем способный. Только вот способный к чему? А дальше уже начинается по Давиду Самойлову:

Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И всё разрешено.

Не всё. Это Сеть полагает, что всё. Может быть, она ушла не в ту Степь? И ей блазнится, что все поэты Степи давно уже переметнулись на службу Сети? Опять-таки—не все. Есть поэты катакомбные. Правда, здесь—потеря за потерей. За последнее десятилетие русская поэзия лишилась не только Бориса Рыжего. В Перми убили «Невидимку» (так называется его посмертная книга) Бориса Гашева. В Екатеринбурге умер от побоев Сергей Нохрин. В Томске выбросился из окна Александр Казанцев. Жестокие болезни скрутили: в Пыталово Псковской области Геннадия Кононова, в Обнинске—Валерия Прокошина, в Великих Луках—Андрея Власова, в Ростове-на-Дону—Геннадия Жукова… И у всех—высшая проба: «золотое клеймо неудачи», которую в своё время разглядела Ахматова на «ещё безмятежном челе» Бродского.

Это те, кого я называю дикороссами, чьё творчество практически не знают в столицах или только начинают узнавать. Вот кому бы премия «Поэт» могла пойти в поддержку. Кстати, это не противоречило бы первому пункту её Устава, гласящему, что она «вручается за наивысшие достижения в современной русской поэзии». Что касается уровня перечисленных поэтов (Царствие им Небесное!), пусть мне кто-то докажет обратное.

И здесь весьма точной представляется реплика ещё одного участника дискуссии из Санкт-Петербурга—Александра Танкова, сказавшего о лауреатах премии: «Этих поэтов читатели стиха и так знают. То есть ничего нового она им не даст. Получается какая-то, собственно говоря, тавтология». А я бы добавил: даже скрытое или непроизвольное издевательство над нынешними обладателями премии. Хочешь пошатнуть известного поэта—дай ему премию «Поэт»!

Конечно, каждый может привести имена из своего списка. Слава Богу, живы и продолжают творить: в Екатеринбурге—Юрий Казарин, в Нижнем Новгороде—Елена Крюкова, в Челябинске—Нина

Ягодинцева, в станице Полтавской Краснодарского края—Алексей Горобец, в Воронеже—Константин Кондратьев, в Красноярске—Сергей Кузнечихин, в Омске—Юрий Перминов и Вероника Шелленберг, и, наконец, в Москве—Юрий Годованец и Анна Павловская… И таких по городам и весям Степи немало. В Перми, например, живёт Александр Кузьмин, не обращённый гельманами и родионовыми в их веру. Ещё до наступления нулевых, входя в литературную группу «Монарх», он был наделён благородным и вполне степным титулом—сокольничего. И у сокольничего есть свой завет, к коему стоило бы прислушаться вторгшимся ордам беспородных:

> Трижды не объехать Степь,
> как вкруг дуба не объехать,
> и не переехать Степь,
> поперёк не переехать.
> Степью можно только вдоль,
> вдоль и вдоль, и к чёрту, к чёрту.
> Отвечает духу спёрту
> эта скудная юдоль.

Вот скажите: кто из беспородных, да и тех, кого уже растворили в реторте премии «Поэт», выбрал бы катакомбы: «скудную юдоль», отвечающую «духу спёрту»?

Юрий Беликов, г. Пермь

Горизонталь и вертикаль

Иерархия Сети лукава, Сеть—всего лишь средство связи, одно из—горизонтальная структура. Если воспринимать её в качестве макросубъекта, то нужно иметь в виду: спонтанная цель сетевого общения неизбежно располагается в горизонтальной плоскости. Сеть не будет искать высот, в отличие от Степи, для которой цель—поддерживать вертикаль, соединение земли с Небом над ней. Сеть выбирает то, что не опровергает её горизонтальности, не угрожает ей. А ведь Гельман & К, собственно, одно из порождений «горизонтального бытия», поскольку там, где нет настоящей иерархии смыслов и ценностей, начинают множиться и расползаться провалы. Возникает перевёрнутая иерархия с её «минус-ценностями» и разрушающими жизнь смыслами. И к ним—назначения «культурных столиц», «главных поэтов»…

«Пермский эксперимент», конечно, явление временное, но, как мы помним, нет ничего более постоянного, чем временное, и когда эта волна всё-таки схлынет, сколько она с собой в прорву унесёт…

Разрушение человека продолжается, но продолжается и борьба за него. Поэзии в этой борьбе всегда необходимо и достаточно просто—быть, хотя это «просто» и оказывается в практике самым сложным. И тем не менее—«одним своим существованьем она определяет мир…»

Нина Ягодинцева, г. Челябинск

Степь и попса

Я определённо катакомбнейший из тех, у которых, как сказал Юрий Беликов, «и в мыслях нет оказаться в лучах премии «Поэт»», потому что об этой премии я узнал только сейчас (а ей, оказывается, целых шесть лет!), из его статьи, в которой сразу окунулся в гущу битвы литературных народов за место под солнцем. Моё место тоже упомянуто, значит, статья и обо мне—сам бог велит откликнуться. К тому же публикация пермского поэта мгновенно стала обрастать живыми сетестепными откликами, и отвечать на неё невозможно, не отвечая и на них. Статья Беликова, формально литературная, фактически представляет собой, кроме прочего, попытку диагностики общественного состояния. О точности и результатах её есть смысл говорить. Главный диагноз автора: «Идёт война—между Сетью и Степью». Откликающийся Виталий Богомолов даёт как бы фон, на котором идёт эта война: «…с Россией за последние 20 лет происходит… всеохватная деградация… Она и не может не происходить, потому что разрушен Человек».

Итак, деградация, отсутствие Человека, всеобщая рознь, война внутри общества, которое уже… общество ли? Социум—да, в смысле политэкономически организованного человейника. А вот общество…

Заговорив о набеге «беспородных» в культурно-общественное пространство, Юрий замечает, что «беспородные—знамение, предвестники смуты…» А мне кажется, тут наоборот. Беспородным потому и разрешается вход, что порядок уже пошатнулся, чётких критериев нет, закон ослаб и так далее; они—не предвестники смуты, а уже результат её, когда «в дело» идут все. К тому же мы помним, что породистый Рюрикович Иван ломал опричные дрова, породистый Борис, убив его младшего сына, породил призрак убиенного, который загулял по Руси, сея смуту… Возьмём другое время. Когда явился на сцене торговец пирожками Алексашка? Правильно—когда породистые стрельцы и породистая державная сестрица уже двадцать лет бузили и мутили, мечтая отправить Петра в небытие. Пётр рос уже в обстановке перманентной смуты…

Сравнивая шоу-бизнес и литературу, автор вспомнил «парный прогон» двух этнических певцов, указав на их примере на деградацию эстрадного пения, то есть отечественного масскульта. Но обратил ли он внимание на то, что советская аристократка Зыкина и постсоветский пролетарий Газманов рядом—это демократия? Более того, её идиллия. Как говорил Петруша Верховенский, «горы сравнять—хорошая мысль». Это знак, что само время стало беспородным. При коммунизме уличного попсаря разве поставили бы возле госпевицы? Да это было бы оскорблением величия державы, политическим преступлением!..

Теперь, слава богу, тех порядков нет, и все попсари, придворные и площадные, могут петь вместе. Это—уже ступень равенства и общности. Но за эту малую на поверхности жизни ступень мы платим почти фантастической разобщённостью в том глубинном, без чего настоящего общества нет. И опять все те же параллели просятся на ум: разве это не V-й век, где на развалинах римской цивилизации активно осуществляли себя всякие

беспородные пассионарии, гунны и готы, варвары всех мастей?.. Я уже готов перефразировать свой верлибр, приведённый в статье Юрия Беликова: «И на Сети, и по Степи—переселение народов…» И автор, «ностальгически» заглянувший в давно пережившие свою эпоху «толстяки», ещё спрашивает: «…уместно ли, будучи курьером или фотографом, прыгать на десять голов выше—в главные редакторы?!» Уместно, Юрий, вполне уместно—после слов дедушки Ленина о кухарке. В редакции ты встретил её потомков. Коммунизм рухнул, а кухарка с семейством осталась. Она—крепкая, любого интеля высоколобого запросто перешибёт своей выей. И господствует ныне она по полному демократическому праву. Её пора. Её урожай. Её вокал. И так далее. И её, кстати, породистая беспородность.

О кухарке и её детках, вынесенных временем «в люди», хорошо написал ещё Эрнст Неизвестный: «По всему видно, что они-то и есть—начальство… Низ народного тела побеждает верх, но не в положительном смысле карнавала, в самом прямом смысле. Задница разрослась и, оставаясь задницей, заняла место всего остального, поэтому питекантроп неминуемо победит человека, крыса—питекантропа, а вошь—крысу…» («Красненькие и зелёненькие».)

Художник тут великолепно сказал об инволюции человеческого типа, неотъемлемой от демократической эпохи. В тоталитарной демократии, в которой мы жили 74 года, эта инволюция принимала крайние, гротескные формы, фантастически поляризуя уродливые типы начальника и подчинённого, учуянные ещё Гоголем и его школой; а в нынешней, посттоталитарной, разбавленной либерализмом демократии инволюция равномерно размазывается по массе населения: всё деградирует незаметно и как бы даже пристойно. Деградации сильно способствует и всеобщее среднее образование, дающее человеку доступность к современным электронным средствам связи и информации и уверенность, что бытовое овладение этими средствами есть основа интеллектуального могущества индивидуума и его законного права на равенство со всеми во всех областях жизни. (Видимо, спасительный путь здесь только один: всеобщее высшее—прежде всякого специального и технического—гуманитарное образование! Разумеется, при полном отказе от тайного деления населения на касты.) «Есть стихи—пожалуйста, и я не хуже Пушкина. Ну, может, немного хуже, но не в этом дело. Критиковать меня не надо, это посягательство на мою свободу; ибо я, как и все, и как Пушкин, имею право на самовыражение. У меня свой талант, своя свобода, свой бог. Это мои Права Человека на уровне ощущения. И не лезьте. Сеть—для меня. И в ней я—гражданин земного шара и запросто могу общаться с корешком хоть из Тасмании. А вы с вашей Степью всё норовите меня в национальном огороде запереть да опять начальников на шею понасаживать. Вот вам!»

Это голос массового творческого сетевика. Того самого, который, по мысли Юрия, «алчет подчинить себе Степь». Молодого, пассионарного, опасного. Но я его почему-то не боюсь—точней, если и боюсь, то не больше демократии в целом, пассионарной по определению. А так как слова Черчилля о демократии жизнь ещё не опровергла, то я вынужден достаточно терпеливо относиться также и к легкомыслию, недоразвитости и варварству, пассионарности которых открывает дорогу демократия.

Свободная и обученная грамоте толпа творческих задач работы человека над собой не знает (иногда она чует, что перед ней оказывается какой-то аристократ духа, но не понимает, почему он такой и что он есть, и потому боится и ненавидит его), она полагает, что гений и всё такое—это её врождённое свойство и право, и смело садится за стол с богами, не церемонясь—а чего церемониться, если боги развенчаны и мы сами с усами? Это Пушкин с компанией были «служители муз», а мы-то—чего ради?! После двухсот-то лет борьбы, после всех революций?

Начав с французской гильотины
И кончив русской Колымой!

Не-ет, теперь пусть музы сами чистят нам сапоги, пока мы острим и пьём пиво. Мы теперь—господа, ведь Сатин верно говорил: «Всё—в человеке, всё—для человека!» То есть—для того же Шарикова, в котором, после нас, предстоит себя узнать и всему Земному Шарику…

Однодневки современья, беспроблемно выскочившие на поверхность жизни, торопятся жить и за себя, и за того парня, жить, как модно ныне говорить, здесь и сейчас, так сказать, жевать, не отходя от кассы. Всё это зелено, прыщаво, крикливо и нахально. Конечно, тут срабатывают биомеханизмы социума, подталкиваемые духом рыночной конкуренции, изначально заложенным и в мировую Сеть. И чем меньше зрелости у фигурантов, тем неотвратимее воздвижение муравейника. (И наоборот: зрелый творческий человек непременно отрывается от ветвей социума и падает к ногам человечества, как есенинское яблоко. Человечество может поднять, а может и затоптать.) Создаётся иерархия, как говорит Беликов, «ценностей» и «ханов», назначается «главный поэт» и так далее. Он сетует, что на сетевой луне идёт «расторопный» шорох, в то время как Степь и «боярская дума жюри» (остатки былой иерархии?) погружены одни в себя, другие в тугодумство…

Мне же, как катакомбнику, бросаются в глаза прежде всего черты столетней неоригинальности происходящего. Чего стоит один только ответ Андрея Родионова насчёт наличия претендентов на звание «главного поэта»: «У каждой *партии*…»! Я нарочно выделил курсивом нестерпимо архаическое в литературном смысле слово. Видимо, на российской сетелуне, куда высаживался автор, календарь показывает всё ещё 1915-й, а может, и вовсе 1911-й год… Партии, непервостепенные «короли поэтов», «бунтари»—всё это ещё оттуда, из уличной ауры Серебряного века. Кстати, Северянин, которого тогда, несмотря на гроздь живших рядом гениев, эгофутуристы выбрали «королём», ходит в королях и по сей день—у определённой

публики. И это не случайно: Игорь Северянин был первый попсарь столетия…

Теперь скажите, почему кого-то надо непременно называть «бунтарём»? Что это — главный критерий поэзии? Нет. Это явный социальный рудимент вековой давности, сигнализирующий, что общество по-прежнему имеет мало вкуса к музам и стремится, по сути, измерить поэтичность мерой партийно-политической суеты. Уже при Брюсове это попахивало чепухой политмеждусобойчиков и к поэзии отношения не имело. Потом смута выплеснула на поверхность пену всяких ничевоков и неумеков, которые вместе с ослиными хвостами «живописи» по желобам революции стекли, как положено, в канализацию истории. Предприимчивые и циничные западноевропейцы ухитрились, однако, и из этой эстетической канализации сделать устойчивую доходную статью, работающую по сей день. Чтобы «не отстать от жизни», нашему тоталитарному литолимпу тоже хотелось иметь в своей суровой физиономии некоторые «черты современности», поэтому при коммунизме у нас имелись домашние, карманные, союзписательские «бунтари» и «авангардисты», все их знают как самых знаменитых из «шестидесятников». Сейчас отечественное «бунтарство», как и любое в западном мире (а мы в этом смысле — несомненный Запад), это всего лишь рыночный продукт, в итоге успешно усваиваемый социальной системой и приносящий хороший доход в казну. Но даже и это «бунтарство» мельчает и вырождается, чему пример недавнее художество живофаллописцев на питерском мосту, которые мгновенно получили деньги за свою безопасную шалость. Ребята явно опоздали лет на тридцать, и свет своим творчеством им уже не поразить, но в шоу-бизнесе могут и пожить…

Подытоживая тему, следует сказать, что политизированно-поэтический на манер века бунтарь, строго говоря, был у нас всего один — Маяковский, да и тот вскоре перешёл в бурлаки революции…

С другой стороны, любой настоящий поэт есть бунтарь уже потому, что «по определению» разрушает зомбирующий автоматизм будней. Тогда вопрос Игоря Панина из «Литературной газеты» «кого можно назвать бунтарём?» вообще читается как «кого можно назвать поэтом?». Приехали! Ужели мы так обнищали, что и поэта отыскать проблема?!.. Тем не менее, всего лишь, по словам Беликова, «способного» Емелина можно вполне номинировать как «современного» стихотворца, если усмотреть, например, в таких его строчках, как нижеприведённые, признаки постмодернистского стиля:

Застыла нефть, густа, как криминал,
В глухом урочище Сибири,
И тихо гаснет нтв-канал,
Сказавший правду в скорбном мире.

Или взять строки: «Что не спишь упрямо? Ищешь кто же прав? Почитай мне, мама, Перед сном „Майн Кампф“»; или его оба стихотворения о Пушкине. А если учесть, что в нашем общественном сознании фетиш «современного» — читай: модного, прозападного (а прозападность, к примеру, затаилась в том же термине «постмодерн»), — ещё достаточно силён, то у непоэта-графомана Емелина есть все шансы не только стать сетевым Главным, но и получить премию «Поэт». Хотя я отдал бы свой голос за… Родионова.

А вообще, вот пишу и собственным словам дивлюсь дивно: я ли это?! Где я? Куда мы все попали?!.. Оказывается, не только, как говорят, нет предела совершенству, то есть движению вверх, но нет предела и несовершенству, скольжению вниз. Не является ли это скольжение своего рода «культурным» императивом демократии?.. Я раньше и представить не мог, что голос улицы, дно — а оба ведущих стихосетевика, несомненно, оттуда (кстати, Маяковский, который писал: «А улица присела и заорала: „Идёмте жрать!“» — сам улицей отнюдь не был) — может иметь свои структуру, нюансы и ступени. И вот, пожалуйста: на антилестнице, ведущей вниз, Емелин явно побеждает Родионова, у которого, на мой взгляд, ещё мелькает подлинное живое чувство, то есть проблески поэзии. Так и подмывает ввести термин «минус-поэзия», но у меня ощущение, что кто-то и где-то такой термин уже выдумал, и, видимо, зря. Либо поэзия, ценности и что-то, ради чего стоит жить, есть, либо их нет, остальное от лукавого… Что может являться объективной, то бишь бессознательной, целью такого «общественного» скольжения вниз? Видимо, равенство. Равенство — это всегда вниз, ибо бездаря до гения не поднять. А наоборот — опустить — всегда пожалуйста. Полное равенство — на дне жизни. Всем всего одинаково. И голо. Как в морге. Демократия, товарищи-господа.

Но не только равенство является внутренней целью современного общественного движения. Ещё — драка. Драчный рефлекс заставляет общество по-своему куда-то эволюционировать. Почему на нынешних парнасах побеждают те, кто злей? Потому же, почему рэп, то есть голос обозлённой, получившей недавнюю полунищую свободу подростковой негритянской улицы, стал учителем «современного мирового лиризма». Не только Истина, Бог и Любовь потенциально едины, но ещё более и реально едина злоба-ненависть, катящаяся, как цунами, по земному шару. Не случайно и наши соседские белобрысые «негры», московские, пермские или новосибирские, получившие двадцать лет назад аналогичную свободу жить на улице и курить марихуану, охотно идут в ученики к Гарлему и начинают так же гнуть пальцы, крутиться на голове и скороговоркой изрыгать рубленный на обиженно-злобные куски речитатив, цель которого — утвердить себя и свою тусовку и запугать остальных. Агрессия — впечатляет, а по закону шоу-бизнеса побеждает тот, кто даёт максимальное впечатление. Поэтому в будущем мне видятся не сборники поэтов на бумаге и даже не электронные книги — нет, я вижу ристалища и ринги, на которые пииты будут выходить выяснять отношения, вооружившись кастетами, нунчаками, ножами и арматурой. Это будет нечто вроде сегодняшних подпольных боёв без правил. Кровавое побоище — таков логически неизбежный

финал поэтических состязаний, который сулят нам наши нравы…

«Только вот способный к чему?» — почти риторическим вопросом заканчивает автор разговор о сетепиитах. Отвечаю: к успеху! К успеху как зримому социальному божку. Ибо успех — это уже товар, он пропиарил сам себя. А уж кем назовёт себя профессионально способный к успеху — это внешнее, это не важно уже: поэт он, модельер или просто шпион. Товаром является даже не специальность, а успешность функционирования, которая продаётся и потребляется. В мире рыночной наживы возникает невероятное количество мыльных пузырей, маркированной фальши. Каждый из нас это знает даже по скромной ежедневной ходьбе за хлебом. Поэтому «истинный герой» нашего времени обязан быть весело-жующим, недалёким и резвым. Ныне — время страшного легкомыслия, подделки, хлестаковщины. Незабвенный Иван Александрович был бы сейчас Главным — главным героем эпохи. Он невинен, как агнец. Врёт от полёта фантазии и избытка душевности. Я думаю, он и не заметил бы, как оказался бы нынче на вершине сетевого, да и не только сетевого, олимпа, — само вынесло бы! Тут даже сердиться не на что. И злого умысла нет. Да и вся пресловутая Сеть — разве она воюет? Не более, чем любое природное явление. Впрочем, согласен, что Чума хоть и бессознательна, но весьма опасна. Её социальный двойник, Попсочума, действует тоже на горизонтали, но убивает возможность вертикали.

Об этих дорогих мне категориях напомнила Нина Ягодинцева из Челябинска, чья оценка ситуации в целом мне наиболее близка, однако кое-что возражается в деталях. Я не думаю, что «цель» Степи непременно — «поддерживать… соединение земли с Небом над ней» Утверждая так, мы рискуем впасть в идеализацию Степи, которая возникает от смешения планов внутреннего и внешнего, идеального и материального, духовного и социального. Вертикаль — вещь духовная, горизонталь — социальная. Степь бывает разная, и не всякая её часть к Небу тянется. Иная так вовсе норовит заснуть, глядя в свой степной пуп. Тогда уж лучше разбудить её, не побрезговав даже рэпом. По Сети ведь тоже не инопланетяне шастают, а наши же соседские брейк-дансеры. И в Степи мы ведь тоже живём в основном материальной жизнью, духовность наша — это лишь удача, а не будни. В Степи сидит и «боярская дума», и думает ли она непосредственно про вертикаль — это ещё вопрос… Люди везде одинаковы, в Сети ли, в Степи ли, в «боярах» ли… Сети никто не угрожает по горизонтали, а вертикали она не ведает (то есть ведает, но, как все человеки, — в зачатке), и значит, и тут ей ничто не угрожает. Особенность современного отвязанного демсвободного сознания в том, что ему по определению ничто не может угрожать. Кроме собственного роста. Но жизнь, как правило, эту возможность отнимает. Поэтому попса прёт, как зелёные водоросли в отравленной среде. Но, опять же, не думаю, что «…там, где нет настоящей иерархии смыслов и ценностей… возникает перевёрнутая иерархия с её «минус-ценностями» и разрушающими жизнь смыслами». По-моему, Нина Ягодинцева пересерьёзнила. Возникает не «перевёрнутая иерархия с минус-ценностями», а просто детский песочник с резвящимися несмышлёнышами-хлестаковыми. Если не верите мне, посмотрите и послушайте хотя бы клип группы «Ляпис Трубецкой», тот, где её солист при хорошей, бодрой, светлой и оптимистичной музыке перечисляет всех богов всех религий и даже сказочного Гаруду, в которых он верит, и заканчивает словами: «Я верю в любовь и в добро и верить буду». Какие вам ещё ценности нужны?! Слушая этот клип, кто упрекнёт успешных и удачливых попсарей, его создавших, что у них — «минус-ценности»?!.. Думаю, что при всей опасности оглупления нашей жизни недомыслие и слепоту масс демонизировать всё же не стоит. Вот когда она организуется в гитлеровские легионы…

Согласен, что «поэзии в этой борьбе всегда необходимо и достаточно просто — быть…». Но чтобы носителям поэзии и вертикали было в мире уютней, веселей и надёжней, надо использовать ту же Сеть — не как демонизированного врага, губящего отечество, а просто как универсальное средство связи, подаренный нам прогрессом параллельный мир, обживая который, мы удвоим своё пространство: Степь плюс Сеть.

Сеть — безгранична, и ничто нам не мешает параллельно песочникам сетевых авангардистов, постмодернистов и кого угодно строить свой божественный термитник. Если мы своим существованием докажем, что качественно мы действительно нечто большее, чем среднестатический литературный муравей, то мы и победим перед лицом читателя и мира. Формальное равенство игроков на поле даёт нам эту возможность.

Но, может быть, я наивен и не понимаю экономической подоплёки происходящего. Я действительно ничего не знаю о денежной стороне «литературных структур», и «боярских», и вообще «степных». Возможно, есть такая сторона и у сетевых «литструктур». Если это так и без значительных сумм невозможно построить свой олимп и на Сети, то, значит, война, которая, по Беликову, идёт «между Сетью и Степью», это война за влияние на дядек, имеющих деньги. Но такие дяди разделяются на два лагеря, а это уже попахивает политикой, и прощай, свобода муз и слова! Одни дяди дрейфуют в сторону космополитизма и глобализма, и Сеть символизирует для них Свободу как высшую ценность современности, перед размахом и величием которой какие-то там неряшливые рифмы и неумелые стихи сетепиитов пустяк, главное — чтобы пляска была отвязанной! Современной, проатлантической, ямайской и так далее. И рэпы-слэмы, видимо, удовлетворяют сему критериуму.

Другие дяди мечтают о стабилизации государства и общества, об укреплении рубля и нравственности и полны жажды устранить «духовный вакуум» нации. Эти вообще не пляски заказывают, а, скорее, гимны и песнопения. Сочинителей же сих жанров у православия явно больше, чем у дикороссов. Церковь вообще несравненно более

мощный заполнитель «духовного вакуума», чем все литературные движения. Она занимается этим две тысячи лет.

Итак, что мы имеем? С одной стороны—кикиморы попмодерна, с другой—болото официоза. Прямо как в страшной сказке. Незавидный, в общем, выбор. Дяди, как всегда, имеют весьма смутное представление о литературе, поэзии и прочем таком, но иногда чуют, каким шутам деньги кидать. Остаётся разве что мечтать о встрече со сказочным принцем-олигархом, понимающим поэзию, этаким Лоренцо Медицейским из Тартарии. Так что выживай, отряд дикороссов, подобно Ермаку, между молотом царской столицы и наковальней татарских степей! Выживешь—герой будешь, страну приобретёшь. Ну а не выживешь—не жалуйся, сам рыпался…

В завершение я хочу вернуться к словам Виталия Богомолова, что сегодня у нас «всеохватная деградация… Она и не может не происходить, потому что разрушен Человек». Очень верно сказано—разрушен именно Человек с большой буквы, то есть рухнули вековые культурные представления о сущности человека, которые Фрейд называл Супер-Эго, а большевики—абстрактным гуманизмом. Зримый обвал произошёл на глазах наших отцов и дедов, причём русский коммунизм в своём морозильнике продолжал поддерживать видимость сохранности ценности человека. Когда двадцать лет назад произошла разморозка, мы слились с распадающимся человечеством, где и находимся ныне.

Под человечеством я имею в виду его наиболее духовно динамичную часть—Запад. Восток к духовному кризису пока ещё не проснулся, его боги мирно дремлют и в ускользающем из-под ног мире чудятся западным туристам твёрдой опорой. Взор застилают ещё и хвалёные китайские успехи. Но забывают, что это успехи лишь материальные. Поверхностная модернизация всегда легче даётся, если спит душа субконтинента. Не дай бог, она проснётся—и нашим бокам несладко будет! Чингисхана вспомним…

А пока России-матушке, стоящей в тысячелетнем дозоре на перекрёстке степных путей, даётся-таки передышка и шанс реально задуматься о своей потрёпанной психике.

Русский человек во многом—результат встречи духа Европы с пространством Азии. Мы—остепнённые. Над нами властвует географический рок, магически завораживая нас тем, что бо́льшая часть территории страны теряется в азиатских далях. Тут возникает много романтизма в оценке русской души, романтизма, сочинённого ещё теми же немцами и французами, Ницше, Бодлером, Шпенглером и другими, заключающегося в том, что, мол, более близкие к природе, юные душой русские—последняя надежда арийских племён перед угрозой вырождения. (Этот романтизм у нас подхватывается не «западниками», которым это было бы вроде более к лицу, а почему-то именно «славянофилами», то есть обольщёнными степью патриотами, никогда, однако, не брезговавшими брать из рук немцев националистические мечты, поворачивая их в итоге против европейских же учителей.) А в смысле религиозных надежд кто-то сравнил русских даже с индийцами! Мол, вот где ещё лишь и сохранились чистота да глубина связей с божеством.

Не знаю, как глубина, а чистоту свою мы во всём блеске явили в XX веке вместе с другими европейскими народами. И нам бы сегодня не к сиренам прислушиваться, поющим соблазнительные песни об особой «душе и миссии» нашего этноса, а попытаться освободиться от власти над нами географии, высвободить душу из пространства, сбросить с себя чары его магии, ибо Степь—это всего лишь количество, продолжение внешней природы, тяготение материи. Духовно-эволюционный шаг в будущее мы сможем сделать только в том случае, если сбросим со своего Бога материальные облачения и путы и дадим выход Его человечности.

Константин Иванов, г. Новосибирск

Ведаем ли, что творим?

1.

Прочитал статью Юрия Беликова и отклики на неё. Не мог удержаться, чтобы и самому не вступить в разговор на болевую тему.

Тема-то не нова, как не ново и явление. Россия переживала это на рубеже каждого столетия. И ничего. Не без издержек, конечно, но переваривала разные «измы». Был ещё у народа иммунитет на «худое и чуждое», уродливое и псевдорусское.

Вот и опять на дворе «новое порубежное время», да ещё—с глобальной сменой формаций и нравственных ориентиров. После революции 17-го года через двадцать лет (1937) выросло новое поколение—советское, героями этого времени были Чкалов, Николай Островский, полярники, Стаханов и т. д. С начала 90-х минуло столько же лет (2011) и тоже выросло новое поколение, в героях у него—звёзды «гламура», геи и удачливые «олигархи», те, что из грязи да в князи, то есть—беспородные, но удачливые и наглые, циничные и развращённые.

Прав Виталий Богомолов: «Дух временщика, дух ледяной пустоты пронизывает весь состав современного человека». Он предусмотрительно оговаривается, что «речь, конечно, не обо всех, а о тенденции». О тех, кто лезет со свиным рылом да в калашный ряд.

Прав и тот читатель, который написал: «Таких всегда было много, только нынче у них возможности для самопроявления шибко возросшие». И это, наверно, главное. Потому и явление стало таким «скандально шумным», потому оно и на виду, и на слуху, что в руках у его «героев» фантастическая техника, способная тиражировать всё и мгновенно отправлять на монитор потребителя даже в самую российскую глушь, в которой уже давно не пахнет русским духом.

Мы уже всерьёз говорим о новом Интернет-сообществе, в котором имеет свою нишу и нынешнее «племя стихотворцев». Оно многочисленно. И слава Богу! Это как раз добрая и здоровая тенденция.

Они хотят выразить себя и время, ищут читателя, ищут и тех, кто даст их творениям профессиональную оценку. Рядом никого нет, а если и есть поэты, то им, как правило, не до молодых. Своих проблем хватает, да и дух молодой поэзии им уже не по нутру. Вот и оказывается начинающий «творец» с благими-то и светлыми помыслами на обочине литературного процесса. Сам ли или по совету знакомых «пиитов» он попадает в паутину «демократичной» и всякому доступной Сети. А Сеть—давно не стихия, это организованное сообщество, в котором есть литературные бояре (эксперты-профессионалы) и окормляющие их холопы (любители, желающие перейти в сословие «избранных»). Только на сайте «Стихи.ру» на 23 июля 2011 года опубликовано 13 832 163 произведений. Уму непостижимо. Да мы и впрямь самая пишущая нация, не говорю—читающая. А сколько ещё в разворошённой стране пишущих людей, на сайтах не зарегистрированных? Честное слово—великая нация, на творчество неистощимая. Живём и пишем миру на удивление.

Но Сеть—это не дикая Степь. В ней уже создано что-то вроде «комитетов бедноты». В ней заседают начальники с психологией людей, почуявших волю и силу, захватившие право формировать вкусы и распоряжаться чужими судьбами. Это литературная «фабрика звёзд», как в шоу-бизнесе, она и существует по его законам, а в ней есть свои авторитеты—нынешние властители дум, языка и вкуса.

Всё, что было до них, устарело и никакой ценности не представляет. Эти «революции» мы уже не раз переживали. В «комбедах» кого захотят, того на должность и назначат, любого. Но только не родовитого, только не с породой, а если нужной должности нет, то в их власти её ввести и узаконить, и не важно какую—счетовода или поэта. У каждого свои должностные инструкции и предписанные «колхозным» уставом цели и задачи. Они с радостью берут на себя роль судий, зная, кого казнить, а кого миловать, кто свой, а кто чужой. Людей, чужих по духу, сами знаете, нигде не любят и дальше порога не пускают. А в чужие попадает тот, кто работает в традиции, кто бережно относится к слову, кто пишет о Родине, о высокой любви, о Даме сердца.

Захожу на сайт «Стихи. ру» и узнаю, что недавно там, оказывается, произошли «изменения в составе Коллегии номинаторов». Одни её покинули, а другие в неё введены. Идёт нормальный процесс. Дай Бог, чтобы новые «номинаторы» (те, кто имеет право номинировать собратьев по перу на участие в литературных состязаниях, в том числе и в Большом Литературном Конкурсе),—главное, чтоб они были людьми талантливыми и порядочными. Михаил Дрынкин, например, стал свободным номинатором. Решил полюбопытствовать, чем дышит поэт. Читаю и натыкаюсь на строчку:

> Купидон на посту прижимает к груди АКМ,
> зубы Кадма растут в челюстях неевклидовых схем…

Не знаю, в чём тут новизна рифм и образов, но дальше я читать не стал. Уверен: меня он тоже читать не будет. Да что меня! Для него, должно быть, и Пушкин уже устарел. Ну да ладно, Бог ему судья…

Среди номинантов тоже есть люди строптивые. Владимир Новиков взял да и обиделся на экспертов, отбирающих стихи на Большой Конкурс. Не поленился, познакомился с «продукцией» самих экспертов и так ответил им на форуме (я расставил только запятые): «Посмотрел на творчество трёх поэтов, которые эксперты (Мирного, Костюковой и Чековой), и пришёл к неутешительным выводам: все трое очень слабы (хотя есть и градации). Стихи, как правило, или вообще «ниже плинтуса», или же слабенькая повествовательность, пересыпанная многочисленными перлами, неуклюжестями, нестыковками».

«Навскидку» Владимир Новиков привёл много «уличающих» примеров. Сошлюсь только на один из представленного им набора—стихотворение «Лебеда» Натали Чековой:

> На тебе лебеды—как беды,
> Да суглинок—чернявые губы.
> Прожигай у дремучей воды
> Гребешки лукоморного дуба.
>
> Станет зелье нещадней змеи.
> Станут реки—зовущая охра.
> А унылые сказки мои—
> Чешуя и дурная эпоха,
>
> Притаятся на левом плече.
> Обомлеть не успеешь—утащат.
> Под дурманной ключицей ночей,
> Веселее больным и пропащим…

Комментировать не буду, но Новикову это стихотворение явно не понравилось. Тем более ему стало обидно за своё—отвергнутое, получившее от экспертов тройное «нет».

Не стану также перегружать себя и читателя цитатами. Я их много отобрал, «гуляя» по разным литстраницам, но скажу, что на сайте, безусловно, есть интересные авторы, не говорю—поэты, потому что поэт для меня человек высокой ответственности перед людьми и русским словом. <…>

2.

Мы живём в очередной российской смуте. Вспомним В. Ключевского. Он писал: «Наблюдательные современники усиленно отмечают, как самый резкий признак Смуты—это стремление общественных низов прорваться наверх и столкнуть оттуда верховников. Один из них, келарь А. Палицын, пишет, что тогда всякий стремился подняться выше своего звания. Рабы хотели стать господами, люди невольные перескакивали к свободе, рядовой военный принимался барствовать, люди сильные разумом ставились ни во что «в прах вменяемы бываху» этими своевольниками и ничего не смели сказать им неугодного» («Русская история», М., 1993, с. 174).

Вот откуда она—«беспородность». Это ещё одно проявление «большевизма», а «самая природа большевизма максимально противоположна русской интеллигенции («породности».—*В. К.*):

большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции…» (Г. Федотов). А революция — она и не заканчивалась. По крайней мере, в умах наших. Профессионалы в литературе и нынче не в чести, особенно в современной журналистике.

Декаданс стал тоже рефлексией на время, но его действующие лица были всё же люди высокой культуры. У нас наступили времена Пролеткульта. Но, помня о том, что в наше время (а это тоже признак смуты) происходит ещё и смена элит — политических, экономических, в том числе и элит, представляющих культуру во всех её проявлениях, становится, честно говоря, страшновато: «элиты сегодня призываются, как новобранцы, вместе с приходом нового президента».

Думаю, и литературные премии, имеющие или присвоившие себе статус премий национальных и международных, как раз и призваны эту «элиту» по заказу «времени» и сформировать. Именно на её «литературный продукт» жюри премий и ориентирует современного, нередко уже «электронного» читателя. И здесь степень лауреатства тем выше, чем больше под неё поступило денежного обеспечения.

Вслед за известным критиком Валентином Курбатовым могу повторить: «Кончилась та литература, когда она была зеркалом — литература как служение, как исповедь и проповедь, как церковь… Ведь литература была и ею с поры рождения до начала нового тысячелетия, пока она на наших глазах не перешла в товар». Именно товар. Зайдите в любой книжный магазин. В нём так называемая современная литература прекрасно упакована для продажи и выставлена на полках, согласно «покупательским рейтингам» и читательским пристрастиям.

Может, постояв у таких книжных полок и сверив имена на обложках с именами тех, чьи книги он хотел бы здесь увидеть, поэт Валентин Сорокин однажды с горечью написал: «Русские поэты видят: заменяют их, заменяют композиторов, ваятелей. Всё русское — на псевдонимное, наглое, развратное, продажное, злое. Заменяют псевдонимники, сующие своё поддельное мурло под русский ветер. Русские поэты сопротивляются. Редкие — предают, лебезят и тушуются».

Резко сказано, но по сути своей верно. Только правду эту не каждый примет и не каждый осмелится на неё. Это верно и горько для тех, кто опирается на животворящую литературную традицию Пушкина и Толстого, Некрасова и Есенина.

Не удивляйтесь, что, размышляя на заданную тему, я буду привлекать в собеседники и людей разных литературных эпох (философы и писатели, поэты и критики), мысли которых мне созвучны и в контексте разговора вполне уместны.

Интернетовское мышление — это виртуальное общение, это хаотичность, наркотическая эйфория, безответственная вседозволенность и ужасающая безграмотность.

Ещё Михаил Пришвин в своё время возмущался: «И любовь — искусство. Во что её превратили! Ещё больше испорчено искусство поэзии. Оттого, что каждый берётся, а это не каждому дано. Свет разума делает искусство доступным каждому. Для всех раскрываются секреты творчества. А для всех они должны быть скрыты (не передаёт же ведьма своё ведовство!). Быть может, потому-то и увлекают нас гениальные творения, что секрет их скрыт, смысл недоступен всем».

Это сегодня в Степи поэты живут «без претензий и льгот», а в Сети через одного — либо великий, либо гений, не ниже. И это в порядке вещей и на полном серьёзе. Это не шутка и не игра, а притязание на «звание», на титул, на ранг. Этот болезненный сдвиг в психике современного стихотворца тоже надо учитывать при оценке и его самого как автора, так и его нетленных «шедевров». Они пишут, как правило, для себя и своего круга людей.

Белинский по этому поводу сказал так: «Сочинения, в которых люди ничего не узнают своего и в которых всё принадлежит поэту, не заслуживают никакого внимания, как пустяки». Великий, между прочим, сказал критик. Боюсь, что мало кто из «творцов» нынешнего поколения хотя бы держал в своих руках его книги, не говорю уж о чтении его прекрасных и остросовременных статей, а для умного читателя ещё и поучительных.

Думаю, для нынешних «гениев» и великий поэт Гоголь уже не авторитет. И вряд ли ими будут поняты и приняты его слова о главном законе творчества. А он говорил, что есть «старая истина, которую век мы должны помнить и которую всегда позабываем, а именно: до тех пор не приниматься за перо, пока всё в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребёнок в силах будет понять и удержать всё в памяти…»

И прав Роман Мамонтов, который в своём отклике пишет: «Чем больше о них говорят, тем лучше им. Вот и выдумывают себе поэзию, а потом конкурсы…» Что верно, то верно. И мне кажется, говорить о них всерьёз не стоит. Мы ничего не изменим, ситуацию не переломим и «тенденцию» не укротим. Наоборот, только подогреем их интерес к самим себе и к делу, которое они возводят в ранг деланья «современной русской поэзии». Время всех и всё расставит по своим местам. Не в первый раз и не в последний. Не говорю — читатель, потому что читатель тоже из поколения, выросшего в условиях «дикого капитализма», и потому ориентирован на потребление и себялюбие, он тоже пленён плотскими страстями и падок на соблазны безумного века.

Ещё Альбер Камю в своё время заметил: «Начиная с того момента, как обнаружилось преобладание мысли над стилем, сочинительство романов стало занятием толпы». Это же относится и к стихам. Сегодня стихи пишут все, кому не лень. У читателя тоже размыты критерии, он не в состоянии отличить поэзию от графоманства. Для него всё, где есть рифма и ритм, это уже поэзия.

Не лучше ли нам сегодня на своём направлении («на Родину!» — так у Романа Мамонтова. — *В. К.*) ряды пополнять и укреплять дух «дикороссов», не рассчитывая на российское признание, но оправдывая своё призвание перед Богом и судьбой? Мне кажется, это будет продуктивнее. Одному

Юрию Беликову всю Россию не охватить, все таланты не отловить и умному читателю на суд не представить. Такие «Беликовы» должны быть в каждой российской земле, но, к сожаленью, мы как были разобщены, так и живём в одиночку, жмёмся по своим углам, заливаем водочкой горетоску и безвестность, редко чувствуя локоть своих единомышленников, разбросанных по стране. В этом, на мой взгляд, наша вечная беда, наша слабость и наша бесперспективность в России нового тысячелетия. Мы так и будем жить на её сиротской обочине.

3.

И ещё хотел бы в связи с этим сказать о премиях. Премии, которых по России сотни, а может, и тысячи, начиная с национальных бестселлеров и больших книг, призваны формировать вкус читательский и указывать направление литературного движения. Мы примерно знаем, как и за что назначают премии, кто руководит этим процессом и определяет литературную политику, созвучную развращённому до предела обществу. Для него-то как раз и нужен «продукт», в котором как обязательные элементы должны звучать мат, секс и прочие извращения. Об этом мне сказала одна из моих знакомых поэтесс. Она как раз из завсегдатаев Сети и активно участвовала во всевозможных конкурсах на сайте «Стихи.ру». Вот её слова: «А теперешняя поэзия развивается очень динамично. Если ты не в состоянии свои альковные чувства описать без элементов элегантного мата и атрибутов актуальности—ату тебя! А мне нравится стихи писать на коренном русском языке. Представляете—меня на нём уже не понимают люди, считающие себя русскими!..»

Вот так. Не верите мне—поверьте ей. Она человек умный и талантливый. По-моему, диагноз она поставила точный, но лечению болезнь не подлежит. Болезнь хроническая. То же самое «глубокомыслие» и не всегда «элегантный», а чаще откровенно грубый мат звучит и в современной прозе.

На днях дочитал книгу Александра Терехова «Каменный мост». Вздохнул не от удовольствия, а от облегчения, которое получил, перелистнув последнюю, 829-ю страницу: в нём, признаёт сам автор, «столько выкопанных и встроенных скелетов, потревоженных теней…» (с. 792). В аннотации к книге сказано: «„Каменный мост“—это роман-версия и роман-исповедь. Жизнь «красной аристократии», поверившей в свободную любовь и дорого заплатившей за это, пересекается с жёсткой рефлексией самого героя».

В романе десятки «постельных сцен», причём очень откровенных—до отвращения. Это, как я понял, и есть рефлексия автора, но не жёсткая, скорее—сладострастная и сальная. Странная «любовь» бесполо-извращённого века. Эта линия в романе—как примета деградации чувств, да и самой жизни тоже. Это, как я понимаю, и есть «новый реализм» нового тысячелетия.

Сюжет вообще во всей новой не русской, а российской литературе—это стиль, слог и диалог сценария авантюрного фильма (плюс любовь, опошленная откровенным и изощрённым сексом, смачно и со знанием дела описанным, именно—описанным, а не написанным). Секса так много в нынешних романах, что мне лично читать их противно. Не знаю, как другим.

Похоже, что по количеству «секса» в книге (его много и у Прилепина—«Грех», и у Терехова—«Каменный мост», и у Славниковой—«2017») и присуждают нынче в России премии «Большая книга» и «Русский Букер».

Мне от всего этого (а я, доверчивый, читаю «национальные бестселлеры» и книги, вошедшие в шорт-листы)—просто тошно, скучно и страшно. Мне ещё и обидно за державу. Уж такая она стала в слове раскованная и так приблизилась к образцам западной массовой культуры.

Впрочем, о культуре нового века исчерпывающе сказала та же Ольга Славникова: «Все мы знаем, что культура нового века принципиально отличается от культуры традиционной, когда люди читали книги, интересовались борьбой добра со злом и культивировали негатив. Сегодня все символические ценности—а ими могут быть только ценности позитивные—воплощаются в вещах, имеют вид и форму вещей. Несмотря на потоки электронной информации, наш мир материален, как никогда прежде. Ценно то, что служит благу человека, а не отказ от этих благ. Жизнь, по современной позитивной модели,—это комфортабельный дом, дорогой автомобиль, коллекция арт-объектов и многое другое» («2017», с. 289–290).

Беру я эти книги у Татьяны Германовны Кербут в Центре чтения областной научной библиотеки. Спасибо ей! Она мне рассказывала такие дикие истории о «лауреатских» книгах, о так называемых «номинантах» на «Русский Букер», с которыми она лично столкнулась как представитель губернской библиотеки, что у меня, извините, волосы вставали дыбом.

Татьяна Германовна—женщина, очень тонко чувствующая слово, можно сказать, эстетка в хорошем смысле слова, вспоминала об этих присланных книгах, краснела от стыда и поминутно извинялась за то, что это было на светлой земле вологодской.

«Кандидатов» на «Букер», оказывается, рассылают по библиотекам России. Эксперты просят дать на них отзывы из русской глубинки, от лучших, так сказать, её представителей—библиотекарей, тех, кто несёт культуру в «массы» и на кого, при случае, можно сослаться как на «глас народа».

Татьяна Германовна однажды раздала книгу доверенным и неслучайным людям, а они, соприкоснувшись с будущим «национальным шедевром», на следующий день приходили и смущённо сдавали ей книгу обратно, как что-то гадкое, что нормальному человеку читать невозможно. Татьяна Германовна и сама, прочитав, была готова сквозь землю провалиться. Оставшиеся у неё книги она потом украдкой разбросала по мусорным контейнерам города.

Ещё в XIX веке мой земляк святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Отцы ведут читателя своего к покаянию и плачу о себе, а западный (читай,

современный русский.—*В. К.*) писатель ведёт к наслаждению и довольству собой». Как, согласитесь, современно звучит, хотя слово православного человека мы сегодня в таких разговорах вообще в расчёт не берём, потому что в нынешней жизни «благочестивых людей обзывают именами ханжей, рутинёров, людей отсталых, с узкими взглядами. Христианскую сострадательность—слабодушием и нервною раздражительностью. Напротив, широкую разнузданность плоти или распущенность, угождение всем её бесчисленным похотям—современным прогрессом…» (Иоанн Кронштадтский. Избранные проповеди. СПб, 1902, с. 96). Не сегодня сказано, а как будто про наше время.

Не то ли самое происходит и в нынешнем искусстве? «Заговорите о любви в современном искусстве, и на вас все обернутся как на устаревшего чудака-профана. Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы…» (И. Ильин).

Нет, литература (поэзия и проза) нынче не в расцвете, она скорее—в разгуле и загуле. Она разнузданна и по-графомански длинна и скучна. Сошлюсь на уважаемого в среде членов ПЕН-клуба писателя Валерия Попова. На вопрос, почему не расцветает, а «чахнет» литература, он ответил так: «Потому что никто не хочет вариться. В наши дни можно стать писателем, ничего не пережив,—пережёвывают давно написанное, из жёваной бумаги книги лепят и заполняют ими полки. Живое изгоняется, если вдруг явится по недосмотру. Живое неуправляемо, непредсказуемо,—а нужны серии, просчитанные на компьютере,—легко делать и легко продавать…» («Горящий рукав. Проза жизни». Москва. «Вагриус», 2008, с. 481).

Разве у нынешней литературы не такой «формат», выражаясь языком её предприимчивых издателей?

Может, я сгущаю краски и не всё так плохо в ней, «изящной словесности», которую назвать так уже язык не поворачивается? Может быть, но всё чаще ощущение от неё у меня лично остаётся гадкое и стыдливое.

Однако не будем замыкаться на тех, кто готовит себя к назначению на должность «Главного поэта» или «Гениального писателя» страны, новой «восходящей звезды» современной русской литературы. Не будем и выдвигать на неё своих кандидатов, дабы не навредить им, уберечь от участия в дешёвом, во многом цирковом действе и не ввести во искушение. Хотя есть, конечно, в России много и достойных премий.

Да, был в своё время мой земляк Игорь Северянин провозглашён «королём поэтов», но участники тех поэтических турниров были люди из благородных сословий, люди высокой внутренней культуры (как правило, блестяще образованные). Они словом и делом отвечали за честь своего рода, своей «породы». Не дай Бог повредить её, испортить, опозорить. «Королём» он стал ещё до очередной российской смуты.

И всё же будем радоваться тому, что юные русичи, несмотря ни на что, пишут стихи. Они их просто пишут. Им бы деньги зарабатывать, а они по ночам мучаются над стихотворной строкой, трепетно согревая душой каждое слово, желая выразить через него своё удивление Божьим миром и его несравненной красотой.

«Эту поэзию не только не издают (отсутствие тщеславия), но ещё и не читают (тем более—на площадях), ибо потенциальные читатели ныне увлечены детективно-любовным жанром домохозяек и пенсионерок. Но они пишут, невзирая на то, что это не модно, что на Западе и Востоке поэзия как жанр вообще прекратила своё существование. Сидят и тайно пишут, стремясь тем самым уединиться, закрыться от лживого, лицемерного, глянцевого и грозного мира, самовыразиться, слагая слова в магический ряд и вместе с ним выстраивая образ мышления. Потому что юность русского человека, его мироощущение требует обязательного поэтического воплощения—одухотворения» (С. Алексеев).

И среди них, безусловно, есть люди, призванные Богом на служение русскому слову и русской земле. Вот их-то нам не просмотреть бы, им бы вовремя помочь, уберечь от заразы «сетевой» толкучки и поставить на крыло, чтобы слово русское, освободясь от грязи века, снова чисто и колокольно зазвенело в душах людей на все голоса—от набата до благовеста—и находило в душах людей искренний и живой отклик. Ведь «таланты даны каждому из нас Богом для общего блага, а не для угождения только нашему собственному самолюбию…» (Иоанн Кронштадтский. Избранные проповеди. СПб, 1902, с. 96).

Боюсь, что и тут мы окажемся не на высоте, и на этот раз снова опоздаем. К сожаленью…

Владимир Кудрявцев, г. Вологда

Былина о чертополохе

В июне 2010 года в Екатеринбурге, в Камерном театре, проходил творческий вечер Юрия Казарина, приуроченный к его 55-летию. Народу было битком. Зданию театра от роду лет десять, оно сразу возводилось для зрелищных нужд. Не драма, конечно, и не музкомедия, где способны разместиться больше тысячи зрителей. В удобном зале, с креслами, сбегающими крутым амфитеатром, по моим прикидкам, мест 350–400. Но в партере сесть было некуда. Для нас, неприкаянных, открыли ход на «балкон», в ложу над последними рядами. Многие пристраивались на ступеньках в проходах.

Вечер пошёл замечательно: высокий строй казаринских стихов легко ужился с самоиронией автора, раскованностью и подзабытым, но, как оказалось, не убитым до конца «камеди клабами» и петросянами юмором. Атмосфера отчасти напоминала ту, которой полнились незабвенные «застойные» кухни, и неожиданно стала приманкой для дам—рукодельниц стиха. Во второй половине вечера тётки-рифмоплётки попёрли на сцену одна за другой, они по-пионерски звонко, блестя глазами и всем телом излучая энергию мощностью с межрайонную ГЭС, наслаждались собственной декламацией при большом стечении публики. Вечер грозил превратиться в рядовое по

нынешним временам сборище по поводу юбилея или бракосочетания, когда нанятые ведущие вываливают на тебя под видом стихов килограммы штампованной белиберды, и непонятно, что делать: лезть в форточку или напиться вусмерть. Но тут между тётками пришла очередь выйти на сцену писателю Александру Верникову. Он сказал так:

— Дорогие женщины! Я поражаюсь вашей отваге. Вы осмеливаетесь читать свои произведения сразу после стихов большого русского поэта и не страшитесь сравненья.

У тёток впервые за их лучезарную творческую карьеру что-то щёлкнуло в головах, и они, наконец, освободили сцену для искусства и изысканных спичей.

Когда всё закончилось, у меня было ощущение, что я стал свидетелем значительного события. Значительного не только для Екатеринбурга, для Урала — для всей страны. Думалось, вечер — хороший повод порассуждать о вкладе Юрия Казарина в наше поэтическое бытие, о его творчестве, синтезирующем самые современные, в том числе и модернистские, техники и ставящем их на службу постижения человеческой сущности, мира и бездн. Я — читатель газет и ходок в Интернет. Стал ждать. Тишина. Вот они, Сеть и Степь.

Обидно, больно, но — удивительно ли? Нет. Не надо никакой особой приметливости, чтобы признать очевидное: в стране уже лет десять, если не больше, не существует единого культурного пространства. Есть Москва и Питер, центры-излучатели, и есть около сотни региональных феодальных вотчин, где местная художественная элита худо-бедно копошится на своих шести сотках, в своих резервациях.

Централизм культурного процесса, как и других сторон общественной жизни, присутствовал во все времена существования русской литературы. Любой труженик пера знал: чтобы сделаться известным на всю страну, иметь возможность зарабатывать производством буквенных сочетаний, надо рано или поздно перебираться в Москву или на брега Невы. Останешься дома — и талант не поможет: кто его будет разглядывать-то через наши расстояния? Александр Фёдоров жил в Одессе, а Владимир Маккавейский не покинул Киев — и эти очень приличные поэты остаются в сознании немногих знающих фигурами третьего-четвёртого ряда в плеяде Серебряного века. Анатолий Кобенков, недавно ушедший из жизни, долго тянул с переездом в столицу — и недаром, предчувствовал, может, что-то. Москва прихлопнула быстренько, причём — самым натуральным образом. Этот иркутянин, безусловно, входил в число лучших русских поэтов, стоял бок о бок и плечом к плечу с живущими поныне на своих малых родинах екатеринбуржцами Юрием Казариным и Аркадием Застырцем, пермяком Юрием Беликовым. В одной блистательной когорте-невидимке.

Да, централизм в России существовал всегда, но сегодня он как-то особенно по-жлобски заточен. Прежде наше государство всегда обладало идеологией, хорошей или плохой — другой вопрос. Культурное окормление пространств обязательно в неё входило. Государство обеспечивало творцов инфраструктурой: толстый журнал, пусть один на несколько областей, книжное издательство в каждом региональном центре, система литобъединений, организация регулярных поэтических вечеров через общество «Знание» и т. д. Благонадёжных стремилось засветить на весь Союз. Во второй половине 70-х издательство «Современник» раскрутилось на очень приличную мощность: за год выплёвывало десятки, если не сотни, поэтических книжиц, таких беленьких, обклеенных прозрачной целлофановой плёнкой: может, кто помнит? Как и всюду в стране, в издательстве существовал план: допустим, в течение 12 месяцев выпускаем в свет двух авторов из Пензенской области и одного из Ивановской, не больше и не меньше. Стихи выходили грамотные (заслуга чаще всего редакторов-профессионалов), но дерьмовые. Потому что фальшивые. Сколько леса извели на дребедень — не счесть.

Нынешнее наше государство обходится впервые в отечественной истории без идеологии. Оно в определённом смысле фундаменталистское, только вместо Бога безоглядно служит «золотому тельцу». Даже церковный новодел — торжество наглой роскоши. Национальный лидер решил, что литература — вещь элитарная, а значит, ему не опасная. Пусть пасётся как хочет. Надо контролировать ящик, именно телек регулирует народное сознание. Культурная инфраструктура на местах сильно съёжилась. В нынешнем Екатеринбурге населения примерно столько же, сколько в Москве начала прошлого века. Тогда в столице было множество журналов и издательств, поэтических групп и кружков, мест постоянных встреч литераторов. В Екатеринбурге нет ни одного издательства, выпускающего книгу как товар, печатают только на заказ. Тихой сапой прикрыт Музей молодёжи, где поэты находили пристанище. Исчез журнал «Уральский следопыт». Последние критики доживают свой век, за ними — никого.

В нынешнем году исполнилось десять лет, как не стало поэта и барда Сергея Нохрина. Кстати, дикоросса первого призыва. Его вдова Аня Мясникова пришла в редакцию радиостанции «Город», где Серёжа когда-то работал, попросила: скажите в эфире хорошие слова и поставьте пару песен. На станции ещё работают люди, знавшие Нохрина. Говорят: «Нет вопросов. Всё сделаем». И слова сказали, и песни поставили. А после эфира грустно признались, что нохринские песни были последними, которые они могли транслировать без согласования с Москвой. Какая-то столичная корпорация скушала радиостанцию. И теперь понятно: «Город» у нас один, всё остальное — хутора.

Меня вот угораздило выпустить книгу. Попробовал продавать. Иду по улице Вайнера, смотрю — магазин с душевным названием «Книжкин дом». Захожу, предлагаю: «Возьмите книгу на реализацию». Высокая и высокомерная девушка-менеджер терпеливо пояснила: «Мы ничего на реализацию не берём. Весь ассортимент формирует Москва».

Считаю, это беспардонный наглёж. Вы делаете у нас деньги, вывозите их из региона — и никакой

социальной нагрузки. Хотя бы бусы, что ли, раздавали, а то нам, аборигенам, обидно. Ни одна торговая сеть со всероссийским охватом не продаёт замечательные рязанские груши — плоды везут из Чили и Эквадора.

Там с трудом вывели специально для России такие груши, которые твёрже боевых гранат и безвкусны абсолютно: ни кислинки в них, ни сладости. Государство всё устраивает, оно нас не защищает, а потакает крупным корпорациям что есть мо́чи. Исповедует фундаментализм рынка, т. е. — его крайнюю отвязность, беловоротничковый бандитизм приближённых к трону капиталистов. Москва-метрополия ищет в провинции, точнее в стране-колонии, только собственности, ресурсов и денег.

Вездесущий галерист Марат Гельман чутко уловил властный тренд. Издалека вся история с его проектом видится мне примерно так. После провала на выборах в Украине (кандидат, продвигаемый его пиар-командой, проиграл) туго, видимо, стало с заказами — кому нужен человек, не гарантирующий успех даже за весьма приличные деньги? Вдруг в его собственности оказались немалые площади в здании пермского Речного вокзала — каким образом, кто ж его знает, не иначе — купил на доходы от выборных хлопот? Если бы обретённая недвижимость представляла из себя, допустим, ряд квартир, Гельман, полагаю, обошёлся бы без «проекта века» — просто перепродал бы жильё или сдал внаём. А как сделать прибыльными нежилые помещения? Оборудовать концертный зал и возить в него то Алсу, то Билана? Но попса — дороговизна, зрительских мест для такого дела получается маловато, публика билетами не покроет расходов. Только бюджет Пермского края мог своими вливаниями вывести баланс в плюс. Так возник Музей современного искусства с издевательски-мычащей аббревиатурой PERMM.

Но мне смешно слушать, когда собираются высоколобые и начинают искать концептуальные смыслы в подобных проектах. Шарлатаны, как правило, далеко не ходят, а черпают в открытую из наследия бессмертного своего учителя Остапа Бендера. «Пермь — культурная столица России (Европы)» — это Нью-Васюки. Всё элементарно, как говаривал Шерлок Холмс, но каждый видит на голом короле то носовой платок вокруг мошонки, то варежку на большом пальце ноги.

Остап, помнится, еле унёс ноги из Васюков. Гельман пока в шоколаде. Губернатор Олег Чиркунов оплачивает наезды московских гастролёров, в то время как у него в области десятки Дворцов и Домов культуры требуют ремонта, а памятники архитектуры превращаются в руины. В Кунгуре, к примеру, усадьба Кузнецова теряет роскошное крыльцо — декор отваливается. Этот дом — памятник краевого значения. Тем не менее, у Гельмана остаётся всё меньше правильных ходов. Поза Большого Белого человека, несущего туземцам свет постпостмодернизма, из величественной превращается в жалкую. Только мелькнёт в его голове, как у Остапа: «Будут бить», — и гуру драпанёт со всех ног, в спешке избавившись от Речного вокзала.

Юрия Беликова, я знаю, тоже звали потусить ради «будущей славы» Перми. Отказался. Он что, не желает городу, где перебивается с копейки на копейку, всемерного расцвета? Желает, конечно, — нормальный же человек. Нормальный настолько, что легко распознал в гельмановской затее дух авантюры, аферы, наигрыша.

Вся поэтическая Москва, вся мнящая, и часто небеспочвенно, себя элитой компания водила в Перми хороводы вокруг Гельмана. Да, в нынешнем году гуру добивает обойму молодёжью. Но раньше побывал на берегах Камы даже такой якобы всеми уважаемый человек, как Сергей Гандлевский.

Они что, действительно верили, будто своими командировками приближают Пермь к статусу культурной столицы? Они что, действительно считали, будто за границами Московии обитают первобытные племена, едва изъясняющиеся на русском? Они вправду возомнили себя небожителями, высшей расой, чьё слово воздвигает города? На самом деле Гельман нанял их по дешёвке, как студенток для раздачи рекламных листовок на улице. <…>

Москва, вообще, из строгой наставницы, неусыпно следящей, чтоб никто не шалил и всем было по игрушке, превратилась в надсмотрщицу с плёткой в руках и наганом за поясом, отбирающей, рвущей из провинциального рта любой кусок, даже не очень аппетитный на вид. Многие московские издательства либо сами располагают всероссийскими сетями распространения, либо плотно сотрудничают с фирмами, нахватавшими провинциальных инфраструктурных объектов. Ситуация у них сказочная — они представляют из себя пул монополистов с огромным рынком сбыта. Вдобавок нет ни госидеологии, ни центров влияния, стоящих на страже художественной вменяемости произведений литературы. То есть ничто не мешает делать деньги. Люди там работают грамотные и знают, что продаётся: сантименты, трэш, дневники, эротика и просто — имя автора. Лучше, если этот человек пишет, допустим, страшилки и вдобавок кумир публики.

Сразу после смерти Андрея Вознесенского известный ядовитый текстовик Дмитрий Галковский публикует в Интернете мерзкую статью об ушедшем поэте. Похоже, он торопился вылить ушат дерьма, пока тело ещё не предали земле. Ему мало денег и славы, этот типчик с бегающими глазками стремится прослыть остросовременным, т. е. — демонстративно пренебрегающим христианскими обычаями и нормами морали. От подлеца до властителя дум нынче один шаг — потому, видимо, что репутация «выходящего за флажки» хорошо продаётся.

Нахожу в Сети запись поэтической дуэли в каком-то ночном столичном клубе. Сошлись куртуазный маньерист, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов и персонаж под псевдонимом Орлуша. Всё честь по чести, денежная публика, в жюри — воительница хорошего вкуса Дуня Смирнова. В процессе выясняется, что Степанцов безнадёжно отстал от жизни со своими кружавчиками и муарами, с иронией отстранённости, с северянинской традицией. Он слишком

литературен. Парит Орлуша. В его творениях приличные слова только для связки, основное тело стиха—мат. В «барковщине» меня лично всегда смущала схима, добровольно налагаемая на себя авторами. Тематика—телодвижения двух особей, словарь—вариации трёх корневых слов русского мата. Орлуша, что и говорить, виртуоз—высекает из скудного материала и энергию, и юмор. Сытый зал, завсегдатайши бутиков ржут, как сборище портовых грузчиков. Орлуша выиграл. Теперь он авторитет, «победитель самого Степанцова». Пора издавать—прибыль будет. Таким вроде бы естественным образом дельцы формируют удобную для себя «интеллектуальную элиту».

А вот Лена Миро—воплощение агрессивного глянца. У неё в «Живом журнале» есть свой сайт, и можно познакомиться не только с мировоззрением этой 30-летней дамы, но и с её образом жизни. Лена изо дня в день строит своё тело, ходит в качалку. И ненавидит толстых, особливо—имеющих животы. Обещает, что когда станет президентом, вышлет на Крайний Север не построивших собственные тела. И ещё она до смерти не любит старух. Публикует, допустим, на сайте снимок: сидят бабушки, щёлкают семечки. В комментарии пишет: эти отвратительные создания не должны существовать на земле. То ли расстреливать собирается, то ли ядами кормить. Ну, фрик. Мало ли их, фриков, в Сети?

Но не всё так просто. Лена Миро сценаристка скандального сериала «Школа».

Не так давно вышли в свет, друг за другом, сразу три её романа. Два, как я понял, представляют из себя выжимки из сериального сценария, а третий откровенно живописует взаимоотношения с мужем-бизнесменом. По признанию самой Миро, муж возмутился, что она выставила их личную, и даже интимную, жизнь на всеобщее обозрение. Но Лена способна уже сама платить за обеды в лучших московских ресторанах. Она строит свою жизнь по классическим фашистским образцам: днём—физкультура, вечером—попойка или лёгкий выпивон. А ещё её посты раз за разом админы «жж» выводят в топ. То есть она из тех, кто формирует общественное мнение. «Мои романы расходятся, как горячие пирожки»,—констатирует Лена.

Деньги не пахнут. Хорошо идёт фашизм—торгуем фашизмом. Любая не норма—ценный товар. И эта вонь расползается по всей стране по монополизированным торговым сетям.

Издающая запахи гопота постепенно рассаживается по редакциям журналов, на стратегически важные для литпроцесса должности, и, столкнувшись с ней, Юрий Беликов испытывает шок. Ну, если не шок, то обескураженность. Даже канувший в литературную Лету «октябрьский» Всеволод Кочетов в сравнении со строителями и эксплуататорами тел кажется ему ангелом, который умел считать до десяти.

Директор Эрмитажа, академик Михаил Пиотровский обронил в телевизоре: «Культура—это ограничители». Главные из них, полагаю, вкус и чувство меры. Обладая обоими этими качествами, причём в развитом состоянии, Беликов использовал их на полную катушку, отбирая поэтов в созданное им движение «Дикороссы». И к концу первого десятилетия наступившего века, наверное, неожиданно даже для себя, оказался чуть ли не единственным публичным хранителем и пропагандистом качественной русской поэзии. Об этом наглядно свидетельствует том 40-ка авторов глубинной России—выпущенный в московском издательстве «Грааль» «Приют неизвестных поэтов».

Чем меньше государство покровительствовало стихотворцам, тем больше становился выбор у Беликова. Изменился и социальный состав дикороссов.

Теперь вместо изгоев общества, любивших окунуться в мутные воды дощатых «дунаев», пришли вполне в общепринятом представлении респектабельные люди.

Так, среди дикороссов оказался известный ещё по «Времечку» телеведущий Иван Кононов. Андрей Баранов из Ижевска, выпускник Литинститута, сейчас банковский топ-менеджер. И т. д., и т. п. Смею утверждать: сегодня хороших стихов и интересных поэтов больше, чем когда издательство «Современник» засыпало российские просторы своими белыми книжками, как снегом. Поэзия прёт, будто свободная стихия. Настоящие поэты обеих столиц—тоже дикороссы, если не формально, то по сути—брошенные, не нужные ни государству, ни бизнесу, ни быдлеющему народу.

«Отечественная литература—отечественная война». Вот так из повседневья, из ежечасных душевных щедрот и подлянок опять выросло судьбоносное противостояние. Сошлись в чистом поле: сытая нечисть, приспособившаяся тюкать по клавиатуре, выбивая деньгу каждым ударом, и—армада вскормленных только Степью (и Лесом—добавлю от себя), растущая вопреки всему, бурным чертополохом перекрывающая пути вражинам, рвущимся оскопить русскую маетную душу. Былина, однако,—вы не находите?

Олег Балезин, г. Екатеринбург

стр. 225 **Анкудинов Кирилл Николаевич**
Майкоп, 1970 г. р.

Поэт, литературный критик, эссеист. Родился в г. Златоуст Челябинской области. Окончил филологический факультет Адыгейского государственного университета и аспирантуру Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. Кандидат филологических наук. Преподаёт на филологическом факультете Адыгейского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Москва», в «Литературной газете», в газетах «Литературная Россия», «День литературы», «EX LIBRIS НГ», во многих центральных и региональных изданиях. Постоянный автор журнала «Бельские просторы» (Уфа), сайтов «Взгляд» и «ЧасКор». Автор поэтических сборников «Магнит» (1994, Майкоп) и «Пёстрая лента» (1996, Москва), участник и составитель многих центральных и региональных поэтических сборников. Составитель трёх изданий антологии-справочника «Современные русские поэты» (в соавторстве с академиком В. В. Агеносовым).

стр. 52 **Астра (Серебрякова Лина Петровна)**
Москва

Закончила Литературный институт им. А. М. Горького, автор романов, рассказов, сказок. Печаталась в журнале «Москва» под псевдонимом «Любовь Кольцова».

стр. 126 **Астраханцев Александр Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени Горького. Автор семи книг прозы. Публиковался в различных журналах и сборниках. Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь».

стр. 93/233 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980-м окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор трёх поэтических книг. Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова. В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики: «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 229 **Бердников Лев**
Лос Анжелес, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института. Во время учёбы работал также внештатным корреспондентом «Учительской газеты». Более 10 лет проработал старшим научным сотрудником в отделе редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки, где в 1987–1990 годах возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. С 1990 года живёт в США. Автор двух монографий: «Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – начала XIX веков» (СПб., 1997); (в соавторстве) «Пантеон российских писателей XVIII века» (СПб., 2002) — и более 165-ти публикаций в России, США, Канаде, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине на русском, английском и датском языках. Член Союза писателей Москвы.

стр. 215 **Валеев Марат**
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в г. Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в с. Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края. Сейчас — редактор этой газеты, но под другим названием — «Эвенкийская жизнь». Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.

стр. 183 **Гардзонио Стефано**
Флоренция

Исследователь русской литературы и культуры, профессор славистики в Пизанском университете, с 1999 по 2009 годы — президент Ассоциации итальянских славистов, член Международного комитета славистов и Международного комитета по изучению Центральной и Восточной Европы.

стр. 177 **Герман Надежда Николаевна**
Красный Хутор, Хакасия, 1953 г. р.

Родилась в 1953 году в пос. Новоерудинский Красноярского края. Окончила курсы рулевых мотористов в Красноярске (1971). Работала рулевым-мотористом (1970–73), библиотекарем (1973–75), экскурсоводом в музее «Сибирская ссылка В. И. Ленина» (1976), телеграфистом (1977–80), гл. редактором издательства «Влабос» (1993). Печатается с 1968 года: в журналах «День и ночь», «Стрежень», «Абакан литературный». Автор книги «Книга снов» (1999). Член Союза писателей России.

стр. 60 **Дрюон Галина Александровна**
Франция

Родилась в Бурятии. Училась в Москве. С 1973 года работала в Ярославле, в киностудии РЭМа создала ряд авторских документальных фильмов. Награждена медалью ВФНТ. В 1986 году вернулась в Улан-Удэ. Работала в Бурятской телерадиокомпании. С 2002 года живёт во Франции. Создала Европейскую ассоциацию бурятской культуры и искусства GRALTAN. Проводит в Париже фестивали бурятской культуры и искусства. Член Союза журналистов России, член Международной федерации журналистов, президент Европейской ассоциации бурятской культуры и искусства GRALTAN.

стр. 93 **Евтушенко Евгений Александрович**
США, 1932 г. р.

Известный советский, русский поэт, прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр. С 1952 по 1957 годы учился в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1952 году выходит первая книга стихов «Разведчики грядущего». В 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей СССР, минуя ступень кандидата в члены СП. Произведения его отличает широкая гамма настроений и жанровое разнообразие. Первые строки из пафосного вступления к поэме «Братская ГЭС» (1965): «Поэт в России больше, чем поэт» — манифест творчества самого Евтушенко и крылатая фраза, которая устойчиво вошла в обиход. Известность получили сценические выступления Евтушенко: он с успехом читает собственные произведения. Выпустил несколько дисков и аудиокниг в собственном исполнении: «Ягодные места», «Голубь в Сантьяго» и другие. С 1986 по 1991 годы был секретарём правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года — секретарь правления Содружества писательских союзов. С 1989 года — сопредседатель писательской ассоциации «Апрель». С 1988 года — член общества «Мемориал». 14 мая 1989 года с огромным отрывом, набрав в 19 раз больше голосов, чем ближайший кандидат, был избран народным депутатом СССР от Дзержинского территориального избирательного округа города Харькова и был им до конца существования СССР. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в г. Талса, штат Оклахома, уехал с семьёй преподавать в США, где и проживает в настоящее время.

стр. 100 **Есин Сергей Николаевич**
Москва, 1935 г. р.

Заочно окончил филологический факультет МГУ (1960). Работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником, артистом, главным редактором журнала «Кругозор». Первая крупная публикация — повесть «Живём только два раза» (1969), напечатанная под псевдонимом «С. Зинин» в журнале «Волга». Член СП СССР с 1979 года. В 1981 году окончил заочно Академию общественных наук при ЦК КПСС, и в том же году уволился с должности главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио, чтобы полностью посвятить себя литературному труду. С 1987 года преподаватель, в 1992–2006 годах также ректор Литературного института. Член правления (с 1994), секретарь (с 1999) Союза писателей России. Вице-президент Академии российской словесности. Заслуженный деятель искусств РФ. Почётный работник высшего образования РФ. Лауреат Международной премии М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

стр. 65 **Иванов Николай Фёдорович**
Москва, 1956 г. р.

Сопредседатель правления Союза писателей России, драматург, автор 20-ти книг прозы; лауреат литературных премий «Сталинград», им. Н. Островского, М. Булгакова, премии ФСБ России. Родился в селе Страчево Суземского района Брянской области. Выпускник Московского суворовского военного училища и факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища. С 1977 года — в военной журналистике, начинал с корреспондента солдатской газеты в воздушно-десантных войсках, закончил главным редактором журнала «Советский воин». Воевал в Афганистане, награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». Полковник.

стр. 81 **Ишмухаметов Наиль Радикович**
Казань, 1964 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик татарской прозы и поэзии. Родился в Магнитогорске. В 1987 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, работал на Магнитогорском металлургическом комбинате в цехе горячей прокатки. В 1994 году переехал в город Казань и работает инженером-электронщиком в типографии ОАО «Идель-пресс». Лауреат премий имени Марка Зарецкого и Сергея Малышева,

участник семинара писателей и переводчиков Поволжья, фестиваля «Аксёнов-фест», неоднократный полуфиналист конкурса «Заблудившийся трамвай». Стихи, рассказы и переводы печатались в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Север», «Казанский альманах», «Идель», «Казань», «Аргамак», «Салават купере», «Мадани жомга». Пишет на русском языке. Член Союза писателей Республики Татарстан.

стр. 179 **Князев Сергей**
Подольск, 1959 г. р.

Родился в с. Шаршино Алтайского края. С 1970 года житель Железногорска (Красноярский край). Окончил Ленинградский институт киноинженеров, работал руководителем любительской киностудии «Романтика» в Железногорске, в перестроечные годы поступил во ВГИК и окончил его. В настоящее время — кинорежиссёр и продюсер. Живёт в Подольске, руководитель кинокомпании «Ветви Лозы» (Москва). Автор девяти неигровых и одного игрового фильма, двух поэтических книг и многих публикаций.

стр. 173 **Ковда Вадим Викторович**
Германия, 1936 г. р.

Родился в Москве. Отец, Виктор Абрамович Ковда, — один из крупнейших почвоведов страны, лауреат Сталинской и Государственной премий, создатель факультета почвоведения МГУ. Вадим Ковда окончил механико-математический факультет МГУ, кинооператорский факультет ВГИКа и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор восьми сборников стихов.

стр. 80 **Коробкова Евгения**
Карталы (Челябинская обл.), 1985 г. р.

Поэт, переводчик, литературный критик. Студентка Литературного института им. А. М. Горького. Публикации в журналах «Русский репортёр», «Жёлтая гусеница», «Кукумбер», «Арион», «Пролог», в газетах «Вечерняя Москва», «Новые известия», в альманахах «Ликбез», «День поэзии». Переводы «Песен невинности и опыта» Уильяма Блейка вышли в 2010 году в издательстве «Рудомино». Стихотворения вошли в третий том «Антологии современной уральской поэзии» (составитель — Кальпиди). Участник фестиваля «СловоNova» (Пермь), 9-го, 10-го и 11-го Форумов молодых писателей (Липки).

стр. 125 **Косяков Дмитрий Николаевич**
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова, арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра».

стр. 85 **Мухаммат Мирза**
Казань, 1953 г. р.

Родился в 1953 году в селе Чалманарат Актанышского р-на Татарской АССР. Окончил Казанский институт культуры (1975). Автор нескольких сборников поэзии. Председатель Союза писателей Республики Татарстан (с 2005). Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2011).

стр. 231 **Пырх Виталий Петрович**
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Выпускник Запорожского металлургического техникума и Уральского государственного университета. Журналист с 45-летним стажем. Автор нескольких книг стихов и пародий.

стр. 219 **Рубанов Роман Владимирович**
Курская область, 1982 г. р.

Студент пятого курса Курского государственного университета (факультет теологии и религиоведения). Руководитель литературно-драматургической части Театра юного зрителя «Ровесник». Лауреат Шелиховской медали за большой вклад в развитие поэзии западного региона Курской области (2009, г. Рыльск), лауреат ежегодного литературного конкурса «Проявление» (2010, г. Курск, КГУ), участник 10-го Форума молодых писателей России (2010, г. Москва, Липки).

стр. 207 **Русаков Эдуард Иванович**
Красноярск, 1942 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт (1979). Работал врачом-психиатром (1966–81), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при красноярском Дворце культуры (1982–91), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–98). Обозреватель газеты «Красноярский рабочий» (с 1998), заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский (1985), венгерский (1986), казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки.

стр. 15 **Ряннель Тойво Васильевич**
Хельсинки, 1921 г. р.

Народный художник России, академик Петровской академии наук и искусств. Член Союза российских писателей, старейший член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии, отметивший в этом году свой 90-летний юбилей. Автор стихотворных сборников: «Капля в море», «Сверкнула пламенем жар-птица», «Рождение Енисея», «Тропа через век». В разные годы издавались его прозаические произведения: «Живописец Сибири», «Улуг-Хем. Енисей. Ионесси», «Мой чёрный ангел»,

«Незваный гость». Печатался в журналах «Енисей», «Сибирские огни», «Вокруг света», «Москва», «День и ночь». В настоящее время живёт в Финляндии.

стр. 3 **Саввиных Марина**
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельник «Обзор» (Чикаго), коллективные сборники и антологии. Автор шести книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член Президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 221 **Сутулов-Катеринич Сергей Владимирович**
Ставрополь, 1952 г. р.

Российский поэт, журналист, киносценарист, главный редактор международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель». Окончил филологический факультет Ставропольского государственного педагогического института и сценарный факультет ВГИКА. Автор нескольких книг стихов и многочисленных журнальных публикаций. Член Союза писателей XXI века, Союза российских писателей и Союза журналистов России. Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси — 2007», премии журнала «Зинзивер» (2008), Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2010), конкурса имени Петра Вегина (2010). Трижды становился лауреатом премии имени Германа Лопатина, учреждённой Ставропольским краевым отделением Союза журналистов России.

стр. 181 **Татаренко Юрий Анатольевич**
Томск, 1973 г. р.

Родился в Новосибирске. С 1998 года — актёр Томского театра драмы. Поэт, автор трёх книг. В 2006 году вошёл в шорт-лист Всероссийской литературной премии им. В. Астафьева. Стал обладателем спецприза газеты «Труд» на Всероссийском конкурсе «Романсиада» (Томск), лауреатом Международного фестиваля (Омск) и дипломантом Всероссийского конкурса актёрской песни (Нижний Новгород), исполняя композиции на собственные стихи.

стр. 43 **Тюрин Вячеслав Игоревич**
Иркутская область, 1967 г. р.

Родился в Якутии. Жил и учился в Красноярске и п. Лесогорск Иркутской области. Лауреат Гран-при конкурса «Илья-премия» по СНГ (2001). Автор двух поэтических книг. Публикации в журналах «Знамя», «Сибирские огни», «День и ночь», «Сибирь», «Дети Ра», в различных газетах и альманахах.

стр. 223 **Хвиловский Эдуард**
Нью-Йорк

Родился в Одессе. По окончании филфака университета работал в школе, в газете. С 1993 года живёт в США. Автор двух поэтических сборников. Публиковался в «Новом журнале», «Новой Юности», в журналах «День и ночь», «Слово», «Стороны света».

стр. 217 **Чигрин Евгений Михайлович**
Москва, 1961 г. р.

Родился на Украине. Долгие годы жил на Дальнем Востоке. С 2003 года живёт в подмосковном Красногорске. Член Союза писателей Москвы, Союза российских писателей и Международного ПЕН-клуба. В 2007-м Российской муниципальной академией правительства Москвы награждён медалью «За гуманизм и служение России». В 2006-м награждён дипломом Министерства культуры Московской области. Лауреат Международной Артийской премии (1998). Лауреат Сахалинского фонда культуры (1992). Произведения поэта переводились на испанский, французский, польский языки.

стр. 175 **Янушкевич Олег Диодорович**
Железногорск (Красноярский край), 1937 г. р.

Родился в Чите. Типичный представитель легендарного поколения «шестидесятников». Сочетает в себе и «физика», и «лирика». Окончил Красноярский политехнический институт. Работал инженером в НПО прикладной механики. Радиолюбитель. Поэт. Бард. Педагог. Стихи печатались в альманахе «Енисей», «Антологии поэзии закрытых городов» и других изданиях.

стр. 214 **Ясеницкая Анастасия**
Красноярск, 1994 г. р.

Ученица Красноярского литературного лицея. Публикации в городской газете «Детский район», газете «Литературные известия», разделе «Синяя тетрадь» журнала «День и ночь».

Редакционная подписка

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2012 год стоит 1500 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 250 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 243 06 38,
e-mail: disksid@mail.ru

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Летняя рапсодия | холст, масло | 115 × 80

Бабье лето | холст, масло | 120 × 65

Сергей Прохоров

Монмартр

холст, масло | 110 × 80